

Томас Вулф ДОМОЙ ВОЗВРАТА НЕТ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ»

1. Хмельной бродяга в седле

В тихий сумеречный час на исходе апреля, в лето от рождества Христова 1929-е, Джордж Уэббер облокотился на подоконник и вобрал взглядом Нью-Йорк — все, что мог увидеть из окна, выходящего на задворки. В конце квартала высилась громада новой больницы, верхние этажи ее ступенчато сужались, взмывающие в небо стены розовели в лучах заката. К ближнему углу огромного здания и к дальнему, напротив, примыкали два крыла пониже, где жили сестры и санитарки. Кроме больницы, в квартале тесно лепились еще с полдюжины старых кирпичных домов; они устало прислонялись друг к другу, Джордж видел их с тылу.

Было удивительно тихо. Все городские шумы доносились сюда, приглушенные расстоянием, точно смутный гул, — непрерывный, неумолчный, он казался неотделимым от тишины. Вдруг в открытые окна с фасада ворвалось хриплое рычание, это заводили грузовик у склада через улицу. Мощный мотор разогревался, рев нарастал, и вот залязгало, заскрежетало, и Джордж всем телом ощутил, как задрожал старый дом: грузовик вырулил на улицу и с грохотом покатыл прочь. Шум отдалялся, слабел, потом слился с общим смутным гулом, и снова все успокоилось.

Джордж все глядел, высунувшись из окна, неизъяснимая радость прихлынула к горлу, и он что-то закричал в окно больничного крыла девушкам, которые, по обыкновению, отглаживали свои две пары штанишек и тоненькие платяшки. Слабо, словно очень издалека, долетали к нему крики играющей на улицах детворы и негромкие голоса людей в домах. Он смотрел вниз, на прохладные косые тени — вечерний свет скользил по квадратикам дворов, и в каждом дворе открывалось что-то знакомое, очень и только свое: вот клочок земли, — какая-то миловидная женщина засадила его цветами, она выходила в брезентовых рукавицах, в соломенной широкополой шляпе и усердно трудилась по нескольку часов подряд; а вот крохотная зеленая лужайка, — здесь каждый вечер сосредоточенно поливает недавно посеянную траву лысый человек с красным квадратным лицом; в других дворах виднеется сарайчик, кукольный домик, мастерская, где иной деловой человек в часы досуга увлеченно что-то мастерит; или расставлены весело раскрашенный стол и два-три шезлонга под сенью большущего ярко-полосатого садового зонта — и хорошенькая девушка весь день сидит там и читает, на плечи наброшено пальто, под рукой — бокал вина.

Разлитый в воздухе покой, и закатный свет, и запах весны будто заворожили Джорджа, и ему казалось, он хорошо знает всех людей вокруг. Он любил старый дом на Двенадцатой улице — красные кирпичные стены, просторные комнаты с высокими потолками, темные деревянные панели и скрипучие полы, а колдовская эта минута словно одарила дом еще и каким-то печальным величием, оттого что долгих девяносто лет он укрывал в своих стенах столько человеческих жизней. Он и сам стал как живое существо. Казалось, тут все живет и дышит — стены, комнаты, стулья, столы, даже влажное махровое полотенце, свисающее над ванной, даже брошенное на стул пальто и раскиданные по всей комнате рукописи, бумаги, книги.

Как хорошо снова очутиться здесь, вокруг все такое знакомое, и, однако, есть в этом что-то странное, неправдоподобное. С острым внезапным изумлением Джордж в сотый раз за последние недели напомнил себе: ведь он и вправду возвратился домой, он снова дома — в Америке, в каменном человеческом муравейнике на острове Манхэттен, он вернулся к родине

и любви; и в радости был привкус вины, оттого что вспомнилось: года не прошло с тех пор, как он уехал на чужбину, в гневе и отчаянии бежал от всего, к чему теперь возвратился.

В горькой своей решимости он тогда, прошлой весной, больше всего хотел сбежать от женщины, которую любил. Эстер Джек была много старше его, мужняя жена и мать взрослой дочери. Но она полюбила Джорджа такой полной, такой безоглядной любовью, что под конец он стал чувствовать себя в западне. Из плена этой любви он и жаждал вырваться, да еще — бежать от постыдных воспоминаний о яростных ссорах с Эстер, от душевного смятения, чуть ли не безумия, которое все нарастало в нем оттого, что Эстер пыталась его удержать. И вот он расстался с нею и удрал в Европу. Он уехал, чтобы забыть эту женщину, — и убедился, что забыть не может; только о ней и думал ежечасно, непрестанно. Опять и опять вспоминал ее — румяную, веселую, неизменно добрую и великодушную, по-настоящему талантливую, вспоминал все часы, что они провели вместе, — и мучительно но ней тосковал.

Вот так, убегая от любви, которая все еще его преследовала, он заделался бродягой в чужих краях. Объездил Англию, Францию и Германию, столько перевидал нового, столько народу встречал — пересек полконтинента, ругался, распутничал, пил, скандалил... однажды в какой-то пивнушке ему в драке проломили голову, выбили несколько зубов и перешибли нос. А потом он одиноко лежал на койке в мюнхенской больнице и смотрел в потолок — пока заживало разбитое лицо, оставалось только размышлять. Вот тут-то он наконец немножко набрался ума-разума. Прежнее безумие ушло, и впервые за много лет буря внутри утихла.

Ибо он постиг кое-какие истины, которые каждый должен открыть для себя сам, — и открыл их, как положено каждому человеку: через испытания и ошибки, через заблуждения и самообманы, через ложь и собственную несусветную дурость, потому что бывал слеп и неправ, глуп и себялюбив, полон порывов и надежд, безоглядно верил и отчаянно запутывался. Там, на больничной койке, он заново пересмотрел всю свою жизнь и по крупицам извлек из нее суровые уроки опыта. И каждая постигнутая истина оказывалась такой простой и самоочевидной, что он только диву давался — как можно было этого не понимать! А все вместе они свивались в некую путеводную нить, что протянулась далеко назад, в его прошлое, и вперед, в будущее. И Джорджу думалось: пожалуй, можно стать истинным хозяином собственной судьбы, ведь теперь он всем нутром чувствует, к чему надо стремиться, но вот куда это чувство его заведет — как знать?

А чему же он научился? На взгляд философа, вероятно, немногому, однако же просто по-человечески это не так уж мало. Он жил, и каждый день, по сто раз на дню, в мелочах должен был что-то решать, повинясь всему, что было в нем заложено наследственностью и окружением, ходом мысли и кипением чувств, а решив, пожинал, что посеял, и на этом понял: даром ничто не дается. И понял — наперекор своему телу, до того непокорному и чуждому равновесия, что он порою чувствовал себя каким-то выродком, он все равно брат и родня всем людям на свете. Понял, что нельзя объять необъятное и надо знать меру своим силам и примириться с этим. Оказалось, многое, чем он терзался в последние годы, он растравил в себе сам, и это были неизбежные муки роста. И, что самое главное для человека, который вырослел так медленно, — он как будто научился наконец не быть рабом чувств.

Чаще всего он попадал в беду оттого, что действовал очертя голову. Что ж, хорошо, он станет осмотрительней. Вся штука в том, чтобы взнуздать ум и сердце — пусть будут заодно, а не тянут в разные стороны. Попробуем передать полноту власти рассудку и поглядим, что получится; тогда, если разум скажет: «Вот оно!» — ты и сердцем рванешься к той же цели.

Это уже касается и Эстер, ведь он вовсе не собирался к ней вернуться. Разум подсказывал: между ними все кончено — и пусть, так лучше. Но едва он приехал в Нью-Йорк, сердце подсказало позвонить ей — и он позвонил. Они встретились, и, конечно, все началось сначала.

Итак, они снова вместе, а ведь он был уверен: что-что, а это не повторится. И, однако, он счастлив, что вернулся к ней. Непостижимо! Казалось бы, если идешь наперекор рассудку, ты

должен чувствовать себя несчастным. Но нет, ничуть не бывало! Вот потому-то, пока он раздумывал, облокотясь на подоконник, а вокруг сгущались апрельские сумерки, его потихоньку грыз червячок совести, и он недоуменно спрашивал себя, насколько же у него мысли расходятся с делом.

Ему уже минуло двадцать восемь и хватало ума понять: человек далеко не всегда сознает, почему поступает так, а не иначе, и совсем не просто отбросить привычки и чувства, что складывались годами, ведь это не изношенная шляпа и не стоптанный башмак. Что ж, ему не первому приходится ломать голову над этой задаче!! Перед таким же выбором оказывались порой и философы. И даже говорили по сему поводу разные мудрые слова.

«Глупая последовательность — пугало мелких душ», — сказал Эмерсон.

И великий Гете примирился с суровой истиной, что путь человека к зрелости не прям, но извилист, и сравнил развитие и прогресс человечества с тем, как петляет, еле держась в седле, бродяга — хмельной всадник.

Быть может, не столь важно, что бродяга во хмелю не способен ехать прямо к цели, куда важнее, что он все-таки оседлал коня и, пусть петляя и сбиваясь, все же куда-то едет.

Джордж Уэббер некоторое время тешился этой мыслью и, однако, довольный и успокоенный, все еще чувствовал себя немножко виноватым. Пожалуй, где-то в его рассуждениях кроется уязвимое место.

Он непоследователен, он вернулся к Эстер, — разумно это или глупо... Неужели хмельной всадник должен вечно плутать и петлять?

Эстер проснулась мгновенно, внезапно, как птица. Лежала на спине и широко раскрытыми глазами смотрела в потолок. Мигом ощутила себя, свое тело, — она готова встретить новый день.

И тотчас подумала о Джордже. Они помирились, заново обрели свою любовь, и все для них стало радостно и ново. Подобрали и сложили осколки прежней жизни, — и она вновь стала полна и прекрасна, как в самую лучшую пору, до отъезда Джорджа. Теперь он начисто избавился от безумия, которое чуть не погубило их обоих. Он и сейчас легко поддается настроениям, внезапной блажи, но и тени нет прежнего неистовства, когда на него накатывало и он яростно метался, крушил все кругом и в кровь разбивал кулаки о стену. Он стал спокойней, уверенней, куда лучше владеет собой и, похоже, каждым шагом и поступком старается показать, что любит ее, Эстер. Никогда еще она не была так счастлива. Как хорошо жить!

За окнами, на Парк-авеню, вновь появились прохожие, улицы становились все многолюдней. На столике у кровати часто-часто тикал будильник, нетерпеливо отсчитывал пульс времени, словно по-ребячьи спешил навстречу какой-то воображаемой радости, и где-то в доме размеренно, торжественно пробили часы. Утреннее солнце залило комнату, будто между делом высветило каждую мелочь, и в душе Эстер сказала себе: пора!

Нора принесла кофе и горячие булочки, и Эстер взялась за газету, просмотрела театральную хронику, список актеров, приглашенных играть в новой немецкой пьесе, которую готовит к осени Любительский театр, прочла, что «художником-оформителем спектакля приглашена мисс Эстер Джек». Прочла и рассмеялась: забавно, что ее называют мисс, и так ясно представилось, какой ужас выразится на его лице при виде этих строк (а какое у него было лицо, когда маленький портной решил, что она его жена!), и так приятно увидеть свое имя в газете: «...мисс Эстер Джек, которая своим искусством завоевала общее признание как один из самых выдающихся современных театральных художников».

Веселая, счастливая, довольная собой, она сунула газету в сумку вместе с кое-какими прежними вырезками и прихватила их, отправляясь на Двенадцатую улицу, где она каждый день навещала Джорджа. Дала ему газеты и уселась напротив, чтобы видеть его лицо, пока он читает. Она помнила все, что там писали о ее работе:

«...Работа тонкая, ищущая и ненавязчивая, в которой чувствуется особый, горький и

едкий юмор...», «...заставляет автора этих строк на старости лет по-детски восхищаться уверенным мастерством и силой воображения, ничего подобного не дарил нам нынешний театральный сезон, столь богатый блестящими, но поверхностными постановками...»

«...Ее неприхотливые декорации, веселые, легкие, обладают всеми достоинствами, каких мы уже привыкли ждать от этой художницы, которая беззаветно предана капризной и подчас неблагодарной госпоже сцене...»

«...Великолепное озорство, которое чувствуется в причудливых декорациях проказливо-насмешливого и — надо ли напоминать? надо ли извиняться за напоминание? — искусного мастера...»

Она еле удерживалась от смеха, — так презрительно кривились губы Джорджа, так ехидно передразнивал он рецензентов:

— «Проказливо-насмешливого!» Прелестно, черт подери! «На старости лет по-детски восхищаться», — видали, какой оригинал, сукин сын! «Подчас неблагодарная госпожа», — скажите пожалуйста!.. «и надо ли напоминать!» — ах-ах, мне дурно, душенька! Дайте мне чесноку!

Он швырнул газеты на пол и с напускной суровостью обернулся к Эстер, от уголков глаз разбежались смешливые морщинки.

— Ну-с, накормят меня сегодня? Или ты будешь упиваться этой мутью, а мне — помирять с голоду?

Эстер больше не могла сдерживаться и закатилась хохотом.

— Но это же не я! — задыхаясь, насилу выговорила она. — Это не я писала! Я не виновата, что они так пишут! Жуть, правда?

— Ну да, и, может, тебе это противно? — сказал Джордж. — Ты все это смакуешь! Сидишь тут и облизываешься, наслаждаешься их словословиями и моими муками! Известно ли тебе, о женщина, что я не ел со вчерашнего дня? Накормят меня или нет? Может, ты вложишь свое искусное воображение в бифштекс?

— Вложу! — сказала Эстер. — Хочешь бифштекс?

— Может, ты заставишь меня на старости лет по-детски восхищаться отбивной под нежнейшим луковым соусом?

— Да, — сказала она, — о да!

Он подошел, обнял ее, заглянул ей в глаза любящими и жадными глазами.

— Может, ты приготовишь мне какую-нибудь тонкую, ищущую и ненавязчивую подливку — ты ведь на них такая мастерица?

— Да! Сделаю для тебя все, что хочешь!

— А почему?

То был обряд, который оба знали наизусть, не пропускали ни одного вопроса, ни ответа: каждому хотелось опять и опять слышать от другого эти слова!

— Потому что я тебя люблю. Потому что хочу кормить тебя и любить тебя.

— И это будет хорошо? — спрашивал Джордж.

— Так хорошо, что и сказать нельзя, — отвечала Эстер. — Будет хорошо, потому что я такая хорошая и красивая и все делаю прекрасно, ни одна женщина на свете для тебя лучше не сделает, и еще потому, что я тебя люблю всеми силами души и хочу, чтоб мы были — одно!

— И эту великую любовь ты вложишь в стряпню?

— В каждый лакомый кусочек! Ты утолишь свой голод, как никогда. Это будет чудо из чудес, и отныне ты станешь лучше и богаче телом и душой. Ты запомнишь это на всю жизнь. Это будет восторг и упоение.

— Значит, это будет такая еда, какой еще никто на свете не пробовал, — сказал Джордж.

— Да, — отвечала она. — Конечно.

И это была правда. Никогда ничего подобного не было в мире, пока вновь не настал апрель.

Итак, они снова вместе. Но что-то между ними переменилось. Даже и внешне. Они уже не довольствовались общим скромным жилищем. Возвратись в Нью-Йорк, Джордж с первого же дня наотрез отказался вновь поселиться на Уэверли-плейс, в прежнем убежище их любви, жизни и работы. Взамен он снял две просторные комнаты на Двенадцатой улице — они занимали весь второй этаж, и их можно было превратить в один огромный зал, стоило лишь открыть раздвижные двери. Тут была и крохотная — только-только повернуться — кухонька. Все это отлично устраивало Джорджа: и места вдоволь, и никто не мешает. Эстер может приходить и уходить, когда захочет; они могут быть здесь вдвоем, и только вдвоем, когда пожелают; здесь они могут вволю упиваться любовью.

Но самое главное: это дом не общий, а его, Джорджа, и потому теперь их отношения строятся на иной основе. Отныне он не допустит, чтобы вся его жизнь перепуталась с любовью. У Эстер свой мир — театр, богатые друзья, а его это не касается, у него свой мир — литература, и тут надо справляться одному. Всему свое место и свой черед: любовь любовью, но он останется верным себе, хозяином своей жизни и своей души.

Примирится ли с этим Эстер? Согласится ли принять его любовь, но дать ему свободу жить и работать по-своему? Так должно быть, сказал он ей, и она ответила: да, она все понимает. Но сумеет ли она? Способна ли женщина по самой природе своей удовольствоваться тем, что может дать ей мужчина, и не посягать на то, чего он отдать не вправе? Уже сейчас иные мелкие предзнаменования заставляли его в этом сомневаться.

Однажды утром Эстер пришла и оживленно, весело стала пересказывать какую-то забавную уличную сценку... и вдруг умолкла на полуслове, по лицу ее прошла тень, она поглядела с тревогой и неожиданно спросила:

— Ты ведь любишь меня, Джордж?

— Да, — сказал он, — конечно. Ты же знаешь.

— Ты никогда больше меня не бросишь? — На миг у нее перехватило дыхание. — Будешь вечно меня любить?

Джорджа изумила и эта внезапная смена настроений, и самый вопрос: вот нелепость, как будто он или кто угодно другой по совести может поручиться за свои чувства, за верность навеки! И он расхохотался.

Эстер нетерпеливо махнула рукой.

— Не смейся, Джордж. Мне надо знать. Скажи. Ты будешь вечно меня любить?

Она спрашивала так серьезно, но что же тут ответишь? Джорджа взяла досада, он встал из-за стола, минуту смотрел на Эстер, будто не видя, и начал ходить из угла в угол. Раза два приостановился, оборачивался к ней, но было не так-то легко выговорить нужные слова, и он опять принимался беспокойно шагать по комнате.

Эстер зорко следила за ним, поначалу она смотрела и весело и сердито, а потом в глазах разгорелась тревога.

«Ну, что я такого сделала? — думалось ей. — Господи, что за человек! Никогда не знаешь, чего от него ждать. Задаешь самый простой вопрос — и вот, не угодно ли, как он себя ведет! Правда, прежде он еще и не то вытворял. Бывало, мигом взорвется, ругает меня на чем свет стоит. А вот сейчас что-то в нем бурлит, а о чем он думает, понять невозможно. Надо же, мечется, как зверь в клетке! Этаким обезьян с бурей страстей в груди!»

А Джордж в минуты волнения и правда походил на обезьяну. Мощный торс, могучие широкие плечи, на ходу слегка сутулитесь, длинные руки свисают чуть не до колен, свободно болтаются крупные кисти, а пальцы, на концах словно сплюснутые, подвернуты внутрь, — ни дать ни взять звериная лапа. Голова, прочно сидящая на короткой шее, немного выставлена вперед, и весь он словно пригнулся: то ли чувствует опасность, то ли готовится к прыжку. Он даже кажется меньше ростом, на самом деле он немножко выше среднего — метр семьдесят три или семьдесят пять, однако ноги не совсем соответствуют такому мощному торсу. Да еще и черты лица не крупные — нос как бы приплюснут, глубоко сидящие глаза глядят из-под густых, нависших бровей, и лоб довольно низкий, от бровей до волос не так уж далеко. А когда он взволнован или чем-то увлечен, он как-то особенно сосредоточенно смотрит исподлобья, и

при том, что голова всегда выставлена немного вперед, а все тело наклонено, в такие минуты еще сильнее его сходство с шимпанзе или орангутаном. Не удивительно, что кое-кто из друзей зовет его «Обезьян».

Минуту-другую Эстер не сводила с него глаз, огорченная и обиженная тем, что не получила ответа. Джордж остановился у окна и смотрел вниз, на улицу, Эстер подошла и тихонько взяла его под руку. Она видела, как вздулась жилка у него на виске, и понимала, что говорить сейчас не надо.

Из соседнего дома (там помещалось отделение профсоюза портных) выходили маленькие щуплые евреи и останавливались посреди улицы. Бледные лица, невымытые волосы, одежда в пятнах, но сколько живости! Кричат, машут руками, все сильнее горячатся, легонько похлопывают друг друга по щекам, гортанно приговаривая: «Нет! Нет! Нет!» Разъярясь, но все еще с улыбкой (а видно, руки так и чешутся) закатывают друг другу оплеухи покрепче. И, наконец, уже вопят в полный голос и лупят почему зря. Другие кричат и ругаются, иные смеются, некоторые угрюмо стоят поодаль и чем-то молча терзаются каждый сам по себе.

А потом налетела полиция — молодые, крепкие ирландцы. Что-то в них гнусное, что-то от наемных убийц. Зверские, тупые, наглые морды. Лениво движутся тяжелые челюсти: даже пробиваясь через толпу, расталкивая и распахивая всех направо и налево, эти молодцы не перестают жевать резинку.

— А ну, разойдись! — повторяют они. — Разойдись! Давай, давай! Пошевеливайся!

Мимо с ревом проносятся автомобили, идут прохожие. Мелькают лица, которых Джордж и Эстер никогда прежде не встречали — и, однако, видели сотни раз, всюду и везде: всегда разные, лица эти никогда не меняются, они возникают в таинственных животворных родниках бытия, несчетные, бесконечно разнообразные, вечно движутся, нескончаемо и неустанно повторяются. Так, опять и опять проходят по улицам жизни три подружки. У одной лицо жестокое и чувственное, глаза скрыты стеклами очков, злой, грубый рот. У другой худощавая крысиная мордочка, а нос непомерно велик. У третьей лицо пухлое, расплывчатое, на жирных накрашенных губах, в маслянистых ноздрях — глумливая ухмылка. И когда они смеются, в смехе не слышно ни радости, ни веселья, — визгливый, пронзительный, неестественный, он режет слух и только требует, чтобы все, все, все их заметили.

На улицах играют дети. Мрачные, решительные, необузданные, они в точности подражают речи и грубым повадкам старших. Вот они кидаются в драку, и слабейший летит на мостовую. Полицейские погнали прочь шумную кучку портняжек, их уже нет. Небо синее, молодое, яркое, нигде ни облачка; на деревьях набухают почки; и солнечный свет простоудушно, бесстрашно приходит на эту улицу, ко всем, кто здесь есть.

Эстер покосилась на Джорджа, — он смотрел в окно, и лицо его все сильнее искажалось. Он хотел бы сказать ей; все мы дикари и глупцы, необузданные, сбитые с толку; мы полны страхов и смятения, слепые и невежественные, мы проходим по живой, прекрасной земле, вдыхаем напоенный молодостью живительный воздух, нас омывает свет утра, а мы ничего этого не видим и не понимаем, потому что в душе мы убийцы.

Но ничего такого он не сказал. Устало отвернулся от окна.

— Вот она, вечность, — сказал он. — Вот она, твоя вечность.

2. Первая улыбка славы

Несмотря на привкус вины, который Джордж нередко ощущал в самые радостные минуты, никогда еще он не был так счастлив. Да, так, в этом нет сомнений. И он этим упивался. Препрежнее безумие прошло бесследно, и он подолгу ликовал, восторженно веря (отнюдь не впервые, но никогда еще уверенность эта не была так сильна), что наконец-то он и вправду господин и повелитель своей судьбы. Еще в раннем детстве, когда он сиротой жил у своих родичей Джойнеров в Либия-хилле, он мечтал, что когда-нибудь попадет в Нью-Йорк и найдет там любовь, славу, богатство. И вот уже несколько лет, как он называет Нью-Йорк своим домом, любовь он тоже обрел, а теперь, конечно же, пришла пора богатства и славы, до них

уже рукой подать.

Человек всегда счастлив, когда уверенно ждет, что вот-вот сбудутся самые смелые его мечты, и потому Джордж был счастлив. И как бывает почти со всеми нами, когда в жизни у нас все хорошо, он воображал, будто это его собственная заслуга. Нет, не удача, не случай, не слепой ход событий принесли ему эту новую бодрость духа: уверенность в себе и ощущение победы — награда за его собственные необычайные достоинства, заслуженная награда, и только! Между тем решающую роль в его преображении сыграл именно счастливый случай. Произошло нечто невероятное.

В первые же дни, как он возвратился в Нью-Йорк, ему позвонила донельзя взволнованная Лулу Скаддер, литературный агент. Крупнейшее издательство «Джеймс Родни и Ко » заинтересовалось его, Джорджа Уэббера, рукописью, и знаменитый издатель Лисхол Эдвардс желает побеседовать с автором. Конечно, в таких случаях ничего нельзя знать заранее, но всегда лучше ковать железо, пока горячо. Не может ли Джордж прямо сейчас, не откладывая, повидаться с Эдвардсом?

Глупо радоваться, твердил себе по дороге Джордж, скорей всего, ничего из этого не выйдет. Ведь вот в одном издательстве его книгу уже отвергли, заявили, что никакой это не роман! Издатель даже написал, — слова его, точно каленым железом выжженные, запечатлелись в мозгу Джорджа: «Роман — форма явно чуждая вашему таланту». А ведь речь идет о той же самой рукописи. Он не изменил ни единой строчки, не выкинул ни слова, хотя и Эстер и мисс Скаддер намекали, что рукопись чересчур велика, ни одно издательство за нее не возьмется. Джордж упрямо отказывался что-либо менять: пускай печатают как есть или вовсе не печатают. И он уехал в Европу, совершенно уверенный, что, как бы ни старалась мисс Скаддер пристроить его детище, издателя ей не найти.

За границей ему тошно было даже думать о рукописи: столько труда в нее вложено, столько бессонных ночей, сколько с ней связано надежд, что поддерживали его все эти годы... И он старался не думать — ясно же, никуда его пачкотня не годится, и сам он никуда не годен, а если много о себе возомнил и жаждал славы, так это пустые мечты, заносчивость бездарного писаки. Видно, он ничуть не лучше прочих пустобрехов-учителишек из Школы прикладного искусства, откуда он сбежал и куда вернется, когда кончится его отпуск, и снова станет учить студентов выражать свои мысли на бумаге. Почти все тамошние преподаватели вечно толкуют, будто пишут или собираются написать неслыханно прекрасные книги, — потому что, как и он сам, отчаянно ищут выхода, ведь тоска берет изо дня в день учить тупиц, читать их сочинения, ставить отметки, понапрасну пытаюсь высечь хоть искорку в беспросветно тупых умах. Джордж провел в Европе почти девять месяцев, от мисс Скаддер за все время не было никаких вестей, и он уже не сомневался: сбылись его самые мрачные предчувствия.

И вот, оказывается, издательство Родни им заинтересовалось. Что и говорить, они не спешили. И как это понять — «заинтересовалось»? Скорей всего, ему скажут, что в рукописи заметны признаки дарования и, если его тщательно пестовать и развивать, пожалуй, когда-нибудь оно и принесет кое-какие плоды — книжку, достойную внимания публики. По слухам, есть такие осторожные издатели, годами водят начинающего за нос, отвергают книгу за книгой, и притом понемножку подбадривают, чтоб не вовсе отчаялся: мы, мол, в тебя верим, у тебя все впереди, надо только «найти себя». Ну нет, Джорджа на этом не проведешь! Он не выдаст разочарования, даже глазом не моргнет и, уж конечно, ничего им не пообещает!

Если полицейский на перекрестке и заметил в то утро перед издательством «Джеймс Родни и Ко » странного молодого человека, то где ему было догадаться, как решительно, сжав кулаки, этот молодой человек собирался с духом для предстоящего разговора. Если полицейский его и заметил, то, скорей всего, присмотрелся недоверчиво: не вмешаться ли, может, тут пахнет уголовщиной? Или вызвать карету «скорой помощи», а покуда заговорить ему зубы, и пускай малого свезут куда надо и проверят, в порядке ли у него винтики.

Молодой человек шел стремительным, неровным шагом, мрачный, насупленный,

угрюмо сжав губы; пересек улицу, ступил на тротуар у дверей издательства и вдруг будто споткнулся — остановился, растерянно огляделся и не сразу заставил себя снова тронуться с места. Но теперь он двигался неуверенно, казалось, ноги его не слушаются. Рванулся было вперед, замер, опять рванулся — и у самой двери вновь замер, застыл в нерешимости. Минуту стоял перед входом, судорожно сжимая и разжимая кулаки, потом быстро, подозрительно огляделся, точно боялся, не смотрит ли кто. Наконец решительно встряхнулся, сунул руки глубоко в карманы, не спеша повернулся и прошел мимо.

Теперь он шел не торопясь, угрюмой прежнего сжал губы и так напряженно вытянул шею, словно высмотрел себе цель далеко впереди и решил двигаться к ней строго по прямой. И, однако, проходя мимо дверей издательства, мимо пестреющих книгами витрин по обе стороны входа, он косил на них краешком глаза, точно шпион, которому непременно надо углядеть, что делается в этом доме, но только незаметно для прохожих. Он дошел до конца квартала и зашагал обратно и опять, проходя мимо этого дома, не повернул головы на неподвижной, точно деревянной, шее, а лишь косился украдкой. Добрых двадцать минут кряду он повторял тот же странный маневр: поравняется с дверями, замешкается, слегка повернется, словно хочет войти, и опять порывисто шагает дальше.

Наконец, чуть не на пятидесятый раз, он ускорил шаг, подошел и взялся за ручку двери, но тотчас, будто его ударило током, отдернул руку, попятился, стал на краю тротуара и, закинув голову, уставился на здание издательства. Несколько минут он так и стоял — переминался с ноги на ногу, всматривался в верхние окна, будто ждал какого-то знака. И вдруг выпятил челюсть, стиснул зубы так, что на скулах заиграли желваки, опрометью бросился к двери, смаху распахнул ее и скрылся в доме.

Часом позже он вышел оттуда, — и если тот полицейский еще не сменился с поста, уж наверно поведение молодого человека вновь изумило его и озадачило. Странный малый шагал свесив руки, медленной, деревянной походкой, вид у него был обалделый, в руке зажат смятый листок желтой бумаги. Он вышел из здания издательства, точно лунатик, медленно, бездумно — ни дать ни взять заводная кукла, — повернулся и все с тем же ошалелым, блаженным выражением лица направился к жилым кварталам и скрылся в толпе.

Уже вечерело и к востоку, быстро удлиняясь, тянулись косые тени, когда Джордж Уэббер наконец очнулся где-то в дебрях Бронкса. Он так и не понял, каким ветром его сюда занесло. Помнил только, что вдруг до смерти захотелось есть, и тогда он остановился, огляделся по сторонам и сообразил, где он. Тупо ошеломленное лицо его вспыхнуло изумлением, недоверием, рот растянулся в улыбке до ушей. Он медленно расправил стиснутый в кулаке хрустящий желтый листок и начал его внимательно изучать.

Это был чек на пятьсот долларов. Книгу приняли, и он получил аванс.

Да, никогда еще за всю свою жизнь он не был так счастлив. Наконец-то к нему постучалась слава и льстиво и нежно ему заулыбалась, и он жил в каком-то чудесном забытьи. Следующие недели и месяцы наполнены были радостным предвкушением. Книга выйдет только осенью, но до тех пор — столько работы! Лисхол Эдвардс предложил кое-что убрать, кое-что изменить, Джордж сперва заспорил, а потом, к собственному удивлению, согласился, что так будет лучше, и принялся исправлять рукопись, как советовал Эдвардс.

Свой роман он назвал «Домой, в наши горы» и вложил в него все, что знал о своем родном городке в Старой Кэтоубе и о тамошних жителях. Каждая строчка была выжимкой из того, что он, Джордж, сам видел и пережил. И теперь, когда уже ясно было, что книга выйдет, его порой бросало в дрожь, ведь еще несколько месяцев — и всему свету станет известно, что он там написал. Ужасно думать, что кого-то заденешь, обидишь, как же ему это раньше в голову не приходило! А теперь уже ничего не поделаешь, и становится не по себе. Конечно, его книга — вымысел, литература, но, как и положено настоящей литературе, она вылеплена из живой жизни. Какие-то люди, пожалуй, узнают себя и возмутятся, — и тогда как быть? Неужто прятаться, расхаживать в темных очках и с фальшивой бородой? Он утешал себя:

может быть, портреты его героев не так уж верны (хотя в иные минуты приятно было думать по-другому), может быть, никто ничего не заметит.

Журнал «Родни мэгезин» тоже обратил внимание на молодого писателя — в ближайшем номере там поместят его рассказ, главу из книги. Узнав об этом, Джордж совсем возликовал. Ему не терпелось увидеть свое имя в печати, и в эту пору счастливого ожидания он чувствовал себя каким-то вселенским Дон-Жуаном: поистине, он любил всех и каждого — своих коллег по Школе и нудных учеников и учениц, продавщиц и лавочников, и даже безликие, безымянные толпы на улицах. Издательство Родни, разумеется, величайшее и прекраснейшее в мире, а Лисхол Эдвардс — величайший редактор и прекраснейший человек, другого такого свет не видал. Джорджу он сразу пришелся по душе, и теперь он называл Эдвардса просто Лисом, точно старого закадычного друга. Он знал, Лис в него верит — и эта вера и доверие редактора, обретенные в тот самый час, когда он утратил последнюю надежду, возвратили Джорджу уважение к себе и придали сил для новой работы.

В нем уже зрел новый замысел, возникали очертания нового романа. Скоро надо будет выплеснуть все это на бумагу. Страшно подумать, что придется сесть за работу всерьез, ведь уже знаешь, какая это пытка. Становишься как одержимый, точно бес в тебя вселяется — сторонняя неистовая сила, ее не побороть. Накатит на тебя — и выкуриваешь шестьдесят сигарет в сутки, выпиваешь двадцать чашек кофе, ешь где попало и как попало, в любое время дня и ночи, когда вдруг спохватишься, что голоден как волк. Маешься бессонницей, миля за милей меришь шагами улицы, чтобы выбиться из сил (иначе и вовсе не уснуть), а потом мучают кошмары, и наутро ты издерган и весь как выжатый лимон.

И он сказал Лису:

— Наверно, есть лучшие способы писать книги, но, честное слово, я иначе не умею, придется уж вам с этим мириться.

Когда вышел номер «Родни мэгезин» с рассказом Джорджа, автор всерьез ждал: вот-вот содрогнется земля, посыплются падушие звезды, замрет движение на улицах и разразится всеобщая забастовка. Но ничего такого не случилось. Кое-кто из друзей в разговоре с Джорджем упомянул о его рассказе — и только. Он было приуныл, а потом здраво рассудил, что людям ведь не так легко оценить молодого писателя по небольшому рассказу. Вот выйдет книга, тогда все увидят, кто он такой и на что способен. Тогда уж будет по-другому. Ну ничего, он еще немножко потерпит, а уж тогда к нему наверняка придет долгожданная слава.

Потом первое волнение улеглось, Джордж немного по привычке чувствовать себя писателем, чья книга и правда скоро выйдет в свет; тогда лишь он стал осматриваться в неведомом прежде мире, где делаются книги, и узнавать людей, которые этот мир населяют, — и лишь тогда начал понимать и по достоинству ценить Лиса Эдвардса. Впервые он понял, что за человек его редактор, благодаря Отто Хаусеру: столь же глубоко, неколебимо честный, Хаусер во всем остальном был полной противоположностью Лиса.

Хаусер служил в фирме Родни рецензентом — и лучшего издательского рецензента, пожалуй, не сыскать было во всей Америке. Он мог бы сам стать отличным, редкостным издательским редактором, если бы в нем было сильно то, что движет большим редактором: честолюбие, восторженная горячность, дерзкая и упрямая решимость, неутомимая жажда искать и находить все лучшее. Но Хаусер преспокойно довольствовался тем, что изо дня в день читал нелепые сочинения нелепых писак на самые нелепые темы (к примеру, «Плавание брассом», «Альпийское садоводство для всех», «Жизнь и развлечения Лидии Пинкем», «Новый век изобилия») — хлам, среди которого редко-редко мелькал огонек страсти, искра таланта, проблеск подлинной правды.

Отто Хаусер жил в крохотной квартирке неподалеку от Первой авеню и однажды вечером пригласил Джорджа зайти. Джордж зашел к нему, и они проговорили весь вечер. А потом Джордж приходил еще и еще; Отто нравился ему и притом озадачивал, уж очень противоречиво было все в этом человеке, и особенно удивляла какая-то странная замкнутость, холодноватая отчужденность, она так не вязалась с присущей Хаусеру доброжелательностью и прямоотой.

Свое хозяйство Отто вел сам. Когда-то он пытался нанимать проходящих уборщиц, но потом от них отказался. На его вкус, эти женщины были недостаточно аккуратны и чистоplotны, да еще вечно все переставят, передвинут как попало, а он — великий аккуратист, у него каждая мелочь на своем месте. Беспорядка он не выносил. Книг у него дома было немного, каких-нибудь две полки — главным образом последние издания фирмы Родни, да кое-что ему присылали другие издатели. Обычно, едва дочитав эти книги, он их раздавал, ибо не выносил беспорядка, а от книг всегда беспорядок и теснота. Подчас он с недоумением спрашивал себя — а может, он и книги не выносит? Во всяком случае, пускай в доме их будет поменьше, уже один их вид его раздражает...

Для Джорджа Хаусер оказался любопытнейшей загадкой. Человек на редкость одаренный, од, однако, едва ли не начисто лишен был тех качеств, которые нужны, чтобы «преуспеть» в нашем мире. В сущности, он вовсе и не хотел «преуспевать». Он чурался всякой возможности продвинуться хоть на шаг дальше того, чего уже достиг. Он хотел быть рецензентом и только, не более. В издательстве «Джеймс Родни и Ко» он делал то, что ему поручили. Самым добросовестным образом выполнял свои обязанности. Когда спрашивали, что он думает о рукописи, он честно и непредвзято, с неизменным спокойствием высказывал свое мнение, судил безошибочно ясно, с чисто немецкой обстоятельностью. И дальше этого идти не желал.

Когда какой-нибудь редактор (в издательстве Родни их было несколько, не считая Лисхола Эдвардса) спрашивал у Хаусера его мнение, обычно происходил примерно такой разговор:

— Вы читали эту рукопись?

— Да, читал, — говорил Отто Хаусер.

— И что вы о ней думаете?

— По-моему, в ней нет ничего хорошего.

— Значит, вы не советуете ее печатать?

— Да, по-моему, она того не стоит.

Или:

— Прочли вы эту рукопись?

— Да, прочел, — отвечает Хаусер.

— Ну и как она, по-вашему? (Черт его дери, не может сам сказать, что думает, вечно надо из него каждое слово клещами тянуть!)

— По-моему, это гениально.

— Вы думаете?! — недоверчиво восклицает редактор.

— Да, я так думаю, на мой взгляд — это бесспорно.

— Но послушайте, Хаусер... — Редактор взволнован. — Если вы не ошибаетесь, так этот малый... этот автор... он же совсем еще мальчишка, никто про него и не слыхал... он родом откуда-то с запада... из Небраски, что ли, или из Айовы... похоже, до сих пор так и сидел там, в глуши... если вы не ошибаетесь, значит, это мы его открыли!

— Да, наверно, вы открыли. Его книга гениальна.

— Но... (Черт подери, ну что за человек! Сделал такое открытие... сообщает такую поразительную новость... и хоть бы загорелся, обрадовался! А ему все равно, будто речь идет про кочан капусты!) Но... в чем же дело? Вы... по-вашему, в его рукописи есть какой-то изъян?

— Нет, по-моему, в ней нет никаких изъянов. По-моему, это великолепно написано.

— Но... (О, господи, этот Хаусер и правда псих ненормальный!) Но что же... вы хотите сказать... наверно, в таком виде, как сейчас, она для печати непригодна?

— Нет, на мой взгляд, она в высшей степени подходит для печатания.

— Но она чересчур многословна, так?

— Многословна — да, это верно.

— Так я и думал, — глубокомысленно заявляет редактор. — Новичок, опыта никакого, это же сразу видно. Он и сам не понимает, как пишет, без конца повторяется, все у него

выходит ребячливо, несдержанно, все через край, никакого чувства меры. У нас есть десятки авторов, которые смыслят в писательстве куда больше.

— Да, наверно, — соглашается Хаусер. — И, однако, он гений, а они — нет. То, что он написал, гениально, а то, что пишут они, — нет.

— Значит, вы полагаете, нам следует его напечатать?

— Полагаю, что так.

— Но... (А может быть, вот в чем загвоздка... вот он о чем умалчивает!) Но больше ему сказать нечего? Думаете, он уже исписался? Все, что было за душой, выложил в одной книге? На вторую его уже не хватит?

— Ничего такого я не думаю. Ручаться, впрочем, не могу. Его могут и убить, это бывает...

(Вечно он каркает, ворона!)

— ...Но, судя по этой книге, я бы сказал, можно не бояться, что он выдохнется. Его хватит еще на полсотни книг.

— Но... (О, господи! Где же тут подвох?) Но тогда, вы считаете, для такой книги у нас, в Америке, еще не пришло время?

— Нет, я так не считаю. По-моему, для нее самое время.

— Почему?

— Потому что она написана. Если книга написана, значит, для нее настало время.

— А некоторые наши лучшие критики говорят, еще не время.

— Знаю, что они говорят. Они ошибаются. Вот для них еще не время, только и всего.

— То есть как?

— Очень просто, они ведут счет по времени критики. А книга создается по времени художника. Разное время, разный отсчет.

— По-вашему, критики отстают от времени?

— Да. Отстают от художника.

— Тогда они, пожалуй, не согласятся с вами, что это гениальная книга. Как вы думаете?

— Не знаю. Может быть, и не согласятся. Но это не имеет значения.

— То есть как это — не имеет значения?!

— Да так. Книга хороша, и уничтожить ее нельзя. Стало быть, не важно, что о ней скажут.

— Значит... черт возьми, Хаусер! Если вы не ошиблись, значит, мы совершили замечательное открытие!

— Да, это так. Вы его совершили.

— Но... но... неужели вам больше нечего сказать?!

— Да, нечего. А что тут еще говорить?

Редактор ошеломлен.

— Ничего... только мне казалось, вы-то должны бы радоваться! — И, вконец обескураженный, сдается: — А, ладно! Ладно, Хаусер! Большое вам спасибо!

В издательстве этого не понимали. Просто не могли понять. И наконец отступились — все, кроме Лиса Эдвардса, Лис никогда не отступал, если хотел что-либо понять. Лис по-прежнему, проходя мимо, заглядывал в кабинет Хаусера — крохотную тесную каморку. Сдвинет старую серую шляпу на затылок (Лис всегда работал в шляпе), наклонится, вытянет шею и с тревожным недоумением в светлых зеленоватых глазах уставится на Хаусера, будто перед ним неведомое сказочное чудище со дна морского. Потом повернется и, ухватясь обеими руками за лацканы пиджака, шагает своей дорогой, и во взгляде у него безмерное изумление.

Лис никак не мог понять, в чем тут секрет. Да и сам Хаусер ничего не мог бы ответить и объяснить.

Лишь когда Джордж Уэббер познакомился с обоими поближе, он стал постигать эту загадку. Лисхол Эдвардс и Отто Хаусер... Только узнав их обоих, только видя, как работают они в одном и том же издательстве, можно было их обоих понять, — даже лучше, наверно,

чем каждый из них понимал самого себя. Джорджу казалось, в каждом из них уже потому, что он таков, как есть, открываются тайные истоки души, то, в чем оба они так удивительно схожи — и такие невообразимо разные.

Должно быть, когда-то давно и в Отто Хаусере, в самой глубине его невозмутимого духа, горело ровное и жаркое пламя. Но тогда он еще не знал, что значит быть выдающимся редактором. Теперь он видел это своими глазами — и решил, что это не для него. Уже десять лет смотрел он, как работает Лис Эдвардс, и прекрасно знал, что для этого нужно: живое негаснущее пламя среди мрака, спокойное, неустанное и непрестанное напряжение, упрямая воля — довести до конца то, ради чего горит это пламя и что сознает дух; и какая это невысказанная мука, бьешься изо всех сил, чтобы достичь цели, как-то одолеть всеобщее противодействие, слепое и тупое воинствующее невежество, враждебность, предрассудки, нетерпимость... а против тебя все дураки, какие только есть на свете: и выжившие из ума дряхлые старцы, и жеманные, сюсюкающие дамочки, и ханжи, лицемеры, филистеры, и злобные тупые завистники, и — что хуже всего — просто-напросто обыкновеннейшие дураки, непроходимо, безнадежно безмозглые и тупые по самой природе своей!

О, так сгорать, так безоглядно тратить себя, испепелять в огне этой неугасимой страсти! И чего ради? Ради чего? А главное, зачем? Чтобы никому не известный юнец откуда-нибудь из Теннесси, какой-нибудь сын захудалого фермера из Джорджии или отпрыск лекаря из захолустий Северной Дакоты, по меркам дураков существо без роду без племени, без титулов и званий (а стало быть, бесправное и недостойное), отмеченный печатью гения, мучительно бился, силясь излить высокую страсть одинокого духа, одолеть немоту, хоть отчасти высказать то, что замкнуто в его душе и в бессловесных душах его братьев, и в слепой необъятности нашей суровой земли найти путь рвущемуся на волю роднику творчества, и, может быть, в бескрайней пустыне жизни оставить хоть какой-то след, воздвигнуть хоть какой-то приют... и реет это — перед лицом всесветного дурацкого ханжества, дурацкого невежества, дурацкой трусости, дурацких заскоков, дурацкого зубоскальства, дурацкой манерности и дурацкой ненависти ко всякому, кто не развращен и не забит... и дураки либо погасят эту жаркую, пылающую страсть насмешками, презрением, непониманием, либо развратят эту могучую волю, осквернят ее дурацким успехом — признанием дураков. И ради этого должны гореть и терзаться такие, как Лис, — чтобы поддерживать нестерпимый огонь, сжигающий душу какого-нибудь вдохновенного мученика-мальчишки, покуда мир дураков не возьмет этот пламень на свое попечение и не предаст его!

Отто Хаусер на все это насмотрелся.

И, наконец, в чем награда такого Лиса? Опять и опять в одиночку, наперекор безнадежности, одерживать победу за победой — и видеть, как те самые дураки, которые не желали победу признавать, ее присваивают, и вновь погружаться в поиски, и молчать, и ждать, а дураки тем временем жадно прикарманивают золото, отекавшее чужим одиноким духом, чванятся, как собственным открытием, плодом чужих долгих и трудных поисков, похваляются своей прозорливостью, приписав себе свершение чужих пророчеств. Нет, в конце концов сердце не выдержит, разорвется — и сердце Лиса, и сердце гения, одинокого юноши: маленькое, хрупкое сердце человеческое неминуемо ослабеет, перестанет биться; но сердце глупости будет биться вечно.

Нет, Отто Хаусер твердо решил, это не для него. Он не станет горячиться ни по какому поводу. Он старается видеть истину — и этого довольно.

Таков был Отто Хаусер, когда Джордж с ним познакомился. В зеркале дружеской откровенности душа его отражалась вся как есть, без прикрас, в такой спокойной прямоте и цельности, что оставалось только диву даваться; но в том же зеркале, хотя сам Отто не всегда это замечал, раскрывался еще один куда более сильный и яркий облик — облик Лиса Эдвардса.

Джордж понимал, как ему посчастливилось, что его редактором оказался Лис. Он уважал этого человека, восхищался им, а потом и полюбил — и понял, что Лис стал для него не только редактором и другом. Понемногу Джорджу стало казаться, что в Лисе он вновь обрел давно потерянного отца, которого ему всегда так не хватало. И Лис в самом деле стал для него

вторым отцом — отцом духовным.

3. Крохотный джентльмен из Японии

В старом доме, где жил в тот год Джордж, первый этаж как раз под ним занимал мистер Катамото, и вскоре между ними завязалось тесное знакомство. Можно сказать, что дружба их началась с недоумения и перешла в прочное доверие и понимание.

Не то чтобы мистер Катамото склонен был прощать Джорджу его промахи. Нет, он всякий раз (а впрочем, отнюдь не навязчиво) пояснял, что Джордж вновь совершил ложный шаг (слово это здесь как нельзя более к месту), — но при этом был уж так бесконечно терпелив, так неизменно учтив и добродушен, так неколебимо верил, что Джордж исправится... просто невозможно было на него рассердиться и не постараться вести себя лучше. По счастью, природа щедро оделила Катамото ребячески наивным чувством юмора. Как многие японцы, он был крохотный, едва пяти футов ростом, худощавый, хотя и на редкость жилистый, — и мощный торс Джорджа, широкие плечи, большие ноги и чуть не до колен свисающие руки с самого начала возбуждали в Катамото неодолимую смешливость. В первый же раз, как они случайно повстречались в коридоре, Катамото, еще издали завидев Джорджа, не удержался и захихикал; а когда они поравнялись, сверкнул широчайшей, ослепительно белозубой улыбкой, лукаво погрозил пальцем и сказал:

— Топ-топ! Топ-топ!

Сценка эта повторялась несколько дней подряд, каждый раз, как им случалось столкнуться в коридоре. Джордж терялся в догадках. Что означают эти слова? И почему Катамото не может их выговорить без смеха, что его так веселит? А ведь всякий раз, как Джордж, услышав это «топ-топ», отвечает недоуменным, вопрошающим взглядом, Катамото заходится хохотом, прямо надрывается, по-детски топает ногами в крохотных башмаках и сквозь смех взвизгивает:

— Да... да... да! Вы топ... топчете!

И поспешно убегает.

Может быть, загадочные намеки на «топот», которые неизменно заканчивались взрывами смеха, как-то связаны с тем, что у него, Джорджа, такие большие ноги? Может, поэтому Катамото каждый раз при встрече лукаво косится на них и прыскает со смеха? Впрочем, разгадка не заставила себя долго ждать. Однажды Катамото поднялся по лестнице и постучался к Джорджу. Когда тот отворил дверь, японец хихикнул, блеснул белозубой улыбкой и вдруг словно бы смутился. Помялся минуту, вновь через силу улыбнулся и наконец сказал:

— Прошу вас, сэр... Не угодно ли вам... зайти ко мне... на чашку чая?

Он выговорил эти слова медленно, до крайности церемонно, и тут же снова широко, приветливо улыбнулся.

Джордж сказал: «Спасибо, с удовольствием», — надел пиджак, и они сошли вниз. Катамото заторопился вперед, неслышно ступая крохотными ножками в мягких домашних туфлях. Но громкие, тяжелые шаги Джорджа, видно, опять пробудили его обычную смешливость — на полпути он вдруг остановился, застенчиво хихикнул и показал пальцем на ноги спутника:

— Топ-топ! Топчете!

Повернулся и чуть не бегом кинулся вниз по лестнице и дальше по коридору, хохоча, как малый ребенок. Подождал у двери, торжественно растворил ее перед гостем, представил его тоненькой проворной японке (без нее, кажется, невозможно было вообразить это жилище) и, наконец, провел Джорджа в свой кабинет и стал угощать чаем.

Удивительное то было жилище. Катамото заново отделал превосходную старую квартиру и обставил ее согласно своему прихотливому вкусу. Просторная комната в глубине, тесно заставленная всякой всячиной, причудливо разгороженная прелестными японскими ширмами, обратилась в лабиринт из уютных маленьких уголков и закоулков. Да еще Катамото

пристроил лесенку, она вела на галерею, которая протянулась вдоль трех стен, и там, наверху, виднелась кушетка. Внизу все заставлено было крохотными столиками и стульчиками, но имелся и роскошный диван со множеством подушек. И всюду бесчисленные странные вещицы, безделушки из резного камня и слоновой кости, и все пропитано ароматом каких-то курений.

Впрочем, посреди комнаты оставалось пустое пространство, только пол был застлан заляпанной белым парусиной и возвышалась огромная гипсовая фигура. Из слов Катамото Джордж понял, что японец занимается весьма выгодным делом: поставляет скульптуры для дорогих ресторанов и огромные, в пятнадцать футов вышиной статуи местных политических деятелей для украшения площадей в маленьких городках и даже в столицах штатов вроде Арканзаса, Небраски, Айовы и Вайоминга. Где и как овладел Катамото этим странным ремеслом, Джордж так и не узнал, но овладел в совершенстве, до тонкости, с истинно японским прилежанием и основательностью, и его изделия, видимо, находили большой спрос, чем работы скульпторов-американцев. Несмотря на малый рост и словно бы хрупкое сложение, Катамото был весь — воплощенная энергия и способен на подлинно титанический труд. Одному богу известно, как он справлялся, откуда только брались у него силы.

Джордж что-то спросил о гипсовой громадине посреди комнаты, и Катамото подвел его поближе и показал на ноги белого великана:

— Он совсем как вы!.. Топ-топ!.. Да-да... Он топочет!

Потом повел Джорджа на галерею, и Джордж, как полагается, выразил свое восхищение.

— Да-да! Вам нравится? — Катамото широко, но не без смущения улыбнулся Джорджу, потом показал на кушетку: — Я тут сплю. — Потом ткнул пальцем в потолок, такой низкий, что Джордж не мог распрямиться во весь рост, и с живым интересом спросил: — А вы спите там?

Джордж кивнул.

Катамото опять заулыбался, но говорил он теперь с запинками, явно смущенный:

— Я тут, — он показал пальцем на свое ложе, — а вы там, да?

Он поглядел на Джорджа чуть ли не с мольбой, даже с отчаянием... и вдруг Джордж начал понимать.

— А, вы хотите сказать, что я как раз над вами? (Катамото с облегчением кивнул.) И когда я не ложусь допоздна, вам, наверно, слышно?

— Да-да! — Японец усиленно кивал. — Иногда... — Улыбка у него получилась немножко печальная. — Иногда вы... топочете! — С робкой укоризной он погрозил Джорджу пальцем и хихикнул.

— Ох, извините! — сказал Джордж. — Я ведь не знал, что вы спите так... под самым потолком. Когда я работаю допоздна, я всегда хожу из угла в угол. Прескверная привычка. Постараюсь отвыкнуть.

— Ой нет! — искренне огорчился Катамото. — Я не хочу, чтобы вы... как это вы сказали?... меняли образ жизни!.. Что вы, сэр, помилуйте! Нужно немножко, пустяк — снимать на ночь башмаки! — Он показал пальцем на свои мягкие шлепанцы и с надеждой улыбнулся Джорджу. — Вам такие нравятся, да?

И опять улыбнулся своей неотразимой улыбкой.

С тех пор, разумеется, Джордж ходил дома в шлепанцах. Но иногда забывал переобуться, и наутро Катамото опять стучался к нему. Никогда он не сердился, был неизменно терпелив, добродушен, безукоризненно учтив, но неукоснительно призывал Джорджа к ответу.

— Опять топочете! — восклицал он. — Сегодня ночью опять топ-топ!

И Джордж просил прощения и обещал, что больше не будет, и Катамото уходил, посмеиваясь, и напоследок оборачивался, лукаво грозил пальцем, еще раз выкрикивал: «Топ-топ!» — и, захлебываясь смехом, сбегал с лестницы.

Они стали друзьями.

Шли месяцы, и нередко, возвращаясь домой, Джордж заставал полный коридор

грузчиков; они пыхтели и потели, а Катамото, с головы до пят в белой пыли и гипсовой крошке, обуреваемый страхом, как бы не испортили его работу, вился вокруг; он испуганно и умоляюще улыбался, судорожно стискивал крохотные ручки и маялся жадной помочь делу: то весь вздрогнет, то метнется в ужасе и вновь отскочит, то съежится, то извивается всем телом — и непрестанно повторяет с напряженной, изысканной, вкрадчивой учтивостью:

— Теперь вот вы... пожалуйста... чуточку!.. И вы... да-да-да! (Он судорожно улыбається.) О-ох!.. Да-да... Прошу вас, сэр!.. Нельзя ли пониже... чуточку... да... да-да! — Он переходил на шепот и искательно, с мольбой улыбался.

И грузчики по частям вытаскивали из дому и водружали в фургон какого-нибудь Перикла из Северной Дакоты — монумент таких размеров, что оставалось диву даваться, как изящный и с виду хрупкий маленький человечек ухитрился смастерить эдакую громадину.

Потом грузчики отбывали, и некоторое время мистер Катамото предавался праздности и отдыхал душой. Он выходил во двор со своей подружкой, тоненькой проворной японкой, в жилах которой, судя по внешности, текло еще и немного итальянской крови, и они часами играли в мяч. Катамото бил мячом в кирпичную стену соседнего дома и при удаче всякий раз залиvisto хохотал, хлопал в ладоши и под конец уже хватался за живот и еле держался на ногах. Захлебывался смехом и, не помня себя от восторга, пронзительно частил:

— Да-да-да! Да-да-да! Да-да-да!

А если заметит в окне Джорджа, встретится с ним взглядом — опять закатится, грозит пальцем и чуть не визжит:

— А кто у нас топочет?.. Да-да-да!.. Сегодня ночью опять топ-топ!

И в приступе неудержимого веселья побредет через двор, прислонится к стене и весь согнется, держась за тощий животик, и только слабо стонет от смеха.

Жаркое лето было уже в самом разгаре, и вот в первых числах августа, возвратясь домой, Джордж снова наткнулся на грузчиков. На сей раз, похоже, предстояло перевезти махину еще побольше прежних. Катамото, весь заляпанный белым, разумеется, маячил в прихожей, беспокойно улыбался и умоляюще суетился вокруг дюжих парней. Когда Джордж вошел в коридор, двое пятились ему навстречу, они тащили исполинскую голову с бульдожьими челюстями и с печатью подобающей; государственному мужу умудренной прозорливости на челе. Чуть погода из дверей скульптора, пятясь, вышли еще трое, — пыхтя, кряхтя и ругаясь, они ворочали кусок развевающегося долгополого сюртука и великолепно круглящееся обтянутое жилетом брюшко. Тем временем вернулись первые двое и вновь появились, шатаясь под тяжестью могучей ноги в гипсовых брюках, обутой в башмак, который пришелся бы впору Атланту. Один из грузчиков, идущих за новой долей великого государственного деятеля, прижался к стене, давая им дорогу.

— Ух ты! — сказал он. — Коли этот сукин сын на тебя наступит своей ножищей, так и мокрого места не останется, верно, Джо?

Последней выволокли ручищу гипсового Солона, она заканчивалась сжатым кулаком, только указующий перст торжественно торчал ввысь, заклиная и укоряя.

Это был шедевр Катамото, — Джордж смотрел и чувствовал, что в гигантском поднятом пальце достигли вершины искусство и самая жизнь маленького скульптора. Конечно же, это самое заветное его творение. Никогда раньше Джордж не видел его таким взволнованным. Грузчики обливались потом, а он, глядя на них, кажется, возносил молитвы к небесам. Их грубые, неосторожные прикосновения к его любимому детищу заставляли его содрогаться. В улыбке, оледеневшей на его лице, был ужас. Он ежился, корчился, стискивая крохотные ручки, умоляюще что-то лепетал. Джордж не сомневался, если что-нибудь стрясется с этим толстенным вытянутым гипсовым пальцем, Катамото рухнет бездыханный.

Но наконец этого Озимандию благополучно погрузили в огромный фургон и покатали прочь, а его создатель, маленький, тощенький, окончательно выбившийся из сил, стоял на обочине, растерянно глядя вслед. Затем вернулся в дом, увидел Джорджа и улыбнулся жалкой, вымученной улыбкой.

— Топ-топ, — выдавил он из себя и погрозил пальцем, но впервые — слабо и вяло, безо

всякой веселости.

Никогда прежде Джордж не видел его усталым. Казалось, этот маленький человечек вовсе не знает усталости. Он был такой живой, неугомонный. А тут, видно, совсем выдохся, и лицо какое-то землистое... Джорджу отчего-то стало грустно. Катамото помолчал минуту, потом поднял голову и вымолвил глухо, печально, но в голосе его все же сквозило любопытство:

— Вы статую видели? Да?

— Да, Като, видел.

— И понравилось вам?

— Да, очень.

— И... — Японец тихонько прыснул и взмахнул руками. — И ноги видели?

— Видел.

— Я так думаю... вот кто будет топотать, да? — И он слабо усмехнулся.

— Да уж наверно, с эдакими копытами, — сказал Джордж и, чуть подумав, прибавил: — У него почти такие же ножищи, как у меня.

Катамото пришел в восторг.

— Да-да! — подхватил он, тоненько засмеялся и усиленно закивал. Помолчал немного и нерешительно, но теперь уже не в силах скрыть любопытство, спросил: — А палец видели?

— Видел, Като.

— И понравилось? — был поспешный, жадный вопрос.

— Очень.

— Большой он, да? — В голосе Катамото нарастало торжество.

— Очень большой, Като.

— И по-ка-зы-вае... да? — с упоением произнес Катамото, расплылся в улыбке до ушей и тоже ткнул крохотным пальчиком в небеса.

— Да, показывает.

Скульптор умиротворенно вздохнул. Видно было, что он утешен и доволен, как дитя.

— Что ж, — сказал он, — я рад, что вам понравилось.

После этого Джордж с неделю не видел Катамото и даже не вспоминал о нем. В Школе прикладного искусства были каникулы, и теперь Джордж, не теряя ни минуты, днями и ночами самозабвенно предавался писанию. И вот как-то под вечер, докончив большой кусок, он швырнул исчерканные торопливыми каракулями страницы в грудку бумаги на полу, с облегчением откинулся на стуле, поглядел в окно, выходящее во двор, — и вдруг подумал о Катамото. Что-то в последнее время того совсем не видно, и даже не слышать знакомого постукивания мяча о стену и громкого, пронзительного смеха. И, оказывается, всего этого очень не хватает... Джорджу стало не по себе, встревоженный, он сбежал по лестнице и позвонил у дверей Катамото.

Никакого ответа. Тишина. Джордж подождал — никто к нему не вышел. Тогда он спустился вниз и отыскал привратника. Тот сказал, что мистер Катамото болен. Нет, вроде ничего серьезного, но доктор велел отдохнуть, на время оставить тяжелую работу и отослал его в соседнюю больницу, — там, мол, будет и наблюдение и уход.

Джордж собирался навестить приятеля, да был поглощен своей новой книгой и все откладывал. А через несколько дней, поутру, возвращаясь домой после завтрака в ресторане, он увидел перед домом фургон. Дверь Катамото была распахнута, Джордж заглянул: квартира опустела, грузчики уже почти все вынесли. Посреди комнаты, когда-то поразившей Джорджа, где Катамото так усердно трудился над своими детищами, стоял знакомый скульптора, молодой японец, Джордж его здесь уже встречал. Сейчас он распоряжался отправкой мебели.

Заслышав шаги Джорджа, молодой японец поднял глаза и показал зубы в учтивейшей ледяной улыбке. Он не сказал ни слова, пока Джордж не спросил, как здоровье мистера Катамото. Тогда все с той же белозубой ледяной улыбкой, с той же непроницаемой

учтивостью он сообщил, что мистер Катамото умер.

Джордж был ошеломлен. Постоял немного, понимал, что сказать тут нечего, и, однако, чувствуя, как все это чувствуют в подобные минуты: что-то сказать необходимо... Поглядел на молодого японца, открыл было рот — и встретил вежливый, непроницаемый, замкнутый взгляд самой Азии.

И не стал ничего говорить. Только поблагодарил молодого человека и вышел.

4. То, что никогда не меняется

Из окон, выходящих на улицу, Джорджу только и видна была угрюмая громадина склада через дорогу. Это был мрачный, уродливый домина унылого ржаво-бурого цвета, весь в жесткой паутине пожарных лестниц; по фасаду из конца в конец тянулась ветхая деревянная вывеска, а на ней выцветшими, почти неразборчивыми буквами значилось: «Агентство доставки». Джордж из знал, что за штука агентство доставки, но с тех пор, как он поселился на этой улице, дня не проходило, чтобы к бурому зданию не подъезжали огромные грузовики; аккуратно примериваясь, они пятились задом, пока не подбирались вплотную к истертым доскам погрузочной платформы, край которой круто обрывался на высоте четырех футов над тротуаром. Шоферы и их подручные соскакивали наземь, и тотчас молчаливые недра старого здания заполнял неистовый шум рабочей суеты, воздух гудел от резких окриков:

— Подай назад, вы, там! Подай назад! Давай, давай! Пособите-ка, ребята! Эй, вы!

Лица у этих людей были грубые, они глядели друг на друга насмешливо, негромко чертыхались, кривя губы. И яростно огрызались, отстаивая свои права, не желая сделать ни на волос больше, чем положено:

— А мне какое дело, куда везти! Это твоя забота, черт подери! Я-то при чем?

Работали они быстро, с удивительной силой и сноровкой, свирепые, недобрые, их подхлестывало какое-то злое беспокойство, и крикливые голоса звучали злобно.

Огромный город был этим людям жестокосердой матерью, и вскормила она их горечью. Они родились среди кирпича и асфальта, в многоэтажных людских ульях, на кишащих народом улицах, с младенчества их убаюкивал оглушительный лязг внезапно налетающих поездов надземки, сызмальства они учились драться, грозить, огрызаться и отбиваться в мире свирепого насилия, неумолчного шума и грохота — город наложил на них неизгладимое клеймо, проник в их плоть и кровь, кислотой въелся в их движения и речь, в их мысли и понятия. Грубые лица их были иссечены морщинами, загрубевшая серая кожа будто вся иссохла и выцвела. Самый пульс у них словно бился в яростном ритме города; искривленные губы готовы мгновенно изрыгнуть лязгающую железом брань, в сердцах затаилась непомерная мрачная гордыня.

И души их были подобны асфальтовым ликам городских улиц. Каждый день по ним пронеслись неистовые краски тысяч новых ощущений — и каждый день все звуки, все краски, всю ярость вновь сметало без следа с этой упорной брони. Десять тысяч яростных дней пронеслось над ними — и ничего не осталось в их памяти. Они жили точно существа, рожденные только сегодня и сразу взрослыми, с каждым вздохом они начисто избавлялись от прошлого, и вся их жизнь заключалась в одной лишь настоящей минуте.

И как же они были тверды и уверены в себе, вечно неправы, но всегда самонадеянны. Они никогда не колебались, не признавались в неведении и ошибках, не знали сомнений. Каждое утро они начинали насмешкой, окриком, торопливой грубой руганью, им не терпелось окунуться в дневную суматоху. В полдень они прочно сидели в своих машинах и сквозь вонь бензина и разогретых моторов во всеуслышание кляли на чем свет стоит подлые трюки соперников, которые ухитрялись их обогнать, и тиранов полицейских, безмозглых пешеходов, и промахи собратьев, не столь искусных в том же ремесле. Каждый день они встречали опасности, которыми грозила им улица, так невозмутимо, будто катили по глухим проселкам. Каждый день, глазом не моргнув, они пускались в приключения, перед которыми в ужасе и отчаянии отступили бы храбрейшие уроженцы захолустных окраин.

Пронизывающе сырой и холодной ранней весной они ходили в черных шерстяных блузах и кожаных куртках, но сейчас, летом, работали полуголые — и видно было, как на худощавых жилистых телах, под загаром и татуировкой, змеями извиваются мышцы. Джордж смотрел на их мощные и точные движения почтительно и едва ли не со стыдом. Ибо рядом с жизнью этих людей, которые научились наилучшим образом применять свои силы и таланты, его собственная жизнь, раздирающие его непримиримые порывы и желания, смутные планы и замыслы, труды, начатые с надеждой и, как часто бывало, заброшенные на полпути, — все казалось бестолковым, неверным, все шло вслепую и кое-как.

А пять раз в неделю по ночам вдоль обочины выстраивался в молчаливом ожидании длиннейший караван. Теперь фургоны были крыты брезентом, по правому и левому борту горели зеленые фонарики да красновато тлели огоньки сигарет, так что едва можно было различить лица людей, которые негромко переговаривались в тени своих огромных машин. Как-то Джордж спросил одного шофера, куда они ездят по ночам, и тот объяснил: в Филадельфию, оборачиваются к утру.

В этих ночных машинах, таких хмурых и тихих, жила, однако, могучая сила и нетерпение, словно и они, как шоферы, только ждали приказа двинуться в путь, и от этого для Джорджа вдруг все становилось таинственным и радостным. Эти люди принадлежат к великому братству тех, кто любит ночь, и его соединяют с ними те же узы. Ведь ночь всегда была ему не в пример милее дня, и все его творческие силы достигали высшего накала в потаенном ликующем объятии ночной темноты.

Ему знакомы были и радости, и тяжкий труд таких вот людей. Перед глазами вставала темная вереница машин, что с гроыханьем катили через спящие города, и лицо ему обдавало темнотой, свежим дыханьем полей. Он видел, как согнулись над рулями шоферы — они настороже, всем существом вслушиваются в сиреневый сумрак и впиваются глазами в дорогу, чтоб как-то отгородиться от пустынных ночных просторов. Знакомы ему были и придорожные буфеты, где они останавливаются перекусить, забегаловки, открытые день и ночь, — там тепло светят мутные лампы и то пусто, безлюдно, только дремлет за стойкой хозяин — важный грек в белом фартуке, то вдруг все заполнится шарканьем и топотом ног, громкими резкими голосами нахлынувших толпой шоферов.

Они входят, усаживаются на поставленных в ряд табуретах и заказывают еду. И ждут, и голод их все острее от запахов чисто мужской еды — кипящего кофе, яичницы, и жареного лука, и шипящих на сковороде бифштексов, а пока едим, бесценным и ничего не стоящим утешением служит им сигарета, они закуривают, заслонив огонек ладонью у твердых губ, и глубоко затягиваются, и медленный дым струится из ноздрей. Они щедро поливают бифштексы густым томатным соусом, темными, неотмывающимися пальцами разрывают ломти душистого хлеба и едят быстро, алчно, со свирепым наслаждением накидываются на тарелку и кружку, точно дикие звери на добычу.

О, он с ними, он из них и для них, он по-братски делит с ними радость и голод, до последнего жадного глотка, до последнего убагодворенного вздоха блаженной сытости, до последнего медленно, с наслаждением выдохнутого дымного колечка. В колдовской летней тьме их жизнь казалась ему прекрасной. Вот они мчатся сквозь ночь в рассвет, в утренние птичьи песни, в утро, несущее земле новую радость. И когда он об этом думал, ему казалось — потаенно живущее во тьме неистовое и одинокое сердце человеческое вечно молодо и не может умереть.

Все то лето, лето 1929 года, он видел в большом окне склада напротив какого-то человека, который сидел за письменным столом, всегда в одной и той же позе, и смотрел на улицу. Когда бы Джордж ни вскинул глаза, тот неизменно сидел сложа руки, уставясь в окно застывшим, невидящим взглядом. Поначалу Джордж его почти не замечал, такой тот был бесцветный, ненавязчивый, будто привычное пятно на выгоревших обоях. А потом его заметила Эстер и однажды, кивнув в его сторону, сказала весело:

— А вот и наш приятель из агентства доставки! Как ты думаешь, что он там доставляет? Сколько я смотрю, он ни разу палец о палец не ударил! Нет, ты обратил внимание? — с жаром воскликнула она. — Просто непостижимо! — Она громко рассмеялась, недоуменно пожала плечами и чуть погода продолжала уже серьезно, озадаченно: — Правда, странно? Ну, что, по-твоему, способен делать такой человек? Как по-твоему, о чем он думает?

— Не знаю, — равнодушно отозвался Джордж. — Ни о чем, наверно.

И они забыли про этого человека и заговорили о своем, но с тех пор присутствие странного соседа досаждало Джорджу, и он как замороженный стал присматриваться и гадать — почему тот сидит будто истукан и куда уставился?

И Эстер теперь каждый день, чуть не с порога, бросала взгляд на окно напротив и восклицала с веселым удовлетворением, с каким находишь знакомую вещь на привычном месте:

— Ага, наш старый друг из доставки все еще смотрит в окошко! Любопытно, а сегодня он о чем задумался?

И со смехом отворачивалась. Минуту-другую, как всегда по-детски поддаваясь обаянию слов и ритмов, беззвучно шептала что-то без смысла и толку: «Доставка-обставка-травка-муравка-вербавка...» — и наконец, ликуя, нараспев, возвещала:

Он доставки не доставил,
От работы не оставил!

Джордж заявлял, что это не стишки, а чепуха, но Эстер, запрокинув голову, вся красная, хохотала до слез.

Однако понемногу они перестали смеяться, глядя на этого человека. Его служба казалась загадочной, его невероятная праздность сперва их только забавляла, но потом они ощутили в этом странном, застывшем взгляде что-то внушительное, важное, даже грозное. Из дня в день перед глазами этого человека с громом неслась по улице хлопотливая жизнь; из дня в день подъезжали огромные фургоны, бурлил людской водоворот — торопливо, со злостью делали свое дело шоферы, грузчики, упаковщики, кричали, бранились... а человек у окна ни разу на них не посмотрел, ничем не показал, что слышит их, он словно бы вовсе их не замечал, просто сидел, уставясь в окно застывшим, невидящим взглядом.

На своем веку Джордж Уэббер видел многое множество всяких, казалось бы, пустячных мелочей, которые, однако же, запали в память, застряли в ней, будто репы в собачьей шерсти; и всегда именно какая-нибудь мелочишка врезалась ему в сердце, мгновенным озарением открывая что-то бесконечно глубокое и значительное. Так, он запомнил, запомнил навсегда, серьезное и сияющее лицо Эстер, — как оно нежданно вспыхнуло перед ним и тотчас исчезло в серой безликой толпе на Таймс-сквер. И так же запомнились двое глухонемых, которые разговаривали друг с другом на пальцах в вагоне метро; и смех детворы, что внезапно зазвенел в час заката на унылой безлюдной улице; и девушки, которых он видел из окна, выходящего в проулок, как они в своих каморках из дня в день опять и опять стирают и гладят убогие наряды в вечном ожидании гостя — того, кто никогда к ним не придет.

И вот теперь к этим бережно хранимым в памяти пустякам прибавилось лицо незнакомца из агентства доставки — тупое, бледное, непроницаемое, и этот словно навек застывший равнодушно-печальный взгляд. В огромном городе, в лихорадочно бурлящем хаосе, где все так быстро появляется и проходит, исчезает и тут же забывается, всегда одинаковое, спокойное, бесстрастное лицо это стало для Джорджа символом незыблемости. Ибо день за днем наблюдал он этого человека и силился разгадать его тайну — и наконец, казалось, нашел ответ.

И потом много лет вспоминалось ему это лицо, и всегда — таким, каким он видел его как-то под вечер в конце лета. Заходящее солнце уже не слепит и не жжет, лишь окрашивает

нагретый за день кирпич старого здания каким-то грустным призрачным светом. А у окна, как всегда, сидит тот человек и смотрит, смотрит. Не дрогнет немигающий взгляд, спокойный и печальный, и лицо этого человека — точно стены тюрьмы, где томится пленный дух.

Лицо его стало для Джорджа ликом Тьмы и Времени. Оно было безмолвно, и, однако, у него был голос — голос, которым словно говорила вся земля. То был голос вечера и ночи, и в нем слились воедино речи всех тех, что прошли через горячку и неистовство дня и теперь мирно оперлись на вечерние подоконники. В нем была вся необъятная тишина и усталость, что охватывает город в сумерки, когда окончился еще один суматошный день и все вокруг — улицы, дома, восемь миллионов человек — с усталым и грустным облегчением медленно переводят дух. И в этом единственном безъязыком голосе можно было различить все их разноязыкие речи.

— Дитя, — говорил этот голос, — дитя, наберись терпенья и веры, ибо из многих дней состоит жизнь, и всякий час настоящего минет. Сын, сын, ты бывал безумным и пьяным, бешеным и неистовым, тобой владели ненависть, и отчаяние, и все темные бури, какие сотрясают человеческую душу, — но так бывало и с нами. Ты убедился, что земля слишком велика — ее не объять за одну твою жизнь, ты убедился, твой мозг и мышцы куда слабей, чем сжигающие их желания и стремления, — но так бывало всегда и со всеми. Ты спотыкался во мраке, метался на распутьях, блуждал, сбивался с дороги, — но, дитя, так от века повелось на этой земле. И теперь, когда ты изведаль безумие и отчаяние и еще не раз отчаешься вновь, прежде чем настанет вечер, — мы, что уже пытались взять приступом эту неистовую землю и потерпели поражение, мы, кого доводила до безумия непостижимая горькая тайна любви, кто жаждал славы и испытал все, чем полна жизнь, — смятение, боль, ярость, — и вот теперь, сидя у окна, спокойно смотрим на все, что никогда уже нас не встревожит, — мы говорим тебе: не падай духом, ибо, поверь, все пройдет.

За наш век блеснуло и сменилось столько мод, столько возникло и отжило новинок, столько забылось слов, столько имен возносилось в сиянии славы и рушилось в бездну; а теперь мы знаем, мы недолгие гости, чьи шаги не оставляют следа на бесконечных дорогах жизни. Мы больше не вступим во мрак, не поддадимся мукам безумия, не признаемся в отчаянии; мы огородились глухой стеной. Нам уже не придется слушать, как часы отбивают время под чуждым небом, и просыпаться поутру в чужой стране с мыслью о родном доме: наши скитания окончены и голод утолен. Брат, сын, товарищ, знай, мы долго жили и много видели — и оттого теперь нам довольно обладать совсем немногим, и пусть все остальное в мире проходит мимо нас.

Есть на свете такое, что никогда не меняется. Есть такое, что остается навсегда. Прильни ухом к земле и слушай.

Лепет лесного ручья в ночи, смех женщины в темноте, звонкий дробный стук гравия под граблями, полуденный стрекот кузнечиков на знойном лугу, тончайшая паутина детских голосов в ясный день — вот что навеки неизменно.

Блики солнца на играющей волне, сияние звезд, чистота утра, соленое дыхание моря в гавани, ветви в набухших почках, окутанные дымкой, нежнейшим оперением новорожденной листвы, и во всем этом что-то мимолетное, навеки неуловимое, острым шипом пронзающая сердце весна, пронзительный безъязыкий клич, — вот что остается навеки неизменным.

Все, что от самой земли, не изменяется — лист, былинка, цветок, ветер, который плачет, и засыпает, и пробуждается вновь, и деревья, чьи окоченелые руки содрогаются и стучат друг о друга во мраке, и прах давным-давно зарытых в землю влюбленных, — все, что рождает земля в каждое время года, все, что течет и меняется и вновь возникает на земле, — все это пребудет неизменным, ибо возникает из земли, а она не меняется, и возвращается в землю, а она — вечна. Одна только земля непреходяща, и она пребывает вовеки.

И тарантул, ехидна, гадюка тоже не меняются. Боль и смерть навсегда остаются те же. Но что-то бьется, словно пульс, под асфальтом мостовых, бьется, словно крик, под камнем зданий, под тяжкими шагами уходящего времени, под жестоким копытом зверя, дробящего кости городов, что-то прорастает, как цветок, вновь прорывается из земли и, бессмертное,

навекы верное, вновь оживает, словно апрель.

5. Потаенный ужас

Он с любопытством поглядел на желтый конверт, повертел его в руках. Странно было видеть сквозь прозрачную обертку свое имя, почему-то он ощутил и неловкость, и сдержанное волнение. Не привык он получать телеграммы. И невольно медлил, не вскрывал конверт, страшно было узнать, что там, внутри. Какой-то давно забытый случай в детстве внушил ему, что телеграмма всегда несет дурные вести. Кто мог ее послать? О чем она? Так вскрой же ее, дурень, и прочитай!

Он разорвал конверт, вынул листок. Первым делом глянул на подпись — телеграмма была от дяди, Марка Джойнера. И прочел:

«Твоя тетя Мэй умерла ночью точка похороны четверг Либия-хилле точка приезжай домой если можешь».

И все. Ни слова о том, от чего она умерла. Скорее всего, от старости. Ничто другое не могло бы ее убить. Она ничем не болела, не то его известили бы раньше.

Эта весть потрясла его. Но не так сильно было горе, как ощущение огромной утраты, словно бы даже какого-то стихийного бедствия... утраты, в которую просто не верится, будто вдруг перестала действовать некая великая сила самой природы. Это не вмещалось в сознании. С тех пор как умерла его мать (Джорджу было тогда всего восемь лет), тетя Мэй была самым прочным и непоколебимым столпом в мире его детства. Старая дева, старшая сестра его матери и дяди Марка, она взяла на себя заботу о мальчике и в его воспитание вложила весь пыл и усердие своей пуританской натуры. Всеми силами старалась она вырастить его настоящим Джойнером, достойным отпрыском замкнутого племени из горной глуши, к которому принадлежала она сама. Ей это не удалось, и его отступничество от истинно джойнеровской добропорядочности заставляло ее глубоко страдать. Он давно это знал; но только теперь ясней, чем когда-либо раньше, он понял: она всегда неукоснительно исполняла то, что считала своим долгом. Ему вспомнилось, как она жила, и невыразимая жалость, любовь и нежность захлестнула его, прихлынула к горлу и едва не задушила.

Всегда, с тех пор как он себя помнил, тетя Мэй казалась ему древней старухой, старой как мир. Ему и сейчас слышался ее голос — хрипло, на одной ноте тянула она бесконечную повесть о прошлом, населяя мир его детства толпами Джойнеров, которые давно отжили свое и похоронены в горах Зибулона еще до Гражданской войны. И едва ли не каждый ее рассказ был долгим перечнем недугов, смертей и скорбей. Она знала назубок все про всех Джойнеров за последние сто лет, знала, кого унесла чахотка, а кого воспаление легких, менингит или пеллагра, и явно наслаждалась, хриплым голосом воскрешая каждое событие из их жизни. Она рисовала мальчику его родичей с гор мрачными красками вечной нищеты и внезапно наступающей смерти, и грозную картину эту вновь и вновь озаряло призрачными сполохами вмешательство потусторонних сил. Тетя Мэй была убеждена, что сам всевышний наделил Джойнеров особым даром, приобщив их к миру духов: то и дело кто-нибудь из них объявлялся в безлюдье на пустынной дороге и заговаривал с одинокими путниками, а потом оказывалось, что в это самое время он был за полсотни миль от того места. Вечно им слышались таинственные голоса, вечно их одолевали недобрые предчувствия. Если неожиданно-негаданно умирал кто-то из соседей, со всей округи за много миль стекались Джойнеры и сидели возле покойника, и в пляшущих отвесах очага, где пылали сосновые поленья, всю ночь напролет толковали о том, как еще за неделю нечто предсказало им эту неминуемую гибель, и лишь треск осыпающихся угольев порой прерывал глухое, ровное жужжанье их голосов.

Таков был облик мира Джойнеров, который сложился в душе и в мыслях мальчика из неистощимых воспоминаний тети Мэй. И у него возникло странное чувство, будто, в отличие от всех людей, кому суждено прожить свой срок и умереть, Джойнеры — особая порода и не

подвластны этому закону. Они питаются смертью и торжествуют над ней, и не поддадутся ей во веки веков. А теперь тетя Мэй, самая старшая и самая, казалось, бессмертная из всех Джойнеров, умерла...

Похороны назначены на четверг. Сегодня вторник. Если выехать поездом сегодня, завтра он будет дома. Но, конечно, уже сейчас все племя Джойнеров с гор округа Зибулон в Старой Кэтоубе собирается вместе, чтобы справить извечный обряд надгробного бдения, и если приехать так рано, никуда не укроешься от этих ужасных, тоску наводящих разговоров. Лучше переждать день и подгадать к самым похоронам.

На дворе — первые числа сентября. Занятия в Школе прикладного искусства начнутся только в середине месяца. Уже несколько лет Джордж не был в Либия-хилле и теперь подумал — можно бы провести там с неделю, вновь поглядеть на родные места. Только вот страх берет при мысли поселиться среди родичей Джойнеров, да еще в пору траура. И тут ему вспомнился ближайший сосед, Рэнди Шеппертон. Родителей Рэнди уже нет в живых, старшая сестра вышла замуж и куда-то уехала. У Рэнди в Либия-хилле неплохая служба, и живет он все в том же доме вместе с другой сестрой, Маргарет, она ведет хозяйство. Пожалуй, можно бы остановиться у них. Они поймут. И Джордж дал Рэнди телеграмму, просил приютить его на недельку и сообщал, каким поездом приедет.

На другой день, когда Джордж поехал на Пенсильванский вокзал, первое потрясение от вести о смерти тетушки Мэй уже улеглось. Подумать страшно, до чего легко ум человеческий применяется ко всему на свете, и особенно наглядно это проявляется в его непостижимой жизнестойкости, в способности к самозащите и самосохранению. Лишь бы не рухнули все основы твоего бытия — и, если ты молод, здоров духом и у тебя еще есть время, ты примиряешься с неизбежным и уже готов встретить новые невзгоды, словно исполненный мрачной решимости американский турист, который, едва прибыв в новый город и оглядевшись по сторонам, деловито осведомляется: «Ну, а теперь куда?» Так было и с Джорджем. Предстоящие похороны приводили его в ужас, но до них оставались еще сутки; а пока что впереди долгие часы в поезде, — и вот, запрятав печаль и уныние в дальний угол души, он позволяет себе пока что насладиться радостным волнением, какое всегда пробуждает в нем поездка по железной дороге.

Вокзал встретил его налетающим издалека необъятным гулом времени. В пол косо упирались широкие полосы света, и в них роились мириады пылинок; и, возносясь над кишашей внизу неугомонной тысячеголосой толпой, под сводами огромного зала невозмутимо звучал голос времени. В нем как бы слышался ропот далекого моря, медленный плеск лениво набегающих на песок и вновь отступающих волн. Он был подобен стихии, отрешенный, равнодушный к людским жизням. Они вливались в него, точно капли дождя — в реку, величаво катящую свои воды из недр багровеющих на закате гор.

Не много есть на свете зданий столь огромных, чтобы вместить голос времени, и сейчас Джордж думал — просто великолепно, что лучше всего для этого подходят вокзалы. Ведь здесь, как нигде, людей на миг сводит вместе начало или конец их неисчислимых странствий, здесь видишь их встречи и расставанья, здесь в одном мгновенье перед тобой раскрывается вся человеческая судьба. Люди приходят и уходят, мелькают и исчезают, каждого всякая прожитая минута приближает к смерти, и крохотный маятник, отсчитывающий мгновенья каждому, вступает в единое звучание времени, — но голос времени остается равнодушным и невозмутимым: вечный дремотный ропот под исполинскими далекими сводами.

Все здесь, мужчины и женщины, поглощены каждый своим странствием. В непрестанном круговороте толпы у каждого — свое направление и своя цель. Каждому предстоит свое путешествие, и никому нет дела до чужих. Сидя в зале ожидания, Джордж заметил человека, который ужасно боялся пропустить свой поезд. От волнения ему не сиделось на месте, он лихорадочно суетился, окликал носильщика, а когда пошел к кассе покупать билет, пришлось стоять в очереди — и он чуть не прыгал от нетерпенья и поминутно взглядывал на часы. Потом, скользя по истертым плитам пола, к нему заспешила жена; еще издали она закричала:

— Ну, ты взял билеты? У нас времени в обрез! Мы упустим поезд!

— Сам знаю! — с досадой закричал в ответ муж. — Я и так из кожи вон лезу. — И прибавил громко, сердито: — Может, мы еще успеем, если этот, передо мной, перестанет копать и возьмет наконец билет.

Человек, стоявший впереди, угрожающе повернулся:

— Подождешь, подождешь малость! Тебе одному, что ли, надо поспеть на поезд! Я пораньше тебя пришел. Все ждут своей очереди, и ты подождешь.

Завязалась перебранка. Люди, дожидавшиеся позади этих двоих, начали злиться и ворчать. Кассир нетерпеливо застучал по своему окошку, потом выглянул и недовольно уставился на спорщиков. Какой-то молодчик в хвосте завопил:

— Да пошли вы к чертям отсюда и там разбирайтесь! Пропустите нас! Нечего всех задерживать!

Но вот беспокойный человек получил билеты и, вне себя от волнения, со всех ног помчался к своему носильщику. Благодушный негр встретил его широчайшей улыбкой.

— Спешить-то вам ни к чему. До поезда времени пропасть. Никуда он без вас не уйдет.

Кто они, эти путешественники, для которых время свернуто в тоненькую пружинку синей стали, сунутую каждому в карман? Вот, к примеру, негра потянуло в родную Джорджию; богатый молодой землевладелец с Гудзона едет в Вашингтон навестить мать; директор местного отделения фирмы сельскохозяйственных машин и трое его подчиненных возвращаются со съезда; глава одного из захолустных банков в Старой Кэтоубе, оказавшегося недавно под угрозой краха, ринулся вместе с двумя местными политиками в Нью-Йорк умолять тамошних банкиров о займе, а теперь едет восвояси; смуглый грек в коричневых башмаках, с картонным чемоданчиком, недоверчиво блестя глазами, заглядывает в окошко кассы и подозрительно спрашивает:

— А за билет до Питтсбурга сколько возьмете?

Женственного вида молодой человек, питомец одного из нью-йоркских институтов, отправляется читать еженедельную лекцию о театральном искусстве в дамский клуб города Трентона, штат Нью-Джерси; поэтесса откуда-то из Индианы, по своему обыкновению, раз в году развлекалась в Нью-Йорке «жизнью богемы»; боксер со своим менеджером едет на матч в Сент-Луис; компания студентов из Принстона провела лето в Европе и до начала занятий спешит накоротке навестить родных; тут же солдат, рядовой армии Соединенных Штатов, с виду никчемный, неотесанный и неряшливый, как все рядовые в армии Соединенных Штатов; и ректор университета одного из штатов Среднего Запада, красноречиво взывавший в Нью-Йорке к попечителям о финансовой помощи; и чета новобрачных с берегов Миссисипи, у этих все новехонькое с иголки — и одежда и чемоданы, а лица испуганные, враждебные и ошеломленные; и два щуплых филиппинца с кофейно-коричневой кожей и тоненькими, птичьими косточками, разряженные, щеголеватые, как манекены в витрине; и провинциалы из Нью-Джерси, что ездили в большой город за покупками; и женщины и молоденькие девушки, которые выбрались сюда из каких-то южных и западных городишек, кто на каникулы, кто в гости, кто поразвлечься и кутнуть; директора и агенты провинциальных магазинов готового платья со всех концов страны, — этим надо было обзавестись новинками стиля и моды; нью-йоркские жители особого склада, чувственные франты, блестящие, изысканные и холодные, всезнающие и самоуверенные, едут поразвлечься в Атлантик-сити; поблекшие, неряшливые, замученные матери бранят и дергают за тощие ручонки чумазных ребятишек; темнолицые хмурые, надменные итальянцы со смуглыми неопрятными, расплывшимися женами, угрюмо, но покорно сносящими и мужнюю похоть, и мужние побои; и элегантные американки, которых не укротит ни постель, ни плеть, — у них уверенные, резкие голоса, вызывающий взгляд, они прекрасно сложены, но начисто лишены живой гибкости духа и тела, чужды любви, страсти, нежности, какой бы то ни было женственности и мягкости.

Кого тут только нет, каких только не увидишь путников: бедняки с ожесточенными, каменными лицами — воплощенная глубокая провинция духа и плоти; обтрепанные

неудачники с чемоданишками, в которых только и есть что рубашка да воротничок с галстуком, — кажется, они вечно сваливаются с проходящих поездов в копоть и пыль все новых городишек в надежде, что хоть здесь им наконец повезет; жалкие бродяги и никчемушники, перекаати-поле со всей страны; богатые, лощенные, многоопытные путешественники, которых слишком часто и слишком далеко уносило несчетное множество роскошных поездов и пароходов и которые никогда уже не смотрят в окно; старики и старухи из захолустной глуши, которые впервые навещали своих детей в большом городе, — они поминутно бросают по сторонам опасливые взгляды, у них быстрые, подозрительные глаза, точно у птицы или звереныша, и они все время настороже, недоверчивые, боязливые. Тут есть люди, которые все видят и понимают; и такие, что глухи и слепы ко всему на свете, усталые, угрюмые, недовольные; и такие, что радуются, кричат и хохочут, в восторге от предстоящей дороги; одни толкаются и лезут сквозь толпу, другие тихо стоят в сторонке и смотрят и ждут; у иных лица насмешливые или надменные, а иные ошетинились, смотрят свирепо, вот-вот полезут в драку. Молодые и старые, богатые и бедные, евреи и христиане, негры, итальянцы, греки, американцы — все они сошлись тут, на вокзале, бесконечно разнообразные судьбы их вдруг обрели общее звучание, исполнились глубокой и мрачной значительности, собранные вместе и объятые неумолчным, слитным и всепоглощающим гулом времени.

Место Джорджа было в вагоне К19. В сущности, вагон этот ничем не отличался от других пульмановских вагонов, но для Джорджа он был совсем особенный. Ведь именно К19 изо дня в день связывал друг с другом две точки в разных концах материка — крупнейший город страны и отстоящий от него на восемьсот миль Либия-хилл, крохотный городишко, где Джордж родился. Каждый день в час тридцать пять он отправлялся из Нью-Йорка и прибывал в Либия-хилл на другое утро в одиннадцать двадцать.

Войдя в вагон, Джордж мгновенно перенесся из разноликого и расплывчатого вокзального многолюдья в знакомый уголок родного города. Можно уехать оттуда на долгие годы и за все время не видеть ни одного знакомого лица; можно скитаться на чужбине и забрести на край света; можно наградить младенцем корень мандрагоры, услышать пение русалок, понять и запомнить наизусть напевы сирен; можно весь век жить и работать отшельником в ущельях Манхэттена, пока самое воспоминание о доме не истает, не станет далеким, как сон, — но едва Джордж вошел в вагон К19, все разом вернулось, ноги его коснулись твердой земли: он снова дома.

Сверхъестественно, почти жутко. И что самое удивительное и загадочное — на это свидание можно прийти каждый день ровно в час тридцать пять; надо только добраться по шумным улицам, в потоке людей и машин, до высоченных дверей огромного вокзала, одолеть кипящий в вестибюле людской водоворот, где вечно сталкиваются приезжающие и отъезжающие, пересечь громадные залы, заселенные Всеми и Каждым, просторы, где звучит призрачный голос времени, спуститься по крутым ступеням, — и здесь, в глубине туннеля, под этим миром, гудящим жизнью, точно улей, на своем неизменном месте, с виду точно такой же, как все его чумазые от копоты собратья, стоит вагон К19.

Проводник, улыбаясь во весь рот, взял у Джорджа чемодан.

— Это вы, сэр, мистер Уэббер! Радостно вас повидать, сэр! Едете навесить своих?

Идя за ним по зеленому коридору к своему месту, Джордж объяснил, что едет на похороны тетки. Веселая улыбка тотчас угасла, лицо у негра стало серьезное и почтительное.

— Горестно мне это слышать, сэр, — сказал он, качая головой. — Да, сэр, очень горестно мне такое слышать.

Не успели отзвучать эти слова, как Джорджа окликнули сзади, и он, еще не обернувшись, по голосу узнал, кто с ним здоровается. Это был Сол Айзекс, владелец магазина готового платья, — ясное дело, ездил в Нью-Йорк закупать товар, он всегда проделывал это путешествие четырежды в год. У Джорджа стало даже как-то теплее на душе, когда он понял, что старый коммерсант все так же неукоснительно верен своим привычкам, и вновь увидел эту дружелюбную физиономию с крючковатым носом и кричаще пеструю рубашку, яркий галстук, щегольской светло-серый костюм (Сол всегда был известен как завятый модник).

Потом Джордж огляделся — нет ли еще знакомых? Да, вот высокий, сухой и тощий, того гляди, переломится, изжелта-бледный банкир Джарвис Ригз что-то обсуждает с двумя другими либия-хиллскими столпами, занимающими скамью напротив. Джордж узнал мэра — круглолицего, вяло благодушного Бакстера Кеннеди; рядом с ним, выставив неуклюжие ножищи в коридор и откинув на спинку скамьи голову, украшенную, точно тонзурой, большой плешью в бахrome черных волос, расселся жирный и тучный, как вол, Пастор Флэк; когда он говорил, обрюзглые щеки его тряслись; он был в Либия-хилле главным политическим заправилой, а прозвище Пастор получил за то, что не пропускал ни одного молитвенного собрания в Кемпбелитской церкви. Все трое увлеклись, говорили громко, и до Джорджа долетали обрывки разговора:

— Базарная улица — еще бы, от Базарной я и сам не откажусь!

— Гэй Радд за свой фут по фасаду спрашивает две тысячи. И получит, будьте уверены. Я бы взял две с половиной и ни центом меньше, только я не продаю.

— Года не пройдет, цена за фут будет все три тысячи, помяните мое слово! И это не все! Это еще только начало!

Неужели они толкуют про Либия-хилл? Уж очень это непохоже на сонный горный городишко, знакомый ему с колыбели. Джордж поднялся и подошел к тем трим.

— А, здорово, Уэббер! Здорово, сынок! — Пастор Флэк скорчил гримасу, которая должна была изображать приветливую улыбку, выставил напоказ большие желтые зубы. — Рад тебя видеть. Как поживаешь, сынок?

Джордж пожал руки всем трим и остановился подла них.

— Мы слышали, как ты говорил с проводником, когда вошел, — сказал мэр и состроил торжественно-скорбную мину. — Сочувствую, сынок. Мы ничего не знали. Целую неделю пробыли в отъезде. Скоропостижно скончалась?.. Да, да, понятно. Что ж, твоя тетушка была уже в годах. В таком возрасте приходится быть к этому готовым. Хорошая была женщина, очень хорошая. Сочувствую, сынок, жаль, что ты возвращаешься домой по такому печальному поводу.

Настало короткое молчание, словно другие двое давали понять, что мэр высказал и их чувства тоже. Выразив таким образом уважение к покойнице, Джарвис Рига оживленно заговорил:

— Надо тебе побыть дома подольше, Уэббер. Сам увидишь, наш город не узнать. Дела процветают. Только на днях Мак-Джадсон выложил триста тысяч за Мануфактурный склад. Развалине этой, конечно, грош цена, но он платил за землю. По пять тысяч за фут. Недурно для Либия-хилла, а? Фирма Ривза откупила всю землю по Паркер-стрит, начиная от Паркер-хилла. Они хотят застроить этот участок под конторы и магазины. И так по всему городу. Через пять лет наш Либия-хилл будет самым большим и красивым городом в штате. Помяни мое слово.

— Да, — с понимающим видом поддержал Пастор Флэк и внушительно закивал. — И я слышал, они хотели купить участок твоего дяди на Южной Мэйн-стрит, на углу площади. Какой-то синдикат собирается снести скобяную лавку, а на ее месте построить большой отель. Но твой дядюшка продавать не стал. Его не проведешь.

В растерянности и недоумении Джордж вернулся на свое место. Он уже несколько лет не был дома, и ему хотелось увидеть родной город таким же, каким тот оставался в памяти. А там, видно, все переменялось. Что же происходит? Просто понять нельзя. Беспokoйно и Смутно ему стало — так всегда бывает, когда вдруг тебе Откроется, как меняет Время все, что было знакомо и привычно с колыбели.

Поезд пулей промчался по туннелю под Гудзоном, вылетел на слепящий свет послеполуденного сентябрьского солнца и теперь несся по плоским, унылым равнинам штата Джерси. Джордж смотрел, как за окном сменяют друг друга тлеющие груды мусора, болота, закопченные фабрики, и наслаждался: до чего же это здорово — катить поездом! Совсем не то, что смотреть на проносящийся поезд со стороны. Для стороннего зрителя поезд — налетающий гром, сверканье рычагов, жаркий шквал свистящего пара, слитный промельк

вагонов, стена движенья и шума, визг, вопль, а потом — пустота, утрата: вот все и уехали, — хоть и не знаешь, кто там был. И вдруг ощущаешь, до чего огромна и пустынна Америка, до чего ничтожны все эти крохотные существованья, пронесшиеся мимо по необъятному матеруку. А вот когда ты сам в вагоне, тогда все по-иному. Ведь поезд — чудесное создание рук человеческих, и все в нем красноречиво свидетельствует о человеческой воле и целеустремленности. Чувствуешь, как включаются тормоза, когда состав приближается к реке, и знаешь, дросселем управляет искусная и твердая рука. Сидишь в поезде — и сам уверенней ощущаешь себя мужчиной, повелителем вещей. А люди, вокруг — до чего они живые, настоящие! На толстого чернокожего проводника с ослепительно белыми зубами и вздувшейся за ухом шишкой глядишь как на старого друга, становится теплее на душе. Зорко всматриваешься во всех подряд хорошеньких девушек, и чаще стучит сердце. С живым интересом смотришь на всех пассажиров, и кажется, целую вечность с ними знаком. Наутро почти все они навсегда уйдут из твоей жизни; иные молчаливо исчезнут за ночь, под беспросветный храп остальных, одурманенных сном; но сейчас всех их в стремительном движении соединила странная мимолетная близость, оттого что этот пульмановский вагон на одну ночь стал их общим домом.

Два торговых разъездных агента сошлись в купе для курящих, мигом признали друг в друге членов обширного братства коммивояжеров и вот уже рассуждают об огромной стране непринужденно, как о задворках собственного дома. Помянули о случайной встрече с таким-то в июле месяце в Сент-Поле, и еще...

— А всего неделю назад в Денвере выхожу я из Браун-отеля и сталкиваюсь нос к носу — с кем бы вы думали?

— Да неужели! А я старика Джо уже сто лет не видал!

— А про Джима Уизера слышали? Его перевели в отделение в Атланте!

— Вы сейчас в Новый Орлеан?

— Нет, в эту поездку не попаду. Я там был в мае.

Такие разговоры сближают мгновенно. Просто и естественно входишь в жизнь людей, которых свело здесь на одну только ночь и швырнуло через всю страну со скоростью шестьдесят миль в час, и становишься членом огромной семьи, населяющей землю.

Быть может, таково странное, тревожное противоречие всей жизни у нас в Америке — мы чувствуем себя прочно и уверенно только в движении. По крайней мере, так казалось молодому Джорджу Уэбберу, — никогда не бывал он так полон уверенности и решимости, как в часы, когда ехал куда-либо поездом. И никогда не было в нем так сильно ощущение дома, как по дороге домой. Но стоило доехать — и тут-то он чувствовал себя бездомным.

В дальнем конце вагона поднялся человек и пошел по проходу в сторону уборной. Он шел прихрамывая, опираясь на палку, а свободной рукой держался за спинки скамей: вагон сильно качало. Человек этот поравнялся с Джорджем, который по-прежнему сидел, глядя в окно, и вдруг остановился. И, словно поток яркого света, хлынул в сознание Джорджа звучный, добродушный басок, приветливый, непринужденный, чуть насмешливый, бесстрашный, такой знакомый — все тот же, что когда-то, в четырнадцать.

— Провалиться мне на этом месте! Да это ж Обезьян! Ты куда собрался?

Услыхав свое давнее шуточное прозвище, Джордж вскинул голову. Перед ним стоял Небраска Крейн. Квадратная, веснушчатая, обожженная солнцем физиономия светилась прежним насмешливым дружелюбием, угольно-черные глаза истого индейца чероки смотрели с прежним откровенным, беспощадным бесстрашием. Протянулась огромная смуглая лапа, и они обменялись крепчайшим рукопожатием. И сразу стало так, будто он вернулся под надежный и приветливый кров. Через минуту они сидели рядом и разговаривали, как самые близкие люди, которых не изменит и не разлучит никакая пропасть — ни годы, ни расстояния.

За все годы с тех пор, как Джордж впервые уехал из Либия-хилла и поступил в колледж, он только однажды встретился с Небраской Крейном. Но не терял его из виду. Никто не терял

из виду Небраску Крейна. По всему облику жилистого бесстрашного мальчонки-индейца, который что ни день шагал под гору по Локаст-стрит с бейсбольной битой через плечо и лоснящейся рукавицей «принимающего», торчащей из кармана, можно было предугадать завидную будущность: Небраска стал профессиональным игроком, его с ходу брали в самые знаменитые команды, и о его спортивных подвигах изо дня в день трубили газеты.

Газеты и помогли им свидеться в прошлый раз. Это случилось в августе 1925-го, когда Джордж только что вернулся в Нью-Йорк после первой поездки за границу. В тот же вечер, вернее незадолго до полуночи, он сидел в ресторане Чайлда, пил кофе с горячими пирожками и просматривал еще влажный оттиск завтрашнего номера «Геральд трибюн», и вдруг в глаза ему бросился крупный заголовок: «Крейн отбивает еще один мяч». Джордж жадно впился в отчет об игре, и ему отчаянно захотелось вновь увидеть Небраску и опять ощутить всем существом дух истинной Америки. Повинуясь внезапному порыву, он решил позвонить. Конечно же, имя Небраски значилось в телефонной книге, адрес — где-то в Бронксе. Джордж назвал номер и стал ждать. Отозвался мужской голос, Джордж не сразу его узнал.

— Алло!.. Алло!.. Мистер Крейн дома?.. Это ты, Брас?

— Алло. — Небраска говорил неуверенно, медлительно, в голосе его слышались настороженность и недоверие, как у всякого жителя гор в разговоре с чужими. — Кто это?.. Кто?.. — И, вдруг узнав, закричал: — Обезьян, неужто ты?! Черт меня подери! — Теперь в голосе слышались радость, изумление, самая дружеская сердечность, и он звучал выше и протяжней, как-то нараспев (горцы нередко так говорят по телефону): громко, звучно, совсем не по-городскому и чуть растерянно, будто он с горы окликал кого-то на другой горной вершине в непогожий осенний день, под шум листвы, исхлестанной порывами ветра. — Откуда ты взялся, парень? Как живешь, черт возьми? — заорал он прежде, чем Джордж успел ответить. — Ты где пропадал столько времени?

— Был в Европе. Только сегодня утром вернулся.

— Черт меня подери совсем! — все еще с изумлением, но и с неудержимым радостным дружелюбием. — Когда ж увидимся? Может, придешь завтра поглядеть игру? Я тебя проведу. И вот что, — торопливо продолжал Небраска, — если у тебя найдется время, после игры поедем ко мне, я тебя познакомлю с женой и с малышом. Идет?

На том и порешили. Джордж пошел на стадион и полюбовался еще одной победой Небраски, но куда памятной осталось то, что было после. Когда спортсмен принял душ и оделся, двое друзей направились к выходу, а там, у ворот, подстерегала толпа мальчишек. Это была смуглолицые, темноглазые и темноволосые сорванцы, что вырастают на грязных нью-йоркских мостовых, словно там посеяны зубы дракона, но, как ни странно, в не по-ребячьи огрубевших лицах и хриплых голосах еще сохраняется чистота и доверчивость, свойственные детям во всем мире.

— Вот он, Брас! — орали ребята. — Эй, Брас! Привет, Брас! — Его вмиг облепила буйная орда, в ушах звенело от пронзительных криков, мальчишки вопили, кланчили, дергали его за рукав, наперебой, теснясь и толкаясь, протягивали грязные клочки бумаги, грызки карандашей, потрепанные записные книжечки, — они жаждали автографа.

Небраске и тут не изменили доброта и отзывчивость. Ловко протискиваясь сквозь толпу орущих, напирających, прыгающих от нетерпения мальчишек, он наскоро нацарапал свое имя на десятке мятых бумажонок и при этом не умолкая сыпал шуточками, добродушно поддразнивал и поругивал своих чумазных поклонников.

— Ладно, давай сюда!.. Отцепились бы хоть на время, нашли бы себе кого другого... Эй, ты! — Он вдруг нацелился грозным указующим перстом на какого-то злополучного малыша. — Ты чего сегодня опять явился? Я для тебя уж двадцать раз расписывался!

— Нет, сэр, мистер Крейн! — с жаром возразил мальчишка. — Это был не я, вот ей-богу!

— Ведь я прав? — призвал Небраска в свидетели остальных. — Разве этот малый не приходит сюда каждый день?

Мальчишки заулыбались, огорчение товарища их забавляло.

— Верно, верно, мистер Крейн! У него цельная тетрадка такая, и на каждом листочке вы

расписались!

— Да вы что! — вскричала жертва, возмущенная таким предательством. — Врете нахально, чего выдумали! Вот ей-богу, мистер Крейн. — Он опять поднял умоляющие глаза на Небраску. — Не слушайте вы их! Вы только мне подпишите ай-то-граф. Пожалуйста, мистер Крейн, это ж одна минутка!

Еще мгновенье Небраска с притворной суровостью смотрел на мальчонку; потом взял протянутую тетрадку, наскоро нацарапал через всю страницу свое имя и отдал тетрадь владельцу. На миг накрыл широкой ладонью встрепанную макушку, неловко погладил, тотчас легонько, шуточно оттолкнул и зашагал прочь.

Жилище Небраски в точности походило на сто тысяч таких же в районе Бронкса. Уродливое здание рыжего кирпича с ложным фасадом — по углам крыши торчали какие-то бессмысленные башенки, во всем чувствовалась потуги на роскошь. Комнаты, маленькие и тесные, казались еще тесней оттого, что заставлены были громоздкой и чересчур пышной мебелью. Стены гостиной, какие-то рыжеватые в крапинку, украшены были только двумя сентиментальными цветными литографиями, а с почетного места над камином, из овальной позолоченной рамы, с увеличенной, ярко раскрашенной фотографии серьезно, в упор смотрел на каждого входящего Небраскин сынишка, снятый в возрасте двух лет.

Жена Небраски Миртл была маленькая, кругленькая, с миловидным кукольным личиком. Его венком окружали круто завитые кудряшки цвета спелой кукурузы, пухлые щеки ярко нарумянены, пухлые губы намазаны. Но держалась и разговаривала она просто, безыскусственно и сразу пришлась Джорджу по душе. Она встретила его теплой, дружелюбной улыбкой и сказала, что муж ей много про него рассказывал.

Все уселись. Мальчуган, которому было уже года три-четыре, сперва застенчиво прятался за мамину юбку и только изредка из-за нее выглядывал, но потом осмелел, перебежал через комнату к отцу и стал карабкаться ему на колени и на плечи. Небраска и Миртл наперебой расспрашивали Джорджа, как он жил все эти годы, что делал, а больше всего — о поездке в Европу, о разных странах, где он побывал. Похоже, Европа казалась им неправдоподобно далекой, и всякого, кто повидал ее своими глазами, окружал некий ореол романтической необычности.

— Где ж ты там ездил? — спросил Небраска.

— Да почти повсюду, — сказал Джордж. — Был во Франции, в Англии, в Голландии, Дании, Швеции, Италии — все объездил.

— Вот, черт меня подери! — простодушно изумился Крейн. — Здорово ты всюду поспеваешь!

— Ну, не так, как ты, Брас. Ты-то всегда в разъездах.

— Кто, я? Черта с два. Я ж ничего нового не вижу, все одно и то же. Чикаго, Сент-Луис, Филадельфия — там я тысячу раз бывал, завяжи мне глаза, и то дорогу найду! — Он досадливо отмахнулся. И вдруг уставился на Джорджа, словно в первый раз увидел, наклонился и хлопнул его по коленке. — Ах, черт меня подери совсем! Так как же ты живешь, Обезьян?

— Да не жалуясь. А ты-то как? Хотя чего спрашивать. Я про тебя все время читаю в газетах.

— Верно, Обезьян. Год у меня был неплохой. Но знаешь, брат... — Крейн вдруг покачал головой и усмехнулся. — Старость не радость.

Он чуть помолчал, потом продолжал негромко:

— Я в спорте уже семь лет, с девятьсот девятнадцатого, для нашей игры это не шутка. Редко кто протянет дольше. Когда столько времени гоняешь мяч, можно и со счета сбиться, только считать ни к чему, ноги сами подскажут — упрыгался, мол.

— Помилуй, Брас, ты-то еще молодцом! Стоило сегодня поглядеть, как ты лихо носился по полю — жеребенок, да и только!

— Угу, — пробурчал Небраска. — Поглядеть — так, может, и жеребенок, а только чувствую я себя вроде старой клячи в борозде. — Он опять умолк, потом смуглой рукой тихонько потрепал старого друга по коленке и сказал коротко: — Нет, брат. Когда

покрутишься с мое, так уж знаешь, что тут к чему.

— Да будет тебе дурака валять! — заспорил Джордж, вспомнив, что Небраска старше его только двумя годами. — Тоже старик нашелся. Тебе ж всего двадцать семь!

— Да-да, ясно, — спокойно сказал Небраска. — Только я верно тебе говорю. В этом деле много дольше моего не продержишься. Понятно, Кобб, Спикер и еще кой-кто — эти играли подолгу, но таких по пальцам перечесть. Обыкновенно бейсболиста хватает на восемь лет, а я уж семь отыграл. Так что, коли меня хватит еще годика на три, жаловаться нечего... Черта с два! — прибавил он, чуть помолчав, и в голосе его вновь зазвучал былой задор. — Мне и так и сяк жаловаться нечего. Пускай хоть завтра дадут отставку, все равно, я знаю, я свое дело делал неплохо... Верно, жучишка? — весело и громко сказал он сыну, примостившемуся у него на коленях, подхватил его могучими руками и стал баюкать, как младенца. — Старина Брас свое дело делал неплохо, верно я говорю?

— Мы с Брасом оба так считаем, — вставила Миртл; во все время разговора она раскачивалась в качалке и безмятежно жевала резинку, — прошлый год раза два мы уж думали, Браса сплавят в команду поплоше. Помню, перед игрой он мне говорит: «Ну, говорит, старушка, чует мое сердце, коли я нынче не отобью мячей, двинемся мы с тобой в путь-дорогу». — «Куда, говорю, двинемся?» А он мне: «Я, говорит, не знаю, куда, а только пошлют они меня подальше, коли не будет мне удачи, уж чует мое сердце: нынче или никогда!» А я гляжу на него, — все так же безмятежно продолжала Миртл, — и говорю: «Так ты, говорю, чего от меня хочешь? Приходить мне нынче или не приходиться?» Он вообще-то, знаете, не любит, чтоб я там была, когда он мяча не отобьет, говорит, от этого ему и невезенье. А тут поглядел он на меня, вижу, вроде призадумался, а потом враз решился и говорит: «Коли хочешь, говорит, приходи, все равно, мол, мне уж так не везло, хуже некуда, а может, пора бы этому делу перемениться, так ты, мол, приходи». Ну, я и пошла, и уж не знаю, я ли ему счастье принесла или еще что, а только тут-то ему и повезло, — закончила она, мирно раскачиваясь в качалке.

— Ясно, это она, черт меня подери, — усмехнулся Брас. — В тот день я взял три из четырех, да какие! Два шли точно в цель.

— Ага, — подтвердила Миртл. — Да еще кто эти мячи бил — самый быстрый игрок в Филадельфии.

— Это уж точно! — сказал Небраска.

— Я-то знаю, — безмятежно жуя, продолжала Миртл. — Я слыхала, ребята из команды после говорили, он так подает, будто мяч летит с самого заду, с галерки, невесть откуда, его и не видно, мяча. А Брас все ж таки увидал, или ему просто повезло, два верных мяча отбил, и подающему это не больно понравилось. Когда Брас второй мяч отбил, так он, подающий-то, до того озлился — ногами затопал, землю роет, ну прямо бык бешеный. Прямо совсем сбесился, — по обыкновению, самым безмятежным тоном договорилась Миртл.

— Я такого бешеного отродясь не видал! — в восторге подхватил Небраска. — Я уж думал, он землю насквозь пробуравит, аж до самого Китая. Но это все равно. Миртл правду говорит. С того дня я и пошел в гору. Один парень мне после так и сказал: «Брас, говорит, мы уж все думали, тебя из команды вышибут, а теперь ты, стало быть, здорово укрепился». В этой игре всегда так. Я сам видал, Бэби Рут неделя за неделей ляпал все мимо да мимо, а потом вдруг пошел бить без промаха. И уж больше он вроде просто не мог промахнуться.

Четыре года прошло с тех пор. И вот двое друзей снова встретились, сидят рядом в несущемся поезде и торопятся узнать все новости друг о друге. Услыхав, почему Джордж едет домой, Небраска так удивился, даже рот раскрыл, а потом нахмурился, и на смуглом простодушном лице его выразилось искреннее огорчение.

— Ну что ты скажешь, — вымолвил он. — Очень сочувствую, брат. — Он растерянно помолчал, не зная, что сказать. Потом тряхнул головой. — Ох, она и здорово же стряпала, твоя тетка. Век не забуду! Помнишь, как она когда-то нас кормила — всю малышню со всей

округи? — Он застенчиво улыбнулся Джорджу. — Вот бы мне сейчас ее печенья, я бы не отказался!

Правая щиколотка у него была забинтована, меж колен он поставил толстую палку. Джордж спросил, что у него с ногой.

— Растянул сухожилие, — сказал Небраска, — пришлось дать себе передышку. Вот я и надумал навестить своих. Миртл не поехала, ей нельзя — мальчишку надо в школу снаряжать.

— Как они оба? — спросил Джордж.

— Они-то отлично, лучше некуда! — Небраска помолчал, улыбнулся (Джордж узнал в улыбке друга терпеливое мужество истинного чероки) и договорил: — А я разваливаюсь, Обезьян. Меня ненадолго хватит.

Джордж не поверил — Небраске теперь было всего тридцать один. Но тот опять добродушно улыбнулся.

— Для бейсбола ото уже старость, Обезьян. Я начал в двадцать один. Я долго продержался.

От этой спокойной покорности Джорджа взяла тоска. Трудно и горько ему было видеть, что сильный, бесстрашный Небраска, который с детства был для него олицетворением храбрости и побед, теперь так безропотно мирится со своим поражением. И он заспорил:

— Что ты, Брас! Ты же в этом году бил так же метко, как прежде! Я читал про тебя в газетах, все так писали.

— Ну, я еще попадаю по мячу, — спокойно согласился Небраска. — Насчет меткости я не беспокоюсь. Это теряешь в последнюю очередь. По крайности, со мной так будет, да и другие ребята то же говорят. — И продолжал не сразу, понизив голос: — Вот если нога вовремя заживет, я еще вернусь и доиграю этот сезон. А если крепко повезет, может, меня не выставят из команды еще год-другой, потому как знают, что я бью метко. Да только они знают, что я человек конченный, — спокойно договорил он. — На мне уже поставили крест.

Джордж слушал и думал, что Небраска так и остался истинным индейцем. Он и мальчишкой был такой же неунывающий фаталист, в этом и крылся источник его огромной силы и мужества. Потому-то он никогда ничего и не боялся, даже смерти. А Небраска, видя, что Джордж огорчен, опять улыбнулся и сказал весело:

— Вот так-то, Обезьян. В спорте ты хорош, пока хорош. А потом тебя выгоняют. Я не жалею, черт подери. Мне повезло. Я варюсь в этой каше уже десять лет, это, знаешь, редкость. И я играл в трех встречах на первенство мира. А если продержусь еще годик-другой, если меня не выгонят и не выпихнут в команду послабее, может, мы опять станем на ноги. У нас с Миртл все рассчитано. Мне надо было малость помочь ее родным, и своим старикам я купил ферму, они всегда об этом мечтали. Да еще у меня у самого триста акров в Зибулоне, и за них уплачено сполна! Только бы мне в нынешний год продать табак по хорошей цене — и очистится у меня две тысячи долларов. Так что, ежели бы мне продержаться еще два года в Лиге и хорошо сыграть еще разок на первенство мира... — Небраска поглядел на друга, его открытое лицо, все в веснушках по смуглой коже, расплылось в прежней, совсем мальчишеской улыбке. — Тогда нам больше и мечтать не о чем.

— И... и ты будешь удовлетворен?

— Чего? Удовлетворен? — Небраска поглядел с недоумением. — Ты это про что?

— Да вот, Брас, ты столько сделал, столько повидал... Большие города, всюду толпы, все тебя приветствуют... и огромные заголовки в газетах, и первенство мира, и... и первое марта¹, и Сент-Питерсберг, опять встречаешь товарищей по команде, начинаются весенние тренировки...

Небраска тихонько взвыл.

— Ты чего?

— Тренировки...

¹ Открытие спортивного сезона.

— А ты что, не любишь их?

— Люблю? Да первые три недели — это мука адская! Пока ты мальчишка, еще ничего. За зиму много лишнего весу не наберешь, весной несколько дней разминки — и порядок. За две недели ты опять в форме, свеженький, как огурчик. А вот потяни с мое! — Он засмеялся, помотал головой. — Ой-ой! Сперва, коли мяч низкий, нагнуться нет мочи, суставы так и трещат. Помаленьку разминаешься, привыкаешь, мускулы уже не так ноют. Начинается сезон, в апреле ты вроде ничего, молодцом. В мае и вовсе разыграешься, кровь кипит — думаешь, ты ни капельки не сдал. На июнь еще пороху хватает. А потом — июль, и в Сент-Луисе изволь играть по два матча в день. Ой-ой-ой! — Небраска покачал головой и засмеялся, показывая крупные крепкие зубы. — Обезьян, — сказал он негромко, лицо у него стало серьезное, сумрачное, лицо чистокровного индейца. — Бывал ты когда-нибудь в июле в Сент-Луисе?

— Нет.

— То-то, — тихо, презрительно продолжал Небраска. — И тебе в июле не приходилось гонять там мяч. Готовишь биту, а пот хлещет аж из ушей. Шагнешь вперед, глядишь, кто тебе подает, а у тебя в глазах не то что двоится — четверится. На галерке народ жарится в одних рубашках, рукава у всех засучены, подает он тебе мяч, а ты и не видишь, откуда летит, вроде от всех этих, с трибуны. Ты охнуть не успел, а он уж тут. Ладно, знай стой покрепче и давай бей, может, и попадешь по нему. Только успевай поворачиваться, на две базы тебя хватит. В прежние времена мне это было раз плюнуть. А теперь... у-у. — Он опять медленно покачал головой. — Знаю я это ихнее бейсбольное поле в Сент-Луисе в июле месяце! К апрелю-то они позаботятся, всюду трава, что надо, а вот как начнется июль... — Он коротко засмеялся. — Черт подери! Под ногами чистый асфальт! Доберешься до первой базы, и уже ноги не идут, чтоб им пусто было, а надо двигаться дальше, менеджер с тебя глаз не спускает, он из тебя душу вынет, коли ты лишнюю базу не возьмешь, может, от нее вся игра зависит. И газетчики тоже на тебя пялятся, они уж начали поговаривать, мол, старик Крейн стал тяжел на подъем... а у тебя в голове контракт на будущий год, да, может, еще одно первенство мира, и ты только молишь господ бога, чтоб тебя не перекинули в сент-луисскую команду. Ну и вот, берешь ноги в руки, шмякнешься на вторую, пыхтишь, как паровоз, насилу встанешь, ощупаешь себя, цел ли, а тут еще наблюдающий на базе со своими шуточками: что, мол, за спех, старик? Боишься, мол, опоздать в Клуб ветеранов?

— Да, теперь я, кажется, начинаю понимать, — сказал Джордж.

— Понимаешь? Вот слушай! Нынче летом я раз спросил одного нашего, какой у нас месяц, он говорит, только еще середина июля, а я ему — черта лысого! Какой там июль, вот провалиться, сентябрь на дворе! Стало быть, провались, отвечает, потому как сентябрем и не пахнет, а на дворе июль. Ну, говорю, видно, нынче месяцы пошли по шестьдесят дней каждый, такого длиннющего июля у Меня сроду не бывало. И ты уж мне поверь, так оно и есть. Когда в бейсболе состаришься, так, может, на дворе и правда июль, а для тебя все равно сентябрь. — Он помолчал. — Ну, вообще-то нашего брата держат в команде, покуда меткость не изменила. Раз ты еще попадаешь по мячу, так валяй выходи на поле, хоть тебя надо склеивать по кусочкам, чтоб не рассыпался. Так что, коли повезет, я еще годик-другой поиграю. Я еще маху не даю, так, может, меня и станут выпускать, покуда все прочие не начнут ворчать, что старик Брас не поспекает за низовым мячом! — Он засмеялся. — Нет, покуда я еще ничего, а уж как стану сдавать — баста.

— Ну, значит, ты не пожалеешь, что надо будет уйти?

Небраска ответил не сразу. Он смотрел на проносящийся за окном вагона закопченный фабричным дымом штат Нью-Джерси. Потом опять засмеялся, но устало, невесело.

— Дружище, для тебя, может, это целое путешествие, а я, знаешь, столько раз катал этим поездом взад-вперед... всю дорогу назубок выучил, хоть не глядя скажу, мимо которого по счету телеграфного столба проезжаем. Да-да, черт подери! — Он громко, заразительно захохотал. — Когда-то я их пересчитал, а теперь вот возьму и окрещу каждый по имени!

— И не скучно тебе будет безвылазно торчать на ферме в Зибулоне?

— Скучно? — Голос Небраски зазвучал презрительно и негодуя, совсем как когда-

то, в мальчишеские годы; долгую минуту он смотрел на приятеля с недоумением и чуть ли не брезгливо. — Да ты что? Это ж самая распрекрасная жизнь на свете!

— А как твой отец, Брас?

Бейсболист ухмыльнулся и покачал головой:

— Старик живет в свое удовольствие. Он весь век только и мечтал в земле копаться.

— Со здоровьем у него как?

— Дай бог всякому! — гордо сказал Небраска. — Здоров, как бык. Хоть сейчас медведя одолеет. Вот провалиться мне! — продолжал он с глубочайшим убеждением. — Выйдут на него двое парней — он и с двоими запросто справится.

— А помнишь, Брас, когда мы были малявками, а твой отец служил в полиции, он выходил против всех борцов, кто приезжал к нам в город. И ведь, бывало, приезжали и классные борцы!

— Еще какие! — оживленно закивал Небраска. — Том Андерсон, он ведь был чемпион Атланты, и еще Петерсон, — помнишь Петерсона?

— Ясно, помню. Его прозвали Швед Костолом... Он сколько раз к нам приезжал.

— Ага, он самый. Он по всей стране разъезжал... Знатный был борец, из самых что ни на есть лучших. Мой старик три раза с ним дрался и раз даже уложил на обе лопатки!

— Был еще тот верзила, по прозвищу Турок Душител...

— Ага, тоже классный был борец! Хотя он был не турок, только выдавал себя за турка. Мой старик говорил, он был то ли поляк, то ли еще откуда-то из тех мест, а работал на сталелитейном заводе в Пенсильвании, потому и стал таким силачом.

— И еще Великан Джерси...

— Ага...

— И Ураган Финнеген...

— Ага...

— И Дакотский Бык... и Джим Райан из Техаса... и Чудо-в-маске... Помнишь Чудо-в-маске?

— Ага... только их была целая куча... раскатывали по стране вдоль и поперек, и всяк называл себя «Чудо-в-маске». Мой старик дрался с такими с двумя. Только настоящий-то Чудо-в-маске к нам не приезжал. Мой старик говорил, был и настоящий Чудо-в-маске, только он, верно, был первейший борец, самый классный, такой в Либия-хилл не поедет.

— Брас, а помнишь, раз вечером твой отец боролся в городском спортзале с одним таким «Чудом-в-маске», а мы с тобой сидели в первом ряду и болели за него, и он обхватил того за шею, маска слетела, и это оказался никакой не Чудо-в-маске, а просто грек, который по вечерам прислуживал в кафе «Жемчужина» у вокзала?

— А-а... да, да! — Небраска закинул голову и расхохотался. — Я совсем было забыл того грека, а ведь верно, он самый! Тогда все орали: мол, жульство, деньги обратно!.. Ей-богу, Обезьян, до чего ж я рад тебя видеть! — Большой смуглой рукой он накрыл колено Джорджа. — Будто и не прошло столько лет, верно? Будто вчера все это было!

— Да, Брас... — Минуту-другую Джордж смотрел за окно, где мелькали знакомые места, в груди его росли печаль и недоумение. — Будто вчера все это было.

Джордж сидел у окна и смотрел, как проносятся мимо изнывающие от жара просторы. Не в меру жаркий выдался этот сентябрь, дождя не было недели три, и весь день очертания восточного побережья затягивала безрадостная пелена зноя. Земля потрескалась и иссохла в пыль, и под раскаленным, остекленелым небом отсвечивали жестяным блеском вдоль рельс сухие порыжелые травы и чахлые сорняки. Весь материк словно задыхался. Сквозь проволочные сетки на окнах пробивалась в жаркое зеленое нутро поезда мельчайшая угольная крошка, а во время остановок с двух концов вагона однообразно жужжали вентиляторы, и казалось, это голос самого зноя. Покуда поезд стоял, на соседних путях, пыхтя, медленно проходили огромные паровозы, или тоже стояли, отдуваясь, ленивые, точно огромные кошки,

и машинисты почернелой ветошью утирали закопченные лица, а пассажиры бессильно обмахивались смятыми газетами или сидели в унылом изнеможении, обливаясь потом.

Джордж долго сидел в одиночестве. Глаза его подмечали каждую мелочь в картинах, сменявшихся за окном, но мыслями он замкнулся в себе, в давних воспоминаниях, которые вновь ожили от встречи с Небраской. А поезд уже пересек Нью-Джерси, Пенсильванию, краешек Делавэра и теперь мчался по Мериленду. И самая панорама страны за окном разворачивалась подобно свитку времени. Джордж вдруг почувствовал себя потерянным, почти несчастным. Разговор с другом детства внезапно вернул его в прошлое. Небраска так изменился за эти годы, так покорно мирился с тем, что потерпел крах, и от этого за смутными недобрыми предчувствиями, которые пробудил в Джордже разговор с банкиром, политиком и мэром, всколыхнулась еще и глухая печаль.

В Балтиморе, когда поезд уже замедлил ход под сумрачными сводами вокзала, за окном на платформе мелькнуло и проплыло мимо знакомое лицо. Джордж только и успел заметить неясные черты, худобу, бледность и запавший рот, но в углах рта ему почудилась тень улыбки — едва уловимой, призрачной, зловещей, — и его охватил внезапный, нерассуждающий страх. Неужели это Судья Рамфорд Бленд?

Поезд снова тронулся, нырнул в туннель на дальней окраине города, и тут в конце вагона появился слепой. Люди толковали друг с другом, читали или дремали, а слепой вошел совсем тихо, и никто его не заметил. Он сел на первую же скамью у двери. Когда поезд опять вынырнул под предвечернее сентябрьское солнце, Джордж оглянулся и увидел нового пассажира. Тот сидел совсем тихо, сжимая высохшей рукой тяжелую ореховую трость, незрячие глаза уставились в пустоту, худое увядшее лицо все обращено в слух — закаменело в страшной, напряженной неподвижности, какая бывает только у слепых, и лишь в углах губ сквозит еле заметный намек на улыбку, и в ней, почти неразличимой, какая-то пугающая живость, неуловимое и опасное обаяние падшего ангела. Да, это и вправду Судья Рамфорд Бленд!

Джордж не видел его пятнадцать лет. В ту пору Бленд еще не ослеп, но глаза уже начинали ему изменять. Джордж хорошо помнил его — и помнил, каким безмерным ужасом леденил мальчишескую душу один вид Судьи, который нередко бродил ночами по пустым, безлюдным улицам, когда все уже спали и город был как могила. Даже в те дни, когда его еще не поразила слепота, какая-то темная жажда гнала этого человека на пустынные мостовые, под равнодушный мертвенный свет фонарей на перекрестках, мимо неизменно темных окон и вечно запертых дверей.

Он происходил из старой почтенной семьи, и, как всех мужчин в роду за последние сто лет с лишком, его определили по юридической части. Один срок он занимал пост в полицейском суде, и с тех пор его так и звали — Судья Бленд.

Но этот потомок достойного семейства запятнал честь семьи неслыханным падением. В пору, когда Джордж Уэббер был мальчишкой, Бленд еще называл себя юристом. У него была захудалая контора в собственном ветхом доме, и на дверной табличке он значился адвокатом, но свой хлеб зарабатывал иными, более сомнительными способами. Знания и опыт служили этому искусному крючкотвору главным образом для того, чтобы обойти закон и помешать правосудию. В сущности, «практиковал» он только среди негритянского населения, и «практика» эта заключалась прежде всего в ростовщичестве.

В принадлежавшем Бленду доме на Главной площади — обветшалом двухэтажном строении из рыжего кирпича — помещалась «торговля подержанной мебелью». Под этот «магазин» отведены были подвал и нижний этаж. Но, конечно, это была просто ширма, которой Бленд прикрывал свои незаконные сделки с неграми. Вздумай кто-нибудь осмотреть наваленные здесь груды устрашающего зловонного хлама, он тотчас убедился бы, что на выручку с такого товара и месяца не проживешь. Никто бы не поверил, что этим можно прокормиться. За немой витриной виднелся бильярдный стол, должно быть, взятый в уплату за долги из какого-то негритянского игорного дома. Но что это был за стол! Другой такой ископаемой древности наверняка не нашлось бы во всей Стране. Весь горбатый, в буграх

и выбоинах. Не осталось не одной целой лузы — дыры в них такие, что бейсбольный мяч и то провалился бы. Зеленое сукно где протерто до дыр, где отстало и задралось. По краям и сукно и дерево — в черных и рыжих метинах от бесчисленных сигарет. И, однако, несомненно, эта развалина — самое роскошное украшение всей лавки.

Всматриваясь в мрачную глубину этой пещеры, можно было увидеть невероятнейшее, несомненно единственное в своем роде, собрание самого разнообразного негритянского хлама. И в первом этаже, и в подвале хлам этот громоздился до потолка, вперемешку, словно его изверг из пасти какой-то гигантский паровой экскаватор. Тут были ломаные кресла-качалки, комоды с потрескавшимися зеркалами и ящиками без дна, столы, у которых не хватало ножки, а то и двух и даже трех, ржавые железные печки с прогоревшими решетками и черными от сажи коленчатыми трубами, закопченные, обросшие многолетним слоем жира сковородки, утюги, щербатые тарелки, миски и кувшины, тазы, ночные горшки и еще несчетное множество всякого барахла, истрепанного, ломаного, битого.

Так для чего же нужна была Судье Рамфорду Бленду эта лавка, полная такого никчемного хлама, что он не пригодился бы и последнему чернокожему бедняку? А очень просто.

Когда негр попадал в беду, когда спешно, позарез нужны были деньги — приговорил ли суд к штрафу, надо ли уплатить доктору или вернуть неотложный долг, — он шел к Бленду. Порой нужда была всего-то в пяти или десяти долларах, изредка, случалось, и в полсотне, но обычно меньше. Судья Бленд требовал залог. Негру, понятно, оставить в залог было нечего, разве только немногие свои пожитки да что-нибудь из убогой мебели — кровать, стул, печку. Судья Бленд отряжал своего сборщика, верного пса и помощника — прониру с мордой хорька по имени Клайд Билз — осмотреть это жалкое имущество; если оно оказывалось для владельца достаточной ценностью, которую тот постарается выкупить, значит, стоило дать ссуду, и Рамфорд Бленд давал ее, сразу же удерживая, впрочем, первые проценты.

А дальше игра оборачивалась прямым, гнуснейшим ростовщичеством. Проценты выплачивались раз в неделю, каждую субботу вечером. С десяти долларов Судья Бленд взыскивал пятьдесят центов в неделю, с двадцати долларов — доллар, и так далее. Вот почему размер ссуды почти никогда не превышал пяти-десяти долларов. В редкой негритянской хижине набралось бы имущества на полсотни долларов, и притом платить два с половиной доллара процентов неграм было не под силу: мужчины зарабатывали никак не больше пяти-шести долларов в неделю, женщины — кухарки и прочая прислуга белых горожан — каких-нибудь три-четыре доллара. Приходилось оставлять им хоть какие-то гроши на пропитание, иначе сорвалась бы вся игра. Смысл и хитроумие этой игры заключались в том, чтобы дать негру займы чуть больше, чем он получает в неделю и, значит, может вернуть, но не слишком много, чтобы он был в состоянии из своего скудного дохода выкраивать еженедельные проценты.

В книгах Судьи Бленда значились имена негров, которые, получив займы десять или двадцать долларов, платили ему потом еженедельные полдоллара или доллар долгие годы. Почти все они, невежественные бедняки, не в состоянии были понять, что же с ними случилось. Сызмальства всей своей жизнью приученные к рабской покорности, они лишь тупо, уныло ощущали, что когда-то в далеком прошлом были у них деньги, а они их растранижили и за этот краткий веселый час должны теперь расплачиваться вечно. Придут эти горемыки в субботний вечер в грязное, убогое, скудно освещенное логово — и сам Судья в черном костюме и белой рубашке, под тусклой, голой, засиженной мухами лампочкой, вершит над ними свой единоличный суд:

— В чем дело, Кэрри? Ты просрочила целых две недели. Разве за эту неделю ты заработала только пятьдесят центов?

— Да я думала, вроде еще только третья неделя идет. Может, сбилась со счета.

— Ничего ты не сбилась. Уже три недели. С тебя доллар пятьдесят. А ты что, принесла только полдоллара?

Угрюмый, виноватый ответ:

- Да, сэр.
- А остальное когда будет?
- Там один человек, он сказал, он мне даст...
- Это ты мне не рассказывай. Будешь ты дальше вовремя платить или нет?
- Да я ж говорю. Как придет понедельник, тот человек, он враз...
- Ты у кого сейчас работаешь?
- У доктора Холлендера...
- Кухаркой?

Угрюмо, с безмерным, истинно негритянским унынием:

- Да, сэр.
- Сколько получаешь?
- Три доллара.
- Так чего ты запаздываешь? Не можешь внести пятьдесят центов в неделю?

Все так же угрюмо, мрачно и уныло, из глубин сомнения и растерянности, точно из недр африканских джунглей:

- Да я не знаю... Вроде я уж сколько времени все плачу да плачу...

Резко, леденяще, как яд, стремительно, как нападающая змея:

— Ничего ты не платишь. И не начинала платить. Только проценты вносишь, да и те не в срок.

Все так же в сомнении, в глубокой растерянности неловкие пальцы нашаривают, перебирают, наконец извлекают из потрепанного кошелька пачку засаленных бумажонок.

— Уж и не знаю, вроде у меня их вон сколько, расписок, верно, я те десять долларов уж давно выплатила. Сколько ж это мне времени еще платить?

— Пока не принесешь десять долларов... Ладно. Кэрри, вот тебе расписка. На той неделе принесешь еще доллар сверх обычного.

Другие, поумней, чем такая Кэрри, лучше понимали, как попались, но продолжали платить, потому что им не под силу было собрать нужную сумму и разом избавиться от кабалы. У иных хватало запала и самообладания откладывать каждый грош, пока не удастся вернуть себе свободу. Были и такие, что платили неделями, месяцами, а потом, отчаявшись, переставали платить. И тогда, уж конечно, на них коршуном набрасывался Клайд Билз. Приставал, уговаривал, грозил; и если убеждался, что денег тут больше не выжмешь, забирал у должников мебель и прочие пожитки. Вот откуда в лавке вырастали беспорядочные груды дурно пахнущего хлама.

Могут спросить — как же закон не покарал Судью Рамфорда за такое откровенное, бесстыдное, гнусное ростовщичество? Неужели полиция не ведала, из каких источников и какими способами черпает он свои доходы?

Еще как ведала. Лавка, где он занимался своим подлым ремеслом, находилась в каких-нибудь тридцати шагах от муниципалитета и в двадцати — от бокового тюремного крыльца, по каменным ступеням которого не раз и не два таскали, толкали и волокли тех же самых негров, чтобы швырнуть в каталажку. Занятие Судьи, хоть и не законное, было самым обычным делом, местные власти смотрели на него сквозь пальцы, да немало есть еще и других столь же преступных способов, которыми пользуются не знающие ни стыда, ни совести белые во всех южных штатах, набивая мошну за счет притесняемых и невежественных людей. Ростовщики наживаются главным образом на «черномазых», потому-то блюстители закона и оказываются столь мягки и снисходительны.

А кроме того, Судья Рамфорд Бленд знал, те, с кем он имеет дело, на него не донесут. Он знал, негры не разбираются в том, что такое закон, и либо трепещут перед его непостижимой таинственностью, либо дрожат перед его грозной и разящей силой. Для негра закон — это прежде всего полиция, иными словами, белый человек в мундире, и у этого человека есть сила и власть: он может арестовать черного, избить кулаками или дубинкой, застрелить из пистолета, запереть в тесную темную камеру. А потому едва ли найдется негр, который пойдет жаловаться на свои несчастья в полицию. Он даже не подозревает, что и у него, как у

гражданина, есть какие-то права, а Судья Рамфорд Бленд эти права попирает; если же кто из негров и имеет хотя бы смутное представление о своих правах, едва ли он станет просить защиты у тех, от кого ему только и перепало что побои, аресты да тюрьма.

На втором этаже, над свалкой негритянского барахла, помещается контора Судьи Бленда. Деревянная лестница, чьи ступени истерты шагами босоногого времени, а перила, шаткие, как зуб старика, отполированы и пропитаны потом множества черных ладоней, ведет вверх, в темный коридор. Тут, в крошечной тьме, слышится одинокий мерный стук капель, редко и однообразно падающих из крана где-то в глубине, и вошедшего обдает едким запахом уборной. По правую руку — матовая стеклянная дверь конторы, и на ней наполовину облезшая надпись черной краской:

«РАМФОРД БЛЕНД. АДВОКАТ».

Приемная, как все адвокатские приемные, обставлена громоздкой и неудобной мебелью. Голый, без ковра, пол, два почерневших от старости шведских бюро, два застекленных книжных шкафа, набитых потрепанными томами в бурых, свиной кожи переплетах, огромная медная плевательница, полная до краев табачной жвачки, два-три дряхлых вращающихся табурета и еще несколько скрипучих стульев для посетителей. На стенах выцветшие дипломы, свидетельствующие, что хозяин окончил Пайн-Рок-колледж со степенью бакалавра искусств, университет в Старой Кэтоубе со степенью доктора прав и состоит членом Старо-Кэтоубской коллегии адвокатов. За этой комнатой — еще одна, там только и есть что еще шкафы, полные тяжелых томов в заплесневелых переплетах телячьей кожи, несколько стульев и у стены обитый плюшем диван, — по слухам, в эту комнату Бленд «водил женщин». Два окна выходят на Главную площадь, невымытые стекла засижены мухами, передохшими еще во времена Геттисберга, над окнами — обтрепанные, порыжелые шторы — современницы президента Гарфилда, на которых еще можно различить достойные имена «Кеннеди и Бленд». Одним из совладельцев этой старинной адвокатской конторы был отец мэра Бакстера Кеннеди, а его партнер, генерал Бленд, был отец Рамфорда. Оба давным-давно умерли, но никто и не подумал сменить надпись.

Таким осталось в памяти Джорджа Уэббера логово Судьи Рамфорда Бленда. И сам Судья Рамфорд Бленд — «поручитель», торговец мебелью, — ростовщик, ссужающий деньгами черных. Судья Рамфорд Бленд — сын генерала армии южан, адвокат, в черной шелковистой мантии, в белоснежной манишке.

Что случилось с этим человеком, что так круто перевернуло его жизнь и заставило сменить верный и достойный путь на кривые, подлые дорожки? Этого не знал никто. Бесспорно, человек он был очень одаренный. В детстве Джордж слышал, как виднейшие юристы в городе признавались, что мало кто из них мог бы тягаться с Блендом в знании законов и ораторском искусстве, если бы «судья» пожелал применить свои таланты на честном поприще.

Но на нем лежала печать порока. Какое-то извращенное, извечно злое начало таилось в самой его натуре, в недрах его души. Оно впиталось в его плоть и кровь. Оно ощущалось в пожатии его худой, слабой руки, когда он с вами здоровался, слышалось в голосе, словно проникнутом смертельной усталостью, сквозило в чертах исхудалого мертвенно-бледного лица, в прямых, тусклых каштановых волосах, а главное, в запавших губах, на которых постоянно дрожала едва уловимая тень улыбки. Да, только тень улыбки, иначе не скажешь, ибо на самом деле то была вовсе не улыбка. Она таилась, точно призрак, в уголках губ. Присмотришься — ее уже нет. И все равно знаешь, она всегда здесь — непристойная, злая, издевательская, противоестественно гнусная, она чем-то сродни юмору висельника, намек на бьющую ключом в тайниках этой темной души неиссякаемую живучесть.

В ранней молодости Судья Бленд женился на красивой, но беспутной женщине и вскоре с нею развелся. Быть может, отчасти этим и объяснялось его циничное отношение к женщинам. С тех пор он жил холостяком, под одной крышей со своей матерью — величественной седовласой особой, которую он неизменно окружал безупречной изысканнейшей почтительностью и трогательной заботой. Кое-кто подозревал, что к этой

сыновней преданности примешивалась толика насмешливой и презрительной покорности, но, безусловно, у старой дамы не было никаких оснований так думать. Она жила в премиллом старом доме, у нее было все, чего только можно пожелать, и если она и догадывалась о сомнительных источниках этой роскоши, то сыну ни словом об этом не обмолвилась. Вообще же Судья Бленд безоговорочно делил всех женщин на два разряда — матерей и проституток, — и, если не считать единственного исключения, обитающего у него в доме, интересовался только вторым разрядом.

Слепнуть он начал за несколько лет до отъезда Джорджа из Либия-хилла; тогда он стал носить темные очки, и от этого бледное, худое лицо его с призрачной улыбкой в углах губ сделалось еще более зловещим. Он лечился в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе и ездил туда каждые полтора месяца, но видел все хуже и хуже, и доктора уже предупредили его, что надеяться не на что. Недуг, отнимавший у него зрение, был лишь следствием мерзкой болезни, которая, как он откровенно признавался, кинулась на глаза, хотя он-то думал, что давно излечился.

Но, как ни странно, наперекор всему зловещему и отвратительному, что было в Бленде, в его нраве и поведении, он всегда обладал необычайной притягательной силой. Все и каждый с первой встречи, с первой минуты понимали, что он дурной человек. Нет, мало сказать — дурной. Все понимали, что он порочен — глубоко, безмерно порочен, но порочность эта, подобно высшей добродетели, не чужда известного величия. И в самом деле, когда-то было в нем доброе начало, и оно так до конца и не отмерло. Все единодушно утверждали, что за недолгий срок, пока он занимал пост судьи, суд его был скор, но мудр и справедлив. Каким потаенным свойством его души это объяснялось, никто не понимал и понять не мог, но что-то от этого неведомого еще сохранилось. Вот почему людей сразу же, с первой встречи влекло к Рамфорду Бленду, и даже те, кто пытался противиться этому обаянию, не могли перед ним устоять, — странным образом он даже начинал им нравиться. С первой же минуты, ощутив скрытые в нем силы смерти и порока, они ощущали также нечто... назовите это призраком, излучением, погибшей душою великой добродетели. И вместе с тем каждый ощущал, точно удар в сердце, внезапную, ошеломляющую боль. «Какая утрата! Какая жалость!» Но откуда это чувство — никто понять не мог.

Стало быстро, почти уже по-осеннему смеркаться, и поезд, мчась на юг, приближался к Виргинии. Джордж сидел у окна, смотрел, как неясными тенями проносятся мимо деревья, и воскрешал в памяти все, что было ему известно про Рамфорда Бленда. Судья всегда был ему и отвратителен и страшен и чем-то непонятно привлекал, а сейчас все эти чувства овладели Джорджем с такой силой, что он просто не мог больше оставаться в одиночестве. Посреди вагона собрались шумной компанией прочие жители Либия-хилла. Джарвис Ригз, мэр Кеннеди и Сол Айзекс сидели, кто развалился, кто опершись на ручку кресла, а Пастор Флэк стоял в проходе, взявшись за спинки двух кресел, замыкающих этот кружок, и, в азарте наклонясь, о чем-то толковал. Средоточием этого круга, привлекавшим общее внимание, оказался Небраска Крейн. Они перехватили его на полпути и поймали, как в ловушку.

Джордж поднялся, направился к этому сборищу и невольно опять поглядел на Судью Бленда. Тот был одет со старомодной изысканностью, совсем как в прежние времена: свободно сидящий костюм из плотной черной материи, крахмальная белая рубашка, низкий воротничок, узкий черный галстук, широкополая панама, которую он так и не снял. Из-под полей безжизненно свисали пряди некогда каштановых, а теперь совсем белых, мертвых волос. Волосы да незрячие глаза — только это в нем и переменилось. А в остальном он был с виду точно такой же, как пятнадцать лет назад. За все время в вагоне он не шелохнулся. Сидел очень прямо, слегка опираясь на трость, устремив куда-то вперед, в одну точку невидящий взгляд, и мертвенно-бледное худое лицо его напряженно застыло, будто весь он обратился в слух.

Когда Джордж подошел к собравшимся в середине вагона, все они оживленно обсуждали

цены на недвижимость, — вернее, все, кроме Небраски Крейна. Пастор Флэк, азартно подавшись вперед, обнажая в улыбке крупные зубы, рассказывал о какой-то недавней сделке, о каком-то проданном земельном участке:

— ...прямо тут, на Чарлз-стрит, ты когда-то жил там поблизости, Брас!

На все эти поразительные новости у бейсболиста был один ответ.

— Ах ты, черт меня подери! — изумленно повторял он. — Ну что ты скажешь!

Банкир наклонился и доверительно похлопал Небраску по колену. Самым убедительным тоном, будто мудрый заботливый друг, он уговаривал Небраску вложить Свои сбережения в земельные участки, купля и продажа которых разгорелась сейчас в Либия-хилле. Он пустил в ход тяжелую артиллерию логики и математических расчетов и с карандашом и записной книжкой в руках стал объяснять, сколько можно выручить, если столько-то денег с умом вложить в ту или иную недвижимость, а потом, в подходящую минуту, ее продать.

— Тут не прогадаешь! — с некоторым даже волнением говорил Джарвис Ригз. — Город непременно будет расти. Да что там, у нашего Либия-хилла все впереди. Верни свои деньги в родные места, мальчик, и они на тебя поработают! Вот увидишь!

Разговор продолжался в том же духе. Но, как ни наседали на Небраску, он оставался верен себе. Вежливый и добродушный, он был слегка недоверчив и непоколебимо упрям.

— Я уже обзавелся фермой в Зибулоне, — сказал он и широко улыбнулся. — И за нее все как есть уплачено! Вот покончу с бейсболом, засяду на своей земле и стану хозяйничать. У меня там триста акров, и земли пойменные, отличные, вы таких и не видавали. А больше мне и не надо. Ни к чему.

Небраска говорил все это, по своему обыкновению, просто, безыскусственно, и чувствовалось, что он — действительно человек от земли, который спокойно смотрит в будущее: независимый, упорный, он знает, чего хочет, твердо стоит на ногах, нашел свое место в жизни, и ему не страшны нужда и напасти. Его ничуть не затронула лихорадка тех дней, хотя она охватила не только захолустный городишко, что помешался на спекуляциях, но и всю огромную страну. Все крутом только и говорили что о земле, но Джордж видел — Небраска Крейн тут единственный, кто еще понимает, что значит жить на земле и возделывать ее, и не мыслит себе иной жизни.

Наконец Небраска отвязался от этой компании, заявив, что пойдет покурить. Джордж двинулся следом. Он шел за другом по проходу и уже поравнялся с последней скамьей, как вдруг тихий бесцветный голос произнес:

— Добрый вечер, Уэббер.

Джордж круто обернулся. Перед ним сидел слепой. А он-то совсем про него забыл. Слепой не пошевелился при этих словах. Он все так же слегка опирался на трость, обратив бледное худое лицо к чему-то впереди, словно прислушивался. И снова, как бывало всегда, Джордж ощутил завораживающую силу едва заметной недоброй улыбки, затаившейся в углах губ этого человека. Чуть помедлив, он сказал:

— Судья Бленд.

— Садись, сынок. — И Джордж послушно сел, точно ребенок, околдованный дудочкой гамельнского крысолова. — Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а ты посиди со слепцами.

Он говорил ровным, негромким голосом, но слова эти жестоким, убийственным презрением, как вызов, пронзили весь вагон. Люди замолчали и обернулись, будто прошитые электрическим током. Джордж не знал, что сказать; от растерянности он выпалил:

— Я... я... тут едет много наших, либия-хиллских. Я... я говорил с ними... с мэром Кеннеди и...

Слепой не шевельнулся; прежним устрашающе безжизненным, ровным голосом, который слышали все, он перебил:

— Да, я знаю. Отменная шайка сукиных сынов, столько не часто встретишь в одном-единственном мягком вагоне.

Весь вагон слушал в подавленном молчании. Те, что сидели посередине, испуганно

переглянулись и через минуту с лихорадочным оживлением возобновили разговор.

— Я слышал, ты в прошлом году опять ездил во Францию, — вновь раздался безжизненный голос. — И как по-твоему, французские шлюхи чем-нибудь отличаются от наших, доморощенных?

Вызывающие слова, произнесенные зловещим ровным голосом, хлестнули по вагону, и весь вагон оцепенел в ужасе. Все смолкло. Ошеломленные пассажиры застыли недвижимо.

— Особой разницы нет, — тем же тоном невозмутимо заметил Судья Бленд. — Перед сифилисом все на свете равны. И если ты хочешь ослепнуть, в нашей великой демократической стране этого можно достигнуть с таким же успехом, как в любой другой.

В вагоне стояла мертвая тишина. Чуть погодя люди с ошеломленными лицами повернулись друг к другу и стали украдкой перешептываться.

А меж тем выражение худого бледного лица ничуть не изменилось, лишь тень все той же призрачной улыбки дрожала на губах. Но теперь Судья негромко, небрежно сказал Джорджу:

— Как живешь, сынок? Я рад тебя видеть.

Лицо его оставалось неподвижным, но простые слова эти в устах слепого отдавали дьявольской насмешкой.

— Вы... вы ездили в Балтимор, Судья Бленд?

— Да, я изредка еще езжу в больницу Хопкинса. Толку, разумеется, никакого. Понимаешь, сынок, — теперь Бленд говорил тихо, дружески, — с тех пор как мы с тобой виделись, я совершенно ослеп.

— Я не знал. Неужели совсем...

— Совсем! Да-да, совсем! — подтвердил Судья и вдруг запрокинул незрячее лицо и громко, ехидно захохотал, выставляя почерневшие зубы, словно не мог не поделиться развеселой шуточкой. — Уверяю тебя, мой милый, я совсем ослеп. Даже не могу за два шага разглядеть одного из наших самых видных мерзавцев. Эй, Джарвис! — укоризненно бросил он в сторону злополучного Ригза, который уже снова в полный голос разглагольствовал о ценах на землю. — Ты же и сам знаешь, что это неправда! Чего там, приятель, я по глазам твоим вижу, что ты все врешь. — Судья вновь закинул голову и затрясся в приступе дьявольского беззвучного смеха. — Извини, что я тебя перебил, сынок, — продолжал он. — Мы с тобой как будто рассуждали о мерзавцах. Можешь себе представить, — он слегка наклонился вперед, длинные пальцы его ласково поглаживали ребристую полированную трость, — во всем, что касается мерзавцев, я теперь совершенно не могу доверять своим глазам. Полагаюсь только на нюх. И этого довольно. — Впервые лицо его искривила гримаса усталости и отвращения. — Тут вполне достаточно острого нюха. — И, круто меняя тему, спросил: — Как твои родные?

— Да вот... теть Мэй умерла. Я... я еду на похороны.

— Значит, умерла?

Только и всего. Никаких сочувственных фраз, никакого соболезнования из вежливости, два слова — и только. И минуту спустя:

— Стало быть, едешь ее хоронить. — Он произнес это задумчиво, как вывод, над которым еще стоит поразмыслить; потом прибавил: — Так, по-твоему, ты можешь вернуться домой?

Джордж удивился, переспросил озадаченно:

— То есть... я что-то не пойму. Вы это о чем, Судья Бленд?

Новая вспышка затаенного зловещего смеха.

— О том самом! По-твоему, ты и вправду можешь вернуться домой? — И резко, холодно, властно: — Ну же, отвечай! Можешь?

— А... а почему нет? — Джордж был растерян, чуть ли не испуган. — Послушайте, Судья, — заговорил он горячо, умоляюще. — Я же ничего худого не сделал, честное слово!

Снова тихий, дьявольский смешок:

— Ты в этом уверен?

На Джорджа вновь, как в детстве, нахлынул неистовый страх перед этим человеком.

— Ну... ну конечно, уверен! Господи, Судья Бленд, да что я такого сделал? — Он лихорадочно перебрал в мыслях с десятков диких, невероятных догадок, его захлестнуло тошнотворное, гнетущее сознание вины, а в чем он виноват — неизвестно. Подумалось: «Может, Судья прослышал о моей книге? Может, он знает, что я написал о нашем городе? Об этом он, что ли, говорит?»

Слепой тихонько, про себя усмехнулся, эта злая игра в кошки-мышки для него была слаще меда.

— На воре шапка горит — не так ли, сынок?

Уже не в силах скрыть смятения:

— Какой... какой же я вор! — В сердцах: — Да я же ни в чем не виноват, черт возьми! — И горячо, яростно: — Мне не за что краснеть! Ни перед кем! Я всему свету могу смотреть в глаза, черт подери! Мне не в чем каяться...

Все та же призрачная ядовитая улыбка затрепетала в уголках губ слепого, и Джордж умолк на полуслове. «Он ведь болен! — мелькнула мысль. — Может быть, болезнь поразила не только глаза... может быть... ну да, Конечно... он сошел с ума!» И он сказал медленно, спокойно:

— Судья Бленд, — он встал, — до свиданья, Судья Бленд.

Улыбка все не сходила с губ слепого, но в голосе его прозвучала добрая нотка:

— До свиданья, сынок. — Мимолетная, почти неуловимая пауза. — Но не забудь, я пытался тебя предостеречь.

Джордж быстро пошел прочь, сердце его неистово колотилось, ноги и руки дрожали. Что же хотел Судья Бленд сказать этими словами: «По-твоему, ты можешь вернуться домой?»? И что значил этот недобрый, беззвучный, ехидный смехок? Что он прослышал, Судья? Что он знает? А все эти, остальные, — они тоже знают?

Очень быстро он понял, что не его одного — всех в вагоне присутствие слепого повергло в безмерный, безотчетный ужас. Даже те пассажиры, которые никогда прежде не видели Судью Бленда и только что впервые услышали его бесстыдно вызывающие, жестокие слова, теперь смотрели на него со страхом. А жителей Либия-хилла страх поразила с удвоенной силой, обостренный всем, что они знали об этом человеке. Долгие годы он жил среди них дерзко, вызывающе, напоказ. Хоть он и прикрывался маской почтенного человека, это были всего лишь внешние приметы — о нем шла самая дурная слава, но суд сограждан он встречал ледяным ядовитым презрением, которое всем и каждому внушало своего рода уважительный трепет. Что же до Пастора Флэка, Джарвиса Ригза и мэра Кеннеди, этих Судья Бленд страшил потому, что его незрячие глаза видели их насквозь. Его внезапное появление в вагоне, где никто не ждал его встретить, пробудило у каждого в тайниках души неодолимый ужас.

Джордж распахнул дверь уборной — и наткнулся на мэра, тот чистил над умывальником вставные зубы. Пухлая физиономия, которая на памяти Джорджа неизменно изображала наигранную бодренькую благожелательность, сейчас совсем увяла. Услыхав, что кто-то вошел, мэр круто обернулся. И на секунду в подслеповатых карих глазах его отразился немой испуг. Он бессвязно, бессмысленно что-то залопотал, вставная челюсть дрожала в его трясущихся пальцах. Он безотчетно размахивал ею, точно помешанный, бог весть что должны были выразить эти нелепые и жуткие знаки, но в них явно были и ужас и отчаяние. Потом он вставил зубы на место, слабо улыбнулся и забормотал с потугами на свою всегдашнюю веселость:

— Хо-хо, сынок! Вот когда ты меня застучал! Без зубов, понимаешь, разговаривать трудновато!

Да, всюду бросалось в глаза одно и то же. Джордж замечал это во взглядах, в движениях рук, и то же чувство выдавали, казалось бы, самые спокойные черты. Сол Айзекс, торговец, отвел Джорджа в сторону и зашептал:

— Ты слышал, что говорят про наш банк? — Он осекся, торопливо оглянулся, точно испуганный тем, как воровато прозвучал его голос. — Да нет, все хорошо! Конечно, хорошо. Просто наши тут немножко переусердствовали. Сейчас у нас, в общем-то, затишье, но скоро все оживится!

И все они толковали об одном, повторяли то, что Джордж уже слышал. «Дело того стоит! — с жаром говорили они друг, другу. — Через год можно будет получить двойную цену». Они ловили его на ходу и с величайшей дружеской заботливостью уговаривали вернуться и прочно осесть в родном Либия-хилле: «Ты пойми, лучше места нет на свете!» И, по обыкновению, самоуверенно изрекали свои суждения о делах финансовых, банковских, о колебаниях рынка и ценах на недвижимость. Но теперь Джордж ощущал скрытый за всем этим безмерный, дикий, неистовый страх — страх, владеющий людьми, которые понимают, что погибли, но даже самим себе не смеют в этом сознаться.

Было уже за полночь, и могучий поезд в лунном свете мчался через Виргинию на Юг. Жители захолустных городишек сквозь сон слышали заунывный свисток, потом короткий грохот, когда состав пронесся мимо, и беспокойно ворочались в своих постелях и грезили о прекрасных и далеких больших городах.

В спальном вагоне K19 пассажиры разошлись по своим местам. Небраска Крейн лег рано, но Джордж еще не ложился, так же как и три его земляка — мэр, банкир и политический воротила. Все трое — черствые, прожженные деляги, немало повидавшие на своем веку, бескрылые души, и, однако, в каждом еще жило что-то от мальчишки, которого слишком будоражит дорога и неохота в поезде ложиться спать вовремя, каждого тянуло на люди, и они сошлись в прокуренном туалете. Пошли нескончаемые мужские разговоры, голоса за зеленой портьерой то возвышались, то спадали до полусшепота. Негромко, воровато, с ехидным удовольствием они вспоминали все новые скверные анекдоты из прежней жизни этого бесстыжего грешника — Судьи Рамфорда Бленда, и каждый рассказ завершался неудержимым взрывом грубого смеха.

И вот они хохочут, хлопают себя по бедрам, потом стихают — и Пастор Флэк уже рвется поведать новую завлекательную историю. Он начинает приглушенно, таинственно, прямо как заговорщик:

— А помните, как он...

Тут портьера откинулась, все подняли головы, и вошел Судья Бленд.

— Ну-ну, Пастор, — ворчливо спросил он, — что «помните»?

Под ледяным взглядом незрячих глаз, неподвижных на иссохшем лице, все трое не находили слов. И смотрели на вошедшего с чувством, которое мало назвать страхом.

— Так что же вы тут помните? — повторил Судья порезче. Он стоял перед этими троими, прямой и хрупкий, сложил руки на набалдашнике трости, которой он уперся в пол перед собой. Потом повернулся к Джарвису Ригзу: — Помнишь, как ты основал банк — и хвастал, что «во всем штате нет другого банка, где капитал растет так быстро»; а за счет чего растет, вопрос другой, тут ты был не очень-то разборчив? — Судья вновь обернулся к Пастору Флэку. — Помнишь, как один из «наших мальчиков», — ты их называл мальчиками, ты ведь вообще любитель мальчиков, верно, Пастор? — помнишь, один такой «мальчик» занял денег в этом самом «быстро растущем» банке и купил двести акров земли на холме за рекой (теперь он повернулся к мэру) и продал эту землю городу под новое кладбище?.. Хотя (он опять обращался к Пастору Флэку), право, не понимаю, чего ради мертвым так уж стараться хоронить своих мертвецов.

Он выдержал внушительную паузу, точно провинциальный адвокат перед заключительным обращением к присяжным.

— Что еще вы помните? — Он вдруг заговорил громко и резко, в полный голос. — А я, думаешь, не помню, как ты, Пастор, все эти годы заправлял нашим городом? Думаешь, не помню, сколько выгоды ты извлек из этой самой политики? Ты же никогда не стремился

занять высокий общественный пост, не так ли, Пастор? Нет, нет, ты же сама скромность! Но ты умеешь выбирать патриотически мыслящих граждан, которые весьма к этому стремятся, в своем великодушии они прямо-таки жаждут служить своим братьям! О да. Недурное дельце, приятно им заниматься на досуге, не так ли, Пастор? И все «мальчишки» — участники и акционеры, каждый получает солидную долю барыша, — ведь так это делается, а, Пастор?.. Еще что вы тут помните? — снова выкрикнул он. — А вот я, может быть, помню, что город развалился на части, и в страхе ждет разорения, и только и помышляет, как бы отодвинуть час неминуемой гибели? Да-да, Пастор, я прекрасно помню все эти дела. А между прочим, я-то в них не участвовал, я человек маленький. Ну да, — он укоризненно покивал, — прижмешь иной раз какого-нибудь черномазого, извлечешь толику дохода из черного квартала, даешь кой-какие незаконные ссуды, потихоньку-полегоньку занимаешься ростовщичеством... однако же потребностей у меня всегда было немного и вкусы самые неприхотливые. С меня всегда хватало, ну, скажем, скромных пяти процентов в неделю. Так что мои капиталы невелики, Пастор. Я много чего помню, но теперь мне ясно, что я растранижил силы и здоровье, растратил все свои таланты на беспутную жизнь, а вот благочестивые пуритане добродетельно предавали свой город и служили не за страх, а за совесть погибели я разорению своих сограждан.

Опять минута зловещего молчания — и когда Судья снова заговорил, негромко, почти небрежно, в ровном голосе его звучала насмешка:

— Боюсь, прожил я свою жизнь в лучшем случае пустоплясом, Пастор, и на старости лет придется мне вспоминать одни пустяки: разных веселых вдовиц, которые приезжали к нам в Либия-хилл, да покер, да скаковых лошадей, карты и кости, да виски всех сортов... короче сказать, всяческую скверну, Пастор, о которой ваш брат праведник, кто аккуратнo каждую неделю ходит в церковь, и понятия не имеет. Так что, надо думать, я стану в старости утешаться воспоминаниями о своих грехах — и под конец меня, как всех добрых людей, похоронят среди прочих благодетелей общества на дорогостоящем кладбище у нас на холме... Но я помню и еще всякое разное, Пастор. И ты тоже можешь припомнить. И, может быть, моей скромной деятельностью я тоже послужил некой цели — надо же кому-то быть паршивой овцой в столь достойном стаде.

Те трое молчали, как рыбы, не в силах отвести от него виноватых, испуганных глаз, и каждому казалось, что холодный, невидящий взгляд пронизывает его насквозь. Еще минуту Судья Бленд молча стоял перед ними — и вот, хотя ни один мускул не дрогнул в его застывшем лице, в углах запавшего рта вновь медленно заиграла все та же призрачная, неуловимая улыбка.

— Доброй ночи, джентльмены, — сказал он, повернулся, подцепил тростью портьеру и отодвинул в сторону. — Еще увидимся.

Всю ночь Джордж лежал в темноте и смотрел на скользкую за окном, в полном тревожных снов лунном безмолвии, древнюю землю Виргинии. Поля, и холмы, и ущелья, и реки, и вновь леса, вечная земля, бескрайняя земля Америки все скользила и скользила мимо в необъятном лунном безмолвии.

В этой потусторонней тишине неустанно гремел поезд, оглашал безмолвную землю мощным грохотом, слитым из тысяч звуков, будивших в Джордже давние-давние воспоминания: песни из прошлого, лица из прошлого, память о прошлом, все то странное, безымянное и невысказанное, чем живут люди, что они знают и чувствуют, но не в силах высказать, ибо нет у них для этого слов — предания утонувших во мраке времен, горестная мимолетность отмеренных каждому дней, непостижимое и вечно тревожащее чудо жизни. Вновь, как когда-то, все свои детские годы, слышал он грохот колес, звон колокола, заунывный паровозный свисток, и ему вспоминалось, как долетали до него эти звуки с берега реки, с окраины захолустного городка, и всякий раз тревожили его мальчишескую душу, без слов пророчили буйные и таинственные радости, щедро сулили новые страны, утро и далекий

сияющий город. А сейчас одинокий вопль могучего поезда тем же неведомым языком говорил ему о возвращении. Ибо он возвращался домой.

Затаенный ужас, с каким он в этот вечер лег спать, печальное предчувствие перемен, что ждут его в родном городе, и мрачная тень предстоящих назавтра похорон, — все словно сговорилось против него, и ему уже страшно возвращаться домой, а ведь за годы, проведенные в дальних краях, он так часто с надеждой и с восторгом мечтал вернуться. Но вышло совсем, совсем по-другому. Он все еще пока безвестный преподаватель в одном из нью-йоркских институтов, книга его пока что не увидела света, и ни по каким меркам, принятым в его родном городе, «удачливым» и «преуспевающим» его не назовешь. При этой мысли Джордж вдруг понял, что для него едва ли не самое страшное — безжалостный оценивающий взгляд и строгий суд этого крохотного городка.

Ему приходили на ум долгие годы, проведенные вдали от дома, годы скитаний по многим городам и странам. Вспоминалось, как часто он думал о доме, думал так страстно, так самозабвенно, что стоило закрыть глаза — и перед ним вставали каждая улица, и каждый дом, и лица людей, без счету всплывали в памяти их слова и рассказы и все хитросплетения человеческих судеб. Завтра он увидит все это снова — и, кажется, лучше бы ему не приезжать. Запросто можно было бы отговориться работой, неотложными делами. Да и глупо в конце концов так волноваться из-за этого городишки.

Но почему же его всегда так неодолимо тянуло домой, почему он так много думал о родном городе и помнил его с такой ослепительной яркостью до мельчайшей черточки, если это все не важно? Не оттого ли, что этот городок в кольце вечных гор — единственный родной ему уголок на земле? Он и сам не знал. Знал только, что годы текут, как река, и наступает день, когда человек возвращается домой.

А поезд все мчался по залитой лунным светом земле.

6. Возвращение

На другое утро, выглянув в окно, Джордж увидел горы. Огромные, колдовские, они высились в синеве, и вдруг дохнуло прохладой, искристый воздух пьянил, и сиял, и сверкал. Высоко вздымались могучие исполины, все в непролазных зеленых чащах, иссеченные расселинами и ущельями, мелькали головокружительные кручи, откосы, внезапные обрывы и пропасти. Крохотные хижины лепились то сбоку, на крутизне, то — совсем игрушечные, словно нежилые, — далеко внизу, на дне ущелий. Медленно, трудно взбирался поезд все выше, навстречу извечной тишине земли, вкрадчиво льнул к изгибам и извилам горных склонов, и вдруг Джордж словно заново обрел что-то близкое и далекое, чужое и несказанно родное, что знал давным-давно, — и ему почудилось, будто он вовсе никогда и не уезжал от этих гор и все, что с ним было за годы, которые он провел от них вдали, только приснилось.

Наконец по отлогому изгибу пути поезд скользнул к знакомой станции. И еще не успел он остановиться, как Джордж, неотрывно смотревший в окно, увидел на платформе Рэнди Шеппертона с сестрой, они его ждали. Рэнди, рослый и с виду настоящий силач, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, шарил глазами по окнам вагонов — искал его, Джорджа. Маргарет — крепкая, широкая в кости, стояла твердо, упористо, скрестив руки на животе, и зорко, быстро, испытующе заглядывала в каждое окно. И когда Джордж с чемоданом в руке соскочил со ступенек спального вагона и через блестящие рельсы и щебенку, насыпанную между шпалами, зашагал к платформе напротив, он внезапно каким-то чутьем, отчужденно и вместе привычно понял, какими словами они сейчас его встретят.

Они его увидели. Маргарет что-то взволнованно сказала брату и замахала рукой. И вот Рэнди бежит к нему, радушно протягивая широкую ладонь, и на бегу звучным тенором выкликает приветственные слова.

— Здорово, друг! — кричит он. — Как живешь? Давай лапу! — громко, от души говорит он и стискивает руку Джорджа. — Рад тебя видеть, Обезьян!

Сыпля еще какими-то возгласами, он потянулся за чемоданом Джорджа. Завязалась

неизбежная в таких случаях добродушная перепалка, и через минуту Рэнди с торжеством ухватил чемодан, и они зашагали к платформе, причем Рэнди на все протесты друга пренебрежительно отвечал:

— Да брось ты, ради бога! погоди, когда-нибудь я нагряну в славный город Нью-Йорк к тебе в гости, и тогда изволь, таскай мой багаж... А вот и Маргарет! — прибавил он, когда они поднялись на противоположную платформу. — Знаешь, как она тебе рада!

Маргарет ждала его с широчайшей улыбкой на простодушном лице. В детстве они были соседями и росли бок о бок, почти как брат с сестрой. По правде говоря, одно время десятилетнего Джорджа и двенадцатилетнюю Маргарет соединяла трогательная детская любовь — та самая, когда оба клянутся в верности до гроба и ничуть не сомневаются, что, как только вырастут, сразу поженятся. Но с годами все переменялось. Джордж уехал, а Маргарет после смерти родителей стала заботиться о Рэнди; она и по сей день вела его хозяйство и так и не вышла замуж. Сейчас она приветливо улыбалась Джорджу, рослая, полногрудая, от нее веяло веселым добродушием, и все же во всем ее облике он смутно почувствовал что-то от старой девы — и в нем вдруг всколыхнулась жалость и былая нежность.

— Здравствуй, Маргарет! — сказал он взволнованно, у него даже слегка перехватило горло. — Как живешь, Маргарет?

Они обменялись рукопожатием, и он неуклюже поцеловал ее в щеку. Потом, покраснев от радости, Маргарет отступила на шаг и оглядела Джорджа с добродушно-насмешливым видом, с каким, бывало, поддразнивала его в детстве.

— Ну, что ж! Ты не очень изменился, Джордж! Пожалуй, стал поплотней, а все-таки узнать можно!

Потом, понизив голос, они заговорили о тете Мэй и о похоронах, неловкими, вымученными словами, как люди всегда говорят о смерти. И, исполнив этот долг, немного помолчали, прежде чем вновь стать самими собой.

Мужчины переглянулись и заулыбались. Когда они были юнцами, Джорджу казалось, что Рэнди — вылитый Меркуцио. Небольшая, точеная, прекрасной формы голова, густые светлые волосы; редкостное природное изящество в каждом движении жилистого, но легкого и стремительного тела; и весь он — живой как ртуть, жизнерадостный дух, ясный ум, острый и точный, как тончайший толедский клинок. Таким Рэнди показал себя и в колледже — не только превосходно учился, но стяжал лавры отличного пловца и защитника в футбольной команде.

Но что с ним сделало время? Джордж почувствовал ком в горле. Худощавое точеное лицо Рэнди прорезали глубокие складки, и годы оставили белый след на висках. Волосы уже редели, надо лбом с двух сторон обозначились залысины, от уголков глаз тянулась сеть тонких морщинок. Джорджу и грустно и даже как-то совестно стало оттого, что друг выглядел таким постаревшим и измученным. Но всего сильнее его поразили глаза Рэнди. Прежде они были ясные, смотрели на мир зорко, спокойно и уверенно, а теперь в них таилась тревога, какая-то неотвязная забота глодала его даже в эти минуты, когда он искренне радовался встрече со старым другом.

Так они стояли здесь втроем, а по платформе неторопливо приближались Джарвис Ригз, Пастор Флэк и мэр, занятые каким-то интересным разговором с одним из видных местных агентов по продаже недвижимости, который явился их встречать. Рэнди издали завидел эту компанию и, не переставая улыбаться, подмигнул Джорджу и ткнул его в бок.

— Ага, сейчас тебе достанется! — крикнул он по-озорному, совсем как в мальчишеские годы. — В любой час — от зари и до трех ночи — никаких запрещенных приемов, все средства хороши! Они только тебя и ждут! — И он насмешливо фыркнул.

— Кто ждет? — спросил Джордж.

— Ого-го! — веселился Рэнди. — Да провалиться мне, сейчас они изобразят тут же на месте торжественную встречу и возьмут тебя за глотку — все разбойники по недвижимости, сколько их есть у нас в городе! Старая кляча Барнс, живодер Мак Джайсон, хорек Тим Уогнер, дьявол Промоутер и старый упырь Симс из Арканзаса, душитель вдов и сирот, — все тут как

тут! — Рэнди ехидничал всюду. — Она им сказала, что ты — подходящий покупатель, вот они тебя и ждут! Теперь твой черед! — заорал он. — Она им сказала, что ты едешь домой, и сейчас они бросают жребий, кому содрать с тебя рубаху, а кому штаны! Ха-ха! — И он снова ткнул друга в бок.

— Ничего они с меня не сдерут, — засмеялся Джордж. — С меня и содрать-то нечего.

— Не важно! — орал Рэнди. — Если у тебя найдется лишняя пуговица на вороту, они ее схватят вместо первого взноса, а потом — ха-ха! — с годами в уплату за просто отберут у тебя запонки, носки и подтяжки!

Он покатывался со смеху, такое изумленное лицо было у Джорджа. Потом встретил укоризненный взгляд сестры, ткнул и ее локтем в ребра, так что она сердито вскрикнула и ударила его по руке.

— Ты что, Рэнди? — сказала она с досадой. — Честное слово, ты себя ведешь, как безмозглый дурак! Просто дурак безмозглый!

— Ха-ха! — опять заорал Рэнди. И спокойно, но все еще с усмешкой прибавил: — Пожалуй, придется тебя устроить на ночь в комнатке над гаражом, Обезьян, дружище. У нас ведь только одна комната для гостей, а тут как раз приехал Дейв Меррит. — Имя Меррита он назвал с ноткой почтительности в голосе, но потом продолжал небрежно: — А если хочешь — хо-хо! — у миссис Чарльз Монтгомери Хоппер есть премилая свободная комнатка, и она будет только рада заполучить тебя в гости!

При имени этой дамы Джордж смущенно поежился. Слов нет, она весьма достойная особа и он прекрасно ее помнит, но вовсе не жаждет останавливаться в ее пансионе. Маргарет посмотрела ему в лицо и рассмеялась.

— Что, не повезло тебе? Это ж надо, блудный сын возвращается домой, а мы ему предлагаем выбор — гараж или миссис Хоппер? Да разве это жизнь, скажи на милость?

— Нет-нет, я не против! — возразил Джордж. — Гараж — это просто роскошно. И потом... — все трое опять с веселой нежностью улыбались друг другу, они слишком давно и хорошо друг друга знали и понимали без лишних слов, — если я стану по ночам куролесить, так не разбудю вас, когда буду возвращаться... А кстати, кто такой мистер Меррит?

— Видишь ли... — Теперь Рэнди, казалось, обдумывал и взвешивал каждое слово. — Это... это очень важный человек в нашей фирме... мое начальство, понимаешь? Он объезжает отделения Компании в разных городах, проверяет, все ли в порядке. Отличный парень. Он тебе понравится, — серьезно закончил Рэнди. — Мы ему про тебя рассказывали, и он хочет с тобой познакомиться.

— Мы так и знали, что ты не обидишься, — сказала Маргарет. — Понимаешь, это деловые отношения, мы его подчиненные, и, конечно, надо быть с ним любезнее. — Но такая расчетливость была слишком чужда ее открытой и радушной натуре, и она прибавила: — Мистер Меррит неплохой человек. Мне он нравится. Мы рады, что он у нас остановился.

— Дейв отличный парень, — повторил Рэнди. — И он хочет с тобой познакомиться, это уж точно... Ну что ж, — продолжал он, и взгляд его снова стал озабоченным, — если тут больше делать нечего, пойдёмте. Мне пора назад в контору. Меррит наверняка уже там. Пожалуй, я доведу вас до дому и оставлю, а после увидимся.

Так и договорились, Рэнди еще разок улыбнулся, — беспокойной улыбкой, подумалось Джорджу, — подхватил чемодан и торопливо зашагал через перрон к своей машине, стоявшей поодаль у обочины.

В день похорон Джорджу Уэбберу показалось, что старый деревянный домик, который давным-давно построил своими руками отец тети Мэй и его дед Лафайет Джойнер, ничуть не изменился с тех пор, как он, Джордж, жил здесь мальчишкой. Дом был все тот же, прежний. И, однако, он словно бы стал меньше, в памяти Джорджа он не был таким убогим и жалким. Он выходил не прямо на улицу, а стоял немного в глубине, по одну его сторону был дом Шеппертонов, по другую — огромный кирпичный домик, где жил дядя Марк Джойнер.

Вдоль всей улицы выстроились автомобили, почти сплошь — древние расхлябанные колымаги, заляпанные рыжей глиной горных дорог. Во дворе перед домом тесными кучками стояли мужчины и серьезно переговаривались вполголоса; все они, с непокрытыми головами, в чопорных черных парадных костюмах, казались оробело-смущенными и скованными.

В крохотных комнатках набилось битком народу, перед лицом смерти все притихли, только снова и снова кто-нибудь сдавленно кашлял, приглушенно всхлипывал или сморкался. Здесь было много Джойнеров, три дня они съезжались с гор — старики и старухи, на чьих лицах лежал отпечаток тяжких трудов и забот, двоюродные братья и сестры тети Мэй, дальние родственники и свойственники. Иных Джордж видел впервые, но во всех узнавал племя Джойнеров — по выражению вечной скорби и еще по особенной складке поджатых губ, словно они с угрюмым торжеством бросали вызов смерти.

В комнатухе, где при свете керосиновой лампы, перед зыбким огнем очага сживала зимними вечерами тетя Мэй и рассказывала маленькому Джорджу нескончаемые истории смерти и скорби, лежала она теперь в черном гробу, который еще не закрывали, чтобы все могли на нее наглядеться. И, едва переступив порог, Джордж понял, что, по крайней мере, в одном отношении тетя Мэй, одержимая при жизни, восторжествовала и после смерти. Весь свой век эта целомудренная старая дева трепетала и ужасалась при одной мысли, как бы вдруг когда-нибудь какой-нибудь мужчина случайно не увидел хотя бы кусочек ее тела. Старая, она все больше думала о смерти — и ее терзал страх и стыд, что кто-то может увидеть ее обнаженной, когда она умрет. Поэтому похоронных дел мастера внушали ей ужас, и она заставила своего брата Марка и его жену Мэг торжественно пообещать ей, что ни один мужчина не увидит ее мертвого тела без одежды, что обрядить ее будут одни женщины, а главное — что ее не станут бальзамировать. И вот уже три дня, как она умерла — три долгих жарких знойных дня, — и какая это мрачная, но весьма подходящая развязка, подумалось Джорджу: в пору его детства в этом домишке все разило смертью заживо, а напоследок останется в памяти зловоние самой доподлинной смерти.

Марк Джойнер сердечно пожал племяннику руку и сказал, как он рад, что Джорджу удалось приехать. Марк держался просто, со спокойным достоинством, которое яснее слов говорило о тихой скорби, ведь он всегда искренне любил старшую сестру. Но его жена Мэг, которая пятьдесят лет кряду вела нудную, непрестанную войну с тетей Мэй, теперь разыгрывала самую неутешную плакальщицу и явно наслаждалась этой новой ролью. Во время нескончаемой зауспокойной службы, пока баптистский проповедник резким гнусавым голосом воздавал покойнице хвалы и перебирал шаг за шагом всю ее жизнь, Мэг то и дело раздражалась громкими рыданиями и, широким жестом откинув длинный траурный креп, утирала платком опухшие, покрасневшие глаза.

С бездумной черствостью завязтого фарисея проповедник длинно и ненужно пересказывал старый семейный скандал. Говорил о том, как отец Джорджа Уэббера покинул свою жену, Эмилию Джойнер, ради бесстыдного грешного сожительства с другой женщиной, и как Эмилия вскоре скончалась, ибо «разбитое сердце свело ее в могилу». О том, как «брат Марк Джойнер и его богобоязненная супруга Мэгги Джойнер», исполняясь праведным гневом, пошли в суд и вырвали осиротевшего мальчика из-под опеки грешника отца; и как «добрая женщина, что покоится сейчас перед нами», взяла на себя попечение о сыне сестры и воспитала его по-христиански. И он рад видеть, продолжал оратор, что молодой человек, на коего обращено было сие достойное милосердие, вернулся домой, чтобы отдать последний долг той, кому столь многим обязан.

Так он разглагольствовал, и все это время Мэг всхлипывала и захлебывалась, изображая неутешную скорбь, а Джордж сидел, не поднимая глаз, и то кусал губы, то до боли стискивал челюсти, и пот градом катился по его лицу, багровому от стыда, злости и омерзения.

День уже клонился к вечеру, и наконец-то служба кончилась. Люди выходили из дома, рассаживались по машинам, и длинная процессия медленно двинулась к кладбищу. С

огромным облегчением Джордж улизнул от ближайших родичей, подошел к Маргарет Шеппертон, и они вдвоем сели в одну из заказанных закрытых машин.

Автомобиль уже готов был тронуться и занять свое место в общей веренице, и тут какая-то женщина распахнула дверцу и под села к ним третьей. Это оказалась миссис Делия Флад, старинная подруга тети Мэй, Джордж знал ее всю свою жизнь.

— А, здравствуй, юноша, — сказала она Джорджу, забираясь в машину и садясь с ним рядом. — Вот бы гордилась твоя тетка Мэй, если б знала, что ты прикатил домой в такую даль к ней на похороны. Мэй всегда была о тебе самого высокого мнения, сынок. — Она рассеянно кивнула Маргарет. — Я увидала, что у вас тут есть свободное место. Не пропадать же ему, говорю. Сяду да и поеду. Чего церемонии разводить. Все равно кому-то ехать, так отчего бы и не мне.

Делия Флад была бездетная вдова более чем зрелых лет, низенькая, плотная и крепкая, с черными как смоль волосами, пронзительными карими глазками и неугомонным языком. Вцепится мертвой хваткой в первого встречного — и говорит, говорит, душит какими-то нудными историями без начала и конца. Женщина состоятельная, она больше всего любила распространяться о недвижимом имуществе. Еще задолго до нынешнего земельного бума, безудержной спекуляции и бешеного роста цен она была просто помешана на купле-продаже земельных участков и весьма тонко разбиралась в их стоимости. Некое шестое чувство неизменно подсказывало ей, в каком направлении станет расти город, и когда ее предсказания сбывались, почти всегда оказывалось, что она завладела самыми лучшими участками и теперь может перепродать их с немалой для себя выгодой. Жила она просто и скромно, но слыла богачкой.

Несколько минут миссис Флад хранила задумчивое молчание. Но когда похоронная процессия медленно двинулась по улицам Либия-хилла, она стала бросать быстрые взгляды то в правое, то в левое окно и вскоре, без всяких предисловий, принялась рассказывать своим спутникам историю каждого дома и владения, мимо которого они проезжали. Это было однообразно, до одурения подробно и утомительно. Она болтала без передышки, коротко, беспорядочно взмахивая рукой, и если изредка на миг смолкала, то лишь затем, чтобы важно покивать в знак одобрения собственным речам.

— Понимаете, да? — говорила она и убежденно кивала сама себе, нимало не заботясь, слушают ее или нет, благо сидят какие-то истуканы на ролях слушателей. — Понимаете, что они тут задумали учинить, да? Ну, как же, Фред Барнс, Рой Симс и Мак Джадсон, вся эта шатия — ну, как же! Да-да! Постоите-ка! — воскликнула она, сосредоточенно хмуря брови. — Я же про это читала, так? Это ж было в газете... ну да, ну да... неделю назад или, может, две... про то, как они надумали снести весь этот квартал, а на месте старых домов построить роскошный гараж, в наших краях такого еще не бывало! Понимаете, громаднейший гараж, целый квартал займет, а над ним шикарный домина, восемь этажей, и второй этаж тоже отведут под машины и станут сдавать помещения докторам под прием больных... да-да, как же, а на самом верху, на крыше, даже разобьют сад и устроят большой ресторан. Им все это влетит в полмиллиона долларов, да еще с хвостиком, каждый квадратный фут обойдется в две тысячи! — восклицала она. — Тьфу, пропасть! Это ж цены для Главной улицы... За такие деньги можно в самом центре землю отхватить. Сказала бы я им, что к чему, да куда там... — она легонько, презрительно качает головой, — нет, дудки! Им только здесь землю подавай, ничего другого не хотят. Ну и потеряют все до последней рубашки, их счастье, если сами целы останутся!

Джордж и Маргарет не отозвались ни словом, но Делия Флад словно этого и не заметила и, когда процессия, проехав по мосту, свернула на Престон-авеню, продолжала гнуть свое:

— Поглядите-ка вон на тот дом и участок при нем. Два года назад я за него заплатила двадцать пять тысяч, а сейчас ему цена все пятьдесят и ни пенни меньше. Да-да, и уж я эту цену возьму. Тьфу, пропасть! Нет, вы слушайте! — Она энергично замотала головой. — Меня-то им не облапошить! Я сразу поняла, что у него на уме. Да! Мак Джадсон ко мне приходил, так? Хотел со мной сторговаться, так? Ну как же, еще в начале апреля. — Она нетерпеливо

отмахнулась, будто это должно быть известно всем и каждому. — И вся шайка с ним заодно, он за них и действует, ясно, как дважды два. «Вот что я вам скажу, — говорит. — Мы, говорит, знаем, вы женщина деловая, проницательная, мы вас высоко ставим, войдите с нами в компанию, вот, мол, я вам отдам три отличных участка на Сосновой дороге в Риджвуде, а вы мне — этот дом и участок на Престон-авеню. Вам, говорит, в это дело ни цента вкладывать не надо. Это, говорит, честный обмен, так на так, просто мы не хотим, чтоб вы остались в стороне». А я ему: «Что ж, говорю, очень мило с вашей стороны, Мак, спасибо за любезность. Хотите, говорю, получить этот дом и мой участок на Престон-авеню — отчего ж, извольте. Цена моя, говорю, вам известна — пятьдесят тысяч». И так напрямик и спрашиваю — а ваши, мол, риджвудские участки почему? А он мне: «Да как, мол, сказать. Я, мол, в точности не знаю, сколько они сейчас стоят. Цены на землю все время растут». А я гляжу ему прямо в глаза и говорю: «Так вот, говорю, Мак, я-то знаю цену этим участкам, они сейчас не стоят и того, что вы за них заплатили. Город растет не в ту сторону. И ежели хотите получить этот дом и участок, говорю, выкладывайте наличные и получайте. А меняться я не стану». Так я сказала, и, понятно, на том дело и кончилось. Больше он про это не заговаривал. Да-да, я сразу поняла, что у него на уме.

Приближаясь к кладбищу, вереница машин миновала перекресток — немощеная дорога вела меж полей вверх, к редким сиротливым соснам. Там, где эта дорога вливалась в шоссе, по обе стороны ее стояли два столба из тесаного гранита — ими отметили как бы вход в прекрасный, еще не построенный город, что величаво поднимется здесь на холмах, волнами откатившихся от реки к зеленым чащам. Но пока о грядущем великолепии свидетельствовали одни лишь эти пышные врата да вбитый среди поля шест и на нем доска с надписью.

— А? Что такое? — испуганно вскрикнула миссис Флад. — Что там написано?

Все вытянули шеи, пытаясь на ходу разобрать надпись, и Джордж прочитал вслух:

«Риверкрест.

В честь всех жителей здешнего края и во славу нового и лучшего города, который они здесь воздвигнут».

Миссис Флад выслушала это с явным удовольствием. Она медленно наклонила голову в знак совершенного согласия.

— Ага! — сказала она. — Так оно и будет.

Маргарет подтолкнула Джорджа локтем в бок и наклонилась к самому его уху.

— «В честь!» — презрительно прошептала она и продолжала жеманным тоном светской дамочки. — Не правда ли, как мило? В честь того, что вас возьмут за горло и обдерут как липку.

По дороге, огибающей кладбище, процессия медленно втянулась в ворота и наконец остановилась близ округлой вершины холма, пониже места упокоения Джойнеров. В одном углу этого участка росло огромное рожковое дерево, и под его сенью издавна хоронили всех Джойнеров. Тут стоял семейный памятник — тяжелая квадратная глыба чугуно-серого, до блеска отполированного гранита, на лоснящейся глади его выступали буквы: «Джойнер». По обе стороны этой главной надписи — имена и даты рождения и смерти старика Лафайета и его жены; а вокруг серой гранитной глыбы на пологом склоне рядами располагались могилы детей Лафайета. На каждой — памятник поменьше и на нем, под именем и датами, вырезан прописью какой-нибудь трогательный стишок.

С краю этого семейного кладбища мрачно зияла свежерытая яма, рядом осыпалась комьями горка желтой глины. Выше, на склоне холма, ждали расставленные рядами складные стулья. К ним и направлялись теперь все, кто вылезал из машин.

Марк, Мэг и все прочие Джойнеры заняли передние ряды, Джордж с Маргарет и миссис Флад, которая по-прежнему не отставала от них, сели в последнем ряду. Все остальные — друзья, дальние родственники и просто знакомые — стали кучками позади.

Напротив кладбища густо зеленели, примерно мили на две, поросшие лесом холмы и лощины, они спускались к извилистой речке, а как раз напротив, на другом берегу,

располагался самый центр города, деловая его часть. Отчетливо видны были шпили и дома — и старые постройки, и великолепные новые здания: гостиницы, учреждения и конторы, гаражи, церкви, а среди знакомых очертаний, дерзко сверкая, вздымались леса и бетонные стены новых строений. Это было великолепное зрелище.

Провожающие занимали свои места и ждали, пока несущие гроб одолеют с этой ношей последний медленный и тяжелый подъем на вершину холма, а тем временем миссис Флад, сложив руки на коленях, пристально рассматривала город. Потом принялась задумчиво качать головой, сожалеюще и неодобрительно поджала губы и сказала словно бы про себя:

— Гм, гм, гм! Плохо дело, плохо, плохо дело!

— Что такое, миссис Флад? — перегнувшись к ней, шепотом спросила Маргарет. — Что плохо?

— Да вот, что такое место выбрали под кладбище, — с сожалением сказала та. Она говорила таким театральным шепотом, что все вокруг слышали каждое слово. — Только вчера я говорила Фрэнку Кэндлеру — надо же, два самолучших участка, где бы городу строиться, а их взяли и отдали черномазым да покойникам! Вот ведь что сделали! А я всегда говорила — два лучших участка под застройку, с самым отличным видом, это Черный поселок и Верхнее кладбище. Я им сто лет назад могла это растолковать, да они бы сами могли понять, если бы видели хоть немного подальше собственного носа: когда-нибудь наш город станет расти, и эта земля подскочит в цене. Ну, скажите на милость! Когда присматривали участок на кладбище, почему, скажите на милость, не выбрали хоть Бакстон-хилл? И вид там отличный, и земле не та цена. А тут, — все громче шептала она, — тут же самое что ни на есть подходящее место для застройки! Для жилья лучше не придумаешь. А насчет черномазых — я всегда говорила, им же будет лучше, если их переселить в низину, что возле станции. Теперь-то, конечно, поздно, ничего не поделаешь, а только тут крепко ошиблись! — закончила она все тем же шепотом и покачала головой. — Я-то всегда это знала!

— Да, наверно, вы правы, — прошептала Маргарет. — Я раньше никогда об этом не думала, но, наверно, вы правы, — и подтолкнула Джорджа локтем в бок.

Гроб поставили, и проповедник уже читал краткую, волнуяще торжественную последнюю молитву. Медленно опустили гроб в могилу. И когда черной крышки не стало видно, Джорджа пронзила такая острая, не выразимая словами боль, такая горечь, какой он никогда еще не испытывал. Но и в тот миг он понимал, что это не скорбь о тете Мэй. Это мучительная жалость к самому себе и ко всем людям на свете, оттого что человеку даны считанные дни и так ничтожно мала жизнь человеческая, слишком быстро наступает неизбежная тьма и нет ей конца. И еще: вот не стало тети Мэй, во всей родне нет больше ни одного близкого ему человека, и теперь он ясней прежнего ощутил, что завершилась некая эпоха в его жизни. Перед ним, как пропасть, разверзлось будущее, и на миг его охватили ужас и отчаяние, точно заблудившегося ребенка, ведь оборвалась последняя нить, что связывала его с родным краем, и он теперь бездомный, одинокий, лишенный корней, и на всей огромной планете нет двери, которая открыта ему, нет дома, который он мог бы назвать своим.

Люди уже отходили от могилы, медленно шли к своим машинам. Но Джойнеры не вставали с мест, пока не легла на могильный холмик и не была примята поплотней последняя лопата земли. Тогда лишь, исполнив свой долг, поднялись и они. Иные стояли тут же и негромко, протяжно переговаривались, другие пошли бродить среди памятников, наклонялись, читали надписи, а потом выпрямлялись и вспоминали вслух какой-нибудь забытый случай из жизни какого-нибудь забытого Джойнера. Но наконец и они тоже стали расходиться.

Джорджу не хотелось возвращаться вместе с ними, волей-неволей пришлось бы слушать, как они судят и рядят о тете Мэй, перебирают по зернышку всю ее жизнь; и он взял Маргарет под руку и повел через гребень холма на другую его сторону. Они молча постояли здесь в косых лучах заходящего солнца, глядя, как огромный огненный шар опускается за край далеких гор. И величественная красота заката, и тихое присутствие женщины рядом принесли встревоженной душе Джорджа мир и успокоение.

Они вернулись к могиле; кладбище уже обезлюдело, но, подходя к участку Джойнеров, они увидели Делию Флад — она еще ждала их. Они совсем про нее забыли, а ведь она и не могла уехать без них: на усыпанной гравием дороге у подножья холма оставалась только одна машина, наемный шофер спал, прикорнув за рулем. Миссис Флад ходила среди могил, то и дело останавливалась, наклонялась и при быстро меркнущем свете вглядывалась в какую-нибудь надгробную надпись. Потом стояла в раздумье и смотрела за реку, на город, где уже вспыхивали, мигая, первые огни. Когда Джордж с Маргарет подошли, она обернулась к ним как ни в чем не бывало, будто и не заметила их отсутствия, и заговорила, по своему странному обыкновению, отрывочно, наудачу выдергивая слова из потока мыслей, известных только ей самой.

— Надо же, взял и перетащил ее на другое место, — задумчиво сказала она. — Надо же человеку дойти до такого бессердечия. У-у! — Ее даже передернуло от отвращения. — Кровь стынет в жилах, как подумаю! И ведь все ему говорили, все тогда говорили — надо же, ни капли жалости в человеке, взять и перетащить ее с того места, где ее похоронили!

— О ком это вы, миссис Флад? — рассеянно спросил Джордж. — Кого перетащили?

— Да Эмилию, кого же еще, твою мать, мальчик! — нетерпеливо отозвалась она и взмахом руки указала на источенный временем и непогодой камень.

Джордж наклонился и прочел знакомую надпись:

«Эмилия Уэббер, урожденная Джойнер»

и вырезанные под датами рождения и смерти стихи:

Голоса знакомого не слышно,
И не видно милого лица,
Дух ее вознесся в область вышнюю,
Ангелов узрит он и Творца.
Нам остались слезы и рыдания,
И одна лишь радость впереди —
Вновь ее обнимем в час свидания
В царстве божием на небеси.

— С этого и началось переселение! — говорила миссис Флад. — Никто бы и не додумался тут хоронить, если б не Эмилия. И вот, пожалуйста! — с досадой выкрикнула она. — Женщина уж год как померла и успокоилась в могиле, и тут он возьми да и вбей себе в голову, что надо перенести ее на другое место, и никакими уговорами его не проймешь! Как же, как же, твой дядюшка Марк Джойнер — он такой! Его разве переспоришь! — с жаром вскричала она, будто впервые изумляясь такому открытию. — Ну как же, еще бы! В ту пору как раз у них была вся эта передрыга из-за твоего отца, мальчик. Он бросил Эмилию и ушел к той, к другой женщине... Но уж я-то должна отдать ему справедливость. — Она решительно закивала головой. — Когда Эмилия померла, Джон Уэббер поступил как порядочный, он ее сам схоронил — сказал, она ему жена, и схоронил. Купил участок на старом кладбище, там ее и положил. А потом, больше года прошло, — ты же и сам знаешь, мальчик, — и тут Марк Джойнер разругался из-за тебя с твоим отцом — кому тебя воспитывать, — и подал в суд, и выиграл! Ну как же, вот тогда Марк и вбил себе в голову, что прах Эмилии надо перенести. Сказал, не допустит, чтоб его сестра лежала в земле Уэбберов! Понятно, у него уже был этот участок, тут, на холме, никому сроду и в голову не приходило сюда забираться. Тут только маленький частный участочек был, несколько семей тут хоронили своих, вот и все.

Она помолчала, поглядела задумчиво вдаль, на город, потом вновь заговорила:

— Твоя тетка Мэй — она пробовала с Марком потолковать, но это было все равно как

горох об стену. Она мне тогда все и рассказала. Да нет, куда там! — Миссис Флад решительно затрясла головой. — Раз уж ему что вздумалось, его ни на волос не сдвинешь! Она ему говорит: «Послушай, Марк, эдак не годится. Где Эмилию схоронили, там ей и надо оставаться». Очень не по душе ей была его затея. «У покойников, говорит она ему, тоже есть свои права. Где дерево упало, там ему и лежать», — вот как она ему сказала. Так нет же! И слушать не стал, никто не мог его переспорить. «Пускай, говорит, хоть и сам помру, а уж ее перехороню! Все равно перехороню, ежели придется — сам, своими руками гроб выкопаю, и на своем горбу через реку перенесу, и на холм втащу! Вот где она будет лежать, говорит, и больше ты ко мне с этим не приставай!» Ну, тут твоя тетка Мэй поняла, что уж он по-своему решил и толковать с ним бесполезно. Только ошиблись на этом, страх как ошиблись, — пробормотала она, медленно качая головой. — Столько трудов, и все понапрасну. Уж если он до того близко к сердцу это принимал, так и хоронил бы ее тут сразу, как умерла! А только, я думаю, это он из-за суда, после суда все друг на друга волками стали смотреть, — спокойно закончила она. — Потому и других начали тут хоронить, — она широко повела рукой, — с этого все и пошло. Ну, как же! Когда старое кладбище заполнилось, начали новое место приглядывать, ну и вот, один из шайки Пастора Флэка в муниципалитете возьми да и вспомни эту свару из-за Эмилии и сколько тут земли пустует кругом старых могил. И сообразил, что купить их можно задешево, ну и купил. Вот как дело было. А я всегда об этом жалела. Мне это с самого начала не нравилось.

Она опять замолчала и, поглощенная воспоминаниями, хмуро уставилась на источенный, временем и непогодой могильный камень.

— Так вот, я и говорю, — невозмутимо продолжала она, — когда твоя тетка Мэй увидела, что он решил по-своему и его не переспоришь, нечего и пробовать, она в тот день, как Эмилию перевозили, пошла на старое кладбище и меня с собой позвала. Ну и денек же выдался — холод, ветер, знаешь, как в марте бывает! В точности как в тот день, когда Эмилия умерла. Ну и, конечно, старая миссис Ренн и Эми Уильямсон тоже пошли, они ведь были с Эмилией подруги. И, конечно, когда мы пришли, им было любопытно, хотелось своими глазами поглядеть, сам понимаешь, — невозмутимо пояснила она, упоминая об этом достойном упыря любопытстве без малейшего удивления. — Они и меня уговаривали поглядеть. Твоей тетке Мэй совсем дурно сделалось, так что Марку пришлось отвезти ее домой, ну а я характер выдержала. «Нет, говорю, ежели вы такие любопытные, давайте, смотрите вволю, а я на это смотреть не стану! Мне, говорю, приятней ее помнить такой, как она была живая». И представьте, они своего добились. Заставили старика Прува — помнишь, старик, черномазый, он у Марка работал, — заставили его открыть гроб, а я отвернулась и отошла, покуда они там смотрели, — спокойно рассказывала она. — Через две минуты слышу — идут. Ну, я обернулась, и знаешь, что я тебе скажу, хороши же они были обе! В лице ни кровиночки, и все трясутся! «Ну что, спрашиваю, довольны? Налюбовались?» А миссис Ренн, знаешь, бледная как привидение, дрожит и руки ломает. «Ох, говорит, Делия, какой ужас! И зачем только я глядела!» А я ей: «Ага, мол, что я вам говорила? Убедились теперь?» А она говорит: «Ох, говорит, ничего не осталось, ничего! Все сгнило, узнать нельзя! Лица не осталось, одни зубы! И ногти отросли вот такие длинные! А волосы, Делия, волосы! Что я вам скажу, волосы просто прекрасные! Они так отросли, всю ее закутали... никогда я таких прекрасных волос не видала. Но остальное... и зачем только я смотрела», — говорит. «Так я и думала, — отвечаю, — так я и думала. Я знала, что вы пожалеете, вот и не стала смотреть!» Но так оно все в точности и было, — закончила миссис Флад, очень довольная своей премудростью.

Все время, пока она рассказывала, Джордж и Маргарет стояли, словно оцепенев, на их лицах застыл ужас, но миссис Флад не обращала на них ни малейшего внимания. Взгляд ее устремлен был на могильную плиту Эмилии, губы задумчиво поджаты; немного погодя она сказала:

— Даже не знаю, когда я вспоминала Эмилию и Джона Уэббера... Они оба уже столько лет в могиле. Она лежит здесь, а он совсем один там у себя, на другом конце города, и вся их скандальная история вроде давным-давно забылась. Знаете, — она подняла глаза, в голосе ее

звучало глубокое убеждение, — я верю, что они опять вместе, и помирились, и счастливы. Я верю, что когда-нибудь встречу с ними в лучшем мире, и со всеми моими старыми друзьями, и все они счастливы, и у них новая жизнь.

Она помолчала минуту, потом решительно повернулась и посмотрела на город — там в сумерках уже ярко, уверенно, не мигая горели огни.

— Ну, поехали! — живо, весело крикнула она. — Пора домой! Становится уже совсем темно!

Втроем они молча спустились по склону холма к машине. И когда уже собирались сесть, миссис Флад остановилась и ласково, дружески положила руку Джорджу на плечо.

— Молодой человек, — сказала она, — я долго жила на свете, и, как говорится, мир не стоит на месте. У тебя вся жизнь впереди, ты еще много всего узнаешь и кучу дел переделаешь... но послушай, что я тебе скажу, мальчик! — И она вдруг посмотрела на него в упор, прямым, беспощадным взглядом. — Ступай, пошатайся вдоволь по свету, всего насмотришься, а потом вернешься и скажешь мне, есть ли где место лучше родного дома! Я видела много перемен на своем веку и еще увижу, покуда жива. Нас еще ждет много великих новостей, — великий прогресс, великие изобретения — это все сбудется. Может, я и не доживу, но ты-то доживешь и сам увидишь. Отличный у нас город и отличные люди, они его сделают еще лучше — и наша песенка пока что не спета. У меня на глазах Либия-хилл вырос из самого обыкновенного поселка, а когда-нибудь он станет настоящим большим и славным городом.

Она помолчала, словно ждала, что Джордж ответит, подтвердит ее предсказания; он лишь кивнул, показывая, что слышал, но она приняла это как знак согласия и продолжала:

— Твоя тетка Мэй всегда надеялась, что ты вернешься домой. И ты вернешься, да-да! Нет на свете места лучше и краше наших гор, и когда-нибудь ты вернешься навсегда.

7. Процветающий город

Всю неделю после похорон тети Мэй Джордж заново знакомился с родным городом, и эти дни наполнили его тревогой. Маленький сонный горный поселок его детства — а в ту пору это и впрямь был только поселок — стал неузнаваем. Даже улицы, которые он знал назубок и так часто вспоминал в последние годы, — пустынные в полуполуденный час, погруженные в хорошо ему знакомую ленивую дремоту, теперь бурлили оживлением, по ним мчались дорогие машины, их заполняли люди, которых он никогда прежде не видел. Лишь изредка попадались знакомые лица, и в этой странной, непривычной суতোлке они казались Джорджу маяками, светящими во тьме на пустынном берегу.

Но больше всего ему бросилось в глаза — а заметив это однажды, он стал присматриваться и теперь замечал повсюду — особенное выражение на всех лицах. Оно озадачивало и пугало, и когда Джордж пытался его как-то определить, на ум приходило одно лишь слово: помешательство. Конечно же, так беспокоило, так лихорадочно могут блестеть глаза только у помешанных. Лица коренных жителей и приезжих словно бы выдавали одно и то же затаенное нечестивое ликование. И когда они ловко и напористо прокладывали себе путь, пробиваясь сквозь толпу, в каждом из них, во всем теле чудилась какая-то дикая порывистость, словно они двигались под действием сильного наркотика. Словно в городе все до единого были пьяны, и это непонятное опьянение не завершалось усталостью, не убивало, не отупляло и не кончалось, а лишь вызывало новые порывы неукротимой ликующей энергии.

Люди, которых он знал всю свою жизнь, окликали его на улице и трясли ему руку.

— А, здорово, друг! — говорили они. — Как приятно, что ты вернулся! Теперь поживешь дома? Вот и хорошо! Ну, еще увидимся! А сейчас мне надо бежать, надо встретиться с одним малым, подписать кой-какие бумаги! Рад был тебя повидать!

Все это они выпаливали одним духом, не замедляя шага; стиснув его руку в приветственном рукопожатии, они увлекали, почти тащили его за собой, а договорив — исчезали.

И со всех сторон толки, толки, толки — до одурения, без передышки. И вся эта разноголосица сводится к перепевам одной темы: спекуляция недвижимостью. Люди сходятся деловитыми кружками у дверей аптек, у почты, у зданий суда и муниципалитета — и говорят, говорят. Торопливо шагают по улицам, поглощенные разговором, и лишь изредка рассеянно кивают знакомым при встрече.

Всюду кишмя кишат агенты по продаже недвижимости. Их легковушки и автобусы проносятся по улицам, мчат за город все новых предполагаемых клиентов. Где-нибудь на крыльце они разворачивают чертежи и проспекты и выкрикивают тугим на ухо старухам соблазнительные посулы внезапного обогащения. Охотятся за любой дичью, за калекками, хромыми, слепыми, обхаживают и ветеранов Гражданской войны, и дряхлых, живущих на пенсию вдов, не гнушаются ни мальчишками и девчонками едва со школьной скамьи, ни неграми — шоферами грузовиков, продавцами содовой воды, лифтерами, чистильщиками обуви.

Землю покупали все; и все и каждый, по названию или на самом деле, оказались «землевладельцами». Парикмахеры, адвокаты, бакалейщики, мясники, каменщики, портные — все поглощены и одержимы были одним и тем же. И для всех, как видно, существовало одно-единственное незыблемое правило: покупать, без конца покупать, за любую цену, сколько ни спросят, и не позже чем через два дня продавать за любую цену, какую вздумаешь назначить сам. Это было как во сне. На всех улицах Либия-хилла земля непрерывно переходила из рук в руки; а когда уже не осталось обжитых улиц, на окрестных пустырях с лихорадочной быстротой прокладывались новые, — и еще прежде, чем их успевали замостить и построить на них хотя бы один дом, земля эта снова продавалась и перепродавалась — по акру, по участку, по квадратному футу, за сотни тысяч долларов.

Всюду царил дух пьяного расточительства и неистового разрушения. Живописнейшие уголки города продавались за бешеную цену. В самом сердце Либия-хилла поднимался когда-то чудесный зеленый холм, он радовал глаз бархатистыми лужайками и величавыми деревьями-исполинами, цветочными клумбами и живыми изгородями из цветущей жимолости, а на вершине его стояло огромное обветшалое деревянное здание старой-престарой гостиницы. Из ее окон можно было любоваться необъятными горными грядками в туманной дали.

Джордж хорошо помнил эту гостиницу, ее широкие веранды и уютные качалки, бесчисленные коньки и карнизы, путаницу пристроек и коридоров, просторные гостиные с толстыми красными коврами и вестибюль с красными кожаными креслами, на которых от старости уже неизгладимы были вмятины и отпечатки человеческих тел, и запах табака, и позвякивание льдинок в высоких бокалах. Великолепная столовая всегда полна была смеха и негромких голосов, и ловкие чернокожие слуги в белых куртках сгибались, кланялись и посмеивались шуточкам богатых северян, искусно, с изяществом почти священнодейственным, подавая отличнейшую еду на старинных серебряных блюдах. Джорджу помнились и улыбки, и нежная красота жен и дочерей этих северных богачей. В детстве все это поражало его невыразимой таинственностью, ведь эти богатые путешественники приезжали из дальней дали и странным образом приносили с собой нечто от того чудесного, невиданного мира, предчувствие огромных сказочных городов, что обещали блеск, славу и любовь.

Это был один из лучших уголков в городе, а теперь от него не осталось и следа. Армия людей с лопатами надвинулась на прекрасный зеленый холм и снесла его, а безобразный плоский пустырь покрыла гнетущим, отвратительным белесым цементом и настроила магазинов, гаражей, контор и автомобильных стоянок, — кричаще новые, они резали глаз, — и теперь как раз под тем местом, где стояла прежде старая гостиница, строился новый отель. Предполагалось, что это будет здание в шестнадцать этажей, сплошь стекло, бетон и прессованный кирпич. Оно было словно отштамповано гигантской стандартной формой, что лепила отели, как печенье, — тысячи штук, совершенно одинаковых по всей стране. И чтобы отличить это детище штампа и однообразия хоть каким-то, пусть поддельным достоинством,

отель предполагалось назвать «Либия-Ритц».

Однажды Джордж столкнулся с Сэмом Пенноком — товарищем детских лет и однокашником по колледжу Пайн-Рон. Сэм мчался по людной, шумной улице своим прежним торопливым, стремительным шагом и, даже не здороваясь, заговорил — речь его, и в былые годы хриплая, резкая, отрывистая, показалась Джорджу совсем уж лихорадочной.

— Ты когда приехал?.. Надолго?.. Что скажешь про наши дела?.. — И, не дожидаясь ответа, вдруг спросил вызывающе, нетерпеливо, почти презрительно: — Ты что ж, так и намерен оставаться всю жизнь учительшкой на жалованье две тысячи в год?

Этот пренебрежительный тон, это высокомерие, которое сквозило в повадке всех здешних жителей, раздувающихся от сознания своего богатства и преуспевания, уязвило Джорджа, и он ответил в сердцах:

— Бывают занятия и похуже, чем учить ребят в школе! К примеру — быть миллионером на бумаге. А насчет двух тысяч в год — их можно взять в руки, Сэм! Это не то что цена земли, это настоящие деньги. На них можно купить кусок хлеба с ветчиной.

Сэм расхохотался.

— Вот это верно! — сказал он. — Я тебя не осуждаю. Это чистая правда! — Он медленно покачал головой. — О, господи... тут все вконец с ума посходили... Отродясь ничего подобного не видал... Да, все просто спятили! — воскликнул он. — С ними не сговоришь... Ни в чем не убедишь... Они тебя просто не слушают... Берут за землю такие деньги, что и в Нью-Йорке таких не получишь...

— И вправду получают эти деньги?

Сэм визгливо засмеялся.

— Ну, видишь ли... получают первые пятьсот долларов, — сказал он. — А остальные пятьсот тысяч — в рассрочку.

— И на сколько рассрочка?

— Господи, да я не знаю... Наверно, на сколько хочешь... Навсегда!.. Это не важно... Назавтра ты сам продаешь за миллион.

— В рассрочку?

— Вот именно! — со смехом закричал Сэм. — И в два счета выручаешь полмиллиона.

— В рассрочку?

— Угадал! — сказал Сэм. — Именно что в рассрочку... Спятели, спятели, спятели, — повторял он, смеясь и качая головой. — Так оно и есть.

— И ты тоже этим занимаешься?

Сэм сразу стал напряженно серьезен.

— Ты, пожалуй, не поверишь, — горячо сказал он. — Я гребу деньги лопатой!.. За последние два месяца огреб триста тысяч долларов!.. Вот честное слово!.. Вчера купил участок и так ловко обернулся, через два часа перепродал... Пятьдесят тысяч заработал вот так, в два счета! — Он щелкнул пальцами. — А твой дядюшка не продаст дом на Локаст-стрит, где жила твоя тетя Мэй?.. Ты с ним про это еще не говорил?.. Если я предложу купить, может, он подумает?

— Да, наверно, если предложение будет выгодное.

— А сколько он хочет? — нетерпеливо спросил Сэм. — За сто тысяч отдаст?

— А ты можешь достать такие деньги?

— В двадцать четыре часа достану, — сказал Сэм. — Я знаю одного человека, он этот дом с руками оторвет... Вот что, Обезьян, если ты уговоришь дядю продать, комиссионные поделим... Я тебе дам пять тысяч.

— Ладно, Сэм, заметано. Можешь одолжить мне пятьдесят центов в счет этого дела?

— Так он, по-твоему, продаст? — жадно спросил Сэм.

— Право, не знаю, но вряд ли. Этот дом принадлежал еще моему деду. Старинная семейная собственность. Наверно, дядюшка захочет его сохранить.

— Сохранить! Да какой смысл сохранять?.. Сейчас самое время для выгодной сделки. Лучшей цены ему вовек никто не даст!

— Да я знаю, а только он рассчитывает не нынче-завтра найти там на задворках нефть, — со смехом сказал Джордж.

В эту минуту что-то застопорилось в стремительном уличном движении. От потока более скромных машин отделился великолепный дорогой автомобиль, плавно скользнул к обочине и замер, сверкая никелем, стеклом и хромированной сталью. Вылез крикливо разодетый седок, лениво и надменно шагнул на тротуар, небрежно сунул под мышку щегольскую тросточку и, картинно, неторопливо стягивая с побуревших от табака пальцев лимонно-желтые перчатки, процедил шоферу в ливрее:

— Можете отправляться, Джеймс. Заезжайте за мной через полчаса.

У этого субъекта была тощая землисто-бледная физиономия с запавшими щеками. Только большой распухший нос ярко рдел, и на нем отчетливо выделялась сложная сеть лиловых прожилок. Взамен давно выпавших зубов сверкали фальшивым блеском такие огромные вставные челюсти, что губы не прикрывали их, и они являли всему свету мрачную кладбищенскую ухмылку. Весь он был грузный, расплывшийся, и, однако, что-то в нем наводило на мысль о безудержном разврате. Он двинулся по тротуару, тяжело опираясь на трость, скалясь в мрачной, фальшивой улыбке, и вдруг Джордж узнал в этой развалине хорошо знакомого ему с детских лет Тима Уогнера.

Дж.Тимоти Уогнер (Дж. он счел нужным прибавить себе совсем недавно и без всяких оснований, но, конечно, для пущей важности, ибо полагал, что так оно подобает тому, кто последнее время играет столь выдающуюся роль в делах родного города) был паршивой овцой в одром из самых старых и почтенных здешних семейств. Когда Джордж Уэббер был мальчишкой, Тим Уогнер уже успел всех вконец разочаровать и растерял последние крохи чьего бы то ни было уважения.

Он был первейший пьяница на весь город. Его первенство по этой части никто и не подумал бы оспаривать. Тут им в каком-то смысле даже восхищались. Как выпивоха он прославился, о его пьяных подвигах ходили сотни анекдотов. К примеру, однажды посетители, от нечего делать коротавшие вечерок в аптеке Мак-Кормака, увидели, как Тим что-то проглотил и весь судорожно передернулся. Так повторялось несколько раз кряду, и зевакам стало любопытно. Исподтишка они начали присматриваться. Через несколько минут Тим украдкой запустил руку в аквариум с золотыми рыбками и вытащил бьющееся в его пальцах крохотное существо. И снова — быстрый глоток и судорожная дрожь.

К двадцати пяти годам он унаследовал два состояния и оба промотал. Об увеселительной поездке, которой он отпраздновал получение второго наследства, рассказывали превеселые истории. Тим нанял частный автомобиль, нагрузил его до отказа спиртным и подобрал себе в спутники самых отъявленных пьяниц, бездельников и шлюх, какие только нашлись в Либияхилле. Разгул длился восемь месяцев. Компания бродячих выпивох объехала всю Страну. Они разбивали пустые фляжки о неприступные стены Скалистых гор, швыряли пустые бочонки в бухту Сан-Франциско, усеяли равнины бутылками из-под пива. Наконец они добрались до столицы, на остатки своего наследства Тим снял целый этаж в одном из самых знаменитых отелен, и здесь кутили пресытились до изнеможения. Один за другим, выбившись из сил, они возвращались восвояси и дома повествовали о таких оргиях, каких свет не видал со времен римских императоров, а Тим под конец остался в одиночестве в опустелых, разгромленных роскошных апартаментах.

После этого он быстро докатился до непробудного пьянства. Но даже и тогда сохранялись в нем следы какой-то привлекательности, чуть ли не обаяния. Все относились к нему со снисходительной молчаливой симпатией. Тим не причинял вреда никому, кроме самого себя, это было существо безобидное и добродушное.

Все привыкли видеть его по вечерам на улицах. После захода солнца его можно было

встретить где угодно. О том, насколько он уже пьян, нетрудно было судить по тому, как он передвигался. Никто никогда не видел, чтобы он шел пошатываясь. Его не заносило из стороны в сторону от одного края тротуара до другого. Напротив, изрядно напившись, он шагал очень прямо и очень быстро, но до смешного маленькими, короткими шажками. Шел наклонив голову и презабавно торопливо поглядывал то вправо, то влево, будто опоссум. А когда чувствовал, что ноги вот-вот откажутся ему служить, попросту останавливался, прислонился к чему попало, будь то фонарный столб, дверной косяк, стена или витрина аптеки, и преспокойно стоял на одном месте. В такой торжественной неподвижности, которая лишь изредка прерывалась икотой, он мог пребывать часами. На лице его, уже в те времена исхудалом и дряблом, пылал, точно маяк, багровый нос и лежала печать пьяной важности; при всем том он оставался на редкость собранным, вполне владел собой и соображал, что делается вокруг. Чрезвычайно редко он доходил до полной потери сознания. И если его окликали или здоровались, мигом бойко отзывался.

Даже полицейские относились к нему благосклонно и по-приятельски его опекали. Долгий опыт и наблюдение помогли всем чинам местной полиции в подробностях изучить признаки Тимова состояния. С первого взгляда они могли определить, насколько именно он упился, и если видели, что он перешел предел и неминуемо свалится где-нибудь на крыльце или в канаве, сразу брали заботу о нем на себя и остерегали не зло, но строго:

— Тим, если ты будешь еще болтаться нынче по улицам, придется тебя засадить под замок. Поди-ка лучше домой и проспись.

В ответ Тим бодро кивал и тотчас дружелюбно соглашался:

— Конечно, сэр, конечно. Я и сам собирался, капитан Крейн, в эту самую минуту. Сейчас же иду домой. Конечно, сэр.

Скажет так и мелкими быстрыми шажками бойко двинется через улицу, забавно шныряя взглядом то вправо, то влево, и наконец скроется за углом. Однако минут через пятнадцать он появлялся вновь, осторожно пробирался в тени вдоль стен, крадучись, с хитрой миной выглядывал из-за угла — не видать ли поблизости стражей закона?

Годы шли, Тим все больше превращался в бродягу, и вот одна его богатая тетушка, в надежде, что какое-то занятие хотя бы отчасти его исправит, отдала в его распоряжение пустырь на задворках делового квартала, в двух шагах от Главной улицы. К этому времени в городе развелось немало автомобилей, потребовались узаконенные стоянки, и тетка разрешила Тиму содержать на этом ее участке стоянку для машин, а выручку брать себе. На этом поприще он преуспел сверх всяких ожиданий. Делать тут было нечего, разве только сидеть на месте, что давалось ему без труда — было бы вдоволь виски.

В эту пору его жизни иные сборщики голосов перед выборами местных властей пытались заручиться голосом Тима для своего кандидата, но никому не удавалось узнать, где он живет. Разумеется, он уже несколько лет не жил под одной крышей с кем-либо из родных, и все поиски его постоянного жилища оставались напрасными. Люди все чаще спрашивали: «Да где же Тим Уогнер живет? Где он ночует?» И никто ничего не мог разведать. А когда приставали с расспросами к самому Тиму, он отделялся увертками.

Но однажды все разъяснилось. Автомобиль вошел в быт так прочно, что даже покойников на кладбище везли на автокатафалке. Времена дрог, запряженных лошадьми, миновали безвозвратно. И одно похоронное бюро предложило Тиму даром старые дроги, лишь бы он их забрал, чтоб не занимали места. Тим принял зловещий подарок и отвел на свою стоянку. Однажды, когда он куда-то отлучился, опять явились сборщики, они все еще упорствовали в желании узнать его адрес и заручиться лишним голосом на выборах. На глаза им попались старые дроги, наглухо задернутые траурные занавески не давали заглянуть внутрь фургона, и пришельцам стало любопытно. Они осторожно отворили дверцу. Внутри стояла койка. И даже стул. Это была обставленная, как положено, маленькая, но вполне приемлемая спальня.

Итак, секрет был наконец раскрыт. Отныне весь город знал, где живет Тим Уогнер.

Таким Джордж знал Тима Уогнера пятнадцать лет назад. С тех пор Тим все неотвратимей спивался, прямо на глазах терял человеческий облик и в последнее время приобрел повадки заправского придворного шута. Все это было всем известно, и однако — трудно поверить! — теперь Тим Уогнер стал высшим воплощением охватившего город непостижимого безумия.

Как игрок по сумасбродной прихоти доверяет свое состояние незнакомцу со «счастливым» цветом волос, сует ему свои деньги и умоляет поставить на карту, как азартный лошадиный скачек спешит дотронуться до горба калеки, веря, что это приносит удачу, так жители Либия-хилла молитвенно ловили теперь каждое слово Тима Уогнера. Не спросив его, не заключали ни одной сделки и тотчас действовали по его подсказке. Он стал — никто не знал, как и почему — верховным жрецом и пророком охватившего весь город безумия расточительства.

Все знали, что он больной, конченный человек, что рассудок его теперь постоянно помрачен алкоголем, и, однако, обращались к нему, как некогда люди обращались к магической лозе, чтобы она подсказала, где рыть колодец. К нему прислушивались, как некогда прислушивались в России к деревенским дурачкам. Безоглядно, безоговорочно верили, что он обладает неким таинственным чутьем и потому его суждения непогрешимы.

Вот эта личность, исполненная пьяного величия и тупого щегольства, и вылезла сейчас из машины чуть позади Джорджа Уэббера и Сэма Пеннока. Сэм жадно, нетерпеливо обернулся к нему, коротко бросил Джорджу:

— Обожди минутку! Мне надо кой о чем потолковать с Тимом Уогнером! Обожди, я сейчас вернусь!

Джордж в изумлении смотрел на них. Тим Уогнер, все еще со скучающе небрежным видом снимая перчатки, медленно направлялся к дверям аптеки Мак-Кормака, он опирался на трость и уже не семенил, как бывало, быстрыми мелкими шажками, — а Сэм, держась на полшага позади, с видом умоляющим и подобострастным, хрипло сыпал вопросами:

— Земля в Западной Либии... Семьдесят пять тысяч долларов... Ответ надо дать завтра в полдень... Участок Джо Ингрема как раз над моим... А он продавать не хочет... Дождется, пока дадут сто пятьдесят... Моя земля расположена лучше... А Фред Байнем говорит — слишком далеко от шоссе... Как по-твоему, Тим?.. Дело стоит того?

Настигаемый этим потоком слов, Тим даже головы не повернул, ни разу не поглядел на просителя. Будто ничего и не слышал. Вдруг он остановился, сунул перчатки в карман, кинул по сторонам несколько быстрых хитрых взглядов и скрюченными пальцами начал остервенело чесаться. Потом выпрямился, точно очнувшись от забытья, и словно бы впервые заметил рядом Сэма.

— Что такое? Что ты говоришь, Сэм? — быстро спросил он. — Сколько тебе за это дают? Не продавай, не продавай! — с внезапной горячностью сказал он. — Сейчас не продавать надо, а покупать. Цены растут. Покупай! Покупай! Не поддавайся. Не продавай. Вот тебе мой совет!

— Я не продаю, Тим, — в волнении отозвался Сэм. — Я думаю покупать.

— Ну да, да-да, — быстро забормотал Тим. — Понятно, понятно. — Он впервые повернулся и внимательно посмотрел на собеседника. — Где это, говоришь? — резко спросил он. — В Старом бору? Хорошо! Хорошо! Дело верное! Покупай! Покупай!

Он зашагал в аптеку, и зеваки-завсегдатаи почтительно посторонились, давая ему пройти. Сэм вне себя кинулся вдогонку, ухватил его за руку и закричал:

— Нет, нет, Тим! Это не в Старом бору! Совсем в другой стороне... Я ж тебе говорил... Западная Либия!

— Что такое? — резко переспросил Тим. — Западная Либия? Чего ж ты сразу не сказал? Это другой разговор. Покупай! Покупай! Дело верное! Весь город растет в том направлении. Через полгода цены удвоятся. Сколько просят?

— Семьдесят пять тысяч, — задыхаясь от волнения, выговорил Сэм. — Ответ надо дать завтра... Рассрочка на пять лет.

— Покупай! Покупай! — рявкнул Тим и скрылся в аптеке.

Сэм большими шагами вернулся к Джорджу, глаза его сверкали возбуждением.

— Слыхал? Слыхал, что говорит? — хрипло спросил он. — Ты все слыхал, да?.. Черт побери, лучшего знатока недвижимости свет не видал... Он еще ни разу не ошибся, кого хочешь спроси... «Покупай, — говорит. — Покупай! Через полгода цены удвоятся!..» Ты ж тут стоял, — хрипло сказал он, словно обвиняя, и свирепо уставился на Джорджа, — ты сам слышал, что он сказал, верно?

— Ну, слышал.

Сэм дико огляделся вокруг, несколько раз кряду беспокойно провел рукой по волосам, тяжело вздохнул и в недоумении покачал головой.

— Семьдесят пять тысяч выгадать на одной сделке!.. Сроду ничего подобного не слыхал!.. Господи боже! — воскликнул он. — Что-то будет дальше?

Каким-то образом распространился слух, что Джордж написал книгу и скоро она будет напечатана. Об этом прослышал издатель местной газеты и послал репортера взять у Джорджа интервью.

— Так вы написали книгу? — спросил репортер. — Что же это за книга? О чем?

— Да я... я... право, не знаю, как вам сказать, — заикаясь, ответил Джордж. — Это... это роман...

— Роман из жизни Юга? И он как-то связан со здешними краями?

— Ну... ну да... то есть... именно о Юге... об одной семье в Старой Кэтоубе... но...

МОЛОДОЙ ЮЖАНИН ПИШЕТ РОМАН О СТАРОМ ЮГЕ

«Джордж Уэббер, сын покойного Джона Уэббера и племянник Марка Джойнера, местного торговца скобяными изделиями, написал роман по мотивам жизни Либия-хилла, который будет опубликован осенью в Нью-Йорке издательством «Джеймс Родни и Ко».

Вчера вечером в беседе с нашим корреспондентом молодой автор сказал, что его книга рисует Старый Юг, в центре повествования — история почтенного семейства, поселившегося в наших краях еще до Гражданской войны. Жители Либия-хилла и его окрестностей будут ждать выхода книги с особым интересом не только потому, что многие вспомнят автора, который здесь родился и вырос, но и потому, что эта волнующая пора в прошлом Старой Кэтоубы доныне еще не занимала принадлежащего ей по праву почетного места в литературных анналах нашего Юга».

— Насколько нам известно, после отъезда из дому вы много путешествовали. Побывали в Европе, и не раз?

— Да, это верно.

— И как, на ваш взгляд, выдерживают наши края сравнение с другими местами, которые вы повидали?

— Ну... ну... э-э... ну конечно!.. Я хочу сказать — еще как! То есть...

СРАВНЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ЗДЕШНЕГО РАЯ

«Отвечая на просьбу корреспондента сравнить наши края с другими местами, где он побывал, недавний житель Либия-хилла заявил:

— Ни одна страна, которую я посетил, — а я путешествовал по Англии, Германии, Шотландии, Ирландии, Уэльсу, Норвегии, Дании, Швеции, не говоря уже о юге Франции, итальянской Ривьере и Швейцарских Альпах, — не может сравниться по красоте с моим родным городом.

— Природа подарила нам поистине райский уголок, — сказал он восторженно. — Воздух, климат, ландшафт, вода, красота природы — все словно сговорилось сделать наш край лучшим местом на свете».

- Не думаете ли вы снова поселиться здесь?
— Н-ну... да, я об этом подумывал... но... видите ли...

ОН НАМЕРЕН ОСЕСТЬ ЗДЕСЬ И ПОСТРОИТЬ СЕБЕ ДОМ

«На вопрос о том, каковы его планы на будущее, писатель ответил:

— Многие годы моей заветной мечтой и стремлением было в один прекрасный день вернуться домой. Кто однажды изведал колдовскую власть наших гор, не в силах их забыть. И потому, я надеюсь, недалек тот час, когда я смогу вернуться домой навсегда.

— Я чувствую, — задумчиво продолжал писатель, — что здесь, как нигде в другом месте, я обрету вдохновение, необходимое мне для моей работы. Простая логика подсказывает, что зрительно, климатически, географически и во всех прочих отношениях эти места самые подходящие: именно здесь, среди этих гор, должен возникнуть новый современный Ренессанс. Почему бы, спрашивается, лет через десять нашей округе не стать великим художественным центром, который будет привлекать великих людей искусства, поклонников музыки и красоты со всего света, как сейчас их привлекает Зальцбург? Праздник цветов — вот первый шаг, сделанный в нужном направлении.

— Отныне, — закончил серьезный молодой писатель, — я буду всеми силами содействовать достижению этой великой цели и постараюсь уговорить всех моих друзей — литераторов и художников — поселиться здесь и превратить Либия-хилл в то, чем ему подобает быть — в американские Афины».

- Намерены ли вы написать еще одну книгу?
— Да... то есть... надеюсь... В сущности...
— Не хотите ли что-нибудь о ней рассказать?
— Право, не знаю... сейчас очень трудно сказать...
— Ну-ну, сынок, не стесняйтесь. Мы тут все земляки, люди свои... Возьмите, к примеру, Лонгфелло. Вот кто был великий писатель. Знаете, что должен был бы сделать молодой человек с вашими талантами? Вернуться сюда и сделать для этих мест то, что сделал Лонгфелло для Новой Англии...

ОН ЗАДУМАЛ НАПИСАТЬ САГУ РОДНОГО КРАЯ

«На наши настойчивые расспросы о планах дальнейшей литературной работы молодой автор ответил ясно и откровенно.

— Я хочу вернуться сюда, — сказал он, — и увековечить жизнь, историю и расцвет Западной Кэтоубы в серии поэтических легенд, подобно тому как поэт Лонгфелло увековечил жизнь обитателей Новой Шотландии и народное творчество Новой Англии. Я задумал трилогию, которая начнется появлением в этих краях первых поселенцев, в том числе и моих собственных предков, и проследит неуклонный прогресс Либия-хилла от самого его основания и постройки первой железной дороги — и до нынешней его широчайшей известности, когда он завоевал гордое имя Жемчужины Гор».

Джордж весь корчился и ругательски ругался, читая это интервью, в котором было перевернуто все с начала до конца. Он был зол и смущен и в то же время чувствовал себя виноватым.

Наконец он сел и написал в газету язвительное письмо, но дописав — порвал. В конце концов, что толку? Репортер сплел свой рассказ, в сущности, из ничего, из дружелюбных междометий и жестов своей жертвы, из нескольких отрывочных слов, которые Джордж выпалил в совершенном смущении, а главное — из его сдержанности, нежелания говорить о будущей работе; и, однако, этот газетчик явно патриот до мозга костей, потому он и сумел состряпать такую ловкую выдумку — и, вероятно, сам как следует не понимал, что это выдумка.

И потом, размышляя Джордж, если он начнет с жаром опровергать все заявления,

которые ему приписаны, люди только сочтут его придирой, подумают — написал книгу и зазнался до невозможности. Впечатление от такой вот заметки не рассеешь, если просто все отрицать. Заявишь, что все это враки, а люди скажут, будто он нападает на родной город, ополчился на тех, кто его взрастил и воспитал. Нет уж, от худа худа не ищут.

Итак, он промолчал. И странное дело, после этого ему начало казаться, что к нему стали относиться иначе. Не то чтобы прежде на него смотрели недружелюбно. Но теперь он чувствовал — его одобряют. И от одного этого возникло спокойное удовлетворение, словно люди во всеуслышание его признали.

Как всякий американец, Джордж влюблен был в материальный успех и теперь радовался мысли, что в глазах родного города он богач или, по крайней мере, находится на верном пути к богатству. В одном ему особенно повезло. Книгу его приняло старое и весьма почтенное издательство; фирма эта была всем известна, и, встречая Джорджа на улице, люди крепко пожимали ему руку ж говорили:

— Стало быть, твоя книга выйдет у Джеймса Родни и Компании? — Чудесно звучал этот простой вопрос, который задавали, заранее зная ответ. Джорджу слышалось: его не только поздравляют с тем, что книга будет, издана, но подразумевают еще, как повезло почтенному издательству, что они получили такую рукопись. Вот как это звучало — и, вероятно, в таком смысле и говорилось. Потому-то у Джорджа и возникло ощущение, что в глазах земляков он «своего достиг». Он уже не прежний чудной малый, который изводит себя в обманчивой надежде, будто он — шутка сказать! — писатель. Да, он и вправду писатель. И не какой-нибудь, а такой писатель, которого вот-вот напечатают, и не где-нибудь, а в старинном и почтенном издательстве «Джеймс Родни и Ко ».

Есть что-то очень хорошее в том, как люди радуются успеху, да и всему — что бы это ни было, — что отмечено признаками успеха. Право же, тут нет ничего дурного. Люди любят успех, потому что для большинства он означает счастье — и в какой бы форме он ни пришел, для них он — воплощение того, к чему они в глубине души стремились сами. В Америке это верно, как нигде в мире. Люди называют успехом образ самых заветных своих желаний, оттого что счастье никогда не представало перед ними ни в каком другом образе. Вот почему по сути своей эта любовь к успеху — чувство вовсе не дурное, а, напротив, хорошее. Оно вызывает в окружающих щедрый и благородный отклик, даже если к этому отклику подчас примешивается и доля своекорыстия. Люди радуются твоему счастью, потому что им очень хочется счастья и для себя. А стало быть, это хорошо. Во всяком случае, в основе лежит нечто хорошее. Одна беда — чувства эти идут в ложном направлении.

Так, по крайней мере, казалось Джорджу. Он прошел пору долгих, суровых испытаний — и вот заслужил одобрение. И от этого был глубоко счастлив. Стоит задире вкусить успеха, и уже ни к чему держаться вызывающе. Джордж больше не был задирой, ему уже не хотелось чуть что лезть в драку. Впервые он почувствовал, как хорошо вернуться домой.

Не то чтобы у него вовсе не было никаких опасений. Он знал, что в своей книге описал родной город и его жителей. И знал, что писал о них с такой прямоотой и откровенностью, какие до сих пор были редки в американской литературе. И он спрашивал себя, как-то люди это примут. И когда его поздравляли с книгой, ему все равно было неловко и он не без страха гадал — что-то они скажут, что подумают, когда книга выйдет и они ее прочитают.

Эти опасения с грозной силой нахлынули на него однажды ночью, когда ему вдруг приснился необычайно яркий и страшный сон. Он бежал, спотыкаясь, по опаленной солнцем пустоши, где-то в чужих краях, убегал, охваченный ужасом, сам не зная, что его преследует. Знал только, что его терзает невыразимый стыд. Чувство было безымянное и расплывчатое, словно удушливый туман, но все существо Джорджа, сердце и рассудок сжимались в невыразимой муке отвращения и презрения к себе. И так необоримо было чувство вины и омерзения, что он рад был бы поменяться даже с убийцами, с теми, на кого обращен яростный гнев всего мира. Он завидовал всем злодеям, кого человечество испокон веков клеймило бесчестьем: вору, лжецу, мошеннику, отщепенцу и предателю — всем, чьи имена преданы анафеме и произносятся с проклятиями — но все же произносятся; ибо сам он совершил

преступление, для которого нет названья, он опозорил себя скверной, которую нельзя ни постичь, ни исцелить, в нем — мерзость такой душевной гнили, что его уже не могут коснуться ни месть, ни спасение, от него равно далеки и жалость, и любовь, и ненависть, он недостоин даже проклятия. И вот он бежит по огромному голому пустырю под знойным небом, изгнанник посреди необитаемого куска нашей планеты, — в странном месте, которое, как и он сам, воплощение позора, не принадлежит ни живым, ни мертвым, и не поразит здесь молния отмщения и не укроет милосердная могила; ибо до самого горизонта нет ни тени, ни убежища, ни единого бугорка или ложбинки, ни холма, ни дерева, ни лощины, только одно огромное пристальное око, палящее, непроницаемое, от него негде укрыться, и оно погружает беззащитную душу беглеца в непостижимые бездны стыда.

А потом с внезапной поражающей яркостью все во сне переменялось, и Джордж очутился среди давно знакомых лиц и картин. Он — путешественник, и после многолетних скитаний возвратился в места, знакомые с детства. Его все еще угнетало зловещее чувство, будто душу его разъедает ужасная, но неведомая язва, и, вновь ступив на улицы родного города, он понимал, что вернулся к самым своим истокам, к родникам чистоты и здоровья, и они его исцелят.

Но, войдя в город, он убедился, что на нем по-прежнему лежит клеймо вины. Он увидел мужчин и женщин, которых знал с детства, мальчишек, с которыми ходил когда-то в школу, девушек, которых водил на танцы. Все они заняты были каждый своими делами на службе или дома, и сразу видно было, что между собой они друзья, но стоило ему подойти и приветственно протянуть руку — и они обращали к нему стеклянные глаза, их взгляды не выражали ни любви, ни ненависти, ни жалости, ни отвращения, ровно ничего. Лица, в которых, пока эти люди разговаривали между собой, было столько дружелюбия и приветливости, обратиться к нему, разом каменели; ни единого проблеска, по которому можно бы понять, что его узнали, что ему рады; ему отвечали отрывисто, однотонно, отвечали на его вопросы, но все его попытки возобновить былую дружбу разбивались об уничтожающее молчание и равнодушный невидящий взгляд. Они не смеялись, когда он проходил мимо, не подшучивали, не подталкивали друг друга локтями и не перешептывались, — только молчали и ждали, словно у них было единственное желание — больше его не видеть.

Он шел по хорошо знакомым улицам, вдоль домов, таких кровно близких ему, словно он никогда их и не покидал, мимо людей, которые смолкали и ждали, чтобы он скрылся из виду, — и в душе все крепло сознание безымянной вины. Он знал, что вычеркнут из их жизни бесповоротней, чем если бы умер, и чувствовал — отныне для людей он не существует.

Вскоре он вышел из города и опять оказался на спаленной солнцем пустоши и вновь бежал по ней под безжалостным небом, в котором пылало пристальное око, пронзая его чувством невыразимо тяжкого стыда.

8. Ее величество компания

Поселившись в комнатке над гаражом Шеппертонов, Джордж считал себя счастливым. Притом он был очень рад, что мистер Меррит приехал раньше и получил в свое распоряжение куда более удобную комнату для гостей, ибо при первой встрече он с удовольствием ощутил исходящее от Дэвида Меррита тепло веселого доброжелательства. Это был цветущий, упитанный и холеный мужчина лет сорока пяти, всегда готовый пошутить и неистощимо любезный, карманы его набиты были отличными сигарами, которыми он щедро угощал при всяком удобном случае. Рэнди называл его уполномоченным Компании, и хотя Джордж понятия не имел, какие обязанности возложены на уполномоченного Компании, но, глядя на мистера Меррита, нельзя было не подумать, что они весьма приятны.

Джордж знал, конечно, что Меррит — начальник Рэнди и, как выяснилось, приезжает в Либия-хилл каждые два-три месяца. Он появляется таким благодушным розовощеким Санта-Клаусом, сыплет веселыми шуточками, раздает толстые сигары, обнимает собеседников за плечи, — словом, при нем у всех повышается настроение. Сам Меррит сказал так:

— Я обязан наведываться время от времени, только чтоб проверить, хорошо ли ребята себя ведут и не попадают ли впросак.

Тут он так забавно подмигнул Джорджу, что все они поневоле заулыбались. И предложил ему отменную сигару.

Задача его, видимо, заключалась в представительстве. Он постоянно водил Рэнди и других торговых агентов Компании завтракать и обедать, в контору заглядывал накоротке, по преимуществу же, казалось, занят был тем, что распространял вокруг благодущие и благоденствие. Расхаживал по городу, со всеми заговаривал, хлопал по спине, называл просто по имени — и когда отбывал из Либия-хилла, местные дельцы еще с неделю курили его сигары. Приезжая в город, он неизменно останавливался «у своих», и все знали, что Маргарет станет готовить для него лучшие блюда и в доме появится хорошее вино. Вино мистер Меррит поставлял самолично, он неизменно привозил с собой солидный запас дорогих напитков. Джордж с первой же встречи увидел, что Меррит — из породы «добрых малых», от него так и веяло доброжелательством, и оттого было вдвойне приятно, что он остановился у Шеппертонов.

Но Дэвид Меррит был не только славный малый. Он был еще и уполномоченный Компании — и Джордж быстро понял, что Компания важнейшая и таинственная движущая сила в жизни всех обитателей города. Рэнди поступил туда на службу, как только закончил колледж. Его послали в главную контору, куда-то на Север, и там он прошел курс обучения. Потом он вернулся на Юг и здесь, начав заурядным коммивояжером, дослужился до окружного агента, а стало быть, сделался далеко не последним лицом в торговой системе.

«Компания», «окружной агент», «торговая система» — все это звучало загадочно, но весьма солидно. В ту неделю, что Джордж провел в Либия-хилле у Рэнди и Маргарет, мистер Меррит, как правило, являлся ко всем трапезам, а по вечерам сиживал с ними на веранде и, по своему обыкновению, весело шутил, смеялся и вообще всех развлекал. Изредка он толковал с Рэнди о делах, рассказывал случаи из жизни Компании, из собственной практики, и вскоре Джордж начал довольно ясно представлять себе, что же это за организация.

Федеральная Компания Мер, Весов и Счетных машин была обширной империей, на первый взгляд чрезвычайно сложной, а по существу покоряюще простой. Ее душа и тело — можно сказать, самая жизнь ее — заключалась в торговой системе.

Вся страна была разделена на округа, и в каждый округ назначался агент. Он, в свою очередь, нанимал коммивояжеров, которым поручались отдельные части округа. В каждом округе имелись также «конторщик», обязанный заниматься любыми делами, какие могут возникнуть, пока агент и подчиненные ему коммивояжеры в отлучке, и «техник», чья обязанность — приводить в порядок неисправные и сломанные механизмы. Все вместе эти служащие составляли агентство, и страна разделялась на округа таким образом, что в среднем на каждые полмиллиона населения приходилось по агентству. Иными словами, в стране насчитывалось около двухсот семидесяти агентств, и окружные агенты вместе с подначальными им коммивояжерами составляли армию почти в полторы тысячи человек.

Конечные цели этой промышленной империи, которую ее служащие едва ли когда-нибудь называли полным именем (кто же станет так грубо-фамильярно именовать божество!), а, чуть заметно понижая голос, произносили просто «Компания», — конечные цели ее тоже оказались покоряюще просты. Их высказал в своем знаменитом выступлении сам Великий Человек — мистер Поул С.Эпплтон Третий, и неизменно повторял эту получасовую речь каждый год перед всеми членами торговой системы, когда они собирались со всей страны на объединенное совещание. Под конец этого ежегодного съезда он выступал перед собравшимися, широким повелительным, великолепным взмахом руки указывал на огромную карту Соединенных Штатов, которая покрывала всю стену за его спиной, и говорил так:

— Вот он, ваш рынок! Идите и продавайте!

Что может быть проще и прекраснее? Можно ли красноречивей выразить могучий взлет

воображения, который был увековечен в анналах современной деловой жизни под именем «прозрения»? Словам этим присущи всеобъемлющий охват и суровая прямота, какими отличались речи великих людей во все исторические эпохи. Так Наполеон обращался к своим войскам в Египте: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас с вершин этих пирамид». Так говорил капитан Перри: «Мы встретили врага — и он наш». Так сказал Дьюи в Манильском заливе: «Можете стрелять, как только будете готовы, Гридли». Так сказал Грант перед зданием суда в Спотсильвании: «Я намерен отстаивать свои позиции, даже если придется потратить на это все лето».

И когда мистер Поул С.Эпплтон Третий мановением руки указывал на стену и говорил: «Вот он, ваш рынок! Идите и продавайте!» — собравшиеся в зале капитаны, лейтенанты и рядовые его торговой системы понимали, что не перевелись еще на свете исполины и век романтики не миновал.

Правда, в давно прошедшие времена устремления Компании были несколько ограниченнее. В ту пору ее основатель, дедушка мистера Поула С.Эпплтона, выразил свои скромные чаяния такими словами: «Я хотел бы видеть одну из своих машин в каждой лавке, магазине и заведении, которым она нужна и которые в состоянии за нее заплатить». Но самоотречение и самоограничение, сквозившие в этих словах основателя Компании, давным-давно устарели и, право же, подходили разве что к середине царствования королевы Виктории. Это признавал сам Дэвид Меррит. Сколь ни мало был он склонен нелестно отзываться о ком бы то ни было, а тем более — об основателе Компании, он вынужден был признаться, что по меркам 1929 года старику не хватило прозрения.

— Это все отжило свой век, — сказал мистер Меррит, покачал головой и подмигнул Джорджу, словно хотел шуткой смягчить свою измену основателю фирмы. — Мы слишком далеко от этого ушли! — воскликнул он с простительной гордостью. — Нет, если в наше время ждать покупателя, которому и вправду нужны наши машины, останешься ни с чем. — Теперь он покивал Рэнди и заговорил серьезно, с глубоким убеждением: — Мы не ждем, чтобы покупателю и вправду стал нужен наш товар. Если он говорит, что он и так отлично обходится, мы все равно заставляем его покупать. Мы заставляем его понять, что наш товар ему нужен, верно, Рэнди? Иначе говоря, мы сами создаем эту потребность.

Как явствовало из дальнейших объяснений Меррита, все это получило техническое наименование «созидательная торговля» или «создание рынка». И эту идею, исполненную поэзии, породило вдохновение одного человека — ни больше и ни меньше, как нынешнего главы Компании, самого Поула С.Эпплтона Третьего. Грандиозный замысел возник у него в миг озарения, сразу во всем блеске и полноте, как возникла Афина Паллада из головы Зевса, и Меррит до сих пор так живо помнит это событие, словно оно случилось только вчера. Было это на одном из расширенных совещаний служащих Компании: мистер Эпплтон, увлеченный великими прозрениями, высоко занесся в пылу красноречия — и вдруг умолк на полуслове и стоял как замороженный, мечтательно заглядевшись в неведомые дали волшебной страны обетованной; когда же он наконец заговорил, в голосе его слышалась дрожь чрезвычайного волнения.

— Друзья мои, — сказал он, — возможности рынка теперь, когда мы понимаем, как его создавать, практически неисчерпаемы! — Тут он на минуту замолчал; Меррит уверяет даже, что Великий Человек побледнел и чуть ли не зашатался, пытаясь вновь заговорить, и голос его упал до еле слышного шепота, словно он и сам потрясен был великолепием своей идеи. — Друзья мои, — с усилием пробормотал он и в поисках опоры ухватился за трибуну, — друзья мои... если судить здраво... (голос его упал до шепота, и он облизнул пересохшие губы) если судить здраво... при том, какой рынок мы могли бы создать... (тут голос его окреп, и вот раздался призывный клич!) почему бы нашими машинами не обзавестись всем без исключения гражданам Соединенных Штатов — мужчинам, женщинам и детям? — И затем — знакомый широкий взмах руки в сторону карты: — Вот он, ваш рынок! Идите и продавайте!

С того часа прозрение стало краеугольным камнем, на котором Поул С.Эпплтон воздвиг великолепное здание истинной церкви и живой веры, именуемое «Компания». И, дабы

послужить этому прозрению, мистер Эплтон построил организацию, которая работала с прекрасной точностью паровозного рычага. Над коммивояжером стоял агент, над агентом — окружной контролер, над контролером — директор окружного филиала, над директором окружного филиала — генеральный директор, а над генеральным директором — если не сам господь бог, то ближайшее и вернейшее его подобие, тот, кого коммивояжеры и агенты с должным почтением именовали П.С.Э.

Мистер Эплтон изобрел для Компании и собственный рай, известный под названием Клуба Ста. Первым членом Клуба был сам П.С.Э., но избрания мог удостоиться каждый член торговой системы, вплоть до последнего коммивояжера. Клуб Ста был организацией общественной, но этим дело отнюдь не ограничивалось. Каждому агенту и коммивояжеру определялась «квота» — иными словами, смотря по своему округу и своим возможностям, он должен был заключить в среднем такое-то количество сделок. Квота каждого зависела от размеров его округа, от того, насколько этот округ богат, а также от того, насколько опытен и способен сам служащий. Один должен был продать шестьдесят машин, другой восемьдесят, третий девяносто или сто, квота окружного агента была выше, чем у рядового коммивояжера. Но каждый, как бы ни была мала или велика его квота, мог быть избран в Клуб Ста при одном условии: чтобы свою квоту он выполнял полностью, на все сто процентов. Если он выполнит больше — скажем, сто двадцать процентов, — его ждут почести и награды не только моральные, но и денежные. В Клубе Ста тоже можно было занимать положение высокое или низкое, ибо здесь степеней достоинства было не меньше, чем в масонской ложе.

Мерой квоты считался «пункт», то есть сделки на общую сумму сорок долларов. Значит, если квота коммивояжера составляла восемьдесят, он обязан был каждый месяц продать изделий Федеральной Компании Мер, Весов и Счетных машин по меньшей мере на 3200 долларов, иначе говоря, почти на сорок тысяч в год. Вознаграждали за это щедро. Коммивояжер получал пятнадцать, а то и двадцать процентов комиссионных, агент — от двадцати до двадцати пяти процентов. Кроме того, выполняя квоту, а тем более превзойдя ее, служащий получал премию. Таким образом, рядовой коммивояжер в среднем округе мог заработать от шести до восьми тысяч в год, агент — от двенадцати до пятнадцати, а если округ им доставался особенно удачный, то и больше.

Таковы были награды в Раю мистера Эплтона. Но что Рай, если нет Ада? И логика вещей вынудила мистера Эплтона изобрести также Ад. Однажды установив для служащего определенную квоту, Компания никогда уже ее не уменьшала. Больше того, если квота коммивояжера составляла восемьдесят пунктов и весь год он ее выполнял, он должен был приготовиться к тому, что на следующий год квоту ему повысят до девяноста. Приходилось непрестанно продвигаться вперед и выше, и в этой гонке передышек не давали.

Правда, членство в Клубе Ста не было принудительным; однако же Поул С.Эплтон Третий, подобно Кальвину, в качестве богослова отлично понимал, как сочетать свободную волю и предопределение. Для того, кто не принадлежал к Клубу Ста, недалеко было время, когда он переставал принадлежать к Компании мистера Эплтона. А для коммивояжера или агента это было все равно что вовсе оказаться за бортом жизни. Если человека не принимали на службу в Компанию или если его оттуда увольняли, друзья и знакомые начинали осторожно осведомляться: «А где же теперь Джо Клатц?» Ответы бывали самые неопределенные, и понемногу о Джо Клатце вовсе переставали упоминать. И вот он уже канул в пучину забвения. Ведь он «больше не служит в Компании».

Поула С.Эплтона Третьего за всю его жизнь осенило лишь одно-единственное озарение — то самое, которое столь волнующими красками живописал мистер Меррит, — но этого было довольно, и он уже не давал открывшимся ему блистательным соблазнам померкнуть. Четырежды в год, в начале каждого квартала, он призывал к себе генерального директора и говорил:

— Что происходит, Элмер? Дело у вас не движается! Вот же рынок перед вами! Сами знаете, как надо действовать, а не то...

После чего генеральный директор одного за другим вызывал директоров окружных

филиалов и объяснялся с ними в тех же выражениях и в той же манере, как П.С.Э. — с ним, а затем директора окружных филиалов разыгрывали ту же сценку перед окружными контролерами, те — перед агентами, агенты — перед коммивояжерами, а тем, поскольку у них уже никаких подчиненных не было, оставалось только «действовать да поворачиваться, а не то...». Все это называлось «поддерживать дух системы».

Когда Дэвид Меррит, сидя на веранде, рассказывал разные случаи из своей обширной практики на службе в Компании, Джордж Уэббер улавливал гораздо больше, чем высказывалось словами. Меррит все говорил, говорил, он упивался воспоминаниями, сыпал шуточками, убогствование попыхивал дорогой сигарой, за всем этим явственно звучало: «Как же это прекрасно — служить нашей Компании!»

Он рассказал, к примеру, о замечательном празднике: раз в год Клуб Ста собирает всех своих членов на так называемую Неделю игр. Этот роскошный ежегодный пикник устраивается «за счет Компании». Встреча назначается в Филадельфии, в Вашингтоне, а то и среди тропической пышности Лос-Анджелеса или Майами или на борту нарочно для этого случая зафрахтованного судна, на небольшом, но роскошном пароходе водоизмещением в двадцать тысяч тонн, совершающем трансатлантические рейсы к Бермудским островам или в Гавану. Где бы это ни происходило, Клуб Ста получает полную свободу. Если устраивается прогулка по морю, весь корабль поступает безраздельно в распоряжение членов клуба — на целую неделю. К их услугам все напитки на свете, сколько им под силу выпить, и все коралловые острова Бермудов, и все запретные прелести веселой Гаваны. На эту неделю им дается все на свете, что только можно купить за деньги, все делается с размахом, на самую широкую ногу, и Компания — бессмертная, отечески заботливая, великодушная Компания — «платит за все».

Но пока мистер Меррит живописал радужную картину роскоши и развлечений, Джорджу Уэбберу представлялось нечто совсем иное. Он представлял себе тысячу двести или полторы тысячи мужчин (ибо к этим путешествиям, с общего согласия, женщины — или, по крайней мере, жены — не допускались), — всех этих американцев, в большинстве уже немолодых, заработавшихся, переутомленных, издерганных до предела, которые съезжаются со всех концов страны, чтобы «за счет Компании» провести одну короткую, сумасбродную неделю в диком и вульгарном разгуле. И Джордж угрюмо думал о том, какое место эти трагические игры деловых людей занимают во всем порядке вещей, о том, как устроен мир, все это породивший. А заодно он начал понимать и перемены, которые произошли за эти годы в Рэнди.

В последний день недели, которую Джордж провел в Либия-хилле, он пошел на станцию взять обратный билет, а потом, около часу, заглянул в контору к Рэнди, чтобы вместе пойти домой пообедать. Первое помещение — зал, где на подставках орехового дерева изумлял покупателя набор всевозможных металлических сверкающих весов и счетных машин, был пуст, и Джордж решил подождать. На одной стене висело огромное красочное объявление: «Август был лучшим месяцем в истории Федеральной Компании, — гласило оно, — ПУСТЬ СЕНТЯБРЬ БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ! Вот он, ваш рынок, уважаемый агент. Остальное зависит от вас».

За торговым залом отгорожен был закуток, который служил Рэнди кабинетом. Джордж сидел и ждал, и понемногу до его сознания начали доходить доносящиеся из-за перегородки загадочные звуки. Сперва шуршали бумажные листы, словно кто-то перелистывал огромную бухгалтерскую книгу, изредка слышалось короткое невнятное бормотанье, голоса звучали то доверительно, то зловеще, доносилось кряканье, приглушенные возгласы. И вдруг — два громких удара, словно тяжелый гроссбух захлопнули и швырнули на стол или конторку, и после короткой тишины голоса стали громче, яснее, отчетливей. Джордж узнал голос Рэнди — низкий, серьезный, нерешительный, глубоко взволнованный. Другой голос он слышал впервые.

Но когда он прислушался к этому второму голосу, его затрясло и вся кровь отхлынула от щек. Гнусным, убийственным оскорблением всему человеческому звучал этот голос, подлой издевкой хлестал он по лицу человеческого достоинства, и когда Джордж понял, что этот голос и эти слова бьют по его другу, в нем вспыхнула яростная, слепая жажда убийства. Но всего тревожней и необъяснимей было, что в голосе неведомого дьявола звучали и странно знакомые нотки, словно говорил кто-то, кого Джордж знал.

И внезапно его озарило: это Меррит! Трудно поверить, но это говорит холеный, благодушный с виду толстяк, который при Джордже неизменно бывал так весел, так приветлив и отлично настроен.

А сейчас за перегородкой матового стекла и полированного дерева в голосе этого человека вдруг зазвучала дьявольская жестокость. Это было непостижимо, и Джорджу стало тошно, будто в тяжком кошмаре, когда тебе снится, что кто-то, кого так хорошо знаешь, совершает нечто мерзкое, гнусное. Но всего ужасней был голос Рэнди — смиренный, тихий, покорный, чуть ли не льстивый, умоляющий. Голос Меррита прорезал воздух, точно ядовитый плевок, а в ответ изредка звучал голос Рэнди — кроткий, нерешительный, глубоко взволнованный.

— Ну, в чем дело? Вы не дорожите своим местом?

— Что вы, Дейв... еще как дорожу... сами знаете... ха-ха, — закончил Рэнди тревожным, испуганным смешком.

— Так в чем дело? Почему плохо торгуете?

— Что вы... ха-ха... — Опять смущенный и испуганный смешок. — Я думал, не так уж плохо...

— Ошибаетесь! — Ядовитый голос резнул, как ножом. — По вашему округу должно быть на тридцать процентов больше сделок, чем вы заключили, и Компания намерена их получить, а не то... Продавайте или катитесь на все четыре стороны! Понятно? Компании на вас плевать! Ей важна прибыль! Вы старый служащий, но Компании один черт, что вы, что другой! И вам известно, как у нас поступают со всеми, кто больно много о себе возомнил, — понятно?

— Д-да, конечно, Дейв... но... ха-ха... но, честное слово, я никак не думал...

— Плевать мне, что вы там думали! — прервал грубый голос. — Я вас предупредил! Торгуйте как следует или выметайтесь!

Дверь матового стекла с треском распахнулась, и из отгороженного кабинета большими шагами вышел Меррит. При виде Джорджа он опешил. Однако тотчас преобразился. Пухлое румяное лицо его расплылось в улыбке, и он добродушно закричал:

— Вот так так! Поглядите, кто пришел! Наш старый друг собственной персоной!

Он обернулся к Рэнди, который шел за ним следом, и превесело ему подмигнул, словно разыгрывая какую-то шуточную немую сценку.

— Рэнди, — сказал он, — по-моему, наш красавчик Джордж с каждым днем становится неотразимей. Много сердец он уже разбил?

Рэнди тщетно силился изобразить на посеревшем, измученном лице улыбку.

— Бьюсь об заклад, в славном городе Нью-Йорке вы ни одной девчонки не пропустите? — продолжал Меррит, вновь поворачиваясь к Джорджу. — И послушайте, я читал в газете про вашу книгу. Замечательно, сынок! Мы все вами гордимся!

Он хлопнул Джорджа по спине, лихо повернулся, взял свою шляпу и сказал бодро:

— Ну, ребята? Как насчет того, чтобы отправиться к милому домашнему очагу и подкрепиться знатной стряпней старушки Маргарет? Я, знаете, человек не гордый. Если вы готовы, я не откажусь. Пошли.

И вразвалочку вышел — улыбающийся, румяный, пухлый, веселый, фальшивое воплощение благожелательства, обращенного ко всему свету. С минуту старые друзья, бледные, растерянные, стояли и молча, ошарашенно смотрели друг на друга. В глазах Рэнди был еще и стыд. И сейчас же, от природы глубоко верный и преданный, он вступился за Меррита:

— Дейв славный малый... Понимаешь, он... он просто не может иначе... Ведь он... он представитель Компании.

Джордж не ответил. При этих словах Рэнди ему вспомнилось все, что рассказывал Меррит о Компании, и вдруг перед его мысленным взором мелькнула страшная картина, которую он видел когда-то в какой-то галерее. На полотне изображена была длинная вереница людей, что тянулась от Великой пирамиды вплоть до дверей величественного фараонова дворца, — здесь стоял сам великий фараон и безжалостно хлестал ремненным бичом по обнаженной спине и плечам стоявшего перед ним человека; то был главный надсмотрщик великого фараона, в руке он держал многохвостую плетку и с размаху опускал ее на трепетную спину несчастного, который был первым помощником главного надсмотрщика, а первый помощник изо всей силы хлестал сыромятным кнутом съжившегося перед ним старшего надзирателя, который, в свою очередь, свирепо избивал цепом кучу извивающихся от боли подручных, а каждый подручный осыпал ударами узловатой плетки добрую сотню рабов, которые, согнувшись в три погибели, втаскивали, тянули, волокли свою ношу и, обливаясь потом, выбиваясь из сил, воздвигали высоченную пирамиду.

И Джордж не ответил. Он не мог вымолвить ни слова. Ему открылось в жизни нечто такое, о чем он прежде и не подозревал.

9. Город пропащих

Позже в этот день Джордж попросил Маргарет пойти с ним на кладбище, она взяла машину Рэнди, села за руль, и они поехали. По пути остановились у цветочного магазина, купили хризантем, и Джордж положил их на могилу тети Мэй. Всю неделю лил дождь, и свеженасыпанный холмик успел дюйма на два осесть, а по краю его обвела угластая трещина.

В ту минуту, как Джордж клал цветы на голую, размякшую землю, он вдруг поразился — не странно ли это! Он ведь ничуть не сентиментален, с чего ему вздумалось? Он и не собирался ничего такого делать. Просто увидал по дороге витрину цветочного магазина, машинально попросил Маргарет остановиться, купил эти самые хризантемы — и вот они лежат.

А потом он понял, почему это сделал, почему вообще ему захотелось еще раз побывать на кладбище. Он так часто мечтал вернуться домой, но эта поездка в Либия-хилл вышла совсем не такой, как он ждал, — оказалось, это последняя встреча, это — прощание. Оборвалась последняя нить, которая связывала его с родными местами, и он уходит, чтобы, как положено мужчине, строить свою жизнь собственными силами.

И вот снова здесь сгущаются сумерки, а внизу, в долине, один за другим вспыхивают городские огни. Джордж стоял и смотрел, и Маргарет, кажется, понимала, что у него на душе, — она тихо стояла рядом и не говорила ни слова. А потом Джордж сам негромко заговорил. Должен же он был кому-то высказать все, что передумал и перечувствовал за эту неделю. Рэнди совсем закрутился с делами, оставалось говорить с Маргарет. Он рассказывал о своей книге и о связанных с нею надеждах, старался объяснить, что это за книга и как он боится, что Либия-хиллу она придется не по вкусу. Маргарет слушала не прерывая. Она только ободряюще сжала его руку повыше локтя, и это было красноречивей всяких слов.

Он ни звуком не обмолвился про сцену между Рэнди и Мерритом. Ни к чему раньше времени ее тревожить, какой смысл лишать ее уверенности в завтрашнем дне, без которой для женщины невозможны покой и счастье. Довлест дневи злоба его...

Но он много толковал о самом Либия-хилле, о том, как поразило его повальное помешательство на спекуляциях. Что станет с этим обезумевшим городишкой и с его жителями? Все твердят о лучшем будущем, о том, какой они здесь создадут великолепный, процветающий город, а ему, Джорджу, кажется, что людей подгоняет какой-то дикий, неистовый голод, какое-то непонятное отчаяние, словно на самом деле они алчут лишь разорения и гибели. Ему даже кажется — они уже погибли, и даже когда смеются, восторженно кричат, хлопают друг друга по спине, в глубине души сами понимают, что

погибли.

Они разбазарили бешеные деньги на никому не нужные улицы и мосты. Снесли старинные постройки и воздвигли новые огромные здания под стать большому городу с населением в полмиллиона человек. Сровняли с землей холмы, пронизали горы великолепными туннелями, где проложены двойные рельсовые пути, а стены сверкают отличной керамической плиткой, и туннели эти ведут напрямик в райские пустыни. Единым махом растратили все, что заработали и скопили за целую жизнь, заложено уже и то, что принадлежит следующему поколению. Они погубили свой город, а тем самым и себя, и своих детей и внуков.

Либия-хилл им уже не принадлежит. Они здесь больше не хозяева. Он заложен и перезаложен, на нем пятьдесят миллионов долларов долга по ссудам, которые либияхиллцам предоставили кредитные общества Севера. Улицы, по которым ходят жители города, и те уже распроданы — у них из-под ног. Человек подписывает обязательство выплатить чудовищную, баснословную сумму, а назавтра перепродает свою землю другому безумцу, и тот в свой черед с такой же величественной беззаботностью ставит на карту свою жизнь. На бумаге их барыши огромны, но «бум» уже кончился, а они закрывают на это глаза. Они шатаются под тяжестью обязательств, оплатить которые никому из них не под силу, и все же продолжают покупать.

Истошив все возможности разрушения и расточительства, какие давал им родной город, они кинулись в его незаселенные окрестности, в поэтическую необъятность девственных земель, которых могло бы хватить на все человечество, и застолбили полянки и клинышки среди холмов, — с таким же успехом можно огородить кольями участок посреди океана. Они давали плодам своей нелепой прихоти звучные имена: «Дикие камни», «Тенистый уголок», «Орлиное гнездо». На эти клочки леса, поля и непролазного кустарника они устанавливали цены, за которые можно было бы купить целую гору, и составляли карты и рекламные плакаты, изображая оживленные кварталы, магазины, дома, улицы, дороги, клубы там, где на самом деле не было ни дорог, ни улиц, ни единого дома и куда мог бы добраться только отряд исполненных решимости, вооруженных топорами первопроходцев. Эти места надлежало преобразить в идиллические поселения художников, писателей и критиков; намечались также поселения священнослужителей, врачей, артистов, танцоров, игроков в гольф и ушедших на покой паровозных машинистов. Тут могли поселиться все и каждый, а главное, либияхиллцы продавали эти участки... друг другу!

Но как ни рьяно они старались, как ни лезли из кожи вон, уже становилось очевидно, что усилия их тщетны, а жизнь — скудная и полуголодная. Созидание лучшего будущего, о котором они рассуждали, выродилось в несколько бестолковых и бесплодных попыток. Они только того и достигли, что построили более уродливые и дорогие дома, купили новые автомобили да заделались членами загородного клуба. И все это в лихорадочной спешке, потому что (так казалось Джорджу) все они искали, чем бы утолить грызущий их голод — и не находили.

Так он стоял на холме, смотрел, как внизу в густеющих сумерках длинными рядами неподвижных огней прочерчиваются улицы, а ползучими светлячками — потоки автомобилей, и вспоминал пустынные ночные улицы этого городка, так хорошо знакомые ему в пору его детства. Безднадежное уныние, кругом ни души, — таким, словно выжженный едкой кислотой, остался их облик в его памяти. Голые, обезлюдевшие уже к десяти вечера, они были мучительно однообразны, тоска брала от режущих глаза фонарей и пустых тротуаров, от этого застывшего оцепенения, которое лишь изредка нарушали шаги случайного прохожего — какой-нибудь отчаявшийся, изголодавшийся, одинокий бедолага, наперекор безнадежности и неверию, рыскал в надежде найти посреди этой пустыни хоть какое-то прибежище, тепло и нежность, ждал — вдруг отворится волшебная дверь и откроет неведомую, яркую и щедрую жизнь. Много их было таких, но никогда они не находили того, что искали. И они умирали во тьме, не открыв для себя ни цели, ни смысла, ни двери...

Вот оттого-то все и произошло, думалось Джорджу. Так это и случилось. Да, именно там — в несчетные, давно минувшие, выматывающие душу ночи в тысячах таких же городишек,

на миллионах пустынных улиц, откуда над полями тьмы разносятся гулким биением пульса все страсти, надежды и алчба изголодавшихся людей, — там, только там и вызревало все это безумие.

И, вспоминая мрачные, безлюдные ночные улицы, какими он их видел пятнадцать лет назад, он вновь подумал про Судью Рамфорда Бленда — как тот одиноко, беспокойно блуждал по спящему городу, как хорошо знакома была ему — мальчишке — эта блуждающая тень и каким ужасом его пронзала. Быть может, это и есть ключ, разгадка всей трагедии. Быть может, Рамфорд Бленд пытался жить во мраке ночи не оттого, что в нем скрывалось злое дурное начало (хотя зло в нем, конечно, таилось), но оттого, что еще не умерло в нем начало доброе. Было в этом человеке что-то такое, что всегда восставало против отупляющего захолустного существования, полного предрассудков, с вечной оглядкой, самодовольного, бесплодного и безрадостного. В ночи он искал чего-то лучшего — приюта, где есть тепло и дружелюбие, минут темной таинственности, трепета неминуемых и неведомых приключений, возбуждающей охоты, преследования, быть может, плена и затем — исполнения желаний. Неужели в этом слепом человеке, чья жизнь всем на диво стала баснословным воплощением бесстыдства, таились некогда душевное тепло и душевные силы, что побуждали его послужить этому холодному городу, толкали на поиски радости и красоты, которых здесь не было, которые жили только в нем одном? Быть может, как раз это его и сгубило? Быть может, и он — из пропащих, пропащих человек только потому, что пропащим был сам город — здесь дары его были отвергнуты, силы не к чему было приложить, не нашлось дела по плечу... потому что его надеждам, разуму, пытливости и душевному жару здесь не нашлось применения и все пропало втуне?

Да, то, чем можно было объяснить плачевное состояние всего города, объясняло и Судью Рамфорда Бленда. Как это он сказал тогда в поезде: «По-твоему, ты можешь вернуться домой?» — и еще: «Не забудь, я пытался тебя предостеречь». Стало быть, вот что он хотел сказать? Если так, теперь Джордж его понимает.

Обо всем этом думал и говорил Джордж в теплой, дремотной, ленивой тишине кладбища. Напоследок попискивали перед сном зарянки, что-то посвистывало в кустах, будто пули прошивали листву, издали ветер доносил обрывки звуков — чей-то голос, крик мальчишки, собачий лай, позвякивание коровьего колокольчика. Опьяняла смесь запахов — смолистый дух сосны, благоуханье трав и прогретого солнцем сладкого клевера. Все — в точности, как было всегда. Но город его детства с тихими улочками и старыми домами, которых почти и не видно было под густой сенью ветвистых деревьев, изменился до неузнаваемости — изрубцованный кричащими заплатами светлого бетона, дыбачийся неуклюжими глыбами новых зданий. Он походил теперь на изрытое воронками поле битвы; точно вскинутые разрывами снарядов, неистово вздымались в небо кирпич, цемент и режущая глаз свежая штукатурка. И лишь кое-где в промежутках ютились остатки прежнего милого городка — робкие, отступающие перед этим наглым натиском, они еще напоминали о мягком шорохе кожаных подошв на тихих улицах в полуденный час, когда люди расходились по домам обедать, о смехе и негромких голосах по вечерам, под шорох листвы. Ибо все это пропало!

Последний трагический ответ чуть мерцал на замороженных временем холмах. Джорджу вспомнилась миссис Делия Флад и ее слова о тете Мэй — как она надеялась, что когда-нибудь он вернется домой и уж больше не уедет. И сейчас, когда он стоял рядом с молчаливой Маргарет и последний трагический ответ угасающего дня слабо мерцал на их лицах, ему вдруг почудилось, будто они застыли здесь, наедине с холмами и рекой, точно некое воплощенное пророчество, и что-то во всем этом есть пропащее, невыносимое, издавна предсказанное и неизбежное, подобное извечному времени и самой судьбе — будто некое колдовство, которому он не находил названия.

Внизу, у самой реки, уже неразличимой в темноте, послышался колокол, свисток и грохот колес — в город мчался ночной экспресс, он простоит там полчаса и пустится дальше на Север. Он пронесся мимо, прогремело среди холмов сиротливое эхо, на мгновение

вспыхнуло пламя открытой топки, и вновь слышен лишь рокот тяжелых колес, он прокатился по мосту через реку — и все кончилось, огромный поезд прогромыхал дальше, и опять настала тишина. Потом уже совсем издали, едва различимый среди городских шумов, снова, в последний раз, долетел его рыдающий зов и вновь, как всегда бывало в детстве, всколыхнул в Джордже неистовую затаенную радость, острую жажду странствий, торжествующую веру в обещанное утро, в новые края и сверкающий город. И в глубине души некий демон бегства и тьмы зашептал: «Скоро! Скоро! Скоро!»

А потом оба сели в машину и покатали прочь от огромного холма мертвецов: ее ждала трезвая несомненность огней, людей, родного города, его — поезд, Нью-Йорк, неведомое завтра.

КНИГА ВТОРАЯ «МИР, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК»

В Нью-Йорке уже начался осенний семестр в Школе прикладного искусства, и Джордж Уэббер снова стал тянуть свою учительскую лямку. Он пуще прежнего возненавидел преподавание и ловил себя на том, что даже в часы занятий думает о своей новой книге и ждет не дождется свободного времени, когда можно вновь засесть за нее. Он еще только начал писать, но на этот раз почему-то работалось легко, и по прежнему опыту Джордж знал: пока он одержим творческой лихорадкой, нельзя упускать ни одной минуты, и еще он почти с отчаянием чувствовал, что надо написать как можно больше, прежде чем выйдет в свет его первая книга. Это событие, и желанное и пугающее, надвинулось теперь во всей своей грозной неотвратимости. Джордж надеялся, что критики будут доброжелательны или, по крайней мере, отнесутся к его роману с уважением. По словам Лиса Эдвардса, у критики он должен бы встретить хороший прием, а вот как книгу станут покупать, этого никогда заранее не скажешь, лучше об этом не задумываться.

По обыкновению, Джордж каждый день виделся с Эстер Джек, но так волновался, ожидая, что вот-вот выйдет из печати роман «Домой, в наши горы» и так поглощен был лихорадочной работой над новой книгой, что Эстер уже не занимала первого места в его мыслях и чувствах. Она понимала это, и ее брала досада, как всегда в таких случаях бывает с женщинами. Возможно, потому-то она и позвала его в тот вечер, надеясь, что в праздничной обстановке покажется ему желанней и вновь сильнее завладеет его вниманием. Так или иначе, она его позвала. Предстояло весьма изысканное празднество. Приглашены были, кроме родных, все ее самые богатые и блестящие друзья, и Эстер умоляла Джорджа прийти.

Он отказался. Ему надо работать, сказал он. И еще: у него свой мир, у нее — свой, и они никогда не совпадут. Пусть она вспомнит, о чем они условились. Он не желает иметь ничего общего с ее кругом, довольно он наглядился на этих людей, а если она станет упрямо втягивать его в свою жизнь, она только разрушит самую основу, на которой строятся их отношения с тех пор, как он к ней вернулся.

Но Эстер не отставала, она отмахнулась от его доводов.

— Иногда ты бываешь ужасно глупый, Джордж! — нетерпеливо сказала она. — Вобьешь себе что-то в голову и стоишь на своем наперекор рассудку. Тебе просто необходимо чаще выходить на люди. Ты слишком много сидишь у себя в четырех стенах. Это нездорово! И как можно быть писателем, если сторонись окружающей жизни? Я-то знаю, что говорю! — Она раскраснелась, в голосе ее звучала глубокая убежденность. — И потом, какое отношение к нам с тобой имеет эта чепуха — твой круг, мой круг, при чем это? Слова, слова, слова! Не глупи и послушай меня. Много ли я прошу? Послушайся один разок, доставь мне удовольствие.

В конце концов она взяла верх, и Джордж покорился.

— Ладно, — хмуро, без всякого восторга пробормотал он. — Приду.

Итак, миновал сентябрь, а в октябре настал день знаменитого торжества. Позже, оглядываясь назад, Джордж счел эту дату зловещим предзнаменованием: блестящее событие

состоялось ровно за неделю до чудовищного биржевого краха, который означал конец целой эпохи.

10. Джек поутру

Мистер Фредерик Джек проснулся в семь часов тридцать восемь минут, и в нем тотчас пробудились все его жизненные силы. Он сел, энергично зевнул, потянулся и при этом застенчивым, уютным движением уткнул опухшее от сна лицо в ямку между вздувшимися мышцами правого плеча. «А-а-ах!» Он опять потянулся, с наслаждением высвобождаясь из густой тягучести сна, и минуту-другую сидел очень прямо, протирая глаза тыльной стороной пальцев. Потом решительно отшвырнул одеяло и перекинул ноги на пол. На мягком, шелковистом, точно фетр, сером ковре пальцы ног сами собой нащупали домашние туфли без каблуков, из мягкой красной кожи. Скользнув в эти шлепанцы, он бесшумно прошел к окну, остановился и, зевая и потягиваясь, сонно полюбовался солнечным прохладным утром. И тотчас вспомнил: 17 октября 1929 года, сегодня будут гости. Мистер Джек любил принимать гостей.

С высоты девятого этажа он смотрел на поперечную улицу, еще синеющую в глубокой утренней тени, пустую, безлюдную, но уже готовую встретить новый день. Тяжеловесно громыхая, торопливо прокатил грузовик. Коротко задремал опрокинутый на мостовую мусорный ящик. По тротуару просеменил человек — на взгляд сверху совсем коротышка, накрытый, словно колпаком, унылой серой одеждой, — завернул за угол Парк-авеню и исчез, спеша куда-то в южную часть города на работу.

Здесь, внизу, эта поперечная улица казалась Фредерику Джеку узким синеватым ущельем среди отвесных домов-утесов, но стены зданий, высящихся дальше к западу, выступали отчетливо, словно под резцом скульптора, высеченные молодыми, золотистыми, безмерно сильными и нежными лучами утреннего солнца. Лучи эти озаряли сказочным золотисто-розовым сиянием верхние этажи и крыши взметнувшихся ввысь небоскребов, чьи основания пока тонули в тени. Еще не резкие, не палящие, лучи эти ложились на уходящие вдаль пирамиды из камня и стали, и под ними на гребнях пирамид курились и таяли струйки дыма. Они отражались, играя ослепительным блеском, в бесчисленных высоких окнах, и в их свете грубые изжелта-белые кирпичные стены тепло и нежно розовели, словно лепестки роз.

Среди воздвигнутых руками человека горных вершин, которые так четко рисовались на небе в лучах утреннего солнца, немало было огромных отелей, клубов, еще безлюдных в этот час контор. Джеку видны были конторские залы различных фирм, готовые к началу работы: отчетливо выступали ряды ярко освещенных столов и вертящихся стульев из клена, блестели лаком тонкие деревянные перегородки и плотные двери с матовыми стеклами. Все эти конторы стояли молчаливые, пустые, безжизненные, но казалось — они томительно надут уж; недалекой минуты, когда с улицы хлынет поток жизни, и заполнит их, и придаст им смысл. В этом странном, потустороннем свете, над улицей, на которой еще не началось движение и пустовали здания фирм и контор, Джеку вдруг почудилось, будто все живое в городе вымерло или изгнано прочь и одни лишь эти взнесенные в небоobelisks остались от некогда славной, легендарной цивилизации.

Он нетерпеливо пожал плечами, стряхивая минутное наваждение, и вновь поглядел вниз, на улицу под окном. Она все еще пустовала, но за углом по Парк-авеню уже спешили яркие, разноцветные машины, словно пустились в дальнейшее странствие жуки — почти все они двигались к Центральному вокзалу. И отовсюду в ярком живом свете вздымался, постепенно нарастая, грохот нового неистового дня. Джек стоял у окна — одушевленная малость, вознесенная ввысь на каменном уступе, чудо господне, пухлый атом торжествующей человеческой плоти на скале роскоши, в самом сердце густейшей паутины на земле, — стоял и созерцал все вокруг, точно повелитель Атомов: ведь он купил право пользоваться простором, тишиной, светом и надежными стенами посреди хаоса, отдал за все это поистине царский выкуп и гордился уплаченной ценой. Перед крохотными оконцами-глазами этой

человеческой пылинки что ни день проходили несчетные безумства, несчастья и уродства, но он не чувствовал ни сомнений, ни страха. Ничто его не ужасало. Другой на его месте, глядя на огромный город, обнаженный светом раннего утра, быть может, подумал бы, что город этот бесчеловечен, чудовищен, увидел бы в его дерзких очертаниях нечто от древнего Вавилона. Но не таков был мистер Фредерик Джек. Право, будь все эти каменные башни воздвигнуты в честь его одного — и тогда он, пожалуй, не испытывал бы большей гордости и торжества, не ощущал бы полнее, что он тут хозяин. «Мой город, — подумал он. — Мой». Сердце его наполняли уверенность и радость, потому что он, как многие, научился смотреть, восхищаться, принимать и не задавать тревожащих душу вопросов. Этот хвастливый, дерзкий вызов из стали и камня, казалось ему, воздвигнут навечно, способен пережить любые опасности, он — неопровержимый и сокрушительный ответ на все сомнения.

Он любил все прочное, богатое, созданное с размахом и на века. Любил ощущение надежности и власти, которое давали ему огромные здания. И особенно любил солидные стены и полы вот этого дома, в котором жил. Здесь под его шагами никогда не скрипнет и не прогнется паркет, столь прочный, словно вытесан одной огромной плитой из сердцевины исполинского дуба. Да, все здесь именно так, как и должно быть.

Мистер Джек во всем любил порядок. И оттого ему приятен был шум уличного движения, уже набирающий силу там, внизу. Ему приятно было даже смотреть, как толкаются и обгоняют друг друга пешеходы, ибо он и тут видел порядок. Этот порядок заставляет миллионные толпы спешить по утрам на работу в крохотные ячейки огромных сотов, а вечерами после работы вновь спешить уже в другие ячейки. Этот порядок неизбежен, как смена времен года, и в нем Джек прозревал ту же гармонию и долговечность, что и во всей видимой вселенной.

Он обернулся, обвел взглядом спальню. Большая, просторная комната, двадцать футов в длину, двадцать в ширину и высокий — двенадцать футов — потолок, и в этих превосходных пропорциях тоже выразились процветание, роскошь и надежность. Как раз у середины той стены, что напротив двери, кровать Джека, простая и строгая, времен Войны за независимость, под пологом на четырех столбиках, и рядом столик, а на нем небольшие часы, лампа и несколько книг. У середины другой стены — старинный комод, а кроме того, в комнате с большим вкусом расположены раздвижной стол, на котором выстроились в ряд книги и лежат последние номера журналов, два старых виндзорских кресла с превосходной резьбой по дереву и уютнейшее мягкое кресло. На стенах — несколько прелестных французских гравюр. На полу — толстый, мохнатый матово-серый ковер. Вот и вся обстановка. От всего этого веет скромностью, почти суровой простотой, которая тонко сочетается с ощущением простора, богатства и власти.

Хозяин комнаты с удовольствием проникся этим ощущением и опять повернулся к открытому окну. Полной грудью он глубоко вдохнул живительную утреннюю свежесть. Воздух был напоен волнующей смесью городских запахов, тончайшим и сложным сочетанием множества оттенков. Пахло, как ни странно, землей, влажной, цветущей; остро отдавало солью морского прибоя, и от реки тоже тянуло свежестью и одновременно слегка чем-то едким, даже гнилостным, и все пронизывал горький аромат кипящего крепкого кофе. Этот удивительный фимиам будоражил угрозой борьбы и опасности, подхлестывал, как вино, обещанием власти, богатства и любви. Фредерик Джек медленно, с пьянящей радостью вдыхал этот животворный эфир и вновь, как всегда, ощущал в нем неведомую угрозу и неведомое наслаждение.

Внезапно под ним, где-то очень глубоко, на мгновенье слабо дрогнула земля. Он замер, нахмурился, и в нем встрепенулось давнее тревожное чувство, которому он не мог бы подобрать имени. Не по душе это ему, если что-то колеблется и вздрагивает. Когда он только что переехал в этот дом, он проснулся утром с ощущением, будто чуть задрожали вокруг массивные стены, — такой далекой и мимолетной была эта дрожь, что он был не уверен, не почудилось ли, и стал расспрашивать швейцара у двери, выходящей на Парк-авеню. И швейцар объяснил, что этот дом, где сдаются такие роскошные апартаменты, построен над двумя туннелями железной дороги — и он, Джек, почувствовал сотрясение от поезда,

промчавшегося глубоко в недрах земли. Это ничуть не опасно, заверил швейцар, напротив, самая дрожь стен — лишнее доказательство их совершенной надежности.

А все же мистеру Джеку это не нравилось. В нем шевельнулась неясная тревога. Он бы предпочел, чтобы его дом покоился на сплошной прочной скале. Вот и сейчас, ощутив в стенах легкую дрожь, он замер, нахмурился и подождал, чтобы все утихло. Потом улыбнулся.

«Подо мною проходят огромные поезда, — подумал он. — Утро, лучезарное утро, а они едут и едут — все эти мальчишки-мечтатели из провинциальных городишек. Вечно они рвутся в этот великий город. Да, вот и сейчас они проезжают у меня под ногами, ошарив от радости, обезумев от надежд, опьяненные мыслями о победе. Чего они хотят добиться? Чего? Славы, громадных доходов и какой-нибудь девчонки! И все они приезжают сюда в поисках той же волшебной палочки. Им нужна власть. Власть. Власть».

Теперь сон совсем прошел, и мистер Джек, затворив окно, быстрым шагом направился в ванную. Он любил ее — просторную, удобную, сверкающую молочно-белым фарфором и серебряными кранами. С минуту он стоял перед умывальником и, слегка оскалась, не без удовольствия разглядывал в зеркале свои крепкие, здоровые зубы. Потом выдавил на жесткую щетку добрых два дюйма густой пасты и старательно почистил их, поворачивая голову то вправо, то влево и не сводя глаз со своего отражения в зеркале, пока на губах не забелела душистая, отдающая мятной свежестью пена. Тогда он выплюнул пену, смыл ее водой из-под крана и прополоскал рот и горло чуть едким дезинфицирующим средством.

Он любил тесный ровный строй лосьонов, кремов, мазей, флаконов, тюбиков, баночек, щеток, бритвенных принадлежностей, которыми уставлена была полка толстого синего стекла над умывальником. Он густо намылил щеки и подбородок широкой кистью с серебряной ручкой и принялся энергично втирать пену кончиками пальцев, поглаживая и пошлепывая кожу, пока она не покрылась плотным гладким слоем теплого крема. Потом раскрыл бритву. Он признавал только опасную бритву, и она всегда была у него идеально наточена. В решительную минуту, перед тем как в первый раз провести лезвием сверху вниз, он слегка наклонился вперед, повел полным торсом, упористо расставил ноги, чуть согнул их в коленях, уверенно взмахнул блестящим лезвием и, осторожно повернув намыленную физиономию вбок и кверху, поднял глаза к потолку, словно изготовился принять на плечи тяжелую ношу. Тихонько взялся двумя растопыренными пальцами за щеку и точным движением провел по ней бритвой. И под конец даже крикнул от удовольствия. Лезвие мягко скользнуло по щеке до самого края челюсти и оставило за собой ровную розовую полоску безукоризненно гладкой кожи. Что за наслаждение ощущать, как противятся убийственно острой бритве жесткие, скрипящие волоски и как берет свое стремительная безжалостная сталь.

Мистер Джек брился, а тем временем мысленно с удовольствием перебирал все, что было хорошего в его жизни.

Он подумал о своей одежде. Костюмы его, неизменно элегантные, отличаются безупречным вкусом, ежедневно он надевает все свежее. Хлопчатобумажных тканей не носит. Покупает тончайшее шелковое белье, и в его гардеробе насчитывается сорок с лишним костюмов прямо из Лондона. Каждое утро он придирчиво их пересматривает, заботливо и умело подбирает на сегодня ботинки, носки, рубашку и галстук, чтобы они сочетались идеально, и порой на несколько минут погружается в раздумье, прежде чем выбрать подходящий костюм. Он любит распахнуть дверцы стенного шкафа и осматривать свои развешанные в строжайшем порядке элегантные, без единой пылинки костюмы. Так приятно вдыхать крепкий, чистый запах отличной ткани, и эти сорок оттенков цвета и покроя, думается ему, весьма лестно отражают разные стороны и грани его собственного характера. Как и все вокруг, вид этих костюмов наполняет его по утрам ощущением уверенности, радости и силы.

Предстоит обычный завтрак: апельсиновый сок, два отборных яйца всмятку, два тонких хрустящих ломтика поджаренного хлеба и сочные ломти розовой пражской ветчины, которую нарядно обрамляет кудрявая зелень петрушки. И еще он выпьет кофе — чашку за чашкой

крепкого кофе. Так подкрепясь, он выйдет навстречу жизни, полный бодрости и сил, готовый поймать на лету все, что может принести ему новый день.

Ему вспомнилось, как славно нынче утром пахло в воздухе землей, и воспоминание это было поистине маслом по сердцу. Хотя и коренной горожанин, мистер Джек был не меньше других чувствителен к чарам матери-земли. Он любил природу, на которую наложила свой отпечаток рука человека: шелковистые лужайки в обширных загородных владениях, веселые полчища ярких садовых цветов, пышные купы с толком посаженного кустарника. Все это радовало его душу. Простая жизнь на лоне природы влекла его год от году все сильнее, и он построил большой загородный дом в округе Уэстчестер. Он любил самые дорогостоящие виды спорта. Нередко ездил за город играть в гольф и наслаждаться бархатно зеленеющими в ярком свете солнца площадками и ароматом свежeproкошенных дорожек. Любил после игры постоять под бодрящими струями душа, смывающими пот азарта с ладно сбитого тела, и затем отдохнуть на прохладной клубной веранде, потолковать о том, каков был счет, пошутить, посмеяться, уплатить проигрыш или получить выигрыш, выпить хорошего виски в компании с другими видными людьми. Любил поглядеть, как полощется на высоком белом шесте флаг его родины — флаг здесь тоже радовал глаз.

Но мистер Джек любил и красоту попроще, поглубже. Любил буйно разросшиеся травы на косогорах и старые тенистые дороги, что выются, уводя все дальше в тишину, прочь от навязчивых скоростей и утомительно блестящего бетона. Глубоко растроганный, смотрел он, бывало, в середине октября на безмерную печаль золотой, оранжевой, рыжей листвы, а однажды увидел старую мельницу красного кирпича, рдеющую в лучах заката, и сердце его замерло («Подумать только — все это в каких-нибудь тридцати милях от Нью-Йорка...»). В такие минуты столичная жизнь казалась ему бесконечно далекой. И нередко он останавливался, чтобы сорвать цветок или постоять в задумчивости у ручья. Среди этой мирной тишины он со вздохом сожаления думал о том, как тороплива и сумасбродна жизнь человеческая, и, однако, неизменно возвращался в огромный, полный суеты город. Ибо жизнь есть жизнь, она подлинна, она серьезна, а мистер Джек был человек деловой.

Он был человек деловой и, понятно, любил рискованную игру. Что такое дело, если не игра? Поднимутся цены или упадут? Примет конгресс то или это решение? Будет ли война где-нибудь на краю света и возникнет ли нехватка того или иного важного сырья? Что станут носить женщины на будущий год — широкополые шляпы или крохотные шляпки, длинные платья или короткие? Решаешь наугад, ставишь на эту догадку свои деньги — и если ошибся несколько раз подряд, то, может статься, больше не быть тебе деловым человеком. Итак, мистер Джек любил игру и вел ее как истый делец. Каждый день он играл на бирже. А по вечерам нередко играл в клубе. Играл отнюдь не по мелочам. Тысячу долларов выкладывал глазом не моргнув. Крупные суммы не приводили его в трепет. Он не пугался Величин и Чисел. Вот почему он любил многолюдье. Вот почему среди огромных суровых зданий, подобных угрюмым утесам, душу его наполняли спокойствие и уверенность. При виде небоскреба в девяносто этажей он вовсе не склонен был повергнуться во прах, бить себя кулаками по распираемой безумием голове и восклицать: «Горе мне! Горе!» О нет. Каждый каменный исполин, уходящий вершиной в облака, был для него знаменем власти и могущества, монументом во славу вечной империи Американского Бизнеса. Это бодрило и радовало. Ведь в этой империи — его вера, его богатство и самая жизнь. Здесь он прочно занял свое место.

И, однако, он не очерствел сердцем, не слеп к чужим несчастьям и не закоsnел в гордыне. Ведь он не раз видел людей, которые вечерами, опершись на подоконник, покойно смотрят из окна, видел и тех, которые кишмя кишат на улицах, толпой валят из крысиных нор, — и нередко спрашивал себя, что же у них за жизнь.

Мистер Джек покончил с бритьем и ополоснул пылающее лицо сперва горячей водой, потом холодной. Промокнул его чистым полотенцем и осторожно втер в кожу душистый, чуть

пощипывающий лосьон. И постоял минуту, удовлетворенно разглядывая себя в зеркале, легонько поглаживая кончиками пальцев бархатистые, гладкие и румяные щеки. Потом круто повернулся — пора было искупаться.

Он любил по утрам погружаться в огромную, вделанную в пол ванну, любил разнеживающее тепло пенящейся мыльной воды и острый, чистый запах ароматических солей. Ему не чуждо было и чувство красоты, и он любил, лениво откинувшись в ванне, полюбоваться завораживающей пляской отраженных от воды световых бликов на молочно-белом потолке. А всего приятней, когда красный, мокрый, весь в смолисто пахнущей мыльной пене становишься под колючий, хлесткий душ и ощущаешь жаркий прилив воинственной бодрости и отменного здоровья и, ступив на плотный пробковый коврик, изо всей силы растираешься досуха огромным жестким мохнатым полотенцем.

Все это он нетерпеливо предвкушал сейчас, со звоном опуская на место тяжелую посеребренную пробку ванны. Повернул до отказа кран, сильной струей пустил горячую воду и следил, как она, бурля и дымясь, наполняет ванну. Потом сбросил шлепанцы, быстро стянул с себя шелковую пижаму. Горделиво пощупал бицепсы, с истинным удовольствием оглядел в зеркале свое плотное, отлично сохранившееся тело. Он был ладно скроен и крепко сшит, и нигде никакого нездорового жира, разве что чуть заметная пухлость над поясницей да едва уловимый намек на брюшко, но тревожиться пока не из-за чего, он выглядит куда лучше очень многих, кто на двадцать лет моложе. И он ощутил глубокое, жаркое удовлетворение. Привернул кран, сунул на пробу палец в воду — и миг отдернул, вскрикнул от боли и неожиданности. Поглощенный своими мыслями, он забыл про холодную воду; теперь он пустил ее и смотрел, как бьет струя, клокочат крохотные белые пузырьки и по горячей голубизне разбегаются дрожащие волны света. Наконец он осторожно попробовал воду ногой, теперь в самый раз. Он закрыл кран.

И вот он отступил на шаг-другой, уперся босыми подошвами в теплые плитки пола, резко, по-военному выпрямился, сделал глубокий вдох и энергично принялся за утреннюю гимнастику. Не сгибая ног, он круто наклонился и, крикнув, вытянутыми руками, самыми кончиками пальцев, коснулся пола. Быстро, размеренно он выпрямлялся и вновь наклонялся, отсчитывая в такт: «Раз! Два! Три! Четыре!» Руки широкими взмахами разрезали воздух, а мысли тем временем по-прежнему бежали по отрадной колее, которую проложила для них вся его жизнь.

Сегодня званый ужин — он так любит эти блестящие, веселые сборища. Притом он немало повидал на своем веку, отлично знает свет и этот город, и хоть он человек добрый, но не прочь позабавиться безобидной насмешкой, словесной перепалкой остряков, да и послушать, как иные злые языки поддразнивают простодушную молодежь. Без всего этого не обходится на таких сборищах, где встречается народ самый разный. И это придает им особый вкус и пикантность. Забавно посмотреть, допустим, как иной простак только-только из захолустной глуши корчится на крючке коварной и жестокой насмешки, — лучше всего из женских уст, ведь женщины на такие великие мастерицы. Впрочем, есть и мужчины, весьма искусные в этой игре — этакие светские комнатные собачки, баловни богатых домов или утонченно-ехидные женственные юнцы, которые всегда сумеют, жеманничая, больно кольнуть отравленной стрелой самого толстокожего провинциала. Есть что-то в лице вот такого уязвленного мальчишки-деревенщины, когда он медленно багровеет от жаркого стыда, изумления и гнева и тщетно силится неуклюжими словами отплатить злой осе, которая ужалила и мигом улетела, — есть в лице такой злополучной жертвы что-то очень трогательное, что неизменно вызывает в мистере Джеке почти отеческую нежность и чудесное ощущение молодости и невинности. Словно он и сам снова переносится на миг в пору своей юности.

Но все хорошо в меру. Мистер Джек был человек не жестокий и не склонный ни к каким излишествах. Он любил блеск и веселье таких вечеров, лихорадочное волнение высоких ставок, быструю возбуждающую смену развлечений. Любил театр и смотрел все лучшие постановки и все лучшее, остроумное и занимательное из «малых форм» — с меткой сатирой,

с хорошими танцами, с музыкой Гершвина. Он любил обзоры, которые оформляла его жена, потому что их оформляла она, он гордился ею и наслаждался вечерами в Любительском театре — они для него были высшим воплощением культуры. И случалось, прямо во фраке он шел смотреть состязания боксеров, а однажды, когда вернулся домой, на его белоснежной крахмальной манишке адела кровь известного чемпиона. Таким не всякий может похвастать.

Он любил многолюдье, оживление, любил принимать у себя в доме лучших артистов, художников, писателей и богатых, образованных евреев. Он обладал добрым и верным сердцем. Его кошелек всегда открыт был для друга в беде. Он был щедрый, радушный хозяин, гостей кормил и поил по-царски, а главное, он был нежнейший и любвеобильнейший семьянин.

Но при этом он любил и обнаженные бархатистые спины хорошеньких женщин, и сверкающие ожерелья вокруг стройных шей. Любил женщин соблазнительных, в блеске золота и бриллиантов, который еще подчеркивал ослепительность их вечерних туалетов. Любил женщин — воплощение последней моды: упругая грудь, точеная шея, стройные ноги, узкие бедра, неожиданная сила и гибкость. Ему нравились томная бледность, золотистая бронза волос, тонкие, ярко накрашенные губы — и в складе губ что-то недоброе, нравились удлиненные зеленовато-серые кошачьи глаза, полуприкрытые подведенными веками. Нравилось смотреть, как женские руки сбивают коктейль, и слышать, как низкий, немного хриплый, истинно городской голос — чуть утомленный, насмешливый, слегка вызывающий, произносит:

— Ну, дорогой, что это с тобой случилось? Я уж думала, ты никогда не явишься.

Он любил все то, от чего без ума каждый мужчина. Всем этим он наслаждался, отводя всякому наслаждению подобающее время и место, и ничего иного не ждал от других. Но превыше всего он ставил чувство меры и всегда умел вовремя остановиться. Извечную иудейскую пылкость в нем смягчало чувство классической умеренности. Выше многих других добродетелей он ценил соблюдение приличий. Он знал цену золотой середине.

Он не открывал душу каждому встречному и поперечному, не ставил поминутно свою жизнь на карту, ничего не обещал сгоряча и ничего не делал очертя голову. Все это свойственно сумасбродным христианам. Идолопоклонство и сумасбродство были ему чужды, но в пределах разумного он не хуже всякого другого был готов очень многим поступиться во имя дружбы. Он не бросит друга, пока тот не окажется на грани разорения и гибели, даже постарается удержать его на краю пропасти. Но если человек совсем обезумел и уже не способен внять голосу трезвого рассудка, конечно: для мистера Джека такой больше не существует. Такого он, хоть и не без сожаления, предоставит его участи. Что пользы для корабля, если вся команда пойдет ко дну заодно с единственным пьяным матросом? Пользы ровно никакой, полагал мистер Джек. Глубоким, искренним чувством звучали в его устах два многозначительных слова: «Какая жалость!»

Да, мистер Фредерик Джек был человек добрый и умеренный. Он убедился, что жизнь хороша, и открыл секрет житейской мудрости. А секрет житейской мудрости заключался в готовности с изяществом идти на компромиссы и терпеливо принимать мир таким, как он есть. Если хочешь прожить на этом свете и не остаться без гроша, научись смотреть в оба и слышать, что делается вокруг, на то даны глаза и уши. Но если хочешь прожить на этом свете так, чтобы тебя не били по голове, не терзали понапрасну боль, скорбь, ужас, горечь, все муки людские, — научись еще и не видеть, не слышать, закрывать глаза и уши. Может показаться, что это не так-то просто, но мистер Джек этим искусством владел. Быть может, наследие великих страданий, долгие, тяжкие испытания, через которые прошел его народ, оделили его, словно каплей драгоценной эссенции, даром равновесия и всепонимания. Так или иначе, он этому не научился, ибо этому научить нельзя. Это было дано ему от природы.

Итак, не тот он был человек, чтобы в ночной тьме рвать простыню на полосы и вязать себе петлю или в кровь разбивать кулаки о стену. Не станет он исступленно метаться по отравленному лабиринту ночных улиц, и не унесут его, избитого, окровавленного, из публичного дома. Конечно, подчас нелегко сносить женские причуды, но горькая тайна любви

не терзала мистера Джека и не мешала спать спокойно, как не мог помешать неосторожно съеденный шницель по-венски или этот молодой дурень — христианин, который, верно опять под пьяную руку, звонил в час ночи, потому что ему приспичило поговорить с Эстер.

Вспомнив об этом, мистер Джек помрачнел. Пробормотал что-то невнятное. Дураки — они и есть дураки, но пускай дурью мучаются где-нибудь поодаль и не мешают спать серьезным людям.

Да, мужчины способны красть, лгать, убивать, обманывать, плутовать и мошенничать, — это всему свету известно. А женщины... ну, они и есть женщины, и тут уж ничего не поделаешь. Мистер Джек тоже знал толику той боли и тех безумств, что съедают пыльные молодые души... конечно, это печально, очень печально. Но, независимо ни от чего, день есть день — днем надо работать, а ночь есть ночь, ночью надо спать, и, право же, это просто нестерпи-мо.

— Раз!

Весь багровый, он начал кряхтя с усилием наклоняться, покуда кончики пальцев не коснулись белоснежного кафельного пола ванной.

...не-стер-пи-мо...

— Два!

Он резко выпрямился, руки опустил вдоль тела.

...чтобы человек, которому предстоит серьезная работа...

— Три!

Он выбросил руки до отказа вверх и тотчас рывком опустил и сжал кулаки перед грудью. ...вынужден был среди ночи вскакивать с постели, оттого что какой-то безмозглый, сумасшедший мальчишка...

— Четыре!

Сжатые кулаки с силой выброшены вперед, словно для удара, и вновь опущены вдоль тела.

...Это было нестерпимо, и, право слово, он, кажется, без обиняков так ей и скажет!

С гимнастикой покончено; мистер Джек осторожно ступил в роскошную, вделанную в пол ванну и медленно расположился в прозрачной голубоватой глубине. Долгий, протяжный вздох истинного наслаждения слетел с его губ.

11. Миссис Джек просыпается

Миссис Джек проснулась в восемь. Проснулась, как ребенок, мгновенно, сразу ожила и встрепенулась всем своим существом, стоило открыть глаза — и сна как не бывало, мысли и чувства ясны и свежи. Так она просыпалась всю свою жизнь. Минуту, не шевелясь, лежала на спине и смотрела в потолок.

Затем она сильным, торжествующим броском откинула одеяло с маленького пышного тела, облаченного в длинную, без рукавов, ночную рубашку из тонкого желтого шелка. Порывисто согнула колени, высвободила ступни из-под одеяла и опять вытянулась. С удивлением и удовольствием оглядела свои крошечные ножки. Ей самой приятно было посмотреть, какие у нее крепкие, ровные, безукоризненной формы пальцы и здоровые, блестящие ногти.

С тем же детским хвастливым удивлением она медленно подняла левую руку и стала неторопливо поворачивать перед глазами, замороженно ее разглядывая. Ласково и сосредоточенно она следила, как послушно малейшему ее желанию тонкое точеное запястье, восхищалась изящными крылатыми взмахами узкой смуглой кисти, красотой и уверенной ловкостью, что чувствовались в тыльной стороне ладони и прекрасно вылепленных пальцах. Потом подняла другую руку и, вращая обеими кистями сразу, продолжала нежно и сосредоточенно ими любоваться.

«Какое в них волшебство! — думала она. — Какое волшебство и какая сила! Господи, до чего они красивые и на какие чудеса способны! За какую постановку я ни возьмусь,

замыслы возникают у меня, точно какое-то радостное чудо. Все это зреет и накапливается внутри, а ведь никто ни разу не спросил, как это у меня получается! Во-первых, все возникает сразу... таким цельным куском в голове. (Забавная мысль заставила ее наморщить лоб с каким-то растеряннo-недоумевающим, почти животным выражением.) Потом все рассыпается на кусочки и само собой выстраивается в каком-то порядке, а потоп приходит в движение, — подумала она с торжеством. — Сперва я чувствую, как оно сбегает с шеи и с плеч, потом поднимается по ногам и животу, а потом опять сходится и образует звезду. А после идет в руки, до кончиков пальцев, и тогда уж рука сама делает то, чего мне хочется. Рука проводит линию — и в этой линии есть все, чего мне надо. Рука закладывает складкой кусок ткани — и никто в целом свете не сделал бы такой складки, ни у кого больше эта ткань так бы не выглядела. Рука мешает ложкой в кастрюле, тычет вилкой, бросает щепотку перца, когда я стряпаю для Джорджа, — думала она, — и получается блюдо, какого не сготовит лучший шеф-повар в целом свете, потому что я вкладываю в это себя — сердце, душу, всю свою любовь! — думала она победно и ликующе. — Да! И так было всегда и во всем, что бы я ни делала, — во всем ясность замысла, линия моей жизни ясна, как золотая нить, ее можно проследить от самого детства».

Теперь, осмотрев свои ловкие красивые руки, она принялась неторопливо проверять остальное. Наклонив голову, оглядела полную грудь, плавные очертания живота, бедер, ног. Одобрительно провела по бедрам ладонями. Опять протянула руки вдоль тела и лежала неподвижно, вся прямая, ступни сомкнуты, голова откинута, серьезный взгляд устремлен в потолок — словно маленькая королева, готовая к погребению, бесконечно спокойная и красивая, но тело еще теплое, еще податливое, — и при этом думала:

«Вот мои руки и пальцы, вот мои бедра, колени, ступни, безупречные пальцы ног, вот она я».

И вдруг, словно проверка собственных богатств наполнила ее огромной радостью и довольством, она просияла, порывисто села и решительно спустила ноги на пол. Сунула их в домашние туфли, встала, распахнула руки во всю ширь, потом свела, сцепив пальцы у затылка, зевнула и накинула на себя желтый стеганный халат, что лежал в изножье кровати.

У Эстер было розовое милое, тонкое, изысканно красивое лицо. В этом маленьком, четко вылепленном, на редкость подвижном личике со своеобразным овалом — почти в форме сердца — удивительно сочетались черты ребенка и взрослой женщины. Увидев ее впервые, всякий сразу думал: «Наверно, она и девочкой была в точности такая же. Наверно, она с детства ни капельки не изменилась». Но лежал на этом лице и отпечаток зрелых лет. Детское проступало в нем всего ясней, когда она с кем-нибудь разговаривала и вся загоралась веселым, неутомимым оживлением.

За работой в лице Эстер проступала серьезность и сосредоточенность зрелого, искусственного мастера, всецело поглощенного своим нелегким трудом, и в такие минуты она выглядела совсем не молодо. Вот тогда-то становились заметны следы усталости и крохотные морщинки вокруг глаз, и седина, уже сквозящая кое-где в темных каштановых волосах.

И в часы отдыха или когда она оставалась наедине с собою на лицо ее нередко ложилась тень невеселого раздумья. Тогда красота его становилась глубокой и загадочной. Эстер Джек была на три четверти еврейка, и когда ею овладевала задумчивость, в ней брало верх то древнее, таинственное и скорбное, что присуще этой расе. Лоб прорезали морщины печали и недоумения, и во всем облике проступала печать рока, словно память о бесценном, безвозвратно утерянном сокровище. Выражение это на ее лице появлялось не часто, но Джорджа Уэббера всякий раз, как он его замечал, охватывала тревога, ибо тогда ему чудилось, что глубоко в душе женщины, которую он любил и, как ему казалось, уже понял, скрыто некое тайное знание, ему недоступное.

Но чаще всего ее видели и лучше всего запоминали веселой, сияющей, неутомимо деятельной — маленьким пылким созданием, в чьих тонких чертах светилось столько детской радости и неугасимой доверчивости. В такие минуты ее щеки-яблочки разгорались свежим здоровым румянцем, и стоило ей войти в комнату, как все вокруг озарилось исходящим от нее

утренним светом жизни и чистоты.

И когда она выходила на улицу, смешивалась с вечно спешащей, безрадостной, бездушной толпой, лицо ее сияло, точно бессмертный цветок среди мертвенно-серых людей с мертвенно-мрачными глазами. Мимо нее пронеслись в людском водовороте неразлично однообразные лица, на всех застыла одна и та же тупая черствость, сквозило то же коварство без границ, хитрость без смысла и цели, циническая искушенность безо всякого подобия веры и мудрости, — но и в этой орде ходячих мертвецов иные внезапно останавливались посреди вечной угрюмой сутолоки и вперяли в нее затравленный беспокойный взгляд. Она была такая пухлая, кругленькая, от нее веяло щедростью, как от плодоносной земли, она словно принадлежала иной человеческой породе, совсем не похожей на их унылую тошную скудость, — и они глядели ей вслед, словно обреченные вечным мукам грешники в аду, которым на миг дано было видение живой, нетленной красоты.

Миссис Джек еще стояла подле кровати, и тут в дверь постучалась горничная Нора Фогарти и тотчас вошла с подносом, на котором были высокий серебряный кофейник, маленькая сахарница, чашка с блюдцем и ложечкой и утренний «Таймс». Она поставила поднос на ночной столик и сказала хриплым голосом:

— Здрасьте, миссис Джек.

— А, Нора, привет! — отозвалась хозяйка быстро и удивленно, как всегда, когда с нею здоровались. — Ну как вы нынче, а? — спросила она так живо, словно ей и в самом деле это очень интересно, но тотчас продолжала: — Славный будет денек, правда? Видали вы когда-нибудь такое чудесное утро?

— Ваша правда, миссис Джек, — согласилась горничная, — утро очень даже чудесное.

Ответ прозвучал почтительно, чуть ли не подобострастно, но в голосе послышалось и что-то уклончиво-хитрое и угрюмое; миссис Джек быстро подняла глаза и встретила воспаленный спиртным, бессмысленный, злобный взгляд в упор. Похоже было, однако, что эта женщина злится не столько на хозяйку, сколько на весь белый свет.

Если же она и впрямь готова была испепелить миссис Джек взглядом, это жгучее негодование рождено было слепым инстинктом: просто в ней тлела ненасытная злоба, а отчего — Нора и сама не знала. Уж наверняка она не чувствовала себя угнетенной представительницей низших классов, ведь она была ирландка и католичка до мозга костей и во всем, что касалось достоинства и положения в обществе, преисполнялась сознанием собственного превосходства.

Она служила в доме миссис Джек больше двадцати лет и на щедрых хлебах изрядно разленилась, но, несмотря на всю свою истинно ирландскую привязчивость и преданность, ни минуты не сомневалась, что в конце концов это семейство попадет в ад заодно со всеми прочими язычниками и нечестивцами. А между тем у этих процветающих нехристей ей жилось весьма недурно. Что и говорить, ей досталось теплое местечко, к ней неизменно переходили почти ненадеванные наряды миссис Джек и ее сестры Эдит, и ничто не мешало ей принимать на самую широкую ногу дружка-полицейского, который приходил раза три в неделю поухаживать за ней; он ел и пил в свое удовольствие, так что ему и в голову не пришло бы попасться где-нибудь в другом месте. А тем временем она отложила впрок несколько тысяч долларов да еще неумоимо поставляла всем своим сестрам и племянницам в родном графстве Корк пикантнейшие сплетни из быта сливок богатого Нового Света, где можно так недурно пожить; впрочем, сплетни она приправляла толикой благочестивого осуждения и сожаления и мольбами к пресвятой деве беречь ее и не покинуть среди подобных язычников.

Нет, право же, злобная досада в ее горящих глазах не имела ничего общего с кастовой ненавистью. Она прожила в этом доме двадцать лет, пользуясь щедростью и великодушием язычников высшего, наилучшего сорта, и понемногу притерпелась почти ко всем их греховным обычаям, но ни на минуту не позволяла себе забыть, где лежит путь истинный и светит свет истинный, ни на минуту не оставляла ее надежда в один прекрасный день

вернуться в более просвещенные, истинно христианские родные края.

И не от бедности горели обидой глаза горничной, это не был упорный, молчаливый гнев бедняка против богача, ощущение несправедливости оттого, что достойные люди вроде нее вынуждены весь век прислуживать никчемным ленивым бездельникам. Она вовсе не мучилась жалостью к себе оттого, что надо с утра до ночи мозолить руки, чтобы богатая светская дама могла беззаботно улыбаться и лелеять свою красоту. Нора отлично знала, нет такой работы по дому, — подать ли на стол, стряпать ли, шить, чинить, прибирать, — которую ее хозяйка не сумела бы выполнить куда быстрее и лучше, чем она, горничная.

Знала она также, что в этом огромном городе, который непрерывным грохотом оглушает даже ее не слишком чуткое ухо, ее хозяйка действует изо дня в день с энергией динамо-машины — покупает, заказывает, примеряет, рассчитывает, кроит, чертит... то в огромных, довольно унылых помещениях, где гуляют сквозняки, где обретают плоть и кровь ее замыслы и эскизы, она на лесах с художниками — и с легкостью побивает их в их же ремесле; то сидит, по-турецки скрестив ноги, среди громадных свертков ткани, и в ее ловких пальцах игла мелькает куда стремительней, чем в проворных руках сидящих вокруг портных с изжелта-бледными лицами; то неумоимо шарит и роется в мрачных лавчонках, где торгуют всяким старьем, и вдруг с торжеством выкопает из кучи хлама образчик того самого узора, какой ей понадобился. И всегда она гонит своих подчиненных, всегда торопит, неотступно, но и добродушно, она не выпускает вожжи из рук и доводит дело до конца, побеждая лень, небрежность, тщеславие, глупость, равнодушие и ненадежность тех, с кем ей приходится работать, — художников, актеров, рабочих сцены, банкиров, профсоюзных заправил, электриков, портных, костюмеров, режиссеров и постановщиков. Всей этой разношерстной, в большинстве довольно убогой и не слишком умелой команде, чьими трудами создается сумасбродное и рискованное целое, именуемое театром малых форм, она навязывает ту же стройность, изысканность замысла и несравненную красочность, какими отличается ее собственная жизнь. И все это горничная прекрасно знала.

Притом она нагляделась на жестокий, неподатливый мир, где ежедневно воюет и одерживает победы ее хозяйка, и ясно понимала, что, даже обладай она сама талантами и познаниями, которыми наделена миссис Джек, во всем ее, Норином, ленивом теле не наберется столько энергии, решимости и власти, сколько скрыто у той в кончике мизинца. И понимание это отнюдь не пробуждало в ирландке чувства неполноценности, напротив, прибавляло самодовольства, ведь на самом-то деле настоящая труженица не она, а миссис Джек! Нет, она, горничная, ест и пьет то же, что и хозяйка, живет под той же крышей, даже носит те же платья — и ни за что на свете она не поменялась бы местом со своей хозяйкой.

Да, она понимала, что ей посчастливилось и жаловаться не на что; и, однако, злая, противоестественная обида безжалостным огнем горела в ее враждебном, мятежном взгляде. А почему — она и сама не могла бы объяснить словами. Но в минуты, когда эти две женщины оказались лицом к лицу, слова были не нужны. Объяснение запечатлено было в самой их плоти, читалось в каждом их движении. Не богатство миссис Джек, не ее власть и положение в обществе вызывали злобу горничной, но нечто более личное и трудно уловимое — особый настрой и своеобразие, какими отличалась вся жизнь той, другой женщины. Ибо за последний год Норой Фогарти овладело смятение, внутреннее недовольство и разочарование, смутное, но неодолимое чувство, что вся ее жизнь пошла наперекос и, никчемная, бесполезная, близится к бесплодной старости. Она недоумевала и мучалась, чувствуя, что упустила в жизни нечто прекрасное и величественное, и не понимая, что же это могло быть. Но что бы это ни было, а ее хозяйка, видно, каким-то чудом это таинственное нечто нашла и насладились им сполна, — и эта истина, которую Нора ясно видала, хоть и не могла определить и назвать, жгла ее нестерпимой обидой.

Они были почти однолетки, одного роста и настолько схожего сложения, что горничная могла, не ушивая и не переделывая, носить хозяйкины платья. Но даже если бы они родились на разных планетах и вели свое начало от совершенно разной протоплазмы, они не могли бы быть более противоположны друг другу.

Нора вовсе не была уродом. Ее черные волосы, зачесанные на косой пробор, были густые и пышные. И лицо было бы приятным и миловидным, если бы не тупо-растерянное выражение, которое придавали ему сейчас хмель и накипающая беспричинная злость. В лице этом была и доброта — но была и неистовая вспыльчивость, присущая натурам, в которых скрыто нечто необузданное, грубое и в то же время уязвимое, жестокое, нежное и порывистобуйное. И фигура ее еще не расплылась, и ей пришлось впору изящного покроя юбка из зеленой шерстяной ткани в крупную клетку (юбку недавно отдала ей хозяйка — после долгих лет службы Нора считалась как бы старшей над остальной прислугой и не обязана была носить форменное платье, как другие горничные). Но хозяйка была тонка в кости, и стройная фигурка ее отличалась в то же время соблазнительной пышностью, горничная же, напротив, казалась топорной и неуклюжей. У нее было тело женщины, чья молодость и плодоносная свежесть миновали, уже несколько отяжелевшее, негибкое, оно стало сухим и жестким от многих ударов и долгой усталости, от медленно копившегося груза невыносимых дней и безжалостных лет, которые все отнимают у человека и от которых никому не ускользнуть.

Нет, никому не ускользнуть — только вот *она* ускользает, горько думала ирландка с глухим, невыразимым словом ощущением, что ее жестоко оскорбили, — *ей* все дано, *она* всегда торжествует. *Ей* годы приносят только успех за успехом. А почему так? Почему?

Мысль ее наткнулась на этот вопрос, точно дикий зверь на отвесную непроницаемую стену, и замерла в растерянности. Разве они не дышали одним и тем же воздухом, не ели ту же пищу, не носили те же платья, во жили под одной крышей? Разве не было у нее все то же самое — ничуть не хуже и не меньше, чем у хозяйки? Уж если на то пошло, ей, Норе, живется еще получше, с едким презрением подумала она, она-то не надрывается с утра до ночи, как ее хозяйка.

А меж тем она стоит растерянная, недоумевающая и угрюмо смотрит на ослепительно счастливую жизнь той, другой... она видит этот блистательный успех, понимает, как он велик, чувствует, как он для нее оскорбителен, — и не знает, какими словами высказать, до чего это нестерпимо несправедливо. Знает только одно: ее сделали неуклюжей и неловкой те самые годы, которые другой женщине прибавили изящества и гибкости; ее кожа стала жесткой и землистой от того же солнца и ветра, которые прибавили блеска сияющей красоте другой женщины; и даже сейчас душа ее отравлена сознанием, что жизнь ее не удалась, прошла понапрасну, а в той, другой, словно прекрасная музыка, не угасают силы и самообладание, здоровье и радость.

Да, это она понимала достаточно ясно. Сравнение открывало жестокую и страшную истину, не оставляло ни сомнения, ни надежды. И сейчас Нора устало и хмуро смотрела на хозяйку, стараясь под давлением многолетней выучки, чтобы голос ее звучал, как и полагается, почтительно покорно, и при этом видела, что та разгадала ее тайную зависть и разочарование в жизни и жалеет ее. И душу горничной переполнила ненависть, ибо жалость ей казалась крайним, нестерпимейшим оскорблением.

И в самом деле, когда миссис Джек здоровалась с горничной, ее прелестное лицо оставалось все таким же добрым и жизнерадостным, однако зоркие глаза мигмом подметили бушующую в той злобу, и ее охватили удивление, жалость и раскаяние.

«Опять! — подумала она. — Напилась третий раз за эту неделю! Что же это такое? Чем может кончить подобный человек?»

Миссис Джек и сама не знала толком, что означали слова «подобный человек», но на миг в ней пробудилось бесстрастное любопытство; с таким чувством сильная, щедро одаренная решительная личность, чей талант с блеском и легкостью проявляется на каждом шагу и венчает ее жизнь неизменным успехом, вдруг оглядывается и с удивлением замечает, что почти все люди вокруг живут совсем иначе, кое-как перебиваются со дня на день, вслепую, неуклюже влачат убогое и скучное существование. С внезапным сожалением она поняла, что люди эти совершенно безлики и бесцветны, словно каждый не живое существо, которому даны способность любить и быть любимым, красота, радость, страсть, страдание и смерть, — но лишь частица какого-то неохватного и страшного живого месива. Потрясенная этим

открытием, хозяйка смотрела на служанку, которая прожила с ней бок о бок почти двадцать лет, и впервые задумалась — что за жизнь была у этой женщины?

«Что же это такое? — опять и опять думала она. — Что с ней стряслось? Прежде она такой не была. Это случилось за последний год. И ведь раньше Нора была такая хорошенькая! — вдруг с испугом вспомнила она. — Да ведь сначала, когда она к нам только поступила, она была просто красивая! Стыд и срам! — мысленно возмутилась миссис Джек. — Чтобы девушка с такими возможностями — и так опустилась! Не понимаю, почему она не вышла замуж? За ней увивались, по крайней мере, с полдюжины этих верзил полицейских, и только один все еще аккуратно ее навещает. Все они были от нее без ума, могла же она кого-нибудь выбрать!»

С доброжелательным любопытством она разглядывала горничную, и тут ее коснулось дыхание этой женщины — обдало перегаром выпитого виски, резким запахом невымытых волос и нечистого тела. Ее передернуло, она нахмурилась и тотчас густо покраснела от стыда, смущения и острой брезгливости.

«Господи, да от нее воняет! — с ужасом и омерзением подумала она. — Задохнуться можно! Гадость какая! — Теперь ее негодование обратилось на всех горничных сразу. — Пари держу, они никогда не моются, а ведь им с утра до ночи делать нечего, могли бы, по крайней мере, содержать себя в чистоте! О, господи! Кажется, могли бы радоваться, что служат в таком красивом доме и у нас им так хорошо живется; могли бы хоть капельку этим гордиться и ценить все, что мы для них делаем! Так нет же! Они просто этого не стоят!» — с презрением подумала она, и на миг уголок ее красиво очерченных губ исказила уродливая гримаса.

В этой гримасе сквозило не только презрение и насмешка, но что-то едва ли не свойственное всему ее племени — какой-то дерзкий, упрямый вызов, словно стремление доказать свое превосходство. Эта недобрая усмешка лишь на миг, почти неуловимо, изуродовала очертания ее губ, она никак не подходила к прелестному лицу и тотчас исчезла. Однако горничная все заметила, и эта мимолетная, но многозначительная усмешка жестоко ее уязвила.

«Ну как же! — в бешенстве подумала она. — Такой распрекрасной дамочке на нашу сестру и смотреть противно, так, что ли? Как же, как же! Мы ведь больно важные! Вон у нас сколько шикарных платьев, да вечерних тувалетов, да сорок пар туфельек по заказу! Господи Иисусе! У ней столько всякой обуви, точно она сороконожка! Да еще нижние юбки, да панталоны шелковые в самом Париже шиты! От этого мы больно распрекрасные, так, что ли? Мы не то что простой народ, на стороне не балуемся, так, что ли? Боже упаси! Мы только собираем друзей-приятелей, эдаких важных да шикарных господ, на шикарные вечеринки! А коли у бедной девушки лишней пары штанишек и то нету, как мы ее презираем! Сразу видать: „Ах, мол, ты такая-сякая, мне на тебя и смотреть-то противно!“ А между прочим, коли по правде сказать, так тут на Парк-авеню сколько угодно шикарных дам ни на волос не лучше меня! Уж я-то знаю! Так что вы бы поосторожней, дамочка, не больно задавайтесь!» — со злобным торжеством думала горничная.

«Ого! Коли бы я стала говорить все, что знаю! „Нора, — говорит, — коли позвонят, а меня нету дома, спросите, что передать. Мистер Джек не любит, чтоб его беспокоили...“ Господи Иисусе! Нагляделась я на них, все они не любят, чтоб их беспокоили. Такие у них порядки, заводи любовников да любовниц и друг дружке не мешай, ни про что не спрашивай и пропади все пропадом, лишь бы не на глазах! А попробуй кто на двадцать минут опоздать к обеду — враз начинается: где тебя носила нелегкая, да что же это будет, коли ты эдак про семью забываешь?.. Да уж, — в ней всколыхнулось чувство юмора, некоторая добродушная снисходительность, — чудно тут живут люди! А уж хозяева мои чудней всех! Слава тебе, господи, я-то сроду христианка, в истинной вере воспитана, коли согрешила, так схожу в храм божий, зато...»

Как часто бывает с горячими натурами, подвластными внезапной смене настроений, она уже раскаивалась в недавней вспышке злобы, и чувства ее хлынули по другому руслу:

«...Зато, видит бог, в целом свете нет людей добрее! Ни у кого больше не хотела б я

служить, только у миссис Джек. Уж коли ты им по душе, ничего для тебя не жалеют. Вон в апреле двадцать лет сравняется, как я у них в доме, и ни разу не видала, чтоб тут голодного не накормили. А ведь есть такие — каждый божий день в церковь ходят, а подвернись случай — у покойника с глаз медный грош украдут, как же, как же! Нет, у нас у всех тут прямо дом родной, я это нашим всегда говорю, — с добродетельным самодовольством подумала она, — и уж прочие как хотят, а Нора Фогарти не такой человек — черной неблагодарностью добрым хозяевам не оплатит!»

Все это пронеслось в голове и в сердце у обеих женщин с быстротою мысли. Тем временем горничная, поставив поднос на столик подле кровати, отошла к окнам, отворила их, подняла шторы, чтобы впустить побольше света, поправила занавеси и уже наливала воду в ванну — сперва послышался шум бурно бьющей струи, потом он стал глуше, ровней: Нора слегка привернула краны и доводила слишком горячую клокочущую воду до нужной температуры.

А между тем миссис Джек небрежно, нога на ногу уселась на краю кровати, из высокого серебряного кофейника налила в чашку горячего, исходящего паром черного кофе и развернула сложенную на подносе газету. Она пила кофе, невидящими, остановившимися глазами глядя на печатную страницу, лицо у нее стало хмурое, недоумевающее, и она машинально то снимала, то вновь надевала на палец правой руки старинное причудливое кольцо. Это была давняя бессознательная привычка — верный признак беспокойства и нетерпения или же знак, что она чем-то озабочена и собирается с мыслями, чтобы перейти к быстрым и решительным действиям. Так и сейчас, первый порыв жалости, любопытства, сочувствия уступил место потребности теперь же, немедленно что-то сделать с Норой.

«Вот куда девалось спиртное из запасов Фрица, — думала она. — Он ведь просто взбешен... Придется ей это прекратить. Если она будет продолжать в том же духе, через месяц-другой она совсем сопьется... Господи, какая дуреха, убить ее мало! И что это на них находит?» — думала миссис Джек. Ее прелестное лицо залил гневный румянец, глаза потемнели от волнения, меж бровей залегла глубокая складка: решено, она поговорит с горничной сурово, напрямик и притом не откладывая.

И тотчас она вздохнула с облегчением и почувствовала себя почти счастливой, ведь ничто не было так чуждо ее натуре, как нерешительность. Она давно уже знала о непозволительных поступках Норы и от этого лучилась угрызениями совести, а теперь сама себе удивлялась — что тут было колебаться? Но когда горничная, выйдя из ванной, замешкалась, прежде чем уйти, словно ждала распоряжений, и посмотрела на хозяйку уже по-иному, словно бы тепло, даже ласково, миссис Джек вдруг смутилась: заговорила, тут же об этом пожалела и сама удивилась, как неуверенно, почти виновато звучит ее голос.

— Да, Нора, — не без волнения начала она, быстро снимая и вновь надевая кольцо, — мне надо с вами поговорить.

— Слушаю, миссис Джек, — скромно и почтительно откликнулась та.

— Это мисс Эдит просила меня у вас спросить, — торопливо и не без робости продолжала хозяйка, изумленно ловя себя на том, что начинает выговор совсем не так, как намеревалась.

Нора ждала с видом самого покорного и почтительного внимания.

— Может быть, вы или еще кто-нибудь из девушек видел, у мисс Эдит было такое платье, — поспешно продолжала миссис Джек, — из тех, что она в прошлом году привезла из Парижа. Такого особенного серо-зеленого цвета, она еще надевала его с утра, когда уходила по делам. Вы помните, а? — докончила она отрывисто.

— Да, мэм. — Лицо у Норы было серьезное и недоумевающее. — Я это платье видала, миссис Джек.

— Так вот, Нора, она не может его найти. Оно пропало.

— Пропало? — Горничная посмотрела на хозяйку в тупом удивлении.

Но в ту самую секунду, как она повторила это слово, на губах ее мелькнула предательская хмурая усмешка и глаза блеснули хитро и торжествующе. Миссис Джек мигом поняла, что все это означает.

«Ясно! Она знает, куда девалось платье! — подумала она. — Конечно, знает! Его взяла одна из горничных! Стыд и срам, не стану я больше такое терпеть!» — Миссис Джек едва не задохнулась от возмущения, все в ней кипело.

— Да, платье пропало! Говорят вам, пропало! — гневно крикнула она в лицо горничной, которая смотрела на нос во все глаза. — Что с ним произошло? Куда оно, по-вашему, девалось? — спросила она напрямик.

— А я не знаю, миссис Джек, — медленно, словно бы с недоумением ответила Нора. — Наверно, мисс Эдит его потеряла.

— Как это потеряла! Не говорите глупостей! — вне себя закричала миссис Джек. — Как она могла его потерять? Она никуда не уезжала. Она все время здесь. И платье тоже было здесь, еще неделю назад висело в шкафу. Как это можно потерять платье? — нетерпеливо крикнула она. — Что же, только зазеваешься, и оно само с тебя слезет и куда-то уйдет? — съязвила она. — Ничего мисс Эдит не теряла, вы это и сами понимаете. Кто-то его взял.

— Да, мэм, — покорно согласилась Нора. — Вот и я так думаю. Верно, кто-нибудь сюда забрался, пока вас не было дома, и стащил его. — Она горестно покачала головой. — Я вам так скажу, нынче прямо и не знаешь, кому верить, — изрекла она нравоучительно. — Одна моя подружка, она служит у важных людей, так она мне вчера только рассказывала, приходит к ним какой-то, вроде швабры продает, полы мыть, и вот уговаривает, — я, мол, покажу, как ваши полы мыть; и такой, подружка говорит, славный паренек, с виду такой чистенький, любо поглядеть. Вот ей-богу, говорит, — это я вам в точности ее слова передаю, миссис Джек, — как они мне после сказали, чего он у них натворил, я прямо ушам своим не поверила. Будь он мне родной брат, я и то бы так не удивилась, говорит. Так что, сами понимаете...

— О, господи, Нора! — Миссис Джек сердито, нетерпеливо отмахнулась. — Что за вздор вы несете? Кто это может войти, чтоб его не заметили? Вы и другие девушки весь день дома, попасть к нам можно только лифтом или с черного хода, и вам видно всех, кто приходит. И уж если к нам полез бы вор, так не ради какого-то одного платья, сами понимаете. Вор бы взял деньги или драгоценности, во всяком случае что-нибудь ценное, что можно продать.

— А я вам вот что скажу, — возразила Нора. — Помните, на той неделе приходил мастер чинить холодильник. Я еще тогда сказала Мэй, не нравится он мне, говорю. Какое-то, говорю, у него лицо нехорошее. Ты, говорю, за ним присматривай, потому как...

— Нора!!

Голос хозяйки прозвучал так резко, что горничная мигом прикусила язык, быстро глянула на нее и замолчала, багровея от злости и стыда. Миссис Джек с жарким негодованием смотрела на нее в упор и наконец не выдержала.

— Слушайте! — крикнула она, вне себя от ярости. — Это же просто свинство, как вы все себя ведете! Мы всегда так хорошо к вам относились, а вы... — Она заговорила мягче, с жалостью: — Во всем Нью-Йорке нет другого дома, где с горничными обращались бы так хорошо, как с вами.

— Так разве я не понимаю, миссис Джек, — охотно, чуть ли не весело отозвалась Нора, но взгляд ее оставался угрюмо-враждебным. — Я то же самое говорю. Я ж сама только вчерашний день Джейни говорила, мы, говорю, счастливые, что верно, то верно. Я, говорю, ни у кого другого не хотела б служить, только у миссис Джек. Двадцать лет, говорю, я в этом доме, и никогда от ней худого слова не слыхала. Лучше них, говорю, нет людей на свете, всякой девушке повезло, кто у них служит! А как же! — увлекаясь, с жаром вскричала Нора. — Или, может, я не знаю, что вы за люди — мистер Джек, и мисс Эдит, и мисс Элма? Да я ради вас хоть сейчас в лепешку расшибусь.

— Никто вас не просит расшибаться в лепешку, — нетерпеливо перебила миссис Джек. — Право, Нора, вам всем очень легко живется. И вовсе вам не приходится расшибаться в лепешку. Вот мы и правда расшибаемся, мы-то работаем, как проклятые! — с жаром

воскликнула она. — Каждое утро шесть дней в неделю мы идем на работу... мы себя не жалеем...

— Так разве я не понимаю, миссис Джек! — поспешно вставила Нора. — Я ж только вчерашний день говорила Мэй...

— Ах, да какое мне дело, что вы там говорили Мэй! — Мгновенье миссис Джек строго смотрела на горничную, вся красная от гнева. Потом заговорила спокойнее: — Послушайте, Нора. Мы всегда вам всем давали все, чего бы вы ни попросили. Жалованье у вас не маленькое, за такую работу нигде столько не платят. Вы живете здесь ничуть не хуже, чем наша семья, ведь вы прекрасно знаете, что...

— А как же! — не давая хозяйке договорить, с чувством произнесла Нора. — Я у вас вроде как и не в услужении. Вы же со мной по-хорошему, вроде как я тоже из вашего семейства.

— Ох, какой вздор! — вырвалось у миссис Джек. — Не смешите меня. В моем семействе каждый, кроме разве моей дочки Элмы, за один день успевает переделать больше дел, чем любая из вас за целую неделю! Вы тут как сыр в масле катаетесь... Да, как сыр в масле! — повторила она с забавной серьезностью, села и с минуту молча смотрела на горничную, сжимая и разжимая кулачки; грозная маленькая динамо-машина, она вся дрожала от негодования. И тотчас ее снова взорвало: — О, господи, Нора, как будто мы для вас чего-нибудь жалели! Мы же никогда вам ни в чем не отказывали! Дело не в том, сколько стоит это платье. Вы прекрасно знаете, мисс Эдит отдала бы его любой из вас, надо было только пойти и попросить! А так... ох, это невыносимо! Невыносимо!.. — крикнула она в порыве возмущения. — Неужели у вас совсем совести нет — надо же, так поступать с людьми, которые всегда были вам друзьями!

— Как же, как же, по-вашему, это я виновата?! — дрожащим голосом выкрикнула Нора. — Я у вас сколько лет прожила, а вы на меня думаете? Да пускай мне правую руку отрубят, коли я у кого из вас когда хоть единую пуговицу возьму!

Сгоряча она и впрямь протянула руку, будто подставляя ее под топор.

— Вот как перед богом! — торжественно заявила она и, заметив, что хозяйка хочет заговорить, продолжала с еще большим жаром. — Не видать мне спасенья на том свете, если я когда хоть иголку, хоть грош у кого из вас взяла. — Она так увлеклась, что уже себя не помнила. — Разрази меня гром! Всем святым клянусь! Чем хотите! Душой моей покойницы матери...

— Ох, Нора! — с жалостью вымолвила миссис Джек, покачала головой, отвернулась и, несмотря на всю свою досаду, невольно засмеялась, так нелепо-преувеличенно звучали эти клятвы.

«Нет, с ней говорить невозможно, — горько, презрительно-насмешливо думала миссис Джек. — Клянется и божится на все лады и воображает, что этим можно все исправить. Еще бы! Напьется виски Фрица, а потом пойдет в церковь — хоть ползком доползет, — и окропит себя святой водой, и выслушает проповедь, причем ни словечка не поймет, и вернется с чистой душой, вполне собой довольная... и при этом прекрасно знает, что кто-то из девушек берет чужие вещи!.. Странная штука все эти обряды и клятвы, — думалось ей дальше. — Точно и правда колдовство какое-то. Они создают подобие жизни для людей, у которых никакой своей жизни нет. И подобие истины — для тех, кто не сумел сам найти для себя какую-то истину. В них эти люди обретают любовь, красоту, немеркнущую истину, спасение души — все, на что мы надеемся в жизни и ради чего страдаем. Все, что нам, остальным, дается ценою нашей крови, тяжкими трудами, душевными муками и тоской, эти люди получают так легко, просто чудом, — насмешливо думала она, — стоит им только поклясться „спасением на том свете“ и „душой покойницы матери“!

— ...Бог свидетель, и все святители, и сама пресвятая дева! — соловьем разливалась между тем горничная, и, когда эти слова дошли до сознания хозяйки, миссис Джек вновь устало повернулась к ней и сказала мягко, почти просительно:

— Ради бога, Нора, будьте же разумны! Что толку призывать в свидетели всех святых и

деву Марию и ходить в церковь, если потом вы приходите домой и всю тянете виски мистера Джека? И еще обманываете людей, которые всегда были вам самыми лучшими друзьями! — с горечью воскликнула она. Но тут в угрюмом и растерянном взгляде горничной снова вспыхнул недобрый огонь, и миссис Джек продолжала чуть не со слезами: — Ну попробуйте же рассуждать здраво! Неужели вы ни на что лучшее не способны? Почему вы приходите ко мне нетрезвая и так себя ведете, когда вы ничего от нас не видели, кроме хорошего?

Голос ее дрожал от жалости и гнева, она была глубоко оскорблена — и то была не просто личная обида. Ей казалось, горничная предала то, что в жизни должно быть высоко и неприкосновенно: честность и цельность, веру в человеческие чувства — то, что надо свято блюсти и чтить всегда и везде.

— Что ж, мэм, — сказала Нора и тряхнула темноволосой головой, — я ж говорю, коли это вы на меня думаете...

— Да нет же, Нора. Хватит. — В голосе миссис Джек теперь слышались печаль, усталость, уныние, однако он прозвучал твердо и решительно. Она слегка махнула рукой. — Можете идти. Мне сейчас больше ничего не нужно.

Высоко вскинув голову, горничная твердым шагом направилась к двери, ее окаменевший затылок и выпрямленная спина яснее всяких слов выдавали чувства оскорбленной невинности и еле сдерживаемой ярости. На пороге она приостановилась, взялась за ручку двери и через плечо нанесла последний удар:

— Насчет того платья мисс Эдит... — Она снова тряхнула головой. — Коли оно не потерялось, так, верно, найдется. Я так думаю, может, которая из девушек взяла его займы, надеть разок, понимаете?

И она затворила за собой дверь.

Полчаса спустя мистер Фредерик Джек с номером «Геральд трибюн» под мышкой прошел по коридору. Настроение у него было отличное. Вспышка досады из-за звонка, что разбудил его среди ночи, уже забылась. Он легонько постучался в дверь жениной спальни и подождал. Никакого ответа. Он прислушался и постучал еще раз, потише.

— Ты здесь? — окликнул он.

Отворил дверь и, неслышно ступая, вошел.

Жена уже поглощена была самым первым из своих утренних дел. Она сидела спиной к двери за письменным столиком, что стоял в дальнем конце комнаты, между окон; слева на столе лежали стопки счетов, деловых и личных писем, справа — раскрытая чековая книжка. Миссис Джек озабоченно что-то писала. Пока муж пересекал комнату, она отложила перо, быстрым движением промокнула записку и уже собиралась ее сложить и сунуть в конверт, когда он заговорил.

— Доброе утро, — сказал он ласково и чуть насмешливо, как обычно обращаешься к тому, кто не заметил твоего появления.

Она вздрогнула и обернулась.

— А, здравствуй, Фриц! — весело воскликнула она. — Ну, как ты, а?

Он почти торжественно наклонился, мимолетно, дружески поцеловал ее в щеку, выпрямился, бессознательно слегка расправил плечи и одернул рукава и полы пиджака: вдруг какая-нибудь нечаянная складочка нарушает его безупречную представительность? Жена мигом оглядела его с головы до пят, оценила каждую мелочь его сегодняшнего костюма — ботинки, носки, отличного покроя брюки и пиджак, галстук и скромную гардению в петлице... Потом подалась вперед, подперла подбородок ладонью, вся воплощенное внимание, и смотрела теперь добродушно-озадаченно. «Я вижу, ты надо мной смеешься, — явственно говорило ее лицо. — Что же это я такого сделала?»

Мистер Джек подбоченился, слегка расставил ноги и поглядел на жену с притворной суровостью, за которой, однако, сквозило веселое добродушие.

— Ну, что такое? — нетерпеливо воскликнула она.

Вместо ответа мистер Джек протянул ей газету, которую до этой минуты прятал за спиной, развернул и постучал по странице указательным пальцем.

— Ты это видела?

— Нет. А что тут?

— Обозрение Эллиота в «Геральд трибюн». Хочешь послушать?

— Хочу. Почитай. Что он там пишет?

Мистер Джек стал в позу, пошуршал газетой, нахмурил брови, откашлялся с напускной важностью и, пытаясь под наигранно насмешливым тоном скрыть искреннее удовольствие и торжество, начал читать вслух:

— «Для этого нового спектакля мистер Шалберг пустил в ход весь арсенал присущих его таланту утонченных режиссерских приемов. Он блестяще все рассчитал, нашел точный ритм и меру — каждое слово, мизансцена, каждый жест идеально сочетаются с необычайно богатым оттенками, очень сдержанным и потому особенно убедительным актерским исполнением, — ничего подобного мы, пожалуй, в этом сезоне еще не видели. У него особый дар красноречивого — о, истинно красноречивого! — молчания, которое говорит несравненно больше, чем оглушительная, но почти всегда бессмысленная крикливость, господствующая на многих современных сценах. Все это ваш прилежный обозреватель имеет удовольствие повторить с восторгом, далеко выходящим за рамки обычного. Надо прибавить, что мистер Шалберг открыл нам в лице Монтгомери Мортимера прекрасный молодой талант, лучший из всех, какими нас порадовал нынешний сезон. И, наконец... — Мистер Джек с важностью откашлялся, потряс руками, так что газета внушительно зашуршала, и поверх нее с презабавным выражением поглядел на жену. И продолжал: — И, наконец, с неопенимой помощью мисс Эстер Джек он подарил нам безупречную, ненавязчивую постановку, которая согрела старые кости пишущего эти строки теплом, какого они на Бродвее давно уже не ощущали. Для трех актов этой пьесы мисс Джек создала три набора выразительнейших декораций, они превзошли все, что донныне выполнено было ею в театре. Вот талант, который поистине не знает себе равных. Ваш скромный, но прилежный обозреватель глубоко убежден, что именно ей принадлежит первое место среди художников современного театра».

Тут мистер Джек умолк и, вскинув голову, с шутливой торжественностью посмотрел поверх газеты на жену.

— Ты, кажется, что-то сказала?

— О, господи! — воскликнула она, смеясь, лицо ее залил румянец радостного волнения. — Нет, вы слышали? Это что ж такое, овалция? — Она комически, нарочито еврейским жестом всплеснула руками. — Что еще он там пишет, а? — И с жадным нетерпением наклонилась к мужу.

— «Вот почему приходится сожалеть, — продолжал читать мистер Джек, — что блестящий дар мисс Джек не получает лучшей пищи, на которой он мог бы себя проявить, нежели пьеса, которую мы видели вчера в Арлингтонском театре. Ибо, как ни прискорбно, мы вынуждены признать, что сама по себе пьеса эта...»

— Ну, ладно. — Мистер Джек оборвал чтение на полуслове и отложил газету. — Дальше, сама понимаешь, так себе. — Он слегка пожал плечами. — Ни то ни се. В общем, пьесу он разнес. Но какой нахал! — вскричал он с комическим негодованием. — Что это за фокусы насчет мисс Эстер Джек? А я ни при чем, что ли? Почему мне не отдана дань уважения, я же как-никак твой муж? Знаешь, — продолжал он, — я бы хотел тоже занять какое-то местечко, хоть на галерке. Разумеется... — Теперь он для пущей язвительности заговорил нарочито равнодушным тоном, обращаясь в пустоту, словно там находится некий невидимый слушатель, а сам он всего лишь сторонний наблюдатель. — ...Разумеется, это всего лишь ее муж. Что он такое? Пф! — Тут оратор насмешливо и презрительно фыркнул. — Всего только делец, который вовсе не заслужил, чтобы в жены ему досталась такая замечательная женщина. Что он понимает в искусстве? Может ли он ее оценить? Может ли он хоть что-то понять в ее работе? Может он сказать... как бишь там сказано? — перебил себя мистер Джек, заглянул в газету и вновь прочитал с наигранным пафосом: — «безупречную, ненавязчивую постановку,

которая согрела старые кости теплом, какого они на Бродвее давно уже не ощущали».

— Да, конечно, — сказала она небрежно-снисходительно, словно пышные фразы рецензента не вызвали у нее никаких иных чувств, хотя по лицу ее еще видно было, что эти похвалы ей приятны. — Смешно и жалко, правда? Ужасные трепачи эти газетчики. Надоели они мне.

— «Вот талант, который поистине не знает себе равных!» — продолжал цитировать мистер Джек. — Недурно, а?! Где же ее супругу выдумать такое! Нет уж, — выкрикнул он с презрительным смехом, помотал головой и покачал из стороны в сторону пухлым указательным пальцем. — У ее супруга на это ума не хватит! Куда ему! Он всего лишь делец! Он не способен ее оценить!

И вдруг, к великому изумлению миссис Джек, на глазах его выступили слезы и стекла очков внезапно запотели.

Наклонясь вперед, она пытливо смотрела на мужа, смотрела с испугом, сочувственно и протестующе, и, однако, уже не впервые почувствовала, что есть в жизни что-то странное, непостижимое, чего ей никогда не удавалось ни понять, ни выразить. Ведь этот неожиданный, беспричинный взрыв чувств со стороны ее всегда сдержанного мужа, конечно же, никак не связан с газетной рецензией. И его огорчение от того, что рецензент называет ее «мисс» — только шутка, розыгрыш. А на самом деле он всегда восторженно радуется ее успехам.

С острой, никакими словами не выразимой жалостью (К кому? К чему? Этого она и сама не знала.) она вдруг представила себе гигантские каменные ущелья в центре города, где муж проведет весь день; там в горячке и спешке, в непрерывном водовороте всяких дел его представительные и цветущие собраты станут оживленно трясти ему руку или хлопать по плечу, станут говорить: «Послушайте, видели вы сегодня „Геральд трибюн“? Читали, что там написано про вашу жену? Вот кем вы, наверно, гордитесь! Поздравляю!»

Ей казалось, она видит, как при этих похвалах багровеет от удовольствия его и без того румяное лицо, как он старается изобразить снисходительную улыбку и отвечает словно бы небрежно что-нибудь вроде: «Да, я как будто видел, о ней там упоминали. Но, знаете ли, меня это не так уж волнует. Для нас это не новость. Ее часто хвалят, мы уже привыкли».

А вечером, возвратясь домой, он ей перескажет каждое слово, — и хотя прикинется почти равнодушным, будто все это его только забавляет, она-то знает, он бесконечно доволен и рад. И он тем сильнее гордится ею, что знает: жены этих богатых людей, по большей части красивые еврейки, столь же корыстные в своих поисках всего самого модного в мире искусства, как их мужья — в погоне за коммерческой выгодой, тоже прочитают о ее успехе, и поспешат убедиться в нем своими глазами, и потом станут обсуждать его в роскошных спальнях, где жаркий блеск огней прибавит их красивым чувственным лицам еще толику волнующей эротической пикантности.

Все это мигом пронеслось у нее в мыслях при виде плотного, сидящего холеного мужчины, чьи глаза внезапно, по неведомой ей причине, наполнились слезами, а губы горестно надулись, точно у обиженного ребенка. Сердце ее захлестнула несказанная жалость и нежность, и она с жаром воскликнула:

— Да что ты, Фриц! Ты же знаешь, для меня все совсем не так! Я же ничего такого в жизни не думала и не говорила! Ты же знаешь, как мне важно, чтобы тебе нравилось все, что я делаю! Для меня твое мнение значит в сто раз больше, чем вся эта газетная писанина! Да и что они там понимают? — пробормотала она с презрением.

Тем временем мистер Джек снял очки, протер, энергично высморкался, водрузил очки на место и теперь, наклонив голову, с забавной старательностью прикрыл глаза пухлой рукой и торопливо заговорил, понизив голос и словно извиняясь:

— Да-да, я знаю! Это все ничего! Я просто пошутил!

Он смущенно улыбнулся. Еще раз шумно высморкался, обида сошла с его лица, и он заговорил просто и непринужденно, как ни в чем не бывало:

— Ну, так как твое настроение? Довольна ты премьерой?

— Пожалуй, да, — неуверенно ответила миссис Джек; в ней вдруг шевельнулось смутное

недовольство — привычное ощущение в час, когда работа кончена и почти нестерпимое напряжение последних дней перед премьерой уже позади. — Мне кажется, все прошло недурно, — продолжала она. — Как по-твоему? И декорации мои вроде недурны — как ты скажешь? — жадно спросила она. — Хотя нет, — тут же спохватилась она по-детски смиренно и словно про себя, — наверно, они самые заурядные. Далеко им до моих лучших работ, а? — Вопрос прозвучал нетерпеливо и требовательно.

— Ты же знаешь мое мнение, — сказал мистер Джек. — Я тебе уже говорил. Никто тебе и в подметки не годится. Твои декорации — лучшее, что есть в этом представлении! — твердо заявил он. — Все остальное на десять голов ниже, да-да! На десять голов! — И прибавил спокойнее: — Я думаю, ты рада, что с этим покончено. В нынешнем сезоне больше ведь ничего не будет, верно?

— Да, только вот я еще обещала Айрин Моргенстайн костюмы для ее нового балета. И сегодня утром надо опять повидать кое-кого из арлингтонцев, еще кое-что подправить, — уныло закончила она.

— Как, опять! Вчера вечером все выглядело отлично, неужели ты недовольна? Чего тебе еще не хватает?

— А чего, по-твоему, может не хватать? Это же вечная история! Всегда одно и то же! Конца этому не видно! Потому что всюду полно ослов и тупиц, сколько им ни объясняй, ничего не делают, как надо. В этом вся беда. Ей-богу, это ниже меня! — вырвалось у нее из глубины души. — Напрасно я бросила живопись. Иногда меня просто тошнит! — с досадой крикнула она. — Это же стыд и срам — тратить себя на таких людей.

— Каких «таких»?

— Ну, ты же сам знаешь, что за народ в театре, — пробормотала миссис Джек. — Конечно, есть и стоящие люди... но, ей-богу, большинство — такая дрянь! «А видели вы меня в той роли, да читали, как меня хвалят в другой, да не правда ли, вот в этой я играю потрясающе», — сердито передразнила она. — Право слово, Фриц, их послушать, так подумаешь, театр только затем и существует, чтобы они красовались на сцене и пускали всем пыль в глаза! А ведь лучше театра нет ничего на свете! Тут можно творить такие чудеса, всю душу человеку перевернуть, стоит только захотеть! Это же такая сила, другой такой в мире нет, а тратят ее на пустяки! Просто стыд и позор!

Она задумалась, помолчала минуту и прибавила устало:

— В общем, я рада, что с этой постановкой покончено. Жаль, я больше ничего не умею делать. Если бы умела, взялась бы за другую работу. Честное слово! Это мне надоело. Это ниже меня, — сказала она просто и минуту-другую печально смотрела куда-то в пространство.

Потом она тревожно, озабоченно нахмурилась, пошарила в деревянном ящичке на столе, взяла сигарету и закурила. Порывисто встала и принялась мелкими шажками ходить из угла в угол, хмуря брови и усиленно затягиваясь; как все женщины, которые курят не часто, она делала это с очаровательной неловкостью.

— Интересно, получу ли я заказы на какие-нибудь постановки в следующем сезоне, — бормотала она про себя, словно уже забыв о муже. — Интересно, будет ли у меня опять работа. Пока со мною еще никто не говорил, — мрачно закончила она.

— Ну, если тебе все это надоело, так я бы сказал, нечего и волноваться, — не без иронии заметил мистер Джек. И прибавил: — Стоит ли расстраиваться раньше времени?

С этими словами он склонился к жене, снова бегло, дружески поцеловал ее в щеку, легонько потрепал по плечу, повернулся и вышел.

12. В центре города

Мистер Джек выслушал жалобы жены внимательно и серьезно, как неизменно слушал все рассказы о ее трудах, испытаниях и приключениях в театре. Ибо он не только безмерно гордился ее талантом и успехом, — его к тому же, как почти всех его богатых соплеменников, особенно тех, кто, подобно ему, все свои дни проводил в волшебном, сказочном,

фантастическом мире биржевой игры, властно привлекал блеск театральных подмостков.

Долгие сорок лет, с тех пор как он впервые приехал в Нью-Йорк, деловая карьера все дальше уводила его от более спокойного, освященного традицией и, как ему теперь казалось, скучного семейного и общественного уклада к жизни, полной блеска и веселья, волнующей все новыми удовольствиями, да еще приправленной ощущением зыбкости и опасности. А та жизнь, какую он знал в детстве и юности, жизнь его родных, которые вот уже сто лет держали частный банк в маленьком провинциальном городке, — казалась ему теперь невыносимо нудной. Не только дома и в обществе все шло из года в год одним и тем же, раз навсегда заведенным порядком, который не очень-то разнообразили взаимные родственные визиты, но и сама деятельность скромного маленького банка, осторожные сделки по мелочам были, как думалось ему теперь, ничтожны и неинтересны.

А в Нью-Йорке он действовал все стремительней, поднимался все выше, ни на шаг не отставал от великолепнейших достижений этого неистового города, который все разрастался вокруг, бушевал все громче и неугомонней. Да и в том мире, где он проводил свои дни, он с наслаждением вдыхал полной грудью пьянящий воздух, в котором было что-то жгучее, искрометное, совсем как в ночном театральном мире, где жили актеры.

По будням каждый день ровно в девять утра мистер Джек мчался в центр, к себе в контору, уносимый сияющим механическим снарядом, которым управлял шофер — олицетворение одной из самых характерных граней города Нью-Йорка. Шофер крутил баранку, и землистое лицо его хмурилось, тонкие губы кривились недоброй, язвительной усмешкой, темные глаза неестественно блестели, точно под действием сильного наркотика; казалось (да так оно и было), этот человек — существо какой-то особой породы, созданное неистовым городом для каких-то особых целей. Казалось, эта тускло-бледная плоть, подобно плоти миллионов людей в серых шляпах и с такими же безжизненно серыми лицами, отштампована из одного и того же вещества, из той же серой массы, что и весь город, все тротуары, здания, башни, туннели и мосты. И в жилах его, казалось, не течет и пульсирует кровь, но сухо потрескивает тот же самый электрический ток, которым движим весь город. Это явственно видно было в каждом движении, в каждом поступке шофера. Зловещая фигура его склонялась над баранкой, быстрый взгляд метался из стороны в сторону, руки ловко и точно правили мощной машиной; огромный автомобиль послушно проносился у самых обочин, срезал углы, скользил вплотную мимо других машин, обгонял, отскакивал, увертывался, с убийственной дерзостью пролетал сквозь узкие просветы, неправдоподобные щели в общем сплошном потоке, — и ясно было, что во всем существе шофера бурлят вредоносные силы, созвучные той бешеной энергии, что бьется в артериях города.

Да, когда мистера Джека вот так мчал в центр города этот субъект, хозяин словно с еще большим удовольствием предвкушал дела, которые ждали впереди. Приятно было сидеть рядом с шофером и наблюдать за ним. Глаза у этого малого то смотрели хитро, коварно, словно у кошки, то становились жесткими, непроницаемыми, как базальт. Худое лицо быстро поворачивалось то вправо, то влево и то вспыхивало злорадным торжеством, когда, искусно вывернувшись, он обгонял другую машину и неудачливый соперник ругался вдогонку, то искажалось ненавистью, когда сам он осыпал бранью других шоферов или зазевавшихся пешеходов.

— Поживей, ты! — рявкнул он. — Шевелись, сукин сын!

Куда тише рычал он, завидев грозную фигуру какого-нибудь ненавистного полицейского, а о другом, который оказывался к нему снисходительным, краешком злых губ говорил хозяину с хмурым одобрением.

— Они, знаете, тоже не все кряду сучьи дети, — цедил он тонким, каким-то жестяным голосом. — Попадаются и порядочные. Вон тот, — он коротко дергал головой в сторону полицейского, который кивком пропускал его, — тот — парень хороший. Я-то знаю, как же! Он мне родня по жене.

От неестественной вредоносной энергии, что чувствовалась в шофере, весь окружающий мир начинал казаться хозяину призрачным, словно на сцене. Он забывал, что, как многое

множество людей, он попросту при трезвом, будничном свете дня едет на работу, и ему чудилось, будто он и шофер — хитроумные, могущественные — вдвоем торжествуют над целым светом; и весь город — чудовищная каменная громада, неправдоподобный хаос движения, паутина кишящих народом улиц — представлялся ему лишь исполинской декорацией, на фоне которой действует он, мистер Джек. И все это вместе — ощущение опасности, борьбы, хитрости, власти, изворотливости и победы, а главное, ощущение своего превосходства — прибавляло остроты удовольствию, с которым он ехал в центр, на работу, более того, переполняло пьянящей радостью.

А лихорадочный мир биржевых спекуляций, в котором он действовал и который теперь также обретал театральную броскость и красочность, везде и во всем опирался на то же чувство превосходства. Это было превосходство людей избранных, поднявшихся над толпой, ибо предполагалось, что они наделены особым таинственным чутьем — они избраны жить в роскоши, не зная тяжкого труда, не производя ничего осязаемого, и стоит им только кивнуть головой, пошевелить пальцем — и сказочно растут их доходы, баснословно увеличиваются их богатства. Так оно было в ту пору, и потому-то мистеру Джеку (и многим, многим другим, ибо те, кто не принадлежал сам к числу счастливых избранных, те им завидовали), потому-то им тогда казалось не только закономерным, но даже естественным, что все общество сверху донизу строится на неравенстве и несправедливости.

Мистер Джек знал, к примеру, что один из его шоферов постоянно его обкрадывает. Знал, что все счета за бензин, масло, резиновые камеры и ремонт — дутые, так как шофер в сговоре с владельцем гаража и тот платит ему немалые проценты с выручки. Мистер Джек знал об этих махинациях, и они его ничуть не трогали. Пожалуй, даже забавляли. Прекрасно зная о мошенничестве, он знал также, что может позволить себе этот небольшой убыток, и, странным образом, от этого лишь крепло ощущение силы и уверенности. А в другие минуты он равнодушно пожимал плечами.

«Ну и что ж такого? — думал он. — Все равно тут ничего не поделаешь. Все они жульничают. Не он, так другой».

Точно так же он знал, что кое-кто из горничных в его доме не прочь «взять взаймы» хозяйскую вещь, а потом «забывает» ее возвратить. Знал также, что иные полицейские чины и кряжистые пожарные чуть не все свободное от службы время проводят у него на кухне или в гостиной для прислуги. И что эти стражи общественного порядка и спокойствия каждый вечер по-царски угощаются изысканнейшими блюдами с его стола, что их ублажают даже прежде, чем обслужат его семью и его гостей, и к их услугам — его лучшие виски и самые редкие вина.

Но вспылил он только раз, когда оказалось, что за один вечер испарился чуть не целый ящик отличного ирландского виски (ржавые потеки на бутылках доказывали, что он и правда прибыл из-за океана, и уж очень досадно было потерять такой редкий напиток), вообще же обходился все это молчанием. Изредка о таких происшествиях с ним заговаривала жена. «Право, Фриц, — говорила она недоуменно и протестующе, — эти девушки позволяют себе брать лишнее. По-моему, это просто ужасно, как ты считаешь? Что нам с ними делать?» — но он в ответ только снисходительно улыбался, пожимал плечами и разводил руками.

Его семья ни в чем не нуждается, есть крыша над головой, все сыты, обуты и одеты, хватает и услуги и развлечений, и все это стоит больших денег, но что немалая доля их тратится впустую и что прислуга попросту его обкрадывает, мистера Джека ничуть не огорчало. Он об этом и не думал — в сущности, разве не то же самое происходит изо дня в день в мире большого бизнеса и в высших финансовых сферах? И это было не напускное равнодушие, он не прикидывался беспечным, как человек, чей мир оказался на грани катастрофы и вот-вот рухнет. Напротив. Он снисходительно терпел расточительные прихоти всех, кто зависел от его щедрости, не потому, что сомневался в прочности своего положения, но потому, что твердо верил: оно незыблемо. Он был убежден, что его мир соткан из стальных нитей и грандиозная пирамида спекуляций не только не обрушится, но будет неуклонно расти. А значит, недобросовестные поступки его слуг — просто мелочь, которая не стоит внимания.

По сути, мистер Джек почти ни в чем не отличался от десяти тысяч других богатых деловых людей. В то время в том городе он был бы настоящей белой вороной, если бы не верил свято в прочность своего состояния и положения в обществе. Ибо все эти люди страдали, если угодно, профессиональной болезнью — словно жертвы некоего массового гипноза, они не прислушивались к собственным чувствам и не признавали очевидного. Злая ирония судьбы: эти люди создали мир, в котором все ценности были ложны и мнимы, однако же, околдованные роковыми иллюзиями, они воображали себя самыми проникательными, самыми трезвыми и практичными людьми на свете. Они считали себя вовсе не игроками, одержимыми азартом обманчивых биржевых спекуляций, но блестящими вершителями великих дел, и не сомневались, что ежедневно и ежеминутно «ощущают, как бьется пульс страны». И когда, оглядываясь по сторонам, они всюду видели неисчислимые проявления несправедливости, мошенничества и своекорыстия, то твердо верили, что это неизбежно, что «уж так устроен мир».

Считалось азбучной истиной, что всякого человека, будь то мужчина или женщина, за определенную цену можно купить. И если, случалось, одному из этих трезвых практических дельцов пытались доказать, что такой-то поступил так или иначе не из чистейшего эгоизма и своекорыстных расчетов, а по иным причинам, что он предпочел страдать сам, лишь бы уберечь от страданий тех, кого любит, или оказался человеком верным и преданным, и его нельзя ни купить, ни продать просто потому, что он честен и верен по природе своей, — проникательный делец вежливо, но насмешливо улыбался и пожимал плечами.

— Ладно, — говорил он. — Я-то думал, вы будете рассуждать здраво. Давайте лучше поговорим о вещах, в которых мы с вами оба разбираемся.

Такие люди не способны были понять, что это именно они неверно судят о человеческой природе. Они гордились своей «твердостью», стойкостью и проникательностью, которые помогали им спокойно терпеть столь скверно устроенный мир. Лишь несколько позже ход событий наглядно показал им, что и «твердость» и проникательность их гроша ломаного не стоят. Когда созданный ими воображаемый мир лопнул у них на глазах, наподобие мыльного пузыря, многие из них, не в силах посмотреть в лицо суровой действительности, пускали себе пулю в лоб или выбрасывались на мостовую из окон своих контор бог весть с какого этажа. А среди тех, кто сумел пережить катастрофу, многие, что были прежде уверенными в себе, холеными франтами и здоровяками, разом увяли, опустили, до времени одряхлели и впали в детство.

Но все это было еще впереди. Это было неизбежно, но они об этом не подозревали, ибо приучены были не признавать очевидного. Тогда, в середине октября 1929 года, их самоуверенность и самодовольство достигли непревзойденных высот. Оглядываясь по сторонам, они, подобно актеру на сцене, видели, что все вокруг подделка, — но они приучили себя принимать подделку и фальшь как нечто нормальное и естественное, и потому открытие это лишь обостряло для них радость жизни.

Больше всего они любили развлекать друг друга рассказами о человеческом двуличии, предательстве и обмане во всех видах и проявлениях. Они наперебой с упоением сообщали друг другу о том, как восхитительно плутуют и мошенничают их шоферы, горничные, повара и незаконные поставщики спиртного, они поистине смаковали эти жульнические проделки — так другие рассказывают о проказах любимой кошки или собаки.

Немалым успехом пользовались подобные анекдоты и за обеденным столом. Дамы, слушая такое, веселились вовсю, делали вид, что просто не в силах сдержать свою веселость, и под конец заявляли, к примеру: «Нет... это просто... ве-ли-колепно!» (это говорилось медленно, с чувством, словно рассказанный случай уж до того смешон, что даже не верится), или: «Вы только подумайте!» (следовал взрыв смеха), или: «Нет, не может быть! Вы это сами сочинили!» (тут дама даже взвизгивала от смеха, — впрочем, слегка, вполне изысканно). Они говорили все, что положено говорить, когда выслушаешь «забавный анекдот», ибо жизнь их

стала такой пустой и пресной, что они разучились смеяться от души.

У Фредерика Джека тоже имелся в запасе свой анекдот, и он так хорошо и так часто его рассказывал, что эта история обошла все лучшие застолья Нью-Йорка.

За несколько лет перед тем, когда он еще жил в старом доме в Уэст-сайде, жена как-то устроила большой прием — она каждый год собирала всех, кто имел то или иное касательство к театру. Прием удался на славу, толпа актеров заполнила комнаты, все вволю ели и пили, отдавая должное щедрому угощению, как вдруг, в самый разгар веселья, с улицы донесся вой полицейских сирен и нарастающее рычание несущихся на бешеной скорости машин. Сирены все приближались, мистер Джек и гости сгрудились у окон, и вот перед домом остановился огромный автофургон и по бокам его замерли два мотоцикла, в их седоках мистер Джек тотчас узнал полицейских — поклонников своих горничных; из фургона высыпали еще полицейские, общими усилиями они выгрузили огромную бочку и торжественно покатали ее по тротуару на крыльцо и дальше, в дом. Оказалось, бочка была полна пива. Полиция внесла ее как свою долю угощения (ибо когда семейство Джек принимало друзей, горничным и кухаркам тоже разрешалось устроить в кухне пирушку для полицейских и пожарных). Мистер Джек, тронутый таким дружеским великодушием, хотел вознаградить их хлопоты и заплатить за пиво, но один из полицейских сказал ему:

— Да вы не беспокойтесь, хозяин. Все в порядке. Сказать по правде, это пойло нам досталось задаром, понятно? Да-да! — с чувством подтвердил он. — Его вроде как подарили. Ну да! Вместо комиссионных, — деликатно пояснил он, — потому как мы заботимся, чтоб его доставляли в лучшем виде. Понятно?

Мистер Джек понял и потом частенько рассказывал эту историю. Ведь он и вправду был хороший, великодушный человек, и поступок этих людей восхитил и тронул его, хотя они напивались за его счет годами, так что на эти деньги можно было бы купить не одну бочку пива, а, пожалуй, сотню.

И хоть он не мог не разделять господствующие вокруг ложные, театрально-фальшивые взгляды на жизнь, сердце у него было такое доброе и щедрое, какое встречаешь не часто. Это обнаруживалось снова и снова на каждом шагу. Он готов был мигом прийти на помощь тому, кто попал в беду, — и помогал постоянно: актерам, которым изменила удача, старым девам, строящим безнадежные планы обновления театрального искусства, друзьям, родственникам, престарелым слугам. А в придачу ко всему он был нежный, любящий отец и щедро осыпал подарками свое единственное чадо.

И, как ни удивительно это в человеке, вокруг которого весь мир, лихорадочно беспокойный и неустойчивый, поминутно менял свой облик, Фредерик Джек упорно держался одной из древнейших традиций своего народа: он неколебимо верил в святость и нерушимую прочность семейных уз. Благодаря этой-то вере, наперекор бешеному темпу городской жизни, грозящему опрокинуть любые устои, он и ухитрился сохранить в целостности свой домашний очаг. Именно эти узы всего надежней соединяли его с женой. Супруги давно уже согласились на том, что каждый волен жить по-своему, но всегда старались общими усилиями сберечь семью. Им это удалось. И как раз поэтому мистер Джек относился к жене с уважением и неподдельной нежностью.

Таков был этот крепкий, подтянутый, безупречно одетый деловой человек, которого каждое утро мчал в контору пьяный от скорости, закаленный городом шофер. И в какой-нибудь сотне ярдов от того места, где он вылез из своей машины, десять тысяч других, очень с ним схожих по одежде и облику, примерно с теми же понятиями и взглядами и даже, может быть, столь же добрых, снисходительных и терпимых, точно так же выходили из своих быстрых как молния мощных машин и вступали в новый день, полный вымыслов, дыма и неистовства.

Очутившись у дверей своих небоскребов, они взлетали на лифтах в облака, где помещались их конторы. Там они покупали, продавали, заключали сделки в атмосфере, насыщенной безумием. Безумием дышало все вокруг, весь день напролет, и они сами это чувствовали. О да, они прекрасно это замечали. Но вслух об этом не говорилось. Такова уж

была одна из особенностей того времени, что люди видели и ощущали безумие везде и во всем, но никогда о нем не упоминали, никогда не признавались в нем даже самим себе.

13. Черный ход

Огромный многоквартирный дом, где жило семейство Джек, был не из тех зданий, благодаря которым так изумляет и потрясает воображение остров Манхэттен, не из числа взмывающих в облака бетонных башен, чьи стены, подобные отвесным утесам с вершинами, от одного вида которых кружится голова, словно принадлежат не земле, но небесам. Именно эти громады мигом представляются европейцу при одной мысли о Нью-Йорке, а когда к нему приближается океанский пароход, возникают перед глазами высыпавших на палубу пассажиров во всей своей подавляющей, бесчеловечной красоте, невесомо поднимаясь над водой. Нет, то было здание совсем другого рода.

То было... здание как здание. Отнюдь не красивое, по внушительное — этакая объемистая, солидная, тяжеловесная громадина. С виду словно сплошной огромный куб из камня и прокопченного городским дымом кирпича, пробитый ровными рядами многочисленных окон. Здание это занимало целый квартал Манхэттена.

Но тот, кто попадал внутрь, обнаруживал, что куб этот как бы полый — посередине находится большой квадратный двор, лежащий в двух плоскостях: нижняя часть, по самой середине, — посыпанная песком ровная площадка, а как бы ступенью выше с четырех сторон разбиты клумбы, и эту цветочную раму квадрата окаймляет снаружи широкая, выложенная кирпичом дорожка. За дорожкой по всем четырем сторонам двора тянулись арки, это напоминало огромную галерею. В ней на равных расстояниях друг от друга расположены были двери — многочисленные подъезды.

Здание казалось таким внушительным, таким огромным и прочным, словно вытесанное в этой вечной скале, оно было частью самого острова. Но нет. На самом деле громадную постройку пронизывали изнутри ходы и ячейки, словно в исполинском улье. Она стояла на мощных стальных сваях, возносящихся над подземными пустотами и опирающихся на изогнутые своды. Ее нервы, кости и сухожилия уходили далеко вглубь, ниже мостовых и тротуаров, в скрытый мир многоэтажных подвалов, а еще ниже, в недрах истерзанной скалы, скрывался железнодорожный туннель.

Лишь в минуты, когда обитатели этого величественного здания ощущали дрожь под ногами, они вспоминали, что внизу мчатся поезда — сверкающие лаком экспрессы прибывают и уносятся прочь в любое время дня и ночи. Лишь тогда кое-кто с горделивым удовольствием размышлял о том, до чего же хитроумно Нью-Йорк опрокинул порядок, твердый и непреложный для всей остальной Америки: только здесь, в Нью-Йорке, стало модой жить у «самых рельс» и даже над ними.

В тот октябрьский вечер, незадолго до семи, старик Джон, который работал в этом здании при одном из грузовых лифтов, брел по Парк-авеню, собираясь заступить на ночное дежурство. Он уже подошел к дому и готов был войти, но тут его окликнул какой-то человек лет тридцати, явно хвативший лишнего.

— Эй, приятель...

Бесцеремонное обращение прозвучало словно бы льстиво, но слышалась в нем и какая-то опасная вкрадчивость, и старик сердито покраснел. Он ускорил шаг, но пьяный ухватил его за рукав и сказал вполголоса:

— Будьте так добреньки, уделите мне...

— Нет уж! — в сердцах отрезал старик. — Ничего я не могу тебе уделить. Я тебя вдвое старше и весь век работаю, даром сроду ничего не получал! Вот и ты заработай, коли хоть на что-нибудь годен!

— Ишь как? — глумливо переспросил пьяный, взгляд у него вдруг стал колючий и

свирепый.

— Да, вот так! — огрызнулся старик Джон, повернулся и прошел под высокой аркой в дом; он был не слишком доволен собой, но ответа поостроумней и позлее в ту минуту не нашлось... И, шагая по галерее, ведущей к южному крылу здания, он все еще что-то бормотал себе под нос.

— Ты чего, папаша? — спросил его Эд, дневной лифтер. — Кто тебя уел?

— А ну их, — все еще сердито, с досадой пробормотал старик. — Уж эти мне лодыри-попрошайки! Один сейчас привязался ко мне у дверей — удели ему, видишь, монетку! Молодой парень, не старше тебя, выпрашивает милостыню у старика! Ни стыда, ни совести! Я ему так и сказал: коли ты, говорю, на что-нибудь годен, так поди да заработай!

— Вон как? — без особого интереса сказал Эд.

— Да, вот так, — подтвердил Джон. — Таких сюда и подпускать-то близко не след. Лезут в наш квартал, ровно мухи на мед. У нас тут живет чистая публика, и нечего всяким бродягам ее беспокоить.

При словах о «чистой публике» голос его несколько смягчился.

Вот к кому старик, видно, относился с почтением. Что бы там ни было, а покой «чистой публики» надо беречь и охранять.

— Потому они сюда и лезут, — продолжал старик, — знают, что наши жильцы люди сочувственные, вот и пользуются ихней добротой. Только вчерашний день один такой выпросил у миссис Джек доллар, я сам видал. Здоровенный детина, вроде тебя! Надо было мне сказать ей, чтоб ничего ему не давала! Коли б он хотел работать, так нашел бы себе место, не хуже нас с тобой! До чего дошло, не может женщина спокойно выйти из дому прогулять собачку. Оглянуться не успеет, а к ней уже подкатится какой-нибудь бродяга. Был бы я управляющим, уж я бы их окоротил. Для нашего дома это непорядок. Наши жильцы — чистая публика, не годится им такое терпеть.

Произнеся эту речь, которая так и дышала чувством оскорбленного достоинства и готовностью оберечь простодушно-доверчивую «чистую публику» от дальнейших посягательств со стороны мошенников-попрошаек, старик Джон несколько поуспокоился, вошел с черного хода в южное крыло здания и через несколько минут был уже на своем посту у грузового лифта, готовый дежурить всю ночь.

Джону Инборгу было уже за шестьдесят, родился он в Бруклине, отец его, матрос, был норвежец, а мать, горничная, — ирландка. Но всякий с первого же взгляда сказал бы, что плод этого смешанного брака — коренной американец, судя по всему — заправский янки. Даже его сложение и весь облик отмечены были чисто американскими чертами (быть может, они зависят частично от климата и географии, частично от темпа жизни, от речи и местных обычаев, особый нервный настрой и жизненная энергия по-своему обтачивают плоть и осанку), так что, как бы разнообразны ни были истоки, мгновенно и безошибочно узнаешь: перед тобой американец.

Вот и старик Джон был по всем признакам настоящий американец. Тощая шея — сухая, жилистая, изрезанная морщинами от долгих ненастий. И лицо тоже сухое, морщинистое, словно выжатое, как лимон; и рот не жестокий, нет, но губы сухие, плотно сжатые, малоподвижные, одеревенелые; подбородок несколько выпячен, будто вся окружающая жизнь, полная разлада и противоречий, даже самому его черепу и костяку прибавила неподатливости и придала им выражение упрямого вызова. Рост чуть повыше среднего, но все тело, как и лицо и шея, — сухое и точно дубленое, и от этого он казался выше. Руки у старика были такие большие, костлявые, в набрякших синих жилах, словно уж чересчур много они поработали на своем веку. И даже голос и речь его были явно «американские». Он был скуп на слова, говорил сухо, гнусаво и невнятно. По произношению его скорей всего приняли бы за уроженца Вермонта, хотя резкого акцента у него не было. Но особенно заметны были свойственные истому янки краткость и язвительность речи, как будто — верные признаки неизменно дурного настроения. Однако старик Джон вовсе не отличался недобрым нравом, хотя подчас и казался старым брюзгой. Просто такая уж у него была повадка. Он не лишен

был чувства юмора и охотно вставлял словцо в грубоватую шутовскую перебранку лифтеров помоложе, которые вечно поддразнивали друг друга; но под маской резкости и язвительной строптивости пряталось и некоторое мягкосердечие.

Это стало ясно сейчас, когда появился Герберт Эндерсон. Герберт обслуживал по ночам пассажирский лифт южного подъезда. Это был добродушный толстый парень лет двадцати пяти, с пухлыми щеками, украшенными до смешного ярким, младенческим румянцем. Глаза его смотрели живо и весело, и он явно гордился гривой круто вьющихся каштановых волос. Старик Джон отличал Герберта среди всех служащих огромного здания, это был его любимец, что, впрочем, едва ли можно было бы заметить, слушая сейчас их беседу.

— Ну, как дела, папаша? — крикнул Герберт, входя в грузовой лифт, и игриво ткнул старика в бок. — Еще не видал двух блондинок, а?

Едва уловимая сухая усмешка Джона Инборга стала заметней, резче обозначилась упрямая складка губ; тем временем он захлопнул дверь и потянул рычаг.

— А! — выдохнул он хмуро, словно бы сердито. — Не пойму, про что ты толкуешь.

Лифт дошел до полуподвала и остановился, старик отворил дверь.

— Не поймешь, как же! — возразил Герберт; он подошел к шкафчикам для одежды, стянул с себя пиджак и стал снимать воротничок и галстук. — Я ж тебе говорил про тех двух блондинок, помнишь? — Он уже стянул с мускулистых плеч рубашку, наклонился и, опершись одной рукой о шкафчик, снимал башмак.

— А! — так же хмуро отозвался старик. — Вечно ты мне что-то там толкуешь. А я и не слушаю. В одно ухо входит, в другое выходит.

— Ах, вон как? — насмешливо, недоверчиво переспросил Герберт.

Он уже расшнуровывал второй башмак.

— Да, вот так, — сухо ответил Джон.

В голосе его все время сквозило хмурое недовольство, и, однако, чувствовалось, что болтовня Герберта втайне его забавляет. Начать с того, что он и не подумал уйти. Напротив, прислонился к отворенной двери лифта, небрежно скрестил худые старческие руки в слишком просторных рукавах потертой серой шерстяной куртки, которая на работе служила ему неизменной «формой», и ждал все с той же упрямой усмешечкой, словно наслаждался этими пререканиями и готов был длить их без конца.

— Что ж ты за человек после этого? — Герберт снял тщательно отглаженные брюки, достал из шкафчика вешалку и аккуратно их повесил. Поверх брюк повесил пиджак и застегнул на все пуговицы. — Я-то старался, все для тебя уладил, а ты на попятный. Ладно, папаша, — продолжал он с наигранной покорностью. — Я думал, ты человек компанейский, старался, хлопотал, а ты разрушаешь компанию. Коли так, придется мне приглашать кого другого.

— Ах, вон как? — сказал старик Джон.

— Да уж так! — отозвался Герберт таким тоном, словно сразил собеседника наповал. — Я тебе готовил забаву первый сорт, да, видно, с тобой каши не сваришь.

Старик не ответил. Стоя в одном белье и носках, Герберт расправил плечи и минутую энергично поворачивался, потягивался, сжимал и разжимал руки так, что буграми вздувались мышцы, а под конец поскреб в затылке.

— А где наш заправила? — вдруг спросил он. — Видал ты его нынче?

— Кого? — с недоумением переспросил Джон.

— Генри. Когда я шел, у дверей его не было, и тут нет. Верно, опоздает.

— А-а! — В этом коротком возгласе слышалось самое суровое неодобрение. Старик безнадежно махнул узловатой рукой. — Зануда этот Генри, — сказал он жестко, отрывисто, как все старики, когда они, чтоб не отстать от молодых, щеголяют непривычными жаргонными словечками. — Зануда, и больше никто. Нет, я его нынче не видал.

— Нет, он парень неплохой, когда его узнаешь поближе, — весело сказал Герберт. — Сам понимаешь, когда человек что вбил себе в голову, он уж больше ни про что и не помнит... ему надо, чтоб весь свет об том же хлопотал. А вообще-то Генри — неплохой парень, когда не

долдонит свою чепуховину.

— Вот-вот! — вдруг с жаром воскликнул Джон, но не в знак согласия, просто он кое-что вспомнил. — Знаешь, что он мне тут сказал? «Интересно, говорит, что бы запели наши здешние толстосумы, если б им пришлось кой-когда спину гнуть ради хлеба насущного!» Так и сказал. «А эти, говорит, старые суки — да-да, прямо так и ляпнул! (Старик Джон сердито помотал головой.) Эти, говорит, суки; я, говорит, целыми вечерами только и делаю, что подсаживаю их в машины да высаживаю, под локоть поддерживаю, не могут сами шагу ступить, а если б им пришлось на карачках полы мыть, как нашим матерям?» И вечно он вот эдак болтает, — сердито выкрикнул старик Джон. — На чай-то у них берет, не стесняется, а сам вон что про них болтает! Не-ет, — пробормотал он (и постучал по стене костяшками пальцев), — не по душе мне такие разговоры. Коли у него эдакие мысли, нечего ему тут служить! Не по душе мне этот малый.

— Да нет, папаша, — беспечно, равнодушно заметил Герберт. — Хэнк парень неплохой. Он ничего особенно худого не думает. Просто ворчит — и все.

С проворством и ловкостью, какие даются долголетним навыком, он надел крахмальную манишку — обязательную принадлежность своей форменной одежды — и вддел запонки. Наклонился, поглядел в неудобное, слишком низко висящее на стене зеркальце, рассеянно бросил через плечо:

— Стало быть, не составишь мне компанию с теми двумя блондиночками? Пороху, что ли, не хватает?

— А! — К старику Джону вернулась обычная насмешливая брюзгливость. — Болтаешь зря. Я на своем веку столько девчонок перевидал, что тебе и во сне не снилось.

— Вон как? — сказал Герберт.

— Да, вот так, — сказал Джон. — Бывали у меня и блондинки, и брюнетки, и какие хочешь.

— А рыжих не бывало, папаша? — ухмыльнулся Герберт.

— Были и рыжие, — проворчал старик. — Уж наверно, побольше, чем у тебя.

— Так ты гуляка, что ли? — сказал Герберт. — Весь век за девочками гонялся?

— Никакой я не гуляка и ни за какими девочками не гонялся. Еще чего! — презрительно буркнул старик Джон. — Я человек женатый, сорок лет как женат. У меня дети взрослые, постарше тебя!

— Ах ты, старый обманщик! — с наигранным возмущением обернулся к нему Герберт. — Сперва расхвастался своими блондиночками да рыженькими, а теперь хвастаешь, что ты человек семейный! Да ты...

— Ничего я не хвастал, — перебил старик. — Я тебе про нынешнее не говорю, я про то, что было прежде. Вон когда они у меня были — сорок лет назад.

— Кто был? — простодушно переспросил Герберт. — Жена и дети?

— А! — брезгливо сморщился Джон. — Толкуй с тобой. Не старайся, меня не разозлишь. Я в жизни столько всего повидал, что тебе и во сне не снилось. Скаль зубы, коли охота, меня не проймешь.

— Нет, зря ты отказываешься, папаша, — словно бы с сожалением сказал Герберт. Он уже натянул серые форменные брюки, поправил широкий белый галстук и, почти присев перед низеньким зеркалом, проверял, ладно ли сидит пиджак на его широких плечах. — Вот погоди, сам увидишь, каковы блондиночки. Я одну подобрал нарочно для тебя.

— Нечего для меня никого подбирать, — пробурчал старик Джон. — Недосуг мне глупостями заниматься.

Тут с лестницы быстрыми шагами вошел Генри, ночной швейцар, и загремел ключом, отпирая свой шкафчик.

— А, приятель, — шумно приветствовал его Герберт. — Послушай, ну что ты скажешь? Я тут для папаши расстарался, сговорил двух блондиночек весело провести вечерок, а он в кусты. Разве ж так полагается?

Генри не ответил. Бледное узкое лицо его было сурово, глаза жестки и холодны, точно

голубая эмаль, он даже не улыбнулся. Снял пиджак и повесил в шкафчик.

— Где ты был? — спросил он.

Герберт изумленно посмотрел на него.

— Когда это?

— Вчера вечером.

— Вчерашний вечер у меня был свободный, — сказал Герберт.

— А у нас он был не свободный, — сказал Генри. — У нас было собрание. И спрашивали про тебя. — Он повернулся, устремил холодный взгляд на старика Джона. — И про тебя, — сказал он резко. — Ты тоже не явился.

Лицо старика застыло. Он переступил с ноги на ногу и нетерпеливо, беспокойно забарабанил узловатыми пальцами по стенке лифта. Этот быстрый, досадливый стук выдавал, что ему не по себе, но на взгляд Генри он ответил холодным, непроницаемым взглядом, и сразу видно было — он швейцара терпеть не может. И в самом деле, как бывает с людьми прямо противоположного склада, каждый из этих двоих чуял в другом врага.

— Ах, вон как? — сухо сказал Джон.

— Да, вот так, — отрубил Генри. И, уставив на старика холодный взгляд, точно дуло пистолета, прибавил: — Будешь ходить на собрания, как все ходят, понятно? А не то вылетишь из профсоюза. Хоть ты и старик, а тебя это тоже касается.

— Вот оно что? — язвительно процедил Джон.

— Да, вот то-то, — сказал Генри, как отрезал.

— Ох ты! — Герберт густо покраснел, он совсем сник от смущения и виновато, заикаясь, забормотал: — Я ж про это собрание начисто позабыл... Вот ей-богу! Я только...

— А надо помнить, — резко перебил Генри, меряя его безжалостным взглядом.

— Я... у меня все членские взносы уплачены... — пролепетал Герберт.

— Это ни при чем. Не о взносах разговор. Что с нами будет, если каждый раз как собрание, так все в кусты, черт подери? — продолжал он, и в его резком голосе впервые прорвался жар гнева и убеждения. — Нам надо держаться всем заодно, иначе никакого толку не будет!

Он замолчал и угрюмо поглядел на Герберта, а тот, красный как рак, совсем повесил нос, точно набедокуривший школьник. И тут Генри снова заговорил, но уже мягче, спокойнее, и теперь можно было догадаться, что под внешней суровостью скрывается неподдельное доброе чувство к провинившемуся товарищу.

— Ладно, на этот раз сойдет, — промолвил он негромко. — Я сказал ребятам, что ты простыл, а в следующий раз я тебя приведу.

Он окончательно умолк и начал быстро раздеваться.

Герберт был еще взволнован, но ему явно полегчало. Он, видно, хотел что-то сказать, но раздумал. Наклонился, напоследок с одобрением оглядел себя в зеркальце и, вновь воспрянув духом, быстро прошел к лифту.

— Ладно, папаша, поехали! — бойко сказал он. Шагнул в кабину и с притворным огорчением прибавил: — Обидно все-таки, что ты упускаешь блондинок. А может, как увидишь их, так еще передумаешь?

— Ничего я не передумаю, — с угрюмой непреклонностью возразил Джон, захлопывая дверь лифта. — Ни насчет них, ни насчет тебя.

Герберт поглядел на старика и добродушно рассмеялся, на щеках его ярче разгорелся младенческий румянец, в глазах плясали веселые огоньки.

— Так вон как ты про меня думаешь? — И он легонько ткнул старика кулаком в бок. — Стало быть, по-твоему, мне нельзя верить, а?

— Ты мне хоть на десяти Библиях клянись, я тебе и то не поверю, — пробурчал старик. Он нажал рычаг, и лифт пополз вверх. — Пустомеля, вот ты кто. А я тебя и не слушаю. — Он остановил кабину и распахнул тяжелую дверь.

— И это называется друг? — Герберт вышел в коридор. Очень довольный собой и своим остроумием, он подмигнул двум хорошеньким розовощеким горничным-ирландкам, которые

дожидались лифта, чтобы подняться выше, и через плечо большим пальцем показал на старика. — Что будешь делать с таким человеком? — сказал он. — Я ему сосватал блондиночку, а он мне не верит. Говорит, я просто трепло.

— А он и есть трепло, — хмуро подтвердил старик Джон, глядя на улыбающихся девушек. — Только и знает языком трепать. Все хвастается своими подружками, а я бьюсь об заклад, у него сроду никаких подружек не бывало. Покажи ему блондиночку, так он удерет, ровно заяц.

— Хорош друг-приятель! — с напускной горечью воззвал к девушкам Герберт. — Ладно, папаша, будь по-твоему. Только уж, когда эти блондиночки придут, вели им обождать, покуда я не вернусь. Слышишь?

— Лучше ты их сюда не приводи, — сказал Джон. Он упрямо качал седой головой, держался воинственно, вызываясь, но ясно было, на самом-то деле он развлекается вовсю. — Не желаю я, чтоб они сюда ходили — ни блондинки, ни брюнетки, ни рыжие, ни другой какой масти, — бормотал он. — А коли придут, ты их все равно не застанешь. Я им велю убираться подобру-поздорову. Я с ними и без тебя управлюсь, будь покоен.

— И это называется друг! — горько пожаловался Герберт горничным, снова ткнув через плечо большим пальцем в сторону старика. И двинулся прочь по коридору.

— Все равно не верю я тебе, — крикнул старик ему вдогонку. — Нет у тебя никаких блондинок. И сроду не было... Ты ж маменькин сынок! — с торжеством прибавил он, словно его осенила самая остроумная мысль за весь вечер. — Маменькин сынок, вот ты кто!

Герберт приостановился у двери, ведущей в главный коридор, и обернулся к старику словно бы с угрозой, но глаза его искрились весельем.

— Ах, вон как? — крикнул он.

Мгновенье он стоял и свирепо глядел на старика Джона, потом подмигнул девушкам, вышел за дверь и нажал кнопку пассажирского лифта, при котором он теперь должен был дежурить, сменив дневного лифтера.

— Этот малый просто пустомеля, — хмуро сказал Джон девушкам, которые уже вошли в грузовой лифт, и захлопнул дверь. — Все-то он болтает, вот, мол, приведу блондинок, только я пока что ни одной не видал. Не-е! — чуть ли не с презрением бормотал он себе под нос, когда лифт пополз наверх. — Он живет в Бронксе с матерью, а погляди на него девчонка, так он напугается до смерти.

— А надо бы Герберту завести себе подружку, — деловито сказала одна горничная. — Герберт — он славный.

— Да, вроде малый неплохой, — пробурчал старик Джон.

— Он и на лицо славный, — подхватила вторая девушка.

— Ничего, сойдет, — сказал Джон и вдруг прибавил сердито: — А что это у вас нынче творится? Внизу у лифта целая гора всяких пакетов навалена.

— У миссис Джек сегодня гости, — объяснила одна горничная.

— И знаете что, Джон, поднимите все это поскорей. Может, там есть такое, что нам прямо сейчас нужно.

— Ладно, — буркнул он то ли воинственно, то ли нехотя, скрывая под этой личиной свою добрую душу. — Постараюсь. Похоже, все они нынче вечером поназвали гостей, — ворчал он. — Бывает, засидятся и до двух и до трех ночи. Можно подумать, иным людям больше и делать нечего, только и знай у них гости. Тут нужен целый полк носильщиков — все ихние пакеты перетаскать. Вон как, — бормотал он себе под нос. — А нам что с этого? Хорошо еще, коли спасибо скажут...

— Ну-у, Джон! — с упреком сказала одна из горничных. — Вы ж знаете, миссис Джек не такая. Сами знаете...

— Да она-то, пожалуй, ничего, — по-прежнему словно бы нехотя пробурчал Джон, но голос его чуть смягчился. — Были бы все такие, как она, — начал он, но вдруг снова вспомнил про того нищего и разозлился: — Уж больно она добренькая. Только выйдет за порог, всякие бродяги да попрошайки так к ней и липнут. Вчера вечером я сам видал, она и десяти шагов

ступить не успела, а уж один выклянчил у ней доллар. Это ж рехнуться надо — такое терпеть. Вот я ее увижу, я ей так прямо и скажу!

Вспомнив об этом возмутительном происшествии, он даже покраснел от гнева. Лифт остановился на площадке черного хода, старик Джон отворил дверь, и горничные вышли, а он снова забормотал про себя:

— У нас тут публика чистая, не годится им такое терпеть... — И пока одна из девушек отпирала дверь черного хода, снисходительно прибавил: — Ладно, погляжу, подниму ваши припасы.

Дверь черного хода затворилась за обеими горничными, а старик Джон еще минуточку стоял и смотрел на нее — на тусклый слепой лист покрашенного краской металла с номером квартиры на нем, — и если бы кто-нибудь в эту минуту его увидел, то, пожалуй, заметил бы в его взгляде что-то вроде нежности. Потом он захлопнул дверь лифта и поехал вниз.

Когда он спустился на цокольный этаж, швейцар Генри как раз поднимался по лестнице из подвала. Уже в форменной одежде, готовый приступить к ночному дежурству, он молча прошел мимо грузового лифта. Джон его окликнул.

— Может, там захотят доставить пакеты с парадного хода, так ты посылай сюда, ко мне, — сказал он.

Генри обернулся, без улыбки посмотрел на старика, переспросил отрывисто:

— Что?

— Я говорю, может, там станут выгружать покупки у парадного, так посылай ко мне на черный ход, — повысив голос, сердито повторил старик, не нравилось ему, что этот Генри вечно такой грубый и угрюмый.

Генри все так же молча смотрел на него, и Джон прибавил:

— У Джеков нынче гости. Просили меня поскорей все доставить наверх. Стало быть, если что еще привезут, посылай сюда.

— Чего ради? — ровным голосом, без выражения переспросил Генри, по-прежнему глядя на старика в упор.

В вопросе этом слышался дерзкий вызов и неуважение к старшим — к самому ли Джону, к управляющему домом или, может быть, к «чистой публике», что в этом доме жила, — и старик пришел в ярость. Жаркая душная волна гнева прихлынула к горлу, и он не совладал с собой.

— А потому, что так полагается, вот чего ради! — рявкнул он. — Ты что, первый день в таком месте служишь, порядков не знаешь? Не знаешь, что ли, у нас дом для чистой публики, нашим жильцам не понравится, чтоб всякие посыльные с пакетами разъезжали вместе с ними в парадном лифте.

— С чего бы это? — нарочито дерзко гнул свое Генри. — Почему это им не понравится?

— Да потому! — весь покраснев, выкрикнул старик Джон. — Коли у тебя и на это соображения не хватает, так и не служи тут, а поди наймись канавы рыть! Тебе за то деньги платят, чтоб свое дело знал! Обязан знать, коли ты в таком доме швейцаром! А коли до сих пор не выучился, так бери расчет, вот что! А на твое место другой найдется, кто лучше соображает, что да как!

Генри все смотрел на него жесткими, бесчувственными, точно каменными глазами. Потом сказал холодно, ровным голосом:

— Слушай, ты поосторожнее, а то знаешь, что с тобой будет? Ты ведь не молоденький, папаша, так что лучше поостерегись. Когда-нибудь ты начнешь прямо на улице расстраиваться из-за своих жильцов, как бы им не пришлось ехать в одном лифте с посыльным, да и зазеваешься. Станешь думать, как бы им, бедненьким, не повредило, что они поднимутся в одной кабине с простым парнем. И знаешь, что тогда случится, папаша? Вот я тебе скажу. Ты так из-за этого расстроишься, что забудешь смотреть по сторонам и угодишь под колеса, понятно?

В ровном голосе этого человека звучала такая неукротимая свирепость, что на миг, на

один только миг, старика бросило в дрожь. А ровный голос продолжал:

— Ты угодишь под колеса, папаша. И не под дрянную дешевенькую тележку, нет, не под грузовой «форд» и не под такси. Тебя сшибет какая-нибудь шикарная, дорогая машина. Уж никак не меньше, чем «роллс-ройс». Надеюсь, это будет машина кого-нибудь из здешних жильцов. Тебя раздавят, как червяка, но я хочу, чтоб ты знал, что тебя отправила на тот свет шикарная дорогая машина, большущий «роллс-ройс» какого-нибудь здешнего жильца. Желаю тебе такого счастья, папаша.

Старик Джон совсем побагровел. На лбу вздулись жилы. Он хотел заговорить, но не находил слов. Наконец, за неимением лучшего, он все-таки выдал тот единственный ответ, звучащий в его устах на тысячу ладов, которым он неизменно побивал всех своих противников и ухитрялся в совершенстве передать самые разные свои чувства.

— Ах, вон как! — огрызнулся он, и на сей раз слова эти полны были непреклонной, беспощадной ненависти.

— Да, вот так! — ровным голосом отозвался Генри и пошел прочь.

14. Урочный час

В самом начале девятого Эстер Джек вышла из своей комнаты и зашагала по широкому коридору, который рассекал ее просторные апартаменты из конца в конец. Гости приглашены были на половину девятого, но богатый многолетний опыт подсказывал ей, что прием будет в разгаре только в десятом часу. Легкими быстрыми шажками она шла по коридору и чувствовала, как от волнения натянут каждый нерв; это было, пожалуй, даже приятно, хотя тут приметалась еще капелька опасливого сомнения.

Все ли уже готово? Не забыла ли она чего? Точно ли выполнила прислуга ее распоряжения? Вдруг девушки что-нибудь упустили? Вдруг чего-то не хватит?

Меж бровей у нее прорезалась морщинка, и она бессознательно принялась снимать и вновь порывисто надевать старинное кольцо. В этом жесте сказывалась деятельная, талантливая натура, поневоле привыкшая не доверять людям не столь умелым и одаренным. В нем сквозили нетерпеливая досада и презрение — не то презрение, что возникает от надменности или недостатка душевной теплоты, но чувство человека, который склонен подчас сказать резковато: «Да, да, знаю! Все понятно. Не толкуйте мне о пустяках. Ближе к делу. Что вы можете и умеете? Что уже сделали? Могу я на вас положиться?» И сейчас, когда она проворно шла по коридору, неуловимо быстрые, отрывистые мысли скользили по поверхности ее сознания, словно блики света по озерной глади.

«Не забыли девушки сделать все, что я велела? — думала она. — О, господи! Хоть бы Нора опять не запила!.. А Джейни! Конечно, она золото, а не девушка, но до чего же глупа!.. А кухарка! Ну да, стряпать она умеет, но тупица редкостная. А попробуй ей слово скажи, сразу обидится и пойдет каркать по-немецки... пожалеешь, что начала... Ну, а Мэй... в общем, остается только надеяться на лучшее. — Морщинка меж бровей врезалась глубже, кольцо на пальце все быстрее скользило взад-вперед. — Кажется, могли бы понимать, ведь они ни в чем не нуждаются. Им у нас так легко живется! Могли бы постараться, показать, что ценят... — с досадой подумала она. Но сейчас же в ней всколыхнулась жалость и сочувствие, и мысли свернули в более привычное русло: — А, бог с ними. Бедняжки, наверно, на большее не способны. Надо с этим примириться... а уж если хочешь, чтоб все делалось как надо, так делай сама».

Она дошла до гостиной и с порога быстро ее оглядела, проверяя, все ли на месте. И осталась удовлетворена. Теперь глаза ее смотрели уже не так озабоченно. Она надела кольцо на палец и больше не снимала, и на лице ее понемногу появилось довольное выражение, совсем как у ребенка, что молча созерцает любимую игрушку, которую сам смастерил, и тихо ей радуется.

Просторная комната готова к приему гостей. Все очень спокойно и достойно, в точности так, как любит миссис Джек. Пропорции этой комнаты столь благородны, что она выглядела

бы величественным залом, но безупречный вкус хозяйки поработал здесь над каждой мелочью, и в величии нет ни малейшего следа холодной, подавляющей отчужденности. Стороннему человеку эта гостиная с ее располагающей простотой могла бы показаться не только уютной, но, при ближайшем рассмотрении, даже чуточку запущенной. Почти все здесь несколько обветшало. Обивка диванов и кресел кое-где протерлась. Ковер на полу без стеснения обнаруживал, что служит уже долгие годы. Зеленый узор на нем давно поблек. Старинный стол с откидной крышкой слегка поддался под тяжестью сложенных стопками книг и журналов и лампы, затененной мягко окрашенным абажуром, каминная полка желтоватого мрамора была тоже истертая и кое-где в пятнах, ее покрывал выцветший кусок зеленого китайского шелка, а на нем восседала прелестная статуэтка из зеленой яшмы: китайский божок поднимал руку с тонко вырезанными пальцами в знак благословения и милосердия. Над камином висел портрет самой Эстер Джек — знаменитый, уже покойный художник нарисовал ее многие годы назад, во всей юной прелести ее двадцати лет.

По трем стенам комнаты, на треть ее высоты, тянулись полки, тесно уставленные книгами — с первого взгляда видно было, что это старые друзья и потрепанные корешки их постоянно ощущают тепло человеческих рук. Их явно не раз читали и перечитывали. Взгляд не встречал тут строгого строя дорогих тисненых переплетов, какими нередко богачи украшают свои библиотеки не для того, чтобы эти тома кто-то читал, а лишь чтобы на них взирали с почтением. Не было здесь и признаков отвратительной жадности профессионального коллекционера. Если на этих полках, которыми повседневно пользовались, и попадалось первое, редкое издание какой-то книги, то лишь потому, что владелец купил ее сразу по выходе в свет — купил именно для того, чтобы прочесть.

Сосновые поленья, которые потрескивали в огромном мраморном камине, отбрасывали теплые блики на эти ряды потертых переплетов, и миссис Джек с тихой радостью посмотрела на знакомые разноцветные корешки. Она узнавала любимые романы и повести, пьесы, биографии, сборники стихов, важнейшие труды по истории театрального и декоративного искусства, живописи и архитектуры, — все, что она собрала за всю свою жизнь, такую насыщенную и богатую событиями, работой, путешествиями. В сущности, все, что было в этой комнате, — все эти столы и стулья, шелка и яшмовые статуэтки, картины, рисунки и книги — все найдено было в разных городах и странах, в разное время и, собранное вместе, слилось в гармоническом согласии силою бессознательного волшебства, оттого что ко всему прикоснулась рука этой женщины. Так удивительно ли, что лицо ее просияло и стало еще прелестней, когда она обвела взглядом свою любимую комнату. Она знала — другой такой не найти.

«Вот оно, — думалось ей. — Эта комната живет, это — часть меня самой. До чего же она красивая! И теплая... и настоящая! Совсем непохоже, что мы просто снимаем помещение, что это не наш собственный дом. Нет, — она оглянулась на длинный и широкий коридор, — если бы не лифт, можно бы подумать, что у нас тут великолепный старинный особняк. Сама не знаю... но... (опять меж бровей появилась морщинка, на сей раз от раздумья, от старания прояснить свою мысль) что-то во всем этом есть такое... и величие и простота...»

И она была права. Даже в эти времена за арендную плату пятнадцать тысяч долларов в год можно было приобрести немалую долю простоты. И на эту мысль всего живей отозвалась душа Эстер.

«То есть стоит сравнить нашу квартиру с этими новомодными апартаментами... — продолжала она про себя. — Теперь богатые люди устраивают у себя дома уж такое уродство. Никакого сравнения! Как бы ни были они богаты, все равно, тут... тут у нас есть что-то такое, чего ни за какие деньги не купишь».

При мысли о том уродстве, какое устраивают у себя дома богатые люди, ноздри Эстер Джек дрогнули и губы презрительно скривились. Она всегда презирала богатство. Хоть она и вышла замуж за богатого человека и уже долгие годы вовсе не нуждалась в работе ради хлеба насущного, но была непоколебимо убеждена, что ни ее самое, ни ее семью никак нельзя назвать богатыми людьми. «Вообще-то не такие уж мы богатые, — сказала бы она. — Совсем

не то, что настоящие богачи». И обратилась бы за подтверждением не к тем ста тридцати миллионам, чье место в мире невообразимо ниже и удел невообразимо тяжелее, чем у нее, но к легендарным десяти тысячам, вознесшимся над нею на самые денежные высоты — к тем, кто по сравнению с ней «настоящие богачи».

А кроме того, она труженица. И всегда была труженицей. Одного беглого взгляда на ее маленькие, уверенные руки — в них столько силы, изящества, они такие проворные — довольно, чтобы понять: это руки человека, который всю жизнь работал. В этом-то и коренится ее гордость и глубокая душевная цельность. Эта женщина не искала ничьей помощи и защиты, не опиралась ни на кошелек какого-либо мужчины, ни на его плечо. «Разве я не сама себе опора?» Да, она умеет за себя постоять. Она сама пробила себе дорогу. Она человек независимый. Она создает красивые вещи — и не на один день. Она никогда не знала праздности. А потому не удивительно, что она никогда не причисляла себя к «богачам». Она была труженица. Она работала.

А сейчас, удовлетворенная осмотром большой гостиной, она поспешила проверить все остальное. Из гостиной в столовую вела двустворчатая стеклянная дверь, сейчас она была затворена и полускрыта прозрачными портьерами. Миссис Джек подошла, распахнула ее настежь и застыла на пороге, порывисто прижав руку к груди. И тихонько ахнула от удивления и восторга. До чего же красиво! Просто до невозможности! Но она ведь как раз этого и хотела — так всегда бывало у нее на приемах. И, однако, всякий раз эта красота была для нее словно великое и неожиданное открытие.

Все здесь было само совершенство. Огромный обеденный стол так и сиял, будто цельное полотнище золотисто-смуглого света. По середине его, на плотной кружевной салфетке, в большой красивой вазе — душистый букет только что срезанных цветов. По четырем углам аккуратно расставлены высокие стопки тарелок дрезденского фарфора и лежат рядами сверкающие приборы старого английского серебра — массивные ложки, вилки, ножи. Старинные итальянские стулья отодвинуты от стола и расставлены вдоль стен. Ужин будет *à la fourchette*. Гости вольны подходить и выбирать еду по своему вкусу, на этом великолепном столе найдутся соблазны, перед которыми не устоит самый капризный и пресыщенный гурман.

В одном конце стола на громадном серебряном блюде красуется великолепно поджаренный, в хрусткой золотистой корочке ростбиф. Он чуть-чуть «начат» с одного боку — несколько ломтиков срезано, пусть всякий сразу видит, до чего это нежное и сочное мясо. В противоположном конце, на другом громадном блюде, так же початый с краешка, возлежит целый окорок виргинской приправленной пряностями ветчины. А между этими двумя блюдами и вокруг них теснится многое множество разнообразнейшей снеди, такой аппетитной, что при одном взгляде слюнки текут. Тут и всевозможные салаты — из всяческой зелени, из цыплят, и крабы, и розовато-белое крепкое мясо клешней омаров, в целостности вынутых из жесткой скорлупы. На других блюдах лежит золотистыми брусками копченая семга — самый изысканный деликатес, какой только можно купить за деньги, — высятся горки черной и красной икры, и счету нет тарелкам со всякими иными закусками — тут и грибы, и сельдь, анчоусы, сардины и крохотные, сочные артишоки, маринованный лук и маринованная свекла, нарезанные ломтиками помидоры и фаршированные пряностями яйца под майонезом, грецкие и pekanовые орехи, миндаль, оливки и сельдерей. Короче говоря, тут найдешь все, чего только можно пожелать.

Да, угощение поистине роскошное, хоть самому Гаргантюа впору. Такими представляешь себе пиршества, что стали бессмертны благодаря старинным легендам. Не многие «настоящие богачи» осмелились бы задать такой пир, и побоялись бы они не напрасно. Такое устроить могла только она одна, и только у нее все могло получиться как надо. Потому-то и славились ее приемы, и никто из приглашенных не упускал случая явиться. Ибо, как ни странно, во всем этом щедром угощении не было и намека на беспорядок или излишество. Стол был поистине чудом продуманного стройного и красивого художественного замысла. Глядя на него, никто не мог бы сказать, что тут хоть чего-то не хватает или что хоть одна

мелочь тут лишняя.

И все в этой просторной столовой было просто и прочно, во всем чувствовался тот же безупречный вкус, тот же стиль, словно бы все возникло и сложилось само собой — с таким непринужденным изяществом и так естественно. По одну сторону — огромный буфет со сверкающими рядами графинов, бутылок и бутылочек, сифонов и высоких, тончайшего стекла бокалов. По другую — два изящных шкафчика в колониальном стиле, словно две грации, радуют взгляд чудесным фарфором, хрусталем и серебром, великолепными старинными блюдами, блюдами и чашками, чашами и соусниками, кувшинами и кувшинчиками.

Эстер Джек окинула все это оценивающим взглядом и, довольная, быстро прошла через всю комнату к двустворчатой двери, за которой находились буфетная, кухня и комнаты прислуги. Еще из-за двери она услышала смех, оживленные голоса девушек и гортанные возгласы кухарки, как всегда, пересыпанные немецкими словами. Распахнув дверь, она очутилась среди увлеченной, деловитой суеты. Большая выложенная кафелем кухня сверкала чистотой, точно больничная лаборатория. Огромная плита с великолепной вытяжной трубой, будто в первоклассном ресторане, казалось, была только что отмыта, выскоблена и отполирована. Многочисленное собрание медных кастрюль, котлов, горшков, сотейников, сковородок всех видов и размеров — от крохотной, где только и уместится одно яйцо, до громадины, на которой можно, кажется, наготовить на полк солдат, — было до того начищено и надраено, что миссис Джек могла смотреться в них, как в зеркало. Большой стол посреди кухни белизною не посрамил бы операционной хирурга, а полки, ящики, буфеты и лари выглядели так, словно по ним только что прошлись наждачной бумагой. И, словно драгоценность, ослепительно белел гигантский электрический холодильник, чей на удивление негромкий, ровный и мощный гул не могли заглушить возбужденные женские голоса.

«Вот оно! — подумала миссис Джек. — Это лучше всего! Лучше всех комнат в доме! Другие я тоже люблю, но есть ли на свете что-нибудь великолепнее и красивее хорошей кухни? И какой у кухарки порядок! Вот бы мне все это нарисовать! Но нет... тут бы нужен Брейгель! В наше время никто не сумел бы это по-настоящему написать...»

— Ой, милочка! — вслух сказала она кухарке. — Какой чудный торт!

Кухарка подняла голову от огромного слоеного торта, на котором она выводила глазурью последние узоры, и на ее длинной, плоской, туповатой физиономии засветилась еле заметная улыбка.

— Вам нравится, да? — сказала она. — Вы думает, он хороший торт?

— Ой, милочка, — так по-детски горячо воскликнула миссис Джек, что кухарка улыбнулась чуть пошире. — Он просто красавец!.. Просто чудо!..

И она в комическом отчаянии пожала плечами, точно не находя слов.

Кухарка, очень довольная, гортанно засмеялась, а Нора сказала с улыбкой:

— Вот это верно, миссис Джек! Я и сама только сейчас ей хотела это самое сказать.

Миссис Джек бросила на нее быстрый взгляд и вздохнула с облегчением: лицо открытое, опрятная, трезвая. Слава тебе господи, взяла себя в руки! Ясно, что с утра больше ни капли не пила. Она хмелеет мигом, если глотнет спиртного, по ней сразу видно.

Джейни и Мэй сновали из кухни в гостиную для прислуги и обратно — в ловко сидящих накрахмаленных форменных платьях, розовые, улыбающиеся, просто на диво хорошенькие. Все идет прекрасно, лучше, чем можно было ждать. Ничего не забыто. Все готово. Уж конечно, прием удастся на славу!

И тут раздался резкий звонок. Лицо у Эстер Джек стало испуганное.

— Джейни, звонят у парадного, — быстро сказала она. И прибавила словно про себя: — Кто бы это мог быть...

— Сейчас, мэм, — отозвалась Джейни, появляясь в дверях. — Я пойду открою, миссис Джек.

— Да, подите, Джейни, интересно, кто бы это... — Она озадаченно посмотрела на

стенные часы, потом — на свои платиновые ручные часики. — Еще только четверть девятого! Неужели кто-нибудь так рано... А! — Ее вдруг осенило. — Это, наверно, мистер Лоуген. Если это он, Джейни, проводите его в гостиную. Я сейчас туда приду.

— Слушаю, миссис Джек. — И Джейни исчезла.

А миссис Джек напоследок еще раз оглядела кухню, благодарно и одобрительно улыбнулась искуснице кухарке и тоже вышла.

Пришел и в самом деле мистер Лоуген. Эстер Джек встретила его в прихожей, где он на минуту задержался, чтобы поставить два огромных черных чемодана — похоже, их поднял бы не всякий силач. Вид мистера Лоугена подтверждал это впечатление. Он сжал одной рукой вздувшиеся бицепсы другой и, морщась от боли, сгибал и разгибал ее. Заслышав шаги миссис Джек, он обернулся; это был крепко сбитый, плотный человек лет тридцати с густыми рыжеватыми бровями; круглое с крупными чертами лицо после недавнего бритья несколько отливало медью, низкий лоб в морщинах и плешивая макушка поблескивали бисеринками пота, и он утирал их платком.

— Черт! — выдохнул мистер Свинтус Лоуген (под этим ласковым прозвищем он был известен в тесном дружеском кругу). — Черт, — снова выбранился он больше с облегчением, чем со злостью. Перестал разминать ноющие мышцы и протянул хозяйке дома крепкую короткопалую руку, до самых ногтей густо усеянную крупными веснушками.

— Да вы, наверно, умираете от усталости! — воскликнула Эстер Джек. — Почему вы не предупредили меня, что у вас столько багажа! Я послала бы шофера вас встретить. Он бы сделал все, что надо.

— А, пустяки, — возразил Лоуген. — Я всегда управляюсь сам. Понимаете, я все вожу с собой — все свое снаряжение. — Он показал на свои внушительные чемоданы. — Тут все, что мне надо для моего представления. Так что, сами понимаете, неохота рисковать. — Он неожиданно совсем по-мальчишески ей улыбнулся. — Больше у меня ничего нет. Если что-нибудь случится неладное... уж лучше пускай я сам буду виноват, по крайней мере, тогда я буду знать, что к чему.

— Ну, ясно! — кивнула миссис Джек, она мгновенно его поняла. — Вы просто не можете ни на кого положиться. Вдруг что-нибудь случится, а вы, наверно, столько лет их мастерили! Все, кто их видел, говорят, что это просто чудо, — продолжала она. — Все прямо в восторг пришли, когда узнали, что вы приедете. Мы столько про вас слышали... право, сейчас в Нью-Йорке только и разговору...

— Ну, что ж, — сказал мистер Лоуген совсем другим тоном, все еще вежливо, но уже явно не обращая ни малейшего внимания на хозяйку дома. Теперь он был поглощен делом: подошел к дверям гостиной и, озабоченно примериваясь, ее осматривал. — Очевидно, это будет здесь, так?

— Да... то есть, если вам тут нравится. Если хотите, можно и в другой комнате, но эта у нас самая просторная.

— Нет, спасибо, — был краткий, рассеянный ответ. — Это вполне годится. Даже очень хорошо... Гм! — Двумя веснушчатými пальцами он ухватился за пухлую нижнюю губу. — Пожалуй, самое удобное место вон там, — он указал на противоположную стену, — напротив этой двери, а публика рассядется вдоль этих трех стен... Гм! Да... Пожалуй, вот тут, примерно посередине, на книжных полках повесим афиши. Все это, конечно, можно убрать. — Быстрым, широким взмахом руки он словно вымел из гостиной чуть ли не всю мебель. — Да! Тогда будет отлично!.. А теперь, если не возражаете, мне надо переодеться, — почти скомандовал он. — Если у вас найдется комната.

— Ну конечно! — поспешно ответила миссис Джек. — По коридору первая дверь направо. Но, может быть, вы сначала хотите выпить и перекусить? Должно быть, вы ужасно...

— Нет, спасибо, — решительно перебил Лоуген. — Вы очень любезны, — он мельком улыбнулся, хмуря кустистые брови, — но перед представлением я ничего не ем и не пью. А теперь, — он наклонился, ухватил огромные чемоданы за ручки и, крикнув, с усилием их поднял, — с вашего разрешения...

— Мы можем вам чем-нибудь помочь? — с готовностью предложила миссис Джек.

— Нет... спасибо... ничем, — пробурчал Лоуген и грузными шагами двинулся со своей ношей по коридору. — Спасибо... я... отлично... справлюсь... сам... — Пошатываясь под этой тяжестью, он переступил порог указанной ему комнаты, и уже оттуда донеслось тише: — Ничего... не надо.

Миссис Джек услышала глухой стук — это грохнули о пол будто свинцом набитые чемоданы, потом: «У-уф!» — протяжно, устало, с облегчением выдохнул Лоуген.

Когда молодой человек, пошатываясь, вышел из гостиной, хозяйка еще с минуту изумленно и даже чуть испуганно смотрела ему вслед. Уж очень решительно и бесцеремонно собирался он перевернуть все вверх дном в ее любимой комнате. Но нет, — она тряхнула головой, отгоняя смутные опасения, — конечно же, все пройдет хорошо. Столько народу отзывалось о нем с восторгом, его представление — сенсация нынешнего года, все на нем просто помешались, только о нем и говорят, всюду хвалебные рецензии. Он баловень «избранного общества» — всех этих богачей с Лонг-Айленда и Парк-авеню. (Тут в нашей даме шевельнулось чувство собственного превосходства, и ноздри ее презрительно дрогнули). И все же... все же приятно, что она его заполучила!

Да, Свинтус Лоуген и впрямь был сенсацией года. Он создал цирк проволочных кукол, и это странное развлечение всюду встречали необычайные овации. Кто не мог в избранных светских кругах со знанием дела потолковать о нем и его куклах, оказывался чуть ли не в положении невежды, сроду не слыхавшего о Жане Кокто и сюрреализме; это было все равно что в недоумении захлопать глазами, когда при тебе упомянут имена Пикассо, Бранкузи, Утрилло или Гертруды Стайн. О Свинтусе Лоугене и его искусстве говорили не менее оживленно и почтительно, чем говорят знатоки обо всех этих знаменитостях. И так же, как для них, для мистера Лоугена и его искусства требовался особый словарь. Чтобы рассуждать о них со знанием дела, нужно было владеть особым языком, в котором тончайшие оттенки становились день ото дня недоступней для непосвященных, по мере того как критики старались перешеголять друг друга в постижении глубин и головокружительных сложностей, бесконечных нюансов и ассоциаций, порождаемых Свинтусом Лоугеном и его кукольным цирком.

Правда, на первых порах иные знатоки и любители — счастливы, причастные к самому зарождению моды на мистера Лоугена, — называли его представление «ужасно забавным». Но это давно устарело, теперь всякого, кто осмеливался определить искусство Лоугена пресным словечком «забавно», немедля сбрасывали со счетов как совершенно некультурную личность. Цирк Лоугена перестал быть «забавным», как только один из самых сведущих газетных обозревателей сделал открытие, что «никогда еще со времен раннего Чаплина искусство трагического юмора не достигало в пантомиме столь несравненных высот».

С этого и пошло, каждый следующий критик воздавал мистеру Лоугену все новые, все более громкие хвалы. За рецензиями в ежедневных газетах появились лестные эссе в более изысканных изданиях, иллюстрированные фотографиями его кукол. Потом к общему хору присоединились театральные критики, и в жертвенном огне сравнительного анализа уже обращались в дым и прах кое-какие явления современной сцены. Ведущим трагическим актерам, прежде чем выступать в роли Гамлета, предлагалось поучиться у клоунов мистера Лоугена.

Всюду разгорелись ожесточенные споры. Два знаменитых критика вступили в хитроумный словесный поединок на столь сверхчужом уровне, что, говорят, под конец во всем цивилизованном мире не больше семи человек могли бы разобраться в их заключительных выпадах. Ожесточенней всего спорили о том, что сильнее повлияло на Свинтуса Лоугена — кубизм раннего Пикассо или геометрические абстракции Бранкузи. У обеих теорий имелись пылкие последователи, но под конец все сошлось на том, что решающую роль сыграл все же Пикассо.

Все эти сомнения мог бы разрешить одним только словом сам мистер Лоуген, но слово это так и не было произнесено. Лоуген вообще почти не говорил о переполохе, который сам же вызвал. Как многозначительно указывала критика, ему свойственна была «та простота, что отличает истинного художника — почти детская naïvete² речи и жеста, проникающая в самое сердце реальности». И вся его жизнь, его прошлое оставались недоступными для пытливых биографов, огражденные той же непостижимой простотой. Или, по определению еще одного критика, «так же, как было почти у всех больших мастеров, по юным годам Лоугена трудно было предвидеть, что он скажет новое слово в искусстве. Подобно всем истинно великим, он развивался медленно и, можно даже сказать, незаметно до того самого часа, когда внезапно явился публике во всем ослепительном блеске».

Как бы то ни было, сейчас слава мистера Лоугена и вправду ослепляла, вокруг него и его кукол возникла в высших эстетических сферах целая литература. На этом создавались и рушились репутации критиков. Посвящен ли человек в тонкости последней моды, — об этом в тот год судили по осведомленности о мистере Лоугене и его куклах. Кто не умел в них разбираться, тот безнадежно отстал от века и достоин всеобщего презрения. Кто умел, того окончательно признавали знатоком по части искусства, и ему мгновенно открывался доступ в круги самых избранных артистических натур. Миру будущего, который, без сомнения, будет населен людьми иной, не столь утонченной и чувствительной породы, все это, быть может, покажется немного странным. Быть может... но лишь потому, что мир будущего забудет, какова была жизнь в 1929 году.

В то милое нашему сердцу лето от рождества Христова 1929-е можно было, глазом не моргнув, признаться, что покойный Джон Мильтон наводит на тебя скуку смертную и вообще он был просто чванный индюк и мыльный пузырь. В ту пору господа критики очень многих объявили мыльными пузырями. Самые храбрые умы современности безжалостно исследовали сияющие всеми цветами радуги репутации таких личностей, как Гете, Ибсен, Байрон, Толстой, Уитмен, Диккенс, Бальзак, — и пришли к выводу, что репутации эти — дутые. Разоблачали все и всех, стирали позолоту, ошипывали павлиньи перья... неприкосновенными оставались только сами разоблачители да мистер Свинтус Лоуген с его куклами.

В последнее время жизнь стала слишком коротка, и уже не хватало времени на многое, что люди прежде отлично успевали. Жизнь стала чересчур коротка, и уже недосуг было читать книгу, если в ней больше двухсот страниц. Что до «Войны и мира»... да, без сомнения, все, что говорят про этот роман, справедливо, но... лично я... по совести сказать, я раз попробовал, и, право, это уж чересчур... чересчур... словом, знаете ли, жизнь слишком коротка. Итак, в тот год всем было недосуг тратить время на Толстого, Уитмена, Драйзера или декана Свифта. Однако на страстное увлечение мистером Лоугеном и его кукольным цирком времени хватало.

Лучшим умам тех лет, тончайшим ценителям даже среди немногих избранных, наскучило очень многое. Они перепахали пустыри, и эрозия почвы все больше входила в моду. Им наскучила любовь и наскучила ненависть. Наскучили люди, которые трудятся, и люди праздные. Наскучили те, кто что-то создает, и те, кто не создает ничего. Им наскучил брак — и наскучило блаженное одиночество. Наскучили и целомудрие и разврат. Наскучило ездить за границу — и оставаться дома. Наскучили великие поэты всего мира, чьих великих творений они ни разу не читали. Наскучили голодные люди на улицах, и убитые, и дети, погибающие от истощения, наскучили несправедливость, жестокость, гнет всюду и везде, куда ни погляди; и наскучили справедливость, свобода, право человека на жизнь. Им наскучило жить, наскучило умирать, но... в тот год им ничуть не были скучны Свинтус Лоуген и его цирк марионеток.

В чем же Причина такого переполоха? Какой Силой порождена была великая сенсация в мире искусства? Как удачно выразился один критик, «это не просто новый талант, положивший начало еще одному „движению“, это целая новая творческая вселенная,

² наивность, непосредственность (фр.)

стремительное небесное тело — и огненным круговращением своим оно, весьма вероятно, создаст собственные звездные системы». Ладно, так чем же *Оно* — великое Светило, с которого все и началось, — чем *Оно* сейчас занято?

Оно наслаждается уединением в одной из очаровательных комнат в апартаментах миссис Джек и, словно бы нимало не подозревая о смятении, какое внесло *Оно* в этот мир, спокойно, тихо, скромно, прозаически и деловито снимает брюки и натягивает на себя парусиновые штаны.

Одновременно с этим важным событием в других частях дома все идет своим чередом и без сучка, без задоринки близится к благополучному завершению. Створки дверей между столовой и кухонным царством непрерывно распахиваются, девушки снуют взад и вперед, занятые последними приготовлениями к пиршеству. Джейни на огромном серебряном подносе пронесла через столовую бутылки, графины, чашу со льдом и высокие, изящные бокалы. Поставила поднос на стол в гостиной, и тончайшие скорлупки — бокалы — мелодично зазвенели, весело звякнули бутылки, раздалось холодное звонкое потрескивание колотого льда.

Потом Джейни подошла к камину, отодвинула большой медный экран и опустилась на колени перед огнем. Поворошила поленья длинной медной кочергой и щипцами — взвился сноп искр, пламя ожило, затрещало, заплясало. Еще минуту девушка стояла перед ним на коленях — воплощенная женственность и грация. Отсветы огня озаряли ее розовое лицо, и миссис Джек любовалась ею, такой милой, опрятной и хорошенькой. Потом девушка поднялась и поставила экран на место.

Миссис Джек передвинула на столике в прихожей вазу с розами на длинных стеблях, мельком глянула на себя в зеркало над столиком, повернулась и весело, быстро пошла по широкому, устланному толстым ковром коридору к себе. В эту минуту из своей комнаты появился мистер Джек. Он уже переоделся к ужину. Она окинула его наметанным глазом и тотчас оценила, как хорошо сидит на нем вечерний костюм и как свободно, непринужденно муж себя в нем чувствует, словно никогда его и не снимал.

В противоположность жене мистер Джек держался спокойно, невозмутимо, как человек, всего повидавший и умудренный опытом. С первого взгляда ясно было, что он отлично умеет сам о себе позаботиться. Чувствовалось: пусть он достаточно искушен в радостях плоти, но, уж конечно, знает им меру, знает границу, за которой грозят хаос, крушение, мели и рифы. Жена уловила все это одним быстрым пронизательным взглядом, ничего не упустила, хотя вид у нее при этом был простодушный, чуть ли не озадаченный, подивилась про себя, как много он знает, и немножко даже встревожилась при мысли, что он, пожалуй, знает еще больше, чем она может увидеть и вообразить.

— О, добрый вечер, — сказал он с ласковой учтивостью и легонько поцеловал ее в щеку.

На самый краткий миг ей стало противно, но тотчас она вспомнила, каким он всегда был безупречным мужем — заботливым, добрым, преданным и, что бы там ни скрывалось в непостижимой глубине его глаз, никогда ничего ей не говорил, и никто бы не мог доказать, что он что-нибудь замечал.

«Он такой славный», — подумала она и живо отозвалась на приветствие:

— Добрый вечер, дорогой. Ты уже готов, да? — И торопливо заговорила: — Пожалуйста, прислушивайся к звонкам и встречай всех, кто придет, хорошо? Мистер Лоуген переодевается в комнате для гостей — ты поможешь, если ему что-нибудь понадобится? И взгляни, готова ли Эдит. А когда станут сходить гости, посылай женщин к ней, пускай снимают пальто у нее в комнате... нет, ты только скажи Норе, пускай она за этим присмотрит. А о мужчинах позаботься сам, хорошо, милый? Проводи их в свою комнату. Я через несколько минут вернусь. Только бы все... — В ее голосе зазвучала тревога, она быстро сняла и вновь надела кольцо. — Я так надеюсь, что все сделано как надо!

— Уж наверно, все как надо, — успокоительно сказал муж. — Разве ты не смотрела?

— Ну, с виду-то все прекрасно! — воскликнула миссис Джек. — Все даже слишком красиво. Девушки наши старались всюю... только... — Меж бровей у нее обозначилась

беспокойная морщинка. — Только ты за ними, пожалуйста, присматривай, хорошо, Фриц? Ты же знаешь, как они себя ведут, когда их предоставишь самим себе. Непременно что-нибудь пойдет наперекос. Так ты уж за ними последи, ладно, милый? И не забывай о Лоугене. Я так надеюсь... — Она замолчала, тревожно и рассеянно глядя куда-то в пустоту.

— На что надеешься? — деловито осведомился муж, и уголки его губ дрогнули в чуть заметной иронической улыбке.

— Надеюсь, он не... — с беспокойством начала она и договорила торопливо: — Он что-то такое сказал... что для его представления надо из гостиной кое-какие вещи убрать. — Она беспомощно вскинула глаза на мужа, заметила эту еле уловимую насмешливую улыбку, разом покраснела и громко расхохоталась. — О, господи! Просто не знаю, что он затевает. Он столько всего с собой натащил, что военный корабль и тот пошел бы ко дну... А все-таки, надеюсь, это сойдет благополучно. Знаешь, он ведь прямо нарасхват. Все рады случаю его посмотреть. Нет, я уверена, все будет хорошо. Как по-твоему, а?

Она посмотрела на мужа с такой забавной серьезностью, так пытливо и просительно, что он на миг сбросил маску, коротко засмеялся и, уже уходя, сказал:

— Да, наверно, все пройдет хорошо, Эстер. Я за всем присмотрю.

Миссис Джек пошла дальше по коридору и лишь на мгновение помедлила у двери дочери. До нее донесся ясный, звонкий молодой голос — девушка бойко напевала популярную песенку:

Ты для меня — как сливки для кофе,
Ты для меня — как соль для жаркого...

Лицо матери осветилось улыбкой любви и нежности, и так, с улыбкой, она прошла дальше, в следующую дверь — к себе.

Ее комната была прелестна — очень простая, целомудренно скромная, едва ли не чересчур строгая. У одной стены по самой середине стояла узкая деревянная кровать, такая маленькая, старая, без всяких украшений, словно в средние века она служила ложем какой-нибудь монахини, да, возможно, так оно и было. Подле кровати — столик, на нем несколько книг, телефон, стакан, серебряный кувшин и в серебряной рамке — фотография девушки лет двадцати — двадцати двух: это была дочь миссис Джек Элма.

У самой двери, как войдешь, стоял огромный старый деревянный гардероб, миссис Джек вывезла его из Италии. В нем хранились все ее наряды и замечательная коллекция крохотных, точно крылышки, тужелек, все они делались на заказ, чтоб было легко и удобно ее изящным маленьким ножкам. У стены, что напротив двери, между двух высоких окон — письменный стол. Между окнами и кроватью небольшой чертежный стол: безукоризненно гладкая белая доска, а на ней в идеальном порядке разложена дюжина остро отточенных карандашей, пушистые кисти, хрусткие листы кальки, на которые нанесены были какие-то геометрические фигуры, банка клея, линейка, баночка с золотой краской. Точно над самым столом висели на стене наугольник и квадрат — в их сильных и четких линиях была какая-то особенная чистая красота.

В ногах кровати стоял шезлонг, обтянутый старым выцветшим узорчатым шелком. По стенам — несколько непривлекательных рисунков и единственная картина маслом — странный экзотический цветок. То был цветок, каких нет на земле, цветок-мечта, Эстер Джек написала его много лет назад.

У стены напротив кровати — старинный сундук, изделие некоего голландца из Пенсильвании, — весь в резьбе, ярко и причудливо раскрашенный; в нем хранились старые шелка, кружева, благородные индийские сари — Эстер Джек очень их любила и нередко надевала. И у той же стены старый комод, а на нем серебряный туалетный прибор — щетки, гребни и прочее — и квадратное зеркало.

Миссис Джек прошла по комнате, стала перед зеркалом и поглядела на себя. Сначала чуть наклонилась и долго, серьезно, с детским простодушием рассматривала свое лицо. Потом

начала поворачиваться, глядя на себя то под одним, то под другим углом. Подняла руку к виску, пригладила бровь. Должно быть, она сама себе понравилась — в глазах засветилось удовольствие, даже восхищение. С откровенным тщеславием загляделась она на массивный браслет, обвивший ее руку, — это была темная древняя индийская цепь, усыпанная странными тусклыми самоцветами. Вскинув голову, Эстер оглядела старинное ожерелье у себя на шее, провела по нему кончиками пальцев. Обвела взглядом свои шелковистые руки, обнаженную спину, сияющие плечи, очертания груди, всю себя, тут пригладила, там отряхнула, почти бессознательно, ловкими движениями расправила складки простого и очень красивого платья.

Она опять подняла руку, уперлась другой в бедро и снова повернулась, завершая круг самопоклонения. Поворачивалась не спеша, восхищенно любуясь собой, и вдруг изумленно ахнула, даже вскрикнула испуганно и в тревожном порыве схватилась рукой за горло: оказалось, она не одна, подняв глаза, она встретила взглядом с дочерью.

Молодая девушка — тоненькая, безупречно сложенная, невозмутимая и прелестная, вошла через ванную, которая соединяла их комнаты, и, захватив мать врасплох, неподвижно застыла на пороге. Мать густо покраснела, долгу минуту они смотрели друг на друга, — мать, безгранично смущенная, пылала виноватым румянцем, дочь, невозмутимо спокойная, смотрела и одобрительно и насмешливо, как человек, умудренный жизнью. А затем в их скрестившихся взглядах будто вспыхнула какая-то искра.

Словно поняв, что ее разоблачили и словами тут не поможешь, мать вдруг запрокинула голову и рассмеялась звонко, от души, тем истинно женским смехом чистосердечного признания, который неведом другой половине рода человеческого.

— Ну что, мама, это недурно выглядело? — слегка усмехнулась дочь, подошла и поцеловала ее.

И опять Эстер беспомощно, неудержимо расхохоталась. А потом, освобожденные этой удивительно емкой минутой от необходимости еще что-то говорить и обсуждать, обе разом успокоились.

Так была разыграна вся потрясающая комедия Женщины. Слова излишни. Говорить больше не о чем. Все уже сказано в один безмолвный миг полного, совершенного понимания, взаимного признания и общности. В мгновение ока раскрылся целый мир их пола, вся женская подноготная — мир безмерного коварства и неукротимой насмешливости.

А огромный ничего не ведающий город все так же грохотал вокруг их потаенной кельи, и ни единый мужчина из миллионов его жителей не подозревал об этой изначальной силе, более могущественной, чем все города, и древней, как сама земля.

15. Прием у семейства Джек

И вот начали съезжаться гости. Привычную тишину поминутно разрывала пронзительная трель электрического звонка у двери. Люди все прибывали и входили в комнаты привычно, непринужденно, — сразу видно, старые друзья. В прихожей и в парадных комнатах нарастал слитный многоголосый говор — переливчатый смех и торопливые возбужденные возгласы женщин смешивались с более глубокими и звучными мужскими голосами. Все это растекалось плавно, как масло, равномерно, неумолчно. С каждым резким звонком, с каждым хлопаньем входной двери в общий хор вливались новые голоса и смех, новые веселые возгласы, полные приветов и радушия.

Теперь уже все жилище Джеков, от парадных комнат до самых дальних, распахнулось для гостей. Людской поток переливался взад и вперед, кружил по прихожей и спальням, по большой гостиной и по столовой, образуя неожиданные красочные узоры. Женщины подходили к хозяйке и целовали ее с нежностью давних любящих подруг. Мужчины, то увлеченные серьезным разговором, то перебрасываясь шуточками, входили в кабинет хозяина и вновь выходили.

Эстер Джек, сияя глазами, сновала повсюду, приветливо встречала всех и каждого, с каждым успевала поговорить. Во всей ее повадке сквозило восторженное изумление, словно

она верила, что чудесам не будет конца. Она сама пригласила всех, кто здесь был, и, однако, с каждым говорила так, что казалось, она даже растерялась от радости при такой неожиданной счастливой встрече со старым другом после долгой разлуки. Голос ее от волнения звучал громче обычного, а минутами даже чуточку пронзительно, лицо разгорелось, она так и сияла, и гости улыбались ей, как улыбаются взрослые счастливому ликующему ребенку.

Многие расхаживали теперь с бокалами и рюмками в руках. Иные беседовали, прислонясь к стене. Какие-то почтенного вида люди, облокотясь на каминную полку, увлеклись нечаянно вспыхнувшим спором. Сквозь толпу мягко, словно на бархатных лапках, проходили красавицы с шелковистыми обнаженными спинами. Молодежь собиралась отдельными тесными кружками — этих влекло друг к другу колдовство молодости. Всюду смеялись, болтали, наклонялись, чтобы наполнить бокалы замороженными напитками, бродили вдоль нагруженного всяческими соблазнами обеденного стола и огромного буфета с видом тревожным и неуверенным, как бывает, когда теряешься перед выбором: сразу ясно, человек рад бы всего отведать, все перепробовать, но понимает, что ему это не под силу. А проворные улыбающиеся девушки были тут как тут, подавали все, что ни спросят, и уговаривали взять еще хоть немножко. Короче говоря, тут было на что полюбоваться — и белое, и черное, и золото, и власть, и богатство, и очарование, и снедь, и питье.

Эстер Джек весело оглядывала полные народу комнаты. Она знала, тут поистине собралось изысканнейшее общество, все лучшее, чем мог похвастать город, самый цвет по уму, положению и красоте. И их все прибавлялось. Вот в эту самую минуту явилась мисс Лили Мэндл — высокая, огненная красавица — и порывисто прошла по коридору сбросить мантию. А следом вошел Лоуренс Хирш, банкир. Он небрежно отдал пальто и шляпу горничной и, раскланиваясь направо и налево, пробирается сквозь толпу к хозяйке, его костюм и манеры безупречны, в каждом движении — привычная властность. Пожал ей руку, легонько поцеловал в щеку и говорит холодновато, насмешливо (это сейчас модно в Нью-Йорке):

— Вы очаровательно выглядите, дорогая, я не видел вас такой с тех самых времен, как мы с вами отплясывали канкан — помните?

И пошел дальше, лохотный, невозмутимый, весьма примечательная фигура. Густые волосы его прежде времени побелели, и, странное дело, от этого чисто выбритое лицо с правильными чертами кажется очень молодежавым, почти юным. Немного утомленное, но самоуверенное, лицо это выражает бессознательное высокомерие, таков отпечаток огромной власти, которую дает богатство. Он прошел через толпу — усталый, деятельный сын человеческий — и занял свое место, принял на себя, сам того не замечая, всю полноту власти.

Меж тем Лили Мэндл вернулась в большую гостиную и неторопливо направилась к миссис Джек. Эта наследница мидасовых богатств была высокая, смуглая, с буйной гривой черных кудрей. Глаза под тяжелыми веками, в сонном и, однако, выразительном лице — неумная гордость. Изумительная женщина, все в ней поражало взгляд. Великолепное платье, скроенное из ткани цвета тусклого золота, облегалo ее, как перчатка, обрисовывало всю ее высокую, соблазнительно пышную фигуру. В этом одеянии Лили Мэндл была точно прекрасная статуя, и пока она, медленно, томно покачиваясь, шла по комнате, все мужчины неотрывно следили за ней глазами. Она склонилась к маленькой хозяйке дома, поцеловала ее и глубоким звучным голосом с неподдельной нежностью спросила:

— Как живешь, дорогая?

Теперь Герберт, лифтер, без передышки поднимал гостей наверх; не успевала одна партия прибывших поздороваться, как дверь отворялась, впуская новую порцию. Явился Родерик Хейл, известный адвокат. Затем мисс Роберта Хайлпринн в сопровождении Сэмюэла Фетцера. Этих двоих связывала с Эстер Джек старая дружба «по театру», и она встретила их не то чтобы сердечнее, приветливее, чем других гостей, но чуточку беспечней и непринужденней. Словно сбросила одну из масок не притворства, но приличий и обычаев, какие навязывает жизнь многим и многим человеческим отношениям. Она сказала просто: «А, привет, Бerti, привет, Сэм», и в неуловимом тонком оттенке сказалось главное: они все трое — из театра, у них общая работа.

Тут было еще немало людей, связанных со сценой. Два молодых актера Любительского театра сопровождали директоров этого театра — двух седеющих старых дев Бесси Лейн и Хетти Уоррен. А кроме видных и одаренных личностей была тут и кое-какая мелкая сошка. Молодая девушка — дублерша танцовщицы в одном из репертуарных театров, и костюмерша из того же театра, и еще женщина, которая когда-то была помощницей миссис Джек. Ибо когда к Эстер Джек пришли успех и слава, она не забыла старых друзей. Вот почему, сделавшись знаменитостью, она избежала пошлой скуки и однообразия, которые стали уделом столь многих знаменитостей. Она слишком любила жизнь, чтобы отгородиться от обыкновенных простых и добрых людей. В юности ей были хорошо знакомы печаль, неуверенность, невзгоды, горе и разочарования, и она этого не забывала. Не забывала она и тех, с кем когда-либо свела ее жизнь. Она обладала редким даром крепкой и верной дружбы и почти со всеми нынешними гостями, даже самыми знаменитыми, дружила многие годы, а были среди них и друзья ее детства.

В числе новых гостей появилась тихая женщина с печальным лицом по имени Маргарет Этингер. Она привела с собою мужа, известного распутника. А муж ее, Джон Этингер, прихватил с собой цветущую молодую женщину, свою очередную любовницу. И это престранное трио резало глаз, неприятно выделяясь в столь достойном и изысканном обществе.

Гости еще прибывали со всей быстротой, с какой успевал их поднимать лифт. Пришел Стивен Хук со своей сестрой Мэри и, здороваясь, протянул хозяйке слабую, вялую руку. При этом он наполовину отвернулся с преувеличенно скучающим, устало-равнодушным видом, чуть ли не с презрением.

— Ну, здравствуйте, Эстер... — пробормотал он; потом слегка повернул к ней голову и прибавил, словно только сейчас вспомнив: — Послушайте, я вам кое-что принес. — Подал ей книгу и опять отвернулся. — Это, пожалуй, небезынтересно, — сучливо пояснил он. — Может быть, захотите поглядеть.

А принес он великолепный альбом рисунков Питера Брейгеля, — Эстер Джек прекрасно знала этот альбом, цена ему была такова, что даже ее приводила в ужас. Она быстро глянула на титульный лист — тонким почерком там выведена была чопорная надпись: «Эстер — от Стивена Хука». И вдруг она вспомнила, как однажды, недели две назад, в разговоре с ним мельком упомянула, что ее интересует альбом Брейгеля; так вот что значит этот подарок: Стивен, по своему обыкновению, старательно прикрывается маской деланного равнодушия, а поступок его, словно быстрый яркий луч, высветил глубинную сущность его прекрасной и щедрой души. Эстер залилась ярким румянцем, что-то перехватило ей горло, на глаза навернулись слезы.

— Ох, Стив! — выдохнула она. — Вы самый добрый... самый удивительный...

Он буквально шарахнулся от нее. На бледном вялом лице появилось выражение презрительной скуки, наигранное, нарочитое до того, что это показалось бы смешным, если бы карие глаза не смотрели с такой мольбой. Это был взгляд человека благородной и гордой души, странной, больной и страдающей, взгляд испуганного ребенка, — так смотрит тот, кто, даже отпрянув от людской близости и защиты, в которых он так нуждается и которых так жаждет, в то же время немо, жалобно умоляет: «Ради всего святого, если можешь, помоги! Мне страшно!»

Эстер прочла все это в глазах Стивена в тот миг, когда он надменно от нее отвернулся, и этот взгляд пронзил ее, как ножом. В озарении жгучей жалости она ощутила, как странен и удивителен человек, какое это непостижимое чудо.

«Ах ты бедняга! — думалось ей. — Что же это с тобой? Чего ты боишься? Что тебя терзает, скажи на милость?.. Странное существо, — думала она уже спокойнее. — А ведь он такой тонкий, хороший и чистый!»

И тут, словно прочтав ее мысли, на помощь пришла ее дочь Элма. Хладнокровная,

невозмутимая, очаровательная, она прошла через всю гостиную к Хуку, сказала небрежно:

— А, Стив, добрый вечер. Хотите чего-нибудь выпить?

Спасительный вопрос. Стивен Хук очень любил эту девушку. Ему нравилось, что она так безукоризненно держится и с таким вкусом одевается, такая приветливая и в то же время неприступно замкнутая. С нею он чувствовал себя словно бы защищенным, в ней находил покровительство, которого ему так не хватало. И он тотчас откликнулся.

— То, что вы изволили предложить, для меня весьма соблазнительно, — промямлил он, отошел к камину и прислонился к нему, точно скучающий зритель, повернулся чуть ли не спиной к присутствующим, словно вид всех этих угнетающе нудных и тусклых личностей был ему несносен.

Этот изощренно уклончивый, вычурный ответ был очень характерен для Стивена Хука и давал своеобразный ключ к его литературному стилю. Автор множества рассказов, которые он печатал в журналах, чтобы прожить вдвоем с матерью, он написал также несколько превосходных книг. Они принесли ему заслуженную известность, но не имели спроса. Он и сам иронически заметил однажды, что, как видно, чуть ли не все прочли его книги, но никто ни одной не купил. В книгах этих, как и среди людей, он пытался напускной презрительной скукой, сложными стилистическими изысками и многословными хитроумными иносказаниями прикрыть робость и застенчивость.

Миссис Джек не без растерянности посмотрела вслед Хуку, потом повернулась к его сестре (эта жизнерадостная старая дева с весело блестящими глазами и заразительным смехом обладала тем же обаянием, что и брат, но отнюдь не терзалась, как он, душевными муками и сомнениями) и шепнула:

— Что это сегодня со Стивом? У него такое лицо, словно ему являлись привидения.

— Нет, его только напугало очередное чудовище, — возразила Мэри Хук и засмеялась. — На прошлой неделе у него на носу вскочил прыщик, и он все разглядывал его в зеркале, покуда не уверил себя, что это рак. Мама чуть с ума не сошла. Он заперся у себя в комнате, не выходил оттуда и несколько дней ни с кем не разговаривал. Четыре дня назад послал ей записку с подробными наставлениями насчет своих похорон — он ни за что не хочет, чтобы его сожгли. А третьего дня вышел в пижаме и со всеми нами простился. Заявил, что больше ему не жить, все кончено. Ну, а сегодня он передумал и решил одеться и пойти к вам на прием.

Мэри Хук опять добродушно рассмеялась, комически пожала плечами, покачала головой и смешалась с толпой гостей. А миссис Джек, все еще с несколько озабоченным лицом, обернулась к Джейку Абрамсону, который подошел к ней в конце этого странного разговора и уже минуту-другую ласково поглаживал ее руку.

Невоздержанность наложила на Джейка Абрамсона неизгладимую печать. Это был изнеженный, сластолюбивый, изрядно потрепанный жизнью старик с лицом хищной птицы. Но, как ни странно, лицо это не лишено было своеобразной притягательной силы. Оно дышало и бесконечным терпением, и какой-то цинической умудренностью, и усталым юмором. Казалось, этот человек умеет по-отечески все на свете понять. Словно он безмерно старый и усталый посланник жизни — и жил так долго, повидал так много, изъездил столько разных стран, что даже носить фрак ему так же привычно, как дышать, он держится с такой усталой, небрежной грацией, словно во фраке и родился.

Несколько минут назад, отдав горничной пальто и шелковый цилиндр, он утомленной походкой вошел в гостиную и направился к хозяйке. Сразу видно было, что он относится к Эстер Джек с неподдельной нежностью. Пока она беседовала с Мэри Хук, он молча заботливо глядел на нее, словно благодушный ястреб. Он не сводил глаз с ее лица. Под крючковатым носом пряталась улыбка; потом он взял морщинистой лапой ее маленькую руку и принялся легонько поглаживать атласную кожу повыше кисти. Была в этом и откровенная стариковская ленивая чувственность, и в то же время удивительная отеческая мягкость. Видно было, что этот человек обладал на своем веку многими прелестными женщинами и еще не разучился их

ценить и восхищаться ими, но уже перешел от сильных страстей к родственной благожелательности.

И так же отечески благожелательно он заговорил.

— Вы премило выглядите! — сказал он. — Вы нынче прехорошенькая! — Он все улыбался своей ястребиной улыбкой и все поглаживал руку миссис Джек. — Цветет, как роза! — закончил он, по-прежнему не сводя с нее стариковских усталых глаз.

— О, это вы, Джейк! — удивленно и радостно воскликнула она, словно только сейчас его заметила. — Как мило, что вы пришли! Я и не знала, что вы вернулись. Я думала, вы еще в Европе.

— Был, да сплыл! — усмехнулся старик.

— Вы чудно выглядите, Джейк! Путешествие пошло вам на пользу. Вы похудели. Наверно, лечились в Карлсбаде, да?

— Нет, я не лечился, — с важностью сообщил старик. — Я соблюдал убиету...

Эстер Джек бурно расхохоталась. Вся красная, еле держась на ногах, она ухватилась за Роберту Хайлпринн и беспомощно простонала:

— О, господи! Нет, ты слышала? Он сидел на диете! Ручаюсь, она его чуть не прикончила! Ведь он так любит поесть!

Мисс Хайлпринн превесело фыркнула, по приветливому лицу ее расплылась широчайшая улыбка, так что глаза превратились в чуть заметные щелочки.

— Я соблюдал убиету с самого отъезда, — сказал Джейк. — Уезжал я совсем больной. А вернулся на английском пароходе, — закончил он самым грустным тоном, но с такой многозначительной усмешкой, что обе женщины неудержимо расхохотались.

— Ох, Джейк! — воскликнула Эстер. — Как же вы, бедняжка, исстрадались! Я ведь знаю, вы всегда не слишком жаловали английскую кухню!

— Ну, теперь я ее жалую еще в десять раз меньше, — горестно и покорно молвил старик.

Она опять зашлась от смеха, потом насилу выговорила:

— Брюссельская капуста?

— Она самая, — пресерьезно подтвердил Джейк. — Та же самая, которой меня там кормили десять лет назад. В эту поездку я у них видел брюссельскую капусту, которой место в Британском музее. И еще они кормят все той же доброй старой рыбой, — прибавил он, многозначительно усмехаясь.

— Рыбка из Мертвого моря? — проворковала Роберта Хайлпринн и расплылась в улыбке и стала похожа на Будду.

— Нет, — печально возразил старик, — рыба Мертвого моря для них недостаточно мертвая. Теперь они подают на стол вареную фланель — да еще под добрым старым соусом!.. Помните этот их прекрасный соус? — И он так ехидно усмехнулся, что миссис Джек снова вся затряслась в приступе неодолимой веселости.

— Это вы про тот жуткий... безвкусный... мутно-желтый клейстер? — спросила она сквозь смех.

— Вот именно. — Старик устало покивал, у него был облик утомленного жизнью мудреца. — Вот именно... Вы угадали... Они и сейчас кормят тем соусом... Так что всю обратную дорогу я сидел на убиете! — Впервые с начала разговора в его томном голосе послышалась нотка оживления. — Карлсбад просто ничто по сравнению с убиетой, которую мне пришлось выдержать на английском пароходе. — Он чуть помедлил, усталые глаза его блеснули язвительной насмешкой. — Такая еда годится только для несчастных христиан.

Это упоминание об иноплеменниках, в котором сквозила пренебрежительная усмешка, как-то по особенному соединило всех троих, и внезапно они предстали в новом свете. На губах старика играла чуть заметная умная и холодная улыбка, а женщины веселились безмерно, и все они отлично понимали друг друга. И теперь видно было, что они по-настоящему заодно — дети древнего, одаренного, всезнающего племени, — и со стороны, отчужденно, с насмешливым презрением глядят на темных и невежественных людей иной, низшей породы, не причастных к их познаниям, не отмеченных той же печатью. И тотчас оно миновало —

мгновенье, в котором сказала их извечная обособленность. На лицах женщин теперь светилась лишь спокойная улыбка, все трое вновь принадлежали всему миру.

— Бедняжка Джейк! — сочувственно промолвила Эстер. — И худо же вам было! — И вдруг, вспомнив, восторженно воскликнула: — А Карлсбад красив просто до невозможности, правда?.. Знаете, ведь когда-то мы с Берти там побывали! — При этих словах она ласково взяла Роберту под руку и весело, оживленно продолжала: — Я вам никогда не рассказывала о той поездке, Джейк?.. Это было чудесно! О, господи! — громко рассмеялась она и повернулась к улыбающейся подруге. — Разве можно забыть те первые три-четыре дня, Берти? Помнишь, какие мы были голодные? Думали, что больше не выдержим! Вот был ужас, правда? — И серьезно, даже с недоумением попыталась объяснить: — А потом... сама не знаю... это очень странно... но мы как-то привыкли, правда, Берти? Первые дни были просто ужасные, а потом стало вроде как все равно. Наверно, от слабости, что ли... Я знаю только, что мы с Берти три недели не вставали с постели — и после первых дней это было уже не так страшно. — Она вдруг от души рассмеялась. — Я помню, мы совсем замучили друг друга — все вспоминали разную самую вкусную снедь. Мы тогда задумали: как только закончим курс лечения, сразу пойдем в какой-нибудь шикарный ресторан и закажем громаднейший, роскошнейший обед!.. Ну и вот, — она опять засмеялась, — хотите верьте, хотите нет, настал день, когда лечение кончилось и доктор нам разрешил встать и поесть... а мы с Берти еще несколько часов лежали и мечтали о разной вкусной еде. Это было чудесно! — Она сжала кончики пальцев и комически причмокнула, изображая наслаждение от чего-то неслыханно лакомого, и восторженно взвизгнула, как маленькая, сощуренные глаза ее весело блеснули. — Вы и не слыхали про все вкусности, которыми мы с Берти собирались объедаться. Мы решили устроить самый настоящий пир!.. Ну и вот, наконец мы встали и оделись. И подумать только! Мы до того ослабели, едва держались на ногах, но все равно надели свои самые нарядные платья и наняли по такому торжественному случаю «фоллс-ройс» и шофера в ливрее! Уж наверно, вы за всю свою жизнь не видали таких шикарных дам! Мы уселись в машину и покатали прямо как королевы. Велели шоферу отвезти нас в самый дорогой, роскошный ресторан. И он отвез нас за город, там было очень красиво. Этот ресторан был как настоящий замок! — Она оглядела слушателей сияющими глазами. — Нас увидели еще издали и, наверно, решили, что мы члены королевской семьи, так они все переполошились. Лакеи выстроились в ряд чуть ли не на полквартила и все время кланялись и расшаркивались. О, это было великолепно! Ради такого стоило мучиться, выстрадать весь этот курс лечения... Ну и вот! — Она обвела собеседников взглядом и испустила тяжкий вздох, исполненный глубочайшего уныния и разочарования. — Хотите верьте, хотите нет, сели мы наконец за стол, и оказалось, кусок не идет в горло! Мы так долго мечтали об этом пиршестве... так старательно, до мелочей продумали меню... а только всего и съели, что по яйцу всмятку, да и то целиком не одолели! И уже сыты вот так! — Она провела маленькой рукой поперек горла. — Мы чуть не расплакались от огорчения! Как странно, правда? Наверно, пока сидишь на голодной диете, желудок съеживается и становится совсем крошечный. Столько дней лежишь в постели и все думаешь, какой огромный обед уплетешь, как только встанешь, а когда садишься за стол, не можешь даже справиться с несчастным яйцом всмятку!

Миссис Джек замолчала, пожала плечами и развела руками с такой забавной недоумевающей миной, что все вокруг рассмеялись. Даже усталый, выдавший виды старик Джейк Абрамсон, который, в сущности, вовсе и не слушал ее оживленных речей, а только все время с застывшей улыбкой смотрел ей в лицо, теперь улыбнулся чуть теплее, прежде чем отойти и заговорить с другими.

Мисс Хайлпринн и миссис Джек остались вдвоем посреди гостиной — два столь разных и столь ярких олицетворения богато одаренной женской природы. Каждая была словно создана для своей роли. Каждая превосходно с нею освоилась и нашла способы полней и свободней, без помех, проявить свой талант.

Мисс Хайлпринн была женщина весьма достойная, и это явственно читалось во всем ее облике. Прирожденный организатор, она умела наладить любое дело, и с первого взгляда ясно было, что в передрягах и стычках практической жизни эта любезная дама даст сто очков вперед всякому мужчине. В ней было что-то маслянистое — маслянистость горючего, которое наделяет жизнью и движением самые мощные моторы.

Уже многие годы она царила на Бродвее, возглавляя прославленный театр, и ее острым умом и деловой хваткой поневоле восхищались даже ярые противники. В ее задачу входило продвигать пьесу, руководить постановкой, следить за сборами и при том, как они скудны и ненадежны, не позволить бродвейским хищникам обобрать труппу до нитки. Блистательные успехи этой женщины, сила ее воли, стойкость и мужество видны были во всем ее чеканном облике. Даже не слишком искушенный наблюдатель мог понять, что в неравном поединке между мисс Хайлпринн и хищниками с Бродвея победа доставалась не хищникам.

Быть может, в этой яростной, непрестанной борьбе, пробуждающей такие злые страсти, такую неугасимую ненависть, что глаза наливаются желчью, а рот кривится недоброй гримасой, будто застарелый шрам на изможденном лице, — быть может, черты мисс Хайлпринн посуровели и огрубели? Быть может, губы ее угрюмо поджались? И подбородок выступает вперед, словно гранитный утес? Заметны ли на ней следы сражений? Ничуть не бывало. Чем ожесточенней борьба, тем любезней ее лицо. Чем коварней интриги, в которые вовлекает ее жизнь Бродвея, тем благодушней и мелодичней звучит ее сочный смешок. На этой-то почве она и процветает. Кто-то из ее коллег так и сказал: «Роберта и сама не понимает, что она всего счастливей и вполне чувствует себя в своей стихии, когда резвится среди гремучих змей».

И вот она стоит и разговаривает с миссис Джек, удивительно красивая и ни на кого не похожая. Седые волосы зачесаны а-ля Помпадур, невозмутимо уверенная осанка еще подчеркнута великолепным свободным и изящным платьем. И во всем облике почти неправдоподобная мягкость и вкрадчивость, но без тени лицемерия. И, однако, приглядевшись, замечаешь, что эти весело блестящие глаза, которые так добродушно шурются в улыбке, на самом деле острые, точно стальные лезвия, и от них ничто не укроется.

Как ни странно, миссис Джек была натура несложней, чем ее милая и любезная подруга. По существу, ничуть не менее проникательная, искушенная, хитроумная, полная не меньшей решимости добиваться своего в этом суровом мире, она, однако же, шла к цели иными путями.

Почти все считали, что она «очень романтическая особа». Друзья говорили о ней: «такая красивая», «такая добрая», «совсем ребенок». Да, все это было верно. Ибо она рано поняла, что это очень удобно, когда у тебя веселое розовое личико и от тебя так и веет наивным удивлением и детским простодушием. Ее неуверенная, но добродушная улыбка, обращенная к друзьям, словно говорила: «Вы, кажется, надо мной смеетесь? А почему? Уж не знаю, что я такого сделала и сказала. Конечно, мне за вами не угнаться, вы все ужасно умные и сообразительные... но все равно мне весело и я вас всех очень люблю».

Почти для всех Эстер Джек была именно и только такая. И лишь немногие знали, сколько в ней скрыто всякого, чего сразу не разглядишь. Знала это и любезная дама, которая сейчас с нею разговаривала, стоя посреди ее гостиной. От взгляда мисс Роберты Хайлпринн не ускользала ни единая уловка этого почти бессознательно обманчивого простодушия. Быть может, как раз поэтому, когда Эстер досказала свою забавную историю и с комическим недоумением посмотрела на Джейка Абрамсона, смешливая искорка в глазах мисс Хайлпринн вспыхнула чуть ярче, загадочная улыбка, подобная улыбке Будды, стала еще немного безмятежней, а сочный смех — еще чуточку заразительней. И, может быть, оттого-то, повинувшись внезапному порыву всепонимающего сочувствия и неподдельной нежности, мисс Хайлпринн наклонилась и поцеловала румяную щечку Эстер.

А та, хоть выражение удивленного восторженного простодушия ни на миг не сошло с ее лица, прекрасно понимала, что происходит в душе подруги. Ибо на краткий, едва уловимый миг женщины посмотрели друг другу прямо в глаза, не туманя взгляд пеленою лукавой уклончивости. И это был миг, достойный гомерического смеха богов.

Миссис Джек, сияя улыбкой, приветливо встречала друзей, а меж тем в дальнем уголке ее сознания таилась совсем другая забота. Ибо один гость еще не явился, и она неотступно думала о нем.

«Где он, хотела бы я знать? — думалось ей. — Почему не пришел? Хоть бы не выпил вчера лишнего! — Она окинула тревожным взглядом нарядную толпу гостей. — Если б он так не избегал бывать в обществе! — нетерпеливо подумала она. — Если б ему было приятно встречаться с людьми... ходить куда-нибудь по вечерам! Ну да что там... уж такой он есть. Его не переделаешь, и стараться нечего. Да я и не хотела бы, чтоб он был другим».

И тут он пришел.

«Наконец-то! — радостно и с облегчением подумала она. — Пришел — и в полном порядке!»

По правде говоря, перед тем как выйти из дому, Джордж Уэббер изрядно хватил крепкого, чтобы получше подготовиться к предстоящему испытанию. От него разлило дешевым джином, в глазах был диковатый блеск, а движения — быстрее и несколько порывистей обычного. И все же он был, как выразилась про себя Эстер, «в полном порядке».

«Если б только он поспокойней относился к людям... к моим друзьям... ко всем моим знакомым, — думала она. — Просто не понимаю, отчего они его так раздражают. Вчера, когда он мне позвонил, он был такой странный! Наговорил какого-то вздора. Что это на него нашло? А, ладно... сейчас это не важно. Главное, он пришел. Как я его люблю!»

Лицо ее засветилось нежностью, сердце забилося быстрее, и она пошла навстречу Джорджу.

— А, здравствуйте, милый! — сказала она ласково. — Наконец-то. Как я рада! Я уж боялась, что вы и правда не придете.

Он поздоровался и ласково и грубовато, тут все смешалось: застенчивость и воинственность, смирение и вызов, гордость, надежда, любовь, подозрительность и сомнения.

Он вовсе не желал идти на этот прием. С первой же минуты, как она его пригласила, он яростно отбивался, так и сыпал отговорками. День за днем они препирались и, наконец, она взяла верх и вырвала у него обещание прийти. Но приблизился назначенный день, и Джордж снова заколебался, а накануне часами шагал из угла в угол, мучился нерешительностью и клял себя на чем свет стоит. Наконец, уже за полночь, с отчаяния схватился за телефонную трубку, перебудил у Джеков весь дом, пока дозволялся Эстер, и заявил ей, что не придет. И заново привел ей все свои резоны. Он и сам их толком не понимал, но суть была в том, что он и Эстер существуют в слишком разных, несовместимых мирах — и он уверен, так ему подсказывают и чутье и рассудок, что ему необходимо сохранять полную независимость от ее, Эстер, мира, иначе он просто не сможет делать свое дело. В совершенном отчаянии он силился ей все это объяснить, а она, видно, никак не могла взять в толк, куда он клонит. Под конец она и сама чуть не пришла в отчаяние. Сперва слушала с досадой и сказала: хватит валять дурака. Потом разобиделась, вспылила и напомнила — ведь он дал слово!

— Мы уже сто раз все это переговорили! — почти крикнула она со слезами в голосе. — Ты обещал, Джордж, ты же и сам знаешь! А теперь все устроено. Отменить ничего нельзя, поздно. Неужели ты меня так подведешь!

Перед такой жалобной мольбой он не устоял. Конечно же, этот прием устроен был не ради него одного, и если он не придет, ничего не сорвется. Его отсутствие заметит одна только Эстер. Но он и вправду, хоть и скрепя сердце, обещал прийти и понимал, что все его рассуждения сводятся для нее к единственному простому вопросу: сдержит ли он слово? Итак, он снова покорился. И вот он здесь, смущенный, растерянный, и хотел бы только одного — очутиться где-нибудь за тридевять земель.

— Я уверена, тебе будет очень весело! — с живостью говорила между тем Эстер. — Вот увидишь! — Она крепко сжала его руку. — Я тебя познакомлю с кучей всякого народу. Но ты, наверно, голодный. Сперва поди поешь. Тут масса всяких вкусных вещей, все твое любимое.

Я нарочно для тебя постаралась. Поди в столовую и подкрепишься. А мне еще надо побыть тут, принимать гостей.

Она отошла поздороваться с вновь прибывшими, а Джордж неловко застыл на месте, исподлобья оглядывая блестящее общество. Выглядел он в эту минуту довольно нелепо. Низкий лоб, обрамленный коротко подстриженными черными волосами, горящие глаза, мелкие и словно сплюснутые черты лица, длинные, чуть не до колен свисающие руки с подогнутыми широкими кистями... больше чем когда-либо он походил на обезьяну, и сходство еще подчеркивал нескладно сидевший на нем смокинг. Заметив его, люди смотрели с недоумением, потом равнодушно отворачивались и продолжали говорить о своем.

«Так вот они, ее распрекрасные друзья! — смущенно и зло думал Джордж. — Я бы мог заранее догадаться, — бормотал он про себя, сам не зная, о чем это он мог бы догадаться. Такие холеные физиономии, такое в них хладнокровие, самоуверенность и многоопытность, что Джорджу всюду мерещилась оскорбительная усмешка, хотя никто и не думал его задеть и оскорбить. — Я им покажу!» — преглупо проворчал он сквозь зубы, сам не зная, что имеет в виду.

С этими словами он круто повернулся и, пробираясь через праздничную толчею, двинулся в столовую.

— Вы знаете... Послушайте!..

Это говорилось быстро, с жаром, хриловатым голосом, полным странного очарования — и, заслышав этот голос, миссис Джек невольно улыбнулась тем, кто окружал ее в эту минуту.

— А вот и Эми! — сказала она. Обернулась и увидела головку лукавой феи в буйном ореоле смоляных кудрей, вздернутый носик, россыпь крохотных веснушек, премилую рожицу, которая излучала прямо-таки мальчишеское восторженное оживление. И подумала: «Какая же она красивая! И есть в ней что-то такое... такая она прелесть, такая чистая душа!»

Но едва отдав мысленно дань восхищения кудрявой и словно бы совсем юной фее, миссис Джек почувствовала, что это не совсем верно. Нет, у Эми Карлтон было немало разных достоинств, но никто не назвал бы ее чистой. Правду сказать, женщиной с дурной славой она не считалась по одной-единственной причине: даже по меркам Нью-Йорка эта ее слава перешла все пределы. Карлтон была известна всем, и все про нее известно было всем, но что тут правда и каково подлинное лицо под этой очаровательной маской девичьей веселости, этого не знал никто.

Основные вехи? Что ж, родилась она под счастливейшей звездой, в сказочно богатой семье. Детство ее прошло как у настоящей долларовой принцессы, ее холили и лелеяли, оберегали и ограждали, она росла, точно в золотой теплице, и ни в чем не знала отказа. Потом, как положено всем отпрыскам «сливок общества», училась в самых дорогих заведениях и путешествовала то по Европе, то в Саутгемптон, в Нью-Йорк, на Палм-бич. К восемнадцати годам начала «выезжать в свет» и славилась красотой. К девятнадцати вышла замуж. А к двадцати была уже разведена, и на имя ее легло пятно. Процесс был громкий и скандальный. Даже в ту пору она вела себя столь безнравственно, что муж без труда выиграл дело.

С тех пор, — а прошло уже семь лет, — жизнь ее невозможно было разметить какими-либо датами. Хоть ей было еще далеко до тридцати, она словно целую вечность провела в беззаконии. Станет кто-нибудь вспоминать иную скандальную историю, связанную с ее именем, и вдруг спохватится, только руками разведет: «Да нет же! Не может быть! Ведь это случилось всего три года назад, а с тех пор она еще успела... да ведь она же...» — и ошеломленно уставится на кудрявую головку юной феи, на вздернутый носик и мальчишески оживленную рожицу, и смотрит с таким чувством, будто перед ним грозная голова Медузы или некая коварная Цирцея, чей возраст — вечность и чье сердце старо, как сама преисподняя.

И время словно бы теряло смысл, действительность лишалась всякого правдоподобия. Видишь ее, вот как сейчас в Нью-Йорке, — смеющееся олицетворение счастливой невинности в детских веснушках, — а пройдет неделя, отправишься по делам в Париж — и застанешь там ее в сборище гнуснейших распутников; обеспамятев от опиума, оскверненная, перепачканная,

наслаждается она объятиями какого-нибудь подонка, так глубоко погрязнув в мерзостной клоаке, словно родилась и выросла в трущобах, а другой жизни никогда и не знала.

После первого брака и развода она еще дважды была замужем. Второй брак длился всего лишь двадцать часов и признан был недействительным. Третий кончился тем, что муж Эми застрелился.

А до этих замужеств и после, и в промежутках, и между делом, и заодно, опять и опять, там и тут, на родине и за границей, на семи морях и на любом клочке всех пяти частей света, ныне, и присно, и во веки веков... можно ли ее назвать безнравственной? Нет, так о ней не скажешь. Ибо она была как вольный ветер, а ведь воздух не определишь жалким словечком «безнравственный». Просто она спала со всеми без разбору — с белыми и черными, с желтыми, розовыми, зелеными и лиловыми... но она никогда не была безнравственной.

То было время, когда романтическая литература воспевала прекрасное, но падшее создание, очаровательную даму в зеленой шляпе, никогда не упускавшую случая согрешить. История эта всем знакома: героиня ее — страдальца, жертва злого рока и несчастного случая, чью гибель повлекли трагические обстоятельства, ей не подвластные, и она за них не в ответе.

Были люди, которые всячески старались оправдать Эми Карлтон, изображая ее вот такой романтической героиней. Ходили многочисленные легенды о том, что же «впервые толкнуло ее на путь греха». Одна трогательная версия относилась начало конца к тому часу, когда восемнадцатилетняя наивная проказница просто из озорства на званом обеде в Саутгемптоне в присутствии множества именитых вдовствующих особ закурила сигарету. По уверениям рассказчиков, этой-то безобидной легкомысленной шуточкой Эми и навлекла на себя беду. Тогда-то, говорили они, титулованные вдовицы и осудили ее окончательно и бесповоротно. Заработали злые языки, как снежный ком росла сплетня, доброе имя девушки вываливали в грязь. Доведенная до отчаяния бедная девочка и правда сбилась с пути истинного — сперва пристрастилась к вину, за вином пошли любовники, а там и опиум, и... и все прочее.

Разумеется, все это были попросту романтические бредни. Эми и вправду стала жертвой трагического жребия, только сотворила она его своими же руками. Как то было с дражайшим Брутом, вина тут крылась не в расположении звезд, но в ней самой. Ибо, наделенная столь многими редкостными и драгоценными дарами, которых не хватает большинству людей, — богатством, красотой, обаянием, умом и жизненной энергией, — она лишена была воли, стойкости, выдержки. А лишённая всего этого, она оказалась рабой своих преимуществ. Непомерное богатство позволяло ей потакать любым своим прихотям и капризам, и никто никогда не учил ее от чего бы то ни было отказываться.

В этом смысле она была истинное дитя своего времени. Вся ее жизнь проходила под знаком бешеных скоростей, потрясающих перемен, бурного лихорадочного движения, — неистощимое, оно в самом себе черпало силы и неукротимо, безумно нарастало, не зная ни передышки, ни предела. Она успела всюду побывать, «все видела» — как можно что-либо увидеть из окна скорого поезда, который пожирает восемьдесят миль в час. И, очень быстро истощив запас всего, что можно пересмотреть в калейдоскопе общепризнанных зрелищ и диковинок, давно уже принялась исследовать тайны более причудливые и зловещие. Здесь снова богатство и связи среди сильных мира сего открыли перед нею двери, замкнутые наглухо перед простыми смертными.

И теперь она была на короткой ноге со многими кружками самых изощренных декадентов «высшего света» в крупнейших городах мира. В своем преклонении перед всем необычным она проникала на самые темные окраины жизни. Ее знакомству с «дном» Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина могла бы позавидовать полиция. Да и полиция сквозь пальцы смотрела на опасные похождения этой сказочно богатой женщины. Какими-то путями, которые ведомы лишь власти имущим, финансовым или политическим воротилам, она получила полицейское удостоверение, а с ним — право водить свою низкую и длинную гоночную машину, не соблюдая никаких правил уличного движения. И хоть Эми была близорука, она вихрем носилась по самым оживленным магистралям Манхэттена, да еще

полицейские отдавали честь этой летящей мимо бешеной машине. А ведь один автомобиль она уже разбила, и молодой спутник ее при этом погиб, и вдобавок полиция знала, что однажды Эми участвовала в попойке, во время которой был убит один из главарей преступного мира.

Вот потому-то и казалось, что, при своем богатстве, власти и неистовой энергии, Эми в любой стране может получить все, чего ни пожелает. Когда-то люди говорили: «Ну, что еще Эми начудит в следующий раз?» А теперь говорили иначе: «Да неужели она еще не все перепробовала?»

Если бы жизнь сводилась только к стремительному движению и острым ощущениям, Эми, кажется, и вправду бы уже всю ее исчерпала. Только и осталось бы — мчаться еще быстрее, испытывать новые перемены, новые неистовства и острые ощущения — до конца. А что в конце? Конец мог быть только один — разрушение, и печать разрушения была уже заметна. Оно отразилось на глазах Эми, зрение ей изменяло, мир предстал перед нею в искаженном и расщепленном болезненном обличье. Она перепробовала в жизни все — но не пробовала жить. А теперь было уже поздно, слишком давно и слишком непоправимо она сбилась с пути. И оставалось только одно — умереть.

«Вот если бы все для нее сложилось по-другому!» — с сожалением думали люди, как думала сейчас Эстер Джек, глядя на прелестную чернокудрую головку. И пускались в безнадежные поиски по лабиринтам прошлого: где же секрет, в какую минуту она заблудилась? И твердили: «Беда подстерегала вот здесь... или тут... нет, вон там, видите?... Ах, если бы...»

Ах, если бы люди слеплены были не из плоти и крови, не из чувств и страстей, а просто из глины! Если бы!

— Вы знаете... Послушайте!..

С этими восклицаниями, в которых так часто выражалась беспредметная восторженность и еле пробудившаяся мысль, Эми выхватила изо рта сигарету и хрипло, порывисто рассмеялась, сразу видно было — ей не терпится всем открыть, что же переполняет ее таким ликованием.

— Послушайте! — опять выкрикнула она. — Вы только сравните это с ерундой, которую нам преподносят теперь! Послушайте! Ну, никакого сравнения!

Она победоносно рассмеялась, словно все и каждый наверняка поняли, что она хотела сказать этими невнятными возгласами, яростно затянулась и вновь рывком отняла от губ сигарету.

Эми была точно некое светило в тесном кольце спутников, среди которых находился и ее очередной возлюбленный — молодой японец, и его непосредственный предшественник, молодой еврей; теперь весь этот кружок передвинулся к камину и рассматривал висящий над ним портрет миссис Джек. Портрет осыпали похвалами, и он их вполне заслуживал. То была одна из лучших работ Генри Мэллоу в ранний период его творчества.

— Нет, вы только посмотрите и подумайте, как давно это написано! — торжествующе кричала Эми, показывая на портрет короткими взмахами сигареты. — И какая она тогда была красивая, и сейчас какая красивая! — воскликнула она восторженно, хрипло рассмеялась и с досадой окинула все вокруг горящим взглядом серо-зеленых глаз. — Вы знаете! Просто никакого сравнения! — Она нетерпеливо затянулась сигаретой. И, сообразив, что сказала что-то не то, продолжала почти с отчаянием: — Послушайте! — Она сердито швырнула сигарету в пылающий камин. — Ведь это же так ясно! — пробормотала она, чем окончательно привела слушателей в недоумение. И внезапно обратилась к Стивену Хуку (он все еще стоял тут, в стороне, облокотясь на угол каминной полки), требовательно спросила: — Когда это было, Стив?.. Вы знаете... двадцать лет назад, верно?

— Да уж не меньше, — с холодной скукой в голосе отозвался Хук. Он беспokoйно и смущенно попятился еще дальше и повернулся к подошедшей молодежи чуть ли не спиной. — Я бы даже сказал, около тридцати, — кинул он через плечо и небрежно, равнодушно назвал дату. — По-моему, портрет написан в тысяча девятьсот первом или втором — не так ли,

Эстер? — спросил он миссис Джек, которая как раз подошла к кружку Эми. — Примерно в девятьсот первом, не так ли?

— О чем это вы? — спросила Эстер Джек и тут же продолжала: — А, портрет? Нет, Стив. Он написан в девятьсот... (она спохватилась мгновенно, никто, кроме Хука, этого не заметил)... шестом.

Тут она уловила на его бледном, скучающем лице тень улыбки и глянула быстро, предостерегающе, но он лишь пробормотал:

— А... значит, гораздо позже, я и забыл.

На самом деле он прекрасно помнил, когда закончен был портрет, помнил и месяц, и даже день. И, все еще размышляя о женских причудах, подумал: «До чего все они глупы! Как она не понимает, ведь всякий, кто хоть что-нибудь слышал про Мэллоу, в точности знает, когда написан ее портрет».

— Ну, конечно, я тогда была совсем девчонкой, — быстро объясняла миссис Джек. — Лет восемнадцати, а то и меньше...

«И, стало быть, теперь тебе сорок один, а то и меньше! — насмешливо подумал Хук. — Нет, моя милая, тебе во времена этого портрета было все двадцать и ты уже третий год была замужем... и чего ради женщины лгут!» Его разбирала досада и злость... Он смотрел на Эстер — в глазах ее вспыхнул мгновенный испуг, почти мольба. Он проследил за ее взглядом и увидел нескладную фигуру Джорджа Уэббера, тот неловко топтался в дверях столовой, и ему явно было не по себе. «Вот оно что! — подумал Хук. — Этот малый... Наверно, она ему сказала...» Он опять вспомнил ее умоляющий взгляд, и в нем шевельнулась внезапная жалость. Но вслух он только пробормотал равнодушно:

— Да, конечно, лет вам тогда было немного.

— Бог ты мой! — воскликнула Эстер Джек. — А ведь я была хороша! — Она сказала это с таким простодушным удовольствием, что в ее словах не осталось и намека на предосудительное тщеславие, и окружающие ласково заулыбались. А у Эми Карлтон вместе с быстрым смешком вырвалось:

— Ох, Эстер! Честное слово, вы самая... Вы знаете!.. — нетерпеливо крикнула она и тряхнула черными кудрями, будто споря с невидимым противником. — Она и правда...

— Ну еще бы! — Все лицо миссис Джек задрожало от смеха. — Вы в жизни не видели другой такой красавицы! Я была ну просто загляденье. От меня просто глаз нельзя было оторвать!

— И сейчас нельзя, дорогая! — закричала Эми. — Я же о том и говорю!.. Дорогая, вы самая-самая... Ведь правда, Стив? — Она как-то неуверенно засмеялась и с лихорадочным нетерпением смотрела на Хука, дожидаясь ответа.

А он, охваченный ужасом и жалостью, читал в растерянном взгляде этих больных глаз гибель, утрату, отчаяние. Посмотрел на нее свысока из-под устало опущенных век, ледяным тоном уронил: «Что такое?» — скучающе вздохнул и отвернулся.

Рядом с ним улыбалась Эстер Джек, а сверху, с портрета, смотрела прелестная девушка — та, какую она была когда-то. И его пронзила острая боль: как мучительно, как непостижимо время!

«Бог ты мой, посмотрите на нее! — подумал он. — Все еще с виду сущий ребенок, все еще хороша, все еще влюблена — да в кого, в мальчишку! И прелестна почти так же, как тогда, когда сам Мэллоу был мальчишкой!»

В тысяча девятьсот первом году! О, Время! Цифры заплясали, как пьяные, и Стивен потер глаза ладонью. Тысяча девятьсот первый! Сколько веков назад это было? Сколько минуло жизней и смертей и наводнений, сколько миллионов дней и ночей, полных любви и ненависти, страданий и страха, вины, надежд, разочарований и поражений погребено в древних эрах этой чудовищной катакомбы, этого загадочного острова! Тысяча девятьсот первый! Боже милостивый! Доисторическая эра человечества! Да ведь все это было миллионы лет тому назад! С той поры так много всего началось, и кончилось, и забылось — столько неизвестных жизней, со всей их правдой и юностью и старостью, столько утекло крови, и пота,

и жгучих слез... да он и сам прожил добрую сотню таких жизней. Да, он столько раз жил и умирал, прошел через все эти рождения и смерти и темное забвение, выбивался из сил, боролся, надеялся, погибал века и века, так что самая память бессильна... ощущение времени стерлось... и кажется, все это было вне времени, во сне... Тысяча девятьсот первый! Оглянешься на него сейчас, вот из этой минуты, из этой комнаты, — и он словно Большой Каньон из человеческой плоти, и крови, и нервов, и мозга, и слов, и мыслей, застывший вне времени, окаменевший, уплотнившийся в некий неизменный геологический пласт, погребенный в непостижимых глубинах иных напластований вместе со всеми чепцами, турнюрами и старыми песнями, соломенными шляпами и котелками, цоканьем забытых подков и стуком забытых колес по забытым булыжным мостовым... все это вперемешку со скелетами утраченных идей осталось в едином окаменевшем пласте мира, который давно канул в небытие... а между тем *она* ... Она! Да, конечно же, она, как и он, была частью того мира!

Она обернулась, заговорила с другим кружком гостей, и Стивен услышал ее слова:

— Ну, конечно, я знала Джека Рида. Он бывал в доме у Мейбел Додж. Мы были друзьями... Тогда еще Альфред Штиглиц открыл свой салон...

Знакомые имена! Разве не был и он среди тех людей? Или то было лишь иное перевоплощение, еще один призрак в обманчивом театре теней, что зовется временем? Быть может, он стоял рядом с нею, когда к берегам Америки отплывал «Мейфлауэр»? Уж не были ли они оба пленниками среди покоренных фракийцев? Быть может, он зажигал светильники в шатре, куда она пришла покорить своими чарами владыку Македонского и тем заслужить свободу?... Все здесь призраки — все, кроме нее! А она — всеядное дитя времени — среди этого необъятного скопища теней одна остается бессмертной, одна верна себе; точно бабочка, она сбрасывала одну за другой оболочки всех своих прежних «я», словно все жизни, которые она прожила, были всего лишь изношенным платьем — и вот она стоит здесь... здесь! Боже праведный! — на истаявшем огарке времени... И лицо ее сияет, как солнышко, словно она вот сейчас услышала, что завтра настанет золотой век, и ждет не дожидается завтрашнего дня, чтоб своими глазами поглядеть, все ли сбудется, как обещано!

Тут Эстер Джек снова обернулась на голос Эми и вся подалась ей навстречу, будто, если вслушаться повнимательней, в этих сбивчивых восклицаниях все же откроешь какой-то смысл.

— Вы знаете... Послушайте!.. Право же, Эстер!.. дорогая, вы самая... Это прямо... Вы знаете, когда я вижу вас рядом, я просто не могу... — хрипло вскрикивала Эми, и ее прелестное личико сияло радостью. — Нет, я хочу сказать!.. — Она тряхнула головой, досадливо отшвырнула очередную сигарету и протяжно выдохнула: — Фу, черт!

Бедное дитя! Бедное дитя! Стивен Хук высокомерно отвернулся, пряча страдающие глаза. Так быстро вырасти и уйти, сгореть и сгинуть, как все мы, смертные. Да, она такая же, как он сам: слишком спешит прожить всю свою жизнь в единый миг, не станет скупиться, предусмотрительно откладывать толику впрок, на грозный час, на черный день... слишком спешит все истратить, все отдать, спалить себя, как ночной мотылек в безжалостных слепящих огнях.

Бедное дитя! Бедное дитя, — думал Стивен. Наша жизнь такая короткая, мимолетная, преходящая, оба мы отпрыски младшей ветви человечества. А посмотри на этих! Он огляделся: вокруг надменной усмешкой кривятся губы, раздуваются чувственно вырезанные ноздри. Да, эти — более древней закваски, эти не дряхлеют, вечно возрождаются, вечно держат, но мудро остерегаются пламени... они-то не сгинут! О, Время!

Бедное дитя!

16. Решение

Джордж Уэббер всю наслаждался роскошным угощением, так соблазнительно расставленным в столовой, и теперь, утолив голод, уже несколько минут стоял в дверях и

созерцал блистательную картину, открывшуюся перед ним в огромной гостиной. Он колебался: то ли смело нырнуть в толпу и поискать — с кем бы можно поговорить, то ли еще отложить пытку и помешкать в столовой. Ведь там осталось немало блюд, которых он даже не попробовал, а это жаль. Но он уже изрядно насытился и едва ли сумеет сделать вид, будто все еще закусывает, так что выбора, пожалуй, нет, надо собраться с духом и постараться не ударить лицом в грязь.

С ощущением «Ну, делать нечего!» он уже решил — и вдруг заметил Стивена Хука, который был ему давно знаком и симпатичен, и с огромным облегчением направился прямо к нему. Стивен стоял, опершись на каминную полку, и беседовал с какой-то красивой женщиной. Он еще издали увидел Джорджа и, небрежно протянув ему свою мягкую пухлую руку, сказал рассеянно:

— А, как поживаете?.. Послушайте, у вас есть телефон? — Как обычно, когда Хук действовал движимый чутким и великодушным сердцем, тон его был намеренно безразличен и он делал вид, будто ему нестерпимо скучно. — Я на днях пытался вас отыскать. Может, вы как-нибудь заглянете ко мне и пообедаем вместе?

По правде говоря, мысль эта пришла ему в голову только сию минуту. Уэббер знал, что слова эти вызваны внезапным порывом сочувствия, желанием подбодрить его — пусть не барахтается в этом сверкающем изысканном водовороте, будто потерпевший кораблекрушение, пусть обретет хоть какую-то опору. С того самого раза, когда он впервые встретился с Хуком и увидел его отчаянную застенчивость и неприкрытый ужас в его взгляде, он понял, что это за человек. Его уже не могли обмануть ни скучливое равнодушие в лице Хука, ни искусно вычурная речь. За этими масками Джордж ощущал чистоту, великодушие, благородство, тоску истерзанной души. И сейчас он с глубокой благодарностью пожал протянутую ему руку, чувствуя себя в эту минуту как растерявшийся пловец, который ухватился именно за то, что поможет ему удержаться в этих пугающих, непостижимых и, пожалуй, даже опасных течениях. Он поспешно, невнятно поздоровался, сказал, что с радостью с ним как-нибудь пообедаст... в любой день... когда угодно, и стал подле Хука с таким видом, будто уже не сдвинется отсюда до конца вечера.

Хук сказал ему несколько слов в своей обычной манере, как бы между делом, и представил своей собеседнице. Джордж попытался занять ее разговором, но, в ответ на все его замечания, она лишь холодно на него смотрела и молчала. Смущенный таким ее поведением, Джордж огляделся по сторонам, словно кого-то искал, и в последнем усилии хоть что-то сказать и сделать вид, будто он вовсе не растерян и не зря озирался по сторонам, он выпалил:

— Вы... вы не видели где-нибудь здесь Эстер?

И миг почувствовал, как неуклюж и неловок его вопрос, да и нелеп, — ведь хозяйка дома стояла у всех на виду в каких-нибудь пяти шагах от него и беседовала с гостями. И странная молчунья теперь сразу отозвалась, будто только этого и ждала. Обратила к нему ослепительную надменную улыбку и сказала холодно, недружелюбно:

— Где-нибудь? Да, я думаю, вы ее где-нибудь найдете... где-нибудь вон там. — И она кивком показала в сторону миссис Джек.

Не слишком остроумный ответ. Едва ли не такой же глупый, как его вопрос, подумалось Джорджу. Да и недружелюбие не обращено против него — просто это дань моде, готовность пренебречь хорошими манерами ради острого словца. Почему же тогда лицо его гневно вспыхнуло? Почему он сжал кулак и обернулся к этой улыбающейся пустышке с такой угрозой в горящем взгляде, словно сейчас накинется и избьет ее?

Но, едва приняв эту воинственную позу, он сообразил, что ведет себя, точно сбитый с толку мужлан, и оттого почувствовал себя еще в сто раз неотесанней, чем казался. Он хотел найти какие-то слова, что-то ей ответить, но мозг оцепенел, только лицо и шея так и пылали. Да, конечно, костюм сидит на нем плохо, топорщится вокруг воротничка, и сам он являет собою жалкое зрелище, и эта женщина, — «проклятая сука!» — неслышно пробормотал он, — смеется над ним. Итак, вконец уничтоженный и посрамленный, не столько этой женщиной, сколько сознанием, что ему здесь не место, он повернулся и пошел прочь, ненавидя и себя, и

это сборище, а больше всего собственную глупость: зачем пришел?

И ведь не хотел приходить! Это все Эстер! Она за это в ответе! Она во всем виновата. В полном замешательстве, в неразумном гневе на все и вся он прислонился к стене в другом конце комнаты и, сжимая и разжимая кулаки, свирепо озирался по сторонам.

Но сама сила и несправедливость этой злости постепенно успокаивала и отрезвляла его. Наконец он понял, до чего все это вышло нелепо, и начал внутренне смеяться и издеваться над собой.

«Так вот почему ты не хотел идти, — с презрением думал он. — Боялся, что дурацкие слова какой-нибудь невоспитанной идиотки кольнут твою нежную шкуру! Вот болван! Эстер права!»

Но, в сущности, права ли? Он так спорил с ней, так доказывал, что ради своей работы должен держаться подальше от ее мира. Неужели этим он просто пытался оправдать свою неспособность примениться к светскому обществу? Неужели он пустился во все это теоретизирование лишь для того, чтобы избавить свою столь уязвимую персону от нелепых и унижительных сцен вроде той, которая сейчас разыгралась по его вине?

Нет, это не ответ. Есть и другие причины. Теперь он уже достаточно остыл, мог посмотреть на себя со стороны — и сразу же понял: когда он говорил Эстер, что у нее свой мир, а у него свой, он и сам толком не знал, что под этим подразумевает. Отговорки его были символами чего-то действительно существенного, чего-то важного, что он бессознательно ощущал, но никогда прежде не определял словами. Потому-то ему и не удавалось ее убедить. Так что же это такое? Чего он боялся? Суть не только в том, что он и вправду не любит больших приемов и сам знает, что не обучен светскому обхождению, какое для них требуется. Отчасти оно так — да, конечно. Но это лишь доля правды — самая малая частица, пустяковая, личная. Есть что-то еще, уже не просто личное, что-то куда большее, чем его «Я», для него необыкновенно важное, от чего никак нельзя отречься. Но что же это такое? Попробуем-ка посмотреть этому прямо в лицо и во всем разобраться.

Теперь он совсем остыл и, поглощенный глубинной задачей, которая из-за этого смешного, нелепого происшествия стала перед ним так остро, принялся разглядывать окружающих. Пристально всматривался в лица и пытался проникнуть за светские маски, сверлил, бурил, пронизывал их взглядом, словно искал ключ, который помог бы разгадать не дававшую ему покоя загадку. Общество здесь, конечно же, самое избранное. Блестящие, преуспевающие мужчины и красивые женщины. Самые сливки Нью-Йорка. Но сейчас все его чувства обострились, и, зорко, настороженно всматриваясь, он замечал и людей совсем иной масти.

К примеру, вон тот — напудрен, закатывает глаза, жеманится, зазывно вихляет бедрами, — никаких сомнений, это особь не того пола! Уэббер знал, что люди этого сорта и склада стали в светских кругах баловнями, какой-то помесью болонки с шутком. У редкой хозяйки салона блестящий раут вроде сегодняшнего обходится без такого гостя. Интересно, почему бы это, думал Джордж. Может, таков уж дух времени, что гомосексуалист завладел местом и особыми правами, какими пользовался в старину горбатый шут при королевском дворе, и его уродство стало предметом откровенных насмешек и непристойных шуток? Но по той ли, по иной ли причине, а так оно и есть. Жеманство и манерность такого субъекта, его ужимки, и шпильки и пикантные ядовитые остроты — полная противоположность злым сарказмам стародавних шутов. Так вот. Мелкими шажками этот субъект жеманно семенит по гостиной, голова его томно клонится набок, усталые глаза на добела напудренном, пергаментном лице полуприкрыты припухшими веками, порой он останавливается, по-девичьи машет ручкой знакомым в разных концах огромной комнаты и при этом говорит:

— О, привет!.. Вот вы где!.. Идите же сюда!

Все это производит неотразимое впечатление — женщины начинают истерически хохотать, а мужчины сквозь хохот бормочут что-то невнятное.

А вон там в углу женщина, подстриженная по-мужски, угловатая, с жестким неподвижным лицом, держит за руку смазливенькую смущенную девушку... явная

нимфоманка.

Услыхав отрывистые возгласы: «Вы знаете... Послушайте!» — Уэббер оглянулся и увидел темные кудри Эми Карлтон. Он знал, кто она, и знал ее историю, но если бы и не знал, уж наверно отчасти угадал бы по ее лицу, по этому трагическому выражению заблудшей невинности. Однако прежде всего ему бросилась в глаза кучка окружавших ее мужчин, среди них молодой еврей и молодой японец — ни дать ни взять стая кобелей, что гонятся за сукой. Было это так открыто, так обнаженно, так бесстыдно, что его затошнило.

Потом на глаза ему попался Джон Этингер — он стоял чуть поодаль от всех с женой и любовницей, и по тому, как они держались друг с другом, Уэббер безошибочно определил их отношения.

Он подмечал все новые знаки упадка в этом обществе, которому прежде так завидовал и к которому так стремился, — и на лице его все явственней проступало презрение. А потом в толпе гостей он увидел учтливового хозяина — мистера Джека — и вдруг залился краской: а сам-то! Кто он есть, чтобы смотреть на них свысока? Да разве они не знают, кто он такой и почему он здесь?

Да, все они глядят друг на друга ничего не выражающими глазами. Разговор их небрежен, быстр, остроумен. Но того, что им известно, они не говорят. А известно им все. Они все видели. Со всем мирились. И всякая новость вызывает на их непроницаемых лицах циничную усмешку. Их уже ничто не поражает и не возмущает. Такова жизнь. Ничего другого они от нее не ждут.

А, вот оно! Это отчасти — ответ на его вопрос. Важно не то, что они делают, тут между ним и этими людьми разница невелика. Важно, что они готовы все принять, важно, с какими чувствами и мыслями они так поступают: они вполне довольны собой и своей жизнью и утратили веру во что-то лучшее. Нет, он до этого еще не дошел и не хочет дойти! Теперь уже ясно, потому-то он и не желает связать себя с этим миром, с миром Эстер.

И, однако, люди эти, безусловно, в чести. Они ни у кого не украли ни вола, ни осла. Они щедро и многообразно одарены, и общество благодарно рукоплещет им.

Разве великий кормчий финансов и промышленности Лоуренс Хирш к тому же не покровитель тех, кто исповедует передовые воззрения? Да, так. Его взгляды на детский труд, на испошчину, на процесс Сакко и Ванцетти и на другие несправедливости, которыми возмущались интеллектуалы, недаром славятся просвещенностью и либерализмом. Так кто же станет придирается к банкиру, если часть дохода ему приносят дети, работающие на его текстильных фабриках на Юге? Другую часть — испошники на табачных плантациях? А третью — сталелитейные заводы на Среднем Западе, где нанимают и вооружают головорезов, чтобы они расстреливали бастующих рабочих? Дело банкира вкладывать деньги туда, где они дадут наибольшую прибыль. Дело есть дело, и требовать, чтобы взгляды человека становились между ним и его доходами, значит понапрасну к нему придирается. И у Хирша есть ревностные сторонники даже в среде крайне левых, они горячо доказывают, что такая критика с теоретических позиций — просто ребячество. Каковы бы ни были источники богатства и могущества мистера Хирша, это все случайность, это не существенно. Зато он либерал, «друг России», глава передового общественного мнения, проницательный критик своего же класса — класса капиталистов, — все это общеизвестно, и, стало быть, он — олицетворение просвещенной мысли.

Что до прочих знаменитостей, которых здесь полным-полно, никто из них ни разу не сказал: «Пусть едят пирожное!»³ Когда бедняки голодали, эти люди страдали за них. Когда дети непосильно трудились, сердца этих людей истекали кровью. Когда угнетенных, слабых, избитых и обманутых людей по ложному обвинению приговаривали к смертной казни, они громко возмущались — если только дело было нашумевшее! Они писали письма в газеты, несли плакаты на Бикон-хилл, участвовали в манифестациях, делали пожертвования,

³ Руссо. Исповедь (слова приписывают Марии-Антуанетте)

поддерживали своим именем различные комитеты защиты.

Все так, все верно. И, однако, сейчас Уэббер чувствовал: пускай эти люди заявляют протесты и демонстрируют с плакатами хоть до второго пришествия, но если докопаться до глубоко скрытых источников их существования, окажется, что все они жиреют на крови простого человека, выжимают свои доходы из пота рабов, как и любой страж богатства и привилегий. Вся ткань их роскошного существования, эти страсти лесбиянок и педерастов, измены и любовные интрижки, что пронизывают здешний воздух, окутывая лицо ночи, точно звездная вуаль, все равно сотканы из самого обыкновенного, пропитанного потом человеческого праха, добыты из недр человеческого страдания.

Да, так оно и есть! Вот он, ответ! Самая суть! Сможет ли он — писатель, художник, — став частью этого высшего, привилегированного общества, не взвалить на себя тем самым пагубное бремя этой привилегии? Став частью этого мира, о котором он хочет писать, сможет ли он писать правду, изобразить жизнь так, как он ее видит, сможет ли сказать то, что должен? Возможно ли это совместить? Разве это светское привилегированное общество не заклятый враг искусства и правды? Разве возможно принадлежать к этому обществу и не отречься от искусства и правды? А преимущества, которые даст ему общение с этими людьми, с сильными мира сего, — разве не встанут они между ним и правдой, не заставят смягчить ее, приукрасить, а под конец и предать? И чем же он тогда будет отличаться от десятка других, которые позволили прибрать себя к рукам, соблазнились миражами богатства и благополучия и отчаянно добивались респектабельности — той позолоченной фальшивой монеты, что так часто сходит за подлинное достоинство?

Вот в чем опасность, и притом достаточно реальная. Это вовсе не плод неуравновешенности и подозрительности. Ведь такое случалось уже не раз. Сколько их было, молодых писателей, в том числе и самых лучших, — чей талант обещал так много и с первых же шагов завоевал шумное признание, а они не оправдали надежд, ибо продали право первородства за эту жалкую чечевичную похлебку. Бывало, такой тоже начинает с поисков правды, а потом на него словно найдёт затмение, и в конце концов он станет поборником правды особого рода, урезанной и ограниченной. Он станет своеобразным защитником устоявшегося порядка вещей, и имя его жиреет и лоснится на страницах «Сатердей ивнинг пост» и дамских журналов. Либо он станет эскапистом, запродает себя в Голливуд и канет в небытие. Либо как-то иначе, но все по тому же бессмысленному закону, он примкнет к той или иной группировке, клике, фракции, к тому или иному кругу в искусстве или политике и станет во главе какого-нибудь обреченного и путаного культика или изма. Этой мелкой сошки было великое множество — они объявляли себя «коммунистами» в литературе, либо поборниками системы единого налога, либо воинствующими вегетарианцами, либо проповедовали спасение через нудизм.

Кем бы они ни становились — а они кем только не становились, — они уподоблялись слепцам, которые на ощупь судят о слоне: каждый принимал какую-то частицу жизни за жизнь в целом, какую-то долю правды или полуправду за всю правду, какое-то личное стремление за всеобъемлющее стремление человечества. Если такое случится и с ним, Джорджем Уэббером, как сможет он воспеть Америку?

Теперь все проясняется. Взбодрившись в этот час прозрения, начинаешь находить ответы на свои вопросы. Становится понятней, как надо поступить. Теперь ясно, куда приведет путь, на который когда-то, полный надежд, охотно, даже радостно он вступил вместе с Эстер, и так же ясно стало — вдруг, окончательно и бесповоротно, — что надо порвать с ней, отвернуться от ее волшебного, пленительного мира, не то погубишь свою душу, душу художника. Вот к чему все сводится.

Но в ту самую минуту, когда Джордж понял это, уже знал, что так оно и есть, и согласился с этим, его вдруг охватило такое острое ощущение утраты, что от боли и любви он едва не вскрикнул. Неужели так никогда и не обрести обыкновенную правду и уверенность? Неужели пытке не будет конца? В юности, в пылу восторга, объятый благородным вдохновением, он всегда представлял себе звездный лик ночи и страстно желал очутиться

среди великих мира сего, узнать высокие мечты и высокие думы. И вот мечта сбылась, вокруг те, кому он лишь издали завидовал, — и тут-то видишь: бескорыстное величие рассыпается в прах, а величаяя ночь оказывается змеей, что затаилась, свернувшись в самом сердце жизни! Нигде не найти ни слушателя, ни слов для всех страстных и путаных убеждений юности! Видишь, что вера предана, а предатели, осыпанные почестями, сами стали кумирами, подменили собой веру! Видишь, что правда стала лживой, а ложь прикинулась правдой, добро — злом, зло — добром, и вся паутина жизни так переменчива, так непостоянна!

Нет, все совсем, совсем не так, как он некогда предвкушал... И, забыв, где находится, он вдруг судорожно протянул руки в невольном порыве тоски и недоумения.

17. Мистер Хирш умеет ждать

Эстер увидела движение Джорджа и встревожилась — что это значит? Отошла от своих собеседников и направилась к нему, лицо ее выражало нежную озабоченность.

— Как тебе здесь, милый? — быстро спросила она, взяв его за руку и серьезно на него глядя. — Тебя что-то расстроило?

Смятенный, истерзанный, он ответил не сразу, да еще почувствовал себя виноватым из-за только что принятого решения и сердито вскинулся, словно защищаясь.

— С чего ты взяла? — И тут же, взглянув на ее полное нежности лицо, растерянно и отчаянно пожалел о своей вспышке.

— Ну, хорошо, хорошо, — поспешно и умиротворяюще сказала Эстер, потом с натянутой полуулыбкой спросила: — Я просто хотела знать, ты... не скучно тебе? Ведь правда, удачный прием, а? Хочешь с кем-нибудь познакомиться? Кое-кого из гостей ты, должно быть, знаешь.

Он не успел ответить — из толпы выскользнула Лили Мэндл и подошла к миссис Джек.

— Эстер, дорогая, ты слышала... — сонным голосом сказала она и, увидев молодого человека, запнулась. — А, здравствуйте. Не знала, что и вы здесь. — Это прозвучало неодобрительно.

Они с Джорджем уже встречались, но только мимоходом. И сейчас обменялись рукопожатием. И вдруг лицо миссис Джек радостно просияло. Она схватила их соединенные руки и прошептала:

— Мои двое. Двое, кого я люблю больше всего на свете. Вы должны знать и любить друг друга, как знаю и люблю вас я.

Охваченная глубоким волнением, она замолчала, а эти двое все еще не разняли неловко соединенных рук. Наконец смущенно разжали руки, опустили и молча, растерянно глядели друг на друга.

И тут к ним неторопливо подошел Лоуренс Хирш. Спокойный, самоуверенный, он словно бы шествовал сам по себе. Во фраке, руки в карманы, с непринужденностью истинно светского человека он переходил от одного блестящего кружка к другому, хорошо осведомленный, осторожный, любезный, изысканный, невозмутимый, бесстрастный, образец заповедей по части финансов, литературы, искусства и всяческой просвещенности.

— А, Эстер, сейчас я вам расскажу, что нам стало известно об этом деле, — сказал он буднично, хладнокровно, тоном властной, спокойной уверенности. — Казнены два невинных человека. Наконец-то мы получили доказательства — показания, которые не разрешено было обнародовать. Они неопровержимо доказывают, что Ванцетти никак не причастен к преступлению.

Хирш говорил негромко и на мисс Мэндл ни разу не посмотрел.

— Какой ужас! — воскликнула миссис Джек, и когда она обернулась к Хиршу, глаза ее горели праведным гневом. — Чтобы такое могло случиться у нас в Америке! Страшно подумать! В жизни не слыхала такой гнусности!

Тут Хирш эдак небрежно обернулся к мисс Мэндл, словно только теперь ее заметил.

— Да, не правда ли? — сказал он, с обаятельной, однако не слишком настойчивой

доверительностью, включая ее в поле своего тихого довольства. — Вам не кажется?..

Лили Мэндл явно не спешила отозваться. Она лишь неторопливо оглядела его, и в глазах ее тлела неприязнь.

— Что такое? — сказала она. И потом, обращаясь к Эстер Джек: — Просто не могу... — Она беспомощно, безнадежно пожала плечами и пошла прочь — чудо чувственной гибкости.

А Хирш... Хирш за ней не последовал даже взглядом. Он и ухом не повел, будто ничего не видел и не слышал, ничего не заметил. Размеренно и плавно он продолжал разговаривать с миссис Джек.

И вдруг заметил Джорджа Уэббера и прервал себя на полуслове.

— А, здравствуйте, — сказал он. — Как поживаете?

Вытащил руку из кармана элегантных брюк и на миг пожаловал ее молодому человеку, потом снова повернулся к миссис Джек, которая все еще горела негодованием от того, что он ей сообщил.

— Бессовестные! Учинить такую подлость! — воскликнула она. — Мерзкие, презренные богачи! Да от одного этого захочешь революции!

— Что ж, моя дорогая, ваше желание может исполниться, — со спокойной иронией сказал мистер Хирш. — Все возможно. И если революция совершится, этот случай, вероятно, не пройдет им даром. Что и говорить, процесс велся чудовищно, и судью следовало сразу же отстранить.

— Подумать только, что есть на свете люди, которые способны учинить такую несправедливость! — возмущалась миссис Джек. И продолжала серьезно, не очень кстати: — Знаете, я всегда была социалистка. Я голосовала за Нормана Томаса. Понимаете, я всю жизнь трудилась, — очень просто, с искренним чувством собственного достоинства говорила она. — Все мои симпатии на стороне трудящихся.

Лицо Хирша стало несколько рассеянным, отсутствующим, словно он слушал уже не слишком внимательно.

— Да, *cause celebre*⁴, — произнес он и с явным удовольствием важно повторил: — *Cause celebre*.

И, элегантный, изысканный и сдержанный, небрежно сунув руки в карманы френчевых брюк, не спеша зашагал прочь. Направлялся он в ту же сторону, что и Лили Мэндл. Но словно бы вовсе не следовал за ней по пятам.

Ибо мистер Хирш был жестоко уязвлен. Но мистер Хирш умеет ждать.

— О, Бедоз, Бедоз!

Эти странные ликующие возгласы разнеслись по всей огромной комнате — и оживленно беседующие гости смолкли на полуслове, не без испуга обернулись.

— О, Бедоз, ну еще бы! — упоенной прежнего ликовал голос. — Ха-ха-ха! Бедоз! — В смехе звучало торжество. — Это каждый должен, ну конечно же, просто все!

Провозглашал все это Сэмюел Фетцер, старый друг Эстер Джек. Похоже, он был хорошо известен многим из присутствующих, ибо, увидав, кто кричит, гости обменивались улыбками и говорили вполголоса: «А, это Сэм!» — словно этим все сказано.

В мире, к которому он принадлежал, Сэмюел Фетцер был известен *par excellence*⁵ как «книголюб». Да и его внешность говорила сама за себя. С первого взгляда становилось ясно, что перед вами эпикуреец, ценитель изящной словесности, собиратель и знаток редких изданий. Сразу видно — он из тех, кого непременно встретишь в ненастный день в старой, заплесневелой книжной лавке: розовощекий и сияющий, как херувим, он рыщет между полками, вглядывается, наклоняется и порой достает и с любовью перелистывает какой-нибудь ветхий, потрепанный том. При виде Сэмюела Фетцера на ум невольно приходил

⁴ громкое (нашумевшее) дело (*фр.*)

⁵ по преимуществу (*фр.*)

очаровательный, крытый соломой домик где-нибудь в сельской Англии, трубка, лохматый пес, покойное кресло, уютный уголок у горящего камина, старая книга и потемневшая от времени бутылка старого портвейна. И в самом деле, ликующие клики говорили о том, что здесь не обошлось без старого портвейна. Выговаривая «Бедоз!», он даже причмокивал, словно только что пригубил редчайшего выдержанного вина.

Да и вся внешность его вполне отвечала этому впечатлению. Подвижное, неизменно сияющее лицо восторженного херувима и залысый лоб покрыты здоровым загаром и обветрены, словно большую часть времени он проводит на открытом воздухе. Все прочие гости во фраках и вечерних туалетах, а он явился в коричневых уличных башмаках на толстой подошве, в шерстяных носках, в чуть мешковатых, но модных оксфордских серых фланелевых брюках и ко всему этому — коричневый пиджак, белая не крахмальная рубашка и красный галстук. Можно подумать, будто он только что воротился с долгой прогулки по вересковым пустошам и теперь, в приятной усталости, предвкушает вечер у камелька со своей собакой, бутылкой портвейна и томиком Бедоза. По его виду никак не догадаешься, что это известный театральный режиссер, чья жизнь с самого детства проходит здесь, в Нью-Йорке, на Бродвее, среди самой изысканной городской элиты.

Сейчас он беседует с Лили Мэндл. Она набрела на него, когда отошла от миссис Джек, и задала ему тот провокационный вопрос, который и вызвал столь шумный восторг. Мисс Мэндл — сама в некотором роде знаток искусств, любительница раскапывать редкостные диковинки. Она вечно спрашивает своих собеседников, какого они мнения о «Ватеке» Уильяма Бекфорда, о пьесах Сирила Турнера, о проповедях Ланселота Эндруза или — как сейчас — о сочинениях Бедоза...

А вопрос ее прозвучал так:

— Вам не случилось читать что-нибудь написанное человеком по фамилии Бедоз?

Вот так она обычно и спрашивала, и столь же неопределенно выражалась и тогда, когда ее эстетические интересы касались предметов более известных. Она могла, например, спросить, что вам известно «о человеке по фамилии Пруст» или «о женщине, которую зовут Вирджиния Вулф». Подобный вопрос неизменно сопровождался мрачно пламенеющим взглядом, который ясно говорил: «За этим кроется больше, чем вам кажется». А потому Лили Мэндл производила впечатление глубокого и тонкого знатока, чьи основательные и всесторонние исследования зашли куда дальше тех избитых истин, которые можно найти в Британской энциклопедии и в иных общеизвестных трудах, и, право же, ей трудно почерпнуть что-либо новое, — разве что из спокойной беседы с Томасом Элиотом или, поскольку его нет под рукой, из ответа на случайный вопрос, заданный на пробу, без особой надежды на успех какому-нибудь истинному умнику вроде нее самой. А когда он выложит решительно все, что знает по интересующему ее предмету, она в ответ лишь сдержанно хмыкнет. Но это ни к чему не обязывающее «гм» производило сильнейшее впечатление. Ибо Лили Мэндл, хмыкнув, удалялась и оставляла свою жертву в полном унынии: надо же, вывернулся человек наизнанку, а его сочли по-детски поверхностным и до жалости не оправдавшим надежд.

Однако Сэмюел Фетцер не таков. Если мисс Мэндл, которая ленивой походкой пробралась к нему сквозь толпу гостей и небрежно спросила: «Вам не случилось читать что-нибудь написанное человеком по фамилии Бедоз?» — и на сей раз надеялась на успех, ее ждало жестокое разочарование. Она напала на фанатика — правда, херувимоподобного, благожелательного, восторженного, жизнерадостного, ликующего, но все же фанатика. Ибо Фетцер не только читал Бедоза, он был уверен, что он-то Бедоза и открыл. Бедоз был одной из любимейших его книжных находок. Так что Лили Мэндл ничуть не огорошила его, напротив, он словно только ее и ждал. Едва вопрос слетел с ее губ, Фетцер так и вскинулся, приветливое лицо его — лицо херувима — блаженно просияло, и он воскликнул:

— О, Бедоз!

Это был такой восторженный взрыв, что Лили Мэндл даже отпрянула, словно ей под ноги бросили зажженную шутиху.

— Бедоз! — захлебывался он. — Бедоз! — причмокивал он. — Ха-ха-ха! Бедоз! — Он

закинул голову, потряс ею и упоенно захохотал. А потом рассказал Лили о рождении Бедоза, о его жизни и смерти, о его родителях и друзьях, о его сестрах и двоюродных братьях, о его тетках — о том, что было про Бедоза известно, и о том, чего не знал никто, кроме Сэмюела Фетцера. — О, Бедоз! — в какой уже раз восклицал Фетцер. — Обожаю Бедоза! Каждый должен читать Бедоза! Бедоз — он...

— Но ведь он, кажется, был помешанный? — негромким голосом хорошо воспитанного человека произнес Лоуренс Хирш, он как раз подошел, словно бы просто привлеченный шумными интеллектуальными восторгами, а вовсе не преследуя кого-то по пятам. — Я хочу сказать, — любезно пояснил он, обратись к мисс Мэндл, — это интереснейший образчик шизофреника, вам не кажется?

Долгую минуту Лили Мэндл смотрела на него точно на большого червя, которого вдруг обнаружила в неплохом с виду каштане.

— Гм, — проронила она и, состроив сонно-брезгливую гримаску, пошла прочь.

Мистер Хирш не последовал за пей. Он прекрасно владел собой и уже снова перевел взгляд на сияющего Фетцера.

— Я хочу сказать, — продолжал он с ноткой вдумчивого интереса, по которому безошибочно узнается отшлифованный ум, — мне всегда казалось, что это классический случай личности, попавшей не в свое время — он ведь настоящий елизаветинец. А как повашему?

— Да, конечно! — тотчас горячо согласился Фетцер. — Видите ли, я всегда придерживался того мнения...

Хирш словно бы внимательно слушал. Нет, он никого не провожал взглядом. Глаза его были устремлены на Сэмюела Фетцера, но что-то в их выражении подсказывало, что мысли его далеко.

Ибо мистер Хирш был жестоко уязвлен, но мистер Хирш умеет ждать.

И так продолжалось весь вечер. Хирш переходил от одного изысканного кружка к другому, раскланивался, учтиво улыбался, обменивался со всеми и каждым тонкими шутками. Неизменно спокойный, неколебимо уверенный, приятно оживленный. И, продвигаясь в этой блестящей толпе, он оставлял за собой светящийся след из драгоценных зерен просвещения, которые он небрежно ронял на своем пути. Одним он доверительно сообщал кое-что новенькое о деле Сакко и Ванцетти, с другими делился кое-какими сведениями из первых рук с Уолл-стрит, отпускал изысканную остроту, рассказывал занимательную историю, случившуюся на прошлой неделе с президентом, или какую-нибудь подробность о России, вставлял пронизательное замечание по поводу марксистской экономики — и все в меру сдабривал Бедозом. Он так превосходно был осведомлен, так неизменно в курсе всех новейших веяний, что никогда не опускался до избитых истин, наоборот, всегда и во всем представлял самую последнюю точку зрения — в искусстве ли, в литературе, в политике или в экономике. Это было великолепно разыгранное представление, вдохновляющий пример того, на что способен деловой человек, стоит ему только захотеть.

И в довершение всего тут была Лили Мэндл. Хирш словно бы вовсе не преследовал ее, но куда бы она ни направлялась, он оказывался неподалеку. Можно было не сомневаться — он где-то рядом. Весь вечер он переходил от одной компании к другой и все их весьма кстати удостаивал каким-нибудь замечанием, а потом, небрежно обернувшись и увидев, что Лили Мэндл тоже здесь, пытался и ее приобщить к узкому кружку своих слушателей, — но всякий раз она лишь кидала на него сумрачно горящий взгляд и шла прочь. А потому не удивительно, что мистер Хирш был жестоко уязвлен.

Однако он не бил себя кулаками в грудь, не рвал на себе волосы, не кричал: «Горе мне!» Он оставался самим собой, человеком широких интересов, отлично знающим себе цену. Ибо он умел ждать.

Он не отвел ее в сторону и не сказал: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!»

Глаза твои голубиные»⁶. Не сказал и так: «Скажи мне ты, которого любит душа моя: где пасешь ты?»⁷ Не сказал он ей и что она прекрасна, как Тирза, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Никого не попросил подкрепить его вином, освежить яблоками, не признался, что изнемогает от любви. И ему и в голову не пришло сказать ей: «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается виноградное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями»⁸.

Хоть он и не взывал к ней в тоске, но мысленно умолял ее: «Насмехайся надо мной и язви меня, пинай меня ногами, бичуй словами, топчи, как жалкого червя, плюй в меня, как в прах, из которого я создан, поноси меня перед своими друзьями, заставь перед тобою пресмыкаться — все, что хочешь, делай со мной, я вынесу. Но только, ради бога, заметь меня! Скажи мне хоть слово — пусть даже с отвращением! Остановись подле меня хоть на миг, осчастливь своим прикосновением, даже если близость эта тебе отвратительна и прикосновение подобно удару! Обходи со мной как угодно! — Уголком глаза он видел, как она гибко повернулась и снова пошла прочь. — Но молю тебя, о возлюбленная моя... бога ради, дай знак, что ты меня видишь!»

Но он ничего не сказал. Ничем не выдал своих чувств. Он был жестоко уязвлен, но он умел ждать. И никто, кроме Лили Мэндл, не знал, сколько же времени она его заставит ждать.

18. Цирк Свинтуса Лоугена

Пришло наконец время и для Свинтуса Лоугена и его проволочных кукол. До этой минуты он скрывался от гостей, и когда вошел, блестящая толпа радостно заволновалась. Те, кто был в столовой, прихватив позвякивающие стаканы и тарелки с закусками, устремились к дверям, и даже старика Джейка Абрамсона любопытство на миг отвлекло от соблазнов накрытого стола, и, обгладывая куриную ножку, он заглянул в гостиную.

Для своего представления мистер Свинтус Лоуген облачился в простой, но своеобразный костюм. На нем был толстый синий свитер с высоким воротом-хомутом — в таких щеголяли студенты тридцать лет назад. На груди свитера, бог весть почему, нашита огромная самодельная буква игрек. Он был в поношенных белых парусиновых штанах, в теннисных туфлях и потертых наколенниках, которые явно служили на своем веку не одному профессиональному борцу. Голову его венчал допотопный футбольный шлем, плотно застегнутый под тяжелым подбородком. В таком вот наряде, пошатываясь от тяжести своих огромных чемоданов, он появился перед гостями.

Толпа расступилась и взирала на него с благоговением. Лоуген, кряхтя, дотащил чемоданы до середины гостиной, с глухим стуком поставил их на пол и громко, облегченно вздохнул. И сразу же принялся отодвигать большой диван, стулья, столы и прочую мебель, пока не расчистил середину комнаты. Он скатал ковер, потом принялся хватать книги с полок и кидать на пол. Он разорил с полдюжины полок в разных концах комнаты и на освободившиеся места прикрепил большие, пожелтевшие от времени цирковые афиши с привычным набором из тигров, львов, слонов, клоунов, воздушных акробатов и с надписями вроде: «Барнум и Бейли — 7 и 8 мая», «Братья Ринглинги — 31 июля».

Гости с любопытством следили за тем, как он методично разорял комнату. Покончив с этим, он вернулся к своим чемоданам и стал вытаскивать их содержимое. Там оказались крохотные цирковые обручи, жестяные и медные, плотно входящие друг в друга. Были там и трапеции, и летающие качели. И поразительное разнообразие проволочных фигурок —

⁶ Библия, книга Песни Песней, гл. 11, стих 14.

⁷ Там же, стих 6.

⁸ Там же, гл. 6, стих 4.

всевозможные звери и артисты. Тут были клоуны и канатоходцы, гимнасты и акробаты, неоседланные кони и наездницы. Словом, чуть ли не все, что только можно вообразить, когда думаешь о цирке, и все это из проволоки.

Свинтус Лоуген, стоя на коленях в своих наколенниках, весь ушел в хлопоты и никого вокруг не замечал. Он установил трапеции и качели и весьма бережно и тщательно приводил в порядок каждого проволочного слона, тигра, лошадь, верблюда и артиста. Был он, видно, человек терпеливый, и пока все это разобрал и расставил, прошло добрых полчаса, а то и больше. К тому времени, как он закончил свои труды и водрузил небольшую вывеску, на которой было написано «Главный вход», все гости, которые поначалу с любопытством на него взирали, устали от ожидания и снова принялись беседовать, есть и пить.

Наконец Лоуген был готов и знаком показал хозяйке дома, что может начать. Она изо всех сил захлопала в ладоши и призвала публику к тишине и вниманию.

Но тут в прихожей раздался звонок, и Нора впустила еще партию гостей. Миссис Джек была несколько озадачена — никого из них она прежде не встречала. Это почти сплошь была молодежь. Девушки все явно прошли школу мисс Спенс, а по виду молодых людей можно было с уверенностью сказать, что они недавно окончили Йельский, или Гарвардский, или Принстонский университет, стали членами Клуба ракетки и связаны с маклерами Уолл-стрит.

Вместе с ними вошла крупная женщина весьма солидного возраста, уже сильно увядшая. В расцвете лет она, видно, была очень хороша, но теперь все в ней — руки, плечи, шея, лицо — было одутловатое, пухлое, рыхлое — воплощение утраченного изящества. Лет через тридцать так могла бы выглядеть Эми Карлтон, если б была осмотрительна и уцелела. Чувствовалось, что эта особа слишком долго жила в Европе, вероятно, на Ривьере, и где-то там существовал некто с темными, подернутыми влагой глазами, с усиками и напыженными волосами, — совсем молодой, спрятанный от всех, непристойный, — и он был у нее на содержании.

Даму эту сопровождал пожилой джентльмен, как и все прочие в безупречном фраке. У него были подстриженные усы и вставные зубы, которые обнажались всякий раз, как он плотоядно облизывал свои тонкие губы и, запинаясь, произносил: «Что?.. Что?» — а началось это чуть не с первой минуты. Оба они вполне могли бы оказаться персонажами Генри Джеймса, живи он и пиши в эпоху более позднего декаданса.

Толпа вновь прибывших, во главе с молодым франтом в белом галстуке и во фраке, которого, как скоро стало известно, звали Хен Уолтерс, с шумом хлынула в комнату. Хен, видно, был другом Лоугена. Похоже, все это были его друзья. Ибо когда миссис Джек, несколько ошеломленная этим вторжением, пошла им навстречу и, как положено хозяйке дома, стала любезно здороваться, они, не обращая на нее ни малейшего внимания, пронеслись мимо и с веселыми воплями ринулись к Лоугену. Не поднимаясь с колен, он нежнейше им улыбнулся и широким взмахом веснушчатой руки пригласил их расположиться вдоль стены. Так они и сделали. Кое-кому из приглашенных гостей пришлось потесниться и отойти в дальние углы комнаты, но вновь прибывших это, видно, вовсе не смутило. Да они просто-напросто никого не замечали.

Но вот кто-то из них увидел Эми Карлтон и окликнул ее. Она подошла — по-видимому, кое-кого из них она знала. И ясно было, что все они о ней наслышаны. Девушки держались учтиво, но отчужденно. Познакомившись как положено, отошли и уже издали с любопытством разглядывали Эми, а в глазах ясно читалось: «Так вот она какая!»

Молодые люди держались менее скованно. Они свободно с ней заговаривали, а Хен Уолтерс поздоровался с ней совсем по-приятельски, и в голосе его прорывалось сдерживаемое веселье. Голос у него был не из приятных — слишком хриплый, словно в гортани застрял ком мокроты. Радостно, восторженно — такая у него была манера, — он громко сказал:

— Привет, Эми! Вечность вас не видал. Как это вас сюда занесло?

Сказано это было высокомерным тоном, каким, сами того не замечая, разговаривают

люди подобного склада и который означал: место и окружение тут престранные, выходят за рамки общепринятого и признанного, и он изумлен, что увидел здесь знакомое лицо.

И его тон, и то, что за ним стояло, жестоко уязвили Эми. Сама она давно была предметом злостных сплетен и могла бы отнестись к этому добродушно или с полнейшим безразличием. Но стерпеть такое перед лицом того, кого она любила, было свыше ее сил. А она любила Эстер Джек. И потому ее золотисто-зеленые глаза угрожающе вспыхнули, и она ответила запальчиво:

— Ах, как меня сюда занесло... именно сюда? Да потому, что это очень приятный дом... другого такого нет... Вы знаете! — Она хрипло рассмеялась, выхватила изо рта сигарету, в бешенстве нетерпеливо откинула назад свои черные кудри. — Послушайте! Меня-то, знаете ли, сюда пригласили!

Словно желая защитить и оберечь миссис Джек, Эми порывисто обняла ее, а та озадаченно хмурилась, все еще не совсем понимая, что же происходит.

— Эстер, милая, — сказала Эми. — Это мистер Хен Уолтерс... и его друзья... — С минуту она глядела на ораву девиц и их кавалеров, потом отвернулась и, ни к кому в отдельности не обращаясь и не потрудившись понизить голос, прибавила: — Господи, ну до чего отвратны!.. Вы знаете!.. Послушайте! — Теперь она обращалась к пожилому джентльмену с вставными зубами. — Чарли... бога ради, что вы делаете?.. Старый вы греховодник!.. Вы знаете!.. Неужели до того плохо дело? — Она вновь оглядела стайку девиц и с коротким хриплым смешком отвернулась. — Ох уж эти сучки из Девичьей Лиги! — пробормотала она. — Господи!.. Да как вы это выдерживаете, старый шельмец! — Теперь она говорила своим обычным тоном, добродушно, будто в ее словах не было ничего особенного. Потом прибавила, опять с коротким смешком: — Отчего вы больше ко мне не заходите?

Он беспокойно провел языком по губам, обнажил вставные зубы, ответил не вдруг:

— Давным-давно хотел вас повидать, Эми... Что?.. Собирался заглянуть... По правде говоря, даже заглядывал, но вы как раз уплыли... Что?.. Вы ведь уезжали, да?.. Что?..

Так он говорил, прерывисто, с запинками, и плотоядно облизывал тонкие губы, да еще почесывался — бесстыдно скреб правое бедро изнутри, наверно, его донимали шерстяные подштанники. При этом он нечаянно вздернул штанину, и она так и осталась, приоткрыв верх носка и полоску бледной кожи.

А Хен Уолтерс меж тем ослепительно улыбался и рассыпался в любезностях перед миссис Джек.

— Так мило с вашей стороны, что вы нас впустили. — А ей ничего другого и не оставалось делать, бедняжке. — Свинтус так и говорил, что все будет в порядке. Надеюсь, вы ничего не имеете против.

— Н-нет, конечно! — заверила Эстер, но лицо у нее по-прежнему было озадаченное. — Друзья мистера Лоугена... Но, может быть, вы все пройдете к столу? Выпейте, поешьте, там масса всего...

— Ну, что вы! — рассыпался Уолтерс. — Мы все прямо от Тони, мы там наелись до отвала! Еще один глоток — и мы наверняка лопнем!

Все это он урчал так ликующе, так упоенно, что казалось, он и правда вот-вот лопнет, точно огромный мыльный пузырь.

— Что ж, если вы уверены... — начала она.

— Ну, совершенно! — в полнейшем восторге вскричал мистер Уолтерс. — Но мы задерживаем представление! — воскликнул он. — А мы ведь ради него и пришли. Это была бы просто трагедия, если б нам не удалось его посмотреть... Свинтус! — крикнул он приятелю, который по-прежнему, радостно ухмыляясь, ползал по полу в своих наколенниках. — Начинай же! Всем до смерти хочется посмотреть!.. Я видел это уже раз десять и каждый раз все больше наслаждаюсь... — восторженно провозгласил он, обращаясь к толпе гостей. — Так что если ты готов, Свинтус, сделай милость, начинай.

Да, мистер Лоуген был уже готов.

Вновь прибывшие расположились вдоль стены, а остальные потеснились, не смешиваясь с этой компанией. Таким образом, публика четко разделилась на две половины — с одной стороны богатство и талант, с другой стороны — богатство и высшее общество, или «свет».

По знаку Лоугена Уолтерс отделился от своих друзей, подошел к нему, откинул фалды фрака и не без изящества опустился рядом с ним на колени. Потом, как ему было ведено, прочел вслух листок машинописного текста, который вручил ему Лоуген. Сие причудливое воззвание должно было настроить публику подобающим образом: чтобы понять цирк и насладиться им, говорилось в этом любопытном документе, надо постараться вернуть себе утраченную юность, вновь ощутить себя ребенком. Уолтерс читал со вкусом, хорошо поставленным голодом, в котором, казалось, вот-вот прорвется счастливый смех. Дочитав до конца, он поднялся и прошел на свое прежнее место, а Лоуген начал представление.

Началось оно, как и положено в цирке, с парада-алле всех артистов и всего зверинца. Выглядело это шествие так: Лоуген брал толстыми пальцами каждую проволочную фигурку, проводил ее по кругу и торжественно ставил обратно. Зверей и артистов было великое множество, и парад занял немало времени, однако его наградили громкими аплодисментами.

Потом была показана езда на неоседланных лошадях. В руке Лоугена проволочные кони галопом сделали несколько кругов по арене. Потом он усадил на них наездников и, крепко держа их, тоже провел галопом по арене. Потом, в перерыве между номерами, выступали клоуны — Лоуген вертел проволочные фигурки в руках, и они лихо кувыркались. Вслед за ними в круг вступили слоны. Этот номер вызвал больше аплодисментов — уж очень ловко Лоуген заставлял проволочные фигурки покачиваться, изображая тяжелую слоновью поступь, и очень приятно было публике, когда удавалось понять, что означает тот или иной номер: среди зрителей прокатывался довольный смешок и они хлопали, желая показать, что им все ясно.

Номер следовал за номером, и, наконец, пришел черед воздушных гимнастов. На подготовку ушло немалое время, так как Лоуген, стараясь, чтобы все у него было как в настоящем цирке, первым делом натянул под трапециями небольшую сетку. Но вот номер начался, и длился он чудовищно долго, главным образом оттого, что куклы никак не слушались повелителя. Сперва они у него качались, свисая с трапеций. Это шло как по маслу. А потом надо было проволочному человечку оторваться от трапеции, перевернуться в воздухе и ухватиться за руки другого человечка, который висел вниз головой на второй трапеции. Это не удалось. Снова и снова проволочная кукла взлетала в воздухе, ловила протянутые рука другой куклы — и бесславно промахивалась. Смотреть на это становилось все нестерпимей. Зрители вытягивали шеи, вид у всех был смущенный. Только сам Лоуген ничуть не смущался. При каждой новой неудаче он радостно хихикал и начинал все сызнова. Так оно шло и шло. Уже минут двадцать Лоуген трудился над этим номером. И все без толку. Наконец стало ясно, что толку и не будет, и тогда он твердой рукой навел порядок: крепко ухватил куклу двумя толстыми пальцами, поднес ее к другой кукле и осторожно сцепил их руки. Потом взглянул на публику, весело захихикал — и озадаченная публика не сразу и не дружно захлопала.

Теперь Лоуген подошел к *pièce de resistance*⁹, гвоздю программы. То было знаменитое глотание шпаги! Одной рукой он взял маленькую тряпичную куклу, набитую ватой, с кое-как нарисованным лицом, а другой — длинную шпильку, небрежно распрямил ее, одним концом проткнул кукле рот и стал методично и неторопливо проталкивать шпильку все глубже в тряпичное горло. Зрители смотрели в недоумении, а когда до них наконец стал доходить смысл этой сценки, принялись переглядываться, растерянно и смущенно улыбаясь.

Действо все длилось и длилось, и смотреть на это было все отвратительней. Лоуген упрямо толкал шпильку толстыми щупающими пальцами и, когда ему мешал какой-нибудь плотный клочок ваты, взглядывал на публику и глупо хихикал. На полпути он наткнулся на

⁹ Букв.: главное блюдо в меню (*фр.*)

комков, который грозил не пустить его дальше. Но он упорствовал — и это было отвратительно. Престранное это зрелище дало бы вдумчивому историку любопытный материал для размышлений о жизни и нравах сего золотого века. Было поразительно, что столько неглупых мужчин и женщин, — а все они обладали великолепными и редкими возможностями путешествовать, читать, слушать музыку, всячески развивать свои эстетические вкусы и обычно не терпели ничего скучного, надоедливого, пошлого, — терпеливо, с уважительным вниманием смотрят представление Свинтуса Лоугена. Но и привычная учтивость начинала истощаться. Представление шло утомительно долго, и кое-кто из гостей уже не выдерживал. Они переглядывались, подняв брови, и по двое, по трое потихоньку ускользали в коридор или навстречу живительным запахам столовой.

Однако многие, кажется, решили вынести все до конца. Что же до незваной молодежи из высшего света, эти по-прежнему смотрели представление с жадным интересом. Даже когда Лоуген орудовал шпилькой, одна молодая особа с точеными чертами ясного лица, какие так часто видишь среди ее сословия, обернулась к соседу и сказала:

— По-моему, это страшно интересно, как он все делает. Правда?

— Ну! — коротко, одобрительно отозвался молодой человек, и восклицание это, которое могло означать все, что угодно, было явно принято за согласие. Речь их, как и у всех «незванных», была странно приглушенная, обрывистая. И девица, и молодой человек говорили почти не раскрывая рта и едва шевеля губами. Видно, такая у них у всех была мода.

А Лоуген толкал шпильку все глубже, и вдруг кукла сбоку разорвалась и из нее полезла набивка. Лили Мэндл смотрела все время с неприкрытым ужасом, и когда из куклы стали вываливаться внутренности, прижала руку к животу, словно ее затошнило, произнесла: «Брр!» — и поспешно вышла. За ней последовали другие. И даже миссис Джек, которая в начале представления накинула изумительный, шитый золотом жакет и пай-девочкой, поджав ноги, уселась на пол прямо перед маэстро и его марионетками, теперь поднялась и вышла в коридор, где уже собралось большинство гостей.

Заключительные номера этого цирка смотрели почти одни только незваные, друзья самого Свинтуса Лоугена.

В коридоре Эстер Джек увидела Лили Мэндл, которая разговаривала с Джорджем Уэббером. Светло и ласково улыбаясь, она подошла к ним и с надеждой спросила:

— Тебе хорошо, Лили? А вам, дорогой? — нежно обратилась она к Джорджу. — Вам нравится? Вам не скучно?

Лили ответила хрипло, гортанно, с отвращением в голосе:

— Из куклы уже кишки вылезают, а он знай сует эту длинную булавку... брр! — Она сморщилась от омерзения. — Ну, тут я не выдержала! Это было ужасно! Пришлось сбежать! Я думала, меня вывернет наизнанку!

Плечи Эстер затряслись, она вся покраснела и судорожно, истерически прошептала:

— Ну конечно! Просто ужас!

— Да что же это такое? — спросил, подходя к ним, Родерик Хейл.

— А, Род, здравствуйте! — сказала миссис Джек. — Ну, как вы это понимаете?

— Совсем не понимаю, — ответил он, с досадой поглядев в сторону гостиной, где Свинтус Лоуген все еще терпеливо делал свое дело. — Что это все-таки означает? И кто он такой? — прибавил Хейл сердито, словно его следовательский, привыкший опираться на факты ум был раздосадован явлением, которое не мог постичь. — Какая-то жалкая разновидность декаданса, что ли, — пробурчал он.

Тут к миссис Джек подошел муж и, недоуменно пожав плечами, сказал:

— Да что же это? Господи, может, это я сошел с ума?

Эстер Джек и Лили Мэндл склонились друг к другу, сотрясаемые беззвучным неодолимым смехом сообщниц.

— Бедняжка Фриц! — в изнеможении выдохнула миссис Джек.

Мистер Джек в последний раз недоуменно взглянул в гостиную, увидал, какой там разгром, и с короткой усмешкой отвернулся.

— Я пошел к себе! — решительно сказал он. — Дай мне знать, уцелеет ли после него какая-нибудь мебель.

19. Непредвиденный поворот

Представление окончилось, по гостиной прошла легкая зыбь аплодисментов, поднялся говор. Светские модники столпились вокруг Лоугена и наперебой его поздравляли. Потом, никого больше не замечая и не сказав ни слова хозяйке дома, они ушли.

Другие гости подходили к миссис Джек и прощались. Они начали расходиться — поодиночке, группами, парами, и, наконец, остались только близкие и друзья, которые всегда последними расходятся с большого приема: миссис Джек и ее семья, Джордж Уэббер, Лили Мэндл, Стивен Хук и Эми Карлтон. И, разумеется, Лоуген: посреди учиненного им разгрома он укладывал проволочных кукол в свои огромные чемоданы.

Самый воздух в доме странно изменился. Стало как-то пусто, словно что-то кончилось. У каждого было ощущение, какое охватывает назавтра после рождества, или через час после свадьбы, когда молодые уже уехали, или на большом пароходе в одном из портов Ла-Манша, когда большая часть пассажиров высадилась, а оставшиеся с грустью думают о том, что путешествие, в сущности, кончилось и теперь надо лишь просто как-то протянуть время, еще немного — и придется тоже сойти на берег.

Миссис Джек окинула взглядом Свинтуса Лоугена и хаос, который он учинил в ее чудесной комнате, и вопросительно посмотрела на Лили Мэндл, словно говоря: «Можешь ты это понять? Что здесь произошло?» Лили и Джордж рассматривали Лоугена с откровенной неприязнью. У Стивена Хука лицо было, по обыкновению, замкнутое и скупающее. Мистер Джек, который вышел из своей комнаты проститься с гостями и оставался у лифта, пока не проводил всех, теперь заглянул в гостиную, увидел коленапреклоненную фигуру и, комически воздев руки к небесам, негромко воскликнул: «Да что же это?» — и все покатались со смеху.

Но даже когда он вошел в комнату и остановился, насмешливо глядя сверху вниз на Лоугена, тот так и не поднял головы. Казалось, он просто ничего не слышит. Забыв обо всем на свете, вполне довольный собой, он сосредоточенно упаковывал свое раскиданное вокруг барахло.

Тем временем две румяные горничные, Мэй и Джейни, споро убирали стаканы, бутылки и вазочки из-под мороженого, а Нора принялась расставлять по местам книги. Миссис Джек глядела на все это довольно беспомощно, а Эми Карлтон растянулась на полу, заложила руки за голову, закрыла глаза и, кажется, уснула. Все остальные явно не знали, что делать, и просто стояли и сидели, дожидаясь, чтобы Лоуген кончил и ушел.

Жилище Джеков опять погрузилось в привычную тишину. Слитный ропот неугомонного города, вытесненный и забытый во время приема, теперь снова проник сквозь стены огромного здания и окутал их всех. Снова стал слышен шум улицы.

Снаружи, внизу, вдруг взревела пожарная машина, зазвонил ее колокол. Она свернула за угол, на Парк-авеню, и мощный рокот моторов постепенно стих, точно отдаленный гром. Миссис Джек подошла к окну и выглянула на улицу. С разных сторон примчались еще четыре пожарные машины и скрылись за углом.

— Интересно, где это пожар? — рассеянно полюбопытствовала Эстер. По соседней улице прогрохотала еще одна пожарная машина и устремилась на Парк-авеню. — Наверно, большой пожар... шесть машин проехало. Наверно, где-то поблизости.

Эми Карлтон села и заморгала глазами, и с минуту все они празднично размышляли, где же это горит. Но потом снова уставились на Лоугена. Наконец-то он, кажется, управился со своим цирком. Он стал закрывать большие чемоданы и затягивать ремни.

И тут Лили Мэндл повернула голову в сторону коридора, сильно втянула носом воздух и вдруг сказала:

— Пахнет дымом, чувствуете?

— Как? Что? — отозвалась миссис Джек. И тотчас же, выйдя в коридор, взволнованно воскликнула: — Ну да! Надо узнать, в чем дело — пахнет дымом, да еще как! А пока давайте выйдем на улицу. — Лицо ее разгорелось от волнения. — Да, лучше выйдем, — повторила она. — Все выходим! — И тут ей пришлось возвысить голос: — Мистер Лоуген! — Впервые за все время он поднял голову и с вопросительно-простодушным видом обратился к хозяйке дома большую круглую физиономию. — Послушайте, по-моему... верно, нам лучше всем выйти, мистер Лоуген, пока мы не узнали, где пожар. Вы готовы?

— Да, конечно, — весело ответил Лоуген. И озадаченно прибавил: — Пожар? Какой пожар? Разве пожар?

— Я полагаю, пожар в нашем доме, — любезно, но с изрядной долей иронии сказал мистер Джек. — Так что, вероятно, нам всем лучше выйти... но, быть может, вы предпочитаете остаться?

— Ну, нет, — бодро ответил Лоуген, неуклюже поднимаясь с полу. — Я вполне готов, благодарю покорно, вот только еще не переоделся...

— С этим, я полагаю, лучше подождать, — сказал мистер Джек.

— Ох, а девушки! — воскликнула вдруг Эстер Джек и, теребя кольцо на пальце, мелкими шажками заторопилась в столовую. — Нора, Джейни, Мэй!! Девушки! Мы все спускаемся вниз... где-то в нашем доме пожар. Вы пойдете с нами, пока мы не выясним, где горит.

— Пожар, миссис Джек? — тупо переспросила Нора и уставилась на хозяйку.

Миссис Джек тотчас заметила ее мутный взгляд и покрасневшее лицо и подумала: «Опять выпила! Этого надо было ждать!» И сказала с досадой:

— Да, Нора, пожар. Сзовите девушек, пускай они все идут с нами. И... ох! Кухарка! — быстро крикнула она. — Где кухарка? Подите кто-нибудь позовите ее. Пускай тоже идет вниз!

Новость вывела девушек из равновесия. Они беспомощно переглядывались и бесцельно колесили по комнате, словно не зная, что им теперь делать.

— А свои вещи брать, миссис Джек? — спросила Нора, тупо глядя на хозяйку. — Мы успеем уложиться?

— Конечно, нет, Нора! — потеряв терпенье, воскликнула миссис Джек. — Мы не уезжаем! Просто выйдем на улицу, пока не узнаем, где пожар и насколько он опасен!.. И, пожалуйста, позовите кухарку, Нора, и приведите ее вниз! Вы же знаете, она такая трусиха, чуть что, сразу трясется!

— Ладно, — сказала Нора, по-прежнему беспомощно глядя на миссис Джек. — Стало быть, это все? А нам... — она сглотнула слюну, — может, нам еще чего понадобится?

— О, господи, Нора... да нет же!.. Только пальто возьмите. Скажите девушкам и кухарке, пускай наденут пальто.

— Ладно, — глухо повторила Нора и, еще помедлив, с тупым, растерянным видом неуверенно двинулась через столовую в кухню.

Между тем мистер Джек вышел на лестницу и нажимал звонок, вызывающий лифт. Немного погодя к нему присоединилась его семья, гости и слуги. Спокойно, испытующе он их всех оглядел.

Лицо Эстер пылает от сдерживаемого волнения; а вот ее сестра Эдит, которая, кажется, за весь вечер словечка не промолвила, такая неприметная, что никто на нее внимания не обращал, сейчас, как всегда, бледна и невозмутима. Молодчина Эдит! Приятно видеть, что и его дочь Элму это небольшое происшествие тоже не выбило из колеи. Стоит хладнокровная, красивая, и ей, кажется, Даже скучновато. Для гостей, разумеется, все это просто забава... а почему бы и нет? Они-то ничего не теряют. Все беззаботны, кроме этого молодого дурня-иноверца, Джорджа как-бишь-его-дальше. Только поглядеть на него сейчас... напряженный,

взвинченный, ни секунды не стоит на месте, лихорадочно озирается. Можно подумать, это его имущество, того гляди, вылетит в трубу!

Но где же Лоуген? В последний раз он попался на глаза, когда нырнул в комнату для гостей. Неужели этот болван все-таки переодевается?.. А, вот и он. «Наверно, он, потому что если не он, тогда кто же это, черт возьми?» — с усмешкой подумал мистер Джек.

Да, Лоуген, который только что вышел из комнаты для гостей и зашагал по коридору, выглядел престранно. Все обернулись к нему и сразу поняли, что никакой пожар не заставит его рисковать ни проволочными куклами, ни костюмом. По-прежнему одетый как во время представления, он, пыхтя, нес в руках по увесистому чемоданищу, через плечо у него были перекинуты пиджак, жилет и брюки, тяжеленные коричневые ботинки, связанные шнурками, висели на шее и при каждом шаге ударяли его по груди, а на голову поверх футбольного шлема он нахлобучил свою аккуратненькую серую шляпу. Так вот обряженный, он подошел, отдуваясь, к лифту, поставил чемоданы, распрямился и весело осклабился.

Мистер Джек продолжал упрямо нажимать кнопку звонка, вызывая лифт, и наконец из шахты этажом или двумя ниже донесся голос Герберта, лифтера:

— Да-да, сейчас! Я мигом, только эту партию спущу!

Внизу гомонили и еще голоса, взволнованные, торопливые, потом дверь лифта хлопнула, и слышно было, как кабина пошла вниз.

Что поделаешь, надо было ждать. В прихожей все сильнее тянуло дымом, и, хотя всерьез никто не тревожился, даже рохля Лоуген начинал ощущать, как всем не по себе.

Скоро стало слышно, что лифт идет вверх. Он мерно поднимался и вдруг встал где-то совсем близко, как будто под ними. Слышно было, как Герберт нажимает рукоятку и пытается открыть дверь. Мистер Джек опять нетерпеливо позвонил. Никакого ответа. Он стал стучать в дверь шахты. И тут снова раздался голос Герберта, он был рядом, явственно доносилось каждое слово:

— Мистер Джек, пройдите все, пожалуйста, к грузовому лифту. Этот испортился. Выше не идет.

— Ну, что поделаешь! — сказал мистер Джек.

Он надел котелок и без лишних слов направился к черной лестнице. Все молча последовали за ним.

И вдруг погас свет. Настала непроглядная тьма. В этот короткий пугающий миг у женщин перехватило дыхание. В темноте показалось — дымом пахнет куда сильнее, злей, вот уже ест глаза. Нора тихонько застонала, и все служанки принялись топтаться на месте, точно перепуганное стадо. Но тут же унялись, услышав уверенный, успокоительный голос мистера Джека.

— Эстер, — невозмутимо произнес он, — придется зажечь свечи. Ты не скажешь, где они?

Она сказала. Он нащупал ящик стола, достал электрический фонарик и пошел к двери в кухню. Вскоре он возвратился с коробкой свечей. Дал каждому по свечке и зажег.

Теперь они были точно сборище привидений. Женщины подняли свечи повыше и растерянно, с недоумением поглядывали друг на друга. В ровном свете свечей, которые кухарка и служанки держали прямо перед собой, лица у них были ошеломленные, испуганные. На лице кухарки застыла смятенная улыбка, и она что-то бормотала себе под нос. Миссис Джек, глубоко взволнованная, вопрошающе обернулась к стоящему рядом Джорджу.

— Как странно, да? — прошептала она. — Правда, странно... Наш прием... все эти гости... и вдруг такое...

И, подняв свечу, оглядела сборище привидений.

И тут Джорджа захлестнула нестерпимая любовь и нежность, потому что он знал — она, как и он, в сердце своем ощущает таинственность и непостижимость жизни. И прилив любви был тем мучительней, что тут же Джорджа пронзила мысль о принятом решении: теперь дороги их разойдутся.

Мистер Джек взмахнул свечой, подавая всем знак, и повел всю процессию по коридору. Эдит, Элма, Лили Мэндл, Эми Карлтон и Стивен Хук двинулись за ним. Следующий — Лоуген — очутился в затруднительном положении. Он не мог нести сразу и свечу и чемоданы и, помедлив в нерешительности, задул свечу, положил ее на пол, ухватил чемоданы, поднатужился и, держа шею как можно прямее, чтобы шляпа не слетела с футбольного шлема, пошатываясь, пошел по коридору за женщинами. Следом шли миссис Джек с Джорджем, а в хвосте потянулись слуги.

Миссис Джек уже подошла к двери черного хода, и вдруг позади как-то бестолково затоптались; она оглянулась: две свечи, покачиваясь, удалялись в сторону кухни. Это уходили кухарка и Нора.

— О, господи! — в отчаянии с досадой воскликнула миссис Джек. — Что это они надумали?.. Нора! — сердито позвала она. Кухарка уже исчезла из виду, а Нора услышала и растерянно обернулась. — Куда это вы собрались? — нетерпеливо крикнула миссис Джек.

— Да я, мэм... я... подумала, ворочусь, возьму кой-что из вещей, — хрипло, невнятно пробормотала Нора.

— Нечего вам туда ходить! — в ярости крикнула миссис Джек и с горечью подумала: «Наверно, хотела тайком хлебнуть еще спиртного». — Идите сейчас же с нами, — резко распорядилась она. — А кухарка где? — И, заметив, что Мэй и Джейни растерянно топчутся на месте, схватила их за плечи и подтолкнула к дверям. — Идите, девушки! Чего вы здесь не видали?

Джордж вернулся за ошалевшей Норой, схватил ее за руку, препроводил по коридору и кинулся в кухню за кухаркой. Миссис Джек — за ним, высоко подняв свечу.

— Вы здесь, дорогой? — с тревогой окликнула она, потом громче: — Кухарка! Кухарка! Где вы тут?

Кухарка появилась неожиданно, точно призрак, — со свечой в руке она носилась по узкому коридору от одной комнаты для прислуги к другой.

— Наконец-то! — сердито крикнула миссис Джек. — Что вы тут делаете? Идите же! Мы вас ждем! — и снова, в какой уже раз, подумала: «Старая скупердяйка. Наверно, спрятала там где-нибудь свои деньжонки. Потому и не хочет уходить».

Кухарка снова скрылась, на сей раз в своей комнате. Миг рассерженного молчания, и миссис Джек повернулась к Джорджу. В странном свете, в странной обстановке они смотрели друг на друга, и вдруг оба расхохотались.

— Бог мой! — вскрикнула Эстер. — Это же черт знает...

Тут опять вынырнула кухарка и, крадучись, двинулась по коридору. Они закричали ей вслед, ринулись за ней, схватили, прежде чем она успела запереться в ванной.

— Хватит! — сердито воскликнула миссис Джек. — Идемте! Безо всяких разговоров!

Кухарка вытаращила на нее глаза и забормотала что-то невразумительное.

— Вы слышали, что я сказала? — в бешенстве крикнула миссис Джек. — Сейчас же идите. Здесь нельзя больше оставаться!

— Augenblick! Augenblick!¹⁰ — льстиво забормотала кухарка.

Наконец она засунула что-то за пазуху, с тоской оглядываясь назад, дала себя повернуть, подтолкнуть и выставить через служебный коридор в кухню, потом в главный коридор и оттуда на черную лестницу.

Все остальные были уже здесь и ждали, мистер Джек нажимал и нажимал на звонок грузового лифта. Усилия его не увенчались успехом, и немного погодя он хладнокровно сказал:

— Что ж, нам остается только сойти пешком.

И сразу же направился к узкой лестнице подле шахты лифта, что через девять этажей

¹⁰ Я мигом! Мигом! (нем.)

должна была привести их вниз, к выходу, к безопасности. Остальные последовали за ним. Миссис Джек и Джордж пропустили вперед прислугу и ждали, пока Лоуген не ухватил покрепче свои чемоданы и не стал спускаться; но вот он двинулся, пыхтя и отдуваясь, а его чемоданы с глухим стуком ударялись о каждую ступеньку.

Электричество все еще тускло освещало черную лестницу, но со свечами не расставались, бессознательно чувствуя, что эти первобытные источники света сейчас куда надежней, чем чудеса науки. Дым стал гораздо гуще. Всюду в воздухе плавали дымные султаны и волокна, дышалось уже тяжело.

Черный ход весь, сверху донизу, являл собой поразительное зрелище. На всех этажах отворялись двери, жильцы выходили и вливались в набухающий поток-беженцев. То была редкостная мешанина — подобную смесь классов, типов, характеров только и встретишь в таком вот нью-йоркском доходном доме. Здесь были мужчины в безупречных фраках, красавицы, сверкающие драгоценностями, в дорогих палантинах. А другие — в пижамах: видно, их только что разбудили, и они впопыхах сунули ноги в шлепанцы, накинули халат, кимоно — что в волнении успели схватить. Молодые и старые, хозяева и слуги, смешение племен и народов, взволнованный разноязыкий говор. Кухарки-немки, горничные-француженки, дворецкие-англичане и ирландки-прислуги за все. Шведы, датчане, итальянцы, норвежцы, малая толика русских белогвардейцев. Поляки, чехи, австрийцы, негры, венгры. Все они беспорядочно валили на площадки черной лестницы, оживленно переговаривались, размахивали руками, объединенные общим стремлением к безопасности.

Вблизи первого этажа навстречу стали попадаться пожарные в касках — они пробивались наверх, против течения. Вслед за ними поднимались полицейские и пытались рассеять тревогу и страх.

— Все в порядке, люди добрые! Дела первый сорт! — весело выкрикивал верзила-полицейский, проталкиваясь мимо подопечных мистера Джека. — Пожар уже потушили!

Он хотел успокоить людей, чтобы они покинули здание побыстрее, без паники и толкотни, но слова его произвели совсем не то впечатление, на какое он рассчитывал. Джордж Уэббер, который замыкал шествие, услышав эти ободряющие слова, окликнул остальных, повернулся и хотел было снова подняться. И вмиг увидел, что тот полицейский просто вне себя. С площадки пролетом выше он молча, отчаянно гримасничая и размахивая руками, пытался внушить Джорджу, чтоб не делал ни шагу вверх и не звал остальных, а поскорей выбирался на улицу. Остальные оглянулись на зов Джорджа и, увидев всю эту пантомиму, впервые по-настоящему испугались, опять повернули и со всех ног кинулись вниз по лестнице.

Джордж и сам на миг струхнул, заторопился следом и вдруг услышал стук и удары в шахте грузового лифта. Они доносились как будто откуда-то сверху. Секунду Джордж помешкал, прислушался. Стук возобновился... перестал... вот опять... и опять перестал. Казалось, кто-то подает сигналы, но что они означают? Джорджа охватило предчувствие беды. Его пробрала дрожь. Мороз пошел по коже. Спотыкаясь, как слепой, кинулся он вслед за остальными.

Едва они очутились в огромном внутреннем дворе, страх как рукой сняло. В грудь хлынул свежий морозный воздух, мгновенно принес облегчение, освобождение, и каждый тотчас ощутил прилив жизни, энергии, необычайной бодрости. По круглому лицу Лоугена ручьями катился пот, и дышал он тяжело, с присвистом, а тут разом собрал остатки сил и, не замечая окружающих, больно колотя своим грузом по чужим лодыжкам и наступая на любимые мозоли, пробился сквозь толпу и был таков. Остальные спутники мистера Джека стояли все вместе, смеялись, болтали и с явным интересом следили за тем, что делалось вокруг.

Зрелище это (они и сами были его частицей) поражало глаз. Словно созданная гением какого-то Шекспира-Брейгеля в едином лице, тут предстала вся человеческая комедия, столь подлинная и так чудодейственно насыщенная, что по силе и яркости была подобна видению.

Огромный квадратный колодец внутреннего двора меж высоких стен заполнили люди в самых разных мыслимых и немыслимых одеяниях, на все лады полураздетые. И из двух десятков лестничных клеток, что выходили в крытую аркаду, огибавшую двор со всех четырех сторон, из громадных сотов этого улья беспрерывно вливались новые толпы и прибавляли пышному и шумному зрелищу все новых красок, движения, взволнованного разноязычного гомона. Над всем этим возносились вверх четырнадцать этажей, образуя раму звездного неба. В крыле, где находились апартаменты мистера Джека, свет не горел, и оно тонуло во тьме, но остальные три стороны все еще сверкали жаркими лучистыми квадратами, многочисленные ячейки сотов все еще излучали тепло только что покинувшей их жизни.

Кроме дыма, который проник в некоторые лестничные клетки и коридоры, других признаков пожара не было. Пока, видно, мало кто понял смысл события, которое так бесцеремонно вывалило этих людей из уютных гнездышек под открытое небо. Почти все были либо озадачены и сбиты с толку, либо взволнованы и полны любопытства. Лишь изредка то один, то другой в разных концах двора выдавал чрезмерную тревогу из-за опасности, нависшей над их жизнью и имуществом.

Один такой появился в окне второго этажа как раз напротив входа в крыло Джеков. Он был лысый, весь красный, взбудораженный, и сразу стало ясно, что он вне себя и вот-вот рухнет, не выдержав волнения. Он распахнул окно и голосом, в котором уже прорывались истерические ноты, закричал:

— Мэри!.. Мэри!.. — Высматривая ее внизу, он вопил все громче.

Женщина в толпе пробралась под окно, подняла голову и спокойно сказала:

— Да, Элберт.

— Я не нахожу ключ! — дрожащим голосом выкрикнул он. — Дверь заперта! Мне не выйти!

— Ох, Элберт, — еще тише и в явном смущении сказала женщина. — Не волнуйся так, дорогой. Никакой опасности нет... и ключ, конечно, где-нибудь там. Посмотри как следует и непременно найдешь.

— Да говорят же тебе, его нет! — захлебывался лысый. — Я смотрел, нет его! Не могу я его найти!.. Эй, ребята! — крикнул он пожарным, которые тащили через посыпанный песком двор тяжелый шланг. — Я заперт в квартире! Я хочу выйти.

Пожарные не обратили на него никакого внимания, только один поднял голову и коротко бросил:

— Ладно, хозяин! — И снова занялся своим делом.

— Вы что, не слышите? — завопил лысый. — Эй, вы! Пожарные! Я же вам...

— Папа... Папа... — спокойно заговорил молодой человек, стоящий подле женщины под окном. — Не волнуйся так. Никакой опасности нет. Пожар совсем с другой стороны. Вот они дойдут до тебя и сразу тебя выпустят.

От дверей черного, хода, из которого вышло семейство Джек, покачиваясь под тяжелой ношей, ходил через двор и обратно человек во фраке и вместе с шофером выносил из дому кипы увесистых гроссбухов. Целая груда их уже громоздилась на земле под присмотром его дворецкого. Человек этот с самого начала так был поглощен своим занятием, что просто не замечал толчеи вокруг. Вот он снова хотел ринуться в дымный коридор вместе с шофером, но их остановил полицейский.

— Прошу прощения, сэр, туда больше нельзя! Приказ никого не впускать.

— Но мне необходимо пройти! — крикнул человек во фраке. — Я Филипп Бэйер! — Услышав это могущественное имя, все оказавшиеся поблизости тотчас узнали этого богатого воротилу в сфере кинематографии и притом человека, чья отчетность недавно подверглась проверке правительственной комиссии. — У меня в квартире документация на семьдесят пять миллионов, — кричал он. — Мне необходимо ее вынести! Ее надо спасти!

Он попытался прорваться в подъезд, но полицейский оттеснил его.

— Прошу прощения, мистер Бэйер, но у нас приказ, — упрямо повторил он. — Не могу я вас пропустить.

Слова эти подействовали мгновенно и безобразно. Филипп Бэйер признавал единственный принцип: в мире важно одно — деньги, ибо купить можно все. И вдруг принцип этот посрамлен. Тут-то и вырвалась на волю откровенная философия кулака, которая в пору безопасности и покоя пряталась в бархатной перчатке. Высокий человек с жесткими чертами смуглого лица и орлиным носом мгновенно обратился в дикого зверя, в хищника. Он метался в толпе и предлагал всем и каждому баснословные деньги, только бы спасли его драгоценные счета. Кинулся к пожарным, схватил одного за плечо и стал трясти с криком:

— Я — Филипп Бэйер... Я живу вон там! Вы должны мне помочь! Кто вынесет мои счетные книги, получит десять тысяч долларов!

Пожарный — плотный детина с обветренным лицом — обернулся к богачу и сказал:

— А ну, отойди, друг!

— Но послушайте! — кричал Бэйер. — Вы не знаете, кто я такой! Я...

— А мне все равно, кто вы! — был ответ. — Отойдите, ну! Нам надо дело делать!

И грубо отодвинул великого человека с дороги.

В этих необычных обстоятельствах почти все держались вполне прилично. Огня видно не было, смотреть не на что, и люди переходили с места на место, кружили в толпе и украдкой с любопытством посматривали друг на друга. По большей части они прежде в глаза не видели своих соседей, впервые им представился случай друга друга разглядеть. И вскоре волнение и потребность в общении преодолели стену сдержанности, и наружу пробился дух товарищества, какого никогда еще не знал этот огромный человеческий улей. Люди, которые в иное время не удостоили бы друг друга и кивком, скоро уже вместе смеялись и болтали, точно давние знакомые.

Известная куртизанка в мантию из шиншиллы, которое ей подарил престарелый, но богатый любовник, сняла это великолепное одеяние и, подойдя к легко одетой пожилой женщине с тонким аристократическим лицом, набросила мантию ей на плечи.

— Закутайтесь, голубчик. Вы, видно, озябли, — сказала она, и в ее грубом голосе слышалась доброта.

На гордом лице немолодой женщины промелькнул испуг, но она тут же любезно улыбнулась и мило поблагодарила свою запятнанную сестру. А потом они стояли и разговаривали, точно давние подруги.

Некий заносчивый старый консерватор из рода старых голландских поселенцев сердечно беседовал с политиком-демократом, известным своей продажностью, чье общество он еще час назад отверг бы с негодованием и презрением.

Отпрыски старых аристократических семейств, которые строго блюли традицию высокомерной замкнутости, сейчас безо всяких церемоний болтали с выскочками-нуворишами, которые только вчера приобрели имя и деньги.

И так было повсюду, куда ни кинешь взгляд. Гордые своей расовой принадлежностью неевреи беседовали с богатыми евреями, величавые дамы — с певичками, женщина, широко известная своей благотворительностью, — со знаменитой шлюхой.

Меж тем толпа по-прежнему с любопытством следила за действиями пожарных. Пламени не видно, но в некоторых коридорах и на лестничных клетках сизо от дыму, и пожарные протянули во всех направлениях толстенные белые шланги, так что они сетью опутали весь двор. Время от времени отряды людей в касках кидались в полные дыма подъезды того крыла, где не горел свет, и взбирались вверх по лестницам, и по отблеску их фонариков в темных окнах толпа во дворе видела, как они продвигаются по верхним этажам. Другие пожарные появлялись из подвалов и подземных переходов и о чем-то втихомолку совещались со своим начальством.

Внезапно в ожидавшей во дворе толпе кто-то что-то заметил и указал пальцем. Люди всколыхнулись, подняли глаза, глядя в одну из квартир в темном крыле. Там, как раз над квартирой Джеков, только четырьмя этажами выше, из открытого окна вверх

устремлялись пряди дыма.

Скоро пряди сгустились в облака, и вдруг из этого окна вырвались маслянисто-черные клубы дыма и с ними сверкающий сноп искр. И толпа разом судорожно вздохнула, взволнованная той странной неистойвой радостью, какая всегда охватывает людей при виде пожара.

Дым валил все гуще. Горела, видно, только эта единственная комната на самом верху, но теперь она уже яростно изрыгала маслянисто-черный дым, а внутри комнаты он был еще и окрашен мрачным, зловещим отблеском пламени.

Эстер Джек, как замороженная, неотрывно глядела вверх. Подняв руку, слегка прижав ее к груди, обернулась к Хуку и медленно зашептала:

— Стив... правда, это так странно... самое странное... — Она не закончила. Стояла, слегка сжав руку, и смотрела на Стивена глазами, полными безмерного удивления и восторга, которыми она пыталась поделиться.

Хук хорошо ее понял, даже слишком хорошо. Сердце его мучительно ныло от страха, нетерпенья, восторга. Ему не по силам было все напряжение, весь ужас и непередаваемая красота этого зрелища. Это было мучительно до потери сознания. Ему хотелось, чтобы его унесли отсюда, запрятали, замуровали в каком-нибудь дальнем укромном уголке, где дышится легко и спокойно, где его навеки оставит гибельный страх, который сдает его плоть. И, однако, он не мог оторваться от этого зрелища. Он смотрел на все измученным, но замороженным взором. Так человек, обезумевший от жажды, пьет воду моря и с каждым глотком мучается все сильнее, но не в силах оторваться — ведь на губах влага и прохлада. И вот Стивен Хук смотрел и упивался со всей отчаянной одержимостью страха. Все это было так близко — и так чудесно, так страшно и волшебно прекрасно. И это было несравнимо подлинней всего, что способно измыслить воображение, это подавляло. От всей картины веяло неправдоподобием.

«Этого не может быть, — думал он. — Это невероятно. И, однако, вот же оно!»

Да, вот оно! Он ничего не упустил. А стоял нелепо — в котелке, руки в карманах пальто, бархатный воротник поднят, и, как всегда, чуть не спиной повернулся ко всему свету и усталоравнодушным взглядом из-под тяжелых век с презрением мандарина взирает на происходящее, словно говорит: «Ну и престранное сборище. Что за удивительные существа топчутся вокруг? И почему они принимают все так близко к сердцу, так немислимо серьезно?»

Несколько пожарных с огромным шлангом, из медного патрубка которого капала вода, протолкались мимо него сквозь толпу. Шланг, извиваясь, полз по песку, точно гигантский удав с жесткой шершавой кожей, пожарные прошли совсем рядом, и Хук слышал, как стучат по камням их сапоги, и читал на грубых лицах первобытную силу и обнаженную неукротимую целеустремленность. И сердце его сжалось от страха, от изумления, от страстной тоски по этой бессознательной мощи, по радости, силе и неистовству, которые и есть жизнь.

В эту минуту в толпе, слишком близко, кто-то заговорил — пьяно, бесшабашно. Голос резнул уши, и Хук испуганно и сердито подумал — только бы пьяный не подошел ближе! Чуть повернул голову к миссис Джек и в ответ на ее шепотом заданный вопрос скучно пробормотал:

— Странно?... Хм... да. Любопытно раскрываются местные нравы.

Эми Карлтон, кажется, была поистине счастлива. Словно впервые за весь вечер она нашла то, что искала. В ее поведении и наружности ничто не изменилось. Быстрая порывистая речь, бессвязные невнятные фразы, хриплый смех, бесчисленные пустопорожние «Вы знаете...», «Послушайте...», прелестная головка в крупных черных кудрях, вздернутый носик, веснушки — все как было. И, однако, что-то изменилось. Как будто могучая чудодейственная сила огня сплавил все болезненно расщепленные частицы ее личности в единый кристалл. Она была все та же, прежняя, только мучительный внутренний разлад странным образом уступил место цельности.

Бедное дитя! Всем, кто знал ее, вдруг стало ясно, что, как и многие «потерянные», она

бы вовсе не была потерянной, если бы перед нею всегда горел огонь. Уж очень не по ней был привычный порядок вещей, — не могла она поступать, как все, вставать утром, ложиться вечером. Но пожар — это было по ней, это она приняла. Ей казалось, пожар — это чудесно! Она была в восторге от всего, что произошло. Она окунулась во все это не как зрительница, но как прямая и вдохновенная участница. Казалось, она здесь знает всех, она переходила от одного кружка к другому, ее черная как смоль головка мелькала в толпе то тут, то там, и слышался голос — нетерпеливый, хриплый, резкий, ликующий. К своим она вернулась полная происходящим.

— Послушайте!.. Вы знаете! — выпалила она... — Вон те пожарные... — она торопливо показала в ту сторону, где трое или четверо пожарных с огнетушителем кинулись в клубящийся подъезд, — ...как подумаешь, сколько всего им надо уметь!.. сколько всего делать... Я раз была на большом пожаре, — торопливо поясняла она, — один мой друг служил по этой части!.. — Послушайте... — Она хрипло, ликующе рассмеялась. — Как подумаешь, что им приходится...

Тут из дома донесся трескучий грохот. Эми радостно засмеялась и быстро взмахнула рукой, будто этим было все сказано.

— Ну вот, понимаете? — воскликнула она.

Тем временем к ним подошла девушка в вечернем платье, которая переходила от одного кружка к другому, и с той свободой, какую во всех них пробудил пожар, бесцветным голосом, на одной ноте и чуть гнусаво, как говорят жители Среднего Запада, обратилась к Стивену Хуку:

— Скверно, да, как по-вашему? — спросила она, глядя на дым и языки пламени, которые теперь вырывались из окна верхнего этажа. И, прежде чем кто-нибудь успел ответить, продолжала: — Надеюсь, все-таки не очень.

Хук, в ужасе от такого грубого вторжения, отвернулся и смотрел на нее искоса из-под опущенных век. Не получив от него ответа, девушка заговорила с Эстер:

— Просто ужасно, если там, наверху, что-то не ладно, правда?

Эстер Джек поглядела на нее с дружеским участием и тотчас ласково отозвалась:

— Нет, дорогая, я думаю, не так уж скверно. — Она с тревогой посмотрела на клубы дыма и языки пламени (по правде сказать, они теперь выглядели не просто скверно, но угрожающе), поспешно опустила смятенный взгляд и ободряюще сказала девушке: — Я уверена, все обойдется.

— Что ж, надеюсь, вы правы... Потому что, — прибавила она, уже готовясь отойти, словно эта мысль возникла у нее только сию минуту, — это мамина комната, и если мама там, будет совсем скверно, правда?.. То есть если там уже сейчас совсем скверно.

С этими поразительными словами, произнесенными небрежно, ровным тоном, без малейшего волнения, она скрылась в толпе.

Минута мертвой тишины. Потом Эстер Джек в смятении, словно не уверенная, не подвел ли ее слух, обернулась к Хуку.

— Вы слышали?.. — растерянно заговорила она.

— Ну вот, — с коротким торжествующим смешком перебила Эми. — Вы знаете... это все там!

20. Неуправляемый

Внезапно свет во всем доме погас, и двор погрузился во тьму, которую разрывали лишь пугающие вспышки пламени, вырывавшегося из квартиры на верхнем этаже. По толпе прошел глухой ропот, она беспокойно заколыхалась. Несколько молодых хлыщей во фраках воспользовались случаем и пошли бродить в темной толпе, дерзко ударяя лучами карманных фонариков прямо в лицо людям.

К толпе двинулись полицейские — и добродушно, но решительно, раскинув руки, стали вытеснять ее со двора, через арки, на прилегающие к дому улицы. Улицы эти сплошь были

опоясаны и перехвачены петлями шлангов, которые путались под ногами, и могучий мерный шум пожарных насосов заглушал все привычные звуки. Жителей огромного дома бесцеремонно, точно стадо, оттесняли через улицу, им пришлось смешаться с самыми обыкновенными зеваками на противоположных тротуарах.

Иные дамы почувствовали, что для ночной прохлады одеты слишком легко, и нашли прибежище в квартирах друзей и знакомых по соседству. Другие, устав топтаться на улице, отправились в отели — переждать или провести ночь. Но большинство упорно оставалось на месте, с любопытством и нетерпением ожидая, чем все кончится. Мистер Джек повел Эдит, Элму, Эми и двух-трех ее приятелей в ближайший отель выпить. Остальные еще некоторое время помешкали, одолеваемые любопытством. А потом Эстер Джек, Джордж Уэббер, Лили Мэндл и Стивен Хук пошли в ближайшую аптеку-закусочную. Они подсели к стойке, заказали кофе и сэндвичи и принялись оживленно болтать с другими беженцами, которых теперь здесь было уже немало.

Беседовали все непринужденно, дружески. Кое-кто был даже весел. Но в разговоре уже царило смятение — какое-то беспокойство, озадаченность, неуверенность. Богатые, могущественные люди, они вместе с женами, чадами и домочадцами были неожиданно выброшены из уютных гнездышек, и теперь им оставалось только ждать, беспринутно коротая время в аптеках-закусочных или в холлах отелей, либо, закутавшись во что попало, жаться друг к другу на углах улиц, точно путники, потерпевшие кораблекрушение, и беспомощно переглядываться. Кое-кто смутно чувствовал, что их подхватила некая таинственная, неумолимая сила и несет неведомо куда, точно слепых мух, прилепившихся к бешено вертящемуся колесу. Другим чудилось, будто их опутала огромная паутина и раскинулась она столь широко, сплетена столь хитро, что не понять, не разобрать, где же ее начало и как из нее выпутаться.

Ибо в их спокойном упорядоченном мире что-то вдруг пошло наперекос. Привычный этот мир стал неуправляем. Они — господа и хозяева, они облечены властью и привыкли повелевать, — и вот вдруг кормило управления вырвано у них из рук. И они чувствуют себя странно беспомощными, они уже не способны направлять ход событий, не способны даже выяснить, что же происходит.

Но путями, далекими от их слепого и беспокойного знания, события неумолимо шли к неотвратимой развязке.

В одном из дымных коридоров этого громадного улья встретились двое в касках и сапогах и озабоченно заговорили:

— Нашел?

— Да.

— Где?

— В подвале, начальник. Оказывается, вовсе не на крыше... Тяга все выносит по вентиляционной трубе. А оно все внизу. — Он ткнул большим пальцем себе под ноги.

— Что ж, иди кончай с ним. Тебя учить не надо.

— Плохо дело, начальник. Тут не так-то просто справиться.

— А почему?

— Если затопим подвал, заодно затопим железнодорожные пути на двух уровнях. Сами понимаете, что получится.

Мгновение они молча смотрели друг другу в глаза. Потом тот, что постарше, мотнул головой и зашагал к лестнице.

— Пошли, — сказал он. — Идем вниз.

Внизу, в недрах земли, была комната, где всегда горел свет и всегда была ночь.

Сейчас там зазвонил телефон, и человек в зеленом козырьке, сидевший за столом, снял

трубку.

— Слушаю... А, привет, Майк.

Он внимательно слушал — и вдруг весь напрягся, подался вперед, выхватил изо рта сигарету.

— Черт возьми!.. Где? Над тридцать вторым?.. Хотят затопить тридцать второй путь!.. А, черт!

Глубоко в сотах исполинской скалы горели красные, зеленые, желтые огни, безмолвные в вечной тьме, прекрасные и жгучие, жгучие, как память о горе. Внезапно на всем протяжении слабо мерцающих рельс зеленые и желтые глаза мигнули и взамен вспыхнули предостерегающие красные огни.

В нескольких кварталах отсюда, как раз там, где начинается эта поразительная сеть подземных железнодорожных путей, могучих и сверкающих стальных лент, скорый поезд вдруг остановился, но совсем мягко, — пассажиры, которые уже вставали с мест и готовились выходить, только и почувствовали легкий толчок и даже не подумали, что произошло неладное.

Однако впереди, в будке электрического локомотива, который вел длинный состав на последнем перегоне вдоль реки Гудзон, машинист взгляделся и увидел предупреждающие огни. Увидел смену ярких огней во мраке и выругался:

— Что за черт?

Поезд плавно останавливался, ток был выключен, и глухой вой, который издавали могучие моторы локомотива, разом смолк. Перегнувшись через приборы к своему помощнику, машинист торопливо произнес:

— Что там стряслось, черт подери?

И скорый надолго застыл молчаливой, бессильной стальной машиной, а неподалеку потоки воды мчались меж рельс, и пять сотен мужчин и женщин, оторванных от привычной жизни и унесенных из городов, городишек и поселков, что разбросаны по всему континенту, очутились в каменном плену всего в каких-нибудь пяти минутах от огромной станции, от конца пути, от заветной общей цели — усталые, раздосадованные, полные нетерпенья. А на этой станции их встречали еще сотни людей — и продолжали ждать и, не зная, отчего задержка, беспокоились, тревожились, терялись в догадках.

Меж тем в освобожденном от жителей доме на площадке седьмого этажа черной лестницы пожарные лихорадочно работали топорами. Здесь было не продохнуть от дыма. Обливаясь потом, люди работали в масках, при слабом свете электрических фонариков.

Они уже пробили дверь лифтовой шахты, один опустился на крышу кабины, застрявшей на пол-этажа ниже, и теперь острым топориком старался ее взломать.

— Ну, как, Эд, добрался?

— Ага... вроде... Почти добрался... Вот еще разок стукну.

Он снова взмахнул топором. Громкий треск. И голос:

— Так!.. Обожди... Поддай-ка фонарь, Том.

— Что-нибудь видишь?

И не сразу негромкий ответ:

— Ага... Спускаюсь в кабину... Джим, спустись-ка тоже. Ты мне понадобишься.

Короткое молчание, потом снова тихий голос пожарного:

— Так... Я взялся... Ну-ка, Джим, подхватывай под мышки... Готово?.. Так... Том, ты тоже спустись и помоги Джиму... Вот так.

Все вместе они вытащили его из капкана, при свете электрических фонариков с минуту глядели в лицо и бережно опустили на пол — старого, усталого, мертвого и безмерно жалкого.

Эстер Джек подошла к окну аптеки-закусочной и стала всматриваться в огромный дом

на другой стороне улицы.

— Что-то там сейчас происходит? — с озадаченным видом сказала она друзьям. — Как по-вашему, все уже кончилось? Потушили?

Темная громада уходящих вверх стен ничего ей не ответила, но по некоторым признакам можно было заключить, что пожар на исходе. По мостовой тянулось уже меньше шлангов, пожарные свертывали их и втаскивали обратно в машины. Другие пожарные выходили из дома со своими инструментами и тоже укладывали их в машины. Мощные насосы еще работали в полную силу, но шланги, соединяющие их с водоразборными колонками, были откручены и вода, которую они качали, поступала откуда-то еще и стремительными потоками изливалась в водостоки. Полиция все еще сдерживала толпу и не пропускала жителей назад в квартиры.

Газетчики, давным-давно прибывшие на место происшествия, теперь уже заходили в аптеку и по телефону передавали сообщения в свои газеты. То была пестрая компания, в поношенных, потертых пиджаках, в помятых шляпах, за ленточки которых засунуты репортерские удостоверения, кое у кого красные носы — верный знак, что немало времени эти люди проводят в кабачках.

По ним и без удостоверений видно было, что они газетчики. Ошибиться тут невозможно. Какой-то усталый взгляд, что-то тусклое, потрепанное во всем облике — и в лице, и в тоне, и в том, как человек ходит, как курит сигарету, даже в том, как мешковато сидят брюки, и особенно в его выдавшей вида шляпе, — по всему этому сразу узнаешь представителя прессы.

В них ощущалась некая усталая терпимость, усталое равнодушие, нечто такое, что как бы говорило устало: «Да, знаю, все знаю. Так что у вас? Из-за чего шум-гам?»

И, однако, что-то в них было привлекательное, что-то доброе, хотя уже подпорченное, что-то уже померкло, а некогда горело надеждой и вдохновением, нечто такое, что говорило: «Ну, ясно. Когда-то я думал, оно есть и во мне, я готов был умереть, только бы написать что-нибудь стоящее. А теперь я просто шлюха. Продам лучшего друга, лишь бы раздобыть какую-нибудь историю. И чтоб история звучала похлестче, я вас предам, обману ваше доверие, ваше дружелюбие, переиначу все ваши слова, лишу их искренности, смысла, чести, они прозвучат, как пустая болтовня шута или клоуна. Плевать мне на правду, на точность, на факты, и не любопытно рассказывать о вас — о том, что вы за люди, как вы тут жили, что говорите, как выглядите, какие вы на самом деле, и как тут сейчас на пожаре необычно, какая обстановка, и настроение, и самый воздух, — все это нужно мне постольку, поскольку поможет похлестче написать репортаж. Мне нужно только найти „угол зрения“. В этой ночи есть и горе, и любовь, и страх, иступление, боль и смерть — здесь разыгрывается вся драма жизни. Но мне на все это плевать, мне только бы подцепить что-нибудь такое, от чего у наших подписчиков завтра пойдет мороз по коже... рассказать бы им, к примеру, что во время переполоха у мисс Лины Джинстер удрал из клетки ее любимчик удав и полиция и пожарные все еще не могут его разыскать, а ЖИТЕЛИ ФЕШЕНЕБЕЛЬНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В УЖАСЕ... Вот он каков я, господа хорошие, пальцы у меня желтые от табака, глаза усталые, от меня разит джином, вчерашней выпивкой, мне хоть тресни надо пробраться вон к тому телефону и продиктовать этот репортаж, тогда главный отпустит меня и можно будет заглянуть к Эдди и выпить еще стаканчик-другой виски с содовой и со льдом, вот тогда этот день для меня и в самом деле закончится. Но не судите меня слишком строго. Конечно, я продам вас со всеми потрохами. Ради красного словца не пожалею ни мать, ни отца, лишь бы раздуть сенсацию, — но по сути я не так уж плох. Не раз и не два я преступал границы порядочности, но в глубине души всегда хотел быть порядочным человеком. Я не говорю правды, и все-таки есть во мне некая горькая честность. Подчас я способен поглядеть себе прямо в лицо и сказать правду о себе и увидеть, каков я на самом деле. Я ненавижу притворство, и лицемерие, и обман, и бесчестность, знай я, что завтра конец света, — ах, черт! — какой номерок газеты мы бы выдали в последнее утро! И еще у меня есть чувство юмора, я люблю повеселиться, поесть,

выпить, со вкусом поболтать, я человек компанейский, мне по нраву все волнующее великолепие жизни. Так что не будьте со мной чересчур суровы. Право же, сам я не так плох, как иные мои вынужденные художества».

Таковы расплывчатые и все же явственные приметы репортерского племени. Словно наш мир, так замаравший их своим грязным прикосновением, оставил на них еще и теплый след живой жизни — подкупающие добродетели своего богатого опыта, дал им зоркость и проницательность, непринужденность едких речей.

Двое или трое из них появились в закуской и начали интервьюировать людей. Вопросы их казались до нелепости неуместными. Они подходили к девушкам помоложе и покрасивей, осведомлялись, не из горящего ли они дома, и тут же с простодушным видом спрашивали, принадлежат ли они к высшему обществу. И если девушка это подтверждала, репортеры тут же записывали ее имя и все чины и звания ее родителей.

Меж тем один из представителей прессы, весьма потрепанного вида субъект с распухшим красным носом и редкими зубами, вызвал по телефону свою редакцию и, сдвинув шляпу на затылок и развалясь на стуле так, что ноги торчали из кабины, докладывал о своих открытиях. Джордж Уэббер был среди тех, Кто стоял у самой кабины. Он заметил красноносого, едва тот вошел: что-то в этом потрепанном, прожженном субъекте притягивало взгляд; и сейчас Джордж только притворялся, будто слушает непринужденную болтовню окружающих, а на самом деле как замороженный ловил каждое слово этого человека.

— ...Ну да, про то я и толкую. Валяй записывай... Прибыла полиция, — важно продолжал он, упиваясь слетавшими с языка избитыми словами, — прибыла полиция и окружила дом кордоном. — Короткое молчание, и красноносый с досадой проскрипел: — Да нет же, нет! Не эскадрон! Кордон!.. Что-что?.. Я говорю, кордон! Кордон... кордон!.. Фу, черт! — обиженно продолжал он. — Ты что, первый день в газете? Может, никогда не слышал, что такое кордон?.. Записывай. Слушай... — Теперь он старательно подбирал слова, поглядывая на исчерканный листок бумаги, который держал в руке. — Многие жильцы дома принадлежат к высшему свету, и среди тех, кто помоложе, немало разных знаменитостей... Что? Как так? — вдруг резко произнес он, словно бы озадаченный. — Вон что!

Он быстро огляделся — не слышит ли кто, — и, понизив голос, снова заговорил:

— Ну да! Двое!.. Нет, только двое... Раньше вышла путаница. Старая дама нашлась... А я про что толкую! Когда начался пожар, она была совсем одна... понятно? Никого родных дома не было, а когда они вернулись, решили — она там застряла, как в капкане. А она нашлась. Внизу, в толпе. Она одна из первых вышла на улицу... Ага... только двое. Оба лифтеры. — Он еще понизил голос и, глядя в свои заметки, отдельно прочел: — Джон Инборг... шестьдесят четыре года... женат... трое детей... проживает на Ямайка-Куинз... Записал? — спросил он, потом продолжал: — И Герберт Эндерсон... двадцать пять лет... холост... проживает с матерью... Бронкс, Южный бульвар, восемьсот сорок один... Записал?.. Ясно. Ну, ясно!

Он снова огляделся и заговорил еще тише:

— Нет, вытащить не могли. Оба были в лифтах, поднимались за жильцами... понимаешь?.. а какой-то перетрусивший болван хотел включить свет, а впопыхах схватился за рубильник и выключил ток... Ясно. Вот именно. Они застряли между этажами... Инборга только что вытащили. — Он понизил голос чуть не до шепота. — Пришлось пустить в ход топоры... Ясно. Ясно. — Он кивнул в трубку. — Вот именно... дым. Когда вытащили, было уже поздно... Нет, больше никого. Только эти двое... Нет, еще не знают. Никто не знает. Администрация хочет замолчать это, если удастся... Что такое? Эй!.. Говори громче, слышишь? Чего ты там бормочешь! — громко, сердито прокричал он в трубку, потом минутную другую внимательно слушал. — Да, почти кончился. Но было худо. Не сразу добрались. Началось в подвале, огонь поднялся по вытяжной трубе и на верхнем этаже вырвался... Ясно, знаю, — он кивнул. — Оттого-то и было так худо. Как раз под домом в два этажа рельсовые пути. Сперва побоялись затопить подвал, боялись, пострадает дорога. Пробовали огнетушители, да не одолели... Тогда уж выключили в туннелях ток и пустили воду. Наверно,

Сейчас там такая пробка, поезда стоят, наверно, уже до самого Олбани... Ясно, выкачивают. Похоже, все уже почти кончилось, но было худо... Ладно, Мак. Хочешь, чтоб я тут еще поболтался?.. Ладно, — сказал он и повесил трубку.

21. Любовь — это еще не все

Пожар кончился.

Услышав, как отъезжает первая пожарная машина, миссис Джек и те, кто был с ней, вышли на улицу. На тротуаре стояли мистер Джек, Эдит и Элма. В отеле они встретили старых друзей и оставили с ними Эми и ее спутников.

Мистер Джек был отлично настроен, на него приятно было смотреть, чувствовалось, что он в меру выпил и закусил. Через руку у него было перекинута дамское пальто, и теперь он набросил его на плечи жены.

— Это тебе послала миссис Фелдман, Эстер. Она сказала, ты можешь вернуть его завтра.

Все это время она была просто в вечернем платье. Она не забыла сказать вовремя служанкам, чтобы они надели пальто, но про свои пальто ни она, ни мисс Мэндл не вспомнили.

— Как это мило с ее стороны! — воскликнула миссис Джек, и при мысли о том, как добры оказались люди в час испытания, лицо ее засветилось радостью. — Какие все хорошие, правда?

Другие беженцы тоже недружно сбредались к дому и останавливались на углу, дальше которого полиция все еще их не пускала. Большая часть пожарных машин уже уехала, а оставшиеся тихонько подрагивали, готовые вот-вот сорваться с места. Одна за другой эти машины с грохотом отбывали. И вот уже полицейским ведено впустить жильцов в здание.

Стивен Хук попрощался и пошел прочь, а остальные перешли улицу и направились к дому. Со всех сторон люди устремились через арки во двор, забирая по пути горничных, кухарок и шоферов. Сразу вновь установились иерархия и порядок, и уже слышно было, как хозяева отдают распоряжения слугам. Монастырского вида аркады наполнились людьми, медлительной чередой вливающимися в подъезды.

В толпе теперь царил уже совсем не тот дух, что несколько часов назад. Все снова обрели привычную уверенность в себе, привычную манеру держаться. Непринужденности и дружелюбия, с какими люди отнеслись друг к другу в те тревожные часы, как не бывало. Казалось, теперь они даже немного стыдятся, что в волнении обнаружили необычную приветливость и неуместную сердечность. Каждый тесный семейный кружок замыкался в ледяной неприступности, в своей истинной сущности, возвращался в свою уютную келью.

В подъезде Джеков от стен еще пахло едким застоявшимся дымом, но уже пущен был ток и лифт работал. Миссис Джек слегка удивилась, что в лифте их поднимает швейцар Генри, и спросила:

— А что, Герберт ушел домой?

Генри, чуть помедлив, ответил ровным голосом:

— Да, миссис Джек.

— Вы все, наверно, выбились из сил! — ласково, со свойственным ей сочувствием сказала она. И продолжала: — Потрясающий был вечер, правда? Вы хоть раз в жизни видели такое волнение, такой переполох, как сегодня?

— Да, мэм, — ответил он таким поразительно деревянным голосом, что она растерялась, словно ее осадили, и в какой уже раз подумала: «До чего странный человек! И какие все люди разные! Герберт такой сердечный, веселый, такая живая душа. С ним-то вполне можно поговорить. А этот сухарь какой-то, на все пуговицы застегнут, не поймешь, что у него внутри. А попробуй с ним заговорить — тут же поставит тебя на место, обдаст презрением, сразу видно — не желает иметь с тобой ничего общего!»

Отвергнутая, она была оскорблена в лучших чувствах и почти рассердилась. Дружелюбная по натуре, она хотела бы, чтобы и все вокруг были дружелюбны, даже слуги. Но пытливая мысль ее уже сама собой заработала: прелюбопытная личность этот Генри,

хорошо бы его разгадать.

«Что-то с ним неладно, — думала Эстер Джек. — С виду он всегда такой несчастный, такой недовольный, все время таит в себе какую-то обиду. Отчего он такой? Что ж, наверно, жизнь у него, у бедняги, несладкая: только и делает, что отворяет двери, да подзывает такси, да высаживает людей в машины, и высаживает, и всю ночь напролет отвечает на всякие вопросы — радости мало. Да, но ведь Герберту еще хуже — взаперти, в этом душном лифте, без конца вверх-вниз, вверх-вниз, — ничего не видно, ничего не происходит, — и, однако, он всегда такой милый, такой услужливый!»

И она высказала вслух какую-то долю своих мыслей:

— Наверно, Герберту сегодня ночью пришлось тяжелей всех вас. Шутка ли, спустить вниз столько народу.

На это Генри и вовсе не ответил. Казалось, он просто не слышал ее слов. На их этаже он остановил лифт и сказал сухо, безо всякого выражения:

— Ваш этаж, миссис Джек.

Они вышли из кабины, лифт скользнул вниз, а ее такая досада взяла, даже щеки вспыхнули, — она обернулась к своей семье и гостям и сказала сердито:

— Право, этот швейцар мне порядком надоел! Такой угрюмый! И с каждым днем становится все хуже! До чего дошло, с ним заговариваешь, а он и отвечать не желает!

— Ну, возможно, он устал, Эстер, — примирительно заметил мистер Джек. — Им, знаешь ли, сегодня очень нелегко пришлось.

— Так что же, это мы виноваты? — не без язвительности возразила миссис Джек. Но вошла в гостиную, снова увидела, какой там беспорядок после представления Лоугена, и в ней встрепенулось всегдашнее веселое остроумие, и сразу вернулось хорошее настроение. Она комически пожала плечами: — Что ж, устроим благотворительный базар в пользу погорельцев.

Как ни удивительно, с виду словно бы ничего не изменилось, а ведь столько произошло с той минуты, как они в тревоге второпях покинули квартиру. Воздух был тяжелый, спертый, не сильно, но едко еще отдавало дымом. Миссис Джек велела Норе отворить окна. И все три горничные, не раздумывая, взялись за привычную работу, стали проворно наводить в комнате порядок.

Эстер извинилась перед своими и ненадолго ушла к себе. Сняла чужое пальто, повесила его в стенной шкаф, старательно поправила растрепавшиеся волосы.

Потом подошла к окну, подняла повыше раму и глубоко вдохнула свежий, бодрящий воздух. Хорошо! Последний слабый привкус дыма смыло прохладным дыханием октября. И в белом свете луны бастионы и шпили Манхэттена излучали холодное таинственное очарование. На Эстер снизошел мир. Глубокий покой и уверенность омыли все ее существо. Жизнь так надежна, так великолепна, так хороша.

И вдруг по ногам прошла дрожь. Эстер Джек испуганно замерла, подождала, вслушалась... Неужто снова гармонию, что установилась в душе, грозит поколебать тревога из-за Джорджа! Сегодня он был какой-то на удивление тихий. Да ведь он за весь вечер и двух слов не сказал. Что это с ним? И что за слух до нее дошел? Что-то насчет падения акций. В самый разгар приема она слышала, Лоуренс Хирш что-то такое сказал. Тогда она пропустила это мимо ушей, а вот сейчас вспомнила. «Слабые колебания на бирже» — вот что он сказал. О каких колебаниях была речь?

А, вот опять! Что же это?

Опять поезда!

Дрожь миновала, постепенно утихла, утонула в неколебимости вечного камня, и остался лишь синий купол октябрьского неба.

Глаза Эстер Джек снова засветились улыбкой. Мимолетной тревожной морщинки меж бровей как не бывало. И когда она повернулась и пошла в гостиную, лицо у нее было нежное,

прямо-таки ангельское — лицо ребенка, который наслаждался еще одним замечательным приключением.

Эдит и Элма сразу же разошлись по своим комнатам, а Лили Мэндл скрылась в одной из спален, где гости оставляли свои пальто, и теперь вышла в великолепной меховой пелерине.

— Было невысказанно прекрасно, дорогая, — сказала она устало, гортанным голосом, нежно целуя подругу. — Огонь, дым, Свинтус Лоуген и прочее — я просто в восторге!

Эстер Джек затряслась от смеха.

— Твои приемы восхитительны! — заключила Лили Мэндл. — Никогда не знаешь, чего еще ждать!

Она распрощалась и ушла.

Джордж тоже собрался уходить, но Эстер Джек взяла его за руку и сказала просительно:

— Подождите. Побудьте еще минутку, поговорите со мной.

Мистер Джек уже явно хотел спать. Он легонько поцеловал жену в щеку, небрежно простился с Джорджем и ушел к себе. Молодые люди могут приходиться и могут уходить, но мистер Джек не намерен лишиться себя сна.

На улице похолодало, в воздухе запахло морозцем. Гигантский город спал глубоким сном. Улицы были пустынные, лишь изредка по чьему-то срочному ночному вызову проносилось такси. Тротуары обезлюдели, и на них гулко отдавались шаги одинокого пешехода, который завернул за угол на Парк-авеню и торопливо направился домой, к своей постели. Все взнесенные высоко в небо здания фирм и контор стояли темные, лишь в одном каменном утесе, на самом верхнем этаже, светилось окно, выдавая присутствие какого-то верного раба своего дела — видно, корпит над каким-нибудь скучным докладом, который должен быть готов к утру.

К боковому подъезду огромного многоквартирного дома, что высился над уже обезлюдевшим перекрестком, неслышно подкатила темно-зеленая полицейская санитарная машина и стояла в ожидании, невыключенный мотор тихонько урчал. Около нее — ни души.

Вскоре дверь, ведущая в подвал, отворилась. Вышли двое полицейских с носилками, на которых покоилось что-то неподвижное, покрытое простыней. Они осторожно вдвинули носилки в машину.

Минуту спустя дверь подвала вновь отворилась, и появился сержант. За ним еще двое полицейских несли вторые носилки с таким же грузом. И так же осторожно задвинули его туда же.

Дверцы санитарной кареты захлопнулись. Шофер и еще один полицейский обошли ее и сели впереди. Вполголоса перекинулись несколькими словами с сержантом, машина тихонько тронулась и, приглушенно позванивая, повернула за угол.

Трое оставшихся полицейских еще минутку-другую совещались, один из них при этом что-то записывал в книжечку. Потом они попрощались, отдали честь и разошлись в разные стороны. Каждый возвращался к своим обязанностям.

Меж тем у внушительного подъезда под сводчатой аркадой, освещенной фонарем, еще один полицейский беседовал с швейцаром Генри. Швейцар отвечал на вопросы ровным голосом, односложно, угрюмо, и полицейский записывал его ответы в книжечку.

— Стало быть, молодой был не женат?

— Да.

— Сколько лет?

— Двадцать пять.

— А жил где?

— В Бронксе.

Он отвечал тихо и угрюмо, попросту бормотал себе под нос, так что полицейский поднял голову и отрывисто, резко переспросил:

— Где?

— В Бронксе! — бешено повторил Генри.

Полицейский кончил записывать, сунул книжечку в карман и, на минуту задумавшись, произнес:

— Да, не хотел бы я там жить, верно? Экая чертова даль.

— Да уж! — отрезал Генри и нетерпеливо отвернулся. — Если это все...

— Все, — грубовато, с добродушной насмешкой прервал полицейский. — Больше от тебя ничего не требуется, приятель.

В холодных глазах его зажглись веселые огоньки, он крутил за спиной дубинку и смотрел вслед уходящему швейцару, а тот вошел в подъезд, зашагал к лифту и скрылся из глаз.

Наверху, в гостиной, Джордж и Эстер остались одни. По всему чувствовалось, бурный день позади. Прием кончился, пожар кончился, гости разошлись.

Эстер легонько вздохнула и под села к Джорджу. Испытующе осмотрелась: все как всегда. Войди сейчас кто-нибудь, ему и в голову не придет, что здесь что-то случилось.

— Правда, странно? — раздумчиво произнесла она. — Прием... и вдруг пожар!.. Понимаешь, все это вышло как-то так... — Она говорила неуверенно, с запинкой, словно не могла толком выразить, что хотела. — Сама не знаю... но вот как мы все тут сидели после представления Лоугена... и вдруг пронеслись пожарные машины... а мы ничего не знали... мы думали, они спешат куда-то еще. Было в этом какое-то предзнаменование, что ли. — Она наморщила лоб, силясь разобраться в своих ощущениях. — Это даже пугает, правда?.. Нет, не пожар! — быстро пояснила она. — Пожар — пустяки. Никто не пострадал. По правде сказать, это было так увлекательно... Понимаешь, — она снова говорила неуверенно, озадаченно, — когда подумаешь, как... как все стало... понимаешь, нынешний образ жизни... эти огромные дома... твой дом загорелся, а ты ничего и знать не знаешь... Что-то в этом есть ужасное, правда?.. Господи! — вдруг вырвалось у нее. — Видал ты когда-нибудь таких людей? Вот как эти, из нашего дома... на что они были все похожи, там, во дворе?

Она рассмеялась, умолкла, потом взяла Джорджа за руку и, восторженно глядя на него, нежно прошептала:

— Но что нам до них?.. Их уже нет... Никого и ничего нет... Только мы с тобой. Знаешь ли ты, что я думаю о тебе непрерывно? — негромко сказала она. — Просыпаюсь утром — и первая мысль о тебе. И потом весь день ношу тебя с собой... вот здесь. — Она прижала руку к груди и продолжала восторженным шепотом: — Ты наполняешь мою жизнь, мое сердце, мою душу, все мое существо. Господи, да такой любви, как наша, не было с сотворения мира... неужели кто-нибудь так любил друг друга, как мы? Если б я умела играть, я бы сочинила о нашей любви прекрасную музыку. Умела бы петь — сложила бы о ней прекрасную песню. Умела бы писать — написала бы прекрасную повесть. Но всякий раз, как я пытаюсь играть, или писать, или петь, я ни о чем не могу думать, только о тебе... А знаешь, один раз я попробовала написать повесть. — Улыбаясь, она прижалась розовой щекой к его щеке. — Разве я не говорила тебе?

Он покачал головой.

— Я была уверена, что получится великолепно, — горячо продолжала Эстер. — Мне казалось, я вся полна этим. Вот прямо сейчас взорвусь. А попробовала начать — только и написала: «Долгой, долгой ночью я лежала и думала о тебе».

Она неожиданно рассмеялась глубоким грудным смехом.

— И дальше дело не пошло. Но правда, отличное начало? И теперь, когда я не могу уснуть, эта единственная строчка ненаписанной повести преследует меня, звенит у меня в ушах. «Долгой, долгой ночью я лежала и думала о тебе». Ведь в этом — вся повесть.

Она придвинулась ближе, протянула губы.

— Да, милый, вот и вся повесть. В целом свете нет ничего важнее. Любовь — это все.

Ответить он был не в силах. Ибо он знал: для него это еще не вся повесть. Он слушал несчастный, усталый. Память о годах их любви, красоты и верности, боли и разлада, о ее доверии, нежности, благородной преданности — вся эта вселенная любви, которая была прежде и его вселенной, все, что могли вместить брненное тело и одна небольшая комната, — все это разом нахлынуло на него и разрывало ему сердце.

Ибо в этот вечер он понял, что любовь — это еще не все. Должна быть иная верность, куда выше верности этому прекрасному плену. И, уж конечно, существует другой мир, куда шире этого сверкающего мирка со всем его богатством и со всеми преимуществами. В юности и в первые годы зрелости именно этот мир красоты, беспечности, роскоши, могущества, славы, обеспеченности — казался Джорджу пределом мечтаний и честолюбивых притязаний, вершиной всего, чего может достичь человек. Но сегодня в несчетных поворотах, в какие-то острые, напряженные минуты ему открылась самая сущность этого мира. Джордж увидел его обнаженным, застиг его врасплох. Он понял, что общество — всего лишь декорация, шаткая пирамида, воздвигнутая на крови, и поте, и муках. И теперь он знал: если он хочет написать книги, которые, он чувствовал, живут в нем, надо отвернуться от этого мира, надо обратить лицо к иным, более благородным высотам.

Он думал о предстоящей работе. Все то, что произошло здесь сегодня, каким-то образом помогло ему покончить с внутренним разбродом и смятением. Многое, что прежде казалось сложным, стало просто и ясно. Все сводится вот к чему: честность, искренность, никакой половинчатости, только правда — вот самое главное во всяком искусстве, — и как бы ни был талантлив писатель, если в нем нет главного, он всего лишь жалкий писака.

И вот тут-то и вступает в игру Эстер и ее мир. В Америке, как нигде, не может быть и речи о честном соглашении с миром особых привилегий. Правда и привилегии несовместимы. Ведь если серебряный доллар поднести к самому глазу, он заслонит солнце. В жизни Америки есть такие глубины, такие мощные подводные течения... ни один из тех, кто ведет столь блистательную жизнь, не поведал о них и даже не подозревает об их существовании. Вот эти-то глубины он и хотел бы постичь.

Так думал Джордж, и вдруг молнией возникла мысль, которая весь вечер звучала у него в мозгу, словно эхо всего, что он видел и слышал:

— Кто поступится честью ради моды, того лишит чести время.

Так, значит... Эстер умолкла, он посмотрел на ее упоенное, поднятое к нему лицо — и любовь и жалость пронзили его сердце... Значит, быть по сему. Каждому свое: он останется в своем мире, она — в своем.

Но не сегодня. Сегодня он не в силах ей это сказать.

Завтра...

Да, завтра он ей скажет. Так будет лучше. Он скажет все прямо и ясно, как понял сейчас сам... так, чтобы и она поняла. Скажет — и покончит с этим... но не сейчас, а завтра.

Только одного он не скажет, так будет легче и для него и для нее. Будет верней, быстрее, милосердней, если он не скажет, что все еще любит ее, всегда будет ее любить и никогда ни одна женщина не займет в его душе ее место. Ни взглядом, ни единым словом, ни просто пожатием руки он не выдаст себя — пусть она не знает, что никогда ничто на свете не давалось ему трудней. Будет куда лучше, если она этого не узнает, ведь если узнает, ей этого не понять...

...ни за что ей завтра не понять...

...что время не ждет и глубинные течения увлекают с собою сердца человеческие...

И он должен идти.

В тот вечер они больше почти не говорили. Спустя несколько минут он поднялся и с тяжелым сердцем ушел из ее дома.

КНИГА ТРЕТЬЯ «КОНЕЦ И НАЧАЛО»

Когда цикада вылезает из земли, чтобы завершить круг своей жизни, она похожа скорее на жирную, перепачканную личинку, на червя, а не на крылатое создание. С трудом карабкается она по древесному стволу, и кажется, ноги у нее чужие, с такими усилиями, так неловко она их передвигает, будто еще не научилась ими владеть. Наконец мучительный подъем окончен и передними ножками она вцепилась в кору. И вдруг легкий треск — и верхняя одежда ее аккуратненько раскрывается на спине, точно расстегнулась «молния». Медленно насекомое начинает через щель выпрастывать из одежды тело, голову, всю себя. Медленно, медленно завершает она это поразительное действие и медленно выползает под солнечный луч, оставив позади бурую покинутую оболочку.

Живая простейшая протоплазма, чуть зеленеющая, долгое время неподвижно лежит на солнце, но если набраться терпенья и понаблюдать за ней еще, увидишь чудо изменения и роста, которое совершается у тебя на глазах. Через некоторое время в этом теле начинает пульсировать жизнь, оно делается плоским и, точно хамелеон, меняет цвет, а из крошечных отростков на спине с обеих сторон постепенно возникают крылья. Они растут все быстрее, быстрее, — прямо на глазах! — и вот уже мерцают на солнце прозрачные радужные крылья. Вот они уже трепещут — чуть заметно, потом быстрее и вдруг с металлическим шелестом рассекают воздух — и новорожденное создание вольно взмывает вверх, в иную стихию.

Осенью 1929 года Америка была подобна цикаде. Она подошла к концу и к началу. Двадцать четвертого октября в Нью-Йорке на Уолл-стрит, в здании с мраморным фасадом, внезапно раздался грохот, который услышала вся страна. Мертвая, изношенная оболочка былой Америки треснула на хребте и распалась, и начало выходить наружу нечто живое, меняющееся, страдающее, что было заключено внутри, — подлинная Америка, та Америка, что существовала всегда, та, которой еще предстояло обрести себя. Она вышла на дневной свет оглушенная, сведенная судорогой, изувеченная оковами неволи и долгое время оставалась в оцепенении, полная еще скрытых жизненных сил. И ждала, терпеливо ждала следующей стадии своего превращения.

Перед взором тех, кто стоял во главе государства, так долго маячил призрак мнимого процветания, что они уже забыли, какова Америка на самом деле. Теперь они ее увидели — увидели ее новый облик, ее первозданную грубость и ее силу — и, содрогаясь, отвратили от нее свой взор. «Верните нам нашу износившуюся оболочку, — сказали они, — нам было в ней так удобно и уютно». И еще они попытались магию слов. «У нас все прочно и благополучно», — говорили они, пытаясь убедить самих себя, что, право же, ничто не изменилось, все как было, так и осталось — было, есть и пребудет во веки веков, аминь.

Но они ошибались. Они не знали, что домой возврата нет. Америка оказалась на переломе: что-то в ней кончилось и что-то начиналось. Но никто не знал, что же теперь начинается, и из-за этой перемены, из-за неуверенности и несостоятельности тех, кто возглавлял государство, росли страх и отчаяние, а скоро подкрался и голод. И только одно было несомненно, хотя никто этого еще не понимал. Америка оставалась Америкой, и какой бы она ни стала, она останется Америкой.

Джордж Уэббер был растерян и напуган не меньше других. Пожалуй, даже больше, ибо в придачу к кризису, который переживала вся страна, в его жизни тоже наступил перелом. Как раз в эту пору и для него тоже что-то кончилось и что-то начиналось. Кончился любовный союз, хоть еще и не прошла любовь, начиналось признание, хоть еще не пришла слава. В начале ноября напечатана была его книга, и это событие, которого он ждал так долго и с таким страстным нетерпением, привело совсем не к тому, на что он надеялся. В эту пору своей жизни он узнал много такого, чего прежде не знал, но далеко не сразу, лишь в последующие годы, дано ему было понять, что перемены в нем самом связаны с куда более серьезными переменами в окружающем мире.

22. Что тут виной?

В годы отрочества, пока Джордж Уэббер жил в маленьком городке Либия-хилл, перед его мысленным взором неотступно стояло лучезарное видение Нью-Йорка, Он жаждал славы, мечтал стать знаменитостью. Это желание никогда не оставляло его, напротив, с годами оно становилось сильнее, и сейчас он мечтал об этом, как никогда. Однако он почти ничего не знал о литературном мире, в котором так стремился оказаться на виду. Теперь ему предстояло кое-что узнать об этом мире, что должно было вывести его из блаженного неведения.

Роман «Домой, в наши горы» вышел в свет в первую неделю ноября 1929 года. По случайному стечению обстоятельств, что так часто бывает в нашей жизни и в чем, оглядываясь потом назад, ощущаешь перст судьбы, выход книги почти точно совпал с началом кризиса, охватившего всю страну.

Крах на бирже, который разразился в конце октября, был точно внезапное падение гигантского валуна в тихие воды озера. А волны страха и отчаяния расходились все шире по всей Америке. Миллионы людей в отдаленных селениях, в городах и городишках не знали, как это понять. Коснется ли это их тоже? Они надеялись, что нет. Воды озера сомкнулись над упавшим валуном, и на некоторое время большинство американцев вернулось к своим обычным занятиям.

Но волны страха уже коснулись их, и жизнь не могла оставаться прежней. Исчезла уверенность в завтрашнем дне, всех охватило грозное, зловещее предчувствие. В эти-то дни внешнего спокойствия и отчаянной тревоги и появилась книга Уэббера.

Здесь не будет попыток судить о достоинствах и недостатках романа «Домой, в наши горы», это не входит в задачи настоящего повествования. Надо только сказать, что то была первая книга молодого автора, этим и объясняется многое в ней, и хорошее и плохое. Как и многие начинающие писатели, Уэббер вложил в свою книгу собственный опыт. И это принесло ему немало неприятностей.

Со временем ему предстояло понять, что, если хочешь написать хоть сколько-нибудь интересную и стоящую книгу, надо черпать материал из самой жизни. Писателю, как и всем прочим, приходится брать то, что ему дано. Он не может пользоваться тем, чего у него нет. Если же он делает такую попытку, — а ее делали многие, — тому, что он напишет, грош цена. Это известно всякому.

Итак, Уэббер писал, опираясь на опыт собственной жизни. Он написал о своем родном городе, о людях, которых там знал, о своей семье. И написал так откровенно, так прямо и правдиво, как редко бывает в книгах. Потому и попал в беду.

Первая книга значит для каждого писателя очень много. Это событие чрезвычайной важности. Возможно, автору кажется, что никогда еще никто не писал ничего подобного. Именно так думал Уэббер. И в каком-то смысле он был прав. Он все еще находился под сильным влиянием Джеймса Джойса, и роман его был в духе «Улисса». Его земляков, чье доброе мнение для него было желанней всех прочих похвал, вместе взятых, книга эта озадачила и ошеломила. «Улисса» они, конечно, не читали. А Уэббер не читал в их душах. Он думал, что понимает их, знает, каковы они, — и ошибался. Он не уразумел, что жить среди людей и написать о них — это далеко не одно и то же.

Когда пишешь, а потом издаешь книгу, немало узнаешь о жизни. Уэббер в своей книге сорвал маску, которую всегда носил его родной город, но когда он писал, он еще не отдавал себе в этом отчета. Вполне он это осознал лишь после того, как книга была напечатана и вышла в свет. Хотел же он только одного: сказать правду о жизни, какую он ее видел. Но едва дело было сделано — гранки прочтены и свершилось непоправимое — листы отпечатаны, как он понял, что правды не сказал. Сказать правду очень непросто. И когда молодой человек делает первую такую попытку, она почти всегда неудачна, ибо из-за тщеславия, самомнения,

горячности и уязвленной гордости он неизбежно правду исказит. Роман «Домой, в наши горы» страдал всеми этими недостатками и несовершенствами. Уэббер сам знал это лучше всех задолго до того, как кто-либо из читателей мог бы сказать ему об этом. Создал ли он великую книгу? Временами ему казалось — да, это великая книга, по крайней мере, какое-то величие в ней есть. Он твердо знал, это не вполне правдивая книга. И все же какая-то правда в ней есть. А ведь это-то людей и пугает. Это их приводит в бешенство.

День выхода книги приближался, и теперь Уэббер уже с некоторым страхом ждал, как примут ее в Либия-хилле. После сентябрьской поездки домой ему становилось день ото дня неуютней и тревожней. Он увидел тогда обезумевший от бума город, который едва удерживался на краю пропасти. В глазах всех встречных на улице он читал страх и виноватое предчувствие надвигающейся катастрофы, и, однако, они все еще отказывались признаться в этом даже самим себе. Он знал, они отчаянно цепляются за свои призрачные богатства, существующие лишь на бумаге, а в таком умопомрачении человек не способен взглянуть в лицо действительности, в лицо правде, хотя бы и не полной.

Но даже не зная он об этих особых обстоятельствах, что-то все равно подсказало бы ему, что он попал в переделку. Ибо он был южанин и знал: Юг точит какая-то тайная язва. Есть в южанах нечто запутанное, темное, наболевшее, что не покидает их всю жизнь, — нечто, укоренившееся в их душах, о чем никто еще не решался написать, никто ни разу не заговорил.

Быть может, виной тому давняя война и крушение надежд, вызванное решительным поражением, и его унижительные последствия. А быть может, корни уходят еще глубже: зло рабства, мученье и стыд, которые терзают совесть человека, неудержимо стремящегося к собственности. Быть может, тут повинны и вожделения, которыми одержим жаркий Юг, — их искажают суровые правила, навязанные ханжеским и нетерпимым богословием, но, скрытые, тайные, точно болотные коварные топи, они не знают покоя, исподволь ищут случая тебя поглотить. Однако больше всего виноват, быть может, климат, в котором они живут, само их естество, пища, которой они вскормлены, неведомые страхи, которые рождают в них раскинувшиеся над головой небеса и темный, таинственный сосновый бор, что обступает их со всех сторон и нестерпимой скорбью надрывает душу.

Что бы ни породило эту потаенную боль, она существовала, — и Уэббер это знал.

Но ранен был не один только Юг. Ранена была вся Америка. Всю страну мучила еще более глубокая, опасная и непонятная рана. Что же это такое? Быть может, во всем виноваты продажные чиновники и развращенные правители, насквозь лживая администрация, невероятное множество привилегий и незаконных доходов, безнаказанность преступников и владычество гангстеров, нездоровые, вконец прогнившие формы демократии? Или беда в так называемом пуританстве — громкое, но неопределенное название, бог весть что оно означает? Или безмерная алчность монополий, преступления богатства против самой жизни труженика? Да, все это есть. И день за днем раздается погребальный звон по убитым, газеты зловещими красками расписывают, как всюду, по всей стране убивают, режут мимоходом, без разбору — и передовые статьи лицемерно сокрушаются о падении нравов, а первые полосы смакуют подробности.

Но обнаружить болезнь можно не только по таким вот внешним проявлениям — надо еще заглянуть в самое сердце вины, а оно бьется в каждом из нас, и там-то следует искать корень зла. Нам надо заглянуть вглубь и увидеть собственными глазами самую суть нашего поражения, и позора, и неудачи, которыми мы отравили даже и меньших братьев наших. Но почему же надо смотреть вглубь? Потому что мы должны исследовать нашу общую рану до самого дна. Как людям, как американцам нам не пристало дольше трусливо корчиться в страхе и лгать. Всех нас здесь, в Америке, согревает одно и то же солнце, леденит один и тот же холод, озаряют одни и те же лучи времени и страха — не так ли? Да, так — и, если мы не заглянем вглубь и ничего не увидим, на всех нас ляжет проклятье.

Итак, Джордж Уэббер написал книгу, в которой попытался сказать правду о том

небольшом кусочке жизни, который он видел и знал, и удалось ему это лишь отчасти. А теперь он с тревогой ждал — что же подумают о книге его земляки? Прочитают ее, наверно, многие. И, пожалуй, пойдут толки. Возможно даже, кое-кто возмутится, надо быть готовым и к этому... Но когда читатели и вправду возмутились, это настолько превзошло все его опасения, что застигло его врасплох и чуть не сбilo с ног. Прежде он хоть и чувствовал, но не испытал на себе, как беззащитны мы у себя в Америке.

То было время, когда на Юге самые известные литературные дамы и господа писали изысканные пустячки о некой милой сказочной Стране изобилия и праздности, или шуточные комедийки о благородных пережитках Старого времени на Юге, или неправдоподобные выдумки о черных негодях в Чарлстоне, или, если в моде были любовные истории, — забавные и веселенькие пустячки про романтические интрижки наших темнокожих братьев и их коварных любовниц где-нибудь на плантациях. В книгах этих было не больно много правды жизни, да авторы их и не слишком старались понять окружающую действительность. О Стране изобилия и праздности пишут потому, что она достаточно далека и автор ничем не рискует; а если хочешь написать о любовной интрижке или о каком-либо преступлении и наказании, куда безопасней перенести действие в среду черномазых, чем оставить героями людей того типа, среди которых тебе приходится жить.

Роман «Домой, в наши горы» не укладывался во все эти привычные рамки. Да и вообще, кажется, ни в какие рамки не укладывался. Поначалу жители Либия-хилла вовсе не представляли, как его понять. А потом узнали в этой книге себя. И тогда уже взялись за нее всерьез. Роман покупали даже те, кто за всю свою жизнь ни разу не купил книгу. В одном только Либия-хилле раскуплено было две тысячи экземпляров. Роман оглушил людей, потряс и под конец заставил ринуться в драку.

Ибо Джордж Уэббер употребил писательский скальпель совсем не так, как было принято в этих краях. Его книга никого не пощадила, а потому не пощадили и его.

Дня за два до выхода романа в свет Маргарет Шеппертон на улице в Либия-хилле встретила Харли Мак-Нэба. Они поздоровались и остановились поболтать.

— Ты уже видела книгу? — спросил он.

Маргарет заулыбалась.

— Да, Джордж мне прислал сигнальный экземпляр. И надписал на память. Но я еще не читала. Только сегодня утром получила. А ты уже видел эту книгу?

— Да, — ответил Мак-Нэб. — Мы получили экземпляр для рецензии.

— Ну и что ты о ней скажешь? — И она посмотрела на него, как смотрят крупные и серьезные женщины, которые позволяют себе прислушаться к мнению окружающих. — Ты ведь учился в колледже, Харли, — говорила она словно бы шутя и все же горячо. — Я-то, может, не разберусь... а тебе и карты в руки... ты образованный... Кому же и судить, как не тебе. Я что хочу знать — по-твоему, это хорошая книга?

Он ответил не сразу — поглаживал худыми пальцами почерневшую вересковую трубку, задумчиво попыхивал ею. И наконец сказал:

— Книжица свирепая. Да ты не волнуйся, Маргарет... — поспешно прибавил он, видя, что ее широкое лицо омрачила тревога. — Что толку волноваться... но... — он помолчал, попыхивая трубкой, глядя в одну точку, — в ней есть... довольно-таки свирепые куски. Это... это уж слишком откровенная книга, Маргарет.

Она вся внутренне сжалась, напряглась, ее ожгло невообразимым ужасом, и она спросила чуть хрипло:

— Обо мне? Там обо мне, Харли? Ты это имел в виду? Там написано... обо мне? — Лицо ее исказилось, и страшно ей было и мучительно, словно она в чем-то отчаянно виновата.

— Не только о тебе, — сказал он. — Обо всех и каждом, понимаешь, Маргарет... об очень многих из нашего города... Ты ведь знаешь его всю жизнь, правда? Ну и вот... он описал всех, кого только знал. И есть там такое, с чем нелегко будет примириться.

В первую минуту Маргарет, по ее же любимому выражению, «развалилась на все составные части». Она заговорила исступленно, бессвязно, ее крупные черты исказились от внутреннего напряжения.

— Ну, вот еще... просто не знаю... что ж это он мог такое сказать про меня!.. Ну, если это принимать так... — говорила она, хотя понятия не имела, как кто принял книгу. — Я что хочу сказать, в моей жизни ничего такого не было, мне стыдиться нечего... Ты же меня знаешь, Харли, — горячо, чуть ли не умоляюще продолжала она. — Меня-то в городе знают... У меня здесь друзья... Меня все знают... Ну, мне же совсем-совсем нечего скрывать.

— Я знаю, что нечего, Маргарет, — сказал Харли. — Но только... разговоров все равно не избежать.

Ей казалось, ее всю выпотрошили, внутри пусто, коленки подгибаются. Слова эти сбили ее с ног. Раз Харли говорит, значит, так оно и есть, хотя она еще толком не поняла, что же он такое сказал. Поняла только, что попала в книгу и что Харли этого не одобряет; а для нее, да и для всего города его мнение кое-что значит, даже очень много значит. Он из тех не очень понятных людей, про себя она всегда считала его «высоколобым». Он всегда был «превосходный человек». Всегда стоял за правду, за культуру, за образование, за честь и неподкупность. И теперь она глядела на него растерянными, испуганными глазами, и, как молодой солдат, раненый в живот, смотрит на командира, что распоряжается его жизнью и смертью, и со страхом и мукой спрашивает: «Дело плохо, генерал? Плохо, да?» — она упавшим голосом спросила редактора:

— По-твоему, плохо дело, Харли?

И вся обратилась в слух.

Он отвел глаза, снова уставился в голубую пустоту неба, попыхтел трубкой, ответил не сразу:

— Плоховато, Маргарет... Но ты не волнуйся. Поживем — увидим.

И он пошел своей дорогой, а она осталась одна, упершись мрачным взглядом в тротуар знакомой улочки. Пылинки привычной жизни вихрились вокруг. Слабый луч солнца коснулся лица, а она ничего не замечала, так и застыла, хмурая, недвижимая, глядя в одну точку.

— А, Маргарет!

Услыхав этот сочный голос, подслащенный медовой прелестью его обладательницы, она обернулась, машинально улыбнулась и напряженно поздоровалась.

— Ну, ты, уж конечно, вон как им гордишься? Он всегда тебя предпочитал всем на свете. Уж конечно, прямо дрожишь от нетерпенья? — разливался медовый голосок, а лицо в свете неяркого дня было совсем как у фарфоровой куколки. — Это ж надо, скажу я вам! Я так и зашла! Ты-то, верно, на седьмом небе! Да я прямо дождаться не могу! Прямо помираю, хочу поскорей прочесть! А уж ты теперь совсем нос задерешь!

Маргарет что-то пробормотала, через силу улыбаясь непослушными губами. Наконец она снова осталась одна, с трудом натянула на хмурое, встревоженное лицо маску спокойствия. Она пошла по делу, которое привело ее в город. Как автомат, проделала все, что требовалось. И все время думала:

«Так, значит, он написал про нас! Вот оно что! — Мысль ее яростно пробивалась сквозь путаницу противоречивых чувств. — Ну, уж не знаю, что там написано, а только моя-то совесть чиста. Если кто воображает, будто за мной водится что худое, они сильно ошибаются... Ну, а если Джордж хочет навести на меня критику... — это слово для нее означало: осудить всю ее жизнь и поведение, — что ж, пожалуйста. Я весь свой век прожила в этом городе, и, что бы там кто ни говорил, все знают, я-то никогда не была безнравственной. — А это слово имело для нее один-единственный смысл — сексуальную извращенность. — Нет уж, не знаю, что там Харли говорил, будто с этой книжкой нелегко будет примириться и теперь разговоров не избежать, зато одно я знаю твердо, мне-то стыдиться нечего...»

Голова у нее распухла от самых диких догадок. Сотни опасений, тревог, страхов захлестывали ее. Но через все пробивались лучи упрямой силы и верности:

«О чем бы он там ни написал, его книга никому не повредит. Все мы, бывает, делаем что-нибудь такое, о чем после жалеем, но мы вовсе не дурные люди, нет среди нас дурных людей. Я не знаю ни одного по-настоящему дурного человека. Он не мог бы навредить нам, даже если б захотел. — И, чуть подумав, прибавила: — Только не мог он этого хотеть».

Когда вечером вернулся домой брат, она сказала ему:

— Ну, попали мы в переделку!.. Я встретила на улице Харли Мак-Нэба, и он говорит, нехорошая у Джорджа книга... Так вот, не знаю, что он там написал про тебя... ха-ха-ха... но моя совесть чиста!

Рэнди пошел за нею на кухню, и, пока Маргарет готовила ужин, они долго и серьезно все это обсуждали. Слова Мак-Нэба их озадачили и сбили с толку. Книгу они оба еще не читали, каждый рылся у себя в памяти, пытаясь понять, что же могло туда попасть, но так ни до чего и не додумались.

Ужинали в тот вечер поздно, и когда Маргарет подала на стол, оказалось, что все у нее подгорело.

Три недели спустя Джордж сидел в задней комнатке своей мрачной нью-йоркской квартиры на Двенадцатой улице и просматривал утреннюю почту. Ему всегда хотелось получать письма. Теперь он их получал. Ему казалось — все письма, которых он ждал всю свою жизнь, все письма, о которых так мечтал и которых никогда не получал, теперь обрушились на него, как потоп.

Ему вспоминались все годы, все несчетные, томительные дни и часы ожидания, после того как впервые он уехал из дому учиться. Вспоминался тот первый год вдали от дома, первый год в колледже, — тогда ему казалось, он только и делает, что ждет письма, а оно все не приходит. Вспоминалось, как все студенты дважды в день, в полдень и вечером, после ужина, бегали на почту. Вспомнилась почта — убогое зданье на главной улице маленького студенческого городка, и толпы студентов — они входили и выходили и заполняли всю улицу, битком набивались в тесную, убогую комнатку, открывали свои почтовые ящики, доставали письма, топтались у окошка, где выдавали корреспонденцию.

Казалось, письма получают все, кроме него.

Вот молодые ребята сгрудились по углам, другие стоят, прислонясь к стене, кто привалился к дереву, кто облокотился на перила, кто примостился на крыльце, на веранде студенческих землячеств, кто бредет по улице, ничего не замечая вокруг, — все поглощены письмами, все читают, все погрузились в них с головой. Вот один паренек, у него в целом свете нет никого, кроме его подружки, и никто ему больше не нужен: он забился в угол, чуть поодаль от шумной добродушной толпы, и медленно, внимательно, слово за словом читает одно из писем, которые она пишет ему каждый день. А вот другой юноша, лощеный красавец, местный сердцеед, на ходу небрежно проглядывает десяток надушенных посланий, листает страницы, не без самодовольства снисходительно отвечает на шуточки приятелей по поводу его последней победы. Студенты читают письма от подруг, от приятелей из других колледжей, от старших братьев и младших сестер, от отцов, матерей и любимых дядюшек и тетушек. Все эти люди шлют им знаки дружбы, родственной близости, приязни и любви — чувств, что дают человеку устойчивость, укрепляют в нем уверенное, мужественное ощущение родного дома, поддерживают его, оберегают от отчаяния, полнейшей незащитности, от ужасного ощущения, что ты лишь ничтожная песчинка в мире, открытом всем ветрам.

Казалось, это дано всем, кроме него.

А потом он вспоминал свои первые годы в Нью-Йорке, годы блужданий, первые годы жизни в полнейшем одиночестве. Казалось, в ту пору он еще нетерпеливей, чем в студенческие годы, ждал письма, которое так и не пришло. То было время, когда он изнывал от тоски в тюремном одиночестве крохотных каморок. Время, когда он бился головой о теснившие его стены. Время несчетных разочарований, тоски, горькой печали и одиночества, когда душа его не знала покоя и ему представлялись письма, которых он так и не получил. Письма от

благородных, верных и добрых людей, каких он вовсе и не знал. Письма от храбрых и великодушных друзей, которых у него никогда не было. Письма от преданных родственников, соседей, однокашников, которые давно и думать о нем забыли.

Что ж, теперь письма пришли — и ничего подобного он не ждал.

Он сидел у себя в комнате и читал их, онемев среди городского грохота. Два луча света упали из окна на пол. За стеной, на задворках, по гребню ограды, весь дрожа от охотничьего азарта, крался кот.

Без подписи, карандашом, на линованном листке из блокнота:

«Ну, писака, старуха Флад збижала вчера во Флориду, потому как получила так сказать романчик от так сказать литиратора, она-то думала, она его знает. Ох, господи, да как ты взял на душу такой грех. Я оставила твою тетку Мэг в постели лежит бидняшка пластом бледная как смерть, никогда ей не подняться, это ты ее уложил бандицким пиром. Твоя дарагая падрушка Маргарет Шепертон была тебе как систра радная а типерь пагибла апазорил ты ее по гроп жизни, расписал чисто распутницу какую. Пагубил и апазорил своих друзей не вздумай к нам приижать ты для нас ровно как помер и видеть тебя не хатим. Я всигда была против линча, а коли увижу толпа волокет по площади твою обезьяню тушу слова папирек не скажу. И как ты можеш спать по ночам с таким грехом на душе. Изничтош эту мерзопакосную и непотребную книгу и пускай не пичатают больше ни единой штуки. Ты савиршил грех похуже Каина».

На почтовой открытке, вложенной в запечатанный конверт:

«Попробуй только сунься назад в наш город, уокошим. Сам знаешь кто».

От старого друга:

«Дорогой мой мальчик.

Что тут можно сказать? Книга вышла, вот она, никуда не денешься — и теперь я одно могу сказать, как сказала бы добрая женщина, которая воспитала тебя, а теперь лежит в могиле на холме: «Господи! Если б я только знала!» Долгие недели я ждал и не мог дожждаться часа, когда твоя книга выйдет и я возьму ее в руки. Ну вот она и вышла. И что тут можно сказать?

Ты так распял свою семью, что в сравнении с ее муками даже муки самого Христа покажутся не столь тяжкими. Ты разрушил жизнь своих родных и десятков своих друзей, и нам, которые любили тебя как своего, ты вонзил кинжал в сердце и повернул его, и там он и останется навсегда».

От озорного и дружески настроенного малого, который вообразил, что отлично все понял:

«...Если б я знал, что ты собираешься писать такую книгу, я бы тебе много чего порассказал. Зря ты меня не спросил. Я знаю про здешний народец столько всякой пакости, что тебе и во сне не снилось».

Письма вроде этого последнего ранили Джорджа больше всего. Читая их, он больше чем когда-либо начинал сомневаться, насколько верен был его замысел и достиг ли он задуманного. Что ж, эти люди воображают, будто он только и хотел написать энциклопедию порнографии, похотливыми руками раскопать и выставить напоказ непристойнейшие

семейные тайны? Он видел — книга его спустила с цепи злобную свору обид и личных счетов, о которых он не подозревал, дала пищу злым языкам. Люди, с которых он писал героев своей книги, корчились, точно рыба на крючке, а другие смотрели и смаковали их мучения.

И теперь чуть ли не все жертвы этой выпущенной на волю жестокости наносили ответный удар злополучному автору — тому, кто, по их разумению, один навлек на них такую беду. День за днем приходили от них письма — и Джордж Уэббер, болезненно упиваясь своими страданиями, словно желая сам испытать жгучий стыд, который он в простоте душевной неумышленно навлек на других, читал и перечитывал каждое обидное слово каждого обидного письма, но и разум и чувства его словно оцепенели.

Обычно письма начинались с того, что он выродок — осквернил родное гнездо. Потом ему объясняли, что он пошел против родного Юга, а это все равно что пойти против матери, плюнуть ей в лицо и облить ее грязью. И, наконец, бросали ему самое убийственное в их устах обвинение: он «не настоящий южанин». Кое-кто даже начал поговаривать, что он «не настоящий американец». Это было самое тяжкое, и Джордж криво, угрюмо усмехался и думал — уж если он не американец, тогда он просто ничто.

За эти первые чудовищные недели после выхода его книги среди писем от тех, кого он знал, блеснули только два луча, которые согрели его и подбодрили.

Одно такое письмо пришло от Рэнди Шеппертона. Когда Рэнди был мальчишкой, а потом студентом, в душе его неизменно горело горячее и чистое пламя друга — Меркуцио. И теперь, как ни жестоко обошлась с ним жизнь, — а об этом свидетельствовали тревога в его глазах и морщины, избородившие лицо, — по его письму было ясно, в душе он все тот же прежний Рэнди. Оказалось, он прекрасно понял книгу Джорджа; он ясно видел ее цель, до тонкости разглядел ее достоинства и недостатки и в конце взволнованно и горячо написал, что гордится книгой и получил от нее истинное удовольствие. Ни слова о личностях, ни звука о сплетнях, разбушевавшихся в Либия-хилле, ни единого намека на то, что в одном из героев книги он узнал себя.

Второй луч утешения был совсем иного рода. Однажды зазвонил телефон, и из трубки до Джорджа донеслись дружеские выкрики Небраски Крейна:

— Привет, Обезьян! Это ты? Как дела, старик?

— Да вроде неплохо, — ответил Джордж; приятно было услышать знакомый дружеский голос, и, однако, он не сумел скрыть, что угнетен.

— А с чего это у тебя голос похоронный? — тут же всполошился Небраска. — Что такое стряслось? Может, у тебя что неладно?

— Да нет. Нет. Пустяки. Не обращай внимания. — Джордж все-таки стряхнул уныние, которое одолевало его уже много дней, и в голосе его зазвучала нежность к старому другу. — Черт возьми, Брас, рад тебя слышать! Ты даже не представляешь, до чего я рад! Как дела, Брас?

— Не жалуюсь! — во всю глотку орал тот. — Сдается мне, со мной еще на год подпишут контракт. Похоже на то. Если подпишут, лучшего и желать нельзя.

— Так это ж здорово, Брас! Замечательно!.. А как Миртл?

— Отлично! Отлично... Слушай... — орал он, — она тут рядом! Это она меня надоумила позвонить. Сам бы я нипочем не додумался. Ты ж меня знаешь!.. Мы все про тебя читали... про эту твою книжку. Миртл мне все рассказывала. Она вырезала из газет все, что про тебя пишут. Вот это успех так успех, верно?

— Пожалуй, да, — безо всякого восторга ответил Джордж. — Продается книга хорошо, если ты это имеешь в виду.

— Вот-вот, я ж так и знал! — отозвался Небраска. — Мы с Миртл тоже ее купили... Только я еще не читал, — виновато прибавил он.

— А это не обязательно.

— Нет, я прочту, прочту! — бодро закричал Небраска. — Вот только выберу время.

— Ах ты, чертов лгун! — добродушно сказал Джордж. — Ты ж сам знаешь, что вовек не прочтешь.

— Да нет, прочту! — торжественно объявил Небраска. — Дай только уйду на покой...
 Слушай, она у тебя здорово толстая, а?
 — Что верно, то верно.
 — Сроду не видал такой толстенной книги! — радостно кричал Небраска. — Носить и то устанешь!
 — Ну, а я устал, пока писал.
 — Верю, будь я неладен! Прямо в толк не возьму, как ты напридумывал такую прорву слов... Но я все равно прочту!.. Кой-кто у нас в клубе уже про нее прослышал. Вчера мне про нее говорил Джеферз.
 — Кто?
 — Джеферз. Мэт Джеферз.
 — Неужто он читал?
 — Нет, он покуда не читал, жена его читала. Ее хлебом не корми — дай книжку почитать, она все про тебя знает. Они знали, что я с тобой знаком, вот он мне и сказал...
 — Что сказал? — вдруг перепугавшись, перебил Джордж.
 — Да что ты и меня вставил в книжку! — заорал Небраска. — Это правда?
 Джордж покраснел.
 — Ну, видишь ли, Брас... — начал он, запинаясь.
 — Это жена Мэта говорит! — во весь голос проорал Брас, не дожидаясь ответа. — Говорит, меня всякий узнает!.. Что ты там про меня понаписал, Обезьян? Это я, точно?
 — Ну... видишь ли, Брас... понимаешь... тут такое дело...
 — Да что с тобой, дружище? Это я или не я?.. Нет, вы только подумайте! — изумленно и радостно орал он. — Старина Брас и вдруг в книге! — И, должно быть, обернувшись к Миртл, взволнованно сказал потише: — Это я, точно! — И снова Джорджу торжественно: — Слушай, Обезьян... Вот честное слово, я ужасно горжусь! Я потому и позвонил, хотел тебе это сказать.

23. Охотники за знаменитостями

В Нью-Йорке его книге оказали куда лучший прием, чем у него на родине. Автора никто не знал. Ни у кого не было причин отнестись к ней предвзято, заранее думать о ней худо или хорошо. И хотя это не бог весть какое преимущество, однако тем самым книгу могли судить по справедливости.

Как ни странно, в большей части ведущих газет и журналов появились вполне хорошие рецензии. Вернее, «хорошими» их назвал издатель Джорджа. Рецензенты хвалили книгу, и потому публика охотно ее покупала. Самому же Джорджу хотелось, чтобы хоть кто-то из господ рецензентов, даже из тех, которые приветствовали его как «находку» и пересыпали свои фразы лестными словами в превосходной степени, оказался чуть более проницательным. Подчас он предпочел бы, чтобы рецензент несколько глубже проник в его замысел. Но после того, как начали приходить письма от его бывших друзей и соседей, ему стало не до разногласий с теми, кто пожелал сказать о нем доброе и ласковое слово, а вообще он с полным основанием мог быть доволен отзывами о своей книге.

Он читал рецензии жадно, лихорадочно, и рано или поздно ему предстояло увидеть их все, ибо издатель получал вырезки со всей Америки и все их показывал Джорджу. Тот таскал к себе домой толстые пачки и там на них набрасывался. Всякий раз, как его нетерпеливый взгляд встречал слово похвалы, оно будто завораживало его, и он в радостном исступлении принимался шагать по комнате. А читая резкий, грубый, неблагоприятный отзыв, он совсем падал духом; даже если это было напечатано в каком-нибудь захудалом листке где-нибудь в глуши на Юге, пальцы у него начинали дрожать, он бледнел, комкал и мял эту рецензию и ожесточенно ее проклинал.

Всякий раз, как рецензия на его книгу появлялась в каком-либо из лучших журналов или еженедельников, ему стоило великого труда заставить себя прочесть ее, а не прочитать он

тоже не мог. И вот он подкрадывается к ней, точно собирается схватить змею за хвост, и когда видит свое имя, сердце его готово выскочить из груди. Сперва он пробежит глазами последнюю строчку, потом, густо краснея, вопьется в статью и в два счета ее заглотает. Если он сразу видел, что статья «хорошая», в нем поднималась неодолимая радость, он ликовал, хотелось распахнуть окно и кричать всему свету о своем торжестве. Поняв же с первых слов, что приговор будет суровым, Джордж читал страдая, не в силах оторваться, и отчаяние его было так велико, что ему казалось — песенка его спета, он перед всем светом выставлен дураком и неудачником и уж больше не сможет написать ни строчки.

После того как появились самые важные рецензии, почта его понемногу приобрела иную окраску. Поток проклятий из родного города не иссяк, но теперь приходили и письма иного рода, от совсем незнакомых людей, от читателей, которым книга понравилась. И раскупали ее, видимо, совсем неплохо. Она даже появилась в некоторых списках бестселлеров, и вот тут-то началось. Скоро почтовый ящик уже ломился от писем поклонников его таланта, и с утра до ночи весело звонил телефон: Джорджа засыпали приглашениями на завтрак, на чай, на обед, в театр, на воскресную поездку за город — куда угодно, только бы он пришел.

Что же это — наконец-то Слава? Да, наверно, — и на первых порах жадное желание поверить в нее захлестнуло Джорджа, он почти забыл про Либия-хилл и очертя голову кинулся в распростертые объятия незнакомых людей. Он с ходу принимал одно приглашение за другим, и у него не оставалось ни минуты свободной. Всякий раз, как он куда-нибудь отправлялся, ему казалось — его ждет все золото, вся волшебная прелесть мира, все, о чем он прежде мечтал. Наконец-то он займет в этом великом городе почетное место среди великих мира сего, заживет жизнью такой счастливой и полнокровной, какой никогда еще не знал. На каждую новую встречу с каждым новым другом он шел так, будто его ждет неслыханная, пьянящая радость.

Но ничего этого он не нашел. Ибо, несмотря на годы, прожитые в Нью-Йорке, оставался истинным провинциалом и понятия не имел об охотниках за знаменитостями. Есть такая особая порода людей, они водятся в высших сферах джунглей Космополиса, и питает их, видимо, лишь некая изысканная и сладостная эманация, исходящая от всякого искусства. Они нежно любят искусство, просто души в нем не чают, и еще того больше они любят людей искусства. Вся их жизнь — сплошная охота за знаменитостями, и любимый их спорт — заманивать литературных львов. Самые отважные охотники преследуют лишь матерых львов, — что может быть приятней, чем похвастать таким роскошным трофеем! — но другие охотники, а особенно охотницы, не брезгуют и львенком. Прирученный, одомашненный львенок оказывается очень милым зверьком, куда милей болонки, — ведь лаской его можно обучить любым самым забавным штучкам.

Уже несколько недель Джордж был баловнем этих богатых и образованных людей.

Один из новоявленных друзей Джорджа сказал ему, что с ним жаждет познакомиться некий миллионер, большой эстет и человек благородной души. Это подтвердили и еще разные люди.

— Он буквально помешался на вашей книге, — говорили ему. — Он просто мечтает с вами познакомиться. Вам непременно надо у него побывать, такой человек вам может быть очень полезен.

Джорджу рассказывали, что этот миллионер без конца про него спрашивал и узнал, что Джордж очень беден и вынужден за ничтожное жалованье преподавать в Школе прикладного искусства. Едва миллионер об этом услышал, его великодушное сердце облилось кровью. Это невыносимо, сказал он, с этим нельзя мириться. Такое возможно только в Америке. В любой европейской стране, — да, даже в маленькой нише Австрии, — художнику дали бы субсидию, чтоб над ним не нависала мерзкая угроза нищеты и все его силы были бы отданы созиданию прекраснейших творений... и, видит бог, уж он-то постарается, чтобы так произошло и с Джорджем!

Джордж ничего подобного не ждал и вообще не понимал, почему это следует делать для кого бы то ни было. Однако же, услышав про великодушного миллионера, он воспылал

желанием познакомиться с ним и уже любил его, как родного брата.

Итак, им устроили встречу, Джордж пошел знакомиться, и миллионер был с ним очень мил. Несколько раз приглашал Джорджа к обеду и хвастал им перед всеми своими богатыми друзьями. А одна прелестная женщина, которой миллионер представил нищего молодого писателя, в тот же вечер повезла его к себе и одарила его высшим знаком своей милости.

Потом миллионеру потребовалось ненадолго уехать по делам за границу, Джордж пришел в порт проводить друга, и тот любовно похлопал его по плечу, не чинясь, назвал по имени и сказал: если что-нибудь понадобится, пускай только даст телеграмму, и уж он обо всем позаботится. Уезжает он самое большее на месяц, но занят будет по горло, на письма времени не хватит, а вот как только вернется, тут же даст о себе знать. С этими словами он крепко пожал Джорджу руку и отплыл.

Прошел месяц, полтора, два, о миллионере ни слуху ни духу. Увидел его Джордж больше чем через год, да и то случайно.

Некая молодая дама пригласила Джорджа позавтракать в дорогом кабачке. Едва они вошли, Джордж увидел своего друга-миллионера — тот в одиночестве сидел за столиком. Джордж испустил радостный крик и, протянув руку, кинулся к нему через всю комнату, но впопыхах налетел на разделявший их стол и упал. Когда он поднялся с полу, «друг», откинувшись на стуле, смотрел на него в совершенном недоумении, но все же слегка оттаял, пожал протянутую руку и сказал с холодком, насмешливо и снисходительно:

— А, это опять наш друг писатель! Как поживаете?

Замешательство, уныние, смущение молодого человека были столь очевидны, что сердце богача смягчилось. Лед растаял окончательно, и теперь он непременно желал, чтобы Джордж пригласил свою даму к его столу: они позавтракают все вместе.

Во время трапезы миллионер стал необыкновенно мил и внимателен. Он словно не знал, чем бы еще угодить Джорджу, без конца угощал его, подливал вина. И всякий раз, как Джордж на него взглядывал, тот смотрел на него с откровенной жалостью и состраданием; в конце концов Джордж не выдержал и спросил, что случилось.

— О, я ужасно расстроился, когда прочел об этом, — сказал тот, тяжело вздохнул и покачал головой.

— О чем прочли?

— Как о чем? О премии.

— О какой премии?

— Да вы что, газет не читали? Не знаете, что произошло?

— Не понимаю, о чем вы говорите, — озадаченно сказал Джордж. — Что произошло?

— Так вам же ее не дали, — сказал миллионер.

— Чего не дали?

— Премии! — воскликнул тот. — Премии! — И он назвал литературную премию, которая ежегодно присуждалась писателям. — Я был уверен, что вы ее получите, но... — Он помолчал, потом продолжал скорбно: — Ее присудили другому... Вас называли... вы были вторым... но... — Он мрачно покачал головой. — Она досталась не вам.

Ну и хватит о добром друге миллионере. Больше Джордж уже никогда его не видел. Но да не подумают, будто его это огорчило.

Потом пришел черед Дороти.

Дороти принадлежала к тому неправдоподобному романтическому верхнему слою нью-йоркского «высшего света», который спит днем, пробуждается на закате и, кажется, все свое время проводит в самых известных значных местах. Она получила дорогостоящее образование, какое подобает девице из высшего общества, в своем кругу слыла настоящей интеллектуалкой — известно было, что когда-то она читала какую-то книгу, — и, понятно, едва роман Джорджа Уэббера попал в список бестселлеров, она его купила и дома всегда «забывала» на видном месте. А потом надушенной записочкой пригласила автора на коктейль.

Он пришел, и по ее настоянию приходил снова и снова.

К этому времени первая молодость Дороти уже миновала, но она была хорошо сложена, следила за фигурой и за лицом и выглядела по-прежнему очень недурно. Замуж она не выходила и вовсе к этому не стремилась, ибо, по слухам, редко спала одна. Говорили, что она не только уже одарила своей благосклонностью всех мужчин своего круга, но не отказывает и случайным кавалерам — скотникам в родовом поместье, первым встречным шоферам, писателям-дадаистам, профессиональным гонщикам-велосипедистам, непризнанным поэтам и скорым на кулачную расправу уличным нахалам в целлулоидных воротничках. Поэтому Джордж думал, что их дружба быстро перейдет в нечто большее, и был весьма удивлен и разочарован, когда ничего подобного не произошло.

Вечера с Дороти оказались спокойными и серьезными *tete-a-tete*¹¹, посвященными высокоинтеллектуальным беседам. Дороти вела себя сдержанно и целомудренно, прямо как монахиня, и Джордж уже стал подумывать, что ее оклеветали злые языки. Ее идеи, вкусы и суждения об искусстве мало занимали Джорджа, он скучал с нею и уже не раз готов был покончить с этими встречами. Но Дороти не желала его отпускать — посылала ему записочки и письма бисерным почерком на бумаге с красным обрезом, и он снова шел к ней, отчасти просто из любопытства: хотелось понять, чего ей от него надо.

И он понял. Однажды Дороти пригласила его поужинать с ней в модном ресторане и на этот раз привела с собой своего очередного сожителя, молодого кубинца с блестящими, точно лакированными волосами. За столом Джордж сидел между ними. Кубинец сосредоточенно ел, а Дороти заговорила с Джорджем, и тут он с досадой узнал, что его, единственного в целом свете, она избрала предметом единственной своей священной страсти.

— Люблю вас, Джо-ордж, — громко шептала она хриплым, пропитым голосом, перегнувшись через стол. — Люблю вас, но чи-истой любовью! — Она горестно поглядела на него. — Ах, Джо-ордж... люблю за ваш ум, — бормотала она, — за вашу ду-ушу! А Мигеля, Мигеля, — теперь она блуждающим взглядом обнимала кубинца, который уплетал за обе щеки все, что подавали, — Мигеля люблю за его те-ело! Ума у него ни на грош, зато дивное те-ело, — похотливо шептала она, — дивное, прекра-асное те-ело... Он такой стройный... прямо как мальчик... Настоящий испанец.

Она помолчала, потом заговорила тревожно, словно бы в ней шевельнулось дурное предчувствие.

— Побудьте сегодня с нами, Джордж! — отрывисто сказала она. — Не знаю, что со мной случится, — зловеще сказала она, — и хочу, чтобы вы были рядом.

— Ну, что же может с вами случиться, Дороти?

— Не знаю, — прошептала она. — Просто не знаю. Все, что угодно!.. Да вот, этой ночью я думала, он меня бросил. Мы разругались, и он ушел! Эти испанцы такие гордецы, такие обидчивые! Увидел, что я поглядела на другого мужчину, и сразу встал и ушел!.. Если он меня оставит, я за себя не ручаюсь, Джо-ордж, — задыхаясь, проговорила она. — Наверно, я умру! Наверно, наложу на себя руки.

Мрачный взгляд ее остановился на любовнике — тот как раз наклонился над столом, обнажил зубы и нацелился на поднятую вилку с наколотым на нее большим аппетитным куском жареного цыпленка. Почувствовав на себе их взгляды, он поднял глаза, — вилка застыла на полпути, — удовлетворенно улыбнулся, вонзил зубы в цыпленка, глотнул вина, чтоб легче прошло, и утер жирные губы салфеткой. Потом деликатно прикрыл рот рукой, поковырял ногтем в зубах, вытащил застрявший кусочек и не без изящества кинул на пол, а его дама не сводила с него влюбленных глаз. Потом он снова взял вилку и вернулся к своим приятнейшим гастрономическим трудам.

— На вашем месте я бы не тревожился, Дороти, — сказал Джордж. — Думаю, он пока еще не собирается от вас уходить.

¹¹ свиданиями с глазу на глаз (*фр.*)

— Я этого не переживу! Поверьте, меня это убьет!.. Джо-ордж, вы должны пойти сегодня с нами! Хочу, чтоб вы были рядом! Когда вы тут, мне так... безопасно... так спокойно... вы такой надежный, Джо-ордж, такой утешительный, — говорила она. — Да, да, поедem ко мне... говорите со мной... держите меня за руку... и утешайте... если что-нибудь случится, — сказала она и, пока суд да дело, сама взяла его руку и крепко сжала.

В тот вечер Джордж к ней не поехал и в другие вечера тоже. Больше он никогда не видел Дороти. Но, право же, никто не мог бы сказать, что его это огорчило.

Появилась также некая богатая и красивая молодая вдовушка, схоронившая мужа совсем недавно, и об этом печальном событии она упомянула в трогательном, исполненном горького понимания письме к Джорджу по поводу его книги. Он, естественно, принял ее любезное приглашение на чашку чая. И, едва он переступил порог, очаровательная вдовушка выразила готовность к величайшей жертве: начала она с душевного разговора о поэзии, потом со страдальческим лицом пожаловалась на жару и духоту, — быть может, он не станет возражать, если она снимет платье? — потом сняла платье, а заодно и все прочее и, оставшись в чем мать родила, легла в постель и, разметав по подушке гриву огненно-рыжих волос и в безумной тоске закатывая глаза, принялась горестно восклицать: «О Эджернон! Эджернон! Эджернон!» — так звали ее умершего мужа.

— О Эджернон! — вскрикивала она, катаясь в тоске по постели и тряся пышной огненно-рыжей гривой. — Эджи, милый, это я все ради тебя! Вернись ко мне, Эджи! Я так люблю тебя, Эджи! Я не в силах выносить эти муки! Эджернон!.. Нет-нет, бедный мой малыш! — вскрикнула она, схватив за руку Джорджа, который попытался выбраться из постели (по правде говоря, он совсем уж не понимал, то ли она спятила, то ли собирается сыграть с ним какую-то злую шутку), и, прильнув к его плечу, нежно зашептала: — Не уходи! Ты просто не понимаешь! Я хочу, чтоб тебе было хорошо со мной... но что бы я ни делала, что бы ни думала, что бы ни чувствовала, все это Эджернон, Эджернон, Эджернон!

Она объяснила, что сердце ее погребено вместе с мужем, что «женщина в вей мертва» (еще прежде она успела ему сказать, что весьма начитана по части психологии), а любви она предается из верности своему незабвенному Эджи, пытаясь таким образом вновь с ним соединиться и стать «частью всей красоты земной».

Все это было весьма изысканно, возвышенно и утонченно, и, уж конечно, никому бы и в голову не пришло, что Джордж станет потешаться над высокими чувствами, хотя столь редкостную изысканность он понять не мог. Итак, он ушел и никогда больше не видел сию скорбную вдовицу. Ему просто не хватало изысканности, и он это знал. Однако не подумайте, будто его это хоть сколько-нибудь огорчило.

Наконец, в пору недолгой славы Джорджа Уэббера, появилась еще одна особа, и ее он понял. То была красивая, смелая женщина, родом из провинции, у нее имелась хорошая работа и квартирка, из окон которой открывался вид на Ист-ривер, на мосты и оживленно снующие по реке буксиры и баржи. Она не была для Джорджа ни чересчур изысканной, ни чересчур возвышенной, хотя с удовольствием принимала участие в серьезном разговоре, знакомилась со стоящими людьми либеральных взглядов и живо интересовалась новыми направлениями в педагогике и методами воспитания детей. Джорджу она очень нравилась, он оставался у нее до рассвета и уходил я час, когда улицы были еще безлюдны и в бледном, чистом, безмолвном свете утренней зари вольно и неправдоподобно вздымались к небу огромные здания, будто впервые открываясь человеческому взору.

Джордж искренне привязался к этой женщине, и однажды ночью, после долгого безмолвия, она обняла его, притянула к себе и, целуя, прошептала:

— Я тебя о чем-то попрошу, сделаешь?

— Все, что угодно, милая! — сказал он. — Все, о чем ни попросишь, если только могу!

В живом безмолвии ночи она долгие минуты не разжимала рук.

— Употреби свое влияние, чтобы меня приняли в Космополис-клуб, — пылко прошептала она...

И тогда наступил рассвет, и звезды погасли.

Больше он уже не встречался с великолепным миром искусств, моды и литературы.

И если кто-нибудь сочтет, что, написав об этих бесстыдных людях и постыдных происшествиях, я поступил постыдно, очень сожалею. Единственная моя цель — прав? диво рассказать о жизни Джорджа Уэббера, и уж кто-кто, а он наверняка не захотел бы, чтобы я о чем-либо умолчал. А потому я вовсе не считаю, будто написанное мною бесстыдно.

Джордж Уэббер стыдился только одного — той, пусть недолгой, поры своей жизни, когда он пользовался гостеприимством людей, с которыми его не соединяло дружеское тепло, сидел с ними за одним столом и детище, в которое вложил все силы ума и кровь сердца, обращал в плату за тело надушенной шлюхи, которое было бы вполне доступно в публичном доме за несколько грязных монет. Только этого он и стыдился. И так велик был этот стыд, что он спрашивал себя, хватит ли ему всей оставшейся жизни, чтобы его смыть, избыть из ума и из крови своей мерзостные остатки этого позора.

И, однако, он бы не сказал, что огорчен.

24. Человек-творец и просто живой человек

Теперь должно быть уже совершенно ясно, что все это несколько не огорчило Джорджа Уэббера. А из-за чего, собственно, ему было огорчаться? Сбежав от охотников за знаменитостями, он всегда мог вернуться к одиночеству в своей мрачной двухкомнатной квартирке на Двенадцатой улице, и именно так он и поступил. Притом все еще приходили письма от друзей из Либия-хилла. Там его не забыли. Миновало больше четырех месяцев после выхода книги, а ему продолжали писать, и все, ее жалея труда, дотошно объясняли ему, какие чувства он у них вызывает.

В эту пору Джордж часто получал письма от Рэнди Шеппертона. С ним одним Джордж только и мог теперь говорить и в ответ изливал душу, рассказывал все, что думал и чувствовал. Только об одном не говорилось ни слова: об озлоблении земляков против писателя, который выставил их нагишом перед всем светом. Ни тот, ни другой никогда об этом не упоминали. Рэнди с первого же письма предпочитал избегать этой темы, не касаться мерзких сплетен, надеясь, что рано или поздно они иссякнут и забудутся. А Джордж — тот поначалу был слишком ошеломлен, слишком угнетен, подавлен этим шквалом злобы и просто не мог об этом заговорить. Так что они рассуждали главным образом о самой книге, обменивались мыслями о ней, обсуждали, что сказал и чего не сказал о ней тот или иной критик.

Но к началу марта следующего года поток ругательных писем пошел на убыль, превратился в тоненькую струйку, и однажды Рэнди получил от Джорджа то самое письмо, которое, как он понимал со страхом, тот не мог не написать.

«Почти всю последнюю неделю я читал и перечитывал письма, которые получил после выхода книги от моих прежних друзей и соседей. И теперь, когда голосование уже подошло к концу и большая часть бюллетеней опущена, итог оказался поразительным и привел меня в некоторое смущение. Меня ставили наравне с Иудой Искаротом, с Бенедиктом Арнольдом, с Брутом. Уподобляли птице, которая пачкает собственное гнездо, и змее, которую простодушные горожане пригнали на своей груди, и ворону, который пожирает плоть и кровь своих родных и друзей, и упырю, для которого нет ничего святого, он оскверняет могилы самых достойных мертвецов. Меня обзывали стервятником, вонючкой, свиньей, которая со вкусом, похотливо валяется в грязи, растлителем женской чистоты, гремучей змеей, ослом, уличным котом и павианом. Как ни стараюсь, не могу

вообразить тварь, в которой соединились бы все эти черты, — а ведь любому писателю стоило бы познакомиться с таким малым! — и все же в иные минуты мне казалось, что мои обвинители правы...»

Читая эти словно бы шуточные строки, Рэнди понимал, что Джордж в отчаянии, — а ведь он такой мастер себя изводить, конечно же, он сейчас терзается безмерно. И Джордж почти сразу в этом признался:

«Господи! Да что же я натворил? В иные часы меня гнетет чувство ужасающей, непоправимой вины! Никогда еще до последней недели я не представлял, как безмерно, чудовищно далеки друг от друга Художник и Человек.

Как художник я могу рассматривать свою книгу с чистой совестью. Подобно всякому иному писателю, я о чем-то сожалею, чем-то недоволен: книге надо бы быть лучше, она не достигла того уровня, какого бы мне хотелось. Я ее не стыжусь. Я чувствую, что написал ее именно так по внутренней необходимости, я должен был ее написать и, написав, остался верен тому единственному во мне, что хоть чего-то стоит.

Так говорит Человек-Творец. И вдруг все меняется, я уже не Творец, а просто Живой Человек — член общества, друг и сосед, сын и брат рода людского. И когда я смотрю на то, что сделал, с точки зрения этого человека, я сразу чувствую себя последним псом. Я вижу, сколько боли и страданий причинил людям, которых знаю, и не пойму, как же это я мог и какие тут возможны оправдания — даже если бы мой роман был велик, как «Король Лир», и убедителен, как «Гамлет».

Как ни дико это звучит, поверь: читая письма, которые просто-напросто оскорбляли, проклинали и угрожали, я даже получал своего рода нелепое, чудовищное удовольствие. Оказывается, есть горькое утешение в том, что меня обзывают самыми непотребными словами, какие только можно вспомнить или придумать, или грозят, если я посмею сунуться в Либия-хилл, тут же прострелить мне башку. Что ж, во всяком случае, написав такое письмо, бедняга хоть немного отвел душу.

Но есть письма, которые вонзаются мне в сердце, как нож острый, — эти не проклинают и не угрожают, их написали люди, которые ошеломлены и ушиблены, которые никогда не причиняли мне зла, были расположены ко мне, доверяли мне, эти люди не знают, каков я на самом деле, и теперь пишут, не тая боли, содрогаясь душой, обнаженной, исхлестанной жгучим стыдом, и, ничего не понимая, снова и снова задают мне все тот же страшный, неотступный вопрос: почему ты это сделал? Почему? Почему?

Я читаю их письма — и сам перестаю понимать почему. Я не могу им ответить. Как Человек-Творец я думал, что знаю, и думал, что ответ мой вполне исчерпывающий. Я писал о них с грубой прямоотой, старался не упустить ни единой мелочи и подробности, потому что думал, что писать иначе, что-то утаивать или смягчать было бы трусостью и фальшью. Я думал, что Книга моя — сама себе оправдание.

Но теперь, когда дело сделано, я уже ни в чем не уверен. Меня терзают и сводят с ума сомнения и горькие сожаления. В иные минуты я, кажется, готов жизнь отдать, лишь бы вернуть мой роман в небытие, чтоб не было ни рукописи, ни книги. Ведь чего я этой книгой достиг? Только опозорил своих родных, друзей и всех тех в нашем городе, чья жизнь хоть как-то связана с моей? А что я спасаю среди обломков этого крушения?

«Честность художника», — скажешь ты.

О да... если б только подобное утешение могло успокоить мою совесть! Что уж говорить о честности — в ней тоже есть червоточинка. Если б я мог сказать себе, что каждое слово, каждая фраза, каждая сценка написаны мной в полную силу, непредвзято и беспристрастно! Так нет же. В памяти всплывает столько слов, столько беспощадных фраз, написанных в запальчивости, которая не имеет ничего общего ни с искусством, ни с моей честностью. Все мы люди, а не ангелы, и уж что нам не дано, то не дано! Так что же, значит, художник не может творить с чистым

сердцем?

Во всей этой скверной истории есть еще и мрачная насмешка. Это же до безумия смешно: в письмах почти все проклинаят меня за то, чего я не делал и чего не говорил. И еще того смехотворней — меня хвалят, хоть и неохотно, как раз за то единственное, чего у меня нет. В большинстве писем, даже в тех, где меня грозятся повесить и отказывают мне в малейших крохах таланта (кроме разве гения непристойности), меня неизменно превозносят за мою так называемую «память». Кое-кто обвиняет меня в том, что восьмилетним мальчишкой я рыскал повсюду, напихав в карманы записные книжки, — и, наострив уши и вылупив глаза, подслушивал, подглядывал, запоминал каждое слово, каждую фразу, каждый поступок моих добродетельных, ничего не подозревающих земляков.

«В жизни не читал такой похабной стряпни, но не могу не отдать тебе должное — память у тебя на диво», — весьма убедительно пишет один из моих сограждан.

А памяти-то у меня и нет. Я должен видеть что-то тысячу раз прежде, чем и вправду увижу. То, что они называют моей памятью, то, что, как им кажется, они и сами помнят, они на самом деле никогда не видели. Им чудится, будто они помнят, а на самом деле это я наконец увидел, когда поглядел в тысячный раз».

Рэнди приостановился — а ведь верно! С тех пор как вышла книга, он и сам не раз и не два своими глазами в этом убеждался.

Да, в книге Джорджа едва ли хоть одна подробность в точности такова, как оно было на самом деле, едва ли найдется хоть одна страница, где все не преобразовано, не изменено претворяющей силой его воображения; и, однако, у читателей мгновенно возникает ощущение подлинности, и многие тотчас готовы поклясться, да, это не просто «совсем как в жизни», но прямо из жизни взято, именно так было на самом деле. Оттого-то и поднялся такой крик, оттого-то на Джорджа так свирепо нападали.

Но мало того. Забавно было слушать, как люди толковали и яростно спорили друг с другом, убежденные, что тот или иной случай, то или иное событие — подлинное, просто потому, что в их памяти сохранилось нечто похожее. И уж вовсе смехотворно было, когда они торжественно заявляли (а это приходилось слышать не раз), что они сами свидетели событий, которые — Рэнди точно это знал — были лишь плодом авторского воображения.

— Ну как же! — восклицали они, когда от них требовались доказательства. — Да у него все так и написано! Он все в точности записал, как было! Ничегошеньки не изменил! Да вы поглядите на Площадь!

Они всегда возвращались к Площади, ибо в романе Площади отведено весьма почетное место. Джордж изобразил ее так живо и ярко, что в уме читателя отпечатались чуть ли не каждый кирпич, каждое оконное стекло и каждый булыжник. Но что же это была за площадь? Главная площадь Либия-хилла? Все уверяли, что это она и есть. Разве в городской газете не было напечатано черным по белому, что «наш местный летописец с фотографической точностью описал нашу площадь»? Потом люди сами прочли роман Джорджа и согласились с газетой.

Итак, спорить с ними было бесполезно — бесполезно указывать, чем площадь Уэббера непохожа на либия-хиллскую, бесполезно перечислять сотни подробностей, которые их отличают. Когда эти люди впервые обнаружили, что искусство повторило жизнь, они пришли в ярость, но были только жалки, а теперь они никак не поймут, что и жизнь повторяет искусство, — и в своем невежестве они смешны.

Рэнди с улыбкой покачал головой и снова принялся за письмо.

«Боже милостивый, что же я все-таки сделал? — писал в заключение Джордж. — Двигала мною неодолимая внутренняя потребность выразить правду как она есть или моя несчастная мать зачала и родила чудовище, изверга, который осквернил могилы и предал свою семью, родных, соседей и весь род людской? Что мне следовало сделать? Что следует делать теперь? Если ты можешь хоть как-то мне помочь, хоть что-то ответить, бога ради, напиши. Я сейчас точно сухой лист в бурю.

Не знаю, куда податься. Только ты один можешь мне помочь. Не оставляй меня...
Напиши мне... что ты посоветуешь?
Всегда твой, Джордж».

Каждую фразу этого письма пронизывало такое страдание, что Рэнди содрогнулся. Неприкрытую боль этой кровоточащей душевной раны он ощущал, как свою. По знал, что ни он сам, ни кто-либо еще не в силах тут помочь, дать ответ, которого ищет друг, Джордж должен найти его сам, в себе. Только так он сумеет чему-то научиться.

Поэтому когда Рэнди набрасывал ответ, он старался писать как можно небрежней, словно бы не всерьез. Незачем Джорджу думать, будто он придает такое уж большое значение отклику города. Он писал, что не знает, как бы себя повел на месте Джорджа, ведь он не писатель, но ему всегда казалось — писатель должен писать о той жизни, которая ему известна. И, желая немного развеселить Джорджа, прибавил: жители Либия-хилла — словно детишки, которых еще не посвятили в тайну рождения человека. Они, видно, все еще верят в аиста. Только те, кто понятия не имеет о мировой литературе, могли поразиться или возмутиться, узнав, откуда берется всякая хорошая книга.

И, так сказать, для разрядки, рассказал еще, что Тим Уогнер, знаменитый в городе пропойца, славящийся своим остроумием в редкие часы трезвости, с самого начала стал горячим сторонником книги Джорджа, с одной только оговоркой: «Черт возьми! Если Джорджу угодно писать о конокраде, пожалуйста. Только, надеюсь, в следующий раз он не станет указывать конокрадов адрес. И сообщать номер телефона тоже незачем».

Рэнди знал, что это позабавит Джорджа, и не ошибся. Потом Джордж даже сказал ему, что никогда ни от одного критика не слышал ничего столь разумного и дельного.

Под конец Рэнди заверил Джорджа, что все равно считает его человеком, хоть он и писатель. И, надеясь утешить друга, прибавил в постскрипуме, что в Либия-хилле есть и еще причины для недовольства. Ходят слухи, — один из самых видных деловых людей в городе шепнул это под величайшим секретом, только-ради-бога-никому-ни-слова, — что мистер Джарвис Рига, президент крупнейшего либия-хиллского банка, в прошлом олицетворение непогрешимости, того гляди, вылетит в трубу.

«Так что сам видишь, — закончил Рэнди, — уж если сия особа оказалась с изъяном, можно, пожалуй, надеяться, что и такому негодяю, как ты, тоже простят все грехи».

25. Катастрофа

Дня два спустя после того, как Джордж получил ответ от Рэнди, он читал утром «Нью-Йорк таймс», и вдруг его внимание привлекла небольшая заметка. Она была напечатана в самом низу колонки и занимала всего каких-нибудь два дюйма, но ему бросилось в глаза название родного города.

НА ЮГЕ БАНК ТЕРПИТ КРАХ

«Либия-хилл, С.К. 12 марта — Городской коммерческий банк сегодня утром не открыл дверей — все платежи прекращены. По мере того как новость о закрытии банка распространялась, в городе и во всем округе нарастала паника. Вышеназванный банк, крупнейший в Старой Кэтоубе, с давних пор считался образцом надежности и финансовой устойчивости. Причина его краха пока неизвестна. Есть основания опасаться, что потери вкладчиков весьма значительны.

Тревога, вызванная закрытием банка, усилилась, когда среди дня стало известно о внезапной и довольно загадочной смерти мэра города Бакстера Кеннеди. Тело его найдено с простреленной головой, и все обстоятельства указывают, по-видимому, на самоубийство. Мэр Кеннеди был человек на редкость веселый и жизнерадостный и, как говорят, не имел врагов.

Есть ли какая-либо связь между двумя вышеназванными событиями, которые так резко нарушили привычный покой этого горного края, неизвестно, хотя их одновременность вызвала взволнованные толки и догадки».

«Вот оно и случилось!.. — ошеломленно подумал Джордж и медленно отложил газету. — Как тогда сказал Судья Рамфорд Бленд?»

В памяти всплыла вся сцена в уборной пультмановского вагона. Застывшие лица онемевших от ужаса заправил и отцов города, когда перед ними вдруг вырос хрупкий, но грозный слепой Судья, пронзил их невидящим взглядом и напрямик обвинил в том, что они губят Либия-хилл. Джордж вспомнил все это — и, думая о только что прочитанных новостях, уже не сомневался, что между крахом банка и самоубийством мэра существует прямая связь.

Так оно и было. Все давно уже шло к этой двойной развязке.

Джарвис Ригз, банкир, происходил из бедной, но очень уважаемой в городе семьи. Когда ему исполнилось пятнадцать, отец его умер, и Джарвису пришлось бросить школу и пойти работать, чтобы прокормить себя и мать. Он перепробовал немало всякой работы и наконец в восемнадцать лет занял скромное, но прочное положение в Коммерческом банке.

Он был способный юноша, из тех, у кого все спорится, и, шаг за шагом продвигаясь вверх по служебной лестнице, стал кассиром. У Марка Джойнера был вклад в Коммерческом банке, и дома он часто рассказывал о Джарвисе Ригзе. В ту пору Джарвис еще не возомнил о себе и не держался так напыщенно, как позднее, когда вошел в силу. Его рыжие волосы, которые потом стали безжизненно-тусклыми, тогда еще отливали золотом, круглое румяное лицо всегда освещала веселая улыбка, и он неизменно встречал клиентов бодрым и приветливым «Доброе утро, мистер Джойнер!» или «Доброе утро, мистер Шеппертон!». Он был дружелюбен, услужлив, обходителен, да к тому же малый дельный и толковый, всегда скромно и аккуратно одет и, как было всем известно, кормилец матери-вдовы. Все это снискало ему любовь и уважение. И все желали ему успеха. Ибо Джарвис Ригз был живым подтверждением американской легенды о бедняке, которому пошла на пользу юность, полная лишений, — и он «преуспел». Люди понимающе кивали друг другу и говорили:

— Этот молодой человек не витает в облаках.

— Да, он своего добьется, — говаривали они.

Так что, когда к началу тысяча девятьсот двенадцатого года пошли слухи, что небольшая группа солидных дельцов собирается основать новый банк и что кассиром там будет Ригз, эта новость всем пришлась по душе. Те, кто субсидировал новый банк, объяснили, что он вовсе не собирается конкурировать с уже существующими банками. Но отчего бы в таком растущем городе, как Либия-хилл, где неуклонно увеличивается население и ширится деловая активность, не существовать еще одному банку? Предполагалось, что деятельность нового банка будет строиться на издавна проверенных и надежных принципах. Но при всем том это будет передовой бани, дальновидный, думающий о будущем, о замечательном, золотом, великолепном будущем, уготованном Либия-хиллу, и да не посмеет никто в оном будущем усомниться. В этом смысле новый банк будет банком молодых. Вот тут-то и выступает на сцену Джарвис Ригз.

Смело можно сказать, что тому одобрению, с каким город с самого начала отнесся к новому начинанию, банк был обязан главным образом Джарвису Ригзу. Он никогда не ошибался. Ни разу никого не обидел, ни в ком не нажил врага, всегда был скромн, дружелюбен и притом безлик, словно не хотел навязываться людям состоятельным и власть имущим. По общему мнению, он всегда знал, что делает. Он обучался в самом лучшем, самом уважаемом университете — в суровой школе жизни, а работать и разбираться в банковских операциях обучился в «суровой школе опыта», и каждый понимал так: если Джарвис Ригз идет в кассиры нового банка, значит, уж наверняка банк будет надежный.

Джарвис сам ходил по городу и продавал акции нового банка. Их покупали охотно. Он давал понять, что вовсе не думает, будто на этих акциях можно разбогатеть, просто это верное

и надежное помещение капитала, так это понимали и покупатели. Основным капиталом банка был достаточно скромный — двадцать пять тысяч фунтов, выпущено было двести пятьдесят акций по сто фунтов каждая. Сто акций учредители, включая Джарвиса, разделили между собой, а остальные полтораста распределили в избранном кругу крупнейших коммерсантов. Как говорил Джарвис, банк — детище Либия-хилла, его первая и единственная цель — служить обществу, и потому все должны получать примерно одинаковый доход.

На таких основаниях был создан Городской коммерческий банк. И кажется, никто и оглянуться не успел, как Джарвис Ригз возвысился до вице-председателя, а потом и председателя правления банка. Бедный юноша добился своего.

В первые годы этот коммерческий банк в меру процветал, ограничиваясь скромными надежными операциями. Доходы росли неуклонно, хотя и не бросались в глаза. Когда Соединенные Штаты вступили в войну, общее процветание отразилось и на нем. Но после войны, в 1921 году, в делах настало некое временное затишье, пора «переустройства», «отлаживания». А потом двадцатые годы начались всерьез.

«Что-то носилось в воздухе» — только этим и можно объяснить то, что тогда произошло. Каждый словно чуял возможность быстро и легко разбогатеть. Все волнующе, стремительно росло и ширилось, и казалось, за что ни возьмись, тебя ждут богатство, роскошь, деньги и власть, о каких ты прежде и мечтать не смел; лишь бы хватило храбрости — подходи и бери.

Джарвис Ригз, как и все прочие, не остался равнодушен к столь заманчивым возможностям. Настало время показать, на что он способен, решил он. Коммерческий банк провозгласил себя «самым процветающим в штате». Но на чем он процветает, об этом реклама умалчивала.

То было время, когда политическая и деловая верхушка, которая заправляла судьбами города и которая в качестве «вывески» посадила мэром симпатягу Бакстера Кеннеди, начала сосредоточивать свою деятельность вокруг банка. Город рос не по дням, а по часам, жители твердо верили, что их ждут золотые горы, и никто не задумывался над тем, как безрассудно они увеличивают общественный долг. Банк выпускал все новые займы на умопомрачительные суммы, так что под конец кредитная система города обратилась в какую-то шаткую перевернутую вверх дном пирамиду, и даже улицы, по которым спокон веку ходили жители Либия-хилла, больше им не принадлежали. Доходы от этих чудовищных займов помещались в банк. Банк же отдавал эти вклады для частных и личных спекуляций политикам или их сторонникам, пособникам и приверженцам, их друзьям-коммерсантам в виде колоссальных ссуд, выдаваемых под весьма недостоверное и незначительное обеспечение. Таким образом «Обойма», как называли узкий кружок честолюбивых воротил, со временем превратилась в хитроумную широкую сеть, которая оплела все общественное здание города и опутала жизнь тысяч людей. И средоточием всего этого стал банк.

Но такую сложнейшую сеть безумных финансовых операций, спекуляций и всяческих льгот, какими пользовалась «Обойма», нельзя плести вечно, хоть многие полагали, что конца этому не будет. Должно было наступить время, когда скрытые натяжения и напряжения станут слишком велики, чтобы и дальше выдерживать весь этот груз, время, когда начнутся зловещие сотрясения — признаки надвигающегося краха. Предсказать точно, когда наступит этот час, было нелегко. Когда смотришь на солдата в бою — вот он бежит вперед, вот закружился на месте и рухнул, — можно понять, в какой миг он был сражен. Но невозможно уловить в точности миг, когда человека сразила сама жизнь.

Так было и с банком и с Джарвисом Ригзом. В одном только не оставалось сомнений: их час настал. И настал задолго до того, как по всей Америке прокатилось эхо чудовищного грохота, с каким падали акции на Уолл-стрит. Событие это, которое отразилось на Либия-хилле, как и на всей стране, вовсе не было первопричиной случившегося. Взрыв, раздавшийся на Уолл-стрит, оказался лишь начальным в череде менее мощных взрывов, которым на протяжении нескольких лет предстояло прогреметь по всей Америке, — взрывов, которые, не оставляя больше места сомнениям и отрицаниям, наконец-то показали, открыли всем взорам потаенные скопления смертоносных газов, что образовались в недрах американской жизни по

милости ложного, порочного и прогнившего порядка вещей.

Задолго до взрыва, которому суждено было погубить его самого, а с ним и весь город, Джарвис Рига ощутил подземные толчки, сотрясающие его детище, и понял, что он обречен и разорен. Скоро это поняли и другие, и еще они поняли, что разорены вместе с Джарвисом. Но не позволили себе в это поверить. Не осмелились. Напротив, они пытались отвести беду, притворяясь, будто ничего худого и нет. И только пустились спекулировать еще безумней, еще неистовей.

А потом беспечный бодрячок мэра каким-то образом обнаружил то, что кое-кто из его окружения знал уже многие месяцы. Было это весной 1928 года, за два года до того, как банк прекратил платежи. Он тут же отправился к Джарвису Ригзу, сказал ему о своем открытии и заявил, что хочет изъять городские капиталовложения, Банкир смело посмотрел в глаза испуганному мэру и рассмеялся.

— Чего боитесь, Бакстер? — сказал он. — Это что же, как чуть прижало, так вы в кусты? Хотите изъять городские вклады? Ладно, изымайте. Но предупреждаю: тогда банку конец. Он завтра же закроется. А если он закроется, что станет с вашим городом? Вашему драгоценному городу тоже крышка.

Мэр побелел и в ужасе посмотрел на банкира. Джарвис Рига наклонился к нему и уже не грозил, но убеждал!

— Что ж, забирайте свои деньги, если хотите, и губите свой город. Но почему бы не остаться с нами, Бакстер? Мы уж позаботимся, чтобы все обошлось благополучно. — Теперь он улыбался, он пустил в ход все свое обаяние. — У нас временные затруднения, это верно. Но уже через полгода мы опять будем на коне. Ручаюсь. И станем сильнее, чем прежде. Либия-хилл голыми руками не возьмешь (это присловье тогда было очень в ходу). У нас еще все впереди. Но спасение и будущее города сейчас в ваших руках. Так что решайте. Что будете делать?

И мэра решил. Бедняга.

Все шло своим чередом. Время тоже не стояло на месте. Близилась развязка.

К осени 1929 года поползли неясные слухи, будто в Коммерческом банке не все ладно. Когда в сентябре Джордж ездил домой, он и сам это слышал. Но все сводилось к туманным намекам, и обычно тот, кто шепотом, пугливо их повторял, сам себя обрывал на полуслове!

— Тьфу! Пустая болтовня. Не может этого быть!. Сами знаете, людям лишь бы языки чесать.

Но слух продержался всю зиму и к началу марта, как зловещее поветрие, распространился по всему городу. Никто не знал, откуда он исходит. Казалось, его, точно яд, по капле выделяют разум, сердце, душа самого Либия-хилла.

Никаких видимых причин для паники как будто не было. Коммерческий банк по-прежнему выглядел солидно, деловито и притом торжественно. Через широкие зеркальные окна, выходящие на ту самую Площадь, в залы вливались потоки света, внутри царили чистота и прозрачность. Сама ширина этих окон, казалось, возвещала миру о полнейшей открытости и честности сего учреждения. Казалось, эти окна говорили:

— Вот он, банк, и вот они, его служащие, и они работают у всех на виду. Смотрите, люди добрые, можете сами убедиться. Мы ничего не скрываем. Банк — это и есть Либия-хилл, а Либия-хилл — это и есть банк.

Все было нараспашку, и чтобы узнать, что там делается, вовсе не требовалось заходить в помещение. Стой на тротуаре, смотри в окно — и все у тебя как на ладони. Справа окошечки кассиров, а слева, отгороженные невысоким барьером, за роскошными столами красного дерева сидели банковские служащие. За самым большим столом, прямо у барьера, восседал Джарвис Ригз собственной персоной. Восседал — и важно, самонадеянно, тоном, не допускающим возражений, разговаривал с кем-нибудь из клиентов. Восседал — и молниеносно просматривал бумаги, аккуратной кипой возвышающиеся у него на столе.

Восседал — и порой отрывался от работы и в глубокой задумчивости уставлялся в потолок или откидывался на спинку вертящегося кресла и слегка покачивался, о чем-то размышляя.

Все в точности, как всегда.

А потом грянул гром.

Двенадцатое марта 1930 года стало днем, который надолго сохранится в анналах Либия-хилла. Двойная трагедия отлично подготовила сцену для чудовищных недель, которые за ней последовали.

Если бы в тот день в девять утра все городские колокола ударили в набат, и то весть о закрытии Коммерческого банка не могла бы разнестись быстрее. Она передавалась из уст в уста. И почти тотчас на Площадь со всех сторон хлынули мужчины и женщины с побелевшими от ужаса лицами. Сюда сбегались хозяйки в фартуках, с еще не высохшими от мытья посуды руками; рабочие и механики с еще не остывшими инструментами; коммерсанты и конторские служащие, позабывшие надеть шляпу; молодые матери с младенцами на руках. Казалось, едва услышав новость, все до единого побросали свои дела и кинулись на улицу.

Скоро на Площади уже бурлила толпа обезумевших горожан. В отчаянии они снова и снова спрашивали друг друга все о том же — неужели правда? Как же это случилось? Далеко ли зашло?

Перед самым банком толпа, уже вовсе оглушенная, немного притихла. Рано или поздно каждого притягивала к этим дверям безрассудная надежда: вдруг еще можно убедиться собственными глазами, что все это неправда. Словно медлительное течение среди бурлящей толпы, люди чередой тянулись мимо и, увидев запертые, неосвещенные двери, понимали, что надежды тщетны. Иные просто ошеломленно глядели в одну точку, некоторые женщины стонали и плакали, из глаз сильных мужчин текли слезы, а другие гневно роптали.

Ибо катастрофа все-таки разразилась, они разорены. Многие потеряли все, что скопили за целую жизнь. Но разорены были не только вкладчики банка. Остальные теперь тоже понимали, что процветание кончилось. Они поняли: крах банка заморозил все их спекуляции, и теперь им уже не выпутаться. Только вчера они исчисляли свои бумажные богатства тысячами и миллионами; а сегодня у них ни гроша, богатства как не бывало, и на каждом бреме долгов, с которыми вовек не расплатиться.

И они еще не знали, что городское управление тоже обанкротилось, что за этими закрытыми безмолвными дверями навсегда пропали шесть миллионов долларов, принадлежащих городу.

Незадолго до полудня этого зловещего дня мэр Кеннеди был найден мертвым. И, словно в насмешку над случившимся, труп мэра обнаружил слепец.

На следствии Судья Рамфорд Бленд показал, что он вышел из кабинета в своем ветхом доме на Площади и направлялся по коридору в уборную, дабы справить нужду. Было темно, сказал он с обычной своей неуловимой улыбкой, половицы скрипели, но это пустяки — он ведь знает дорогу. И захотел бы заблудиться, так не сумел бы. Слышно, как в конце коридора капает вода — неторопливо, непрерывно, однообразно; и притом тянет вонью от жестяного писсуара, так что просто надо идти на запах.

Он в темноте дошел до двери, толчком ее отворил и вдруг задел за что-то ногой. Наклонился, пошарил белыми тонкими пальцами, и вдруг они погрузились в мокрое, теплое, липкое, дурно пахнущее — в кашу, которая еще пять минут назад была лицом и мозгом живого человека.

Нет, выстрела он не слышал... На Площади как раз была эта адская суматоха.

Нет, он понятия не имеет, как тот здесь очутился... просто вошел, наверно, ведь муниципалитет всего в тридцати шагах.

Нет, он не знает, почему его честь выбрал именно уборную, чтобы пустить себе пулю в лоб... у каждого свой вкус... но уж если захотел стреляться, это место не хуже других.

Вот так он был найден, этот беспечный, добродушный любитель медлить да откладывать

Бакстер Кеннеди, мэр Либия-хилла, — вернее, то, что от него осталось, — найден во тьме, злым слепым стариком.

Дни и недели после закрытия банка Либия-хилл являл собой трагическую картину, — ничего похожего в Америке, пожалуй, прежде не видывали. Но в последующие несколько лет все это повторялось снова и снова во множестве городов и городишек, в каждом чуть на свой лад.

Крах города был пострашней, чем крах банка и развал всей городской экономики и финансов. Правда, когда банк прекратил платежи, вся обширная и сложная система, которая на нем покоилась и ответвления которой проникли во все области городской жизни, рухнула и развалилась. Но, прекратив платежи, банк словно пробил первую брешь, — все обрушилось, обнажив разрушения более глубокие и губительные, самую суть катастрофы — крах человеческой совести.

Вот перед вами город, в нем пятьдесят тысяч жителей — и все они так прочно забыли обо всякой честности в делах личных и общественных, не говоря уже о здравом смысле и порядочности, что, когда разразилась катастрофа, им неоткуда было черпать душевные силы, чтобы ей противостоять. Город, можно сказать, пустил себе пулю в лоб. В первые десять дней застрелилось сорок человек, а потом их примеру последовали и другие. И, как водится, многие из тех, кто покончил с собой, были виноваты куда меньше прочих. Остальные — и это было ужасней всего — вдруг столь глубоко осознали свою чудовищную вину, что не в силах были достойно встретить последствия и, точно свора остервенелых псов, вцепились друг другу в глотку. Они взывали о мести, жаждали крови Джарвиса Ригза. Но в них кричала не поправная справедливость, не обманутая невинность, а нечто прямо противоположное. Именно сознание высшей, насмеявшейся над ними бесповоротной справедливости поразившего их удара и сознание, что во всем виноваты они сами, и приводило их в бешенство. Потому-то они разъярились, потому-то и взывали о мщении.

То, что произошло в Либия-хилле и в других местах, новоявленные экономисты описали в ученых томах как развал «самой системы, капиталистической системы». Да так оно и было. Но это еще далеко не все. В Либия-хилле развал охватил самые разные стороны той жизни, которую постепенно создали для себя эти люди. Тут не просто обратились в ничто текущие счета в банке, рассеялись как дым баснословные доходы, существовавшие только на бумаге, и люди остались нищими, — развал пошел куда глубже. Потерпели крах сами люди, ибо едва сгнули эти символы их внешнего преуспевания, они поняли, что лишились всего — в себе им не на что опереться, не из чего черпать новые силы. Потерпели крах люди, ибо, обнаружив, что не только их материальные ценности были ложные, но что нет у них и никакого иного достояния, они увидели наконец бессодержательность и пустоту своего бытия. Потому они и кончали самоубийством; а тот, кто не наложил на себя руки, умирал от сознания, что он уже мертв.

Отчего же так непоправимо пересыхают духовные источники, питающие жизнь народа? Когда видишь на городской улице восемнадцатилетнего юношу, видишь загрубелые рубцы, в какие обратилась его жизнь, и вспоминаешь, каким он был десять лет назад, восьмилетним ребенком, понимаешь, что произошло, хотя причина остается скрытой. Понимаешь, что в какой-то час жизнь этого юноши остановилась в своем развитии и пошла рубцами; и чувствуешь: если бы только найти причину и лекарство, можно бы понять природу крутых переломов в жизни человеческой.

Должно быть, и в Либия-хилле настал час, когда жизнь остановилась в своем развитии и пошла рубцами. Но ученые-экономисты об этом не тревожатся. Для них это — из области метафизики, их это только раздражает, они не станут ломать над этим голову, они желают заключить истину в тесный загончик, огородить ее колышками из фактов. Напрасный труд. Ссылками на таинственные сложные хитросплетения кредитной системы, на политические и коммерческие интриги, на неустойчивость ценных бумаг, на опасности инфляции, спекуляций

и шатких цен либо на процветание и падение банков объясняется далеко не все. Даже собранные все вместе, эти факты не дают ответа на вопрос. Ибо тут есть и еще что сказать.

Так и с Либия-хиллом.

Кто знает, когда именно все это началось? Наверно, когда-то очень давно, в одинокие темные и тихие ночи, когда все жители города лежали в своих постелях и ждали. Чего? Они и сами не знали. Только надеялись: что-то случится — свершится что-то волнующее, неправдоподобное, они вдруг чудесным образом разбогатеют, разомкнется тесный замкнутый круг их жизни и навсегда будет покончено с томительной скукой.

Но ничего не произошло.

Меж тем окоченелые сучья поскрипывали в холодном унылом свете уличных фонарей, и скованный скукой город ждал.

Но порой где-то в глухих проулках открывалась и закрывалась дверь, чуть слышно, крадучись, торопливо шлепали босые ноги, и за старыми потрепанными шторами, на окраине негритянского квартала, давала себе волю мерзкая похоть.

Порой под покровом ночи в гнусных публичных домах — проклятье, удар, драка.

Порой в тишине — выстрел, ночное кровопролитие.

И всегда — тяжкая одышка паровозов, ляг стрелок на сортировочной станции, далеко, у самой реки, и вдруг грохот огромных колес, гул колокола, свист — вопль одиночества, уносящийся на Север, к надежде, к обещанию и воспоминанию о ненайденном мире.

Меж тем сучья угрюмо поскрипывали в окоченелом свете, десять тысяч человек ждали во тьме, вдалеке выла собака, и вот уже часы на здании суда пробили три.

Никакого ответа? Возможно ли?.. Тогда пусть те, кто никогда не ждал во тьме — если такие существуют, — сами найдут ответ.

Но если можно выразить словами то, что говорит душа, если язык может высказать то, что ведомо одинокому сердцу, ответы будут несколько иные, чем те, какие выстраиваются тощими кольшками заржавелых фактов. Будут ответы тех, кто ждет, кто еще ничего не сказал.

Под звездной необъятностью горной ночи старик Рамфорд Бленд, тот, что прозван Судьей, стоит в своем кабинете у окна, за которым сгустилась тьма, задумчиво поглаживает запавшие щеки и незрячими глазами смотрит на загубленный город. Вечер прохладен и ласков, и воздух напоен мириадами сладостных обещаний. Незримо связанная драгоценная россыпь огней раскинулась по холмам и ожерельем охватила город. Слепой и не видя знает, что они здесь. Задумчиво поглаживает он запавшие щеки и улыбается своей призрачной улыбкой.

Ночь так прохладна, так сладостна, вот и настала весна. Говорят, в горах еще не бывало такой уймы кизила. Сколько волнующего, потаенного сегодня в ночи — взрыв смеха, и молодые голоса, едва слышные, прерывистые, и танцевальная музыка — как догадаться, что, когда слепой улыбается и задумчиво поглаживает свои запавшие щеки, он видит загубленный город?

Новое здание суда и муниципалитет сегодня великолепны. Вот только никогда он их не видел, их построили уже после того, как он ослеп. Говорят, их фасады всегда подсвечены скрытыми огнями, точно купол Капитолия в Вашингтоне. Слепой задумчиво поглаживает запавшие щеки. Что ж, им и положено быть великолепными, они стоят немалых денег.

Под звездной необъятностью горной ночи слышно: что-то трепещет — шелестит молодая листва. И вокруг корней травы что-то сегодня движется в земле. И под корнями трав, под почвой, под влажной от росы пылью едва распустившихся цветов что-то живет и движется. Слепой задумчиво поглаживает запавшие щеки. Да, там, внизу, где бодрствует на страже вечный червь, что-то движется в земле. Глубоко, глубоко, там, где под разрушенным домом порождает движение неутомимый червь.

Что там сегодня недвижно лежит в земле, там, где бодрствует на страже вечный червь?

По лицу слепого старика скользит тень улыбки. Вечно бодрствует, движется червь, а множество людей гниет сегодня ночью в могилах, и у шестидесяти четырех черепа пробиты пулями. А еще десять тысяч горожан лежат сегодня ночью в своих постелях, и живого в них осталось одна скорлупа. Они тоже мертвы, хотя еще не похоронены. Они мертвы очень давно, они уже и не помнят, что это значит — жить. И пройдет еще много тягостных ночей, прежде чем и они окажутся среди погребенных мертвецов, там, где бодрствует червь.

Меж тем неустанно бодрствует на страже бессмертный червь, а слепой поглаживает запавшие щеки, и медленно отводит свои незрячие глаза, и поворачивается спиной к загубленному городу.

26. Раненый фавн

Через десять дней после краха либия-хиллского банка Рэнди Шеппертон приехал в Нью-Йорк. Он собрался в дорогу неожиданно, не предупредив Джорджа, движимый сразу несколькими побуждениями. Прежде всего надо поговорить с Джорджем — может быть, удастся как-то помочь ему прийти в себя. В письмах Джорджа звучит такое отчаяние, что уже стало за него тревожно. Да и самому необходимо на несколько дней вырваться из Либия-хилла, где все дышит обреченностью, разрушением, смертью. И потом, он ведь теперь свободен, ничего не мешало ему уехать, вот он взял и уехал.

Он приехал рано утром, в самом начале девятого, у вокзала сел в такси, вышел на Двенадцатой улице и позвонил у дверей. Он долго ждал, позвонил снова, и тогда дверной замок щелкнул и он вошел в плохо освещенный коридор. На лестнице было темно, и казалось, весь дом погружен в сон. Шаги гулко отдавались в тишине. Воздух был спертый, застоявшийся, в сложной смеси запахов можно было различить, как отдает ветхим, рассыпающимся в пыль деревом, истертыми половицами и еле уловимо — давней стряпней, давно съеденным варевом. На площадке второго этажа свет не горел, стояла тьма кромешная, — Рэнди стал шарить рукой по стене, нащупал дверь и громко постучал.

Через минуту дверь распахнулась, да так, что ее чуть не сорвало с петель, на пороге, точно в раме, возник Джордж — волосы встрепаны, глаза красные со сна, поверх пижамы наскоро накинута старая купальный халат, — и сощурился, вглядываясь во тьму. Рэнди поразился — Джорджа просто узнать нельзя, а ведь они не виделись всего полгода. Лицо его, в котором всегда сохранялось что-то юношеское, даже детское, стало старше и жестче, морщины — глубже. Тяжелая нижняя губа вызывающе и зло выпятилась навстречу пришельцу, в курносом лице — мрачная бульдожья свирепость.

Оправясь от изумления, Рэнди весело закричал:

— Эй, погоди! Погоди! Не стреляй! Ты меня не за того принял!

Знакомый голос ошеломил Джорджа, не вдруг поверил он своим ушам. Потом широко, радостно улыбнулся.

— Черт возьми! — крикнул он, схватил Рэнди, стиснул его руку, буквально втащил его в комнату, потом чуть отстранил и глядел на него, удивленно и счастливо улыбаясь.

— Так-то оно лучше, — с притворным облегчением произнес Рэнди, — а то я уж было подумал, ты все время такой.

И вот они похлопывают друг друга по спине и, как водится между старыми друзьями при встрече, шутливо переругиваются, поддразнивают друг друга. Но почти сразу Джордж вспомнил — а как там банк? Рэнди рассказал ужасающие подробности катастрофы. Джордж весь обратился в слух. Все оказалось еще хуже, чем он себе представлял, и он закидал Рэнди вопросами. Наконец Рэнди сказал:

— Ну вот, пожалуй, и все. Больше я, кажется, ничего не знаю. Да ладно, об этом после еще потолкуем. Я, главное, хочу знать, как ты. Ты тут сам, часом, не тронулся? От твоих последних писем мне что-то стало не по себе.

Они так обрадовались друг другу, так им не терпелось поговорить, что оба все еще

стояли у дверей. Но сейчас, когда Рэнди с ходу задел больное место, Джордж вздрогнул и, не отвечая, взволнованно зашагал взад-вперед по комнате.

Рэнди заметил, что вид у друга усталый. Глаза воспаленные, — наверно, недосыпает, небритое лицо кажется измученным. На старом халате не уцелело ни одной пуговицы, пояшнур тоже исчез, и Джордж подпоясался старым потрепанным галстуком. И в таком своеобразном одеянии лишь казался еще более усталым и изможденным. Он шагал по комнате и мучительно морщился — видно было, что нервы у него натянуты, — а когда скидывал глаза, Рэнди читал в них страх.

Внезапно он остановился, мрачно стиснул зубы и, в упор глядя на Рэнди, спросил:

— Ладно, выкладывай! Так что они там говорят?

— Кто? Кто что говорит?

— Наши, в Либия-хилле. Ты ведь это имел в виду, верно? Они же мне писали и говорили всякое прямо в лицо, так можно представить, что говорят у меня за спиной. Выкладывай, и покончим с этим. Так что же они говорят?

— Ну, не знаю, по-моему, ничего они не говорят, — сказал Рэнди. — Сперва-то чего только не говорили... да то же самое, что тебе писали. Но с тех пор, как банк прекратил платежи, я, кажется, твоего имени ни разу и не слышал. У них теперь заботы посерьезней.

Джордж сперва явно не поверил, потом его отпустило. С минуту он молчал, уставясь в пол. Но чувство облегчения целительным бальзамом разлилось по его взбаламученной душе, и он поднял глаза, широко улыбнулся другу и тут, наконец-то заметив, что Рэнди все еще стоит у самого порога, вспомнил о своих обязанностях хозяина.

— Господи, Рэнди, до чего ж я тебе рад! — вырвалось у него из глубины души. — Прямо в себя прийти не могу! Садись! Ты что, не можешь найти стул? А в самом деле, черт возьми, куда у меня запропастились стулья?

С этими словами он подошел к стулу, на котором громоздились рукописи и книги, не задумываясь, сбросил их на пол и двинул стул через всю комнату к Рэнди.

И начал извиняться — вот, мол, в комнате такой холод, и звонок, мол, застал его еще в постели, пускай Рэнди пока не снимает пальто — чуть погодя станет потеплей. Потом исчез за дверью, чем-то там загремел, с шумом отвернул кран и вернулся с полным кофейником воды. Воду он вылил в трубу радиатора под окном. Покончив с этим, опустился на четвереньки, пригнулся, заглянул куда-то вниз, затем чиркнул спичкой и повернул какой-то вентиль. Громко вспыхнуло пламя, и очень скоро в трубах зашумела и забулькала вода.

— Газовое отопление, — сказал Джордж, неуклюже поднимаясь. — Это здесь хуже всего, когда подолгу сижу работаю, у меня голова разбалывается.

Рэнди тем временем огляделся. Комната — верней, две большие комнаты, но скользящие двери между ними сейчас были раздвинуты, — казалась огромной, точно сарай. Окна с одной стороны выходили на улицу, с другой, за унылыми оградами каких-то задворков, виднелся еще ряд домов. И все в этих стенах было какое-то отжившее, ясно чувствовалось: кто-то провел здесь весь свой век и что-то кончилось здесь бесповоротно, возврата нет и не будет. И дело не только в том, какой тут беспорядок, — повсюду раскиданы книги, громоздятся кипы рукописей, валяются носки, рубашки, воротнички, старые башмаки, скомканные, вывернутые наизнанку брюки. И даже не в том, что на столе, где сам черт ногу сломит, такое там творится — в грязной чашке и в блюде полно размокших в спитом кофе окурков. Просто из всего этого уже ушла жизнь, — со всем этим уже покончено, все холодное, отжившее, исчерпанное, как эта грязная чашка и выдохшиеся окурки.

И среди этого унылого опустошения жил сейчас Джордж, мучительно подавленный ощущением быстротечности зря уходящего времени. Рэнди понимал, что застал его на перепутье, в тот тяжкий для писателя час, когда он находится между двумя книгами. С одной уже покончено, а всерьез взяться за другую он еще не готов. Весь он в неистовом, но пока бесплодном брожении. И не только потому, что постепенно в нем зреет следующая книга. Рэнди понимал, что прием, оказанный первой книге Джорджа, свирепость, с какой обрушился на него Либия-хилл, сознание, что он не просто написал книгу, но разом оборвал узы дружбы

и нежности, соединяющие человека с родным домом, — все это сбило Джорджа с толку, совсем ошеломило, и он оказался втянутым в водоворот противоречий, которые сам же и породил. Он не готов взяться за новую работу, ибо силы его пока еще поглощены и истощены всем тем, что последовало за бурей, которую вызвала первая книга.

И ко всему, оглядывая комнату и подмечая множество мелочей, которые еще увеличивали царивший здесь беспорядок, он углядел в пыльном углу маленький зеленый халатик или фартучек, весь смятый, словно его зашвырнули сюда безрадостно и бесповоротно, а рядом одинокий, сплюснутый и запачканный маленький ботик. Покрывавший их слой пыли показывал, что они валяются вот так уже не первый месяц. То были лишь горькие призраки, и Рэнди понял: что-то навсегда ушло из этой комнаты, и Джордж поставил на этом крест.

Рэнди видел, каково сейчас Джорджу, чувствовал, что любой решительный шаг будет ему на пользу. И потому сказал:

— Какого черта, Джордж, подхватись-ка и съезжай отсюда! Ты здесь со всеми делами покончил, это все уже позади, а что осталось, можно уладить за день-другой. Так что возьми себя в руки и выметайся отсюда. Переезжай в другое место, куда угодно, доставь себе такое удовольствие: проснешься утром — и ничего этого не увидишь.

— Знаю, — сказал Джордж, подошел к продавленной кушетке, откинул в сторону явно несвежие простыни и устало сел. — Я уже думал об этом.

Рэнди не стал настаивать. Понимал — толку не будет. Надо, чтобы Джордж сам к этому пришел, когда почувствует, что настало время.

Джордж побрился, оделся, и они отправились завтракать. Потом вернулись и проговорили все утро, пока их не прервал телефонный звонок.

Джордж снял трубку. По доносящимся из нее звукам Рэнди понял, что звонит женщина, что она словоохотлива и, несомненно, южанка. Какое-то время Джордж отделялся вежливыми банальностями:

— Ну что ж, прекрасно... Мне, право, очень приятно... Это так мило с вашей стороны... Ну что ж, я рад, что вы позвонили. Пожалуйста, кланяйтесь им всем от меня. — Потом он умолк, весь обратился в слух, лицо у него стало напряженное, и Рэнди понял: разговор перешел в иное русло. Потом Джордж медленно, озадаченно произнес: — Вот оно что?.. Он так и сказал?.. — И потом как-то неопределенно: — Что ж, это очень мило с его стороны... Да, я не забуду... Благодарю вас... Всего хорошего.

Он повесил трубку и устало ухмыльнулся.

— Еще одна из этих самых Я-позвонила-просто-чтоб-сказать-я-прочла-все — от-доски-до-доски-и-по-моему-это-просто-блеск, — сказал он. — Еще одна дамочка с Юга. — Сам того не замечая, он с каждым словом все явственней передразнивал елейные интонации определенного типа южанок, чей язык одновременно источает и патоку и яд: — «Нет, чезстное сло-ово, мы все та-ак вами гордимся! Я пря-амо вся обмира-аю! Ничего подобного я в жизни не читала! Нет, чезстное слово! Да мне и не сни-илось, что можно так чуде-эсно писать!»

— Но неужели тебе это ни чуточки не приятно? — спросил Рэнди. — Может, это и грубая лесть, а все-таки, наверно, кой-какое удовлетворение.

— Господи! — устало произнес Джордж и снова тяжело опустился на кушетку. — Если б ты только знал! Это ж только одна из тысячи! Да ведь он, — Джордж ткнул большим пальцем в сторону телефона, — поет эту песенку уже который месяц! Я знаю их всех как облупленных... Я их разложил по полочкам! С первого же слова по тону узнаю, кто относится к типу «В», а кто из группы «Х».

— Итак, писатель уже начинает уставать? Едва отведал славы, и она уже ему прискучила?

— Слава? — с отвращением. — Это не слава... это просто гнусная погоня за модой.

— Так, по-твоему, эта женщина не искренне тобой восхищалась?

— О да, очень искренне, прямо как ворона, когда расклеывает падаль. Теперь она пойдет всем хвастать, что разговаривала со мной, и уж так меня распишет... всем старым

каргам в городе на полгода хватит пищи для сплетен.

Это звучало так неразумно, так несправедливо, что Рэнди поспешил его перебить:

— Слушай, а может быть, ты это зря?

Джордж даже не поглядел на него — сидел угнетенный, повесив голову, руки в карманы, лишь презрительно профырчал что-то невнятное.

Рэнди и горько и досадно было, что друг ведет себя точно балованное дитяtko, и он сказал:

— Слушай, не пора ли повзрослеть да взяться за ум? Что-то ты чересчур заносишься. По-твоему, ты можешь себе это позволить? Если кто станет корчить из себя балованного гения, успеха навряд ли добьется.

Джордж опять что-то угрюмо бормотнул.

— Возможно, эта женщина и в самом деле дура, — продолжал Рэнди. — Дураков на свете хватает. И, возможно, ей недостает ума, чтобы понять твою книгу так, как тебе хотелось бы. Но что из этого? Выше головы не прыгнешь. По-моему, чем насмеяться над ней, ты бы должен спасибо сказать.

Джордж поднял голову.

— Так, может, ты слышал весь разговор?

— Нет, только то, что ты мне рассказал.

— То-то и оно, ты знаешь не все. Если б она позвонила просто, чтоб излить свои чувства по поводу книги, — пожалуйста, я не против. Но послушай. — Он наклонился к Рэнди, стукнул его по коленке, сказал очень, серьезно: — Мне вовсе не хочется, чтоб ты думал, будто я просто-напросто самодовольный дурак. За эти последние месяцы я пережил и уразумел такое, чего у большинства людей никогда не будет случая понять. Поверь мне, эта женщина звонила не потому, что ей понравилась моя книга и захотелось мне об этом сказать. Она хотела что-нибудь разнюхать, — с горечью воскликнул он, — хотела побольше разузнать про меня и потом перебивать мне косточки.

— Послушай... — возмутился было Рэнди.

— Да, да! Я знаю, что говорю! — горячо сказал Джордж. — Вот то, чего ты не слышал... вот к чему она подбиралась с самого начала... это всплыло под конец. Я ее знать не знаю, никогда прежде и не слыхал про нее... но она подруга жены Теда Ривза. Он, видно, вообразил, будто я вывел его в своей книге, и теперь грозитя — мол, если я когда-нибудь вздумаю вернуться домой, он меня убьет.

Это была правда, Рэнди слышал об этом еще в Либия-хилле.

— Вот чего ради она звонила, — с горьким презрением проговорил Джордж. — Вот чего ради звонит большинство. Им желательно поговорить с самим дьяволом, прощупать его, а потом сказать: «А Теда не бойтесь! Про него болтают всякое, так вы не верьте! Поначалу-то он расстроился, а теперь уже понял, что у вас на уме худого не было, и теперь все уладилось». Вот что она мне сказала, так что, может, не такой уж я дурак, как тебе кажется!

Он был до того серьезен и взволнован, что Рэнди даже не сразу ему ответил. Притом он помнил, какое смятение царит сейчас в душе Джорджа, и понимал: есть в его словах какая-то правда.

— И много таких звонков? — спросил он.

— Да чуть не всякий день, — был усталый ответ. — По-моему, мне звонили все либия-хиллские, кто побывал здесь с тех пор, как вышла книга. И каждый разговаривал на свой лад. Одни звонили таким манером, будто я выродок какой-то: «Здравствуйте, — эдаким, знаешь, подленьким тихим голоском, так, наверно, разговаривают в Синг-Синге с приговоренным к смерти, когда уже надо вести его на казнь. — Как вы себя чувствуете?» И сразу бросает, в дрожь, начинаешь заикаться и запинаться: «А, да-да! Да, я отлично себя чувствую! Отлично, спасибо! — а сам начинаешь всего себя ощупывать — цел ли. И тогда тебе говорят все так же тихонько: — Я просто хотела узнать... Просто позвонила справиться... Надеюсь, вы живы и здоровы».

С минуту он затравленно и растерянно глядел на Рэнди, потом неестественно громко

захохотал.

— От такого и у бегемота мурашки по коже пойдут! Послушать их, так подумаешь, я сам Джек Потрошитель! Некоторые вроде хотят просто посмеяться, пошутить, но и они разговаривают так, будто я только затем и писал эту книгу, чтобы свести личные счеты и облить грязью всех, кто мне не по душе. Да! Да! — с горечью воскликнул Джордж. — Дома за меня стоят, кажется, только жалкие неудачники — продавцы газированной воды да вечные прихлебатели, которые так и не прошли в члены загородного клуба. «Здорово вы врезали этому сукину сыну Джиму такому-то! — Ради того, чтобы сказать это, они мне и звонят. — Здорово вы его отделали! Я когда читал, как вы его расписали, хохотал до упаду!» Или: «Что ж вы ни словечка не написали про этого мерзавца Чарли-как-бишь-его? Я чего бы только не дал, чтоб поглядеть, как вы его отщелкаете!» Черт возьми! — Он яростно стукнул себя кулаком по коленке. — Только это они и видят: грязные сплетни, злословье, злобу, зависть, случай с кем-то сквитаться — и больше ничего. Можно подумать, будто они в жизни не прочли ни одной книги. Скажи, — горячо продолжал он, наклонясь к Рэнди, — есть там, кроме тебя, хоть один человек, кому важна моя книга сама по себе? Прочел ее хоть кто-нибудь просто как книгу, понимает кто-нибудь, о чем она и чего ради я ее писал?

Глаза его были полны страдания. Вот он и прозвучал, этот вопрос, которого Рэнди так страшился и так хотел избежать.

— По-моему, ты теперь должен бы знать это лучше всех. У кого же другого такая возможность это выяснить.

Что ж, вот и ответ. Тот самый, какого следовало ожидать и какого он боялся. Минуту-другую он смотрел на Рэнди измученными глазами, потом горько рассмеялся, и его прорвало.

— Тогда к черту! Все к черту! — остервенело кричал он. — Жалкая подлая свора, сукины сыны! К черту их всех! Из кожи вон лезли, чтоб меня погубить!

Это было постыдно, недостойно, несправедливо. Рэнди видел — Джордж сам себя растравляет, вот-вот посыплются яростные упреки и обвинения, и тогда сразу выйдет наружу все, что есть в нем плохого, все его слабости: однобокость, склонность все раздувать, и преувеличивать, и жаловаться на судьбу. Все это ему непременно надо как-то одолеть, не то он пропадет. И Рэнди резко прервал:

— Ну, хватит! Черт подери, Джордж, возьми себя в руки! Если куча дураков прочла твою книгу и ничего в ней не поняла, дело не в Либия-хилле, таков весь свет. Люди повсюду одинаковы. Они считают — ты написал про них, — да так оно и есть. Вот они и обозлились на тебя. Ты задел их за живое, уязвил их самолюбие. И, прямо скажем, разбередил немало старых ран. Да еще некоторые посыпал солью. Я тебе это говорю не как другие, на кого ты жалуешься. Ты прекрасно знаешь, я понимаю, что ты сделал и почему не мог иначе. Но все равно, кое-чего делать не следовало, и тогда книга бы только выиграла. Так что нечего скулить. И нечего строить из себя мученика.

Но Джордж явно уже вошел в роль мученика. Он сидел мрачнее тучи, сгорбившись, повесив голову и вцепившись одной рукой в колено, и Рэнди отлично понимал, как и почему на него накатило такое настроение. Прежде всего надо было быть очень наивным человеком, чтобы с самого начала не понимать, как люди отнесутся к некоторым его страницам. Потом, когда пришли первые упрекающие письма, его охватили стыд, смирение и чувство вины перед теми, кому он причинил боль. Однако время шло, обвинения становились все злей, все ядовитей, и тогда ему захотелось дать отпор, защитить себя. Когда же он увидел, что это невозможно, — ведь на его письма, на попытки объясниться люди отвечали новыми угрозами и оскорблениями, — в душе его поднялась горечь. И наконец, так тяжело все это пережив, истерзав себя самыми противоречивыми чувствами, он погрузился в трясину жалости к самому себе.

Сейчас Джордж заговорил о «художнике», который, мол, выплескивает все самомалейшие мелочи умственной в эстетической жизни своего времени. Выходило, будто художник — это совсем особое поразительное, редкостное существо, он живет лишь «красотой» и «правдой» и мыслит столь тонко, что обыкновенный человек попросту

неспособен его понять, как дворняге не понять луну, на которую она лает. И потому художник способен «творить» только в том случае, если он постоянно парит в некоем заколдованном лесу, в каком-то волшебном мире.

Все это звучало так нелепо, что Рэнди хотелось взять приятеля за шиворот и хорошенько встряхнуть. А досадней всего, что на самом деле Джордж куда лучше всех этих разглагольствований. Сам должен бы знать, какая все это дешевка и фальшь. Наконец Рэнди не выдержал и спокойно сказал:

— Право, Джордж, кому-кому, а тебе уж никак не к лицу разыгрывать раненого фавна.

Но Джордж так увлекся своим бредом, что пропустил слова друга мимо ушей. Он лишь рассеянно буркнул: «А?» — и опять принялся за свое. Всякий «истинный художник», говорил он, обречен, в обществе он всегда отверженный. «Племя непременно изгонит его», таков его удел.

Ну и околесица! Рэнди потерял терпенье.

— Черт побери, Джордж, что с тобой? Что за чушь ты несешь? Ниоткуда тебя не изгнали! Просто ты нажил кой-какие неприятности в родном городе. Пыжишься, произносишь разные громкие слова насчет «красоты» и «правды»! Тьфу! Тогда, черт возьми, перестань обманывать сам себя. Ты что, не понимаешь? Вот она, правда: первый раз в жизни ты чего-то добился в своем деле. Твою книгу хвалили в печати, она хорошо разошлась. У тебя теперь твердая почва под ногами, можешь двигаться дальше. Так откуда же тебя изгнали? Из Либия-хилла тебе пишут угрожающие письма, вот ты и почувствовал себя изгнанником, но, черт возьми, Джордж, ты уже многие годы изгнанник! И притом по своей воле! Ты же сам знаешь, у тебя и в мыслях не было вернуться домой. Но едва нашим захотелось пустить тебе кровь — и ты уговорил себя, будто это они тебя изгнали! А твои рассуждения, будто «красоты» можно достичь, только если сбежишь куда-то от жизни, которую хорошо знаешь, — да разве это правда? Совсем наоборот. Ты же сам двадцать раз мне об этом писал.

— То есть? — угрюмо спросил Джордж.

— Да возьми, к примеру, хоть свою собственную книгу — все, что в ней есть хорошего, написано не потому, что ты сбежал от жизни, а потому, что вошел в нее, сумел понять жизнь, которую хорошо знал, и написать о ней, — разве не так?

Джордж молчал. Лицо его, мрачное и злое, понемногу оттаивало, смягчалось, и наконец он поднял глаза и невесело усмехнулся.

— Не знаю, что на меня находит, — сказал он. Покачал головой, словно ему стало стыдно за себя, и засмеялся. — Ты, конечно, прав, — серьезно продолжал он. — Все справедливо. И так оно и должно быть: писать надо о том, что знаешь. О том, чего не знаешь, писать невозможно... Оттого-то меня так и злят некоторые критики, — свирепо прибавил он.

— Это почему же? — спросил Рэнди, довольный, что друг наконец заговорил разумно.

— Да ты и сам знаешь, — сказал тот, — ты же видел рецензии. Кое-кто писал, что моя книга «слишком автобиографическая».

Это было поразительно. У Рэнди еще отдавались в ушах вопли оскорбленных либияхиллцев, а в комнате еще не смолкло эхо несусветных тирад Джорджа в ответ на этот вой, — и вдруг... уж не ослышался ли он? В полнейшем изумлении он сказал:

— Так ведь книга и правда автобиографическая, с этим не поспоришь.

— Да, но не слишком автобиографическая! — убежденно возразил Джордж. — Напиши они наоборот — «недостаточно автобиографическая», тогда было бы в самую точку. Вот что мне не удалось. Вот это и правда плохо. — Никаких сомнений, он говорил то, что думал. Лицо его вдруг исказилось от ощущения неудачи, от стыда. — Мой юный герой — бревно, самодовольный болван, завистник, настоящий Дедал — таким я сам изобразил себя в своей книге. И в этом ее слабость. Ну да, я знаю, в книге полно автобиографического, и тех мест, где правда, я не стыжусь, но конек, которого я оседлал, оказался слабоват. Это не настоящая автобиография, теперь-то я это понимаю. И понимаю, почему потерпел неудачу. Потому что ездки не тот. Вот в чем мой промах. Вот тут-то и сказывается все, что я накрутил насчет молодого гения, молодого художника, насчет роли раненого фавна, как ты выразился.

Накрутил — и от этого исказился угол зрения. В узких рамках, в самых разных поворотах я вижу остро, тонко, пронизательно, в точности улавливаю каждую мелочь на манер Джойса, а вот когда беру шире, картина получается фальшивая, манерная, неистинная. А решает все как раз способность видеть шире.

Он и в самом деле так думал, и это его сокрушило. Рэнди понимал, как он страдает. Но сейчас он, видно, опять ударился в крайности, и опять ему лихо. Если подходить с такой высокой мерой, то все на свете неудачники. И Рэнди сказал:

— Но разве есть на свете совершенство? Кто его достиг, скажи на милость?

— Да очень многие! — нетерпеливо возразил Джордж. — Толстой в «Войне и мире». Шекспир в «Короле Лире». Марк Твен в первой части «Жизни на Миссисипи». То есть, разумеется, совершенства и они не достигли, это никому не удастся. Но они промахнулись, стреляя в правильном направлении: они выстрелили чуть дальше, но их не калечило тщеславие, не сковывала проклятая застенчивость. Вот что ведет к неудаче. Вот на чем я споткнулся.

— Тогда как же тут помочь?

— Выложиться до самого конца. Ничего не пожалеть. Выдоить из себя все, до последней капли, чтоб ничего не осталось. Уж если становишься одним из героев своей книги, так ни о чем не умалчивай, изволь увидеть и нарисовать себя таким, какой ты есть, — давай все, плохое и хорошее, ложное и истинное, — так же, как ты должен увидеть и изобразить любого другого героя. Долой фальшивую личность и фальшивую гордость, долой мелкие чувства и уязвленное самолюбьишко. Короче говоря, надо убить раненого фавна.

Рэнди кивнул.

— Верно. И как же теперь? Что будет дальше?

— Не знаю, — чистосердечно ответил Джордж. И взгляд у него был растерянный. — Понятия не имею. И не в том дело, что я не знаю, о чем писать. Господи! — Он вдруг рассмеялся. — А ведь есть такие — одну книгу напишут, а на вторую их уже не хватает — больше им сказать нечего!

— Тебя это не волнует?

— Вот уж нет! Меня тревожит совсем обратное! У меня слишком много материала. Он наступает со всех сторон. — Джордж обвел рукой громоздящиеся по всей комнате кипы рукописей, казалось, они вот-вот рухнут. — Иной раз я думаю, что же мне, черт возьми, делать со всем этим, какую подобрать раму, какую придать форму, какой выбрать путь, в какое направить русло. — Он сильно стукнул кулаком по колену, и в голосе его зазвучало отчаяние. — Иногда мне и вправду кажется, человек перестает писать, потому что его захлестывают всяческие эмоции.

— Значит, ты не боишься иссякнуть?

Джордж громко рассмеялся.

— Иногда мне этого даже хочется, — сказал он. — Как подумаешь, что в один прекрасный день, может, после сорока, я исчерпаю себя и стану наподобие верблюда жить за счет собственного горба, на душе сразу вроде спокойнее. Да нет, на самом деле, я, конечно, так не думаю. Исчерпать себя — это худо... это как смерть... Нет, я беспокоюсь о другом. Мне надо найти свой путь. — Он помолчал, пристально глядя на Рэнди, опять ударил кулаком по коленке и воскликнул: — Форму! Форму! Понимаешь?

— Да, — ответил Рэнди. — Кажется, понимаю. А как ты ее найдешь?

Лицо у Джорджа было недоуменное. Он помолчал, подыскивая слова.

— Я ищу форму, — сказал он наконец. — По-моему, что-то вроде этого люди понимают под вымыслом. Пожалуй, что-то вроде легенды. Своего рода предание, что ли... сотканное из всего, что я знаю, из всего, что видел. Понимаешь, не подлинные события, не просто рассказ о моей жизни, но что-то более подлинное, чем сами события, выжимка моего жизненного опыта, заключенная в такую форму, чтобы каждый мог приложить ее к себе. Таковы лучшие вымыслы, согласен?

Рэнди улыбнулся и ободряюще кивнул. Джордж молодчина. О нем можно не

беспокоиться. Он выберется из трясины. И Рэнди весело сказал:

— А новую книгу ты уже начал?

Джордж снова заговорил торопливо, сбивчиво, и глаза опять стали беспокойные.

— Да, я уже много написал, — сказал он. — Вот видишь гроссбухи (на столе высилась кипа потрепанных гроссбухов) и вон рукописи (он обвел руками комнату), — это все новое. Я написал, наверно, полмиллиона слов, а то и больше.

И тут Рэнди сделал промах, который в простоте душевной так часто делают обыкновенные смертные, разговаривая с писателями.

— А о чем она? — спросил он.

Джордж смерил его злым взглядом. И не ответил. Все еще накаленный, думая о своем, он зашагал из угла в угол. Наконец остановился у стола, поглядел Рэнди в глаза и с той прямоотой, что всегда в нем так подкупала, выпалил:

— Нет, новую книгу я еще не начал!.. Тысячи слов... — Он хлопнул ладонью по обтрепанным гроссбухам. — Сотни идей, десятки эпизодов, кусков, обрывков... но это не книга!.. А ведь время идет! — Тревожные морщины вокруг глаз врезались глубже. — С тех пор, как вышла та книга, прошло уже почти пять месяцев, а у меня вон что творится. — С досадой и яростью он раскинул руки, показывая на весь этот застарелый, невообразимый хаос. — Время уходит, а я и опомниться не успеваю! Время! — воскликнул он, ударил кулаком по ладони и горящим отрешенным взглядом уставился в пространство, словно перед ним возник призрак. — Время!

Время было ему врагом. А быть может, другом. Трудно сказать наверняка.

Рэнди пробыл в Нью-Йорке несколько дней, и друзья разговаривали дни и ночи напролет. Они говорили обо всем, что приходило в голову. Вот Джордж, по обыкновению, беспокойно мерит комнату шагами, говорит сам или слушает Рэнди — и вдруг остановится у стола, нахмурится, оглядит комнату, словно попал сюда впервые, хлопнет ладонью по кипе рукописей и прогудит:

— Знаешь, почему я все это понаписал? Сейчас объясню. Потому что я до черта ленив!

— Ну, по этой комнате не скажешь, что тут живет лентяй, — смеется Рэнди.

— А вот представь, — сказал Джордж. — Оттого-то она так и выглядит. Знаешь... — лицо у него стало задумчивое, — по-моему, в нашем мире прорву работы выполняют лентяи. Они оттого и работают, что так ленивы.

— Что-то я не пойму, — сказал Рэнди. — Но ты говори... выкладывай...

— Ладно, слушай, — вполне серьезно продолжал Джордж. — Работаешь, потому что боишься не работать. Работаешь, потому что должен черт-те как разъяриться, чтобы начать. Это самое трудное. Начать до того трудно, что, уж когда начал, боишься остановиться. Готов на что угодно, только бы не проходить опять через эту муку... ну, и знай работаешь, гонишь быстрее и быстрее... Уже и захотел бы остановиться, так не смог бы. Забываешь поесть, побриться, надеть чистую рубашку, если она у тебя есть. Про сон и то забываешь, а захочешь уснуть — не можешь... лавина сдвинулась, ее уже не остановишь ни днем, ни ночью. А люди говорят: «Почему бы вам разок-другой не сделать перерыв? Почему изредка не выкинуть работу из головы? Почему не передохнуть денек-другой?» А ты просто не можешь... не можешь остановиться... а и мог бы, так побоялся — вдруг придется снова пройти через весь этот ад, когда захочешь продолжать. Говорят, ты жаден до работы, а дело вовсе не в том. Это просто-напросто лень, самая обыкновенная лень, и черт бы ее подрал.

Рэнди опять засмеялся. Не мог не рассмеяться — это так похоже на Джорджа, кто еще способен заявить такое? И забавней всего, что смешную сторону своих теорий Джордж тоже понимает, однако же говорит до отчаяния серьезно. Рэнди представлял, как недели, месяцы мрачных раздумий привели Джорджа к этому поразительному умозаключению, и теперь он точно кит, который долго пробыл под водой и вынырнул, чтобы излиться и перевести дух.

— Что ж, я понимаю, — сказал Рэнди. — Может, ты и прав. Но это, по крайней мере,

совсем особенная лень.

— Нет, — возразил Джордж, — а по-моему, это очень естественно. Возьми, к примеру, всех этих типов, про которых мы читаем, — увлеченно продолжал он. — Наполеон... и... и Бальзак... и Томас Эдисон!.. — с торжеством выпалил он. — Все они спят зараз час-два, не больше, и день и ночь на ногах... думаешь, потому, что они так уж любят работать? Да ничего подобного! На самом-то деле они ленивые... они просто боятся не работать, потому что и сами знают про свою лень! Вот честное слово! — в восторге продолжал он. — Все они были такие! Возьми хоть старика Эдисона, — с презрением сказал он. — Прикидывался, будто потому работает круглые сутки, что страх как любит работать!

— А ты не веришь?

— Черта с два я в это поверю. — И Джордж презрительно фыркнул. — Спорим на что угодно, если б узнать, что этот Эдисон на самом деле думал, сразу бы выяснилось, что он бы рад каждый день валяться в постели до двух часов дня! А потом встать и почесываться! А потом еще полежать на солнышке. И поторчать с приятелями возле захолустной лавчонки, поболтать о политике и о том, кто осенью станет чемпионом по бейсболу!

— А почему же он не живет, как хочется, что ему мешает?

— Как что, — нетерпеливо воскликнул Джордж, — лень! Только лень. Он боится дать себе волю, потому что сам знает, до чего ленив! И ему стыдно такой жуткой лени, и он боится, как бы про это не пронюхали! В этом вся соль.

— Ну, это уже другая песня! А отчего ему стыдно?

— Оттого что всякий раз, как придет охота поваляться в постели до двух часов дня, он слышит голос своего старика, — серьезно сказал Джордж.

— Старика?

— Ну да. Родителя. — Джордж энергично кивнул.

— Но ведь отец Эдисона давным-давно умер?

— Ну да... но это не важно. Все равно он его слышит. Только повернется на бок, чтоб соснуть лишний часок-другой, и сразу слышит, родитель стоит внизу у лестницы и кричит: вставай, мол, никудашник, я, мол, в твои годы был бедняк, сирота несчастный, так я об эту пору, бывало, уже четыре часа как на ногах и все дела переделал!

— Вон что, а я и не знал. Отец Эдисона был сирота?

— Ну, ясно... все они сироты, когда орут на тебя с утра пораньше. И в школу-то они ходили за шесть миль, не меньше, и всегда босиком, и всегда валил снег. О, господи! — Джордж вдруг рассмеялся. — Все папаши ходили в школу будто на Северном полюсе, не иначе. Все до единого. Потому и вскакиваешь спозаранку, потому не даешь себе роздыха: подругому-то жить боишься, страх берет, потому что в тебе говорит проклятая кровь Джойнеров... Ну и вот, боюсь, так оно и будет до конца дней моих. По субботам, когда я вижу, как «Иль де Франс», или «Аквитания», или «Беренгария» бросают якорь и разворачиваются, когда вижу скошенные назад трубы и белую грудь быстроходных океанских пароходов, и у меня перехватывает дыхание, и я вдруг слышу пение сирен, — я тотчас же слышу и голос своего родителя: он кричит мне из далекого далека, кричит, что я бездельник и никудашник. И только я размечтаюсь о тропических островах, о том, как своей рукой срываю плод хлебного дерева или как разлягусь под пальмой на Самоа и меня будет обмахивать листом тамошняя красотка, на которой только и надето что наимоднейшее ожерелье, — я тотчас слышу голос родителя. Только размечтаюсь, что кейфую в сказочной Фландрии, вокруг бегают жареные поросята, а рядом бочка и из крана прямо в рот льется пиво, — тотчас же слышу голос родителя. Вот так-то совесть и делает всех нас трусами. Я ленив, но всякий раз, как я поддаюсь своему низменному «я», родитель кричит на меня, стоя внизу у лестницы.

Джорджу было над чем ломать голову — и он только о своих затруднениях и говорил, а Рэнди слушал внимательно и все понимал. Но однажды, к концу его пребывания в Нью-Йорке, Джордж вдруг спохватился, — как же это Рэнди так надолго оставил свою работу? И он

спросил Рэнди, как ему это удалось.

— А у меня нет работы, — тихо, с обычным смущенным смешком ответил Рэнди. — Меня выгнали.

— Ты хочешь сказать, этот мерзавец Меррит... — вспыхнул Джордж.

— Ох, да он не виноват, — прервал Рэнди. — Он просто не мог иначе. На него нажимали те, кто над ним, вот ему и пришлось меня выгнать. Он сказал, я не делаю дело, и это верно, дела у меня не идут. Но только Компания не понимает, что они теперь ни у кого не пойдут. Вот уже примерно с год все застыло на мертвой точке. Ты же видел, что творилось в городе, когда приезжал. Как только у человека заводился лишний грош, он тут же пускал его в земельные спекуляции. Больше ни о каких делах и речи не было. А теперь, после краха банка, с этим, понятно, тоже покончено.

— Ты хочешь сказать, — медленно, отдельно произнес Джордж, — ты хочешь сказать, что Меррит воспользовался случаем и выгнал тебя в шею? Ах, он подлая...

— Да, — сказал Рэнди, — меня уволили через неделю после краха банка. Уж не знаю, может, Меррит решил, что это самое подходящее время от меня отделаться, а может, просто так совпало. Но какая разница? Я давно знал, что этого не миновать. Уже целый год, а то и больше, я этого ждал. Понимал, все равно уволят, не нынче, так завтра. И поверь, — с силой, тихо, отдельно сказал он, — это была пытка. Со дня на день я ждал этого и боялся, холодел от ужаса и знал, не миновать и никак мне эту беду не отвести. Но вот ведь забавно — теперь, когда меня уже выставили, мне полегчало. — Он улыбнулся своей прежней ясной улыбкой. — Да, правда. У меня никогда не хватило бы смелости уйти самому, я ведь недурно зарабатывал, а вот теперь, когда все кончено, я рад. Я уже забыл, что это значит — быть свободным человеком. Теперь я могу высоко держать голову, могу всем смотреть прямо в глаза, даже нашего Великого Человека, самого Поула С.Эплтона могу послать к черту. И это очень приятно.

— Но что же ты теперь будешь делать, Рэнди? — с тревогой спросил Джордж.

— Не знаю, — весело ответил Рэнди. — У меня пока нет никаких планов. Все годы, пока я служил в Компании, я жил в достатке, но ухитрился кое-что и отложить. К счастью, я не поместил свои деньги в Коммерческий банк и не пускался в земельные спекуляции, так что они пока при мне. И старый родительский дом тоже мой. На время нам с Маргарет вполне хватит. Конечно, другую работу, где бы так хорошо платили, найти не просто, но страна у нас большая, для хорошего человека место всегда найдется. Ты когда-нибудь слышал, чтоб хороший человек не мог найти работу? — спросил он.

— Ну, это как сказать. — Джордж с сомнением покачал головой. — Возможно, я ошибаюсь, — продолжал он, помолчав и задумчиво хмурясь, — но, по-моему, банк в Либияхилле не сам по себе прекратил платежи, это как-то связано с крахом на бирже. Я начинаю думать, что надвигаются какие-то события, что-то новое надвигается, и, пожалуй, будет так худо, как в Америке еще не бывало. Газеты начинают относиться к этому очень серьезно. Они называют это застоем. И, похоже, все в страхе.

— А, ерунда, — со смехом отмахнулся Рэнди. — У тебя в самом деле подавленное настроение. Но это оттого, что ты живешь в Нью-Йорке. У вас тут на первом месте биржа. Когда акции стоят высоко, все прекрасно, а упадут — и все плохо. Но Нью-Йорк это еще не Америка.

— Знаю, — сказал Джордж. — Но я думаю не о бирже, я думаю об Америке... Иногда мне кажется, что Америка сбилась с пути, — продолжал он медленно, точно двигался ощупью во тьме по незнакомой дороге. — Может, это случилось еще в пору Гражданской войны или вскоре после нее. Вместо того чтобы идти вперед и развиваться в том направлении, как начала, она свернула в сторону... а теперь мы оглядываемся и видим, что нас занесло туда, куда мы и не думали попасть. Мы вдруг поняли — Америка обратилась во что-то безобразное... ужасное... ее мощь подтачивают изнутри глубоко вьевшиеся пороки: легкие деньги, взяточничество, неравенство и несправедливость... И, что хуже всего, вся эта продажность растлила умы и совесть. Люди попросту боятся думать честно, боятся понять самих себя,

боятся смотреть правде в глаза. Мы превратились в страну рекламы, мы прячемся за громкими словами «процветание», «здоровый индивидуализм», «американский образ жизни». И такие важнейшие истины, как свобода, равные возможности для всех, неподкупность, достоинство личности — истины, которые с самого начала были неотъемлемой частью американской мечты, — они ведь тоже превратились в пустые слова. Они утратили смысл, перестали быть истинами... Взять хотя бы тебя. Ты говоришь, потерял работу — и наконец-то почувствовал себя свободным. Я тебе верю, но ведь это очень странная свобода. Насколько ты, в сущности, свободен?

— Мне этого хватает, — с жаром ответил Рэнди. — И, хочешь верь, хочешь нет, я никогда еще не чувствовал себя свободней. Мне хватает свободы, чтобы не спешить и оглядеться прежде, чем впрячься снова. Прежняя упряжка мне не по вкусу. Не пропаду, выкручусь, — безмятежно сказал он.

— А каким образом? — спросил Джордж. — В Либия-хилле тебе ничего не найти, там ведь сейчас все развалилось.

— Будто на Либия-хилле свет клином сошелся! — возразил Рэнди. — Возьму и уеду куда глаза глядят. Не забудь, я всю жизнь был коммивояжером, я привык ездить. И в нашем деле у меня есть друзья, хоть и не по части недвижимости, они мне помогут. В нашей профессии что хорошо — если умеешь продавать что-то одно, так сумеешь продать все, что угодно, сменить товар не велика хитрость. Я не пропаду, — уверенно заключил он. — Ты обо мне не беспокойся.

Больше они об этом почти не говорили. И, прощаясь на вокзале, Рэнди сказал:

— Ну, до свиданья, дружище. У тебя-то наверняка все будет хорошо. Только не забудь прикончить раненого фавна! А что до меня, я пока не знаю, куда двинусь, но я готов в путь!

С этими словами он сел в поезд и уехал.

Но Джордж был не слишком спокоен за Рэнди. И чем больше о нем думал, тем тревожней ему становилось. Случившееся не пришибло Рэнди, и это хорошо, но было в его поведении, в этом его веселом бодрячестве перед лицом несчастья, что-то неестественное.

У Рэнди на редкость ясная голова, он умница, каких мало. Джордж таких больше не встречал, а сейчас он словно закрыл наглухо какой-то отсек своего мозга. Просто непостижимо.

В делах людей, как в море, есть приливы и отливы, размышлял Джордж. В свой черед наступает такая полоса — и тут уж ничего не поделаешь.

Вероятно, в этом вся суть. Похоже, и его, Рэнди, захватило отливом, а сам он этого не понимает. Да, вот что непостижимо: кто-кто, а Рэнди должен бы это понять, но он явно не понимает.

Еще он говорил, что не желает связываться с фирмой вроде прежней. Неужели он думает, что тот страшный гнет, какой он испытывал, давит только служащих его прежней Компании, а в других таких компаниях все по-другому? Неужели воображает, что можно этого избежать, просто сменив работу? Неужели надеется, что на новом месте перед ним откроются все те блестящие возможности, о которых он мечтал смышленным и честолубивым юнцом — завидные доходы и роскошная жизнь, много лучше той, которая стала уделом большинства, — и что за это не придется платить никакой другой ценой?

«Чего ты желаешь? — промолвил господь, — плати и бери», — писал Эмерсон в своем замечательном эссе «Вознаграждение», которое следовало бы сделать обязательным чтением для каждого американца... Что ж, это справедливо. За все приходится платить...

Боже милостивый! Неужели Рэнди не понимает, что домой возврата нет?

Следующие несколько лет были тяжкими годами для всей Америки, и особенно тяжки они оказались для Рэнди Шеппертона.

Другой работы он не нашел. Куда он только не кидался, и все напрасно. Работы просто не было, — никакой. Повсюду тысячи людей оставались за бортом, и новых нигде не брали.

Через полтора года сбережения Рэнди кончились, и его охватило отчаяние. Пришлось продать старый родительский дом, и дали за него сущие гроши. Рэнди с Маргарет сняли небольшую квартирку и, старательно экономя, протянули еще около года. Но вот и эти гроши кончились. Рэнди дошел до крайности. Он заболел, и то была болезнь скорее не плоти, но духа. Когда им не оставалось уже ничего другого, они с Маргарет уехала из Либия-хилла и поселились у старшей сестры, в семье ее мужа, на хлебниками добрых, но чужих людей.

В конце концов Рэнди — проницательный умница Рэнди, Рэнди — стреляный воробей, который всегда считал себя правдолюбом и всех и вся видел насквозь, — этот самый Рэнди стал жить на пособие по безработице.

К тому времени Джорджу казалось, что он уже разобрался в происходящем. За трагедией Рэнди ему виделся переодетый коммивояжер, некий дьявол-искуситель в обличье весьма толкового и внушающего доверие молодого человека, от него так и веет уверенностью, и он провозглашает «Верую», когда никакой веры нет. Да, умение показать товар лицом сделало свое дело чересчур хорошо. Умение показать товар лицом — не что иное, как торговая марка предвзятости, преданный слуга своекорыстия, заклятый враг правды. Ведь вот как Рэнди отлично разобрался в далеких от него сложностях, которые мучили его, Джорджа, увидел их со стороны ясно и отчетливо — потому что глаза ему не застилала тень своекорыстия, личной заинтересованности. Он мог спасти других, но не себя, потому что правды о себе уже не видел.

И Джорджу казалось — в трагедии Рэнди, как в капле воды, отразилась трагедия Америки. Такова она, Америка, — великолепная, непревзойденная, несравненная, непобедимая, неколебимая, сверхисполин со здоровым румянцем, самая что ни на есть Американская Америка на девяносто девять и сорок четыре сотых процента, единственная и неподражаемая, другой такой нет на свете, товар нарасхват, самый первый сорт, вам всякий скажет, голубая мечта, страна рекламы, умения показать товар лицом, страна предвзятости во всех ее хитроумных и оболъстительных формах.

Разве истинные правители Америки — дельцы и коммерсанты — не ошиблись с самого начала насчет депрессии? Разве не отмахивались от нее, не старались отделаться от нее пустыми словами, не желая взглянуть ей прямо в лицо? Разве не твердили, что процветание — вот оно, за углом, когда так называемое «процветание» давно уже кончилось и тот угол, за которым оно будто бы ждало, приплюснулся, согнулся в дугу нужды, голода и отчаяния?

Что ж, насчет раненого фавна Рэнди был прав. Ибо теперь Джордж понял — когда сам он горько жаловался на судьбу и жалел себя, в нем говорило изощренное себялюбие, оно становилось между ним и правдой, к которой он стремится как писатель. Но Рэнди не знал, что и в коммерции тоже есть раненые фавны. И, похоже, они из той породы, которую не так-то легко прикончить. Ведь бизнес — самая изощренная форма себялюбия: своекорыстие в чистом виде. Убей его правдой, и что тогда останется?

Быть может, какой-то лучший образ жизни, но он уже не будет основан на бизнесе в том виде, как мы его знаем.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ «В ПОИСКАХ ПРЕКРАСНОЙ МЕДУЗЫ»

Джордж послушался совета Рэнди и съехал со старой квартиры. Он и сам не знал, куда податься. Ему хотелось только одного: оказаться подальше, от Парк-авеню, от эстетских джунглей, охотников за знаменитостями, от призрачной жизни богатых и светских господ, которые, точно паразиты, расплодились на здоровом теле Америки. И он поселился в Бруклине.

Книга дала ему кое-какие деньги, так что он расплатился с долгами и ушел из Школы

прикладного искусства, где до сих пор преподавал. И теперь он жил лишь на тот случайный заработок, который приносило его перо.

Четыре года прожил он в Бруклине, а четыре года в Бруклине — это геологическая эпоха, единый беспросветный пласт. То были годы нищеты, отчаяния, безмерного одиночества. Его окружали нищие, отверженные, заброшенные и покинутые люди, и он был один из них. Но жизнь сильна, и год за годом она шла вокруг него во всей своей многообразной сложности, богатая незаметными и никуда не вписанными малыми событиями. Он все это видел, все жадно впитывал, копил жизненный опыт, многое записывал и выжимал досуха, пытаясь извлечь из каждой мелочи скрытый смысл.

Что же творилось у него в душе в эти беспросветные годы? К чему он стремился, что делал, чего хотел?

Ответить на эти вопросы нелегко, потому что хотел он очень многого, но больше всего жаждал Славы. То были годы упорных поисков этой прекрасной Медузы. Он уже отведал ее плодов, и от них во рту остался привкус горечи. Ему казалось, вся беда в том, что он ее еще не стоит — и он в самом деле ее не стоил. И потому он решил, что то была вовсе не Слава, а лишь дурная сенсация. Вокруг него пошумели — и забыли.

Что ж, с тех пор, как он написал первую книгу, он кое-чему научился. Он попробует еще раз.

Так он жил и писал, писал и жил, жил в Бруклине один как перст. И, проработав много часов подряд, забывая о еде, о сне, обо всем на свете, он наконец вставал из-за стола, — его шатало от усталости, нетвердой походкой пьяницы он выходил на ночную улицу. Ужинал в какой-нибудь забегаловке, потом, зная, что сумятица в мыслях все равно не даст уснуть, шел к Бруклинскому мосту, по нему — в Манхэттен и рыскал по городу, пытался проникнуть в душу его, в самые потаенные ее закоулки, а на рассвете снова брел по мосту обратно в Бруклин и валился без сил в постель.

И во время этих еженощных блужданий былые отреченья забывались, бывшая верность все была верна. Как-то так получалось, словно он, мертвец, восставал из мертвых, потерявший себя — вновь себя обретал, словно он — он, который в краткий миг известности продал свой талант, страсть, юношескую веру и обратился в ходячий труп, развращенный сердцем и во всем изверившийся, — вновь, с кровью, в одиночестве и тьме возвращал себе живую жизнь. И в эти ночные часы он чувствовал, что для него все в мире снова станет прежним, и снова, как когда-то, маячил перед его взором призрак сияющего города. Широко раскинувшийся, сверкающий ярусами бесчисленных ярких огней, город неизменно блистал у него перед глазами, когда он шел по мосту, и высокие волны бились о его берега, и плыли огромные пароходы. Вот почему он возвращался опять и опять.

А бок о бок с ним шел непреклонный друг, единственный, кому он открыл самое заветное свое желание. Одиночеству прошептал он:

«Славы!»

И Одиночество ответило.

«Ладно, брат, поживем — увидим».

27. У саранчи нет царя

Трагический вечерний свет падает на гигантские угрюмые джунгли Южного Бруклина. Он падает на одутловатые серые лица людей с безжизненным взглядом, которые в этот печальный тихий час смотрят в окна, облокотись на подоконники, и нет в этом свете ни яркости, ни тепла.

Если в этот час пройти по узкой улице, меж ветхими убогими домами, под взглядами всех этих людей, которые, скинув пиджаки, спокойно глядят из открытых окон, свернуть в проулок, прошагать по узенькой, в выбоинах, полоске асфальта, протянувшейся вдоль него до самого последнего ветхого дома, подняться по истертым ступеням крыльца, костяшками пальцев громко постучать в парадную дверь (звонок не работает), терпеливо подождать, пока

кто-нибудь отворит дверь, и спросить, здесь ли проживает мистер Джордж Уэббер, — вам скажут: конечно, проживает, войдите, мол, спуститесь в подвал, постучите в дверь справа, он, наверно, дома. И вот вы спускаетесь по лестнице в сырой, мрачный подвал, пробираетесь меж пыльных старых ящиков, ветхой ненужной мебели и прочего хлама, сваленного в коридоре, стучите в указанную вам дверь — и ее отворяет мистер Уэббер собственной персоной, вводит вас прямо в свою комнату, в свой дом, в свою крепость.

Пожалуй, комната эта покажется вам скорее темницей, а не жилищем, где можно поселиться по доброй воле. Она длинная и узкая, вытянулась параллельно коридору во всю его длину, и дневной свет проникает в нее лишь через два оконца, расположенные высоко друг против друга, в противоположных ее концах, причем оба они забраны толстыми железными прутьями, вделанными кем-то из прежних владельцев дома, чтоб не забрались южнобруклинские головорезы.

Обставлена комната вполне терпимо, но без излишеств, чтобы не утратилась некая деловая, спартанская простота. В глубине железная кровать с просевшими пружинами, дряхлый комод и над ним треснувшее зеркало, кроме того, два кухонных стула, дорожный сундук и несколько старых, выдавших виды чемоданов. В передней половине, под тусклым светом электрической лампочки, свисающей на шнуре с потолка, стоит большой письменный стол, он весь исцарапан, разбит, почти все ящики — без ручек, перед ним старый, темного дерева стул с прямой спинкой. В средней части комнаты, соединяя обе ее половины в нечто эстетически цельное, вытянулись вдоль стен старый раздвижной обеденный стол (темно-зеленая краска, которой он был выкрашен, основательно облупилась, и из-под нее повсюду проглядывает нежный румянец давно забытой юности), ряд некрашенных книжных полок и два больших упаковочных ящика, их толстые крышки сняты и открывают взору кипы гротескных и рукописей на белой и желтоватой бумаге. Письменный стол, обеденный, книжные полки, весь пол — все в комнате, точно опавшими листьями в осеннем лесу, засыпано ворохами исписанных листков, и всюду громоздятся книги, они стоят неровными рядами или навалены друг на друга, так что, кажется, вот-вот обрушатся.

Этот мрачный погреб — жилище и рабочий кабинет Джорджа Уэббера. Зимой стены его, уходящие на четыре фута под землю, постоянно покрыты холодным потом. А летом потеет сам Джордж.

Соседи его, скажет он вам, по большей части армяне, итальянцы, испанцы, ирландцы и евреи — одним словом, американцы. Они населяют все лачуги, многоквартирные дома и домишки всех обшарпанных, угрюмых улиц и закоулков Южного Бруклина.

А чем это здесь пахнет?

Пахнет?.. Видите ли, тут поблизости расположена некая общественная собственность, которой он пользуется вместе с соседями; она принадлежит им всем вместе, и от нее Южный Бруклин обретает весьма своеобразный дух. Это старый Гоуанас-канал, и аромат, о котором вы говорите, всего лишь могучая симфония зловонных испарений, исходящих от искусного сочетания несчетных разновидностей всевозможной гнили. Подчас даже любопытно разобраться, что же входит в этот букет. Тут не только пронзительная вонь застоявшихся сточных вод, но и едкие запахи растопленного клея, горелой резины, тлеющих лохмотьев, благоухание давно подошедшей клячи и душок гниющей требухи, благовония покойных разлагающихся кошек, залежавшихся помидоров, гнилой капусты и доисторических яиц.

И как же он это переносит?

Что ж, можно привыкнуть. Ко всему привыкаешь, как все здесь привыкли. Они и не думают об этом смраде, никогда о нем не говорят, а если б переехали, наверно, им бы даже не доставало его.

Вот сюда-то и прибило Джорджа, и в угрюмом упрямстве, сдобренном толикой отчаяния, он забился в эту дыру. И вы будете недалеко от истины, если предположите, что забрался он сюда умышленно, ибо решил отыскать самое что ни на есть заброшенное, богом забытое убежище.

Мистер Марпл, живущий на первом этаже, с бутылкой в руках, спотыкаясь, спускается по полутемной лестнице в подвал и стучится в дверь Джорджа Уэббера.

— Войдите!

Мистер Марпл входит, представляется, ставит, как положено, бутылку на стол и заводит разговор.

— Ну что, мистер Уэббер, понравилось вам, как я смешал питье?

— Да-да, понравилось.

— А то, может, нет, так вы говорите, не стесняйтесь.

— Да-да, я бы так и сказал.

— Я, понимаете, хочу знать. Ежели что, я не обижусь. Я, понимаете, смешал все сам, заполучил один такой рецептик... контрабандное пойло я б покупать не стал... нет, с этими подлецами дела не имею. Спиртное для этого питья я покупал у верного человека, мне лишь бы чего не надо... вы меня понимаете?

— Ну конечно.

— А только надо бы мне знать, как вам понравилось, ежели что, я не обижусь.

— Отличное питье, лучше некуда.

— Это я рад, а может, я вам помешал?

— Нет-нет, что вы.

— А то я иду домой, вижу, у вас в окошке свет, ну и говорю себе — как бы этот малый не подумал, будто я нахал какой, вваливаюсь без приглашенья, а все ж надо зайти, познакомлюсь, спрошу, может, хочет хлебнуть винца.

— Я рад, что вы зашли.

— А ежели я помешал, вы так прямо и скажите.

— Да нет, нисколько.

— Потому, такой уж я человек. Натурой человеческой интересуюсь... психологию разных людей изучаю... погляжу в лицо — и сразу вижу человека... это я всегда умел... потому, верно, и пошел по страховой части. Так что, когда кто меня заинтересует, я всегда хочу познакомиться, поглядеть, как он относится к тому-сему. Так что увидел свет у вас в окошке и говорю себе: он, конечно, может послать меня к черту, а все ж спрос не беда.

— Я рад, что вы зашли.

— Так вот, мистер Уэббер, сдается мне, я здорово разбираюсь в людях...

— Это сразу видно.

— ...ну вот, глядел, значит, я на вас и разобрался. Вы ничего этого не знаете, сидите, а я все гляжу и думаю, потому как я интересуюсь натурой человеческой, мистер Уэббер, и на службе мне каждый день надо разбираться и оценивать людей всякого рода и звания... понимаете... я ведь по страховой части. И вот охота мне задать вам вопрос. Только, ежели, по-вашему, он уж очень личный, вы так прямо и скажите, а ежели вы не против ответить, тогда я спрошу.

— Я не против. А что за вопрос?

— Вот какое дело, мистер Уэббер, у меня уже есть свое мнение, но я все равно вас спрошу, хочу поглядеть, прав я или нет. Так я вот что хочу спросить... и ежели не хотите отвечать, так не отвечайте... По какой вы части?.. Какое ваше занятие? А ежели это уж очень личный вопрос, так вы не отвечайте.

— Отчего же? Я писатель.

— Кто-кто?

— Писатель. Одну книгу я уже написал. А теперь пробую написать другую.

— Ну вот, вы, может, удивитесь, а только я так и рассудил. Я сказал себе — этот малый, он умственным делом занимается, в его деле голова нужна. Он писатель, или газетчик, или рекламой занимается. Я, понимаете ли, всегда здорово разобрался в человеческой натуре... что-что, а это по моей части.

— Да, понимаю.

— И вот что еще я вам скажу, мистер Уэббер. Вы для этого дела прямо созданы, прямо рождены для него, прямо с младых ногтей к нему шли... верно я говорю или нет?

— Пожалуй, верно.

— Стало быть, вас ждет большой успех. Пишите, мистер Уэббер, не бросайте. Я здорово разбираюсь в человеческой натуре, я уж знаю, что говорю. Держитесь за то, к чему всю жизнь шли, и вы своего добьетесь. Иной человек никак себя не найдет. Никак не поймет, чего хочет. Вот в чем у таких беда. Я — другое дело. Я себя нашел только уже взрослым. Вот я вам скажу, мистер Уэббер, кем я хотел стать, когда был мальчишкой, так вас смех разберет.

— Кем же это, мистер Марпл?

— Да понимаете, мистер Уэббер... это ж смех... вы не поверите... но почти до двадцати лет, я уж совсем был взрослый, мне до смерти хотелось стать машинистом. Кроме шуток. Я на этом прямо помешался. И у меня хватило бы ума наняться на железную дорогу, да только мой папаша тряхнул меня за шиворот и сказал, чтоб я выбросил эту дурь из головы. Знаете, я ведь родом из Новой Англии... по моему выговору этого теперь не видно, уж очень я давно здесь, в Бруклине... а вырос-то я там. Папаша мой был водопроводчик в Огасте, штат Мэн. И я когда ему сказал, что хочу пойти в паровозные машинисты, он задал мне хорошую взбучку и велел не валять дурака. «Я, говорит, в школу тебя посылал, ты учился в десять раз больше моего, а теперь вздумал в чумазые податься. Не бывать этому, — говорит мой папаша, — хоть ты один в нашем семействе станешь возвращаться вечером с работы с чистыми руками и в белом воротничке. Так что, черт тебя возьми, поди поищи работу в приличном месте, чтоб ты мог продвигаться и чтоб имел дело с ровней». Господи! Мне здорово повезло, что он на этом уперся, не то нипочем бы мне не достичь, чего я достиг. Ну, а в ту пору и зол же я был. И знаете, мистер Уэббер... вы станете смеяться... а только это и посеючас моя слабость. Кроме шуток. Иной раз увижу — огромный паровоз, из нынешних, тащит состав, так у меня по всему телу мурашки, прямо как когда я парнишкой на них глядел. В конторе я нашим рассказал, так все надо мной потешаются, прозвали меня Кэйси Джонсом. Да... Так как, опрокинете еще маленькую на прощанье?

— Спасибо, я бы и не прочь, но лучше воздержусь. Надо еще сегодня поработать.

— Понимаю вас, мистер Уэббер, отлично понимаю. Я с самого начала так об вас и рассудил. Этот малый, думаю, писатель либо еще каким умственным делом занимается, в его деле голова нужна. Верно я говорю?

— Верно, верно.

— Что ж, рад был познакомиться, мистер Уэббер. Не чуждайтесь нас здесь. Иной раз человеку бывает одиноко. Жена моя четыре года как умерла, вот я с тех пор и живу здесь... подумал, вроде одинокому больше места не требуется. Заходите ко мне. У меня интерес к человеческой натуре, люблю потолковать с разными людьми, поглядеть, как они относятся к тому-сему. Так что, ежели захотите поболтать, милости прошу.

— Непременно, непременно.

— Спокойной ночи, мистер Уэббер.

— Спокойной ночи, мистер Марпл.

Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.

По другую сторону подвального коридора, в таком же помещении, как у Джорджа, квартировал старик по фамилии Уэйкфилд. Где-то здесь, в Нью-Йорке, у него был сын, он и платил за отцово жилье, но виделись они редко. Старик Уэйкфилд походил на воробушка — живой, неунывающий, он бойко чирикал, и хотя ему уже подкатывало под девяносто, казалось, всегда был в добром здравии и все еще на редкость бодр и подвижен. Сын оплачивал его жилье, да притом у старика были кое-какие деньги — небольшая пенсия, которой хватало на его скромные нужды; но жил он в полнейшем одиночестве, сын лишь изредка навещал его, обычно по случаю какого-нибудь праздника, остальное же время он сидел совсем один в своем подвале.

Однако он был человек на удивление мужественный и гордый. Он отчаянно жаждал дружеского общения, но скорей бы умер, чем признался, что ему одиноко. До крайности независимый и уязвимый, он при встречах всегда держался бодро и учтиво, однако на приветствия отвечал чуть холодновато и сдержанно, боясь, как бы не подумали, что он стремится навязать знакомство. Но на подлинное дружелюбие никто на свете не мог бы отозваться сердечней и радушней, чем старик Уэйкфилд.

Джордж полюбил старика и охотно с ним беседовал, а тот неизменно приглашал его в свою часть подвала и с гордостью показывал свою комнату, которую, как подобает старому солдату, содержал в строжайшем порядке. Он был ветераном Гражданской войны, и у него полно было книг, газет и старых вырезок о войне и той роли, какую в ней сыграл его полк. Старик Уэйкфилд живо интересовался всем, что происходило вокруг, и, мужественный, неунывающий, не способен был всецело погрузиться в воспоминания о прошлом. И все же Гражданская война оставалась величайшим и главным событием его жизни. Как и многим мужчинам его поколения, северянам и южанам, ему не приходило в голову, что война вовсе не была главным событием в жизни всех остальных. Для него это было так, а потому он верил, что все и всюду тоже по сей день живут войной, думают и говорят только о ней.

Он активно участвовал в деятельности Союза ветеранов великой армии и вечно носился с планами и проектами на следующий год. Ему казалось, что это общество немощных стариков, на рдеющие ряды которых он все еще взирал с гордостью, как сорок или пятьдесят лет назад, — это самая могущественная организация Америки и одного лишь предостережения или сурового упрека с ее стороны довольно, чтобы привести в трепет всех земных властелинов. Стоило при нем упомянуть об Американском легионе — и старик преисполнялся горьким презрением и весь ошетикивался; он все время подозревал Легион в неуважении и всяческих хитростях, говоря о легионерах, петушился и сердито чирикал:

— Это зависть! Самая обыкновенная бесовская зависть, вот что это такое!

— Но почему, мистер Уэйкфилд? Чего ради они станут вам завидовать?

— Потому что мы были настоящие солдаты... вот почему! — сердито чирикал он. — Потому что они знают, что мы разбили этих мятежников конфедератов... да! Еще как разбили... расколошматили в пух и прах! — торжествующе провозглашал он надтреснутым голосом. — А ведь то была всем войнам война!.. Тьфу! — презрительно фыркнул он, горько улыбаясь, вдруг затуманившимся взором глядел в окно, говорил тише: — Да разве эта шушера из Легиона, все эти ничтожества, все эти мелкие жулики знают, что такое война? — Он выплевывал эти слова со злобным удовлетворением, а под конец мстительно хихикал. — Торчат весь день напролет в какой-нибудь старой траншее, носу не высунут, к противнику поближе подойти боятся, — насмеялся он. — Да они и кавалерии-то в глаза не видали! Покажи им хороших конников, так они подумают, что цирк приехал! — Он хихикал. — Война! Да какая у них война! Черта с два, они настоящей войны и не нюхали! — язвительно выкрикнул он. — Вот побывали бы с нами под «Кровавым углом», тогда бы знали, что такое война! Но куда там! — фыркнул он. — Доведись им такое, они бы пустились наутек, как зайцы! Их бы там не удержать, разве что на привязи!

— И по-вашему, они не сумели бы разбить южан, мистер Уэйкфилд?

— Разбить южан? — восклицал старик. — Разбить южан! Что это вы толкуете, юноша?... Черт возьми? Доведись этой шайке только услышать, что Твердокаменный Джексон двинулся в их сторону, они бы мигом кинулись от него врассыпную. Так бы припустились, только пятки бы засверкали! — прокудахтал старик Уэйкфилд. — Тьфу! — опять негромко, презрительно произносил он. — Где им! Кишка тонка!.. Но я вам вот что скажу! — вдруг с жаром восклицал он. — Мы больше не станем с этим мириться! Наши ребята достаточно терпели, больше не хотят. Если они опять попробуют поступить с нами, как в прошлом году... тьфу! — Он умолкал и, покачивая головой, глядел в окно. — Да что говорить, все ясно как божий день! Это зависть... просто самая обыкновенная гнусная зависть... вот что это, такое!

— Вы о чем, мистер Уэйкфилд?

— Да о том, как они обошлись с нами в прошлом году! — восклицал старик. —

Задвинули нас в самый хвост во время этого пар-рада, а полагалось нам идти первыми, это всякий знает! Но мы им покажем! — пригрозил он. — Уж мы их проучим! — Он победоносно встряхивал головой. — Пускай только и в этом году попробуют нам напакостить, я знаю, что мы им поднесем! — воскликнул он.

— Что же вы им поднесете, мистер Уэйкфилд?

— А вот что. Мы не явимся на этот пар-рад! Просто не явимся! Пускай проводят свой проклятый пар-рад без нас! — в восторге чирикал он. — Будет им хороший урок! Да-да! Поверьте, это приведет их в чувство! — кричал он.

— Должно бы, мистер Уэйкфилд.

— Ну как же, — важно говорил старик, — ведь если нас не будет на параде, поднимется волна протестов... да-да, прокатится волна протестов до самой Калифорнии! — убежденно кричал он и широко взмахивал рукой. — Народ этого не потерпит! Этих молодчиков живо осадят!

А когда Джордж уходил, Уэйкфилд обычно провожал его до двери, горячо жал ему руку, и в старческих глазах его была тоска и мольба, когда он говорил на прощанье:

— Заходите, сосед! Я всегда вам рад!.. У меня тут есть всякое... фотографии, книги о той войне... есть такое, чего вы еще не видали. И никто не видал. Такого ни у кого больше нет!.. Только предупредите, когда захотите прийти, и уж я буду на месте.

Медленно ползли годы, а Джордж все жил один в Бруклине. То были тяжкие годы, годы, полные отчаяния, одиночества, годы, когда он писал без конца, пробовал писать так и эдак, на все лады, годы поисков и открытий, годы унылого безвременья, усталости, изнеможения и неверия в собственные силы. Он забрел в непроходимую чащобу и теперь прорубал себе путь в джунглях опыта. Он сбросил с себя все, осталась только грубая реальность — он сам и его работа. Больше у него ничего не было.

Он понимал себя сейчас ясней, чем когда-либо, и, хотя жил отшельником, считал себя уже не какой-то особенной личностью, обреченной существовать отдельно от всех, но человеком, который работает и, как все, неотделим от всего человечества. Он жадно, страстно всматривался в окружающее. Жаждал все увидеть, как оно есть, все объять, что только возможно, — и потом из всего, что узнал и понял, создать плод собственного видения.

Один упрек, высказанный в печати по поводу его первой книги, занозой сидел у него в мыслях. Некий несостоявшийся стихоплет, ставший критиком, просто-напросто зачеркнул его книгу — это, дескать, «вопли дикаря». Уэббер постигает мир не умом, а чувствами, он враг разума, познания и «интеллектуальной точки зрения». Пусть была в этих обвинениях доля истины, все равно, думал Джордж, это всего лишь полуправда, а она хуже прямой неправды. Беда так называемых «интеллектуалов» в том, что они недостаточно интеллектуальны и чаще всего нет у них никакой определенной точки зрения, а так — путаница случайных, смутных, несочетаемых, произвольно надерганных понятий.

«Интеллектуал» и человек мыслящий — отнюдь не одно и то же. Собачий нюх обычно ведет собаку к тому, что она ищет, или уводит от того, чего она старается избежать. Иными словами, ее чутье — это ее чувство реальности. А «интеллектуал» обычно лишен чутья, и у него нет чувства реальности. Ум Уэббера разительно отличался от ума среднего «интеллектуала» прежде всего тем, что Уэббер, точно губка, впитывал жизненный опыт и все, что впитал, пускал в дело. Он поистине непрестанно учился у жизни. Меж тем его знакомые «интеллектуалы», казалось, не учились ничему. Они не способны были что-либо разжевать и переварить. Они не умели размышлять.

Он думал о тех, кого знал сам.

Вот Хэйторп, — в пору, когда Джордж с ним познакомился, он был поклонником позднего барокко в живописи, литературе и прочих искусствах и писал одноактные «костюмные» пьесы — «Гесмондер! Руки твои — бледные чаши жаркого желанья!». Позднее он заделался поклонником примитивизма греков, итальянцев и немцев; потом стал

поклоняться негритянскому культовому искусству — деревянной скульптуре, и песням, и духовным песнопениям, пляскам и прочему; еще позднее — юмору во всех видах: карикатурам, Чаплину и братьям Маркс; потом экспрессионизму; потом святой мессе; потом России и революции; под конец — гомосексуализму; и в довершение всего поклонялся смерти: покончил с собой на кладбище в Коннектикуте.

Вот Коллингсвуд, — только что с институтской скамьи, из Гарварда, поклонник не столько искусства, сколько духа. Сперва, «большевик» с Бикон-хилла, он ударился в беспорядочные любовные связи и групповую любовь, считая это вызовом «буржуазной морали»; потом вернулся в Кембридж, где под руководством Ирвинга Биббита занялся наукой; и вот Коллингсвуд приверженец гуманитарных знаний, злейший враг Руссо, романтизма и России (каковая, по его нынешнему мнению, тот же Руссо, только в современном обличье); затем он драматург и в классическом триединстве греческой драмы изображает Нью-Джерси, Бикон-хилл или Централ-парк; далее он разочарованный реалист — «все, что есть хорошего в современной литературе, можно найти и в рекламе»; затем сценарист, два года в Голливуде — теперь всего превыше кинематограф с его легкими деньгами, легкими любовными связями и пьянством; и, наконец, опять Россия, но уже без былой любви — никаких сексуальных забав, дорогие товарищи, мы служим Делу, живем во имя будущего, наш долг — спартанское воздержание, а то, что десять лет назад считалось свободной жизнью, свободной любовью, просвещенными удовольствиями пролетариата, ныне с презрением отвергается как постыдное распутство «буржуазного декаданса».

Вот Спарджен, знакомый со времен преподавания в Школе прикладного искусства, миляга Спарджен, доктор философии Честер Спарджен — продолжатель «великой традиции», тонкогубый Спарджен, бывший ученик профессора Стюарта Шермана, гордо несущий дальше Факел Учителя. Благородный Спарджен, который писал сладкие льстивые статьи о Торнтоне Уайлдере и его «Мосте»: «Традиция „Моста“ — любовь, так же как любовь — традиция Америки, традиция Демократии». Тем самым, подытоживает Спарджен, Любовь растит Уайлдера, так же как время перекидывает Мост через всю Америку. Где-то он теперь, миляга Спарджен, «интеллектуал» Спарджен, чьи тонкие губы и прищуренные глаза были всегда так бесстрастно суровы, когда дело касалось толкований? Где теперь превосходный интеллект, страстью не воспламененный? Спарджен, обладатель ослепительного ума, чувству неподвластного, ныне — мнящий себя вождем коммунистов-интеллектуалов. (Смотри статью Спарджена в «Нью мэссиз», озаглавленную «Благоглупости мистера Уайлдера».) Итак, здравствуйте, товарищ Спарджен! Здравствуйте, товарищ Спарджен, и с превеликим удовольствием говорю вам — прощайте, мой прозорливейший интеллект!

Что бы ни представлял собою Джордж Уэббер, но уж он-то, во всяком случае, не интеллект, это он знал твердо. Он просто американец, который пытливо всматривается в окружающую жизнь, тщательно разбирается во всем, что когда-либо увидел и узнал, и из этого нагромождения, из опыта всей своей жизни силится извлечь зерно истины, самую ее суть. Но, как он сказал своему другу и редактору Лису Эдвардсу:

— Что есть истина? Не диво, что шутник Пилат отвернулся и умыл руки. Истина — она тысячелика, и если показываешь только один из ее ликов, истина всеобъемлющая исчезает. Но как показать ее всю? Вот в чем вопрос...

Открытие само по себе — это еще не все. Просто понять, что есть что, — это еще не все. Надо вдобавок понять, откуда что едет и какое именно место каждый кирпич занимает в стене.

Он всегда возвращался к этой стене.

— По-моему, дело обстоит так, — говорил он. — Ты видишь стену и до того долго, до того упорно на нее смотришь, что в один прекрасный день начинаешь видеть насквозь. И тогда, конечно, это уже не просто какая-то определенная стена. Это все стены на свете.

Он все еще болел теми вопросами, которые поставила его первая книга. Он все еще искал свой путь. Временами ему казалось, что первая книга ничему его не научила, — даже верить в себя. Глухое отчаяние, сомнение в собственных силах не отпускали его, напротив, захлестывали еще яростней, ведь он уже разорвал едва ли не все узы, какие соединяли его с

людьми и прежде хоть отчасти поддерживали в нем бодрость и веру. Теперь ему оставалось рассчитывать только на себя.

Притом его непрестанно терзало сознание, что надо работать, обратиться наконец к будущему и завершить новую книгу. Сейчас он, как никогда, ощущал неумолимый ход времени. Когда он писал первую книгу, он был незаметен и никому не известен, и это давало ему своего рода силы, ибо никто ничего от него не ждал. А теперь, после выхода книги, он был на виду, словно в луче прожектора, и этот безжалостный луч его угнетал. От него никуда не денешься, и укрыться невозможно. Хотя славы Джордж не добился, но уже стал известен. Его уже попробовали на вкус, на цвет и на запах, о нем уже говорили. И он чувствовал: весь свет не спускает с него придирчивых глаз.

Когда-то, в мечтах, он легко представлял себе длинный, быстро растущий ряд великих произведений, на деле же все оказалось не так просто. Первая книга была плодом не столько труда, сколько потребности высказаться. Это был страстный юношеский вопль, все, что копилось в душе, что он перечувствовал, видел, воображал, раскалилось добела, расплавилось — и вот наконец излилось наружу. Он, что называется, в духовном и эмоциональном смысле опростался. Но это уже позади, нечего и пробовать это повторить. А значит, новую книгу придется долго готовить, создавать в нескончаемых трудах.

Стараясь исследовать свой жизненный опыт, извлечь из него всю истину, самую ее суть, стараясь понять, как же следует о нем написать, Джордж стремился во всех мельчайших подробностях возродить каждую известную ему частицу жизни. Он тратил недели, месяцы, пытаясь в точности воспроизвести на бумаге бесчисленные мелочи, то, что он называл «подлинными красками Америки», — как выглядит вход в метро, рисунок и материал надземного сооружения, вид и ощущение железных перил, тот особенный оттенок рыжевато-зеленого цвета, который видишь в Америке на каждом шагу. Потом он пытался определить словами неуловимый цвет кирпича, из которого сложено множество зданий в Лондоне, и форму английских дверных проемов, балконной двери, описать крыши и трубы Парижа и улицу в Мюнхене — и потом каждую частицу чужой архитектуры пристально разглядывал и сравнивал с ее американскими вариациями.

Так он открывал для себя мир в самом простом, прямом, буквальном смысле слова. Он только еще начинал по-настоящему видеть тысячи предметов и явлений, обнаруживал связи между ними, а подчас — целые сложные системы взаимосвязей и взаимозависимости. Он был точно ученый, занимающийся какой-то новой областью химии, который впервые осознал, что случайно натолкнулся на целый новый мир, и теперь нащупывает отличительные черты, прослеживает связи, определяет очертания скрытой от глаз схемы объединения кристаллов, еще не представляя, какова вся система в целом и к чему в конечном счете он придет.

Так же работала его мысль, когда он непосредственно наблюдал окружающую жизнь. Во время скитаний по ночному Нью-Йорку он видел, как бездомные бродяги рыщут по соседству с ресторанами, поднимают крышки помойных баков и роются в поисках гниющих объедков. Он видел этих людей повсюду и замечал — в тяжкий, отчаянный 1932 год их день ото дня становилось все больше. Он знал, что это за люди, ибо со многими из них разговаривал; знал, кем они были прежде, откуда появились, знал даже, чем надеются они поживиться в помойных баках. Он обнаружил во всех концах города немало мест, где люди эти спали по ночам. Охотней всего они ночевали в подземном переходе метро между Тридцать третьей улицей и Парк-авеню на Манхэттене. Однажды ночью он насчитал там тридцать четыре человека — они лежали вповалку на холодном бетоне, завернувшись в старые газеты.

У него вошло в обычай чуть не каждую ночь, в час, а то и позднее проходить по Бруклинскому мосту, и из ночи в ночь он, точно влекомый каким-то мерзким соблазном, шел в место общего пользования — в общественную уборную напротив нью-йоркского муниципалитета. Вниз вела с улицы крутая лестница, и морозными ночами уборная бывала переполнена бездомными, искавшими там приюта. Среди них были шаркающие неуклюжие старики, каких встретишь повсюду, равно в Париже и в Нью-Йорке, в добрые времена и в худые, — измочаленные, обросшие седыми лохмами и косматыми, с грязной желтизной,

бородами, в драных пальто с отвисшими карманами, куда они тщательно складывали всю дрянь, которой кормились и которую целыми днями подбирали на улицах: корки хлеба, старые кости с остатками протухшего мяса да еще десятки окурков. Были здесь и другие, с Бауэри-стрит, — преступная братия, пьяницы, морфинисты, потерявшие человеческий облик курильщики опиума. Но большинство — просто обломки всеобщего кораблекрушения: честные, порядочные люди средних лет, на чьи лица наложили неизгладимую печать тяжкий труд и нужда, и молодые, зачастую совсем еще мальчишки с густыми нечесаными волосами. Они бродили из города в город, ездили в товарных поездах, голосовали на дорогах, вырванные с корнями из родных мест, никому не нужные мужчины Америки. Они кочевали по всей стране, а зимой собирались в больших городах — голодные, унылые, опустошенные, потерявшие надежду, беспокойные, не ведающие, какая сила их гонит, вечно в пути, вечно в поисках работы, готовые работать за любые крохи, только бы поддержать жалкое свое существование, и не находящие ни работы, ни самых этих крох. Здесь, в Нью-Йорке, в этом непотребном месте встреч, они, отверженные, собирались в одно людское месиво, чтобы вместе передохнуть, отогреться, хоть немного развеять отчаяние.

Никогда прежде Джордж не был свидетелем ничего похожего, что было бы так оскорбительно, внушало бы такой животный ужас. Заросшие грязью люди сидели, скорчившись, на стульчаках в открытых, без дверей, кабинах — непристойное зрелище это поистине напоминало какой-то злой фарс.

Порой между ними вспыхивали споры, они начинали ожесточенно ругаться и драться из-за стульчаков, которые нужны были всем скорее для отдыха, чем для чего другого. Все это выглядело мерзостно, отвратительно, от одного только сострадания можно было навек лишиться дара речи.

Джордж заговаривал с этими людьми, старался побольше разузнать об их жизни, а когда уже не хватало сил смотреть и слушать, выбирался наружу и, очутившись на улице, в двадцати футах над этой ямой мерзости и страдания, упирался взглядом в гигантские гребни Манхэттена, холодно сияющие в жестоком блеске зимней ночи. Меньше чем в сотне шагов отсюда высилось здание Вулвортской компании, а чуть дальше — серебристые иглы и шпили Уолл-стрит, могучие крепости из камня и стали, в которых размещались колоссальные банки. Слепая несправедливость этого контраста была для Джорджа, кажется, горше всего, что увидел и узнал он в ту пору, — ведь повсюду вокруг, совсем рядом с этой пучиной нищеты и несчастья, в холодном свете луны высились сверкающие цитадели могущества, в чьих огромных сейфах хранилась внушительная часть богатств всего света.

Ресторан закрывался. Усталые официантки уже собирались уходить и, заканчивая последние дела тяжкого рабочего дня, опрокидывали стулья вверх ножками на столы. За кассой хозяин подсчитывал дневную выручку, а один из официантов топтался близ столика Джорджа и все на него поглядывал, словно бы вежливо давал понять, что, хоть он и не торопится, но был бы рад, если б последний клиент наконец расплатился и ушел.

Джордж спросил счет и дал официанту денег. Тот взял их и мигом вернулся со сдачей. Положил в карман чаевые, сказал: «Спасибо, сэр». Джордж попрощался и встал, собираясь уйти, но официант смущенно медлил рядом, будто хотел что-то сказать и не решался.

Джордж поглядел вопросительно, и тогда официант, запинаясь, произнес:

— Мистер Уэббер... я... мне надо бы как-нибудь с вами поговорить... посоветоваться кой о чем... конечно, если у вас найдется время, — поспешно, виновато прибавил он.

Джордж снова посмотрел вопросительно, и тот, явно ободренный этим взглядом, продолжал торопливо и чуть ли не с мольбой:

— Тут... тут такой случай, прямо хоть рассказ писать.

Знакомые слова отдались в памяти многократным невеселым эхом. А заодно пробудили упрямое, добросовестное терпение, с каким каждый, кто хоть раз пытался кровью сердца вывести стоящую строку, кто в поте лица, без уверенности в завтрашнем дне, пером

зарабатывает свой хлеб, — по долгу отзывчивости выслушивает всякого, кто думает, что и ему есть о чем рассказать. Он сделал над собой усилие, собрался с мыслями, вымученной улыбкой дал понять, что готов слушать, и ободренный бедняга официант взволнованно заговорил:

— Это... этот случай мне один парень рассказал несколько лет назад, а у меня до сих пор из головы не идет. Парень-то был иностранец, — внушительно произнес официант, словно уже одно это было порукой, что история, которую он сейчас поведает, редкостная и захватывающая. — Армянин, вот кто он был. Да-да! Прямо оттуда и прикатил! — Официант многозначительно покивал. — И эта его история вся как есть армянская, — торжественно произнес официант и помолчал: пускай слушатель осознает, сколь важно это сообщение. — Он этот случай знал, он мне про это рассказал, а кроме нас двоих, больше ни одна душа про это не знает.

И официант снова замолчал, глядя на слушателя лихорадочно блестящими глазами.

Джордж все улыбался через силу ободряющей улыбкой, а в официанте меж тем явно спорили боязнь расстаться со своим секретом и желание поделиться; наконец, после короткой внутренней борьбы, он продолжал:

— Да что уж! Вы ведь писатель, мистер Уэббер, вы на этом собаку съели. А я простой темный парень, служу в ресторане... вот если б мне рассказать все это, как полагается... найти бы такого человека, вот вроде вас, кто знает, как это делается, и чтоб он за меня рассказал... да ведь... да ведь... — Он явно боролся с собой и наконец выпалил: — Да мы бы оба разбогатели!

Джорджу стало совсем тошно. Он так и знал, что этим кончится. Однако с лица его все не сходила бледная улыбка. Он нерешительно прокашлялся, но так ничего и не сказал. А официант принял его молчание за согласие — и с жаром настаивал:

— Ей-богу, мистер Уэббер... да если б только я нашел кого вроде вас, кто бы мне помог с этим рассказом... написал бы все за меня, как следует быть... да я... да я... — Минуту-другую он старался побороть изменную сторону своей натуры, и вот великодушие взяло верх — и с видом человека, который и впрямь решил не скупиться, он твердо объявил: — Я б с ним напополам! Я бы... я бы ему отвалил половину!.. А на этой истории можно разбогатеть! — воскликнул он. — Я ведь хожу в кино и журнал «Правдивые рассказы» читаю... так моему рассказу это все в подметки не годится! Он их все побьет! Я уж сколько лет про это думаю, с тех самых пор, как тот парень мне все рассказал... и уж я-то знаю: этот рассказ — золотая жила, только самому-то мне не суметь его написать! Это ж... это...

Теперь официант так отчаянно боролся со своей собственной осторожностью, что было тяжело смотреть. Его явно сжигала жажда раскрыть секрет, но в то же время терзали сомнения и страхи: не опрометчиво ли взять да и поведать о своем сокровище человеку все-таки незнакомому, вдруг тот его прикарманит? Он был точно мореплаватель, который в чужих морях, на неведомом коралловом острове увидел зарытый пиратами баснословный клад, и теперь его раздирают противоречивые чувства: одному не справиться, нужно обзавестись помощником. Но и страх мучит — опасно выдать тайну. Между двумя этими силами разыгрывалась сейчас яростная битва на открытом взору Джорджа поле боя — на физиономии официанта. И в конце концов он избрал простейший выход. Точно исследователь земных недр, который вытаскивает из кармана неотшлифованный алмаз неслыханной величины и ценности и хитро намекает, что в некоем месте, которое ему известно, еще немало таких камней, официант решил для начала рассказать совсем немножко.

— Я... сегодня я не смогу рассказать вам всю историю, — промолвил он, словно извиняясь. — Может, как-нибудь в другой раз, когда у вас будет побольше времени. Но просто чтоб вы поняли, что это за штука... — Он осторожно огляделся — не подслушает ли кто, наклонился к Джорджу и таинственно зашептал: — ...чтоб вы поняли, что это за штука... так вот, есть там такая сценка: женщина помещает в газете объявление — она, мол, даст золотую монету в десять долларов и вволю спиртного любому мужчине, кто завтрашний день ее навестит! — Поведав клиенту эту потрясающую подробность, официант посмотрел на него сверкающими глазами. — Ну вот! — Он решительно взмахнул рукой и выпрямился. — Вы,

верно, сроду такого не слыхали, а? Такого ни в одном рассказе не прочтешь!

Джордж недоуменно помолчал минуту и вяло согласился — да, такого он не слыхал и не читал. Но официант все смотрел лихорадочно горящими глазами, он явно ждал еще каких-то слов — и Джордж с сомнением спросил, неужто этот удивительный случай и вправду произошел в Армении.

— Ну да! — воскликнул официант и усиленно закивал. — Про что я и толкую! Дело было в Армении! — Он опять помолчал, опять его раздирали опасливое недоверие и желание рассказывать дальше, лихорадочный взор его словно прожигал вопрошавшего насквозь. — Это... это... — Он еще минуту боролся с собой и наконец униженно сдался: — Ну ладно, я расскажу, — еле слышно произнес он, наклонился, доверительно оперся руками о стол. — Вот вам самая суть. Все начинается с богатой дамочки, понятно?

И умолк, пытливо поглядел на Джорджа. Не зная, чего от него ждут, Джордж кивнул — ясно, мол, это обстоятельство я усвоил, — и переспросил:

— В Армении?

— Ну да! Ну да! — Официант кивнул. — Эта дамочка из тех мест... У ней денег — куры не клюют... Сдается мне, богаче ее нет во всей Армении. И вот влюбляется она в того парня, чуеете? А он на ней прямо помешался, каждую ночь бегаёт к ней на свиданье. Он мне говорил, она живет в громадном доме, на самой верхотуре... Ну, и каждую ночь он приходит и взбирается туда к ней... черт-те куда, на тридцатый этаж, а то и выше!

— В Армении? — проямлил Джордж.

— Ну да! — не без досады воскликнул официант. — Там оно все и происходит! Я ж про то и толкую!

Он замолчал, испытующе поглядел на Джорджа, и тот наконец спросил с приличным случаю робким интересом, отчего влюбленному приходилось так высоко забираться.

— Да ведь дамочкин папаша не впустил бы его! — нетерпеливо ответил официант. — Парень только так и мог к ней попасть! Папаша запирает ее на самой верхотуре, потому как не желал, чтоб она выходила замуж!.. А потом старик помер, — с торжеством продолжал он, — чуеете? Помер и все свои денежки оставил этой дамочке... и она раз — да и вышла за этого самого парня!

Тут он внушительно замолчал и, с торжеством глядя на слушателя, выждал, чтоб тот переварил столь ошеломляющую новость. Потом продолжал:

— Ну вот, зажили они вместе, дамочка по уши влюблена, года два все идет как по маслу. А потом парень и начин выпивать... он вообще-то был пьющий, чуеете?.. только она этого не знала... они когда поженились, он первые год-два был у ней под каблучком... А потом опять принялся за старое... Оглянуться не успели, а он уж кутит ночи напролет с гулящими девками, со всякими пылкими блондинками... Ну, теперь чуеете, к чему идет дело? — жадно спросил официант.

Джордж понятия не имел, к чему он клонит, но глубокомысленно кивнул.

— Ну, и, конечно, оглянуться не успели, а парень снялся с места, бросил свою-дамочку и прихватил с собой изрядно деньжат да всяких драгоценностей... И исчез, ровно сквозь землю провалился, — объявил официант, явно довольный таким поэтическим сравнением. — В общем, оставил ее при пиковом интересе, она, бедная, чуть не спятила. Чего только она ни делала — и сыщиков нанимала, и вознаграждение обещала, и в газетах объявления печатала, мол, вернись ко мне, ради бога... А все зазря, малый как в воду канул. Ну, проходит года эдак три, дамочка, бедная, прямо извелась, сохнет по этому парню. И вдруг, — тут он внушительно помолчал, ясно было: подошел к самому острому повороту, — возьми и стукни ей в голову одна мыслишка! — Он опять замолчал на миг, чтоб слушатель вполне оценил необычайный подвиг героини, и просто, негромко заключил: — Открывает она ночной клуб.

Официант умолк, он стоял непринужденно, спокойно переплетя пальцы на животе, со скромным видом человека, который сделал все, что мог, и по праву, убежден — этого вполне достаточно. Было совершенно ясно, он ждет, чтобы слушатель надлежащим образом высказался, а покуда подобающие случаю слова не произнесены, рассказчик свою повесть

продолжать не станет. Итак, Джордж собрал иссякающие силы, облизнул пересохшие губы и наконец с заминкой произнес:

— В... в Армении?

На сей раз и самый вопрос, и эту заминку официант воспринял как знак, что слушатель поражен чуть ли не до немоты. Он победоносно кивнул и воскликнул:

— Ну да! Понимаете, дамочкина мыслишка вот такая: она теперь уж знает, что парень-то пьющий, — стало быть, рано или поздно он заявится в заведение, где полным-полно гуляк и гулящих женщин. Такой народ всегда держится вместе, это уж как пить дать!.. Ну, открыла она, стало быть, притон, вложила в него изрядно деньжат, самый получился там у них шикарный притоп. А потом и дала это самое объявление в газете.

Джордж подумал, что ослышался, но физиономия официанта так и сияла, излучая ликование, и Джордж отважился спросить:

— Какое объявление?

— Да вот зазывное-то, я ж вам говорил. Понимаете, это она здорово придумала — как заполучить его обратно. Стало быть, дает она в газету объявление: мол, всякий мужчина, кто придет завтра в ее клуб, получит золотую монету в десять долларов и вволю спиртного. Она так считала — на это он клюнет. Он наверняка уже на мели, прочтает объявление и заявится... Так оно и получилось. Выходит она на другое утро и видит — стоит очередь во всю улицу, а первым в очереди этот самый парень. Ну, вытащила она его из очереди, кассиру велела дать всем остальным по десять долларов и поставить им выпивку, а парню говорит: ты, мол, ничего не получишь. Он как вскинется: «Это почему же?» Дамочка-то была в густой вуали, так он ее не признал. Ну, она говорит, не могу, мол, на тебя положиться, какой-то ты не такой... ну, и, понимаете, опять за старое: давай, мол, поднимемся ко мне, я с тобой потолкую, погляжу, все ли с тобой ладно... Ясно вам?

Джордж неопределенно кивнул.

— И что дальше? — спросил он.

— То-то, что дальше! — воскликнул официант. — Повела она его наверх. — Тут он наклонился, уперся кончиками пальцев в стол и трепетным шепотом dokonчил: — И... подняла... вуаль!

Наступила благоговейная тишина, официант, все еще наклонясь и упираясь пальцами в стол, с какой-то странной, чуть заметной улыбкой блестящими глазами смотрел на слушателя. Потом медленно выпрямился во весь рост, все еще едва заметно улыбаясь, испустил тихий, долгий, как наступление вечера, вздох и замер. Молчание длилось, длилось и стало уже тягостным, и тогда Джордж неловко заерзал на стуле и спросил:

— А... а дальше что?

Официант был ошеломлен. В изумлении он вытаращил глаза, он буквально онемел от подобной тупости.

— Да... да ведь это все! — вымолвил он наконец, и на лице его выразилось жестокое разочарование. — Неужто вам не понятно? Это все. Дамочка поднимает вуаль, он ее признает, чего вам еще!.. Она его нашла! Опять его заполучила! Они опять вместе!.. Вот и весь рассказ! — Он был обижен, раздосадован, даже сердит. — Чего ж тут не понять...

— До свиданья, Джо.

Это как раз уходила последняя официантка и, проходя мимо них, попрощалась. То была стройненькая изящная блондиночка. В негромком ее голоске звучало небрежное дружелюбие — так же запросто, по-приятельски она весь день разговаривала с клиентами — милый был голосок и немного усталый. Она приостановилась было, и в резком свете черты ее словно заострились, а под ясными серыми глазами отчетливей обозначились темные круги. В лице этом была прелесть хрупкой маски, тонкость линий, какая часто встречается у девушек в большом городе, у которых в жизни только и есть что труд да тяжкая юность. Взглянешь на такую девушку, и становится грустно: сразу видно, что эта прелесть ненадолго.

Тихий небрежный голосок прервал запальчивые словоизлияния официанта, и тот обернулся с некоторым даже испугом. Но, увидев девушку, сразу преобразился, изрезанное

морщинами лицо его смягчилось, неожиданно засветилось добротой.

— А, Билли! До свиданья, крошка.

Она вышла, и торопливый стук каблучков по асфальту стал удаляться. Еще минуту официант смотрел ей вслед, потом снова обернулся к единственному оставшемуся клиенту и с какой-то кривой неопределенной улыбкой, затаившейся в жестких морщинах у рта, сказал очень спокойно и небрежно — так мужчины говорят о том, что уже сделано, известно и непоправимо:

— Видали эту крошку?.. Пришла она сюда примерно два года назад, взяли ее на работу. Откуда она приехала, не знаю, наверно, из какого-нибудь захолустного городишка. Прежде она была хористка, плясала в каком-то дрянном разъездном театришке... пока ноги не отказали... В нашем деле их таких полным-полно. Да, проработала она эдак с год, а потом прилепилась к одному грязному сутенеру — он к нам сюда захаживал. Знаете эту породу, их издалека учуешь, от них так и разит подлостью. Я бы мог ее предупредить. Да что толку, черт возьми? Они разве станут слушать... только ты же и окажешься кругом виноват... Нет, они до всего должны дойти сами, чужим умом не проживешь. Ну, я и не стал вмешиваться, ничего не поделаешь... Месяцев эдак шесть — восемь назад девушки наши распознали, что она беременная. Хозяин ее уволил. Он парень неплохой, но его тоже можно понять, черт возьми! При нашей работе как их держать в таком положении?.. Три месяца назад родила она и опять получила у нас работу. Малыша, слышать, сдала куда-то в сиротский дом. Я его не видал, но, говорят, малыш что надо, Билли от сынишки без ума, каждое воскресенье его навещает... Она и сама крошка что надо.

Официант умолк, он смотрел задумчиво, отрешенно, лицо у него было скорбное, но спокойное. Потом он негромко, устало сказал:

— А, черт, рассказать бы вам, что у нас тут творится каждый божий день... чего только не насмотришься, не наслушаешься... какой народ тут бывает, какие происшествия случаются. Ох, и устал же я от всего этого, тошно мне. Бывает, так все опостылеет, кажется, пропади он пропадом, этот наш кабак, век бы его больше не видеть. Бывает, раздумаешься: нет, это не место, как бы здорово жить по-другому! А то вот всю жизнь только и делаешь, что прислуживаешь всяким болванам, всегда ты под рукой, и прислуживаешь им, и глядишь, как они приходят да уходят... и жалеешь какую-нибудь крошку, когда она влюбится в идиота, а об него ноги обтереть и то противно... и думаешь, ну, как не нынче-завтра попадет она в переплет... Господи, сыт я всем этим по горло!

Он опять замолчал. Теперь он смотрел куда-то вдаль, на лице застыло чуть циничное сожаление и покорность, выражение это нередко замечаешь у людей, которые много повидали в жизни, на себе испытали, как судьба груба и неласкова, и понимают, что ничего тут, в общем, не поделаешь, ничего не скажешь. Наконец он глубоко вздохнул, стряхнул с себя задумчивость и снова стал таким, как всегда.

— Ух, черт подери! — с прежним пылом воскликнул он. — Наверно, здорово это, мистер Уэббер, когда умеешь писать книги и рассказы, когда язык хорошо подвешен... слова так и льются... ходи куда хочешь, работай, когда пожелаешь! Вот возьмите хоть эту историю, что я вам рассказал, — серьезно продолжал он. — Сам-то я неученый, а если б кто вроде вас мне помог, записал бы все это, как следует быть... вот ей-ей, мистер Уэббер, это ж для всякого счастливый случай, на этом же разбогатеть можно... а я готов все пополам! — В голосе его зазвучала мольба: — «Мне эту историю когда-то один знакомый рассказал... кроме нас двоих, никто про это не знает. Он был армянин, я уж вам говорил, и все это там и случилось...» Знать бы мне, как их пишут, рассказы, это ж прямо золотая жила...

Было далеко за полночь, круглая луна плыла на запад над холодными, пустынными улицами погруженного в сон Манхэттена.

А прием был в разгаре.

Мраморный с золотом зал огромного отеля превратили в волшебную страну. Посредине

из фонтана с непременными нимфами и фавнами взлетали вверх подсвеченные струи воды, там и сям зеленели беседки, оплетенные вьющимися благоухающими розами в цвету. Вдоль стен выстроились цветущие оранжерейные деревья в кадках, сверкающие мраморные колонны были увиты диким виноградом и гирляндами, и разноцветные фонарики струили сверху мягкий свет. Взору открылась лесная поляна из «Сна в летнюю ночь», где некогда пировала и резвилась королева Титания.

То было редкостное экзотическое зрелище, достойная оправа для богатой беспечной молодежи, для которой все это приготовили. Воздух напоен был великолепными духами и полон беспокойной, будоражащей, чувственной музыки. По натертому до блеска полу скользили десятки танцующих пар, томных девушек в ослепительных вечерних туалетах: обнимали гибкие розовощекие йельцы и гарвардцы в отлично сидящих черных фраках и белых сорочках.

То был прием в честь первого выезда в свет баснословно богатой молодой особы — подобных приемов не видывали давным-давно, даже и до краха биржи. Об этом приеме уже чуть не месяц взахлеб писали газеты. Говорили, что во время катастрофы отец красавицы потерял не один миллион, но, видно, несколько жалких грошей у него еще осталось. И для дочери, которая когда-нибудь унаследует остатки нелегко доставшегося ему богатства, что уцелели в эти губительные годы, он теперь сделал все, что полагалось, чего от него ждали, что было необходимо и неизбежно. Сегодня ее «представляли свету», который знал ее с самого ее рождения, и весь «свет» был тут.

Начиная с этого вечера улыбающееся личико девушки с несколько даже утомительной неизменностью будет появляться в положенном месте воскресных газет, и вся страна ежедневно будет в курсе всех важных мелочей ее жизни: что ела, что надела, куда ездила, с кем ездила, какой ночной клуб почтила своим присутствием, кому из молодых людей и на какой ипподром посчастливилось ее сопровождать, в каких благотворительных делах она участвовала и где разливала чай. Ибо теперь на целый год, до тех пор пока из нового урожая богатых и очаровательных дебютанток газетные фотографии не выберут другую девушку на роль новой Главной американской дебютантки, это беспечное веселое создание станет для американцев тем же, чем для англичан — английская принцесса, и примерно по тем же причинам: потому что она — дочь своего отца и потому что отец ее — один из властителей Америки. Миллионы будут читать о каждом ее шаге и завидовать ей, а тысячи по мере сил и возможностей станут ей подражать. Станут покупать дешевые подделки под ее дорогие платья, шляпы, белье, станут курить те сигареты, красить губы той помадой, есть те супы, спать на тех матрацах, для соблазнительной рекламы которых, что печатается на обратной стороне журнальных обложек, она милостиво разрешит себя фотографировать, — они станут покупать все это, отлично зная, что богатая девица устанавливает эти моды за деньги (разве она не дочь своего отца?), но, конечно же, ради милой нашему сердцу благотворительности и в интересах общества.

На широкой улице перед огромным отелем и на всех прилегающих улицах стояли у обочин сверкающие черные лимузины. В одних шоферы дремали, привалясь к рулю, в других зажгли внутри свет и читали бульварные листки. А остальные — их было большинство — вылезли из машин и, сойдясь небольшими кружками, курили, болтали, коротали время, пока услуги их не понадобятся снова.

На тротуаре подле входа в отель, у широкого навеса, под которым можно было укрыться от ветра, собралась и спорила самая большая группа шоферов в щегольских ливреях. Рассуждали о политике, о международной экономике, и главными спорщиками оказались толстяк-француз с нафабранными усами, настроенный весьма революционно, и маленький, с ногами как спички, американец — у него было жесткое, иссеченное морщинами лицо, птичьи глаза-бусинки и порывистые нетерпеливые движения истинного нью-йоркского жителя. Когда Джордж Уэббер, которого случайно занесло сюда в его ночных странствиях, поравнялся с ними, яростный спор был в самом разгаре, и Джордж остановился послушать.

Место действия, обстановка, разительное несходство меж двумя главными спорщиками

— все это придавало происходящему вид нелепый и фантастический. Толстяк-француз, чьи щеки так и рдели от холода и пыла, в запальчивости пританцовывал, непрестанно размахивал руками и говорил без умолку.

Он наклонялся вперед, изящно соединял большой и указательный пальцы в кружок — весьма красноречивый жест, знак глубокого убеждения, что доводы его в пользу немедленной кровопролитной мировой революции исчерпывающи, логичны, непоколебимы и неопровержимы. И всякий раз, как кто-нибудь пытался ему возразить, он только еще больше распалялся, еще яростней доказывал свое.

Наконец его не слишком прочно усвоенный английский не выдержал и стал сдавать под напором волнения. Теперь воздух оглашали несчетные проклятия, бранные словечки, азартные крики вроде: «Mais oui!.. Absolument!.. C'est la verite!»¹² и язвительный смех: толстяку невыносимо было видеть, что есть на свете тупицы, неспособные понять его правоту.

— Mais non! Mais non! — вопил он. — Vous avez tort!.. Mais c'est stupide!¹³ — восклицал он, в отчаянии потрясал пухлыми руками и, словно не в силах больше терпеть, поворачивался и шел прочь, но тут же возвращался, и все начиналось сначала...

Меж тем главная мишень его красноречия — маленький тонконогий американец с птичьими глазками — никак ему не мешал. Он стоял, привалясь к стене отеля, покуривал и неотрывно, с невозмутимым равнодушием смотрел на француза. Наконец и он вставил слово:

— Давай, французик, давай... А кончишь трепаться, может, и у меня найдется что сказать.

— Seulement un mot!¹⁴ — еле переводя дух, ответил француз. — Одна слово! — внушительно произнес он, выпрямился во весь росточек и поднял указующий перст, будто собрался пророчествовать. — Я скажу еще одна слово!

— Давай, давай, — равнодушно и устало отозвался маленький американец. — Может, на одно слово тебе полтора часа хватит.

Тут подошел еще один шофер, судя по внешности немец, с грубо вытесанной физиономией и ярко-голубыми глазами, и, сияя, словно только что сделал некое приятное открытие, объявил:

— Нофость! У меня тля фас нофость! Я кофориль mit¹⁵ один шофер, он жил в Расий, и он кофорит, там еще хуже, чем...

— Non! Non! — прокричал француз, красный от гнева и возмущения. — Pas vrai!.. Ce n'est pas possible!¹⁶

— О, господи, — сказал американец и нетерпеливо, с отвращением отшвырнул сигарету. — Что вы, ребята, никак не проснетесь? Вы ж не в России! Вы в Америке! Ведь вот беда с вашим братом — там, у себя, вы жили как попало, ни к чему не приучены, а только приехали сюда, где можно жить по-человечески, и сразу хотите все разнести в пыль.

Тут все заговорили разом, и жаркий беспорядочный спор стал еще яростней. Но разговор все крутился вокруг одного и того же.

И Джордж пошел прочь, в ночную тьму.

¹² Ну да, еще бы!.. Безусловно!.. Это чистая правда! (фр.)

¹³ Да нет же! Ошибаетесь!.. Это просто глупо! (фр.)

¹⁴ Одно только слово! (фр.)

¹⁵ с одним (нем.)

¹⁶ Нет, нет! Неправда!.. Этого не может быть! (фр.)

Люди, которые вынуждены жить в наших больших городах, зачастую трагически одиноки. Жители этих ульев во многих отношениях современные двойники Тантала. Они умирают от голода, окруженные изобилием, Кристальная струя течет подле их губ, но отступает, едва они к ней потянутся. Виноградная лоза клонится под тяжестью золотых кистей, вот она уже совсем близко, но стоит протянуть руку — и она отпрянет.

В начале своей великой легенды о Моби Дике Мелвилл рассказывает, что в его время всякий раз, как удавалось улучшить минуту, горожане шли на пристань, на самый край мола, и стояли там, глядя в море. Но в современном большом городе нет моря, на которое можно глядеть, а если и есть, то оно так далеко, так недостижимо, отгорожено столькими стенами из камня и стали, что до него не добраться. И теперь, когда горожанин смотрит вдаль, он смотрит в битком набитую пустоту.

Не отсюда ли одиночество и бездуховность городских юнцов, шестнадцати — восемнадцатилетних мальчишек, которые по вечерам или в праздничные и воскресные дни оравами шатаются по улицам, дико, бессмысленно орут и перекликаются на каком-то тарабарском языке, и каждый, стараясь переплюнуть остальных, изощряется в невеселом свисте, в несмешных остротах и шутках, до того убогих, беспросветно глупых, что берет и жалость и стыд? Где у этих ребят веселость, где хорошее настроение, бьющая через край радость — извечные приметы юности? Кажется, будто эти жалкие создания, — а их миллионы, — родились лишь наполовину людьми, никогда они не знали невинности, они так и родились стариками, вялыми, тусклыми и опустошенными.

И что ж тут удивляться? Таков мир, в котором они родились! Их вскормила тьма, их отлучили от груди насилие и грохот. Их вспоил булыжник, их истинной матерью была улица — в этой бесплодной вселенной не вздувались подгоняемые ветром стремительные паруса, здесь не часто случалось ступать по земле, не слышно было птичьего пения и взгляд становился жестким, незрячим, оттого что вечно упирался в каменные стены.

В прежние времена, когда художник хотел изобразить ужас одиночества, он писал пустыню или голые скалы, и среди этого запустения — человека, совсем одного: так одинок пророк Илия в пустыне, и его кормят вороны. Но современный художник, желая изобразить самое отчаянное одиночество, напишет улицу любого нашего большого города в воскресный день.

Представьте захудалую, убогую улицу в Бруклине, быть может, и не сплошь застроенную многоквартирными домами и оттого лишенную даже суровой первозданности нищеты, это просто улица кирпичных складов и гаражей, а на углу табачная лавочка, или фруктовый ларек, или парикмахерская. Представьте воскресный день в марте — уныло, пустынно, свинцово-серо. И представьте кучку мужчин: американцы, трудовой люд, одетые по-воскресному — в дешевых костюмах из магазина готового платья, в новых дешевых башмаках, в дешевых стандартных шляпах из неизменного серого фетра. Вот и вся картина. Мужчины толпятся на углу перед табачной лавочкой или закрытой парикмахерской, по унылой пустой улице изредка промчится автомобиль, а вдали безучастно грохочет поезд надземки. Часами толпятся они на углу и ждут, ждут, ждут...

Чего же?

А ничего. Ровно ничего. И потому-то картина так и дышит трагическим одиночеством, ужасающей пустотой, мерзостью запустения. Ощущение, знакомое сегодня каждому горожанину.

И все же... все же...

Это тоже правда, и в этом своеобразное противоречие Америки — те самые мужчины, что толпятся воскресным днем на углу и ждут неизвестно чего, исполнены неугасимой надежды, неиссякаемого оптимизма, неистребимой веры, что вот-вот что-то переменится, что-то наверняка произойдет. Это удивительное свойство американской души, и оно немало способствует странности и загадочности нашего бытия, в котором так неправдоподобно переплелись жестокость и нежность, невинность и злодеяние, одиночество и доброе товарищество, отчаяние и ликующая надежда, страх и мужество, безымянный ужас и

возвышающая убежденность, грубое, бездушное, ничем не прикрытое, мрачное, разъедающее душу безобразие — и красота столь пленительная, столь покоряющая, что язык немеет и нет слов, чтобы о ней рассказать.

Как объяснить эту безымянную надежду, лишенную, кажется, всех разумных оснований? Не знаю. Но если б вы подошли вон к тому очень, неглупому с виду шоферу грузовика, что стоит и ждет вместе с другими, и спросили его об этом, и если б он понял вопрос (а он не поймет), и если б он сумел облечь свои чувства в слова (а он не сумеет), он ответил бы вам примерно так:

— Март у нас нынче, март... день воскресный, месяц март, вот мы тут, в Бруклине, и околачиваемся на углах, на холоду. Это ж надо, сколько их, углов, в нашем-то Бруклине, а настоящего-то своего угла ни у кого сроду не было. Черт его дери! В марте в воскресный день спишь допоздна, потом встанешь, газетку считаешь что посмешней да про спорт. Пожуеть чего-нибудь. А потом оденешься, время уже за полдень, оставишь жену, оставишь газетенки эти, пусть их на полу валяются, и выйдешь на улицу, а там — Бруклин, месяц март у нас, и вот стоишь на углу, у нас в воскресный день этих углов тысячи. В марте месяце нам без угла никак нельзя, и стена нужна — прислониться, и крыша бы какая-никакая, и дверь. Должно ж найтись где-то местечко, где тебе дверь отворят и под крышу пустят в марте месяце, да только его никак не найти. Вот мы и околачиваемся на улице, на углу, а холодище, зима еще, небо все в тучах, оденешься по-воскресному и стоишь, и кругом еще знакомый народ — стоим перед парикмахерской, дверь присматриваем.

А вот летом...

Так прохладно, так славно нынче вечером; во тьме, в паутине бруклинских джунглей, слышны миллионы шагов, и даже не верится, неужто был в Бруклине месяц март и мы не могли найти дверь. Нынче вечером отворены миллионы дверей. Для всех найдется дверь, и все распахнуты настежь, нынче вечером все перемешалось и в отдаленье — грохот надземки на Фултон-стрит, и рычанье автомобилей на Атлантик-авеню, и слепящий блеск Кони-Айленда за семь миль отсюда, а здесь толпы, и гул, галдеж, и орут зазывалы, носятся взад-вперед по тихим улицам машины, в паутине улиц толчется народ, на лица падают синеватые пятна света, и соседи перекликаются, высунувшись из окон, голоса грубые, голоса тихие — все перемешалось. Все прозрачно в ясном вечернем воздухе, все слилось с вопящим из окон радио. И что-то над всем этим реет, есть в вечернем воздухе еще что-то слитное, отдаленное, трепетное, возникшее из всех этих голосов и звуков, и, однако, совсем иное, что-то разлито по огромному зыбкому океану бруклинской ночи, что-то такое, о чем мы почти позабыли, когда был на дворе месяц март. Что же это? Тихонько поднятая рама?... отворенное окно?... чей-то голос поблизости?... что-то быстрое, мимолетное, кажется: вот-вот поймашь — вон там, внизу?... там, в пучине ночи, скорбные, но будоражащие голоса буксиров?... гудок океанского парохода? Здесь... там... где-то еще... может, это шепот?... зов женщины? или разговор, что доносится из-за дверей во Флэтбуше? Оно дрожит над всей гигантской паутиной нынче ночью, мимолетное, точно шаги... близкое... внезапное и нежное, точно женский смех. Прозрачный воздух жив уже одним шепотом того, что мы ищем нынче ночью по всей Америке... того, что казалось таким мрачным, необъятным, холодным, так безнадежно утраченным тогда, в мартовский день, когда мы стояли в своей воскресной одежде на несчетных углах Бруклина и ждали.

Если бы Джордж Уэббер никогда не выходил за пределы квартала, где жил, вся летопись земная все равно была бы к его услугам. Ибо Южный Бруклин — это целый мир.

Обитатели окрестных домов, чья жизнь в холодную, промозглую зиму всегда казалась ему непонятной, бесплодной, далекой и недоступной взгляду, словно содержимое запаянной консервной банки, весной и летом так полно раскрывалась перед ним, что ему казалось, он знает их с самого рождения. Ибо едва только дни и ночи становились теплей, все здешние жители настежь растворяли окна, притом о самых интимных делах говорилось громко,

пронзительно, в полный голос — и любой прохожий оказывался посвященным в их семейные тайны. Джордж столько здесь навиделся грязи, мерзости, несчастья, отчаяния, столько грубости, жестокости и ненависти, что на губах у него навсегда остался едкий неистребимый вкус безысходности. Он видел несчастного помешанного итальянца-бакалейщика, который заискивающе улыбался и угождал покупателям, а через минуту злобно рычал, вцепившись в плечо своего жалкого сынишки. Видел, как по субботам ирландцы возвращались домой пьяные, и колотили жен, и перерезали друг другу глотки, и все слышали, как разыгрываются эти кровавые драки — из открытых окон доносились хохот, крики, визг, проклятья.

Но в Южном Бруклине была и красота. В узкий проулок, куда выходило окно Джорджа, из-за соседней ограды заглядывали ветки дерева. Джордж смотрел, как день ото дня пышной распускалась молодая листва и наконец ярко зазеленела в краткий миг своего волшебного великолепия. А иной раз перед закатом, усталый, он приляжет на железную койку и слушает угасающую птичью песню. Так каждую весну в этом единственном дереве обретал он апрель и всю пробуждающуюся землю. Была здесь и преданность, любовь, мудрость — Джордж видел все это в нищем маленьком еврее-портном и в его жене, чьи чумазые ребятишки поминутно выбегали всей гурьбой на улицу и вновь скрывались в грязной и душной убогой мастерской.

Из бесконечного разнообразия таких вот обыденных, случайных, чаще всего никем не замечаемых событий и плетется паутина жизни. Просыпаемся ли мы утром в Нью-Йорке, или лежим ночью во тьме в провинциальном городке, или шагаем по улицам в бешеной спешке дня, — в лицо нам бьет пыльный, будничный и неистоимый свет нашего времени, мир вокруг нас все тот же. Зло живет вечно — и добро тоже. Познать и то и другое дано лишь человеку, а он ведь такая малость.

Ибо что есть человек?

Сперва дитя с неокрепшими костями, не способное устоять на ногах, перепачканное собственными испражнениями, которое то ревет, то смеется, требует луну с неба, но успокаивается, получив материнскую грудь; безмозглое создание, которое только и умеет что спать, есть, плакать, смеяться и сосать палец собственной ноги; нежное существо, обожаемый дурачок, который пускает слюни и тянется к огню.

Потом мальчишка, который груб и криклив, когда вокруг приятели, но боится темноты; бьет тех, кто слабей его, избегает тех, кто сильнее; преклоняется перед силой и жестокостью, обожает рассказы про войну и убийства и всякое насилие, когда жертвой насилия становится кто-то другой, вступает в какую-нибудь уличную компанию и не переносит одиночества; почитает героями солдат, матросов, боксеров, футболистов, ковбоев, убийц и сыщиков; ему до смерти хочется быть самым храбрым, самым ловким, первым во всякой забаве и во всяком состязании, он выставляет напоказ бицепсы и требует, чтоб их щупали, похваляется своими победами и ни за что не признает себя побежденным.

Потом молодой парень — ухаживает за девушками, а у них за спиной, среди приятелей, говорит непристойности, намекает, что соблазнил добрую сотню, но весь в прыщах; начинает заботиться о своем костюме, становится пижоном, помадит волосы, с рассеянным видом покуривает, читает романы и тайком пишет стихи. Весь мир для него теперь заслонили ножки и грудки; он уже познал ненависть, любовь и ревность; он трусоват и глуповат и не выносит одиночества; живет как все, думает как все и боится выделиться среди окружающих каким-нибудь чудачеством. Вступает в клуб и боится показаться смешным; постоянно томится скукой и чувствует себя несчастным и жалким. В душе у него пусто и уныло.

Потом мужчина — он очень занят, он полон планов и соображений, у него есть работа. Он обзаводится детьми, покупает и продает ломтики вечной земли, строит козни соперникам и ликует, когда удастся их облапошить. Бесславно, попусту растрчивает отведенные ему недолгие семь десятков лет; за всю свою жизнь, от колыбели до могилы, он едва ли увидел солнце, луну, звезды; он не замечает бессмертного моря и земли; он болтает о будущем, а когда оно наступает, тратит его впустую. Если он удачлив, он копит деньги. Под конец при тугой мошне он обзаведется лакеями, и они доставят его туда, куда ему на хилых ногах уже

не дойти самому; он поглощает роскошную пищу и золотое вино, которых его несчастная плоть уже и не жаждет; усталым, угасшим взглядом он смотрит на чужие страны, о которых страстно мечтал в юности. Потом медленная смерть, которую делят дорогие доктора, и наконец ученые могильщики, надушенный труп, церемониймейстеры, учтиво указывающие дорогу, быстрый автокатафалк и снова земля.

Вот что есть человек: он сочиняет книги, расставляет слова, пишет картины, создает десятки тысяч философий. Он горячится из-за отвлеченных идей, презрением и насмешкой обливает чужую работу, он находит для себя один-единственный верный путь, а все прочие объявляет ложными, — и, однако, среди миллиардов стоящих на полках книг нет ни одной, которая подсказала бы ему, как прожить хоть единую минуту в мире и покое. Он делает всемирную историю, управляет судьбами народов, но не знает собственной истории, не умеет управлять собственной судьбой достойно и мудро хотя бы десять минут подряд.

Вот что есть человек: по большей части грязное, жалкое, мерзкое существо, кучка гнили, комок вырождающихся тканей, существо, которое стареет, лысеет, обладает зловонным дыханием, ненавидит себе подобных, обманывает, презирает, насмехается, оскорбляет, убивает ненароком и умышленно, заодно с озверевшей толпой или под покровом темноты, в своей компании горлопан и хвостун, а в одиночестве трусливей крысы. Он на все готов за подачку и злобно скалится, едва дающий отвернулся; за два гроша он обманет, за сорок долларов убьет и готов рыдать в три ручья в суде, лишь бы не засадили в тюрьму еще одного негодяя.

Вот что есть человек: он крадет любимую у друга; сидя в гостях, щупает под столом жену хозяина; проматывает состояния на шлюх, преклоняется перед шарлатанами и палец о палец не ударит, чтобы не дать умереть поэту. Вот он, человек, — клянется, что жив единственно красотой, искусством, духом, а на самом деле живет одной лишь модой, и вместе с вечно меняющейся модой молниеносно меняет веру и убеждения. Вот он, человек, — великий воитель с отвислым брюхом, великий романтик с бесплодными чреслами, извечный подлец, пожирающий извечного болвана, великолепеннейшее из животных, которое тратит свой разум главным образом на то, чтобы источать зловоние, которым вынуждены дышать Бык, Лиса, Собака, Тигр и Коза.

Да, это и есть человек: как худо о нем ни скажи, все мало, ибо непотребство его, низость, похоть, жестокость и предательство не имеют границ. Жизнь его к тому же исполнена тяжкого труда, передряг и страданий. Дни его почти сплошь состоят из бесконечных дурацких повторений: он уходит и возвращается по опасным улицам, потеет и мерзнет, бессмысленно перегружая себя никчемными хлопотами, весь разваливается, и его кое-как латают, изничтожает себя, чтоб было на что купить дрянную пищу, поглощает эту дрянную пищу, чтобы и дальше тянуть ляжку, и в этом — его горькое очищение. Он обитатель разоренного жилища, который от вздоха до вздоха едва ли успевает забыть беспокойный и тяжкий груз своей плоти, тысячи недугов и немощей, нарастающий ужас разложения и гибели. Вот он, человек, и если за всю жизнь у него наберется десяток золотых мгновений радости и счастья, десяток мгновений, не отмеченных заботой, не прошитых болью или зудом, у него хватает сил перед последним вздохом с гордостью вымолвить: «Я жил на этой земле и знавал блаженство!»

Вот он, человек, и диву даешься, почему он вообще хочет жить. Треть его жизни пропадает, отнятая сном, еще треть отдается бесплодному труду, шестую часть он тратит на хождение взад и вперед, то суетится, то праздно шатается по улицам, толкается, пихается, дает волю рукам. Что же от него остается, чему обратить взор к трагическим звездам? Чему увидеть вечную землю? Чему изведать славу и слагать великие песни? Лишь несколько мгновений удастся ему урвать, когда хоть как-то утолены голод и жажда.

Итак, вот он, человек, — бабочка-однодневка, жертва быстротечности и считанных часов, воплощение расточительства и бесплодного существования. И, однако, если на заброшенную пустынную землю, где останутся лишь развалины городов, где на обломках памятников можно будет разобрать лишь немногие начертанные знаки, где среди песков

пустыни завалилось, ржавея, одинокое колесо, явятся боги, из груди их вырвется крик и провозгласят они: «Он жил, он был здесь!»

Вот деяния его.

Ему понадобилась речь, чтобы просить о хлебе, — и появился Христос! Ему понадобились песни, чтобы воспеть сражения, — и появился Гомер! Ему понадобились слова, чтобы проклясть врагов, — и появился Данте, появился Вольтер, появился Свифт! Ему понадобилась одежда, чтобы прикрыть от непогоды свою безволосую тщедушную плоть, — и он выткал мантии для мудрых судей, и одеяния для великих королей, и парчу для юных рыцарей! Ему понадобились стены и крыша, чтобы обрести приют, — и он соорудил Блуа! Ему понадобился храм, чтобы умиловить бога своего — и он воздвиг Шартрский собор и Вестминстерское аббатство! Рожденный ползать по земле, он соорудил огромные колеса, послал огромные паровозы греметь по рельсам, запустил в небо огромные крылья, пустил по гневному морю огромные корабли!

Моровая язва уничтожала его, в жестоких войнах гибли сильнейшие его сыны, но ни огонь, ни потоп, ни голод не одолели его. Неумолимая могила и та не покончила с ним, из его умирающих чресел с криком вырывались еще сыновья. Косматый громоподобный бизон вымер на равнинах, легендарные мамонты незапамятных времен обратились в пласты сухой, безжизненной глины; пантеры научились осторожности и опасно крадутся в высокой траве к водою; а человек живет и живет в этом мире бессмысленного всеотрицания.

Ибо есть лишь одно убежденье, одна вера, и в ней слава человека, его торжество, его бессмертье — это его вера в жизнь. Человек любит жизнь и, любя жизнь, ненавидит смерть, и оттого он велик, славен, прекрасен, и красота его пребудет вовеки. Он живет под бессмысленными звездами и наделяет их смыслом. Он живет в страхе, в тяжком труде, в муках и нескончаемой суете, но пусть из его пронзенной груди при каждом вздохе пенным ключом извергается кровь, все равно жизнь будет ему милей, чем конец всех мучений. Он умирает, а глаза его горят и во взоре яростно сияет извечная жажда: он испытал все тяжкие, бессмысленные страдания и все-таки хочет жить.

И презирать его невозможно. Ибо из своей нерушимой веры в жизнь это тщедушное существо сотворило любовь. В высшем своем проявлении человек и есть любовь. Без него нет ни любви, ни жажды, ни желания.

Итак, вот он, человек — все, что есть в нем худшего и лучшего: брeнная малая тварь, сегодня он живет, а завтра умер, как любое другое животное, и предан забвению. И все же он бессмертен, ибо добро и зло, сотворенные им, остаются жить после него. Зачем же тогда человеку становиться союзником смерти и в жадности и слепоте своей жиреть на крови брата своего?

28. Лис

Все эти страшные годы в Бруклине, когда Джордж жил и работал в одиночестве, у него был лишь один настоящий друг — его редактор Лисхол Эдвардс. Они много бывали вместе, долгие чудесные часы проводили в нескончаемых беседах, говорили свободно, смело, обо всем на свете, и в этих беседах крепили узы их дружбы. То была дружба, основанная на множестве общих вкусов и интересов, на взаимной приязни и восхищении друг другом, на уважении, которое позволяло беспрепятственно высказываться даже в тех редких случаях, когда их взгляды и убеждения расходились. Такая дружба возможна лишь между мужчинами. К ней не примешивался оттенок собственничества, что всегда угрожает отношениям мужчины и женщины, то переплетение чувств и чувственности, которое хоть и служит природе, стремящейся соединить этих двоих, но при этом опутывает их обязательствами, долгом, правами и узаконенными имущественными интересами, — и столь желанный для обоих союз неизбежно становится тягостным.

Старший из них двоих был младшему не только другом, но и отцом. Уэббер, пылкий южанин, способный на беспредельную любовь и привязанность, потерял отца много лет назад

и теперь в Эдвардсе нашел ему замену. А Эдвардс, сдержанный уроженец Новой Англии с обостренным чувством семьи и преемственности поколений, всегда желал сына, но нажил пять дочерей, и постепенно Джордж стал для него как бы приемным сыном. Таким образом, не вполне это сознавая, они словно бы духовно породнились.

И вот, всякий раз, как одиночество становилось Джорджу неспособно, он обращался к Лисхолу Эдвардсу. Когда захлестывали смутение, растерянность, неверие в себя, — а это бывало с Джорджем нередко, — и жизнь его становилась ничемной, выдохшейся, пустой, и ему уже казалось, что он до мозга костей пропитался мертвящей безнадежностью бруклинских улиц, он шел к Эдвардсу. И всегда находил то, чего искал. Вечно занятой Эдвардс бросал все дела, отправлялся с Джорджем завтракать или обедать и с неизменной своей чуткостью, спокойно, ненавязчиво, исподволь вызывал его на разговор, пока не докапывался, чем же тот терзается. И оттого, что Эдвардс верил в него, под конец Джордж всякий раз чувствовал себя исцеленным, вновь чудодейственно обретал уверенность в себе.

Что же он был за человек — этот великолепный редактор, отец-исповедник, истинный друг, тихий, застенчивый, чувствительный и мужественный, тот, кто людям, толком его не знавшим, часто казался холодным, равнодушным чудачком, кто наречен был пышно Лисхол, но предпочитал именоваться просто и непритязательно — Лис?

Во сне Лис был олицетворенная бесхитростность и простодушие. Спал он на правом боку, слегка поджав ноги, подсунув под щеку руки, и тут же на подушке лежала его шляпа. Когда он спал, было в нем что-то трогательное: в свои сорок пять он явно смахивал на мальчишку. Совсем не трудно вообразить, будто эта старая шляпа на подушке — игрушка, которую он с вечера прихватил с собой в постель, да так оно и есть!

Кажется, во сне от Лиса только и оставалось, что вечный мальчишка. Сон словно обнажал эту его мальчишескую суть, исключал все переходы и возвращал его к изначальному зерну, к той основе, которую он, по правде говоря, и не утрачивал, но которая столько менялась с ходом времени и все растущим опытом, а теперь возродилась в исходной простоте и цельности, вновь обрела самое себя.

И, однако, это был все тот же хитрюга Лис. Ох, этот хитрюга Лис, как простодушен был он в своей хитрости, как хитер в своем простодушии! Как честен в лукавстве и как лукаво честен, как удивительно изворотлив во всех отношениях и как прям во всей своей удивительной изворотливости! Слишком прям, чтобы стать бесчестным, слишком бесстрастен, чтобы завидовать, слишком беспристрастен, чтобы быть способным на слепую нетерпимость, натура слишком справедливая, пронизательная, слишком сильная, чтобы ненавидеть, он был слишком порядочен, чтобы поступать низко, слишком благороден, чтобы опуститься до подозрительности, слишком простодушен, чтобы разобраться в бесчисленных кознях кипящей вокруг подлости, и, однако, его никто еще ни разу не провел!

Итак, он вечный мальчишка, вечный доверчивый ребенок, вечный бесхитростный хитрец Лис, но только не ангел, только не дурак. Он подходит ко всему, как и подобает лису: не прошибает стену лбом, не прет напролом, а осторожно выглядывает из укрытия, пробегает по лесной опушке или крадется вдоль ограды, обходит свору гончих по кривой, заходит им в тыл и ускользает от них, пока его ищут там, где его и след простыл — он вовсе не помышлял их дурачить, но так уж оно получается.

Он обходит все острые углы, как и подобает лису. Никогда не двинется торной тропой, не ступит на истертую ступень. Видит: слишком многие по ней ступали, со вздохом отвернется — и тут же присмотрит другую, подходящую. Как у него это получается, не знает никто, даже сам Лис, но его чутье срабатывает мгновенно. И, глядя на Лиса, думаешь — что может быть проще? А все оттого, что чутье у него врожденное. Это талант.

Наш Лис не знает ни суровости, ни изысков, он всегда прост. Какую бы игру он ни вел, кажется — тут все легко, никакого особого блеска, словно бы это не одному Лису — каждому по плечу. Он играет лучше всех прочих игроков, но это совсем не бросается в глаза. В его стиле нет никакой вычурности, кажется, и стиля-то никакого нет; когда он целится, у толпы не захватывает дух от волнения, ведь никто не видал, как он целится, и, однако, он ни разу не

промахнулся. Другие всю жизнь учатся искусству попадать в цель, надевают самую удобную форму, рассчитывают каждый шаг, подают знак замершим зрителям, чтоб блюли тишину. «Мы целимся!» — возвещают они миру. Затем безукоризненно точными движениями, по всем правилам, прицеливаются — и... мажут! Великий Лис никогда словно бы и не целится — и никогда не мажет. Почему? Такой уж он уродился — счастливчик, баловень таланта, простодушный, немудреный — и при этом Лис!

— Ох и хитрый Лис! — скажут Игроки и Мазилы. — До черта ловкий, изворотливый, до черта хитрющий Лис! — возопят они со скрежетом зубовым. — Вы не смотрите, что с виду он прост, — это же хитрый Лис! Не верьте Лисицам, не верьте этому Лису, он прикидывается таким скромником, с виду он такой простодушный, бестолковый, но он вовек не промахнется!

— Но как... как это он ухитряется? — вне себя вопрошают друг друга Игроки и Мазилы. — Что в нем кроется? Ведь он такой неприметный! И поговорить-то с ним не о чем. И нигде не бывает... На люди не появляется, ни на приемах его не увидишь, ни на обедах, ни на пышных премьерах и вернисажах... он не ищет общества знаменитостей и разговаривать с ними тоже не стремится! Он и вообще-то почти не разговаривает... Что же в нем кроется? И откуда это в нем? Что это — случай или удача? Тут какая-то загадка...

— По-моему, вот в чем тут дело... — говорит один.

Они склоняются друг к другу, шепчутся, точно заговорщики...

— Нет, не в том соль, — под конец восклицает другой. — Вот я вам скажу, как он добывается своего...

И опять они шепчутся, доказывают, спорят, еще больше запутываются и под конец впадают в бессильную ярость.

— А, черт! — восклицает один. — В чем тут все-таки секрет? Как он ухитряется? Вроде ни ума у него, ни знаний, ни опыта. Нигде не бывает, не то что мы, сети не раскидывает, ловушек не ставит. Вроде и не знает, что к чему, что вокруг делается... и, однако...

— Он просто сноб! — злится второй. — С ним пробуешь по-приятельски, а он важничает. Проуешь его одурачить, а он смотрит на тебя — и ни слова! Не протянет первый руку, когда здороваются, не хлопнет тебя по плечу, как свой парень! Из кожи вон лезешь, стараешься с ним поприветливей, гляди, мол, я парень свойский и тебя тоже своим считаю, — а он что в ответ? Поглядит на тебя, усмехнется своей непонятной усмешечкой и отвернется... и весь день на службе не снимает эту дурацкую шляпу, я думаю, он и спит в ней! Нипочем не предложит тебе сесть, а сам встанет и стоя тебя слушает... так холодом и обдаст... потом выйдет из кабинета и шагает взад-вперед, взад-вперед, и пялится на всех, кто мимо идет, точно полудурок... а ведь это все его коллеги... а минут через двадцать возвращается и уже на тебя пялится, точно первый раз в жизни видит... потом нахлобучит шляпу на уши, отвернется, ухватится за лацканы пиджака, и глядит в окно, и усмехается сумасшедшей своей усмешечкой... опять на тебя поглядит, смерит тебя взглядом, уставится в упор... тебя страх берет: может, ты вдруг в обезьяну превратился... а он, ни слова не сказав, опять к окну отвернется, а потом опять на тебя уставится... наконец, сделает вид, вроде только теперь тебя узнал: а, мол, это вы... Сноб, вот он кто, и таким манером он дает понять, что не желает с тобой знаться! Я-то его раскусил, я понимаю, что он такое! Он из самых старых американцев, старше нет, кроме, может быть, господ бога. Все не по нем, это уж точно! Будто он непогрешим, почти как сам господь бог. Он же аристократ, сын богача, в Гротонах-Гарвардах обучался, где уж нам, неотесанным, с ним тягаться! Он высокого полета птица, а ведь наш брат сплошь прохвосты, мелкая шушера. Мы для него просто серые деляги, этакие, знаешь, Бэббиты, отсюда и этот его взгляд и усмешечка, оттого он и отворачивается, и хватается за свои лацканы, и не отвечает, когда с ним заговариваешь...

— Э, нет! — прерывает третий. — Ошибаешься! Он усмехается и отворачивается вот почему: старается расслышать получше, а не отвечает вот почему: он глухой...

— Ах, глухой! — насмешливо встречает еще один. — Глухой, черта с два! Глухой, как лисица! Эта его глухота — увертка, фокус, обман! Когда хочет, он отлично слышит! Если говоришь такое, что он хочет услышать, уж он услышит, даже если говоришь через улицу, и

не говоришь, а шепчешь! Он же сущий Лис! Можете мне поверить!

— Лис, сущий Лис, — хором соглашаются все. — Это уж верно, он — настоящий Лис!

Так они шепчутся, Игроки и Мазилы, спорят и делают выводы. Осаждают близких и друзей Лиса, усердно потчуют их лестью и крепкими напитками, пытаются с их помощью разгадать загадку Лиса. Но все-напрасно, ведь разгадывать тут нечего, и никто ничего не может им объяснить. И, раздосадованные, растерянные, они приходят к тому, с чего начали. Они заняли позицию, прицелились и — промазали!

Так всегда и во-всем: они расставляют капканы у каждой норы. Они осаждают самое жизнь. Они разрабатывают тактику, пускаются на сложнейшие военные хитрости. Изобретают мудренейшие способы изловить дичь. В ночную пору, когда хитроумный Лис мирно спит, они совершают искусные обходные маневры, заходят в тыл врага, когда он не видит; они уверены, что победа уже у них в руках, великолепно прицеливаются, стреляют... и попадают друг другу в зад — больно, да и штаны пострадали, а им тоже цена немалая!

А меж тем Лис всю ночь напролет спит сладким сном невинного младенца.

Ночь проходит, светает, часы бьют восемь. Каков же он теперь, когда просыпается?

Он вовсе не кажется моложе своих сорока пяти и, однако, смахивает на мальчишку. Вернее, мальчишка проглядывает и в его лице, и в глазах, и в фигуре — но упрятан, а просто взят в раму, чуть тронутую временем, оплетенную вокруг глаз паутиной морщинок, — и все равно он тот же, прежний. Волосы когда-то были очень светлые, белокурые, а теперь уже не светлые и не белокурые, на висках чуть припорошены сединой, вся голова от времени и невзгод потемнела, стала какая-то серо-стальная, и, однако, в этих почти темных волосах каким-то образом еще угадывается прежняя белокурость. Голова хорошей формы, небольшая, все еще мальчишеская, густые, шапкой, — волосы, у лба залысины, а вся грива легко, изящно откинута назад. Бледно-голубые глаза лучатся странно затаенным светом, отблеском далеких морей, — это глаза американского матроса в долгом плаванье на быстроходном паруснике, глаза, в глубине которых что-то таится, потонуло, как в море.

Лицо у него худощавое, длинное, узкое — лицо, за которым видятся предки, породистое лицо, такие, не меняясь, передаются из поколения в поколение. Суровое лицо, замкнутое, в нем выносливость и стойкость гранита, лицо новоанглийского побережья, а в сущности — лицо его деда, государственного деятеля Новой Англии: вон на каминной полке стоит его бюст и смотрит на постель внука. Но что-то произошло с этим лицом, преобразило его — в нем уже нет первозданной наготы гранита, гранитная основа смягчена и обогащена неким сиянием, теплом жизни. В Лисе горит свет, он сквозит в лице, в каждом шаге, в каждом движении, сообщает им изящество, стремительность, живость, изменчивость и нежность, в нем ощущается что-то глубоко затаенное, сдержанное, но страстное — быть может, тут нечто от лица его матери, или отца, или отцовской матери, нечто такое, что смягчает гранит теплом, нечто рожденное поэзией, чутьем, талантом, воображением, живое внутреннее сияние и красота. Лицо это — хорошо вылепленная голова, неяркие, затуманенные далью, глубоко посаженные глаза, точно птицы в клетке, решительный прямой нос с чуть загнутым кончиком, с нервными, как у гончей, ноздрями, приносящийся, чувственный, чуть высокомерный нос патриция, — лицо это, страстно и гордо спокойное, могло бы быть лицом великого поэта или какой-то могучей неведомой птицы.

Но вот спящий зашевелился, открыл глаза, прислушался, встряхнулся и мигом вскочил.

— Что? — спрашивает Лис.

Лис пробудился.

— *Лисхол Нортон Эдвардс.*

Внушительное имя медленно отдалось в мозгу — конечно же, кто-то его произнес, оно звенело в ушах, торжественно прозвучало в пределах сознания, — нет, это уже не сон, сами стены отзываются его глубоким и гордым благозвучием.

— Что? — снова воскликнул Лис.

Он огляделся. В комнате — никого. Он потряс головой — так пытаются вытрясти воду из ушей. Чуть склонил голову вправо и здоровым ухом прислушался. Потер, подергал здоровое правое ухо — нет, он не ошибся, имя все еще звенело в ухе.

Смущенный, озадаченный, он снова обшарил комнату светлыми, как море, глазами, — никого. Увидел рядом на подушке шляпу, чуть озадаченно промолвил: «Ну и ну!», схватил ее, нахлобучил на голову, на самые уши, повернулся, сел в постели, сунул ноги в шлепанцы, встал — в пижаме, в шляпе, — подошел к двери, отворил ее, выглянул в коридор.

— Что? — произнес он. — Кто здесь?.. Ну и ну!

Там не было ни души, просто коридор, тихий, узкий утренний коридор, закрытая дверь в комнату жены и лестница.

Он закрыл дверь, вернулся в глубь комнаты, все еще озадаченный, опять старательно прислушался, склонив голову набок, здоровым правым ухом ловя звуки.

Откуда же они донеслись? Он все еще слышал свое имя, теперь уже еле-еле, оно слилось со множеством других, непонятных звуков. Но откуда они доносились, с какой стороны? Да и слышал ли он их? Протяжное, однообразное гуденье, точно электрический вентилятор — пожалуй, какой-то мотор на улице? Негромкий удаляющийся гром — пожалуй, поезд на эстакаде? Или это жужжит муха? Или ноет комар? Нет, не может быть, ведь сейчас утро, весна, май на дворе.

Легкий утренний ветерок шевелит занавеси в его приветливой комнате. Старая кровать с пологом на четырех столбиках, веселое и уютное старое стеганое одеяло, старый комод, столик у кровати — на нем груды рукописей, стакан с водой, очки, тут же стоят и тикают часы. Может, это их он слышал? Он поднес часы к уху, прислушался. На каминной полке, лицом к нему — бюст деда, сенатора Уильяма Лисхола Мортонна — зоркий и незрячий, суровый, худощавый, воплощение резкости и решимости; а еще в комнате два стула и на стене эстамп: великолепный микеланджеловский Лоренцо Медичи. Лис поглядел на него и улыбнулся.

— Мужчина, — негромко сказал он. — Мужчина так и должен выглядеть!

Молодой Цезарь, с могучими руками и ногами, восседает на троне; великолепная голова в шлеме: он готов к битве, подбородком чуть оперся на кисть благородной формы, он провидит великие события, свое предназначенье; мысль сплетена с деянием, поэзия с действительностью, осторожность с дерзостью, размышленье с решимостью: Мыслитель, Воин, Государственный муж, Правитель — все в одном лице. «Таков и должен быть мужчина», — подумал Лис.

Все еще несколько озадаченный, по-прежнему в пижаме и шляпе, Лис подходит к окну и смотрит на улицу, — одной рукой подбоченился, закинул голову, пренебрежительно раздул чуткие ноздри, легко, естественно, совсем по-мальчишески наклонился, втянул воздух. Его овеивает легкий утренний ветерок, колышет тонкие, прозрачные занавеси.

За окном утро, и внизу утро, и в сияющем небе над головой — утро, вокруг и напротив, со всех сторон бьющая наискось утренняя свежесть, золотая утренняя свежесть — и улица. Унылые ржаво-бурые фасады напротив, однообразные фасады улицы Черепашьей бухты.

Светлыми, как море, глазами Лис глядит на утро, на улицу, словно видит их впервые в жизни, и негромко, низким, слегка осипшим приятным голосом, почти шепотом, словно бы постепенно вспоминая и тихо удивляясь, и еще почему-то с покорностью, произносит:

— А... понимаю.

Поворачивается, проходит через всю комнату в ванную и все так же изумленно, серьезно, светлыми, как море, удивленными глазами глядит на себя в зеркале, рассматривает свои черты, замечает круглые клетки, в которых глубоко сидят глаза, видит, как серьезно глядит на него из зеркала Лис-мальчишка, вдруг вспоминает: Лис-мальчишка был лопух, ухо росло под прямым углом, сорок лет назад его совсем задрознили в гротонской школе, — глубже нахлобучивает шляпу; не торчи торчком, лопухое ухо!

Так он стоит несколько минут и разглядывает себя и, убедившись наконец, что это он и есть, говорит все так же чуть изумленно, неторопливо, с терпеливым смирением:

— А... понимаю.

И поворачивает душевой кран — с шипеньем бьют водяные струи, ширится облако пара. Лис хочет стать под душ, замечает на себе пижаму, вздыхает и стаскивает ее. Раздетый, в чем мать родила, не считая шляпы, снова лезет под душ, но вспоминает про шляпу и в страшном смущении — волей-неволей надо признаться, до чего же все это нелепо, — сердито щелкает пальцами и негромко, недовольно соглашается:

— А, ладно! Так и быть!

Итак, он снимает шляпу — а она нахлобучена глубоко, сидит плотно, приходится сдергивать ее обеими руками и прямо-таки вывинчиваться из нее, — нехотя вешает ее, изрядно помятую, на крючок на двери, еще минуту не сводит с нее неуверенного взгляда, словно не решаясь с нею расстаться, и, наконец, все с тем же изумленным видом становится под шипящие струи кипятка, под которыми можно свариться вкрутую!

Тут уж никакой изумленности, можете мне поверить, безумные мои господа. Лис выскочил ошпаренный. «А, черт!» — кричит он, и пританцовывает, и щелкает пальцами, и снова громко чертыхается, но пускает воду попрохладней и на сей раз без всяких происшествий принимает душ.

Душ принят, волосы, немедля зачесанные назад, плотно облегают хорошо вылепленную голову, и на нее тотчас же водружается шляпа. Лис чистит зубы, бреется безопасной бритвой, нагишом, но в шляпе проходит через свою комнату и направляется к лестнице, вспоминает, что не одет — «А!» — оглядывается, в изумлении замечает аккуратно разложенную на стуле одежду (женщины постарались еще с вечера): чистые носки, чистое исподнее, чистая сорочка, костюм, туфли. Лис никогда не знает, откуда все это берется, никогда бы ничего не нашел сам, а увидав, всякий раз слегка удивлен. Снова произносит «А!», возвращается, и, как ни странно, вся одежда ему в самый раз.

Все сидит прекрасно. На Лисе всегда все сидит прекрасно. Он никогда не знает, что на нем надето, но надень он хоть мешок из дерюги или саван, завернись он в парус или в кусок холста, — все с первой минуты сидело бы на нем прекрасно, во всем была бы элегантность, безупречный стиль. Все его вещи ему под стать: что ни наденет, всему тотчас передается его изящество, достоинство и непринужденность. Он почти не занимается гимнастикой, да и незачем; он любит пройтись, игры наводят на него скуку, и он ни в какие игры не играет; фигура у него такая же, как была в двадцать один год: рост пять футов десять дюймов, вес сто пятьдесят фунтов, никакого живота, никакого жира, строен, как мальчишка.

Теперь он одет, только без галстука, не глядя, берет галстук и вдруг замечает: очень яркий, в голубой горошек; выпускает галстук из рук и, раздув ноздри, произносит единственное слово, но, чувствуется, столько в него вкладывает, что оно перевешивает многие томы:

— Женщины!

Потом неуверенно перебирает галстуки на вешалке в стенном шкафу, находит скромный серый галстук, повязывает. И вот, совсем готовый, он берет рукопись, пенсне, открывает дверь и выходит в узкий коридор.

Дверь в комнату жены закрыта, от нее веет сном и еле уловимыми духами. Лис вздернул голову, резко втянул носом воздух, во взгляде и презренье, и сочувствие, жалость, нежность и покорность... медленно, исполненный решимости, он опускает голову:

— Женщины!

И — вниз по винтовой лестнице, голова вновь высоко поднята, одна рука взялась за лацкан пиджака, в другой — рукопись, вот и третий этаж. Опять узкий коридор, он ведет вперед, назад, вбок, еще три закрытые двери, сонные, утренние, — пять дочерей...

Женщины!

Окидывает взглядом дверь Марты, старшей, двадцатилетней...

Женщина!

Следующая — дверь Элиноор, восемнадцатилетней, и Эмилии, ей только шестнадцать, но все равно...

Женщины!

И, наконец, с ласковым презрением, чуть улыбаясь, — у двери двух младших: Руфи четырнадцать, малютке Энн только семь, и все-таки...

Женщины!

Так, принохиваясь к этому женскому духу, он спускается на второй этаж, входит в гостиную и с презрением смотрит, что они тут натворили...

Женщины!

Ковры скатаны, лучи утреннего солнца косо падают на голые половицы. Обивка со стульев и диванов содрана, набивка выдрана. Пахнет свежей краской. Стены, вчера еще коричневые, нынче утром голубеют, как яйцо малиновки. Повсюду под ногами — ведра с краской. Даже книги, стоявшие у стен, сняты с высоких прогнувшихся полок. Опять они безумствуют, все перекрашивают и перекраивают, а все оттого, что...

Женщины!

С острым отвращением Лис принохивается к запаху свежей краски, проходит через гостиную, поднимается по ступеням, — они тоже выкрашены в нежно-голубой цвет, — и выходит на террасу. Яркие стулья, качалки, столики, яркие полосатые тенты, а в пепельнице — несколько окурков, и на них предательские следы...

Женщины!

Сады за домами, выходящие к Черепашьей бухте, трогают душу нежной зеленью, птичьим пеньем, плеском невидимых отсюда волн, они — живая тайна колдовства, творимого эльфами в самом сердце гигантского города, а по другую сторону бухты, точно тяжелая исполинская завеса устремляющихся вверх дымов, ряд упирающихся в небеса каменных башен.

Лис вдыхает свежий зеленый аромат утра, в светлых, как море, глазах изумление, отстраненность, узнавание. Но вот какой-то далекий отсвет жаркого чувства преобразует его лицо — и тут что-то трется о его ногу, тихонько подвывает. Лис опускает голову, заглядывает в печальные, молящие глаза французского пуделя. До чего нелепо обкорнали зверя: пушистая курчавая шерсть на плечах, на шее, на голове, голые ребра и поясница, опять же пушистый шерстяной хвост и длинные голые ноги, полураздетое создание женского пола, совсем без шерсти как раз там, где она нужней всего, и не собака вовсе, просто офранцузенная карикатура на собаку, нелепая пародия на глупость моды, на вычурность, кокетство, безответственность... чью, спрашивается?

Женщины!

Лис брезгливо поворачивается, уходит с террасы, спускается по ступеням, проходит по голым доскам гостиной, петляет меж выпотрошенных стульев и кресел и спускается в нижний этаж.

— Это еще что?

В прихожей ослепительный малиновый ковер, а ведь вчера лежал голубой, стены — молочно-белые, а ведь вчера были зеленые, одна стена просверлена, и к ней прислонено большущее зеркало — его еще не успели укрепить, а вчера тут никакого зеркала не было и в помине.

Лис шагает по узкому коридору, мимо кухни, через гардеробную, здесь тоже его обдаёт свежей краской — и входит в комнату, которой прежде не пользовались.

— Господи, это еще что?

Комнатка преобразена в «уютный кабинетик». Не нужны ему никакие уютные кабинетики, ничего подобного он не потерпит! Стены покрашены, повешены книжные полки, поставлены лампа и кресла, любимые его книги переселены сверху, с привычных мест (Лис застонал) — теперь ничего не найдешь!

Выходя, Лис стучается головой о низкую притолоку, снова проходит узким коридором, и вот, наконец, он в столовой. Садится, во главе длинного стола (при шести женщинах как не быть длинному столу), смотрит на стакан апельсинового сока у себя на тарелке, не пьет, не притрагивается к нему, просто сидит и терпеливо, в покорном унынии ждет.

Входит Порция, полная мулатка лет пятидесяти, в лице ее совсем немного желтизны, она почти белая. Вошла, остановилась, смотрит на неподвижно сидящего Лиса и застенчиво хихикает. Лис медленно обернулся, ухватился за лацканы пиджака и смотрит на нее в полнейшем недоумении. Хихикая, она застенчиво опустила веки и пухлыми растопыренными пальцами прикрыла толстые губы. Лис смотрит на нее в упор, словно за пухлой рукой с растопыренными пальцами пытается разглядеть лицо, потом с безнадежностью в глазах говорит медленно, замогильным голосом:

— Фруктовый салат.

А Порция в ответ, с тревогой:

— Что ж вы сок не пьете, мистер Эдвардс? Иль он вам не по вкусу?

— Фруктовый салат, — ровным голосом повторяет Лис.

— Что ж вы все кушаете этот фруктовый салат, мистер Эдвардс? На что вам сдалась эта консерва, мы ж вам апельсинчики выжимаем, свеженькие.

— Фруктовый салат, — скорбно, с безграничной покорностью отзывается Лис.

Порция ворча удаляется, но через минуту фруктовый салат уже перед ним на столе. Лис ест, потом оглядывается, поднимает глаза на Порцию и с той же безнадежной покорностью в голосе негромко, хрипло говорит:

— Это... все?

— Да что вы, сэр, мистер Эдвардс? — откликается Порций. — Кушайте на здоровье, чего пожелаете, только словечко скажите. Мы ж не знаем, чего вы прикажете. Прошлый месяц вы каждое утро приказывали рыбу... желаете опять рыбу?

— Грудку цесарки, — ровным голосом произносит Лис.

— Что это вы, мистер Эдвардс! — ахает Порция. — Как так, на завтрак грудку цесарки?

— Да. — Лис терпелив и настойчив.

— Как можно, мистер Эдвардс! — возражает Порция. — И вовсе вам не надо грудку цесарки на завтрак!

— Нет, надо, — с прежней безнадежностью говорит Лис.

И смотрит на нее в упор, глаза — точно море, подернутое дымкой, в лице, как всегда, гордость, и презренье, и терпеливая, стойкая горечь — весь его облик словно говорит: «Мужчина рождается от женщины, и рождается он для скорби».

— Мистер Эдвардс, — уговаривает Порция, — да где ж это видано, на завтрак — грудку цесарки! На завтрак кушают яичницу с грудинкой, а то поджаренный хлеб с беконом, вон что на завтрак полагается.

Лис по-прежнему смотрит на нее в упор.

— Грудку цесарки, — устало и все так же неумолимо твердит он.

— Т-так в-ведь, мистер Эдвардс, — уже в полном отчаянии заикается Порция. — Нет же у нас грудки цесарки.

— Позавчера вечером была, — говорит Лис.

— Ну да, сэр, ну да! — чуть не со слезами соглашается Порция. — А вся вышла! Мы ее всю съели!.. И потом, вы ж две недели каждый вечер ее кушали, вот миссис Эдвардс и сказала, хватит вам... она говорит, детям надоело, говорит — готовьте что другое!.. А если б вы сказали, мол, желаю на завтрак грудку цесарки, мы б вам приготовили. Так ведь вы сроду не скажете, мистер Эдвардс. — Порция вот-вот заплачет в голос. — Вы сроду не говорите, чего вам охота... вот мы и не знаем. То весь месяц вам каждый день охота на завтрак куриное пюре... А потом пожелали тресковые тефтели, и долго-долго так было, все тефтели да тефтели... А теперь вот грудка цесарки, — Порция чуть ли не рыдает, — а у нас ее нету, мистер Эдвардс. Сроду вы не скажете, чего вам охота. У нас и ветчина есть, и яйца... и бекон есть, и...

— Ну, ладно, — устало говорит Лис, — принесите, что есть... все равно что.

Он отворачивается, исполненный терпеливого презренья, непреходящей безнадежной горечи — и ему подают яйца. Лис с наслаждением их уплетает, потом принимается за

поджаренный хлеб — съедает три хрустящих, намазанных маслом ломтика и выпивает две чашки горячего крепкого кофе.

В половине девятого в столовую что-то входит — быстро и бесшумно, как солнечный луч. Это четырнадцатилетняя девочка, существо на редкость миловидное, четвертая дочь Лиса, по имени Руфь. Она — Лис в миниатюре: маленькая, грациозная, как птичка, складненькая, точно какой-то прекрасный зверек. В точности той же лепки и так же посажена небольшая головка, темно-русые гладкие волосы, лицо словно прозрачная слоновая кость, черты его, тонкие и выразительные, те же, что у Лиса, но преобразены женственностью, — в этом нежном точеном лице изящество изысканнейшей камеи.

И при этом мучительная, сродни страху, застенчивость. Девочка вошла неслышно, пугливо, затаив дыхание, голова опущена, руки бессильно повисли, глаза в пол. Видно было, что пройти мимо отца, заговорить с ним для нее сущая пытка; она проскользнула бочком, словно надеялась остаться незамеченной. Не поднимая глаз, робким тихим голосом вымолвила:

— Доброе утро, папочка.

И уже готова была укрыться на своем месте за столом, но Лис вскинул глаза, вздрогнул, вскочил, обнял ее и поцеловал. В ответ она быстро поцеловала его, но глаза поднять так и не осмелилась.

Лицо Лиса озарилось бесконечной нежностью.

— Доброе утро, детка, — негромко, глуховатым, чуть хриплым голосом сказал он.

По-прежнему не глядя на него, оробевшая, растерянная девочка попыталась высвободиться, и все же ясно было, как любит она отца. Сердце у нее стучало, как молот, глаза метались, точно у испуганного птенца, ей хотелось провалиться сквозь землю, стремглав выбежать из столовой, обратиться в тень — что угодно, что угодно, лишь бы стать совсем незаметной, чтоб никто ее не видел, не обращал на нее внимания, и главное — не заговаривал с нею! И она трепетала в отцовских объятиях, точно голубка, попавшая в силки, пыталась вырваться, и так остры были ее мученья, что больно было смотреть, страшно каким-то неверным шагом еще усилить смущенье и отчаянную робость этого перепуганного ребенка.

Лис крепче прижал дочь к себе, посмотрел на нее тревожно, озабоченно.

— Детка! — с беспокойством шепнул он и легонько потряс ее за плечи. — Что ты, детка? — спросил он. И уже требовательно, с оттенком привычного презренья: — Ну, что еще?

— Да ничего, папочка! — возразила Руфь, и в тихом смущенном голоске зазвучало отчаяние. — Ничего такого! — Она чуть изогнулась, стараясь вырваться. Лис неохотно разжал руки. Все так же не глядя на отца, девочка поспешно улизнула на свое место и с подавленным смешком заключила: — Ты такой смешно-ой!

Лис опять сел и все глядел на дочь строго, серьезно, с тревожной заботой и с толикой презрения. Она метнула в него испуганный взгляд и низко наклонилась над тарелкой.

— Что-нибудь случилось? — тихо спросил Лис.

— Да ничего не случилось! — с сердитым смешком возразила девочка. — С чего ты взял? Нет, правда, пап, ты такой стра-ан-ный!

— Так что же? — терпеливо, покорно настаивал Лис.

— Да ничего! Я ж тебе говорю — ни-че-го! Я ж тебе первее всего так сказала!

Все дети Лиса говорили «первое всего» вместо «прежде», и «главное всего» вместо «важно», и «длиннее всего» вместо «долго». Почему, неизвестно. Это, видно, семейное: так говорили не только дети Лиса, но и все их двоюродные братья и сестры с отцовской стороны. Можно подумать, будто многие поколения семьи этой жили обособленно, в изгнании на каком-то затерянном острове, оторванные от всего мира, и от дедов к внукам передавалось некое забытое наречие, на котором говорили их предки триста лет назад. К тому же они слегка растягивали слова, но не томно, как на далеком Юге, а как-то недовольно, устало и ворчливо, словно уже не надеялись, что Лис — или любой другой — поймет простые истины, которые

ясны сами по себе и которые надо бы понимать безо всяких объяснений. Итак:

— Да ничего, папочка! Я ж тебе первее всего сказала!

— Так что же все-таки, детка? — настаивал Лис. — Почему ты такая? — И он выразительно повесил голову.

— Да какая такая? — возразила девочка. — Ох, папочка, ну честное слово... — Она судорожно глотнула, выдавила из себя смешок и отвела глаза. — Я прямо не знаю, про что ты.

Порция внесла дымящуюся овсяную кашу и поставила перед ней.

— Доброе утро, Порция, — застенчиво сказала Руфь, опустила голову и принялась торопливо есть.

Лис по-прежнему глядел на нее строго, серьезно, с тревогой. А девочка вдруг подняла глаза и отложила ложку.

— Ну, пап, чего ты?

— Эти негодяи опять сегодня придут? — спросил Лис.

— Ох, папа, какие еще негодяя?.. Ну, честное слово!

Она поерзала на стуле, судорожно глотнула, хотела было засмеяться, схватила ложку, принялась было есть — и опять отложила ложку.

— Негодяи, которых вы... вы, жен-щи-ны... — он с насмешливой почтительностью склонил голову, — привели, чтобы разрушить мой очаг.

— Да ты про кого? — Девочка озиралась, как затравленный зверек: куда бы спрятаться? — Я не понимаю, о ком ты?

— Я о молодчиках, которые отделявают квартиры, — сказал Лис. — О тех... — тут в голосе его зазвучало непередаваемое пренебрежение, — которых вы и ваша мать привели, чтобы погубить этот дом.

— А я-то при чем! — возразила девочка. — Ох, папочка, ты такой... — Она не договорила, поерзала на стуле и со смешком отвернулась.

— Итак... какой? — негромко, хрипло, презрительно спросил Лис.

— Ой, ну я не знаю... такой... такой стра-анный! Ты говоришь так смешно!

— Вы, женщины, — продолжал Лис, — решили вы, когда наконец я обрету в своем доме хоть немного покоя?

— По-ко-о-я?.. Да разве я виновата? Если ты против маляров, почему ж ты не скажешь маме?

— Потому... — Лис подчеркнуто, насмешливо склонил голову, — потому что... со мной... не считаются! Я всего лишь... старый... серый... мул... среди шести женщин... и для меня, разумеется, все сойдет!

— Да чем же мы виноваты? Мы не сделали тебе ничего плохого! Почему ты так говоришь, будто тебя обижа-а-ют?.. Ох, папочка, ну честное слово!

Девочка отчаянно заерзала, хотела было засмеяться, отвернулась и снова наклонилась к самой тарелке.

Лис сидит, откинувшись в кресле, сжимая одной рукой подлокотник — он углублен в себя, отрешен, весь его облик красноречивей всяких слов говорит о глубоком, безнадежном терпении, — и еще с минуту серьезно разглядывает девочку. Потом сует руку в карман, вытаскивает часы, смотрит на них, снова бросает взгляд на Руфь и качает головой — воплощенный строгий упрек и молчаливое обвинение.

Дочь испуганно вскинула голову, положила ложку, тихонько ахнула.

— Ну что? Чего ты качаешь голово-о-ой? Что еще?

— Мама встала?

— Ну, откуда мне зна-ать?

— А твои сестры встали?

— Ну, па-а-па, я же не зна-аю.

— Ты рано легла спать?

— Д-да-а, — недовольно тянет девочка.

— А твои сестры в котором часу легли?

— Ну откуда же мне зна-ать! Ты их са-ам спроси!

Лис опять смотрит на часы, на дочь и снова качает головой.

— Женщины! — тихо говорит он и сует часы в карман.

Руфь наконец отставила кашу, больше ей не хочется. Тихонько слезла со стула и, глядя в сторону, пытается проскользнуть мимо отца и — вон из комнаты. Лис быстро встал, поймал ее и негромко, торопливо и встревоженно спрашивает:

— Куда ты, детка?

— Ну, в шко-о-лу же!

— Нет, детка, сперва надо позавтракать!

— Ну, я пое-е-ла!

— Нет! — чуть слышно, нетерпеливо возражает Лис.

— Ну, я поела, сколько могла-а!

— Ничего ты не ела! — тихонько, пренебрежительно возражает Лис.

— Ну, я больше не хочу! — говорит она, оглядывается по сторонам, точно загнанный зверек, и пытается выскользнуть из его рук. — Ну, пап, пусти, я опозда-аю!

— Что ж, значит, опоздаешь! — тихонько, пренебрежительно говорит великий блюститель времени и порядка. — Сядь и поешь! — подчеркивая каждое слово кивком, непреклонно заявляет он.

— Не могу-у я! У меня доклад.

— Что у тебя?

— Зачетный докла-ад... у мисс Аллен... урок в девять.

— А... понимаю, — медленно произносит Лис. И тихонько, едва слышно прибавляет: — Об... об Уитмене?

— Ну, да-а.

— А... а книжку, которую я тебе дал, прочла? Где военный дневник и заметки?

— Да-а.

— Поразительно! — почти шепотом говорит Лис. — Поразительно, правда? Кажется, будто сам присутствуешь при этом, правда? Он... он так во все это вжился... можно подумать, будто это все он сам... будто все это происходит с ним самим!

— Да-а. — Девочка затравленно озирается, потом, не глядя на отца, выпаливает: — И про другое ты тоже верно сказал.

— Про что другое?

— Про ночь... что в нем столько ночи и тьмы... и про его... про его чувство ночи.

— А... — тихонько, медленно произносит отец, его светлые, как море, глаза подернуты дымкой раздумья. — В докладе ты говоришь и об этом?

— Да-а. Это правда. Ты когда мне сказал, я прочла еще раз, и это правда.

Застенчивая, робкая, испуганная, точно загнанный зверек, она, однако, умеет видеть правду.

— Отлично! — все так же тихо произносит Лис, с безмерным удовлетворением решительно кивает. — Уверен, что доклад хороший!

Матово-бледное, как будто из слоновой кости выточенное личико вспыхивает. Как и отец, девочка любит, когда ее хвалят, но слышать похвалу не в силах. Она ежится, и страшно ей, и надеется она, не надеясь...

— Не зна-аю, — судорожно глотнув воздух, произносит она. — Мисс Аллен мой последний доклад не понравился... про Марка Твена.

— Ну и бог с ней, с мисс Аллен, — пренебрежительно, негромко роняет Лис. — Доклад был отличный. Ты очень верно написала о «Миссисипи».

— Зна-аю! А ей как раз это и не поправилось. Она, кажется, совсем не поняла, что я хотела сказать, заявила — это незрело, неглубоко, и поставила мне «посредственно».

— А-а... — рассеянно протянул Лис, а сам думал с огромным удовлетворением: «Ну что за девчонка! Отличная голова. Она... она все понимает!»

— Видишь ли, детка, — негромко, мягко говорит Лис, возвращаясь к мисс Аллен. — Они

не виноваты. Люди вроде нее стараются изо всех сил... но... но, похоже, им просто не дано понять. Видишь ли, мисс Аллеи человек академического склада... скорей всего, я думаю, старая дева. — Он подкрепляет свои слова решительным кивком. — А людям такого склада — где им понять Уитмена, Твена, Китса... Обидно, — бормочет Лис и качает головой, и во взгляде его тревожное сожаление, — обидно, что впервые нам приходится слышать об этих писателях в школе, от... от таких вот, как мисс Аллен. Видишь ли, детка, — он чуть склонил голову набок, здоровое ухо обращено к девочке, он говорит мягко и необычайно ясно, лицо живое, проницательное, вдумчивое, увлеченное, все так и светится, оно всегда такое, когда интерес и раздумье пробуждают в мозгу этого человека мудрого змия, — видишь ли, детка, школа штука хорошая, поверь мне... но она делает свое дело, а Ките, и Уитмен и Твен — свое, совсем другое... Таким, как они, в школе не место. Школа... школа — она академична, и те, кто учит в школе, чистые теоретики, а такие, как Уитмен... поэты... они совсем не теоретики... они... на самом-то деле они против того, чем занимаются чистые теоретики. Поэты, они... они все открывают для себя заново, сами. Поэты проникают в самую суть, а потом создают свой собственный мир... а теоретикам этого не понять, и потому их суждениям о поэтах невелика цена. — Лис помолчал, покачал головой и говорит негромко, с искренним огорчением: — Грустно! Очень грустно, что впервые мы узнаем о них в школе... но надо постараться... взять от школы все, что только можно, а когда учителя выложат все, что знают, — сейчас в его голосе и понимание, и презренье, и сожаление, — их рассуждения и теории надо забыть.

— Зна-аю! Но понимаешь, пап, когда мисс Аллеи объясняет, как они писали... она чертит на доске схемы и диаграммы, и это у-ужас! Я просто не могу... это невозможно вынести!.. Пап, ну пусти же! — Она изгибается, стараясь вырваться, на нежном личике мучительное смущение. — Папочка, ну пожалуйста! Мне ж пора! Я опоздаю!

— А как ты поедешь?

— Ну, как всегда, как же еще.

— На такси?

— Да нет же, трамваем.

— А... каким?

— Который в сторону Лексингтон-авеню-у.

— Одна? — негромко, озабоченно спрашивает отец.

— Конечно, одна!

Он сурово на нее смотрит, лицо у него скорбно-озабоченное, он качает головой.

— А чем плохо трамваем? Ох, пап, ты такой... — Руфь изгибается, глядит куда-то в сторону, на лице улыбка мучительного смущенья. — Папочка, ну пожалуйста! Пусти меня! Я опозда-аю!

Она робко отталкивает его, стараясь высвободиться, он целует ее и неохотно отпускает.

— До свиданья, детка, — негромко, хрипловато говорит он, в голосе его и нежность, и тревога, и озабоченность. — Будь осторожна, хорошо?

— Ну конечно же! — Неловкий смешок. — Тут и осторожничать-то нечего. — И вдруг робко, тихонько: — До свиданья, папочка.

И мигом, неслышно исчезает — так гаснет свет.

Лис с тревогой и с нежностью смотрит ей вслед своими светлыми, как море, глазами, пока она не скрылась за дверь. Теперь он вернулся к столу, сел и взялся за газету.

Новости.

29. «Порожние люди»

Лис берет газету, откидывается на спинку кресла и со вкусом принимается за чтение. В руках у него «Таймс». (С вечера он допоздна читал «Трибюн»: с нетерпением ждал ее, ни за что не упустил бы, никогда не упустил, не мог бы уснуть, если б не прочел ее на сон грядущий. А теперь, утром, Лис читает «Таймс».)

Как он читает «Таймс»?

Он читает, как читают газеты все американцы. И, однако, редкий американец так читает газету, как Лис: чуткими, гордо и презрительно раздувающимися ноздрями он вынюхивает те новости, что скрыты между строк.

Он это любит... любит даже «Таймс»... Возлюбленную, которая любви не достойна... а все мы разве ее не любим? Газетные листы, пахнувшие свежей краской, миллионы газетных листов... запах свежей краски в придачу к свежести утра, апельсиновому соку, вафлям, яичнице с ветчиной и чашке горячего крепкого кофе. Как это славно — у нас в Америке утром, душистым от свежей типографской краски и кофе, читать газету!

Сколько раз мы читали газеты! Сколько раз находили их у наших дверей! Мальчишки-разносчики свертывают газету, чтоб сподручней было бросать, и вот мы подбираем у дверей и разворачиваем шуршащие, пахнувшие краской листы. Порой брошенная издали газета шлепается у двери негромко, легко; порой шумно, тяжело ударяется о дощатое крыльцо (чаще всего оно у нас, в Америке, дощатое); порой, вот как сейчас на улице Черепашьей бухты, слуги подбирают ее, за минуту перед тем аккуратно свернутую и положенную у порога, и подают хозяевам к столу. Как бы она к нам ни попала, мы без нее не обходимся.

До чего же мы, американцы, любим газету! До чего же мы ее любим, все, как один! Почему мы, американцы, так любим газеты? Почему мы их так любим, все, как один?

Я вам объясню, почему, безумные господа мои.

Потому что у нас в Америке газета — это «новости», а мы любим запах новостей. Нам нравится запах «подходящих для печати» новостей. А также — запах новостей, для печати отнюдь не подходящих. И притом мы любим запах событий и фактов, из которых слагаются новости. А стало быть, мы любим газеты, потому что новости в них столь печатны... столь непечатны... и столь фактопечатны.

Так что же, новости подобны Америке? Нет, отнюдь — и Лис, в отличие от всех вас, безумные господа, перелистывая «Таймс», хорошо знает, что на этих страницах перед ним не Америка, а всего лишь новости.

Эти новости — не Америка, и Америка — не новости. Это — новости, какие сообщают про Америку. Это своего рода освещение, в каком предстает Америка утром, вечером и в полночь. Это своего рода нарост, верхний слой, отпечаток нашей жизни. (Не слишком верный отпечаток — он не поведает о нас полной правды — и все же это новости!)

Лис читает (гордые ноздри принохиваются с презрительным наслаждением):

«Человек, чью личность пока не удалось установить, выпал или выбросился вчера в полдень из окна двенадцатого этажа отеля „Адмирал Дрейк“, на углу Хэй-стрит и Эппл-стрит, в Бруклине. Неизвестному лет тридцать пять. По сведениям полиции, он поселился в отеле неделю назад под именем С.Простак. В полиции полагают, что имя это вымышленное. До опознания тело содержится в морге».

Такие, значит, новости. Но все ли здесь сказано, адмирал Дрейк? Нет! Но мы, кому известно, какая погода по всей Америке, где пасмурно, а где светит солнце, — мы ведь не досказываем все до конца, как досказывает сейчас Лис:

Итак, вот новость, и случилось это в отеле вашего имени, brave адмирал Дрейк. Не где-нибудь в отеле «Пенн-Питт», город Питтсбург, или «Фил-Пенн», Филадельфия, не в «Йорк-Олбани», город Олбани, не в «Гудзон-Трои», Трои, не в «Либия-Ритце», Либия-хилл, и не в «Клей-Калхуне», Колумбия, не в «Ричмонде-Ли», Ричмонд, не в отелях имени Джорджа Вашингтона в Истоне, штат Пенсильвания, Кантоне, штат Огайо, Терре-Хот, штат Индиана, Данвилле, Виргиния, Хьюстоне, Техас, и еще девяноста семи местах; и не в отелях Авраама Линкольна в Спрингфилде (штат Массачусетс), Хартфорде (Коннектикут), Уилмингтоне (Делавэр), Кейро (Иллинойс), Канзас-Сити (Миссури), Лос-Анджелесе (Калифорния) и еще ста тридцати шести городах; а также не в бесчисленных отелях имени Эндрю Джексона, Рузвельта (Теодора или Франклина — выбирайте любого), Джефферсона Дэвиса, Дэниела Уэбстера, Твердокаменного Джексона, Ю.-С.Гранта, Коммодора Вандербилта, не в Уолдорф-

Астории, Адамс-хаусе, Паркер-хаусе, Палмер-хаусе, Тафте, Мак-Кинли, Эмерсоне (Уолдо или Бром), не в котором-нибудь из Хардингов, Кулиджей, Гуверов, Элбертов Дж.Фоллов, Гарри Доггерти, Рокфеллеров, Гарриманов, Карнеги или Фриков, Христофоров Колумбов или Лейфов Эриксонов, Понсе-де-Леонов или Магелланов в остальных восьмистах сорока трех американских городах, — но в отеле вашего имени, бравый адмирал Фрэнсис Дрейк, а стало быть, разумеется, вам желательно знать, что же произошло.

«Неизвестный человек» — так вот, он был американец. «Лет тридцати пяти», «имя вымышленное» — так вот, будем называть его Просстак, как он сам иронически назвался в гостиничной книге записей. Стало быть, неизвестный американец С.Просстак «выпал или выбросился» «вчера в полдень... в Бруклине» и сегодня удостоился девяти строк в «Таймсе» — один из семи тысяч, что умерли вчера на нашем континенте, один из трехсот пятидесяти, что умерли вчера в одном только нашем городе (смотри плотные, убористые столбцы извещений о покойниках на стр. 15, с первой и до последней буквы алфавита). С.Просстак прибыл сюда «неделю назад»...

А откуда прибыл? Из самого сердца Юга, или из долины Миссисипи, или из недр Среднего Запада? Из Миннеаполиса, Бриджпорта, Бостона или из какого-нибудь городишка в Старой Кэтоубе? Из Скрантона, Толидо, Сент-Луиса или из пустынной белизны Лос-Анджелеса? С поросшего соснами плоского песчаного побережья Атлантики или с берегов Тихого океана?

И кем он, следовательно, был, бравый адмирал Дрейк? Что он в своей жизни видел, слышал, пробовал на ощупь, на запах и на вкус? Что изведал?

Изведал неистовую ярость наших времен года: сжигающий всю страну июльский зной, удушливые гнилостные испарения медленных рек, вязкие илистые поймы, разросшиеся сорняки и жаркий, резкий, влажный запах маиса. Был из тех, кто в Сент-Луисе говорит: «Господи, ну и жарыща же!» — и, скинув куртку, утерев пот с лица, отправляется к «Огасту» съесть сандвич с швейцарским сыром и выпить жестянку пива. Был из тех, кто в Южной Каролине говорит: «Черт, ну и жарыща!» — и с засученными рукавами, в соломенной шляпе шатается по Южной Главной улице, заходит в аптеку Ивенса подкрепиться и говорит продавцу содовой: «Ну как, Джим, не мерзнешь нынче?» Из тех, кто в газете читает про жару, про покойников и всякие несчастья, читает с некоторым даже удовлетворением, изо дня в день угрюмо тянет ляжку и мается по ночам бессонницей, не может спать из-за жары, поднимается утром через силу и, когда вся страна задыхается от жары и вся зелень, что была в мае такой свежей, становится пятнистой, тусклой, блеклой, жухнет, буреет и сохнет, — говорит: «О, господи! Кончится же это когда-нибудь!» И представьте, адмирал Дрейк, еще похвастает, какая в горах прохлада: «По ночам всегда прохладно! В мае среди дня довольно-таки тепло, но по ночам уж непременно укрываешься одеялом».

А потом лето сходит на нет и настает октябрь. Тогда он вдыхает запах дыма, и вдруг — неожиданный прилив сил, внезапный трепет, радостный порыв, и печаль, и тяга куда-то вдаль. С.Просстак не знает, отчего все это, адмирал Дрейк, но солнце садится раньше и лучи его ложатся косо, и даже в полдень свет словно затянут золотой пылью, а в сумерки — красноватой мутью, а потом — холод, и тишина, и лают собаки; в горах пламенеют клены, горят эвкалипты, бронзой отсвечивает листва дубов и ярко желтеют осины; потом начинаются дожди, мертвая бурая листва под ногами пропитана влагой, а над головой густая сеть голых веток — это настает ноябрь.

В маленьких городках ждут зимы — и зима настает. Вообще-то и в больших городах то же самое, но в глуши зимнее уныние вдесятеро безысходней. Весь день человек на людях, поглощен делами, яростной гонкой, а потом всегда одно и то же унылое: «Куда теперь пойти? Чем заняться?» Зима стискивает нас, замыкает в кольцо каждый дом, нас обдаёт безжалостным, резким электрическим светом — и С.Просстак выходит на улицу. Порой на лицо его падает безжалостный свет фонаря, адмирал Дрейк, под фонарями — бесконечный поток унылых лиц, подмигивают светящиеся вывески театров, кино и прочих развлечений. На Бродвее неизменный слепящий блеск неживых огней; и в маленьких городишках на Главной

улице тоже горят гроздья слепящих фонарей. На Бродвее до полуночи кишмя кишат миллионные толпы; в маленьких городишках слепящие фонари и стылая тишина — после десяти на улицах пусто, ни души. Но всюду и везде в сердцах Просстакон унылая скука, смутное отчаяние и «О господи! Куда деваться? Когда она кончится, эта зима?».

И они тоскуют по весне, brave адмирал Дрейк, и думают — скорей бы суббота!

Наступает субботний вечер и все, чего мы так ждем. О, сегодня оно придет! То, чего мы ждали всю жизнь, в эту субботу придет! В субботний вечер мы ждем этого всюду, по всей Америке, и девяносто миллионов Просстакон, точно мотыльки, слетаются на свет в поисках долгожданного. Конечно же, сегодня оно придет! И Просстак отправляется на поиски — и находит... все те же слепящие огни, кабаки на Третьей авеню или заведение грека в захолустном городке... а потом почти не разбавленное виски, джин, и опьянение, и перебранки, и драки, и рвота.

Воскресное утро, трещит голова.

Воскресный день, в больших городах вспыхивают вывески ресторанов и горят бесплодными посулами нерожденных радостей.

Воскресный вечер, и ледяные звезды, и безысходность нашей зимы — в холод замкнуты наглухо дома из выветрившегося кирпича, и неприступные особняки, и некрашенные деревянные домишки, обезлюдившие фабрики, верфи, причалы, склады, банки и конторы, и мучительное убожество Шестых авеню; а в городах помельче — унылые Главные улицы с безотрадными витринами убогих магазинчиков и лиловатыми гроздьями фонарей, а на улицах, застроенных деревянными жилищами, в десять все окна уже темные, свищет ветер в голых ветвях, и на перекрестках, в железных руках фонарных столбов, вздрагивают безжизненные огни. По-зимнему унылый свет падает на деревянный фасад и крыльцо убогого дома, где живет полицейский; скучный, тоскливый свет проникает в душную, тесную, точно ящик, гостиную, где дочка полицейского кокетливо принимает гостя и кое-что (но не все) позволяет. Разгоряченно, лихорадочно, пугливо, неутоленно — уж слишком близок холодный свет улицы... слишком громки скрип, дыхание, слишком ненадежно-близко за хлипкими стенами остальные в этом хлипком доме... слишком близко тяжелые, неспешные, скрипучие шаги папаши-полицейского... и, однако, есть тут какая-то храбрость, какая-то сила, как-то все же торжествуешь над лакированной спертостью тесной гостиной, над близким соседством улицы, фонаря, скрипучих сучьев и тяжелой походкой папаши полицейского, — какое-то победное торжество от жаркого дыхания, от розовых губ и ласкового язычка, от белой кожи и туго сжатых бедер — эта потаенная близость, полная страха и чудесного жаркого желания, возьмет верх над унылым серым однообразием времени и даже над угрюмой беспросветностью нескончаемой зимы.

Это вас удивляет, адмирал Дрейк?

— Но черт побери! — Просстак выходит из этого дома, терзаемый неутоленным желанием, потрескивает безжизненный свет. «Когда все это кончится? — думает он. — Когда же весна?»

И вот она приходит, совсем неожиданно, когда после долгого ожидания уже потеряна всякая надежда. В марте выдался день почти совсем весенний — и С.Просстак, которому так не терпелось, говорит: «Ну вот, наконец-то», — а это лишь обманчивое видение. В марте весне доверять не приходится. И опять — холода, и резкий свет, и судорожные стоны ветра. Потом апрель, зарядил мелкий дождик. Промозглая сырость пронизывает до костей, но в воздухе уже пахнет весной — землей пахнет, пробившейся кое-где травой, там и сям — былинка, почка, лист. И на день-другой настает волшебство весны: «Вот она! — думает Просстак. — Наконец-то!» — и опять обманывается. Весны и след простыл, снова холод, и серость, и зарядил мелкий дождик. Просстак отчаялся. «Нет весны и не будет! — говорит он. — После зимы сразу нагрянет лето, оглянуться не успеешь — начнется жара!»

И тут-то приходит весна — за одну ночь взрывается из-под земли снопами зеленых лучей! Двадцать восьмое апреля — и дерево на городских задворках окутано золотистой дымкой, покрыто пухом едва проклюнувшихся листочков! Двадцать девятое апреля — за ночь

листва и золотистая дымка стали ярче и гуще. Тридцатое апреля — все растет и сгущается прямо на глазах! И вот первое мая — дерево все зазеленело, густые, почти уже распутившиеся листья свежи и нежны, как перышки! Из-под земли взорвалась весна!

В сущности, у нас тут все взрывчатое, адмирал Дрейк, — весна, свирепое лето, морозы, октябрь, февраль в Дакоте — пятьдесят один ниже нуля, весенние половодья, двести человек гибнет в водах Огайо, в Миссури, в Новой Англии, по всей Пенсильвании, в Мэриленде и в Теннесси. Весна набрасывается на нас в одну ночь, и все у нас огромно и неукротимо, как взрыв, как половодье. Несколько сотен гибнут в половодье, сотня — в жару от солнечного удара, двенадцать тысяч в год — от руки убийцы, тридцать тысяч — под колесами автомобилей, и все это у нас мелочь. Такие половодья опустошили бы Францию; столько смертей погрузили бы Англию в беспросветный траур; а в Америке на несколько тысяч С.Просстак больше или меньше — утонувших, убитых, раздавленных колесами, выбросившихся из окна — что ж, это для нас мелочь, их вытеснят из памяти следующее половодье или жатва, которую на следующей неделе смерть снимет убитыми и раздавленными. У нас все делается с размахом, адмирал Дрейк.

И вот на улице пахнет смолой, и землей пахнет, и кричит ребяшня. Небо ясное, прозрачное, нигде ни облачка, всюду искристая синева, и в вышине полощется на ветру полосатый, как леденец, славный флаг. В мыслях С.Просстака — бейсбол, красная, точно ошпаренная, ручища Левши Гроува, упругие удары ясеновой биты по тугому кожаному мячу, и полусжатая в ожидании мяча лоснящаяся рукавица, дух прокаленной солнцем галерки стадиона, насмешливые выкрики зрителей, по-летнему без пиджаков, подача за подачей — нескончаемое однообразие, все одно и то же. (В сущности, бейсбол скучнейшая игра; тем-то она и хороша. Нам по душе не столько сама игра, просто мы любим бесконечно, дремотно, вяло сидеть без пиджака на галерке.) В субботу днем С.Просстак идет на бейсбол и сидит в толпе зрителей, дожидаясь острых, решающих минут и общего вопля. Но вот игра кончена, и толпа растекается по зеленому полю. В воскресенье Просстак на своей малолитражке уезжает на весь день за город с какой-нибудь девчонкой.

И вот уже лето, паляще жаркое, в испарине, затянутое мутной дымкой, с тусклым, раскаленным небом, выматывающее все силы... И С.Просстак обливается потом, утирает лицо платком и говорит: «О, господи! И когда это кончится?»

Так вот он каков, С.Просстак «лет тридцати пяти», «неизвестный» американец. В каком смысле американец? Чем он отличается от людей, которых знали вы, старина Дрейк?

Когда корабли повернули домой и перед Испанцем запылал мыс Сент-Винсент, или когда старина Дрейк возвращался со своими людьми из далеких морей, шел полным ходом к родным берегам, мимо островов Силли — к полям под косым вечерним солнцем, к меловым утесам, к надежной гавани, к милой тесноте родного города и знакомому высокому шпилю — где в ту пору был Просстак?

Когда на рассвете, в диких зарослях красного дуба, выдавшие виды охотники, устроив засаду на медведя, вдруг слышали шорох стрел, пронизавших листву, и свист пуль, и ждали, укрывшись за стволом, вскинув мушкет, — где в ту пору был Просстак?

И когда люди с ястребиным взором и суровыми, неподвижными, точно у индейцев, лицами, взяв ружья наперевес, шли тропами Запада вслед заходящему солнцу и, не дрогнув, слушали яростные воинственные клики вокруг Пэйнтид-Батс — где он был в ту пору, Просстак?

Нет, его не было среди людей Дрейка в тот вечер, когда корабли возвратились от берегов Америки! Его не встречал у мыса Сент-Винсент горящий темным огнем взор Испанца! Его не было поутру в зарослях красного дуба! И он не слышал воинственных кликов вокруг Пэйнтид-Батс!

Нет, нет. Он не плавал по неведомым морям, не прокладывал тропу на Запад. Он был извечным маленьким человеком, извечным безымянным ничтожеством, песчинкой, малым атомом, извечным американцем — и вот он лежит, разбившийся вдребезги, на бруклинской мостовой.

Он всегда жил на убогих улицах, этот Простак, букашка в джунглях Нью-Йорка, обитатель угрюмой стали и камня, крот, что зарывался в источенный временем кирпич и ошалело глазел на высоченные небоскребы, розовеющие в утренних лучах. В маленьком городке он арендовал дрянной деревянный домишко или владел новехоньким, необжитым домиком в предместье. Он просыпался поутру в унылом квартале, под звон будильника, ворчал: «Черт возьми, опаздываю!» — и срезал пустырь наискосок, позади рекламных щитов; он был приучен к бетонным чудушам в жаркий день, под палящим солнцем; ему была привычна мешанина разношерстных зданий, щербатые мостовые, урны для мусора, убогие витрины, мутно-зеленая краска, эстакада надземки, ревущие вереницы автомобилей, улицы, изуродованные тысячами унылых, зловещих знаков. Он привык к выезжающим из города бензиновым цистернам, он был крохотным колесиком в бесконечном потоке, что движется, останавливается и снова движется по воле мигающих светофоров; в воскресные дни он мчался по бетонным шоссе мимо ларьков с горячими сосисками и заправочных станций; он возвращался в сумерки; голод влек его под мигающие разноцветными огнями вывески китайских ресторанчиков; а полночь заставала его в кафе грека Джо, где он беспокойно сутулился над чашкой кофе, крошил булочку и кое-как избывал медлительную, серую золу времени и скуки среди других серолицых людей в серых фетровых шляпах.

С.Простак умел, хоть и с ошибками, читать (чего не умел Дрейк), умел он и писать (чего не умел Испанец), но не слишком хорошо. С.Простак на иных словах спотыкался, с трудом одолевал их в полночь над чашкой кофе, морща лоб, шевеля губами и чертыхаясь, когда газетные новости ошарашивали его — ибо он читал газеты. Предпочитал те, что с картинками, — глядел на пышнотелых девиц, сидящих в соблазнительной позе — нога на ногу, юбочка выше колен, в пухлом кукольном личике ни тени мысли, одно распутство. Новости «свеженькие», не так, как это понимает Лис, который презрительно раздувающимися ноздрями до тонкости чует новости, скрытые между строк, нет — напрямик, с пылу, с жару, сочные, и горчички вволю — чтоб ножки что надо, и разбитые машины на обочинах, исковерканные трупы, любовницы бандитов и логовища убийц, серые ночные лица и немигающие глаза в луче карманного фонарика, и разговоры о расторгнутых помолвках и откупе от невесты, о совратителях, насильниках и сексуальных преступлениях — вот что было по вкусу Простаку.

Да, Простак любил новости — и вот он сам стал новостью (девять строчек в «Таймсе»), когда разбился о бруклинский асфальт!

Да, таков был наш друг С.Простак, который читал с грехом пополам и писал не без труда; обладал нюхом, но не слишком тонким; чувствовал, но не слишком глубоко, и видел, но не слишком ясно... однако он чуял в мае запах смолы и медленной едкой желтизны рек, и свежий, резкий запах маиса; видел косые вечерние лучи на склонах Смоки-хилла и набухающую бронзово-смуглую землю, просторные красные амбары Пенсильвании, великолепно соразмерные, издалека видные в полях, точно гордые великаны-быки; ощущал морозную тишину октября; слышал далекие надрывные паровозные свистки в ночной тьме и пеньё рожка под Новый год, и — «Господи! Вот и еще год прошел! А дальше что?».

Он был не Дрейк, не Испанец, не из тех закаленных и грубых пионеров, кто распахивал нетронутые земли и наперекор всему пробивался на Запад. И, однако, где-то в глубине его существа, в какой-то малой клеточке, скрывалась малая частица каждого из них. Быть может, в жилах Простака скрывалась капля шотландской крови и капля ирландской, и английской, и даже испанской, и толика немецкой — всего понемножку, и все это смешалось и породило безымянный атом Америки.

Нет, Простак — бедный маленький Простак — был совсем не таким человеком, как Дрейк. Он был просто крупинкой золы, отпавшей от костра жизни... мысли его почти всегда были низменны, понятия — первобытно грубы. Он был хлипкий, малосильный, доставало ему ни задора, ни остроумия. Дрейк обгрызал в кабаках сочное мясо с костей, осушал огромные кружки пива, сыпал сквозь усы соленой руганью, утирал губы тылом жесткой ладони, швырял обглоданную кость псу и грохал кружкой о стол, требуя еще пива. Простак

кормился в дешевых закусовых, беспокойно сутулился над чашкой кофе с жареным пирожком или сладкой булочкой, а в субботний вечер шел в китайский ресторанчик и глотал китайское рагу, суп с лапшой и рис. У него был вялый, тонкогубый, невыразительный рот, чаще всего безвольно обмякший, либо злобно огрызающийся; кожа серая, жесткая, сухая; глаза тусклые, и в них всегда — страх. Дрейк был личность независимая, чувствовал себя в мире господином, привольно разгуливал по морям, летел хоть на край света, не смущаясь никакими далями и расстояниями. Глаза у него были светлые, цвета моря (совсем как у Лиса), и его корабль — это была Англия. У Просстака не было корабля, у него был автомобиль, и в воскресные дни он носился по асфальту дорог и тормозил перед светофорами вместе с миллионами других крупиц золы, мчащихся в раскаленной пустыне. Просстак бродил по ровному асфальту тротуаров и по серым мостовым, по раскаленным грязным улицам, мимо облезлых многоквартирных домов. Дрейк плыл навстречу западному ветру, шагал по качающимся, омытым солеными волнами палубам, он захватил Испанца и его золото, а под конец прибыл в гавань, под милую сень высокого шпиля, где ждал город, теснящийся на берегу, и спускающиеся к Плимутскому порту изумрудные поля, — и тогда-то появился Просстак!

Нам, никогда не выдавшим бравого адмирала Дрейка, вовсе нетрудно себе представить, что он был за человек. И столь же легко мы можем вообразить бородатого Испанца, и, кажется, нам даже слышна его богохульная брань. Но ни Дрейку, ни Испанцу воображение не могло бы нарисовать Просстака. Кто мог бы предвидеть его — ничтожную песчинку Америки, разбившуюся сейчас об асфальт одной из улиц Бруклина?

Вот он перед вами, адмирал Дрейк, смотрите же! И слушайте, что говорят вокруг! Есть в этом зрелище что-то столь же удивительное, как Великая армада, как груженные золотом корабли бородатых испанцев, как видение еще не открытой Америки.

Что же вы сейчас видите, адмирал Дрейк?

Ну, во-первых, здание — отель, носящий ваше имя, — таких зданий сроду не видывали жители Плимута. Высоченная грязно-белая каменная громада, четырнадцать этажей, прорезанных скучными рядами многочисленных окон. Внизу зеркальные витрины и за стеклом — лекарства, мыло, пудра, духи, всяческая косметика и средства ухода за телом. Внутри, адмирал Дрейк, прилавок с газированной водой. Продают газировку люди в белом, в нелепых колпаках — вечно угрюмые, задерганные, вечно сердитые. Под прилавком мутные лужи, грязь и невымытая посуда. По другую сторону прилавка еврейки с толстыми накрашенными губами запивают фруктовой водой мороженое и сэндвичи с острым сыром.

А снаружи на асфальте лежит наш разбившийся друг С.Просстак. Вокруг собралась толпа — шоферы такси, прохожие, зеваки, что околачивались у станции метро, разный люд, что работает по соседству, и полиция. Никто еще не осмелился тронуть разбившегося Просстака — только стоят плотным кольцом и неотрывно, заворожено смотрят.

А смотреть-то особенно не на что, адмирал Дрейк; даже те, кто ступал по вашей залитой кровью палубе, едва ли сочли бы это зрелище привлекательным. Наш приятель прежде всего ударился головой — «спикировал», как мы говорим, — и мозг из разбитого черепа заляпал внизу железный ствол второго от угла фонарного столба. (Такие фонари описаны выше, они стоят по всей Америке — «стандартные», совершенно одинаковые столбы, и на каждом — пять жестких, матового стекла виноградин.)

Вот тут-то, на асфальте, и лежит переломанный Просстак. Головы не осталось, нет головы, она разбилась вдребезги; остался только мозг. Он розовый и почти без крови, адмирал Дрейк. (Крови здесь почти нет — мы еще объясним вам почему.) А разбитый мозг похож на только что пропущенный через мясорубку бледный фарш. И он прочно прилип к фонарному столбу; что-то в этом есть подчеркнутое, нарочитое, словно этот столб умышленно обдали мозгами из шланга, под большим давлением.

Головы, как мы уже сказали, не осталось; кое-где раскиданы осколки черепа, но ни лица, ни лба — ничего! Все разнесло без следа, будто взрывом изнутри. Уцелела лишь часть затылка, совершенно пустая, округлая, изогнутая, словно рукоять трости.

Тело — все пять футов и восемь или девять дюймов, вес средний — лежит на асфальте... мы чуть было не сказали «лицом вниз», но не верней ли — «животом вниз»? И оно неплохо одето: все на нем готовое, дешевое, отштампованное; башмаки коричневые, носки в разводах, костюм из легкой красновато-коричневой ткани, опрятная канареечно-желтая рубашка с пристежным воротничком — С.Простак явно обладал чувством стиля! Ну, а само тело... если не считать какого-то странного, неясного впечатления «разбитости», нельзя по его виду сказать, что все кости переломаны. Руки еще раскинуты в стороны, пальцы то ли полусогнуты, то ли наполовину сжаты в кулаки, и что-то в этом есть еще теплое, потрясающее, почти еще живое. (И пяти минут не прошло, как все это случилось!)

Но где же кровь, Дрейк? Вам хотелось бы знать, вы ведь привыкли к виду крови. Что ж, вы слышали, Дрейк, — хлеб отпускают по водам и он воздается сторицей, но ручаюсь — вы еще не слыхивали, чтобы кровь отпускали по улицам — и она утекала прочь, а потом возвращалась! Однако вот она возвращается — все ближе — по Эппл-стрит, поворачивает за угол на Хэй-стрит и через дорогу — сюда, к С.Простаку, к фонарному столбу и толпе! Это мальчишка-итальянец, у него низкий лоб, туповатое лицо — и в каждой черточке растерянность, черные глаза остекленели от ужаса, он бормочет что-то невнятное, его крепко держит за плечо полицейский, вся одежда на итальянце, даже рубашка — в крови, хоть выжми, и лицо тоже обрызгано кровью! Толпа всколыхнулась любопытством — подталкивают друг друга, перешептываются:

— Вон он! Ему все и досталось!.. Он самый... парнишка-итальянец, ну, который в киоске газетами торгует, он тут стоял, под самым фонарем! Ясно, он самый, он тут с другим малым разговаривал, ему все и досталось! Потому и крови так мало — вся на парнишку вылилась! Ну, ясно! Чуть бы в сторону — и тот напрямик в парнишку бы врезался! Ну, ясно! Я ж вам говорю, я своими глазами видел! Поднял голову, гляжу, а он летит! Он бы так прямо в парнишку и угодил, да заметил, что врежется в столб, и руки выставил, вроде хотел посторониться! А то бы напрямик в парнишку угодил!.. А парнишка услышал, как он брякнулся, оборотился — и р-раз! — так его и умыло!

И еще один, подталкивая соседа, кивает на оцепеневшего от ужаса, заикающегося мальчика-итальянца, шепчет:

— Господи, ты только глянь на него!.. Он же совсем ошалел!.. Не понимает, что с ним стряслось!.. Ну, ясно! Все как есть на него вылилось, верно говорю! Он тут стоял у фонаря, и сверток под мышкой... а как оно случилось... как его облило... он сразу — бежать... Он и сейчас не понимает, что такое стряслось!.. Я ж тебе говорю, как его облило, он сразу — бежать.

И один полицейский другому:

— Ну, ясно, я заорал Пату — держи его! Пат его только за поворотом догнал... малый бежал, как заяц, он и по сю пору не понимает, что с ним стряслось.

И сам парнишка, заикаясь:

— Фу-ты! Что такое?.. Фу-ты!.. Стою, разговариваю с одним... слышу — бац... Фу-ты!.. Что ж такое, а?.. На меня, как из ведра... Фу-ты!.. Я и побежал... Фу-ты! Прямо тошнит!

И голоса:

— Да вы сведите его в аптеку!.. Его умыть надо!.. Малому надо глотнуть чего покрепче!.. Ясное дело! Сведите его вон в ту аптеку!.. Там уж его приведут в порядок!

Полный, женоподобный, но очень неглупый с виду молодой еврей (он продает газеты в вестибюле отеля) горячо, сердито твердит всем и каждому вокруг:

— Разве я не видал? Послушайте! Я все видел! Переходил через улицу, поднял глаза, а он летит!.. Видел ли я? Нет, вы послушайте! Вот если взять большой спелый арбуз и кинуть с двенадцатого этажа, тогда вы представите, на что это было похоже!.. Видел ли я! Я всему свету могу сказать, что я видел! В жизни не хочу больше видеть ничего подобного. — И горячо, сердито, почти истерически продолжает: — Это неуважение к людям, вот что я вам скажу! Если человек такое задумал, мог бы найти другое место, а не самый людный перекресток в Бруклине!.. Почему он знал, что не попадет на кого-нибудь? Да ведь стой мальчик чуть поближе к фонарю, он бы его убил, это уж как пить дать!.. Взял и кинулся у всех на глазах, и столько

народу должно на это смотреть! Я ж говорю, совершенное неуважение к людям! Человек себе позволяет такое неприличие, ни с кем не считается...

(Увы, бедный еврей! Как будто С.Простак, который больше уж ни с кем не считается, мог считаться с приличиями.)

Шофер такси, с досадой:

— Я ж вам это самое и говорю!.. Я минут пять на него глядел, покуда он не прыгнул. Вылез он на подоконник и целых пять минут стоял, собирался с духом... Ясно, я его видел! Его куча народу видела! — С досадой, со злостью: — Чего мы ему не помешали? Да как ему помешаешь, черт подери? Коли кто на такое пошел, стало быть, он уже рехнулся! Станет он слушать, что мы ему скажем, держи карман!.. Ну, ясно, мы ему орали!.. Черт подери!.. И орать-то было страшно... мы ему руками махали — залазь, мол, обратно... думали, покуда он на нас глядит, фараоны из-за угла прошмыгнут в дом... Ясное дело, только он выскочил, а фараоны уже там... Может, он и прыгнул-то, как услышал — они идут, уж не знаю, а только... черт! Он же целых пять минут там стоял, собирался с духом, а мы на него глядели!

И низенький, плотный чех из фруктового магазина, что на углу, за квартал отсюда:

— Слыхал ли я! Да вы бы и за шесть кварталов услышали, как он грохнулся! Ну ясно! Все слышали! Я как услышал, мигом понял, что это, и сразу прибежал!

Толпа колыхается, смыкается все тесней. Какой-то человек вышел из-за угла, проталкивается вперед, чтоб лучше разглядеть, ткнулся в спину маленькому лысому толстяку — толстяк смотрит на То, что здесь лежит, не в силах отвести глаза, на бледном, потном лице застыла страдальческая гримаса; нечаянным толчком вновь прибывший сбил с толстяка шляпу. Новенькая соломенная шляпа сухо стучается об асфальт, толстяк неуклюже пробирается к ней, поднимает, оборачивается, и оба несвязно, торопливо извиняются:

— Ох, прошу прощенья!.. Простите!.. Простите!.. Виноват.

— Пустяки, это ничего... Ничего... Ничего!

Заметьте, адмирал, как сосредоточенно, будто околдованные, разглядывают люди грязно-белый фасад вашего отеля. Обратите внимание на лица, на их выражение. Медленно поднимаются глаза — выше, выше, еще выше. Стена словно бы растет, непостижимо искажаются пропорции, верхний край вытягивается клином и уже грозит закрыть небо, подавить волю, сломить дух. (Это тоже истинно американский обман зрения, адмирал Дрейк.) Взгляды поднимаются по стене от этажа к этажу и, наконец, упираются в единственное открытое окно на двенадцатом этаже. Оно в точности такое же, как все прочие окна, но теперь глаза толпы устремлены на него с единодушным, зловещим любопытством. Долгий, пристальный взгляд — и глаза вновь опускаются: ниже... ниже... ниже... лица слегка напряглись, губы немного поджаты, словно у всех заныли зубы — и медленно, постепенно, как замороженные — вниз, вниз... вниз... и снова упираются в тротуар, фонарный столб — и в То, что здесь лежит.

Тротуар окончательно все сдерживает, все останавливает, на все дает ответ. Это истинно американский тротуар, адмирал Дрейк, как во всех наших городах — широкая полоса жесткого светло-серого асфальта, аккуратно огороженная металлическими перилами. Самая жесткая, самая холодная и жестокая, самая безличная в мире — она олицетворяет все равнодушие, всю распыленность, безысходную разобщенность, всю раздробленность и ничтожество ста миллионов безымянных «Простаксов».

В Европе, Дрейк, нас окружают старые камни, исхоженные, истертые до того, что не осталось ни одной острой грани. Камень этот истерт за века шагами и прикосновениями неведомых жизней, людей, что давно покоятся в могиле, взглянешь на него — и что-то встрепенется в сердце, странное темное волнение охватит душу, и мы говорим: — Они здесь были!

Совсем не то — улицы, мостовые, площади в Америке. Был ли здесь когда-нибудь человек? Нет. Лишь безымянные несчетные Простаки толпились и проходили здесь — и ни один не оставил следа.

Устремлялся ли здесь хоть один взор к морю в поисках полных ветром парусов, с мечтой

о далеких, неведомых берегах Испании? Открывалась ли здесь когда-нибудь глазам и сердцу красота? Случалось ли когда-нибудь в торопливой толпе столкнуться двоим — глаза в глаза, лицом к лицу, сердцем к сердцу — и постичь всю весомость этой минуты — остановиться, помедлить, забыть обо всем вокруг, и уже навсегда чтить этот клочок истертого пешеходами камня как святыню? Вы не поверите, адмирал Дрейк, но это чистая правда — случилось такое и на улицах Америки. Но, как вы сами видите, на ее асфальте не осталось следа.

Вот вы, старина Дрейк, — когда земляки в день отплытия видели вас в последний раз, вы прошли с толпой горожан по пристани, мимо высокого шпиля и тесно лепящихся домов, к прохладной плещущей о причал воде; и, отплывая, с палубы долго смотрели, как, белея, истаивает вдали родной берег. И в городе, который вы давным-давно покинули, на улицах еще слышатся отзвуки вашего голоса. Там камень мостовой истерт и вашими шагами, там в трактире осталась вмятина на столе, по которому вы грохали пивной кружкой. И когда корабли ушли, люди вечерами ждали вашего возвращения.

Но у нас в Америке никто не возвращается. Нет улиц, на которых еще появлялись бы тени ушедших. Здесь вовсе нет улиц, какие знали вы. Здесь только наши жесткие, не отшлифованные временем Толпулицы. И нет на Толпулицах ни единого уголка, где захотелось бы помедлить, старина Дрейк. Нет на Толпулицах такого места, которое позвало бы остановиться в раздумье, сказало бы: «Он здесь был!» Ни одна бетонная плита не скажет: «Остановись, ведь меня создали люди». Толпулица никогда не знала руки человека, как знали ее ваши улицы. Толпулицу замостили огромные машины только ради того, чтоб быстрее, безо всяких помех неслись по ней торопливые шаги.

Откуда взялась Толпулица? Что ее породило?

Она явилась оттуда же, откуда берутся все пути-дороги нашей толпы: она — продукт Стандартно-Шаблонного объединенного производства Америки № 1. Там-то и фабрикуются все наши улицы, тротуары и фонарные столбы (точно такие же, как и тот, который забрызган мозгами Просстака), там фабрикуется весь наш грязно-белый кирпич (как и тот, из которого построен ваш отель), и неотличимо одинаковые красные фасады наших табачных лавок (как и вон та, через дорогу), и наши автомобили, и наши аптеки с продажей газированной воды, и аптечные витрины, там фабрикуются сатураторы вместе с продавцами этой самой газировки, и наши духи, мыло и всяческая косметика, и накрашенные губы наших евреек, там фабрикуются газировка, пиво, сиропы, вареные макароны, мороженое и сэндвичи с острым сыром, там фабрикуются наши костюмы, наши шляпы (все одинаковые, чистенького серого фетра), наши лица (тоже все одинаковые, серые, но не всегда чистенькие), там фабрикуются наш язык, разговоры, чувства, настроения и взгляды. Все это фабрикует нам на потребу Стандартно-Шаблонное объединенное производство Америки № 1.

Вот такие-то дела, адмирал Дрейк. У вас перед глазами улица, тротуар, фасад вашего отеля, неиссякающий поток автомобилей, аптека и стойка с газировкой, табачная лавочка, огни светофоров, полицейские в форме, людские потоки, вливающиеся в метро и извергающиеся из него, тусклые, ржавые джунгли старых и новых, высоких и невысоких зданий. Нет другого места, где все это было бы так наглядно, Дрейк. Ибо это — Бруклин, иначе говоря, десять тысяч точно таких же улиц и кварталов, Бруклин, адмирал Дрейк, это Стандартно-Штампованный Объединенный Хаос № 1 — первый номер на всю вселенную. Иными словами, у Бруклина нет ни размеров, ни формы, ни сердца, ни радости, ни надежд, ни стремлений, ни средоточия, ни глаз, ни души, ни цели, ни направления, нет ничего — повсюду одни лишь продукты Стандартно-Штампованного объединенного производства, рвущиеся вширь, во все стороны, на неведомое количество квадратных миль, точно некая торжествующая Стандартно-Штампованная Клякса на лике Земли. И здесь, по самой середине, — впрочем, нет, у Стандартно-Штампованных Клякс не бывает середины, — ну, если и не в середине, так, по крайней мере, на самом виду, на крохотном клочке этой великолепнейшей Стандартно-Штампованной Кляксы, там, где на него могут глазеть все Стандартно-Штампованные Кляксуны, совсем отдельно от своих вылетевших прочь мозгов — лежит Просстак!

И это нехорошо... очень нехорошо... да, совсем нехорошо! Непозволительно! Ибо, как только что сердито заявил наш приятель, молодой еврей, это означает «совершенное неуважение к людям», иначе говоря, к другим Стандартно-Штампованным Кляксунам. Простак не имел никакого права вот так падать из окна в общественном месте. Не имел никакого права присваивать хотя бы малую частицу этой Стандартно-Штампованной Кляксы. Ему вовсе незачем здесь быть. Дело Стандартно-Штампованного Кляксуна — не пребывать на одном месте, а без передышки носиться с места на место.

Видите ли, дорогой адмирал, эти улицы — не для того, чтобы по ним беззаботно расхаживать, или кататься, или неспешно прогуливаться. Это своего рода канал — или, на языке Стандартно-Штампованных Кляксо-газет, так называемая артерия. Иначе говоря, здесь человек не сам движется, а движем какой-то посторонней силой... никакая это, в сущности, не улица, а своего рода орудийный ствол, по которому летит снаряд, накатанная колея, по которой проносятся миллионы и миллионы снарядов, непрестанно гонимых все дальше, несущихся вперед, вперед, — только и мелькают белесыми расплывчатыми пятнами комки безостановочно гонимой плоти.

Что до тротуаров... эти Стандартно-Штампованные Толпулицы, в сущности, вовсе не приспособлены для пешеходов. (Стандартно-Штампованные Кляксуны давно разучились ходить пешком.) Тут толкаются, увертываются, напирают и шарахаются, обгоняют и теснятся. И стоять тут тоже не место. Одна из первых Заповедей, какие усваивает сызмальства Стандартный Кляксун, звучит так: «Давай проходи! Пошевеливайся, черт подери, что тебе тут, коровий выгон?» И уж во всяком случае, тут не место лежать, да еще развалиться.

Но поглядите на Просстака! Нет, вы только поглядите на него! Не удивительно, что молодой еврей на него зол!

Простак нарочито, умышленно нарушил все до единого Стандартно-Штампованные принципы Кляксунства. Он не только взял да и разбил себе череп, но сделал это в общественном месте — посреди Стандартно-Штампованной Толпулицы. Он заляпал своими мозгами асфальт, заляпал кровью другого Стандартно-Штампованного Кляксуна, нарушил порядок уличного движения, оторвал людей от дела, растревожил своих собратьев — Кляксунов — и вот лежит, да еще развалиться, там, где пребывать ему вовсе не должно. И, что всего непростительней, этот преступник С.Простак — обрел Жизнь!

Вы только подумайте, старина Дрейк! Мы способны отчасти понять вас, необычность вашего нрава, столь нам чужого и непривычного, потому что мы слышали, как вы бранились в кабаке, и видели, как ваши корабли уходили на Запад. А вы — поймете ли вы нас? Подумайте над чужим, непривычным, и поглядите на Просстака! Вы ведь слышали, ваш соотечественник сказал и современники повторяют: «...бывало, расколует череп, человек умрет — и тут всему конец». А теперь — что же сотворило Время, старина Дрейк? Без сомнения, что-то есть в нас странное, непривычное, чего вы никак не могли предвидеть. Ибо череп Просстака явно расколот — и, однако, Простак — обрел Жизнь!

Что же это такое, адмирал? Вы никак не поймете? И не удивительно, хотя, в сущности, все очень просто.

Всего лишь десять минут назад С.Простак был Стандартно-Штампованным Кляксуном, как и все мы. Десять минут назад он тоже мог нырнуть в метро и выскочить наружу, спешить, толкаться, нестись по улице в какой-нибудь нашей железной повозке — безымянный атом, ничтожество, песчинка в общем нашем кишении, всего лишь еще один «парень», точно такой же, как сто миллионов других «парней». А теперь — посмотрите на него! Он уже не просто «еще один парень», он теперь совсем особенный, Тот Самый. С.Простак наконец-то стал Человеком!

Четыреста лет назад, бравый адмирал Дрейк, если б мы увидели — вы распростерты на палубе в луже собственной крови, а бронзовое лицо ваше побледнело и застыло, ибо вас до пояса рассек испанский меч, мы бы это поняли: ведь в ваших жилах текла кровь. Но Простак — он, который лишь десять минут назад был Штампованным Кляксуном, созданный по нашему образу и подобию, сжатый в такую же пылинку, вылепленный из того же серого теста,

из какого слеплены мы, он, в котором тек (так мы думали) тот же Стандартного Производства формальдегид, что и в наших жилах... о, Дрейк, мы и не подозревали, что в нем текла настоящая кровь! Мы и помыслить не могли, что она такая яркая, такая алая, что ее так много!

Бедное, жалкое, изуродованное ничтожество! Бедная, безымянная, разбившаяся вдребезги песчинка! Бедный малый! Он преисполнил нас, Стандартно-Штампованных Кляксунов Вселенной, страхом, стыдом, благоговением, жалостью и ужасом — ибо в нем мы увидели себя. Если он был человек, в чьих жилах течет алая кровь, значит, таковы же и мы! Если вечная гонка жизни довела его до такой развязки, если он на полпути бросил ей вызов и наотрез отказался и впредь оставаться Стандартно-Штампованным Кляксуном, значит, это может случиться и с нами, и мы тоже можем дойти вот до такого последнего отчаяния! И ведь есть еще другие способы бросить вызов, другие пути бесповоротного отказа, можно и на другой лад утвердить последнее, единственно оставшееся тебе право называться человеком, — и притом иные из этих способов не меньше устрашают взор! И вот наши взгляды, точно околдованные, взбираются все выше, выше, минуя один за другим этажи Стандартно-Штампованного кирпича, и прикипают к открытому окну, где он недавно стоял... и вдруг воротник начинает душить, лицо сводит гримаса, мы выворачиваем шею, и смотрим в сторону, и ощущаем на губах едкую горечь стали!

Это слишком тяжело, невыносимо — знать, что маленький Просстак, который говорил на одном языке с нами и нашпигован был той же дрянью, скрывал в себе, однако, нечто неведомое, темное, пугающее, пострашней всех знакомых нам страхов... Что он таил в себе какой-то беспросветный, мерзкий ужас, непостижимое безумие или мужество, и мог долгих пять минут стоять вон там, на карнизе серого окна, над тошной, кружащей голову пропастью — и знал, что он сейчас сделает, и говорил себе: иначе нельзя! Надо! Ибо все эти взгляды, эти полные ужаса глаза внизу, на дне пропасти, притягивают, и уже невозможно отступить... И, окончательно сраженный ужасом, еще прежде чем прыгнуть, увидел свое падение — стремительно, камнем, вниз — и свое разбившееся тело... ощутил, как трещат и ломаются кости, разлетается череп... и внезапный мрак мгновенья, когда мозг выплеснется на фонарный столб... и в тот самый миг, когда душа, содрогнувшись, отпрянула от бездны привидевшегося ужаса, стыда и невыразимой ненависти к себе, с криком: — Не могу! — он прыгнул.

А мы, brave адмирал? Мы пытаемся понять это — и не можем. Пытаемся измерить глубину этой бездны — и не хватает сил погрузиться в нее. Пытаемся постичь чернейшую из преисподних, сотни полных ужаса, безумия, тоски и отчаяния жизней, прожитых этим жалким существом за пять минут — за те минуты, пока он, сжавшись в комок, медлил там, на оконном карнизе. Но мы не в силах ни понять, ни дольше на это смотреть. Это тяжело, слишком тяжело и невыносимо. Мы отворачиваемся, нас тошнит, внутри пустота и слепой, неодолимый страх, мы не можем это постичь.

Кто-то смотрит во все глаза, вытягивает шею, проводит языком по пересохшим губам, бормочет:

— Господи! Сколько же смелости надо — на такое решиться!

И другой резко:

— Нет уж! Никакая это не смелость! Просто, значит, малый рехнулся! Не соображал, что делает!

И другие — неуверенно, вполголоса, не сводя глаз с того карниза:

— О, господи!

Какой-то таксист поворачивается и, направляясь к своей машине, бросает с напускным равнодушием:

— А, подумашь! Много их таких!

Но это звучит не слишком убедительно.

А потом кто-то из зевак с кривой улыбочкой спрашивает приятеля:

— Ну что, Эл? Не прошла охота подзакусить?

И тот негромко:

— Подзакусить, как бы не так! Вот стаканчика два-три чего покрепче я бы хватил!

Пойдем-ка к Стиву!

И они уходят. Стандартные Кляксуны нашего мира не в силах это стерпеть. Им необходимо так или иначе вымарать это из памяти.

И вот из-за угла появляется полицейский с куском старого брезента и накрывает им Безголового. Толпа все стоит. Подъезжает зеленый фургон из морга. В него запихивают То самое вместе с брезентом. Фургон отъезжает. Шаркая башмаками на толстой подошве, один из полицейских сгребает и спихивает осколки черепа и комки мозга в водосток. Приходит кто-то с опилками и посыпает все вокруг. Кто-то из аптеки — с формальдегидом. Чуть погодя еще кто-то с шлангом пускает струю воды. Из метро выходят двое подростков, мальчишка и девчонка с черствыми, жесткими, истинно нью-йоркскими лицами; идут мимо, нагло, вызывающе проталкиваются через толпу, смотрят на фонарный столб, потом друг на друга — и хохочут!

И вот все кончено, никаких следов не осталось, толпа расходится. Но кое-что остается. Этого не забыть. В воздухе тянет какой-то тошной сыростью, все, что было в этом дне светлого, ясного, прозрачного, померкло, и на языке остается что-то вязкое, липкое — то ли привкус, то ли запах, неуловимый и неотвязный.

Для подобного происшествия еще нашлось бы подобающее время и место, бравый адмирал Дрейк, если бы наш приятель Простак упал, как будто он порожний, пустой внутри, и разбился, ни капельки не набрызгав, или раскололся пополам и в сточную канаву вылился бы серый формальдегид. Все было бы ладно, если бы его просто унесло ветром, как ненужную бумажку, или если б его вымели с прочим ненужным мусором, а потом вернули в ту Стандартного Производства серую массу, из которой он сработан. Но С.Простак этого не пожелал. Он разбился и насквозь пропитал наше общее липкое серое тесто непристойно яркой кровью, чтобы выделиться из множества, чтобы у нас на глазах стать Человеком и посреди всеобщей Пустыни отметить один-единственный клочок редкостной страстью, безмерным ужасом и гордым достоинством Смерти.

Итак, адмирал Дрейк, «неизвестный человек выпал или выбросился вчера в полдень» из окна вашего отеля. Так сообщала газетная заметка. Теперь вы знаете подробности.

Мы порожние люди, мы пустые внутри? Не будьте чересчур в этом уверены, бравый адмирал.

30. Болеутоляющее

Лис пробежал заметку мгновенно, горделиво раздутые ноздри втянули воздух: «...выпал или выбросился... Отель „Адмирал Дрейк“... Бруклин». Глаза цвета моря вобрали все это и скользнули дальше, к новостям более важным.

Стало быть, Лис бездушен? Жесток? Сухарь? Нечуток, не знает жалости, лишен воображения? Ничего подобного.

Так, значит, он вовсе и не мог бы понять Просстака? Или он чересчур аристократ, чтобы понять Просстака? Чересчур возвышенная, исключительная, изысканная, утонченная натура, чтобы понять Просстака? Ничуть не бывало.

Лис понимает все на свете или почти все. (Если тут ему чего-то не хватает, мы это еще учуем.) Лис отроду был наделен всеми дарами да еще многому научился, однако эта наука не свела его с ума и даже не притупила остроту понимания. Он видел все таким, как оно есть, и никогда еще (в мыслях и в душе) не назвал человека «белым человеком»; ибо Лис видел, что «белого человека» не существует: человек бывает розовый с желтизной, бывает изжелта-бледный с сероватым оттенком, бывает розовато-коричневый, красновато-бронзовый, бело-красно-желтый, но отнюдь не белый.

Итак, Лис (в мыслях и в душе) все определит, как оно есть. Это чисто мальчишеский прямой и зоркий взгляд. Однако его ясность другим неясна. Его прямопу прожженные хитрюги принимают за хитрость, его сердечность мнимым добрякам кажется бессердечием, а в глазах мнимых правдолюбцев он обманщик. И во всех этих суждениях о нем нет ни крупинки

правды.

Лис прекрасно знал и понимал Просстака — понимал куда лучше, чем мы, Стандартно-Штампованные Кляксуны одной породы с Просстаком. Ведь, будучи той же породы, мы начинаем путаться, воевать с Просстаком (а значит, и с самими собой), что-то доказывать, спорить, отрицать, все мы одного поля ягода, так где уж нам судить ясно и трезво.

Лис — другое дело. Он не Просстаковой породы — и, однако, сродни всему роду людскому. Лис тотчас понял, что в жилах Просстака текла настоящая кровь. Лис мигом представил себе всю картину: увидел небо над Просстаком, отель «Адмирал Дрейк» на заднем плане, фонарный столб, мостовую, толпу, бруклинский перекресток, полицейских, накрашенных евреек, автомобили, вход в метро и расплескавшийся мозг — и, окажись он там, он сказал бы негромко, чуть озадаченно, чуть рассеянно:

— А... понимаю.

И он бы действительно понял, безумные господа мои, можете не сомневаться. Понял бы и увидел все ясно и сполна, не путаясь мучительно, как путаемся мы, не пытаясь ни с чем воевать — и поверхность каждого кирпича, и каждый квадратный дюйм асфальта, и каждую чешуйку ржавчины на железе пожарных лестниц, и зеленый до рези в глазах фонарный столб, и бездушную красновитринную яркость табачной лавочки, и очертанья окон, подоконников, карнизов и дверей, лавки и мастерские в старых домах по всей улице, и все удручающее уродство, из которого складывается пустопорожнее ничтожество Бруклина. Лис увидел бы все это мгновенно, и ему вовсе не пришлось бы что-то в себе одолевать и от чего-то отбиваться, чтобы все увидеть, все понять и ясно, прочно, отчетливо запечатлеть в пылающем кристалле своего мозга.

А живи Лис в Бруклине, он уловил бы и еще многое — мы тщетно настораживаем истерзанные городскими шумами уши, пытаясь все это вобрать, а вот он все уловил бы ясно и четко: каждый шепот в парке Флэтбуш; мерное поскрипыванье каждой матрацной пружины в комнатухах шлюх на Сэнд-стрит, за линиями желтыми занавесками; каждый выкрик балаганного зазывалы на Кони-Айленде, все разноязычье всех многоквартирных домов от Ред-Хук до Браунвила. Да, мы тут, в Джунглтауне, отчаянно напрягаем все пять чувств, и наш измученный мозг увязает в диком хаосе воплей, а Лис уловил бы все это с трезвой ясностью, не теряя рассудка, не терзаясь, и пробормотал бы:

— А... понимаю.

Ибо всюду и везде он, как никто, подмечает мелочи — самые малые и самые важные подробности, в которых выражается все. Никогда он не обратит внимания на мелочь только потому, что она мала, лишь бы показать, какой он дьявольски хитроумный, тонкий, изысканный эстет; нет, он замечает мелочь, потому что в ней суть — и никогда не ошибается.

Лис был великий Лис, гений. Не какой-нибудь паршивенький эстетик. Он не рассуждал в длиннейших рецензиях о том, «как играют руки Чаплина в его последнем фильме» — что это, мол, вовсе не фарс, а трагедия Лира в современной одежде; или о том, что всеобъемлющее определение, истолкование и оценку поэзии Крейна можно дать только при помощи математической формулы — гм, гм! — вот таким путем:

$$\frac{\text{Ш}(an + pxt)/237 = (n - F3(B18 + 11))/2}$$

(Устроим революцию, товарищи, пора!)

Лис не открывал истин, давным-давно известных каждому безмозглому тупице. Не обнаруживал вдруг, что шуточки, которыми забавляет публику Брюзга, устарели эдак лет на семь, и не принимался объяснять, почему они устарели. Не писал: «Начальное антраша рассматриваемого балета представляет собою исторический метод, развиваемый исторически, продукт исторической полноты, свободной от литературных штампов исторического многословия». Он не имел касательства ко всему этому изящному дерьмовому трепу, которым мы по нашей мягкотелости заморочены и затюканы, задавлены и затравлены, напичканы,

наНЕЙШЕНЫ, наНЬЮРИПАБЛИКЕНЫ, наДАЙЕЛЕНА, наСПЕКТЕЙТОРЕНА, наМЕРКБЮРЕНА, наСТОРИЕНА, наЭНВИЛЕНА, наНЬЮМЭССЕНА, наНЬЮЙОРКЕРЕНА, наВОГЕНА, наВЭНИТИФЭЙРЕНА, наТАЙМЕНА, наБРУМЕНА, наТРАНЗИШЕНА, вконец оболванены и обмараны стараниями изысканных, утонченных снобов — Стандартно-Штампованных Кляксунов от Искусства.

Он был непричастен ко всей этой дурацкой тарабарщине, похабному шаманству, поддельным страстям, лопающимся через каждые полгода вероучениям дураков, плясунов-на-всех-свадьбах и модников-обезьян, чуточку более смекалистых и проворных, чем дураки, плясуны-на-всех-свадьбах и модники-обезьяны, которых они дурачат. Он был отнюдь не из уилсоно-пилсонов, джоласо-уоласов и фрэнко-пэнков всяких оттенков, не из Гертрудо-Стайников, кокето-жеманников, не из крикливых, насквозь фальшивых, не из захолустных орясин и не из пустоплясин, трусливых проныр, глумливых придир и прочей нашей мелкой шушеры. Не входил он и в более пристойные с виду шайки-лейки и теплые семейки любителей вещать и поучать, подлипал и зазывал, медоточивых ораторов и закулисных махинаторов мира сего.

Нет, Лис был не из их числа. Он охватывал взглядом явление, событие или человека и видел целое, как оно есть; медленно произносил: «А... понимаю» — и затем, как истый лис, принимался рыскать вокруг да около, подмечая мелочи. Здесь глаз, там нос, изгиб губ, очертания подбородка еще где-то — и вдруг в чертах официанта перед ним проступит воплощение безрадостной мысли — суровый лик Эразма Роттердамского. Лис отвернется задумчиво, допьет свой стакан, мельком поглядывая на официанта, когда тот подойдет поближе; ухватится за лацканы пиджака, повернется к столу — и опять обернется и, подавшись вперед, в упор уставится на официанта.

А тот уже встревожен и неуверенно улыбается:

— Слушаю вас, сэр... что-нибудь не так, сэр?

Медленно, почти шепотом Лис осведомляется:

— Вы когда-нибудь слышали... об Эразме?

Официант еще улыбается, но растерян больше прежнего:

— Нет, сэр.

И Лис отворачивается и, пораженный, бормочет себе под нос:

— Это удивительно!

Или вот в ресторанчике, куда он среди дня заходит перекусить, работает гардеробщицей маленькая развязная, выдавшая виды девица с хриплым голосом. В один прекрасный день Лис, выходя, вдруг останавливается, пронизывает девицу взглядом светлых глаз цвета моря и дает ей доллар.

— Послушайте, Лис! — возмущаются друзья. — С какой стати вы дали этой девчонке доллар?

— Так ведь она необыкновенно милое существо! — тихо, убежденно отвечает Лис.

И на него непонимающе таращат глаза. Эта девка! Грубая, жадная, выдавшая виды... а, да разве ему втолкуешь! И друзья отступаются. К чему разрушать иллюзии и ранить невинную душу этого доверчивого младенца? Лучше уж держать язык за зубами — пусть Лис предается мечтам.

А она, эта маленькая выдавшая виды особа, сипло, взволнованно поверяет секрет другой гардеробщице:

— Слушай! Знаешь этого, который у нас всегда обедает? Ну псих такой, он еще каждый день спрашивает цесарку... ну, который шляпу сдавать не любит?

— Знаю, а как же, — кивает та. — Он бы так в шляпе и за стол сел. У него колпак только что не силком отымать надо.

— Ага, он самый! — кивает девица и, переходя на шепот, взхлеб продолжает: — Знаешь, он мне уже целый месяц каждый день сует доллар на чай!

Вторая столбенеет от изумления: — Иди ты!

Первая: — Вот ей-богу!

Вторая: — И он уже приставал к тебе? Заигрывал? Заговаривал как-нибудь чудно?

У первой в глазах недоумение:

— То-то и чудно, никак я его не пойму! Говорит-то он чудно, это да... только не туда гнет. Первый раз, как он заговорил, я думала — сейчас станет нахальничать. Подходит раз за шляпой, стал и глядит так чудно, у меня прямо руки-ноги затряслись. Я и говорю — ну, мол, чего? А он мне: «Замужем?» Так прямо и брякнул. Стоит, уставился на меня и спрашивает: «Замужем?»

Вторая: — Ух ты! Вот нахал! — и с нетерпеливой жадностью: — Ну, а ты? Ты-то ему чего сказала? Говорила чего-нибудь?

Та: — Ну, я враз подумала: вон что! Так и знала! Не век же он будет зазря давать по доллару в день. Ну, думаю, кончилось счастье, сейчас я ему враз выдам, покуда не стал нахальничать. Ну и соврала. Гляжу ему прямо в глаза и говорю — ясно, мол, замужем, а как же! А вы, что ли, неженатый? Я думала, тут он и отвяжется.

Вторая: — А он чего?

Та: — А он все стоит и глядит эдак чудно. Потом головой покачал... вроде я в чем виновата... вроде какую подлость сделала... вроде ему и глядеть на меня противно. «Да», — говорит, взял шляпу, оставил мне доллар, да и пошел. Вот и пойми его! Ну, я думала-думала и решила — теперь начнется. Завтра он затынет старую песню — мол, жена его не понимает, да он, мол, с ней и не живет, да какой, мол, он, бедняжечка, одинокий, да это самое — не пойти ли нам как-нибудь поужинать вдвоем?

И номер два — с восторгом: — А дальше что?

И та: — Ну вот, подходит он на другой день за шляпой, стал и глядит на меня, и все стоит и глядит по-своему, по-чудному, меня от этого прямо трясет... вроде я какую подлость сделала... Ну, я ему опять: ну, мол, чего? А он еще и говорит-то чудно, тихо так, прямо не разберешь, — вот он и спрашивает: «А дети есть?» Так и брякнул! Чудно! Я ж ничего такого не ждала, стою и не знаю, чего ему отвечать. Ну, потом говорю — нету, мол. А он стоит и глядит на меня, вроде ему противно, чего это у меня детей нет. Ну, тут меня зло взяло, я забыла, что у меня и мужа-то нет, думаю — чего он на меня головой качает, виновата я, что ли, если у меня детей нету... здорово меня зло взяло, я ему и говорю — ну и что, мол? Ну, нету у меня детей! А у вас, что ли, есть?

Вторая в упоении: — А дальше? А он чего?

Та: — А он глядит на меня и отвечает: «Пятеро!» Прямо так и брякнул. А потом опять головой покачал и говорит: «И все женщины», да так сказал, вроде ему и глядеть на меня противно. «Вроде вас», — говорит, взял шляпу, оставил мне доллар и пошел!

Вторая оскорбленно: — Ты подумай! И чего это он о себе воображает? С чего бы это? Нахал он, и больше никто!

Та: — Ну вот, думала я, думала, и зло меня взяло. Надо ж, какое нахальство, женщины ему плохи! На другой день подходит он за шляпой, а я и говорю — слушайте, мол, чего это вас разбирает? С чего вы на женщин взъелись? Может, они вам что худое сделали? А он говорит: «Ничего. Ничего худого не сделали, только они поступают по-женски!» Надо же! Слышала бы ты, как он это сказал! И стоит и качает головой, вроде ему и смотреть на меня противно, вроде подлость какую сделала! А потом взял шляпу, оставил доллар и пошел... Ну, я вижу, он ко мне ни с чем таким не подъезжает, дай, думаю, малость его разыграю. И стала его всякий день насчет женщин поддевать, пускай, думаю, разозлится, да где там! Дудки! Его нипочем не разозлить! Я уж знаю, я пробовала! Он даже и не понимает, что ты хочешь его разозлить!.. А потом он давай меня спрашивать про мужа — и надо же, мне прямо совестно стало! Про что он только не спрашивал — кто у меня муж, да чем занимается, да сколько ему лет, да откуда родом, да жива ли мужнина мать, да что муж про женщин думает! Надо же! Я, знаешь, круглый день себе голову ломаю — про что он дальше спросит да что ему отвечать... А потом он давай спрашивать про мою мать да про братьев и сестер, и опять же — чем занимаются, да кому сколько лет, ну, тут-то отвечать было просто.

Вторая: — И ты про все ему говорила?

Та: — Ясно. А почему нет?

Вторая: — Ну уж, Мэри, это ты зря! Кто его знает, что он за гусь! Почем ты знаешь, кто он такой?

Та — рассеянно и как-то помягче: — Ну, не знаю. Только он человек неплохой. — И, слегка пожав плечами: — Это ж видно! Это всегда поймешь.

Вторая: — Ну да, а все равно их не разберешь! Ты ж ничего про него не знаешь. Я их всегда разыгрываю, а про себя ничего не говорю.

Та: — Ну, ясно. Еще бы! И я то же самое. А вот с этим все по-другому. Надо же! Чудно! Я ему сколько всего рассказала — и про маму, и про Пэта с Тимом, и про Элен... черт, он теперь уж, верно, все про всех моих знает! Сроду я с чужими столько не говорила. А ведь вот чудно, он-то больше помалкивает. Стоит тут, глядит на тебя, голову эдак набок держит, вроде прислушивается, ну и выкладываешься перед ним. А уйдет,хватишься — он же и словечка не сказал, ты одна трепалась! Ну, тут я ему на днях и говорю — вы, мол, теперь про меня все знаете, я всю правду рассказала, так уж скажу по совести, одно я вам соврала — я, говорю, незамужняя. Надо же! Он меня прямо до ручки довел — каждый день чего-нибудь новое про мужа выпрашивает! Ну, я и говорю — про это, мол, я вам наврала. Сроду замужем не была. И никакого мужа у меня нету.

Вторая, с жадностью: — А он чего?

Та: — А он только поглядел на меня и говорит: «Ну и что?» (Смеется.) Надо же, вот чудно от него такое слышать! Я так думаю, он от меня и выучился. Он теперь все время так говорит. Только по-чудному, вроде и сам толком не понимает, к чему это. Вот, значит, он говорит: «Ну и что?», мол. А я ему: как так — ну и что? Я ж вам объясняю, никакая я не замужняя, тот раз я вам наврала. «А я так и знал», — говорит. То есть как? — говорю. — Почему это вы знали? — А он опять головой качает, вроде ему противно. «Потому, — говорит. — Потому что вы, — говорит, — женщина!»

Вторая: — Скажите пожалуйста! Вот нахал! Ты хоть его отбрила?

Та: — Ну, ясно! Я никому спуску не дам! Только с ним не разберешь, вроде он это не всерьез. Вроде он просто дурака валяет, разыгрывает. Вот когда головой качает, вроде ему и смотреть-то на тебя противно. Нет, он человек неплохой. Ну, не знаю, как-то это видно. — И, чуть помолчав, прибавляет со вздохом: — Нет, надо же! Если б только он взял да купил себе...

Вторая: — Шляпу!

Та: — Ну что ты скажешь!

Вторая: — Смех, да и только!

И они молча, в недоумении смотрят друг на друга.

Лис ко всему подходит вот так, исподволь, окольным путем: ясным, непредвзятым, бесстрашным взглядом мгновенно охватывает целое, а потом и каждую мелочь. Увидит в толпе прохожего, подметит, насколько у него оттопырены уши, длинен подбородок и коротка верхняя губа, уловит весь склад лица, какую-то особенность в очертаниях скул... прилично одет, прилично держится, словно бы человек как человек, никто, кроме Лиса, на него и внимания бы не обратил... и вдруг Лис чувствует, что заглянул в глаза дикому зверю. В этом человеке, в обманчивой безобидной оболочке приличного серого костюма, он узнает свирепого, кровожадного тигра — дикий хищник выпущен на свободу и рыщет по джунглям огромного города — беспощадный, неустойчивый, свирепый убийца привольно охотится на ничего не подозревающих овец! В ужасе и смятении Лис отвернется, недоумевающим взглядом обведет всех вокруг — неужели они-то не видят? Как же они не понимают? И вновь повернется и пойдет навстречу тигру: обеими руками ухватится за лацканы пиджака, весь устремлен вперед, шея вытянута, глазами вопьется в глаза тигра — и вот уж тигриные зрачки, во всей своей разгаданной, откровенной свирепости, вспыхивают навстречу взгляду Лиса — и люди вокруг, озадаченные, встревоженные, тоже уставляются на Лиса. Точно дети, они не понимают, что произошло — что такого увидал этот чудака? А Лис изумляется — неужели они

не видят?

В сущности, он все в жизни видит по-лисий, он обостренно, нечеловечески приметлив и наблюдателен — и не даст бетону, кирпичу, камню, небоскрегам, автомобилям или костюмам заслонить главное. Замечает тигра, подстерегающего дичь, и тут же видит, что среди людей вокруг на каждом шагу попадаются львы, быки, овчарки, терьеры, бульдоги, борзые, волки, филины, орлы, коршуны, кролики, пресмыкающиеся, макаки, гориллы — и лисицы. Лис знает, на свете их полным-полно. Он видит их каждый день. Кого-то из них — кошку, кролика, терьера, а быть может, бекаса — он, пожалуй, обнаружил бы и в С.Простаке, если б его увидел.

Так он читает новости, с острым наслаждением принохиваясь к пахнущим типографской краской шуршащим страницам. И при этом он читает газеты с какой-то жадной безнадежностью. В сущности, Лису чужда всякая надежда; он перешел за грань отчаяния. (Если есть у человека недостаток, мы его непременно учуем. А это разве не недостаток? Разве возможно такое у настоящего американца? Можно ли считать Лиса подлинно одним из вас, если ему чужда надежда?) А у Лиса нет никакой надежды, что люди изменятся, что жизнь когда-нибудь станет заметно лучше. Он знает, формы изменятся; возможно, с новыми переменами появятся лучшие формы. Лис увлеченно следит за вечно движущимися формами перемен — оттого-то он так любит читать газеты. Он пожертвовал бы жизнью, чтобы поддержать или укрепить добродетель, спасти то, что поддается спасению, взрастить то, что способно расти, исцелить то, что исцелимо, сохранить доброе начало. Но о том, чего не спасешь, что нежизнеспособно, о недуге неизлечимом, он заботиться не станет. То, что обречено по природе своей, его не занимает.

Так, когда болен кто-нибудь из детей, у Лиса прибавляется на висках седины, он худеет, и глаза у него страдальческие. Одна его дочка попала как-то в автомобильную катастрофу, но не получила ни царапинки, а через несколько дней с нею случилась легкая судорога. Однажды судорога повторилась, потом, чуть не месяц спустя, снова — то исчезнет, то возобновится — не сильная, не продолжительная, так себе, пустяк, но Лис весь извелся от тревоги. Он забрал девочку из школы, добыл самых лучших врачей, известнейших специалистов, пробовал все средства, ничего обнаружить не удалось, а меж тем приступы продолжались; и Лис упорствовал, Доискался причины, вытащил девочку из болезни и, наконец, благополучно выдал ее замуж. И снова глаза его прояснились. А меж тем, будь болезнь дочери неизлечима, Лис бы не терзался сверх меры.

Он приходит домой, спит крепким сном, кажется равнодушным, не выказывает тревоги в ночь, когда его дочь рождает. Наутро, услышав, что стал дедушкой, смотрит растерянно, озадаченно, наконец произносит: «А!» — и, уже отворачиваясь, пренебрежительно фыркая носом, роняет свысока:

— Еще одна женщина, надо думать?

Когда же ему сообщают, что родился мальчик, с сомнением повторяет: «А!» — и презрительно бормочет:

— Я полагал, что в этом семействе такое чудо невозможно.

И еще месяц-полтора упрямо именуется внука «она», вызывая возмущение, досаду, бурные протесты всех своих

— Женщин!

(Хитрюга Лис — ловко умеет поддразнивать.)

Итак, безнадежная обнадеженность и покорное всеприятие; терпеливая обреченность — и неослабные усилия, неколебимая воля. Никакой надежды на конечную победу в целом, во всем порядке вещей; и непрестанная надежда на отдельные частности. Он знает, что мы с начала и до конца в проигрыше, но не сдается. Знает также, когда и как мы побеждаем, и нипочем не перестанет добиваться победы. Отказаться от попыток победить — на его взгляд, это позорно, он испробует все пути, станет строить хитроумнейшие, искуснейшие, сложнейшие планы, чтобы спасти кого-то от поражения, которое можно предотвратить; поддержать талант, готовый захлебнуться в пучине отчаяния, сохранить живую, могучую

силу, чтоб не растратилась бесцельно, оберечь нечто хрупкое, драгоценное от преступного разрушения. Всему этому помочь можно, а значит — должно помочь и спасти, нестерпимо было бы видеть, как все это сгинет, пропадет понапрасну, и Лис горы своротит, лишь бы это — драгоценное — оградить. Но если что-то уже сгнуло? Потеряно? Разрушено? Пропало безвозвратно? На суровом лице тень скорби, в глазах цвета моря печаль, в негромком голосе гнев и досада:

— Позор! Стыд и срам! Все могло бы уладиться... было уже у него в руках... он сам все выпустил из рук! Он просто-напросто сдался.

Да, такая вот неудача глубоко возмутит и огорчит Лиса, он от души о ней пожалеет. Но если что-то предопределено и неизбежно и никакими силами обреченного не спасти... что ж, Лис тоже несколько огорчится — «Очень печально!» — но потом приходит покорность судьбе, спокойное смирение: так должно быть, тут ничем не поможешь.

А стало быть, подобно Екклезиасту, он понимает, что жизнь — трагедия, и знает, что родиться — для человека несчастье, но, зная это, все равно не поддается унынию. Никогда он, как глупец, не сидел сложа руки и не съедал плоть свою — за всякую работу он брался засучив рукава и доводил ее до конца. Он знает, что в последнем счете все — суета, но говорит: «Нечего роптать и жаловаться, надо делать дело».

А потому он не боится умереть; не заигрывает со смертью, но знает: смерть — друг. Жизни он не враг, даже влюблен в нее, но не цепляется за нее, как любовник, и ее не придется вырывать через силу из его жадный рук. Лис не ищет, как спасенья, близости с человечеством, его больше привлекают странности и тайны человеческого сердца, как замороженный, с любопытством следит он за судьбами людскими, пытается разобраться в бесконечно сложной их путанице, в горьком, мучительном, непостижимом переплетении. И вот сейчас, читая «Таймс», он энергично принохивается, качает головой, улыбается, просматривает тесные столбцы земной суеты и шепчет себе под нос:

— Ну и мир! Ну и жизнь! Разберемся ли мы во всем этом когда-нибудь?.. Ну и времечко выпало на нашу долю! Я не смею уснуть, покуда не прочитаю на ночь газету. И жду не дождусь следующего выпуска — все так быстро меняется, наш мир такой зыбкий, непостоянный, того и гляди, от одного номера газеты до другого изменится весь ход истории. До чего же это увлекательно! Хотел бы я прожить сто лет и посмотреть, что будет! Если бы не это... и не дети...

В глазах медленно сгущается недоумение. Что-то с ними станется? Пять нежных овечек придется выпустить из-под надежного крова в буйную неразбериху грозного, изменчивого мира. Пятерых едва оперившихся птенцов, растерянных, беззащитных, послать навстречу бурям злобы, опасностей, вражды и свирепого насилия, что бушуют по всей этой истерзанной земле, — а ведь они, все пять, ничем не защищены, ничего не знают, ни к чему не готовы и притом...

— Женщины.

К презрению примешивается теперь глубокое сочувствие, тревога, забота и нежность.

Так есть ли хоть какой-то выход? Да, если бы дожить до такого дня, когда все пять выйдут за... за... за хороших людей (нелегкая задача... в глазах цвета моря сгущается тревога — мир, втиснутый в газетные столбцы, до краев полон страданием). Но найти подлинно хороших мужей, пятерых таких же лисов... увидеть своих овечек надежно укрытыми, защищенными от всех бурь, и каждую... каждую в кругу собственных овечек... Да! Вот то, что нужно! Лис откашливается, решительно встряхивает газетные листы. Вот что нужно — женщинам!

Чтобы их укрывали, защищали, охраняли, оберегали от всех опасностей, от варварства и жестокости, от грубого, грязного, оскверняющего прикосновения этого мира, чтобы каждая мирно занималась рукоделием, училась вести дом, хлопотала по хозяйству, предавалась всем истинно женским трудам, была хорошей женой и... и... «жила бы, как положено жить женщине, — шепчет про себя Лис, — такой жизнью, для какой женщина предназначена».

И, значит, производила бы на свет новых овечек, Лис? А те в свой черед найдут

«хороших» мужей и надежный кров, научатся рукодельничать, вести хозяйство, и «жить, как положено женщине», и производить на свет еще новых овецек, и так далее, *ad infinitum*¹⁷, на веки веков, пока не настанет конец света или... или день Страшного суда...

...и вновь пронеслась по всей земле чудовищная буря... вновь террор... вновь потрясения и революции! — нахлынул новый потоп, вновь разлилась могучая река, темный прилив захлестнул людские сердца, грозный вихрь пронесся по всей земле, о добрый Лис, и пошел срывать крыши с домов, словно бумажные листы, и гнуть долу крепчайшие дубы, рушить стены и обращать в прах любой теплый, прочнейший и надежнейший кров, под каким овечки находили приют и защиту — и куда деваться овечкам?

Неужели же нет ответа, о Лис?

Что же, овечкам остается вышивать тончайшие узоры на крыльях урагана? Старательно хозяйничать посреди потопа? Умерять бури суровой нищеты, чтоб не пробрало насквозь надушенные нежные овечьи шкурки? Находить «хороших» мужей в сумасшедшем водовороте? Производить на свет еще и еще овецек, дабы ощутить себя под надежной охраной и защитой, предаваясь истинно женским трудам и «живя такой жизнью, для какой женщина предназначена»...

Где, о Лис, где?

...и ждать сострадания от камней? Защиты — от суровых небес? Заботы — от кровавой руки усмирителя? Рыцарской учтивости — от толпы, сметающей все преграды на своем пути?

Все еще нет ответа, мудрейший Лис?

Так что же? Неужто хриплые голоса, хмельные от крови, торжествующие победу, не притихнут смиренно перед прелестью овецек? Неужто в часы, когда опустевшие улицы заполнит слепая толпа, ни единый плащ не будет брошен перед овечкой, чтобы грациозным ножкам не ступать по камням? Неужто потрясенные стены незыблемых (как нам прежде казалось) установлений, которыми Лисы всего мира ограждали своих овецек, уже не смогут хранить столь надежное некогда тепло и безопасность? И неужто реки, что неизменно текли молоком и медом и питали овецек, иссякнут и пересохнут? И потекут иные источники, окрашенные кровью... кровью агнцев? Кровью овецек?

Нам невыносимо думать об этом, о Лис!

Лис читает дальше, неотрывно, с жадным интересом, и глаза его омрачает тревога. Бесстрастные столбцы убористой печати говорят о жестокой действительности — изобличают мир в хаосе, человека в смятении, жизнь в оковах. С этими солидными страницами нераздельны утро и трезвость, утренний завтрак Америки, привкус яичницы с ветчиной, благополучные дома, процветающие люди... и, однако, с этих страниц снимаешь горькую жатву: в них безумие, ненависть, распад, нищета, жестокость, угнетение, несправедливость, отчаяние и крах всех человеческих верований. Что же мы здесь видим, безумные господа? — ибо если вы — господа в том земном аду, какой изображают нам страницы трезвого «Таймса», то, конечно же, вы безумны!

Итак, вот небольшая заметка.

Сообщается, господа мои, что в ближайшую субботу в краю заколдованного леса, в краю легенд, волшебства, эльфов, краю Венериной горы и неотразимой прелести готических городов, в краю поклонника и искателя истины, в краю простой, доброй, будничной, простонародной, дерзко-бесстрашной Человечности, в краю, где великий монах прибил к церковным дверям в Виттенберге свой дерзостный вызов и сокрушил объединенную мощь, пышность, великолепие и угрозы всей европейской церкви убийственным гением своих грубых и резких речей, — в краю, где с тех пор простое и благородное человеческое достоинство и могучая истина разума и мужества не рае поднимали грозный кулак навстречу

¹⁷ до бесконечности (*лат.*)

безумию, — да, в краю Мартина Лютера, в краю Гете и Фауста, Моцарта и Бетховена, в краю, где создана была бессмертная музыка, написаны немеркнущие стихи, развивалась философия, в краю колдовства, тайны, несравненного очарования и неисчерпаемых сокровищ возвышенного искусства... в краю, где Великий Веймарец в последний раз в нашем современном мире дерзнул подчинить своему исполинскому гению все области искусства, культуры и познания, — притом в краю, где издавна благородная молодость посвящала себя высокому служению, где юноши были певцами и поэтами, любили истину, проходили через годы учения, преданно стремясь к возвышенному и возлюбленному идеалу, — итак, безумные господа, сообщается, что в этом волшебном краю в ближайшую субботу другая армия юнцов посвятит себя другому призванию: по всей Германии, в каждом городе, на каждой площади перед зданием ратуши молодые немцы будут жечь книги!

Так что же это, Лис?

Ну, а много ли лучше в других местах нашего старого, истерзанного земного шара? Пожар, голод, наводнение и мор — этих испытаний у нас было вдоволь во все времена. И ненависти — самого пагубного из всех зол, подобного злейшим пожарам и наводнениям, злейшему голоду и мору — да, ненависти у нас тоже всегда было вдоволь. И, однако, боже правый, когда прежде на нашу старую несчастную землю обрушивалось бедствие столь всеохватывающее? Когда ее так терзала боль во всех сочленениях, как терзает ныне? Когда прежде всю ее, сплошь, так разъедали зуд, язвы, безобразнейшие уродства и недуги?

Китайцы ненавидят японцев, японцы — русских, а русские — японцев, и сонмы индийцев ненавидят англичан. Немцы ненавидят французов, а французы — немцев, и французы селятся найти другие народы, которые поддержали бы их в ненависти к немцам, но убеждаются, что почти все вокруг ненавистны им не меньше, чем немцы; но им еще мало тех, кого можно ненавидеть за пределами Франции, а потому они делятся на тридцать семь различных клик и дружно, ожесточенно ненавидят друг друга всюду, от Кале до Ментоны: левые ненавидят правых, центристы — левых, роялисты — социалистов, социалисты — коммунистов, коммунисты — капиталистов. В России леваки ненавидят догматиков, а догматики — леваков. И повсеместно коммунисты заявляют о своей ненависти к фашистам, а фашисты ненавидят евреев.

В нынешнее лето от рождества Христова 1934-е, по словам «сведущих» наблюдателей, Япония готовится не позже чем через два года начать войну с Китаем, Россия присоединится к Китаю, Япония заключит союз с Германией, Германия сговорится с Италией и затем начнет войну с Францией и Англией, Америка попытается, как страус, спрятать голову в песок и тем самым остаться в стороне, но увидит, что это невозможно, и окажется втянутой в драку. И под конец, когда на земле уже все со всеми передерутся, весь капиталистический мир объединится против России в попытке сокрушить коммунизм — который в последнем счете должен победить... нет, потерпит поражение... неминуемо восторжествует... нет, будет раздавлен... вытеснит капитализм, который уже сейчас находится при последнем издыхании... нет, переживает лишь временные затруднения... день ото дня жиреет, пухнет, раздувается от непомерной алчности и корыстолюбия ненасытных монополий... нет, день ото дня становится лучше и разумнее... который необходимо сохранить во что бы то ни стало, дабы не погиб «американский образ жизни»... нет, который необходимо разрушить во что бы то ни стало, дабы не погибла Америка... ибо у него все впереди... нет, он близок к концу... он уже изжил себя... нет, он будет жить вечно...

Так оно и идет — снова и снова, по заколдованному кругу, по всей истерзанной, измученной земле, снова и снова, и опять сначала, взад и вперед, вдоль и поперек, покуда весь шар земной и всех людей на нем не опутает одна и та же необозримая паутина ненависти, алчности, тирании, несправедливости, войны, грабежа, убийства, лжи, предательства, голода, страданий и непоправимых ошибок!

А мы, старина Лис? Что происходит у нас, в нашем прекрасном краю, в нашей великой Америке?

Лиса передергивает, он втягивает голову в плечи и хрипло, с горьким сожалением

бормочет:

— Плохо дело! Очень плохо! Нам бы надо понять это раньше... мы должны бы прийти к этому полвека назад, как когда-то пришел Рим, как пришла Англия! Но вся эта сумятица началась слишком рано — у нас было слишком мало времени. Плохо дело! Очень плохо!

Да, Лис, плохо дело. Это очень плохо, что наша гордость, наше уважение к себе и неодолимый страх перед ужасным, как лик Медузы, лицом всей истерзанной Земли оказались для нас болеутоляющим снадобьем и помешали нам приглядеться повнимательней к чести нашей родной Америки.

31. Надежда Америки

Четыре года Джордж Уэббер жил и писал в Бруклине, и все четыре года, насколько это возможно для современного человека, он жил отшельником. Одиночество отнюдь не редкость, не какой-то необычайный случай, напротив, оно всегда было и остается главным и неизбежным испытанием в жизни каждого человека. Так бывало не только с величайшими поэтами, как свидетельствуют их полные скорби творения, боль, о которой они поведали миру, — теперь Джорджу казалось, эта истина в равной степени справедлива для всех безвестных ничтожеств, что кишат вокруг него на улицах. Он видел, как они сталкиваются друг с другом, слышал вечные перепалки и перебранки, одни и те же вспышки злости, презрения, недоверия, ненависти — и все ясней понимал, что одна из важнейших причин их недуга — одиночество.

Для такой одинокой жизни, какую вел Джордж, человеку надо полагаться на бога, обладать спокойной верой святого инока и суровой неколебимостью геркулесовых столпов. А если этого нет, то оказывается, порою что-нибудь, что угодно, любая мелочь, пустяк, самый обыденный случай, самое незначачее слово может вмиг сорвать с тебя защитный панцирь — и задрожит рука, сердце стиснет леденящий ужас и все нутро наполнит серая муть дрожащего бессилия и отчаяния. Подчас так сбивает с ног ехидное словцо, которое как бы мимоходом обронит какой-нибудь литературный пророк-всезнайка на страницах одного из наилейших журналов; к примеру:

«Что же это стало с нашим самораскрывающимся и словесноизвергающимся другом Джорджем Уэббером? Помните его? Помните, сколько шуму он наделал несколько лет назад своим так называемым „романом“? Иные наши почтенные коллеги вообразили, что различают в этом творении признаки многообещающего таланта. Мы бы тоже приветствовали новую книгу этого автора, которая по крайней мере доказала бы, что первая не была случайностью. Но *tempus fugit*¹⁸, а где же Уэббер? Вызываем мистера Уэббера! Никакого ответа? Что ж, быть может, это и печально; но ведь авторам, написавшим всего лишь по одной книге, несть числа. Они разом выпаливают все, на что способны, — и смолкают, и потом их уже не слышно. Кое в ком из нас книга Уэббера сразу пробудила немалые сомнения, но наш голос заглушили охи и ахи тех, кто очертя голову спешил возвестить о новой восходящей звезде на литературном небосклоне; и теперь, будь мы не столь снисходительны к нашим более восторженным собратьям-критикам, мы могли бы выступить вперед и скромно молвить: «Мы же вам говорили!»

Подчас довольно пройти облаку, затмевая солнце, подчас довольно стылому свету мартовского дня обнажить беспредельное, откровенное, расплзающееся во все стороны уродство и убогую добропорядочность бруклинских улиц. Что бы там ни было, но в такие минуты день разом гаснет, не остается в нем ни радости, ни певучести, сердце Уэббера наливается свинцом, и кажется — вовек уже не вернуться надежда, вера в себя и в свое дело, и все высокое, святое, истинное, что он когда-либо узнал, обрел и пережил, оборачивается ложью и насмешкой. И чувство такое, словно он бродит среди мертвецов и лишь одно на земле

¹⁸ время бежит (*лат.*)

не ложь и не подделка — живые мертвецы, которые вечно будут копошиться все в тех же неизменных мутно-багровых, устало меркнувших на ветру воскресных мартовских сумерках.

Эти отвратительные приступы сомнений, отчаяния, темного смятения то захлестывают душу, то вновь отпускают, и Джордж узнал их, как должен узнать каждый, кто одинок. Ибо все представало перед ним лишь в том образе, какой он сам для себя создал. Опирался он лишь на то знание, которое черпал из опыта собственной жизни. И видел он жизнь не чьими-либо чужими, но лишь своими глазами, познавал ее собственными чувствами и собственным разумом. Никто его не поддерживал, не ободрял и не помогал ему, никакая религия не утешала, и никакой у него не было веры, кроме одной, своей собственной.

Вера эта состояла из многих слагаемых, но сводилась, в сущности, к одному: он верил в самого себя, верил, что если только сумеет схватить кусок правды о той жизни, какую он знает, и заставит других тоже узнать ее и почувствовать, это будет высшим его подвигом и невообразимым счастьем. А где-то в глубине души, воспламеняя и поддерживая эту веру обещанием грядущей награды, таилось убеждение — пора в нем признаться, — что если бы это удалось, весь мир был бы ему, Джорджу Уэбберу, благодарен и увенчал бы его лаврами желанной славы.

Жажда славы прочно укоренилась в сердцах людей. Это одно из самых неодолимых человеческих желаний, и, может быть, как раз поэтому, да еще потому, что оно столь глубинное, сокровенное, люди крайне неохотно в нем признаются — и особенно те, кого всего сильнее подстрекает и мучит эта жгучая, неукротимая жажда.

Политик, например, никогда не даст нам понять, что им движет любовь к власти, стремление оказаться на виду, занять высокий пост. Нет, им, конечно же, руководит бескорыстная преданность общему благу, самоотверженность и великодушие государственного мужа, любовь к ближнему, пылкий идеализм, и стремится он лишь к одному: изгнать негодяя, который незаконно захватил этот высокий пост и обманывает доверие народа, тогда как сам он, по его же словам, будет служить нам безупречно и ревностно, не щадя сил.

То же и с военным. Нет, не из любви к славе избрал он свое ремесло. Не из любви к войне, к сражениям, ко всяким громким титулам и пышным наградам, какие достаются герою-завоевателю. О нет. Солдатом его делает преданность долгу. Никаких личных побуждений. Его воодушевляет просто-напросто пылкое бескорыстие самоотверженного патриота. Он сожалеет лишь о том, что у него только одна, а не десять жизней — он все их отдал бы отечеству.

И так всюду и везде. Адвокат уверяет нас, что он — защитник слабых, он печется об угнетенных, воюет за права обиженных вдов и преследуемых сирот, он — столп справедливости и ярый, до полного самопожертвования, враг крючкотворства, мошенничества, воровства, насилия и преступления, какими бы личинами они ни прикрывались. Даже коммерсант не сознается, что наживает деньги ради собственной выгоды. Напротив, он содействует обогащению всего государства. Он — благодетель, он дает работу тысячам людей, которые погибали бы в горе и нищете, если б не его могучий ум и талант организатора. Он — поборник Американского Идеала сильной личности, пример молодежи — блистательный образец того, чего может достичь в Америке каждый бедный паренек из любого захолустья, который верен истинно американским добродетелям: бережлив и трудолюбив, послушен долгу и честен в делах. Он-то и есть (как сам он нас заверяет) главная опора страны, ее движущая сила, первый гражданин ее, Друг Народа Номер Один.

Все они, разумеется, лгут. Они и сами знают, что лгут, и каждый, кто их слышит, тоже это знает. Ложь, однако, стала неотъемлемой частью и условием жизни у нас в Америке. Люди терпеливо ее выслушивают и улыбаются ей — улыбаются невесело, и есть в этой улыбке покорность и пренебрежительное равнодушие, рожденное усталостью.

Любопытно, что ложь вторглась и в мир творчества — единственную область, где она

существовать не вправе. Были прежде времена, когда поэт, живописец, музыкант, всякий человек искусства мог не стыдятся признаться, что среди сил, направляющих его жизнь и труд, есть и желание славы. Но как же все с тех пор переменялось! В наши дни пришлось бы объехать полмира и возвратиться ни о чем, если вздумаешь найти художника, который признался бы в подобном желании, — нет, нет, он бескорыстен, он служит единственно некоему идеалу, будь то политика, общественное устройство, экономика, религия или красота, и этому идеалу благоговейно, самозабвенно, не помышляя о славе, отдает свою смиренную особу.

Двадцатилетние юнцы уверяют нас, что жажда славы — глупое ребячество, плод устарелого культа «романтического индивидуализма». По словам сих молодых джентльменов, от этого насквозь лживого и обманчивого культа они совершенно свободны, однако же они не дают себе труда объяснить, при помощи какого чудесного самоочищения удалось им достигнуть подобной свободы. Самому Гете, величайшей душе новой эпохи, понадобилось ни много ни мало восемьдесят три года, чтобы избавить свой могучий дух от этой последней слабости. Мильтон уже за пятьдесят — старый, слепой, всеми покинутый, — говорят, освободился от нее к концу Кромвелевой революции, на службе у которой он потерял зрение. Да и то можем ли мы с уверенностью сказать, что даже он вполне очистился? Ведь что есть великолепное творение — «Потерянный рай», если не гордый вызов, брошенный человеком в лицо вечности?

Бедный слепец Мильтон!

Лишь Слава может чистый дух увлечь
(О, слабость благородного ума!)
Труда во имя — негой пренебречь;
Мы ждем, что в руки упадет сама
Награда нам, — но не переменить
Извечный жребий наш, — он так нелеп! —
Приходит Парка, пресекая путь.
«Награды нет, — в ответ промолвил Феб, —
Вовеки Славе почвою не стал
Ни камень, ни металл,
Не в суетной молве ее побег,
Судить о ней не вправе человек,
И лишь Юпитер с высоты небес,
В великой правоте неколебим,
Отмерит славу по делам твоим»¹⁹.

Заблудшая душа! Несчастный раб растленных времен! Как отрадно нам знать, что мы не чета Мильтону, Гете и им подобным! Наше время куда богаче событиями, и даже наших юнцов надежно охраняет их общая самоотверженность. Мы освободились от недостойной суетности и тщеславия, придушили неистовую жажду личного бессмертия и ныне из праха земли наших отцов возносимся в чистейший эфир коллективной святости, наконец-то мы очистились от всякой порчи и тлена земного, омылись от пота, крови и скорби, избавились от горя и радости, от надежды, и страха, и страданий людских, от всего, что терзало плоть наших отцов, терзало всех и каждого, кто жил до нас.

И однако... вот мы достигли столь славной независимости; отбросили пустые мечты; научились понимать жизнь не как личное наше дело, но как дело всеобщее; думать не о той жизни, какова она сегодня, но о той, какой она будет через пятьсот лет, когда все революции уже совершатся, и вся кровь уже прольется, и сотни миллионов ничтожных себялюбивых

¹⁹ Дж. Мильтон «Люсидас», пер. Е. Витковского.

жизней, занятых каждая только собой, своим отдельным романтическим мирком, будут безжалостно стерты с лица земли, дабы утвердилось грядущее великолепие коллектива... вот мы как по волшебству, так сказать в одночасье, преобразились в этакое чудо коллективной самоотверженности, исполнились презрения к личной славе, — так не странно ли, что хоть фразы мы произносим новые, смысл их остается все тот же, прежний? Не странно ли: нам лишь смешны и жалки глупцы, которые все еще ищут славы, так с чего же когтит нам душу, разъедает злой отравой ум и сердце, терзает дух жгучая, свирепая ненависть к тем, кому посчастливилось прославиться?

Или, может быть, мы заблуждаемся? Может быть, это ошибка и нам только мерещится, будто слова, которые мы так часто читаем, источают ненависть, злобу, зависть, насмешку и глумливую издевку? Может быть, мы только по ошибке принимаем за брань и оскорбление те потоки слов, что каждую неделю изливают левацкие журналы, — когда издеваются над чьим-нибудь талантом и ожесточенно твердят, что нет в его созданиях ни на грош смысла, ни искренности, ни правды, ни подлинности? Да, конечно же, с нашей стороны это ошибка. Милосердной было бы верить, что эти современные чистые души таковы, какими сами себя изображают, — все заодно, бескорыстно самоотверженны и святы, и слова их означают не то, что кажется, не выдают романтических страстей, коими они ослеплены, нет, — слова эти произносятся спокойно, бесстрастно, во имя общего блага, действуют, как нож хирурга, — и эти нынешние речи, насыщенные суеверием, предвзятостью, ложными понятиями, просто инструмент, которым ученые лекари внедряют идею Государства Будущего!

Довольно, довольно! Что пользы давить эту нечисть нашим тяжелым башмаком? У саранчи нет владыки, и вошь будет плодиться вечно. Поэт должен родиться и жить, трудиться в поте лица, страдать, меняться, расти и все же как-то сохранять неизменной суть своего «я», цельность своей души среди мод и новшеств в суетливом мире мелкой нечисти. Поэт живет и умирает, и он бессмертен; но извечное ничтожество всех оттенков никогда не умирает. Извечное ничтожество приходит и уходит, пьет кровь живых людей, его наполняет до пресыщения и вновь опустошает каждая смена моды. Оно заглатывает и вновь изрыгает свою пищу и никогда не бывает сытым. Ничтожество неспособно утолить чей-либо голод, и ему не идет впрок пища, которую оно поглощает. В ничтожестве нет сердца, нет души, нет крови, нет живой веры — извечное ничтожество способно только поглощать, и оно пребывает вовеки.

Ну а мы? Возвращенные землю наших отцов, плоть от плоти и кость от кости отцовской, рожденные, как наши отцы, для того, чтобы на этой земле жить и бороться, этой земле одержать победу или потерпеть поражение, — здесь, на этой земле, как многим поколениям до нас, как всем людям, не столь изысканным и привередливым, чтобы ею пренебрегать, — на этой земле нам суждено жить, страдать и умереть... О братья, как некогда наши отцы и деды, мы горим, пламенеем, светим в ночи.

Ты, кто ищет, если хочешь, пройди всю страну из края в край, и ты увидишь — мы горим в ночи.

Вот сверкает наготой в ярком свете луны зубчатая цепь Скалистых гор, взберись на самую высокую вершину, присядь на нее, как на табурет, и оглядись. Отсюда нас хорошо видно, не так ли? Круто вздымается ввысь стена; рассекающая весь континент, огромная черная тень ее ложится на равнину — и равнина расстилается вширь, тянется на две тысячи миль к Востоку. А вон та исполинская змея перед тобою — река Миссисипи.

Смотри, вот, подобно звездной пыли в полях ночи, рассыпаны на милом нашему сердцу зеленом Востоке алмазы больших и малых городов. Вот раскинулось ближе к северу созвездие по имени Чикаго, а огромный брелок, искрящийся в лунном свете, — это озеро, на берегу которого построен город. Дальше теснятся, словно сжатые в горсти, самоцветные города восточного побережья. Вон там Бостон, окруженный браслетом блестящих городков поменьше, и множество огней, искрящихся в каменных складках Новой Англии. Здесь, южнее и чуть к западу, но все еще вдоль океана, протянулся наш самый яркий луч, осколок звездного

неба — многобашенный остров Манхэттен. И вокруг густо, как пшеница, посеяна добрая сотня сверкающих городов и городишек. Вон та длинная цепь огней — ожерелье Лонг-Айленда и берег Джерси, Южнее и на фут-другой дальше от побережья ты увидишь не столь яркое свечение Филадельфии. Еще южнее — созвездия-близнецы, Балтимор и Вашингтон. Немного западней, но все еще в пределах славного зеленого Востока, тускло рдеет по ночам адское пламя Питтсбурга. Тут, в пшеничном чреве страны, оплетенный змеиным извивом исполинской реки в ее среднем течении, обрамленный бахромою ее притоков, покоится жаркий и влажный Сент-Луис. А там, у самой змеиной пасти, миль на шестьсот дальше к югу, перед тобою сверкает алмазным блеском наш старый Новый Орлеан. А вот здесь, на западе и на юге, переливаются самоцветами города по границе Техаса.

Теперь обернись ты, кто ищет, и со своего наблюдательного поста, с высоты Скалистых гор, кинь взгляд еще на тысячу миль — на блещущие под луной недобрые просторы Пестрой Пустыни и дальше, за хребет Сьерры. Вон те колдовские гроздья огней на западе, которые, точно усыпанный драгоценными камнями пояс, охватили колдовской прелести гавань, — это сказочный город Сан-Франциско. Ниже — Лос-Анджелес и все города Калифорнийского побережья. А в тысяче миль к северо-западу сверкают Орегон и Вашингтон.

Вбери все это взором, огляди, как оглядывал бы поле. Представь, что это твой сад или огород, о ты, кто ищет. Держись по-свойски, не смущайся. Вся эта земля в твоих руках, делай с нею, что хочешь. Не бойся, не так уж она огромна сейчас, когда ты уселся на вершине Скалистых гор. Дотянись, шляпой зачерпни холодной воды из озера Мичиган. Выпей, мы уже пробовали ее на вкус, вот увидишь — отличная свежая вода. Скинь башмаки, погрузи ступни ног в речной ил на дне Миссисипи — в жаркую летнюю ночь это очень освежает. Сорви себе кисть винограда вон там, на севере штата Нью-Йорк, — ягоды уже поспели. Или ухвати арбуз с грядки вой там, в Джорджии. А если хочешь, попробуй, что растет у тебя под боком, в Колорадо. В общем, будь как дома, угощайся, все попробуй на ощупь и на вкус, ко всему приглядишься, прикинь масштабы и расстояния. Можешь вволю пастьись на этом лужке, не так уж он велик — всего лишь три тысячи миль с востока на запад, всего две тысячи — с севера на юг, а посередине десятками тысяч огней пронзают тьму большие и малые наши города, городишки и поселки, и повсюду ты, кто ищет, увидишь: мы горим в ночи.

Проберись через расползшуюся на двадцать миль угрюмую неразбериху рельс и стрелок, через трущобы Южного Чикаго — здесь, в некрашеной лачуге, найдешь чернокожего парнишку — и знай, ты, кто ищет: он горит в ночи. За ним — память о хлопковых полях, об унылых, бесплодных, поросших сосняком песчаных равнинах затерянного, заглохшего Юга, и в кругу тощих сосен — еще одна негритянская лачуга, а в ней чернокожая мама и десяток негритят мал мала меньше. Еще дальше в прошлом — плеть надсмотрщика, невольничий корабль, и совсем уже вдалеке — погребальная песнь, доносящаяся из дебрей Африки. А что у него впереди? Обнесенный канатами ринг, сплясавшие огни, напротив — белый чемпион; гонг, первые удары, а вокруг неоглядным ревушим морем — толпа. Потом молниеносный финт и удар, могучая лапа черной пантеры — и стремительное вращение печатных валов, поток бумажных листов, пахнущих типографской краской! О ты, кто ищет, где он теперь, невольничий корабль?

Или вон там, в спекшихся от жары предгорьях Юга, перед распахнутыми настезь воротами пожарного депо развалился в скрипучей качалке тощий смуглый парнишка и повествует замирающим от восторга приятелям о том, как он натаскал команду для нынешней блистательной победы. Какие видения горят перед ним, какие грезы им владеют, о ты, кто ищет в ночи? Забитые болельщиками трибуны стадиона, на верхотуре, под палящим солнцем, яблоку некуда упасть, бейсбольное поле — чистый бархат, не чета спекшимся в камень пустырям Джорджии. Нарастающий рев восьмидесяти тысяч глоток, сам знаменитый Гериг сейчас пошлет мяч, а он, мальчишка, ждет, он готов, в худом лице, точно у гончей, не дрогнет ни единый мускул; и вот кивок, условный знак, и — взмах жилистой руки, как взмах хлыста, пулей летит белый мячик, звонко ударяет в лоснящееся гнездо взметнувшейся навстречу рукавицы, поднят вверх большой палец судьбы — чистое попадание!

Или вот в ист-сайдском гетто Манхэттена, за два квартала от Ист-ривер, за квартал от газового завода, где нечем дышать — кишаший людьми кирпичный улей; здесь, забившись в свою душную ячейку, глотая раскаленный воздух, что входит в окошко, распахнутое на пожарную лестницу, отгородясь в жалком подобии уединения от крикливой суеты своих домашних и всего этого кишения двуногих пчел, сосредоточенно читает книгу подросток-еврей. В одной рубашке он сгорбился над столом, под резким светом лампочки без колпака; худое, изможденное лицо все стянуто к большому горбатому носу, за толстыми стеклами очков болезненно щурятся близорукие глаза, лоснящиеся завитки волос откинута назад с болезненно наморщенного лба. А чего ради? Во имя чего эта мучительная сосредоточенность? Ради чего отчаянные усилия? Ради чего он изо всех сил отгораживается от этой нищеты и убожества, забывает о закопченных кирпичных стенах и ржавых пожарных лестницах, о хриплых криках, о сваргах и неумолчном шуме? Ради чего? Да все потому, брат, что он горит в ночи. Ему видится колледж, лекционный зал, сверкающие аппараты в огромных лабораториях, широкая дорога к знанию и научным изысканиям, переворот в науке и мировая слава нового Эйнштейна.

Итак, каждому может улыбнуться счастье, у каждого, кем бы он ни родился на свет, блестящие возможности и желанная цель впереди, у каждого — право жить, работать, быть самим собой и достигнуть всего, на что хватит мужества и к чему влечет мечта. Знай, о ты, кто ищет: вот что сулит нам Америка.

КНИГА ПЯТАЯ «ИЗГНАНИЕ И ОТКРЫТИЕ»

Четыре долгих года провел Джордж Уэббер в Бруклине, а потом вышел на простор, огляделся и решил, что с него довольно. За эти годы он многое узнал и о самом себе и об Америке, а теперь его вновь охватила жажда странствий. Жизнь его всегда, как маятник, раскачивалась между двумя крайностями — от оседлости отшельника к вольному бродяжничеству и от вечных скитаний вновь — к земле. И вот опять не дают покоя старые вопросы: «Куда теперь пойдем? Что будем делать дальше?» — и не утихают, и требуют нового ответа.

С того часа, когда вышла его первая книга, он думал о том, как написать, как построить следующую. И теперь, казалось ему, он нашел решение. Быть может, не самое верное, единственное, а все же решение. Сотни и тысячи отдельных, разрозненных заметок и записей наконец-то выстроились в его сознании в каком-то определенном порядке. Надо только соединить их в одно целое и заполнить пустоты» — и получится книга. Но Джордж чувствовал, что проделать эту важнейшую работу — все пересмотреть и построить окончательно — сумеет лучше, если сперва круто переломит однообразный ход своего теперешнего существования. Надо увидеть новые места и новые лица, глотнуть иного воздуха, от этого прояснятся мысли и зорче станет глаз.

Да и неплохо бы на время убраться из Америки. Жизнь тут слишком полна событий, слишком она будоражит и тревожит. Все здесь до того изменчиво и текуче, во всем вкус больших начал и щедрых обещаний, — глядя на это, пьянеешь от восторга, слишком трудно собраться с мыслями и делать свое дело. Быть может, в Старой Европе, где культура более зрелая и вся жизнь — устоявшаяся, прочная, вылепленная наследием веков, меньше вокруг будет такого, что отвлекает от работы. И он решил поехать за границу, в Англию; там он бросит якорь, там, в тихой заводи, найдет покой и закончит свою новую книгу.

И вот в конце лета 1934 года он отплыл из Нью-Йорка, напрямик направился в Лондон, снял там квартиру и с головой ушел в работу. Всю осень и зиму он провел в Лондоне в добровольном изгнании. Это была для него памятная пора, в ту пору, как ему позже суждено было понять, он открыл для себя новый мир. Все события и ощущения тех дней, все люди, с которыми он тогда встречался, наложили неизгладимый отпечаток на его жизнь.

А сильней всего повлияла на него тогда встреча там, в чужой стране, со знаменитым американским писателем Ллойдом Мак-Харгом. Все складывалось так, что они не могли не встретиться. И встреча с Мак-Харгом значила для Джорджа бесконечно много, потому что впервые он столкнулся с живым олицетворением самой заветной, самой сокровенной своей мечты. Когда Ллойд Мак-Харг, точно ураган, пронесся через его жизнь, Джордж понял, что впервые перед ним предстала во плоти сама прекрасная Медуза — Слава. Никогда прежде он не заглядывал в лицо этой прекрасной дамы и не видал, что могут сделать с человеком ее сладостные речи. Теперь он увидел все это своими глазами.

32. Мир Дэйзи Парвис

По приезде в Лондон Джорджу посчастливилось — он снял квартиру на Эбери-стрит. Это жилище уступил ему некий молодой военный, обладатель звучной многосуставной фамилии, какие нередко встречаются в высших кругах английского общества, среди будущих наследников титула. Джордж так и не научился выговаривать полностью столь громкое наименование, достаточно сказать, что владелец его жилища был майор Имярек Имярек Имярек Биксли-Дэнтон.

Майор был недурен собой — молод, высок, румян, с ладной гибкой фигурой кавалериста. И к тому же приятен в обхождении — до того приятен, что, передавая Джорджу права на свои апартаменты, ухитрился вставить ему в счет огромную сумму — плату за электричество и газ, которые сжег он, майор, в предыдущие два квартала. А электричество и газ, как пришлось потом убедиться Джорджу, в Лондоне стоят дорого. Одно необходимо, чтобы читать и работать не только ночи напролет, но и так называемые дни, когда в окно вползает непроглядная серая муть. А без другого невозможно ни умыться, ни побриться, ни приготовить еду, ни хоть немного согреться. Джордж так и не понял, каким образом приятнейший майор Биксли-Дэнтон ухитрился его провести, но проделано это было очень ловко, полгода Джордж ничего не подозревал, и лишь на полпути домой, в Америку, его осенило: ведь он занимал скромное жилище на Эбери-стрит только шесть месяцев, а оплатил четыре фантастических счета за газ и электричество за целый год!

Но поначалу Джордж решил, что заключил выгодную сделку, и, пожалуй, так оно и было. Он платил майору Биксли-Дэнтону поквартально (разумеется, вперед) из расчета два фунта десять шиллингов в неделю — и за эти деньги получал (по крайней мере на ночь) в полное свое распоряжение очень небольшой, но истинно лондонский дом. По правде говоря, в фешенебельном квартале, среди своих величественных соседей, построенных роскошно и с размахом, домик этот казался крохотным и совсем не примечательным. В нем было всего три этажа, Джордж поселился на самом верху. Под ним принимал своих больных какой-то врач, а в нижнем этаже помещалась небольшая портняжная мастерская. И врач и портной жили где-то еще, а здесь бывали только днем, и вечерами Джордж оставался в доме единственным обитателем.

К маленькой портняжной мастерской он сразу исполнился уважения. Сюда постоянно отдавал гладить штаны почтенный и знаменитый ирландский писатель Джеймс Берк, и однажды вечером Джордж имел честь присутствовать при том, как великий человек зашел за ними. То была памятная минута в жизни Джорджа Уэббера. Он чувствовал, что стал свидетелем важного, значительного события. Впервые он столь близко соприкоснулся с интимным миром литературного величия, а ведь почти каждый справедливый человек согласится: много ли на свете такого, что сравнится по интимности с парой штанов? Вдобавок в ту самую минуту, когда мистер Берк вошел в мастерскую и спросил свои брюки, Джордж как раз собирался получить свои. От такого немудреного совпадения он восторженно ощутил, что с этим почтенным джентльменом, перед которым он многие годы преклонялся, его связывают глубочайшее взаимопонимание и полное единство. Теперь и он причастен к великим, он стал своим в кругу избранных! Ему уже слышались чьи-то слова:

— Да, кстати, вы в последнее время не встречали Джеймса Берка?

— Ну как же, — небрежно ответит он, — я только на днях с ним столкнулся в мастерской, где нам обоим отглаживают брюки.

Ночь за ночью работал он у себя на третьем этаже, единственный в эти часы господин и повелитель скромного дома, трудился над построением книги, которая (он на это надеялся, хоть и не смел поверить), быть может, прославится наравне с иными книгами Берка, — и минутами его охватывало престранное, волнующее ощущение чьей-то дружеской близости, словно здесь, под одной с ним крышей, присутствовал и с одобрением взирал на него некий благожелательный дух — и, пока Джордж бодрствовал в ночи, дух этот всем красноречием тишины говорил ему:

«Грудись, сынок, не теряй мужества, не теряй надежды. Никогда не отчаивайся. Ты не совсем одинок. Мы тоже здесь — мы бодрствуем в ночи, мы ждем, мы одобряем твой труд и твою мечту.

С совершенным почтением — Брюки Джеймса Берка».

Среди самых памятных впечатлений от полугода жизни в Лондоне запомнилось Джорджу Уэбберу его знакомство с Дэйзи Парвис.

Миссис Парвис, поденщица, жила в Хаммерсмите и многие годы работала у «холостых джентльменов» в аристократических кварталах, известных под названиями Мэйфер и Белгрейвия. Джордж как бы получил ее в наследство от майора Биксли-Дэнтон, а уезжая, вернул, чтобы тот затем передал ее следующему холостому джентльмену, который (надеялся Джордж) будет достоин ее верности, преданности, поклонения и смиренного служения. Прежде у Джорджа не бывало никакой прислуги. В детстве, на Юге, он знал чернокожих слуг, в более поздние годы в разных местах, где ему случалось жить, раз или два в неделю приходила какая-нибудь женщина прибраться; но никогда прежде не было у него служанки, которая принадлежала бы ему телом и душой, так, что ее интересы становились неотделимы от его интересов и ее жизнь — от его жизни; никогда еще ни один человек не посвящал себя всецело заботам о его, Джорджа, удобствах и его благополучии.

По внешности миссис Парвис можно бы считать классическим образчиком такой прислуги. Она была не из тех комических фигур, какие мы столько раз видели на рисунках Белчера и Фила Мэя — не какая-нибудь старая толстуха, закутанная в шаль и с крохотным чепцом времен королевы Виктории на макушке, — таким, кажется, самое место в пивной, да немало их, насквозь пропитанных пивом и злостью, и вправду встречаешь в лондонских пивных. Нет, миссис Парвис была настоящая труженица с большим чувством собственного достоинства. Была она лет сорока с хвостиком, среднего роста, склонная к полноте, светловолосая, голубоглазая и румяная, скромное милое лицо, добрый приветливый нрав; но в ее обращении с посторонними чувствовалась некоторая даже гордость. Она была неизменно учтивая, но поначалу держалась с новым хозяином сухова. Придет поутру, и они деловито обсудят планы на весь день: что приготовить на обед, какие продукты надо «припасти», сколько денег придется «выложить».

— Чего вы желаете нынче на обед, сэр? — скажет, бывало, миссис Парвис. — Вы уже надумали?

— Нет еще, миссис Парвис. Что вы посоветуете? Дайте сообразить. Вчера у нас была рубленая говядина с брюссельской капустой, верно?

— Да, сэр, — отвечает миссис Парвис, — а прошлый раз, может, помните, в понедельник мы готовили ромштекс с жареным картофелем.

— Да, еще как вкусно было. Может, опять сделаем ромштекс?

— Очень хорошо, сэр, — с безукоризненной учтивостью скажет миссис Парвис, но зазвучит в ее голосе некая нотка, словно бы деликатный, но недвусмысленный намек: дескать, воля ваша, а только выбрать можно бы и лучше.

Джордж улавливает намек, и его тотчас преодолевают сомнения.

— Пойдите-ка, — говорит он. — Пожалуй, что-то уж очень часто у нас пошли ромштексы эти самые, верно?

— Вы их сколько раз заказывали, — спокойно отвечает миссис Парвис, не с упреком, а просто чуть заметно подтверждая истину. — Но, конечно... — Она смолкает на полуслове и ждет.

— Что ж, ромштекс штука хорошая. Они у нас были первый сорт. Но, может, сегодня для разнообразия что-нибудь другое сделаем? Как по-вашему?

— Да по-моему оно так, сэр, коли вы не против, — спокойно отвечает миссис Парвис. — Все ж таки приятно когда-никогда и разного поесть, правду я говорю?

— Ну, конечно. Так на чем порешим, миссис Парвис? Что вы предлагаете?

— Да вот, сэр, с вашего позволения, бывает хороша копченка с горошком. — Она разрешает себе сказать это чуть менее официально, с капелькой даже воодушевления, в ее голосе к едва уловимой робости, неуверенности в себе примешиваются трогательные теплые нотки. — Я вот по дороге заглянула к мяснику, сэр, так у него нынче копченка очень даже хороша, сэр. Распрекрасная копченка, сэр, — с неподдельным жаром заключает она. — Ну прямо распрекрасная.

Понятно, после этого Джордж не может признаться в своем невежестве, хотя он не имеет ни малейшего представления — что такое копченка. Он может лишь с восторгом согласиться:

— Ну, ясно, давайте копченку с горошком! На сегодня лучше не придумаешь!

— Очень хорошо, сэр.

Миссис Парвис уже снова замкнулась: сказала это самым официальным тоном — и снова далека и неприступна, будто холодной водой Джорджа окатила.

Когда имеешь дело с англичанами, тебя нередко ставят в тупик такие вот мгновенные превращения. Только подумаешь, наконец-то барьер рухнул и последние преграды сдержанности преодолены, только пошел душевный, непринужденный разговор — и вдруг эти англичане вновь огораживаются неприступной стеной — и начинай все сначала!

— А на завтрашнее утро вы что желаете? — продолжает миссис Парвис. — Надумали уже насчет завтрака?

— Нет, миссис Парвис. А что у нас есть дома? Какие наши запасы?

— Да уж кончаются, сэр, — признается она. — Яйца хотя есть. И масло еще осталось, и хлеба полбуханки. Чай у нас кончается, сэр. На завтрак можно яичницу, сэр, коли желаете.

По чуть заметной чопорности ее тона Джордж догадывается, что такой выбор она бы не одобрила, — и говорит поспешно:

— Нет, нет, миссис Парвис. Чаю, конечно, купите, а с яичницей подождем. Что-то в последнее время мы на нее слишком налегали, как по-вашему?

— Ваша правда, сэр, — кротко отвечает она. — По крайности три дня кряду у вас все на завтрак яичница. Но коли хотите...

И опять она умолкает, и это значит: если уж он и дальше намерен питаться яичницей, будет ему яичница.

— Нет-нет, хватит. А то скоро она, желтоглазая, нам совсем опостылеет, правда?

Миссис Парвис вдруг закатывается веселым, добродушным смехом.

— Вот это верно, сэр! — И снова смеется. — Вы уж извините, сэр, что меня смех разобрал, больно смешно вы сказали. Право слово, смех, да и только.

— Так, может, вы что другое надумаете, миссис Парвис? Только уж яйца покуда оставим.

— Сэр, а копченую сельдь вы не пробовали? Очень она бывает хороша. — Миссис Парвис опять оттаивает. — Коли вам хочется чего новенького, так копченая сельдь в самый раз. Право слово, сэр.

— Вот и прекрасно. Пускай будет копченая сельдь.

— Очень хорошо, сэр. — Миссис Парвис медлит в нерешительности, потом говорит: — Еще вот какое дело, сэр... насчет ужина... я вот подумала...

— Да, миссис Парвис?

— Я так думаю, меня ж вечером не бывает, чтоб горячего сготовить, так, может, нам чего отложить на вечер, чтоб вам только разогреть? Я давеча думала, сэр, вы ж сколько работаете, вдруг среди ночи проголодаетесь, так, может, пускай бы у вас была какая еда под рукой, верно

я говорю, сэр?

— Великолепная мысль, миссис Парвис! А что бы вы предложили?

— Да вот, сэр... — Короткое молчание, тихое раздумье. — Можно, знаете, припасти языка. Ломтик холодного языка — очень, даже вкусно. Я так думаю, среди ночи это вам будет в самый раз. Или, может, ветчинки. Тогда, сэр, вам только взять хлеба с маслом да маринованных огурчиков, а коли желаете, я и фруктового соуса баночку возьму, а уж чай вы и сами заварить сумеете. Правду я говорю, сэр?

— Да, конечно. Прекрасная мысль. Непременно купите и языка, и ветчины, и фруктового соуса. Ну, теперь все?

— Вроде все, сэр... — Миссис Парвис еще минуту раздумывает, идет к буфету, распахивает дверцы и заглядывает внутрь. — Вот только сомневаюсь, как у вас насчет пива, сэр... А-а! — Она с удовлетворением кивает. — Так я и знала, сэр, пива маловато. Только две бутылки осталось. Может, припасем еще полдюжины?

— Давайте. Нет, постойте-ка. Лучше возьмем сразу дюжину, чтобы не так скоро опять все вышло.

— Очень хорошо, сэр. — Это опять говорится официально, но на сей раз, кажется Джорджу, с одобрением. — А которое вам желательнее, темное или светлое?

— Да я не знаю. Которое лучше?

— Они оба первый сорт, сэр. Кому какое нравится. Может, светлое малость полегче, сэр, но оба хороши, не прогадаете.

— Ладно, тогда знаете что? Пожалуй, возьмите по полдюжины того и другого.

— Очень хорошо, сэр.

— Спасибо вам, миссис Парвис.

— И вам также, — произносит она самым сухим, официальным тоном, тихо выходит и неслышно, но решительно затворяет за собой дверь.

Проходила неделя за неделей, понемногу миссис Парвис оттаивала и держалась с Джорджем уже не так чопорно. Она все охотней делилась с ним своими мыслями. Не то чтобы она «забывалась», напротив: она всегда «знала свое место». Но, не изменяя сдержанности, свойственной всем английским слугам в обращении с хозяевами, она становилась все внимательней, все преданней, и под конец уже можно было подумать, будто смысл всей ее жизни в том и состоит, чтобы служить Джорджу.

И, однако, ее преданность была не столь безраздельной и полной, как могло показаться. Часа три-четыре в день она служила другому хозяину, который наравне с Джорджем пользовался ее трудами и пополам с Джорджем их оплачивал. Это был человек на удивление маленького роста, владелец врачебного кабинета, что помещался этажом ниже. Тем самым, по правде говоря, миссис Парвис делила свою привязанность между двумя господами, но вела она себя как-то так, что у каждого из них было ощущение, словно она предана всей душой лишь ему одному.

Этот маленький доктор, русский из старорежимных, в царское время был придворным медиком и нажил немалое состояние, которое, разумеется, конфисковали, когда он после революции сбежал за границу. В Англию он явился без гроша в кармане и здесь нажил еще одно состояние практикой, по поводу которой миссис Парвис, движимая вместе и преданностью и гордым равнодушием, сочинила какую-то утешительную сказочку, сам же доктор со временем стал на этот счет совершенно откровенен. Примерно с часу дня и часов до четырех звонок входной двери почти не умолкал и миссис Парвис поминутно шлепала в мягких туфлях вверх и вниз по узкой лестнице, впуская и провожая все новых пациентов.

Прожив в доме совсем недолго, Джордж сделал касательно этой процветающей врачебной практики прелюбопытное открытие. У них с маленьким доктором телефон был общий — номер оставался тот же, платили они по одному и тому же счету, но переключатель давал возможность каждому разговаривать у себя, по своему отдельному аппарату. Случалось,

телефон звонил вечером, когда доктор уже уезжал домой, в Суррей, и Джордж заметил, что звонили всегда женщины. Доктора они спрашивали очень по-разному, у иных в голосе прорывалась отчаянная мольба, другие как-то сладострастно, томно и жалобно ворковали. Доктора нет? Но где же он? Джордж отвечал, что доктор у себя дома, за двадцать миль отсюда, и тогда они чуть не плакали: нет, не может быть, неужели же судьба так жестоко над ними подшутила! А услышав, что это чистая правда, иной раз спрашивали — может быть, Джордж и сам мог бы им как-нибудь помочь? И волей-неволей надо было отвечать, что он, увы, не врач и придется им искать помощи в другом месте.

Такие звонки растравили его любопытство, и теперь днем, в докторские приемные часы, он смотрел в оба. Когда звонили у парадного, он каждый раз подходил к окну, и очень быстро его подозрения подтвердились: этот доктор пользовал одних только женщин. Возраст пациенток был самый разный — приходили и совсем молоденькие женщины, и старые ведьмы, и одевались они кто роскошно, а кто более чем скромно, но одно у всех больных было общее: все без исключения носили юбки. У этой двери ни разу не позвонил мужчина.

Порой Джордж принимался поддразнивать миссис Парвис насчет этой бесконечной череды посетительниц и вслух размышлял о том, как же доктор их лечит. Но миссис Парвис отлично умела обманывать себя — дар, очень распространенный среди людей ее положения, хотя, конечно, присущий отнюдь не только им. Несомненно, она догадывалась о многом, что происходило этажом ниже, но ее верность любому хозяину оставалась непоколебимой — и когда Джордж начинал уж очень приставать с расспросами, она сразу уходила в свою раковину, отвечала туманно: толком она в таких делах не разбирается, но, думается ей, доктор вроде лечит «от больных нервов».

— Какие же это болезни он лечит? — спрашивал Джордж. — У мужчин ведь тоже нервы бывают не в порядке?

— А-а. — Миссис Парвис, по своему обыкновению, многозначительно кивала. — А-а, вот тут-то вы его и поймали.

— Кого поймал, миссис Парвис?

— Ответ. Вся беда от этих... как бишь... от современных темпов. Так доктор говорит, — продолжала она высокомерно, тем непререкаемым тоном, каким всегда ссылалась на маленького врача и повторяла его высказывания. — Вся беда в том, что нынче жизнь больно торопливая — люди все по ужинам да по коктейлям, ночей не спят и все такое. В Америке вроде жизнь и еще того хуже. Ну, может, и не хуже, — поспешно поправились миссис Парвис, испугавшись, что неосторожными словами уязвила патриотические чувства Джорджа. — Я ж там не была, откуда мне знать, правда?

Америку она себе представляла главным образом по бульварным газетенкам, которые читала весьма усердно, и рисовались ей такие восхитительно несообразные картины, что у Джорджа не хватило мужества ее разочаровать. И он почтительно с нею согласился и даже несколькими тонкими намеками еще подкрепил ее уверенность, будто почти все американки только тем и заняты, что разгуливают по званым вечерам и пьют коктейли, а спать и вовсе никогда не ложатся.

— Ну вот, — сказала миссис Парвис, удовлетворенно и понимающе кивая, — стало быть, вы сами знаете, какие они есть, эти современные темпы. — И, помедлив долю секунды, закончила: — Стыд и срам это, вот что я вам скажу!

Очень много было такого, о чем она говорила, что это стыд и срам. Наверно, самый желчный консерватор в самом аристократическом из лондонских клубов не был до такой степени озабочен и возмущен положением дел в стране, как Дэйзи Парвис. Послушать ее, так подумаешь, будто она и есть наследница громадных поместий, которые всегда, со времен норманнских завоевателей, были величайшим богатством ее края, а вот теперь их у нее отнимают, распродают по клочкам, разрушают и опустошают, потому что она, Дэйзи Парвис, больше не в силах платить установленные правительством разорительные налоги. Она готова

была рассуждать об этом подолгу и всерьез делилась дурными предчувствиями, тяжело вздыхала и горестно качала головой.

Порою Джордж работал ночь напролет и только унылым туманным утром, часов в шесть-семь валился наконец в постель. Миссис Парвис приходила в половине восьмого. Если он еще не успевал уснуть, он слышал, как она тихонько поднимается по лестнице и проходит в кухню. А чуть погодя она стучалась к нему и вносила огромную кружку дымящегося питья, в снотворное действие которого верила свято и нерушимо.

— Выпейте-ка чашечку бульона, — говорила она, — от него враз сон разберет.

Джорджа и без того уже «сон разбирал», но это ее не интересовало. Если он еще не уснул, она поила его бульоном, «чтоб сон разобрал». А если он уже успел уснуть, она его будила и давала ему бульон, чтоб он снова уснул.

По правде говоря, ей просто хотелось с ним поговорить, поболтать о том о сем, а главное, поделиться самыми свежими новостями. Она приносила Джорджу «Таймс» и «Дейли мейл», и, уже конечно, при ней всегда была ее любимая бульварная газетка. И пока он, полусидя в постели, пил бульон, миссис Парвис, стоя у двери, с шумом потрясала своей газеткой и начинала:

— Стыд и срам это, вот что я вам скажу!

— Чем это вы нынче возмущаетесь, миссис Парвис?

— Да вот, вы только послушайте! — говорила она сердито и читала вслух: — «Как объявила вчера адвокатская контора Меригру и Распа, поверенных его светлости герцога Бейсингстокского, его светлость намерен продать свое поместье в Чиппинг-Кадлингтон (Глостершир). Продаже подлежат шестнадцать тысяч акров земли, в том числе восемь тысяч акров охотничьих угодий, и замок Бейсингсток-Холл, один из прекраснейших образцов зодчества времен первых Тюдоров; предки его светлости владели этим поместьем, начиная с XV века. Представители конторы Меригру и Распа заявили, однако, что в связи с непомерно возросшим подоходным налогом и налогом на недвижимость его светлость считает для себя невозможным далее содержать поместье в должном состоянии и потому продает Бейсингсток-Холл с аукциона. Тем самым во владении его светлости остаются всего три поместья: Фозергилл-Холл в Девоншире, Уинtringэм в Йоркшире и замок Лох Мак-Таш с охотничьими угодьями в Шотландии. Говорят, его светлость сказал недавно в кругу друзей, что если не будут приняты какие-то меры, чтобы остановить пагубный рост налогов, в ближайшие сто лет во всей Англии не останется ни одного большого поместья, которое по-прежнему принадлежало бы первоначальным владельцам...»

— А-а, — вздыхает миссис Парвис, дочитав это скорбное сообщение, и понимающе кивает. — В том-то все и дело. Правду говорит его светлость, мы теряем все наши большие поместья. А почему? Да потому, что владельцы больше не в силах платить налоги. Пагубные, это он верно говорит. Коли и дальше так пойдет, помяните мое слово, благородным людям негде станет жить. И то уж многие переселяются, — загадочно прибавляет она.

— Куда переселяются, миссис Парвис?

— Да мало ли. Во Францию, в Италию, в общем, на континент. Вот лорд Криклвуд живет где-то там, на юге Франции. А почему? Потому, что налоги для него больно высоки. Он тут все свои именья продал. А уж какие миленькие были именья, — с нежностью, точно о лакомом кусочке, прибавляет миссис Парвис. — Или вот взять графа Пентетьюка, леди Синтию Уормвуд, ее милость вдовствующую графиню Тротлмарш — где они все? Все они поразъехались, вот что. Собрались, да и уехали. Поместья продали. Живут в чужих краях. А почему? Да потому, что налоги стали больно высокие. Стыд и срам, вот что я вам скажу!

К концу этой длинной речи приветливое лицо миссис Парвис сплошь заливают сердитый румянец. Не часто Джорджу доводилось видеть такую горячую заботу о чужих делах. Опять и опять он пробует добраться до истоков столь искреннего волнения. Он со стуком отставляет чашку бульона и взрывается:

— Но послушайте, миссис Парвис, вы-то что беспокоитесь? Ваши лорды и леди с голоду не помрут. Вот вы у меня получаете десять шиллингов в неделю, да у доктора еще восемь. Он

к концу года собирается оставить практику и уедет жить за границу. А потом скоро и я вернусь в Америку. И вы даже не знаете, где вы будете ровно через год, какой найдете заработок. А вы каждый день читаете мне, что герцог Бейсингстокский или граф Пентетьюк должны расставаться с одним из полдюжины своих поместий, как будто боитесь, что всей этой публике придется жить на пособие по безработице. Вам-то и вправду придется жить на пособие, если вы останетесь без работы. А им всем худо не будет, — уж во всяком случае, не так, как вам.

— Это да, — отвечает миссис Парвис тихим голосом, так ласково и кротко, словно речь идет о благополучии малых беспомощных детей, — но мы-то ведь привычные, правда? А они, бедняжечки, ни к чему такому не приучены.

Потрясающе. Просто непостижимо. Джордж растерян, у него такое чувство, будто он бьется о несокрушимую стену. Зовите это как хотите — раболепным низкопоклонством, слепым невежеством, беспросветным тупоумием, — но ничего с этим не поделаешь. Эту стену невозможно ни сокрушить, ни хотя бы поколебать. В жизни он не встречал столь беспримерной верности и преданности.

Подобные разговоры велись у них каждое утро, и наконец не осталось, кажется, ни одного обедневшего молодого виконта, о чьем благородстве и несчастьях не посокрушалась бы почтительно всеведущая миссис Парвис. Но после того как по порядку, сверху донизу, с нежной заботой, до малейшего многоцветного перышка, блистающего в их геральдических крыльях, пересмотрены бывали все несчетные чины — святые, ангелы, капитаны великого воинства, стражи внутренних врат и верные лейтенанты, — неизменно наступало молчание. Казалось, в комнату входил некто незримый, но великий. И тут миссис Парвис с шуршаньем встряхивала газету, откашливалась и негромко, благоговейно произносила священное имя: ОН.

Порой эта минута наступала вслед за самозабвенными рассуждениями об Америке и «современных темпах» — в сотый раз миссис Парвис распространялась о злосчастном уделе женской половины населения Соединенных Штатов, о том, что это просто стыд и срам, затем, тактично помолчав, прибавляла:

— Хотя, что уж говорить, американские дамы очень даже элегантны, правда, сэр? Они все так прекрасно одеваются. Американку всегда сразу признаешь. И потом, они очень даже умные, правда, сэр? Я что хочу сказать, многие даже ко двору были представлены, правда, сэр? И некоторые даже повыходили замуж за знатных аристократов... И... (в ее голосе слышится еле уловимая нотка умиления, и Джордж уже знает, что будет дальше) и понятное дело, сэр, ОН...

А, вот оно! Этот бессмертный ОН жил, действовал, любил и пребывал здесь, в самом сердце небес Дэйзи Парвис! Бессмертный ОН, кумир всех Дэйзи Парвис по всей Англии, которые в своем обиходе, от избытка преданности, называли его не иначе как ОН, и не нужно им было иного имени.

— И понятное дело, сэр, ОН их привечает, правда? Я так слыхала, они ЕМУ очень даже нравятся. Уж наверно, американские дамы очень умные, сэр, раз ЕМУ с ними приятно поговорить. Вот давеча в газете ЕГО фотография была на приеме, и там разные ЕГО друзья, и с ними какая-то новая американская дама. По крайней мере, я ее первый раз вижу. И уж до того элегантно! Миссис какая-то, не припомню, как звать.

Или же голос ее звучал благоговейно и лицо сияло нежностью от такой, к примеру, новости:

— Вот в газете пишут, ОН воротился с континента. Что это ОН затеял, интересно знать. — И вдруг она хохочет, весело, неудержимо, так что румяные щеки ее становятся совсем пунцовыми, а голубые глаза влажными. — Ох, ОН и хитрец же, скажу я вам! Никогда не угадаешь, что ОН затеял. Нынче возьмешь газету — пишут, ОН навещает каких-то там друзей в Йоркшире. А завтра, оглянуться не успеешь, здрасте, ОН уже в Вене. Сейчас, говорят, в Скандинавии побывал... может, навещал там какую-нибудь ихнюю молоденькую

принцессу, вот уж я бы ни капельки не удивилась. Понятное дело... (теперь в ее голосе слышится горделивая важность, с какою она обычно возвещает неотесанному мистеру Уэбберу самые значительные свои откровения) понятное дело, про это уж давно шли толки. Да ЕМУ это без надобности. Станет ОН слушать, как же! Нрав у НЕГО независимый, так-то! ЕГО матушка еще вон когда это узнала. Пробовала она ЕГО смирать, как других прочих. Куда там! ОН паренек своевольный. Что хочет, то и делает, и никто ЕМУ не указ, вот какой у НЕГО нрав независимый.

Помолчала минуту, задумалась, будто перед ее затуманенным взором предстал обожаемый кумир. И вдруг приветливое лицо ее снова заливается краской, и опять короткий взрыв веселого, неудержимого смеха.

— Этаким бесенок! — восклицает она. — Знаете, говорят, недавно воротился ОН ночью домой... (тут она доверительно понижает голос) выпил, говорят, лишнего (теперь она почти шепчет и смешливо и чуточку нерешительно), так вот, сэр, говорят, не так-то легко ЕМУ было добраться до дому. Вроде даже пришлось ему за решетку держаться, которой Сент-Джеймский дворец огорожен. Только говорят, сэр... ах-ха-ха! — звучно хохочет рассказчица. — Вы уж меня простите, сэр, как подумаю про это, сразу смех разбирает! — И медленно, восторженным, полным обожания шепотом она доканчивает: — Говорят, сэр, полицейский, что стоял на посту у самого дворца, увидел ЕГО, подошел и спрашивает — позвольте, мол, сэр, я вам помогу? Да не на таковского напал! Не желает ОН, чтоб ему помогали! ОН гордый, вот ОН какой! Всегда такой был. Суший бесенок, вот что я вам скажу!

И, все еще улыбаясь, сложив на животе натруженные руки, она прислоняется к дверному косяку и замирает в смутном задумчивом молчании.

— А как по-вашему, миссис Парвис, — немного погодя спрашивает Джордж, — женится он когда-нибудь? Как вы думаете, если по совести? В конце концов, он уже не мальчик, верно? И уж конечно, выбор у него богатейший, и если он намерен что-то предпринять...

— Ну да, — несколько высокомерно, как всегда в этих случаях, соглашается миссис Парвис. — Ну да, я всегда говорю, конечно, ОН женится! Дайте срок, выберет ОН себе жену, да только когда сам захочет, не раньше! А силком ЕГО не заставишь, не на таковского напали. ОН сам все решит своим чередом.

— А когда же дойдет черед, миссис Парвис?

— Ну, так ведь у НЕГО пока что есть отец, правда? И не так уж он молод, отец-то, правда? — она дипломатически умолкает, давая Джорджу время уловить намек. — Так-то, сэр, — очень тихо заключает она. — Я что хочу сказать, сэр: всему свой черед, правду я говорю?

— Да, верно, миссис Парвис, ну а вдруг... — упорствует Джордж. — Почему вы уж так уверены? Ходят, знаете, разные слухи... вот я иностранец — и то слышал всякое. Во-первых, говорят, он не очень-то к этому стремится, и потом, ведь у него есть брат, верно?

— А, этот! — роняет миссис Парвис. — Этот...

И молчит минуту-другую, но, перебери она все выражения ожесточенной, непримиримой враждебности, сколько их есть в словаре, она и тогда не сказала бы больше, чем ухитрилась вложить в это короткое указательное местоимение.

— Да, — безжалостно настаивает Джордж, — но ведь этот как раз совсем не прочь бы добиться такой чести, верно?

— Он-то не прочь, — угрюмо соглашается миссис Парвис.

— И он женат, верно?

— Женат, — подтверждает она даже еще угрюмей прежнего.

— И дети у него есть, верно?

— И дети есть. — Тут она словно бы чуточку смягчается. На миг лицо ее даже вновь освещается нежностью, но тотчас опять мрачнеет. — Нет уж! — продолжает она. — Только не этот! — Она глубоко взволнована воображаемой опасностью на пути ее кумира к сияющим вершинам. Она беззвучно шевелит дрожащими губами, потом быстро качает головой в знак решительного несогласия. — Нет, только не этот. — Вновь минутное молчание, словно в душе

миссис Парвис борются желание высказаться и прирожденная чопорная сдержанность. И вот плотина прорвана: — Не нравится он мне, сэр, скажу я вам! Видеть его не могу! — Она порывисто качает головой и чуть не шепотом поверяет Джорджу страшную тайну: — Хитрость какая-то у него в лице, не нравится мне это! Больно он хитрый, только меня не проведешь! — Вся красная от волнения, она решительно качает головой, сразу видно: человек вынес суровый, бесповоротный приговор и уже не отступит ни на шаг. — Такое мое мнение, сэр, если хотите знать! Я всегда про него так думала. А она-то! Она! Вот кому ЕГО женитьба придется не по вкусу, а? Будьте уверены! — Миссис Парвис вдруг раздражается недобрым визгливым смехом, как смеются только очень рассерженные женщины. — Она такая. Это ж ясно как день, это у ней прямо на лбу написано! Только ничего у них не выйдет, — мрачно заявляет миссис Парвис и снова с угрюмой решимостью качает головой. — Мы-то понимаем, что к чему. Люди все понимают. Нас не проведешь. Так что понапрасну те надеются!

— Стало быть, вы не думаете, что те...

— Они-то! — сказала, как отрезала, миссис Парвис. — Да ни в жизнь, сэр! Не выйдет у них! И через тысячу лет не выйдет!.. ОН, только ОН! — Голос ее звенит, уверенность ее несокрушима. — ОН всегда был единственным наследником! И когда настанет время, сэр, ОН... ОН станет королем!

Натуре миссис Парвис присуща была совершенная, безоговорочная преданность, какою отличаются большие, добрые собаки. Да и вообще в своем отношении к жизни она чем-то странно напоминала животное. Ко всем живым тварям она относилась по-родственному нежно и заботливо, и когда встречала на улице собаку или лошадь, всегда замечала сперва их самих, а потом уже их двуногих хозяев. Она быстро узнала наперечет всех собак на Эбери-стрит и по собакам запоминала их владельцев. Как-то Джордж стал спрашивать ее о почтенном немолодом джентльмене с резкими чертами лица и ястребиным взором, которого несколько раз встречал на улице. Миссис Парвис тотчас же с удовольствием объяснила:

— Знаю, как же. Это у которого тот негодяй, что из дома двадцать семь? Ох и негодяй же! — воскликнула она, ласково засмеялась и покачала головой. — Такой косматый верзила, знаете, грудь широкая, ходит враскачку, а глядит уж таким тихоней! Ох и негодяй!

Джордж растерянно выслушал ее и наконец спросил, кто же все-таки негодяй — сам джентльмен или его пес.

— Да пес же, пес! — воскликнула миссис Парвис. — Огромный зверь, шотландская овчарка. Хозяин его — тот джентльмен, про кого вы спрашивали. Человек ученый, то ли писатель, то ли профессор. Он прежде был в Кембридже. Нынче вышел на покой. Живет в доме двадцать семь.

В другой раз, когда за окном мутно моросил частый мелкий дождик, Джордж увидел на другой стороне улицы необыкновенно красивую девушку. Он поспешно позвал миссис Парвис и с живостью спросил:

— Это кто такая? Вы ее знаете? Она на нашей улице живет?

— Право, не знаю, сэр, — в недоумении отвечала миссис Парвис. — Вроде и не первый раз ее вижу, а наверно сказать не могу. Буду теперь глядеть в оба, коли узнаю, где она живет, скажу вам.

Спустя несколько дней она вернулась из утреннего похода по магазинам довольная, сияющая, полная впечатлений.

— У меня для вас новости, сэр! Я все узнала про ту девушку!

— Про какую девушку? — удивился Джордж, застигнутый врасплох посреди работы.

— Про которую вы меня тот раз спрашивали. Она по улице шла, а вы мне ее показали.

— А, да! — Джордж встал из-за стола. — Так что же? Она живет у нас на Эбери-стрит?

— Ну, конечно, — сказала миссис Парвис. — Я ее сто раз видела. Я ее тогда мигом узнала бы, да только его-то с ней не было.

— Его? Кого его?

— Да того негодяя из дома сорок шесть. Вот она кто.

— Кто же именно, миссис Парвис?

— Да тот большущий датский дог, ясное дело. Его-то вы уж, верно, видели. Огромный, прямо с шотландского пони. — И миссис Парвис засмеялась. — Он всегда с ней ходит. Я ее в тот день первый раз без него увидела, оттого-то и не признала! — с торжеством пояснила она. — А нынче они вышли вместе погулять, и я издали их увидела. Тут-то я и смекнула, кто она такая. Они из дома сорок шесть. А этот негодяй (она ласково засмеялась)... ох и негодяй же! Малый первый сорт, знаете. Большущий, крепкий. Даже не знаю, где они его держат, это ж сколько места надо, где только они такой дом нашли.

Чуть не каждое утро, возвратясь с покупками из очередного похода по ближним магазинам, она оживленно рассказывала о каком-нибудь новом «негодяе» или «малом первом сорте», о какой-нибудь попавшейся ей на глаза собаке или лошади. Если при ней кто-то был жесток или хотя бы равнодушен к животному, она багровела от гнева. Как-то она пришла, вся кипит от негодования, потому что ей повстречалась слишком туго взнузданная лошадь.

— ...И уж я этого кучера отчитала! — восклицала она. — Коли человек, говорю, так худо обращается с животными, так его к ним и подпускать нельзя! Был бы поблизости полицейский, я бы этого изверга под каталажку подвела, вот что. Я ему так прямо и сказала. Стыд и срам, вот что. Как некоторые обращаются с несчастной бессловесной скотинкой, а она, бедняжка, и пожаловаться-то не может. Их бы самих эдак взнуздать! Походили бы сами в наморднике! А-а! — мрачно закончила миссис Парвис, словно эта мысль доставила ей свирепое наслаждение. — Это бы их научило уму-разуму! Узнали бы тогда, что к чему!

Было что-то тревожное, болезненное в этой непомерной любви к животным. Внимательно присматриваясь к миссис Парвис, Джордж убедился, что люди занимают ее куда меньше и людские страдания она принимает не так близко к сердцу. Она и сама была бедна, но к беднякам относилась с удивительным философским спокойствием. Рассуждала она, видимо, так: бедняки были, есть и будут, они к своей бедности привычны, и никому не стоит об этом беспокоиться, а самим несчастным жертвам — тем паче. И уж вовсе ей не приходило в голову, что делу надо бы как-то помочь. Страдания бедняков ей казались естественными и неизбежными, как лондонский туман, и, по ее разумению, волноваться из-за того и другого одинаково бессмысленно — только попусту себя растравлять.

К примеру, явится она иной раз, пылая негодованием оттого, что кто-то плохо обошелся с лошадей или собакой, и в то же утро Джордж слышит, как она резко, сердито, без тени сочувствия отчитывает грязного, голодного оборвыша-мальчишку, который доставляет из магазина пиво. Этот несчастный мальчонка будто сошел со страниц Диккенса — олицетворение нищеты, которая в Англии, доходя до крайности, выглядит безобразно, безнадежно, как нигде в целом свете. Здесь она особенно ужасна и отвратительна потому, что английские бедняки словно коснеют в своем несчастье, увязают в трясине наследственного убожества, и уже не ждут облегчения, в знают, что спасенья нет.

Таков был и этот злополучный мальчишка. Он принадлежал к «маленькому народцу» — к племени карликов и гномов, о существовании которого Джордж до той лондонской зимы и не подозревал — это было для него нежданное, убийственное открытие. Оказалось, в Англии есть как бы две породы людей, и они столь несхожи друг с другом, словно относятся к совсем разным видам живых существ. Это Рослый парод и Маленький народец.

Рослый народ отличается чистой свежей кожей, ярким румянцем, отменным здоровьем и уверенностью в себе; сразу видно, что эти люди всегда ели досыта. В расцвете сил они выглядят точно могучие двуногие быки. На улицах Лондона постоянно встречаешь таких вот гордых мужчин и женщин, все они холеные, великолепно одеты, а лица у них бессмысленные и невозмутимые, точно у породистого скота. Таков истинно британский Царь природы. И среди тех, кто охраняет и обслуживает этих господ и относится, в сущности, к той же породе, тоже попадаются великолепные экземпляры: например, здоровенные гвардейцы ростом шесть

футов и пять дюймов, прямые, как стрела, и с тем же уверенным выражением лица, которое говорит ясней ясного — пускай, мол, сами они и не цари природы, но, уж во всяком случае, верные орудия царей.

Но если побыть в Англии подольше, однажды непременно обнаружишь Маленький народец. Это племя гномов, вид у них такой, словно они уже долгие века роются под землей и там, в глубоких копиях, давно все усохли, съезжились и поблекли. Есть что-то такое в их лицах, в корявых телах, что свидетельствует: не только сами они всю жизнь света не видели, но и отцы и матери их и еще многие поколения предков существовали впроголодь, не знали солнца и плодились, точно гномы, во тьме глубоких подземелий.

Поначалу их не замечаешь. Но однажды Маленький народец выходит из-под земли, и вдруг оказывается — он Повсюду, куда ни глянь. Так он явился перед Джорджем Уэббером, и Джордж был ошеломлен. Слово какое-то зловещее волшебство открыло ему глаза: так, значит, живя в Англии, он очень многого не видел, а воображал, будто видит все! И не то чтобы Маленький народец был малочислен. Когда уж заметишь этих гномов, выясняется, что они-то, в сущности, и населяют Англию. На одного Рослого приходится десяток гномов. И Джордж понял, отныне ему суждено смотреть на эту страну другими глазами, и что бы он о ней ни прочитал, что бы ни услышал, ни в чем не будет смысла, если не принимать в расчет Маленький народец.

К этому-то племени принадлежал и злополучный мальчишка — разносчик пива. Каждая мелочь в его облике красноречиво говорила, что он рожден чахлым недомерком, в беспросветной нищете, и никогда у него не было ни вдоволь еды, ни теплой одежды, ни крова, где не пронизывал бы до мозга костей леденящий туман. Не то чтобы он был калекой, но все тело его словно бы ссохлось, увяло, казалось, из него выжаты все соки, точно из старика. Ему было, пожалуй, лет пятнадцать-шестнадцать, а порой казалось, что и меньше. Но с виду он был как взрослый, который не вышел ростом, — и тягостно было ощущать, что в этом хилом, изголодавшемся теле давно не осталось сил на неравную борьбу и больше оно уже не вырастет.

Ходил он в засаленной, истрепанной курточке, застегнутой на все пуговицы, из слишком коротких рукавов торчали большие, грязные руки, красные, натруженные, какие-то почти непристойно голые. И штаны на нем такие же засаленные и истрепанные, тесные, в обтяжку и притом на несколько дюймов короче, чем надо. А башмаки на несколько номеров больше, чем надо, старые, драные, стоптанные до того, что кажется, это ими отшлифованы все до единого булыжники в каменном сердце Лондона. И в довершение всего наряда — ветхий бесформенный картуз, до того большой и неуклюжий, что он съезжает набок, закрывая ухо.

Лица мальчишки толком не разглядеть, до того он неумытый и чумазый. Лишь кое-где под слоем грязи угадывается тусклая, нездоровая бледность. Черты до странности смазанные, словно физиономию эту наспех, кое-как слепили из свечного сала. Нос широкий, приплюснутый, а кончик вздернут, зияют раздутые ноздри. Толстые вялые губы точно придавлены каким-то тупым инструментом. В темных глазах ни искорки жизни.

У этого нелепого существа даже и язык какой-то непонятный. То есть говорит мальчишка, разумеется, на жаргоне лондонских трущоб, но без обычной для этого жаргона отрывистой резкости; он бормочет гнусаво, невнятно, ничего не разберешь, Джордж его просто не понимает. Миссис Парвис это удается лучше, да и то, по ее собственному признанию, порой и она не догадывается, о чем речь. И Джордж слышит — не успел мальчишка войти в дом, шатаясь под тяжестью ящика с пивом, как она принимается его отчитывать:

— Эй, ты смотри, куда идешь! Да не греми так бутылками! Наташил грязи на башмаках, не мог сперва ноги вытереть! Не топай по лестнице, как лошадь! — и в отчаянии восклицает, обращаясь к Джорджу: — Ну до чего неуклюжий, отродясь другого такого не видала!.. Хоть бы ты в кои веки умылся! — снова начинает она шпынять злосчастного оборвыша. — Не маленький уже, постыдился бы в эдаком виде разгуливать, на тебя ж люди смотрят.

— Во... — угрюмо бурчит мальчишка. — В эдаком виде... погуляла бы эдак сама...

умывалась бы тогда, как же...

Все еще обиженно бормоча себе под нос, он топает вниз по лестнице и идет прочь, и в окно Джордж видит, как он плетется по улице обратно в винный магазин, где работает на побегушках.

Магазин этот небольшой, но так как находится он в фешенебельном квартале, то чувствуется в нем какая-то неброская роскошь и сдержанная элегантность, чуть обветшалая, но оттого лишь еще более изысканная, — все это очень свойственно в Англии таким вот маленьким и дорогим магазинам. Чудится, будто все в этих стенах впитало долю тумана, тронута непогодой и слабо отдает смутным, но волнующим угольным дымком. И над всем — благоухание старых вин и тонкий аромат изысканнейших напитков, этими запахами, кажется, насквозь пропитаны и деревянные прилавки, и полки, и даже половицы.

Едва отворишь дверь, тихонько звякнет колокольчик. И не успеешь переступить порог, как охватывает безмятежный покой. Ощущаешь благополучие и уверенность. Ощущаешь все могучие, хоть и неясные соблазны роскоши (если у вас есть деньги, в Англии вы ощущаете эти соблазны сильнее, чем где бы то ни было). Чувствуешь себя богачом, для которого нет ничего недоступного. Чувствуешь, что этот мир великолепен, в нем полным-полно восхитительных блюд, и всеми ими ты волен насладиться, стоит только слово сказать.

Владелец этого роскошного гнездышка коммерции — вполне под стать своему заведению. Средних лет, среднего роста, сухощавый, светло-карие глаза и каштановые усы — негустые, довольно длинные и какие-то гладкие. На нем крахмальный воротничок с отогнутыми уголками, в черном галстуке поблескивает булавка. Обычно он появляется без пиджака, но в черных шелковых нарукавниках, которые миглом рассеивают всякое подозрение в неприличной бесцеремонности. Нет, это придает его облику самую малость — как раз в меру! — вкрадчивого, но сдержанного подобострастия. Это истинный представитель среднего сословия — не того, что в Америке, и даже не того, что называют «средним сословием» англичане, но совсем особого, *услуживающего* среднего сословия, — он из тех, кто заботится о повседневных удобствах важных господ. Из тех, чье назначение — служить благородным джентльменам, кормиться милостями джентльменов, существовать рядом с ними, благодаря им и для них и слегка сгибаться в поклоне при одном их появлении.

Вы переступаете порог магазина — и этот человек подходит к прилавку, произносит с ноткой подобострастия в голосе (как раз в меру): «Добрый вечер, сэр», говорит еще два слова о погоде и затем, упершись худыми, костлявыми, рыжеватыми от веснушек руками в прилавок, слегка наклоняется к вам и всем своим существом, включая воротничок с отогнутыми уголками, черный галстук, черные шелковые нарукавники, усы, светло-карие глаза и легкую деланную улыбку, с подобострастным, но не вовсе уж раболепным вниманием ждет ваших распоряжений.

— Что у вас сегодня есть хорошего? Можете вы предложить мне кларет, чтоб был выдержанный, но не слишком дорогой?

— Кларет, сэр? — медовым голосом переспрашивает он. — Есть хороший кларет, сэр, и цена умеренная. Многие наши покупатели его берут. И все хвалят. Попробуйте, сэр, не пожалеете.

— А как насчет шотландского виски?

— Хейг, сэр? — тем же медовым голосом. — Возьмите хейг, сэр, не пожалеете. Но, может быть, вам угодно попробовать другую марку, сэр? Немножко более редкую, чуточку подороже и, пожалуй, чуточку более выдержанную. Некоторые наши клиенты пробовали, сэр. Это на шиллинг дороже, но если вам по вкусу, когда отдает дымком, так вы увидите, оно того стоит.

О, любящий проворный раб! Любящий опрятный раб! Любящий раб, что сгибается в поклоне, опершись костлявыми пальцами о прилавок! Любящий раб, чьи жидкие волосы разделяет аккуратнейший прямой пробор и чей узкий лоб бороздят ровные частые морщины, когда он с легкой деланной улыбкой смотрит на вас снизу вверх! О, этот любящий проворный угодник, прихвостень важных господ — и тот жалкий мальчишка! Да, внезапно, посреди всей

этой комедии услужливости, этой подделки под преданность, хозяин магазина, точно злобный пес, набрасывается на несчастного ребенка, который, простуженно шмыгая носом и притопывая застывшими ногами, протянул красные от холода, потрескавшиеся, натруженные руки к весело пляшущему в камине огню.

— Эй, ты! — рычит хозяин. — Чего ты тут околачиваешься? Отнес уже заказ в дом двенадцать? Ступай, да поживее, не заставляй джентльмена ждать!

И тотчас безобразно резкий, нелепый переход к прежней медовой учтивости, опять легкая деланная улыбка и елейные, льстивые интонации:

— Слушаю, сэр. Дюжину бутылок, сэр. Не позже, чем через полчаса, сэр. Дом номер сорок два — ну как же, как же, сэр! Доброй ночи!

Доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи тебе, любящий, проворный раб, сила и опора нации. Доброй ночи тебе, незыблемый символ неколебимой независимости бриттов. Доброй ночи тебе, и твоей жене, и твоим детям, дрянной семейный деспот. Доброй ночи, ничтожный самодержец домашнего очага. Доброй ночи, господин и повелитель воскресной баранины. Доброй ночи, джентльменский угодник с Эбери-стрит.

Доброй ночи и тебе тоже, убогий мальчонка, несчастный недоросток, гном, неумытый гражданин из мира Маленького народца.

Сегодня на улице так быстро сгущается туман. Он всюду проникает, все окутывает, как плащом, и вот уже улицу не разглядеть. Лишь там, где падает свет от витрин винного магазина, в тумане разгорается смутное зарево, расплывчатое цветенье золотистых лучей, уюта, тепла. Мимо ступают ноги, прохожие возникают из плотной завесы тумана, точно призраки, на миг рождаются, принимают человеческий облик, шагают по тротуару — и вновь растворяются в тумане, точно тени, точно призраки, истаивают, исчезают. И те, кто в этом мире горд, могуществен и знатен, и те, кто прелестен и окружен заботами, тоже возвращаются домой — домой, в крепкие, надежные стены, где лучатся золотыми нимбами, расцветают в тумане другие огни. А за четыреста ярдов отсюда печатают шаг, четко поворачиваются и вновь мерно шагают рослые караульные гвардейцы. Здесь все — великолепие. Все прочно, как скрепленные цементом стены. Все прелестно и отраднo в этом лучшем из миров.

И ты, злосчастное дитя, так грубо и некстати свергнутое в этот мир блеска и славы, куда бы ни был ты обречен пойти в этот вечер, какой порог ни должен бы переступить, на каком бы тюфяке, набитом вонючей соломой, ты ни спал в каком-нибудь тесном кирпичном муравейнике, в этой продымленной, промозглой туманной сутолоке, в кишашей двуногими букашками паутине старого, необъятного Лондона, — спи как можно слаще и покрепче держись за призрачное тепло, вспоминая этот запретный мир и его воображаемое великолепие. Итак, доброй ночи, мой маленький гном. И да помилует всех нас бог.

33. Те же и мистер Мак-Харг

В конце осени и начале зимы того года неожиданный случай прибавил к списку приключений Джорджа Уэббера новое необычайное испытание. Уже месяца полтора он не получал вестей из Америки, и вдруг посыпались взволнованные письма от друзей: они сообщали о недавнем происшествии, которое не могло не отразиться на его литературной судьбе.

Известный американский писатель Ллойд Мак-Харг только что выпустил новую книгу, которую немедленно и единогласно признали вершиной его блистательного Творческого пути и выдающимся достижением национальной культуры. В английской печати уже встречались краткие сообщения о грандиозном успехе этой книги, но теперь из писем друзей Джордж узнавал подробности. Оказывается, Мак-Харг беседовал с журналистами и, к всеобщему изумлению, заговорил не о своем новом романе, но о книге Уэббера. Газетные вырезки с этим интервью и посылали теперь Джорджу. Он читал их с изумлением и с самой глубокой, самой искренней благодарностью.

Джордж никогда не встречал Ллойда Мак-Харга. Ни разу у него не было случая ни

поговорить со знаменитым романистом, ни написать ему. Он знал Мак-Харга лишь по его книгам. Несомненно, Мак-Харг — один из корифеев современной американской литературы, и вот, в расцвете творчества, увенчанный величайшей славой, о какой только можно мечтать, он воспользовался удобным случаем не для самовосхвалений, как сделал бы почти всякий на его месте, а для того, чтобы восторженно расхвалить человека, которого никогда не видал, безвестного молодого автора одной-единственной книги.

Такое редкостное великодушие в глазах Джорджа и тогда и много лет спустя было почти чудом, неожиданная новость несказанно удивила его и обрадовала, а немного придя в себя, он сел и излил свои чувства в письме к Мак-Харгу. Вскоре пришел ответ — короткое письмецо из Нью-Йорка. Он всего лишь сказал о книге Уэббера то, что думал, — писал Мак-Харг, — и рад был случаю сказать это во всеуслышание. И еще он сообщал, что один из старейших американских университетов присуждает ему почетную степень; эта честь ему тем приятней, с простительной гордостью признавался Мак-Харг, что событие это — внеочередное, приурочено к выходу нового романа, и торжественная церемония обойдется без той формальной парадности, которая напоминает цирковое представление с дрессированными тюленями. А после этого он, Мак-Харг, сразу же отплывает в Европу, проведет некоторое время на континенте, затем побывает в Англии, и надеется там повидать Уэббера. Джордж сейчас же ответил, что с нетерпением будет ждать встречи, дал Мак-Харгу свой адрес, и на том покуда дело кончилось.

Миссис Парвис искренне разделяла радость Джорджа, который так ликовал, что не сумел бы скрыть от нее причину своего восторга, если бы и захотел. Она волновалась перед этой встречей, кажется, не меньше самого Джорджа. Они вместе изучали газеты в поисках сообщений о Мак-Харге. Однажды утром, принеся Джорджу неизменную «чашечку бульона», миссис Парвис пошуршала своей газеткой и объявила:

— Вот он и в пути. Уже отплыл из Нью-Йорка.

Через несколько дней Джордж хлопнул ладонью по страницам свежего номера «Таймс» и воскликнул:

— Он уже здесь! Прибыл! Высадился в Европе! Теперь уж недолго ждать!

А потом настало незабываемое утро, когда миссис Парвис принесла, как всегда, газеты и почту, и одно из писем было от Лиса Эдвардса, а в письме — большая вырезка из «Нью-Йорк таймс». Это был полный отчет о торжественной церемонии, во время которой Мак-Харгу было присвоено почетное звание. Мистер Мак-Харг обратился к distinguished собранию в прославленном университете с речью, и газетная вырезка содержала пространные цитаты из его речи. Джордж ничего подобного не предвидел. Ему и в мысль не приходило, что такое может случиться. С тесных столбцов убористой печати рванулось гранатой и ослепительно вспыхнуло перед глазами его, Джорджа Уэббера, имя. Перехватило горло, он едва не задохнулся. Сердце подпрыгнуло, замерло, бешено заколотилось в груди. Мак-Харг говорил о нем в своей речи, говорил так много, что это заняло половину газетного столбца. Он провозгласил младшего собрата будущим выразителем духа своей страны, живым свидетельством невиданного расцвета талантов, вновь открытым материком на карте искусства. Он назвал Уэббера гением и перед лицом великих мира сего объявил: это имя — порука величия Америки, символ пути, по которому она пойдет.

И внезапно Джорджу вспомнилось, кто он такой и какой путь прошел. Вспомнилась Локаст-стрит в Старой Кэтоубе двадцать лет тому назад, и Небраска, и Рэнди, и семейство Поттерхем, тетя Мэй и дядя Марк, отец и он сам — мальчонка в тесном кольце гор, как в плену, и по ночам рыдающие свистки поездов, уносящихся на север, сюда, в большой мир. И вот теперь его имя, имя того, кто был безыменным, безвестным, ярко заблестало, и перед ним, кто когда-то на Юге, мальчишкой, томился немотой и ждал, обретенный им дар слова распахнул золотые врата Земли.

Миссис Парвис разволновалась, пожалуй, не меньше Джорджа. Не в силах ничего сказать, он показал ей на газетную вырезку. Дрожащей рукой похлопал по лучезарным строкам. Сунул ей вырезку. Она прочла, залилась румянцем, круто повернулась и вышла из

комнаты.

И они стали со дня на день ждать Мак-Харга. Потянулась неделя, другая. Каждое утро они искали в газетах вестей о нем. Он, видно, решил объехать всю Европу, и куда бы он ни приехал, его торжественно принимали и чествовали, печатали его интервью и фотографии, на которых он был снят в обществе других знаменитостей. Он побывал в Копенгагене. Недели на две остановился в Берлине. А затем поехал в Баден-Баден лечиться.

— О, господи! — в отчаянии стонал Джордж. — Сколько еще это будет продолжаться!

Сообщили, что Мак-Харг снова в Амстердаме; и после этого — никаких вестей. Настало рождество.

— Я так думаю, пора бы уж ему приехать, — сказала миссис Парвис.

Пришел Новый год, а от Ллойда Мак-Харга по-прежнему ни слова.

Однажды в середине января Джордж работал всю ночь, а утром, лежа в постели, по обыкновению, болтал с миссис Парвис и только сказал, что приезд Мак-Харга слишком долго откладывался и, пожалуй, его уже не дождешься, как вдруг зазвонил телефон. Миссис Парвис прошла в гостиную и сняла трубку. Джордж слышал, как она говорит чопорно:

— Слушаю. Как? Кто спрашивает, простите? — Короткое молчание. Потом поспешное: — Одну минуточку, сэр. — Она вошла в комнату Джорджа вся красная: — Вам звонит мистер Ллойд Мак-Харг.

Сказать, что Джордж вскочил с постели, значило бы ничего не сказать: невозможно описать словами, как он взлетел в воздух вместе с одеялом и простыней, словно им выстрелили из пушки. Он приземлился, точно попав ногами в шлепанцы, и в два прыжка, уронив по дороге одеяло и простыню, пронесся за дверь, в гостиную, и схватил трубку.

— Да, да, слушаю! — забормотал он. — Кто это?

Мак-Харг оказался еще стремительней Джорджа. По проводам понеслась торопливая, лихорадочная речь (по высокому, чуть гнусавому голосу сразу можно было узнать американца):

— Алло, алло! Это вы, Джордж? — Он с первых же слов называл Уэббера просто по имени. — Как дела, сынок? Как дела, мальчик? Как тут с вами обращаются?

— Прекрасно, мистер Мак-Харг! — заорал Джордж. — Это ведь мистер Мак-Харг говорит, верно? Послушайте, мистер Мак-Харг...

— Ну-ну, полегче! Полегче! — нетерпеливо закричал тот. — Не орите так громко! — вопил он. — Я же не в Нью-Йорке, знаете ли!

— Знаю! — во все горло крикнул Джордж. — Я это самое и хотел сказать! — Он преглупо захохотал. — Послушайте, мистер Мак-Харг, когда бы нам...

— Пойдите, обождите минутку! Дайте мне сказать. Не надо так волноваться. Вот что, Джордж! — Он говорил быстро, отрывисто, казалось, это отстукивает слова телеграф. Даже не выдав его ни разу в глаза, можно было ясно представить себе этого человека, лихорадочно жизнелюбивого, неугомонно деятельного, всегда натянутого, как струна. — Бот что! — рявкнул он. — Мне надо с вами повидаться и поговорить. Пообедаем вместе и потолкуем.

— Прекрасно! П-прекрасно! — заикаясь, вымолвил Джордж. — Буду рад и счастлив! В любое время! Я знаю, вы очень заняты. Могу встретиться с вами завтра, послезавтра, в пятницу... на той неделе, если вам удобнее...

— Кой черт! — оборвал Мак-Харг. — По-вашему, я неделю стану ждать обеда? Вы обедаете со мной сегодня. Жду! Приходите скорей! Поторапливайтесь! — нетерпеливо кричал Мак-Харг. — Сколько времени вам до меня добираться?

Джордж спросил, где он остановился, и Мак-Харг дал адрес по соседству с Сент-Джеймским дворцом и Пикадилли. Можно доехать на такси за каких-нибудь десять минут, но ведь еще нет десяти часов, подумал Джордж и предложил приехать к двенадцати.

— Что-о? Через два часа? Ради всего святого! — пронзительно, сердито закричал Мак-Харг. — Да вы где живете, черт возьми? На севере Шотландии?

Джордж объяснил, что он находится в десяти минутах езды, просто он думал, что мистер Мак-Харг будет обедать часа через три.

— Ждать еще три часа? — заорал тот. — Слушайте, Какого черта? Сколько еще вы хотите морить меня голодом? Неужели вы всегда заставляете людей ждать по три часа, когда обедаете с ними, Джордж? — сказал он помягче, но все-таки сердито. — Побойтесь бога, приятель! Покуда вас дождешься, с голоду помрешь!

Джордж все сильней недоумевал: может быть, у знаменитых писателей заведено обедать в десять утра? Заикаясь, он заторопился:

— Нет, нет, что вы, мистер Мак-Харг! Я приду, когда хотите. Могу быть у вас минут через двадцать, через полчаса.

— Вы ж, кажется, сказали, что это всего десять минут езды?

— Да, но мне сперва надо одеться и побриться.

— Одеться! Побриться! — заорал Мак-Харг. — Неужто вы еще не встали, черт побери? Вы что, всегда спите до полудня? Да когда ж вы успеваете работать?

Джордж, теперь уже вконец растерявшийся, не посмел объяснить, что он не то чтобы не вставал, а, по сути, еще и не ложился; почему-то просто невозможно было признаться, что он работал всю ночь напролет. Почему-то вдруг это вызовет новый взрыв насмешек или досады; и он только забормотал какие-то невнятные оправдания — вчера, мол, пришлось работать допоздна.

— Ну, так приезжайте! — нетерпеливо перебил Мак-Харг. — Давайте живей! Хватайте такси и гоните всюю. И не возитесь с бритьем! — приказал он. — Я уже три дня провел с одним голландцем и подыхаю с голоду!

И он с треском бросил трубку, предоставив ошарашенному Джорджу гадать, что это значит: почему, проведя три дня в обществе какого-то голландца, человек должен подыхать с голоду?

К тому времени, как Джордж вернулся в спальню, миссис Парвис уже выложила для него чистую рубашку и лучший костюм. Пока он одевался, она взяла сапожную мазь и щетку, вышла в гостиную и тут же, не затворяя дверь, опустилась на колени и принялась начищать лучшую пару его башмаков. И, усердно работая щеткой, не без грусти окликнула Джорджа:

— Надеюсь, он вас вкусно покормит. А у нас опять нынче ветчина с горошком. И кусок-то какой распрекрасный! Я только поставила на огонь, а тут и телефон позвонил.

— Да, обидно, но что поделаешь! — крикнул в ответ Джордж, впопыхах натягивая брюки. — Вы уж ешьте сами, а обо мне не беспокойтесь. Меня отлично накормят.

— Он вас, конечно, в «Риц» сведет, — чуть надменно заявила миссис Парвис.

— Ну, не думаю, чтоб он любил такие места, — небрежно заметил Джордж, надевая рубашку. — Люди этого сорта, как правило, ничего такого шикарного не любят! — крикнул он так уверенно, будто «люди этого сорта» были ему закадычными приятелями. — Мак-Харгу, я думаю, вся эта роскошь до смерти надоела, тем более все последнее время его без конца таскали по званым обедам. Я думаю, ему приятней пойти куда-нибудь попроще.

— М-м... Оно бы и понятно, — раздумчиво согласилась миссис Парвис. — Сколько его принимали разные артисты да аристократы! Могло и опротиветь. Мне-то уж верно бы опротивело. (Это означало, что она дала бы выколоть себе правый глаз ради такой счастливой возможности.) А вы его сводите в ресторан Симпсона, — небрежно прибавила миссис Парвис, таким тоном она обычно давала самые ценные свои советы.

— Вот это мысль! — воскликнул Джордж. — Или можно в закусочную Стоуна что на Пэнтон-стрит.

— Тоже хорошо, — одобрила она. — Это которая рядышком с Хэй-Маркет?

— Ну да, между Хэй-Маркет и Лестер-сквер, — сказал Джордж, завязывая галстук. — Такое, знаете, старое заведение, существует лет двести, а то и больше, не такое модное, как Симпсон, но это даже лучше. Туда женщин не пускают, — прибавил он с удовлетворением, словно не сомневался, что в глазах Мак-Харга это немалое достоинство.

— Да, и у них, говорят, знаменитое пиво подают, — сказала миссис Парвис.

— Оно там цвета красного дерева, — сказал Джордж, торопливо накидывая пальто, — а на вкус мягкое, как бархат. Я один раз пробовал. Его подают в серебряных кружках. После двух кружек такого пива собственной теще и то готов цветы поднести.

Миссис Парвис вдруг от души расхохоталась и, сияющая, раскрасневшаяся, почти вбежала в спальню.

— Прошу прощения, сэр. — Она поставила перед Джорджем начищенные башмаки. — Вы иной раз такое скажете, поневоле смех разбирает... А только у Симпсона... право слово, пошли бы вы к Симпсону, не пожалеете, — продолжала миссис Парвис, хотя она ни разу в жизни не заглядывала в эти рестораны. — Коли он любит барашка... о-о, уж вы мне поверьте! — гордо заявила она. — Барашка вы там получите — пальчики оближешь.

Он обулся и глянул на часы — только десять минут прошло с тех пор, как Мак-Харг дал отбой, а он уже одет и совсем готов... И он шагнул за дверь и спустился по лестнице, на ходу надевая пальто в рукава. Несмотря на ранний час, от всех этих разговоров у него разыгрался аппетит, и он вполне готов был отдать должное предстоящей трапезе. Он вышел на улицу и хотел уже окликнуть такси, как вдруг из дому выбежала миссис Парвис, махая чистым носовым платком, — и аккуратно сунула ему этот платок в нагрудный кармашек пиджака. Джордж поблагодарил ее и снова сделал знак такси.

То была старая черная колымага с решеткой для багажа на крыше, похожая на похоронные дроги, — американцу, привычному к ярко раскрашенным, сыто урчащим машинам, проносившимся, как молнии, по улицам Нью-Йорка, такая штука могла показаться пережитком викторианской эпохи, да так оно подчас и бывало; водителями этих ископаемых оказывались престарелые йеху с моржовыми усами, которые правили аристократическими двуколками еще при королеве Виктории. Вот такая-то древность степенно катила сейчас к Джорджу не по той стороне улицы, по какой ему было привычно, а стало быть, по той, по какой полагается у англичан.

Джордж открыл дверцу, назвал моржу адрес и попросил ехать побыстрее: у него спешное дело. «Слушаю, сэр», — с чопорной учтивостью отвечал морж, развернул свой старый ящик и степенно покатил по улице с прежней скоростью эдак миль двенадцать в час. Миновали Букингемский дворец, свернул на Молл; обогнув Сент-Джеймский дворец, проехали по Пэл-Мэд, затем по Сент-Джеймс-стрит и еще через минуту остановились у дома, который указал Мак-Харг.

Это были меблированные комнаты для холостяков — тихое, степенного вида жилище, какие не редкость в Англии; они необычайно удобны и уютны, были бы только деньги. Вся обстановка напоминала небольшой клуб, доступный лишь немногим избранным. Джордж обратился к служащему в крохотном кабинетике у входа.

— Мистер Мак-Харг? — переспросил тот. — Да, конечно, сэр, он вас ждет... Джон, — окликнул он юнца в форменной одежде с медными пуговицами, — проводи джентльмена наверх.

Они вошли в лифт. Джон аккуратно закрыл дверь, с силой потянул шнур, кабина стала неторопливо подниматься и после новых маневров со шнуром более или менее аккуратно остановилась на одном из верхних этажей. Джон отворил дверь, вышел первым и со словами «Пожалуйста, сэр» провел Джорджа по коридору к полуоткрытой двери, из-за которой слышался неясный говор. Джон тихонько постучал, дождался разрешения войти и негромко доложил:

— К вам мистер Уэббер, сэр.

В комнате находились трое, но Джорджа так поразил вид Мак-Харга, что остальных он поначалу просто не заметил. Мак-Харг стоял посреди комнаты со стаканом в одной руке, с бутылкой в другой и собирался налить себе шотландского виски. При появлении Джорджа он вскинул голову, отставил бутылку и с протянутой рукой шагнул навстречу гостю. Было в его облике что-то почти грозное. Джордж узнал его мгновенно. Сколько раз он видел портреты Мак-Харга, но только теперь понял, как льстит и как мало раскрывает фотография. Знаменитый писатель был до неправдоподобия уродлив и притом неимоверно измотан,

никогда еще Джордж не видал человека до такой степени истощенного.

Прежде всего поражало, что весь он какой-то огненно-красный. Все огненно-красное: волосы, большие оттопыренные уши, брови, веки, даже костлявые руки, сплошь в веснушках, с узловатыми пальцами (поглядев на эти руки, Джордж понял, почему все, кто знает Мак-Харга, называют его странным прозвищем Костяшка). Краснота эта просто пугала. Казалось, раскаленное лицо пышет жаром, и Джордж, наверно, не слишком бы удивился, если б из ноздрей Мак-Харга вырвались струи дыма и заплясали по коже языки пламени.

Нет, это не было багрово-румяное пухлое лицо человека, давно и много пьющего. Ничего похожего. Мак-Харг был тощ, как скелет, притом очень высок — ростом, наверно, шесть футов и два или три дюйма, а от крайней худобы и костлявости казался еще выше. Какой-то он больной, изнуренный, подумалось Джорджу. Лицо по самому складу своему насмешливое и недоброе, а когда присмотришься поближе — воинственное, но необычайно притягательное, в нем и свирепый задор, и полная редкостного обаяния смесь мальчишеского озорства с непритязательной скромностью некрасивого веснушчатого северянина; но сейчас лицо это так кривилось и морщилось, будто его обладатель непрестанно жевал лимон, и притом казалось, оно иссушено и обожжено все тем же пылающим внутри безжалостным огнем. И на этом лице — необыкновеннейшие, единственные в мире глаза. Когда-то они, наверно, были светло-голубыми, а сейчас выцвели, вылиняли чуть не добела, будто их варили в кипятке.

Он быстро подошел к Джорджу, приветственно протянув костлявую руку, губы его кривились, обнажая крупные зубы, голова запрокинулась вверх и вбок, выражение лица и свирепое и опасно беспокойное, и, однако, что-то в нем трогательное, что говорит ясней слов: дух и сердце этого человека жестоко изранены, истерзаны и кровоточат, внутренне он беззащитен, бесконечно уязвим, и жизнь изодрала его в клочья безжалостными когтями. Он сжал и потряс руку Джорджа, а его недоброе лицо воинственно кривилось, точно у драчуна-мальчишки перед стычкой с другим мальчишкой. Всем своим видом он будто говорил: «Ну, ну, давай! Только тронь, и уж я тебе задам, своих не узнаешь!» Но произнес он нечто другое.

— Ах, вы... вы... обезьяна вы этакая! Нет, вы только посмотрите на него! — вдруг пронзительно выкрикнул он, полуобернувшись к тем двоим. — Слушайте, вы... кто вам сказал, что вы умеете писать, черт подери? — И тут же мягко, дружески: — Как живете, Джордж? Да входите же, входите!

Все еще сжимая руку Джорджа костлявыми пальцами, Мак-Харг взял его свободной рукой за плечо и повел через всю комнату к двум другим гостям. И вдруг отпустил его, стал в позу, напыжился и пошел разглагольствовать, ни дать ни взять присяжный говорун после плотного обеда:

— Леди и джентльмены! Мне выпало редкое счастье и, смею даже сказать, особая честь представить членам Дамского Артистически-литературно — культурного Общества Безмозглых Балаболок нашего высокоуважаемого почетного гостя, автора до того длиннющих и толстенных книг, что читателю их не поднять. Автора, чья литерату-урная мане-ера столь соверше-енна и язык столь бога-ат, что он почти всегда употребляет двадцать одно прилагательное там, где за глаза хватило бы четырех.

Он круто оборвал свою речь, встряхнулся и вдруг судорожно, отрывисто, визгливо засмеялся и костлявым пальцем ткнул Джорджа в бок.

— Как это вам нравится, Джордж? — очень непосредственно, дружелюбно и ласково спросил он. — Похоже, верно? Ведь правда, они так и разговаривают? Недурно, а?

Он явно был доволен разыгранной сценкой.

— Джордж, — продолжал он уже совсем просто и естественно, — познакомьтесь с моими друзьями. Вот это мистер Бендиен из Амстердама.

И он подвел Уэббера к тучному немолодому голландцу с багровым лицом; тот сидел у стола по соседству с высокой глиняной кружкой голландского джина, к которому, судя по цвету лица, он успел уже основательно приложиться.

— Леди и джентльмены! — вскричал Мак-Харг и снова стал в позу оратора. — Сейчас вы увидите потрясающее, смертельно опасное, леденящее кровь представление, чудо,

которому не было равного в веках! Зрителей пробирает дрожь восторга, волосы встают дыбом едва ли не на всех венчаных головах в Европе и на всех деревянных башках в Амстердаме. Впервые под куполом цирка! Леди и джентльмены, имею честь и удовольствие представить вам мингера²⁰ Корнелиуса Бендиена, знаменитого голландского артиста! Он изобразит перед вами свой коронный номер: балансирование живым угрем на кончике носа с одновременным заглатыванием подряд, без передышки, трех, — считайте сами! — трех кружек лучшего импортного голландского джина. Разрешите представить: мистер Бендиен, мистер Уэббер... Каково, мальчик, каково? — Мак-Харг опять визгливо засмеялся и ткнул Джорджа пальцем под ребра.

После чего он сказал посуше:

— С мистером Дональдом Стоутом вы, очевидно, встречались. Он мне говорил, что знает вас.

Стоут поглядел из-под густых бровей и важно кивнул.

— Да, я как будто имел честь познакомиться с мистером Уэббером.

И Джордж вспомнил этого человека, хотя видел его только раза два, да и то много лет назад. Стоут был из тех, что не так-то легко забываются.

Бросалось в глаза, что Мак-Харг мучительно взвинчен, издерган, притом его явно раздражало присутствие Стоута. Он резко отвернулся, бормоча: «Это... это уж слишком... слишком...» — и внезапно, совсем другим тоном:

— Ладно, Джордж. Промочите горло. Что будете пить?

— По собственному опыту замечу, — с медлительной важностью начал мистер Стоут, — что с утра самый подходящий напиток (тут он бросил косой многозначительный взгляд из-под косматых бровей)... напиток, достойный джентльмена, если мне позволено так выразиться... это стаканчик сухого хереса. (Именно такой стаканчик он сейчас и держал в руке и, одобрительно поигрывая бровями, понюхал его, чем, кажется, еще сильнее взбесил Мак-Харга.) Разрешите мне, — высокопарно возвестил он, — порекомендовать это питье вашему вниманию.

Мак-Харг порывисто зашагал из угла в угол. «Слишком... слишком...» — бормотал он. Потом сердито спросил:

— Итак, Джордж? Что будете пить — виски?

Тут счел нужным вмешаться мингер Бендиен. Он поднял свой стакан, уперся свободной рукой в толстое колено и гортанно, торжественно произнес:

— Фам нато фыпить тшину. Пошему фам не попропofать голландский тшин?

Похоже, этот совет тоже раздосадовал Мак-Харга. Он свирепо глянул на Бендиена и порывисто воздел костлявые руки к небесам.

— О господи! — воскликнул он, отвернулся и вновь зашагал из угла в угол, бормоча себе под нос: «Это... это слишком... слишком... слишком...» И вдруг пронзительно, со злостью выкрикнул: — Пускай пьет, что хочет, черт возьми! Валяйте, Джорджи, — отрывисто бросил он. — Пейте, что вам по вкусу. Налейте себе виски. — Он вдруг остановился перед Уэббером, лицо его преобразила проказливая усмешка, губы подергивались, обнажая белые зубы. — Нет, это просто замечательно, а, Джорджи? Великолепно, а? К-к-к-кхи! — Он ткнул Уэббера в бок костлявым пальцем и отрывисто, пронзительно, судорожно засмеялся. — Видали вы что-нибудь подобное?

— Признаться, — начал тут мистер Дональд Стоут тоном елейным и в то же время напыщенным, — я еще не читал сочинение нашего юного друга, которое, как мне кажется... (елейность явственно переходила в язвительность) которое, как мне кажется, иные наши знатоки объявили шедевром. В конце концов в наши дни появляется великое множество шедевров, не так ли? Редкая неделя проходит, чтобы я, раскрыв «Таймс», — понятно, я имею в виду лондонский «Таймс», а не его младшего и несколько менее зрелого собрата «Нью-Йорк

²⁰ *mynheer* — господин (голландск.)

таймс», — не обнаружил бы, что еще один молодой человек осчастливил нашу литературу еще одним блистательным образцом не-у-вя-даемой прозы!

Все это высказано было тягуче и тяжеловесно, с косыми взглядами и ехидным поигрыванием густых усов, которые почему-то росли у сего джентльмена на месте бровей. Мак-Харг явно с каждой минутой все сильнее злился и все шагал из угла в угол, что-то бормоча себе под нос. Однако Стоут был чересчур толстокож, чересчур упивался собственным красноречием и не замечал признаков надвигающейся грозы. Он с ехидной внушительностью пошевелил бровями и вновь заговорил:

— Могу только надеяться, что наш юный друг не слишком преданно следует учению тех, кого я назвал бы Творцами Дурного Вкуса.

Мак-Харг приостановился и через плечо свирепо сверкнул глазами на Стоута.

— Вы это о чем? Вы что, имеете в виду Хью Уолпола, Джона Голсуорси и прочих опасных радикалов, так, что ли?

— Нет, сэр, — неторопливо возразил Стоут, — я говорю не о них. Я подразумеваю сочинителя бессвязной чепухи, поставщика мерзости, специалиста по непристойности, автора книги, которую мало кому под силу прочитать и никому не под силу понять, но которую иные наши молодые люди восторженно провозглашают величайшим творением нынешнего века.

— О какой же это книге вы толкуете? — сердито осведомился Мак-Харг.

— Если не ошибаюсь, она называется «Улисс», — небрежно уронил Стоут. — Говорят, ее написал какой-то ирландец.

— А-а! — воскликнул Мак-Харг, словно его вдруг озарило, и глаза его блеснули недобрым озорством, но Стоут ничего этого не заметил. — Вы говорите о Джордже Муре, верно?

— Вот именно! — торопливо закивал Стоут, очень довольный. Он пришел в азарт, и брови его ни секунды не оставались в покое. — Вот именно! Это он самый и есть! А уж книга... брр! — Слово «книга» он даже не выплюнул, а вытошнил, и его искривленные омерзением брови высоко всползли на выпуклый лоб. — Один раз я попробовал прочесть несколько страниц и бросил, — продолжал он театральным шепотом. — Да, бросил. Я отбросил эту книгу, точно падаль. И хорошенько... вымыл... руки... мылом, — хрипло закончил он.

— Вы совершенно правы, дорогой сэр! — словно бы от чистого сердца воскликнул Мак-Харг, но в глазах его все неудержимей разгорался недобрый огонек. — Совершенно с вами согласен!

До этой минуты мистер Стоут держался весьма надменно, а тут явно оттаял, уж очень ему польстило, что его вдруг открыто признали знатоком и судьей в делах литературных.

— Вы бесспорно и неопровержимо правы! — объявил Костяшка; теперь он стоял посреди комнаты, расставив ноги и держась костлявыми пальцами за лацканы пиджака. — Вы попали в самую точку! — Словно подчеркивая эти слова, он криво усмехнулся, окинул всех взглядом. — Свет не видал такого гнусного... мерзкого... растленного... извращенного писаки, как Джордж Мур. А его «Улисс»! — выкрикнул Мак-Харг. — Да это ж, вне всякого сомнения, сквернейшая...

— ...поганейшая! — крикнул Стоут...

— ...похабнейшая! — взвизгнул Мак-Харг...

— ...зловреднейшая! — пропыхтел Стоут...

— ...первосортнейшая...

— ...чушь! — подхватил Стоут, едва не поперхнувшись от восторга.

— ...И никогда еще подобная дрянь не оскверняла страницы, не марала имя, не пятнала честь...

— ...английской литературы! — захлебнулся ликованием Стоут и разинул рот, точно рыба, вытщенная из воды. — Да, — продолжал он, с трудом переведа дух, — и та, другая штука... его так называемая пьеса... скверная, поганая, похабная... так называемая трагедия в пяти действиях... как бишь ее?

— А! — воскликнул Мак-Харг, словно его осенила догадка. — Бы, наверно, имеете в виду «Как важно быть серьезным»?

— Нет, нет, — нетерпеливо возразил мистер Стоут. — Не то. Та была раньше.

— А, ясно! — словно бы вдруг понял Мак-Харг. — Вы, конечно, говорите о «Профессии миссис Уоррен»?

— Вот именно! — вскричал Стоут. — Вот именно! Я повел на этот спектакль жену... мою жену... мою собственную жену!..

— Его собственную жену! — словно бы в изумлении повторил Мак-Харг. — Ну и ну, черт меня побери! Как вам это нравится?

— И можете себе представить, сэр? — Стоут снова перешел на хриплый, ненавидящий, полный отвращения шепот, брови его злое извивались. — Я погибал от стыда... погибал от стыда! Я не мог смотреть ей в глаза! Мы не дождалась конца первого действия, сэр... мы встали и ушли... мы были в ужасе, как бы нас там не увидел кто-нибудь из знакомых. Я головы не смел поднять, будто меня самого заставили участвовать в какой-то мерзости.

— Нет, как вам это нравится? — сочувственно молвил Мак-Харг. — Ужасно, правда? Ужас, черт возьми! Ужас! Мерзость! — вдруг выкрикнул он, отвернулся и опять забормотал сквозь судорожно стиснутые зубы: — Это слишком... слишком...

Он вдруг остановился перед Уэббером, перекошенное лицо его пылало, губы кривились, он визгливо засмеялся и опять несколько раз ткнул Джорджа пальцем в бок. Потом пронзительно выкрикнул:

— А ведь он издатель! Он издает книги! К-к-кхи! Видали вы подобное, Джорджи? — Голос его сорвался. Он ткнул костлявым большим пальцем в сторону ошеломленного Стоута, опять визгливо выкрикнул: — О, боже милостливый! Видали вы издателя?! — и снова неистово заметался по комнате.

34. Два посетителя

С той самой минуты, как Джордж вошел в эту комнату, он не переставал удивляться, что Мак-Харг принимает столь несообразных и неподходящих посетителей. С первого взгляда ясно было, что Бендиен и Стоут люди не одаренные, не отличаются силой духа, не обладают ни выдающимся умом, ни тонкостью чувств, — нет в них ничего, что могло бы привлечь такого человека, как Мак-Харг. Что же они делают здесь с утра пораньше, как будто они ему и вправду добрые приятели?

Сразу бросалось в глаза, что мингер Бендиен — самый заурядный делец, своего рода голландский Бэббит. Так оно и было: этот смекалистый и прижимистый торговец занимался импортом, постоянно сновал между Англией и Голландией и знал рынок и систему торговли в обеих странах как свои пять пальцев. Эти занятия наложили на него свою печать — душа его очерствела и чувства притупились, как у всех его собратьев во всем мире.

Подмечая признаки, по которым безошибочно можно было определить суть мингера Бендиена, Джордж утвердился во мнении, что складывалось у него за последнее время. Он уже начал понимать: человечество разделяется на расы и племена совсем не так, как нам внушают с юности. Их определяют вовсе не государственные границы и не признаки, установленные хитроумными исследованиями антропологов. Нет, истинные рубежи, разделяющие человечество на части, пересекают все остальные преграды и возникают из несходства в самих душах людей.

Впервые Джорджа навело на эту мысль одно замечание Г.-Л. Менкена. В своем выдающемся труде о развитии языка в Америке Менкен привел пример жаргона спортивных обозревателей: «Бэби влепил сорок второй несмотря на нечистую игру соперников» — и указал, что, допустим, для ученого мужа из Оксфорда такой газетный заголовок столь же темен и непонятен, как наречие какого-нибудь новооткрытого эскимосского племени. Да, справедливо подмечено; однако Джорджа поразило, что Менкен делает из этого обстоятельства неверный вывод: ученый муж из Оксфорда не понял бы этого заголовка не

потому, что заголовок написан по-американски, а потому, что ученый муж из Оксфорда не разбирается в бейсболе. Заголовок этот оказался бы ничуть не понятней для профессора из Гарварда — и по той же самой причине.

Пожалуй, думалось Джорджу, оксфордский ученый муж и гарвардский профессор куда больше сродни друг другу, куда лучше могут друг друга понять, в их образе мыслей, чувствах и жизненном укладе куда больше общего, чем у каждого из них — с миллионами собственных сограждан. А стало быть, университетский уклад создал особую породу людей, которые душевно близки между собой, но стоят в стороне от остального человечества. Похоже, что этому ученому племени присуще великое множество своеобразнейших черточек, и среди прочего — ученые, как и спортсмены, изобрели свой собственный язык, понятный им одним. И еще особенность: наука международна. Не существует английской химии, американской физики или русской биологии, — есть просто химия, физика, биология. И отсюда следует еще одно: в человеке гораздо больше раскроется, если сказать, что он химик, чем если сказать, что он англичанин.

И, вероятно, Бэби Рут тоже скорее почувствует своего в англичанине — профессиональном игроке в крикет, чем в преподавателе греческого языка из Принстона. То же относится и к боксерам. Ведь это целый самодовлеющий мир, подумалось Джорджу: борцы, тренеры, менеджеры, агенты, «жучки», зазывалы и подлипалы, газетные «авторитеты» и прочая шушера, что кишмя кишит вокруг спорта в Нью-Йорке и Лондоне, в Берлине, Париже, Риме и Буэнос-Айресе. По сути, все эти люди никакие не американцы, не англичане, французы, немцы, итальянцы или аргентинцы. Все они — граждане одной и той же страны по имени бокс и друг с другом чувствуют себя куда лучше и естественней, чем в обществе других американцев, англичан, французов, немцев, итальянцев или аргентинцев.

Сколько Джордж Уэббер себя помнил, он всегда жадно, как губка, впитывал жизненный опыт. Впитывал непрестанно, но в последние годы начал замечать, что у него это получается как-то по-другому. Прежде его обуревала ненасытная жадность: узнать все на свете! Он силился разглядеть все до единого лица в толпе, запомнить в лицо каждого встречного на улице, услышать все голоса в комнате и в смутном слитном гуле различить, что говорит каждый, — и Порой чудилось, будто он тонет, захлебывается в море собственных ощущений и впечатлений. А вот теперь его уже не так подавляли Количество и Число. Он вырослел, набирался опыта и тем самым обретал необходимейшее умение смотреть на вещи трезво и беспристрастно. Каждое новое ощущение и впечатление оказывалось уже не само по себе, но связывалось с другими, занимало свое место в общем порядке, и его можно было включить в тот или иной очерченный и проясненный опытом круг. А тем самым неутомимый ум Джорджа обретал куда большую свободу запоминать, усваивать, осмыслять и сравнивать, искать и находить связи между самыми разными явлениями бытия. Это позволило ему сделать немало поразительных открытий, ибо мысль его улавливала подобия и соответствия и распознавала уже не только поверхностное сходство, но общность понятий, единую суть.

Так он открыл для себя страну официантов: они определенной, чем кто-либо другой, составляют совсем отдельный мир, где почти бесследно стираются национальные и расовые черты в обычном смысле этих слов. Почему-то Джорджа всегда особенно интересовали официанты. Быть может, потому, что сам он был родом из захолустного городка, из семьи весьма среднего достатка и с детства водил дружбу с простыми скромными тружениками, ему так удивительно и непривычно показалось, когда кто-то впервые стал прислуживать ему за столом, — и новизна этого ощущения с годами ничуть не потускнела. От этого ли, по другой ли какой причине, он узнал в разных странах сотни официантов, с иными разговаривал часами, сводил с ними самое тесное знакомство, накопил богатейший запас наблюдений из их жизни — и сделал открытие: в действительности существуют не официанты разных национальностей, но, скорее, некое племя официантов, обособленная и замкнутая разновидность рода людского. Это оказалось справедливо даже в применении к французам — народу, на взгляд Джорджа, с наиболее резко выраженными национальными чертами, наиболее косному и наименее податливому, менее всех доступному сторонним влияниям. Тем

сильнее поразило его, что даже во Франции каждый официант оказывался прежде всего официантом, а потом уже французом.

В мире официантов сложился некий определенный тип, и его так же легко отличить от других, как, допустим, монгола. У всех у них тот же духовный склад, и это объединяет их куда верней, чем могли бы объединить одни лишь патриотические чувства. Из этого духовного сходства, из общности мыслей, целей и поведения возникли и совершенно явные внешние признаки. Однажды это заметив, Джордж мог теперь безошибочно узнать официанта, где бы его ни повстречал — в нью-йоркском ли метро, в парижском автобусе или на улицах Лондона. Много раз он проверял свои наблюдения: заподозрив в человеке официанта, заводил с ним разговор — и в девяти случаях из десяти оказывалось, что догадка верна. Что-то их выдавало, что-то было приметное в ногах, в ступнях, в движениях, в походке и в том, как человек стоял. И не только в том дело, что эти люди чуть не всю свою жизнь проводят либо стоя на одном месте, либо снуя от кухни к столикам посетителей и обратно. Есть и еще люди, которые полжизни проводят на ногах, взять хотя бы полицейских, и, однако, полицейского в штатском никогда не спутаешь с официантом. (Полиция во всех странах, как обнаружил Джордж, составляет еще одно совсем особое племя.)

Походка старого официанта прежде всего осторожна. Он как-то скользит, шаркает, приволакивает ноги, словно страдая подагрой или ревматизмом, и, однако, ступает ловко, проворно, видно, что долгий опыт научил его всячески оберегать ноги. Такое проворство воспитывают повторяемые годами слова: «Слушаю, сэр. Сию минуту, сэр», или: «Oui, monsieur, je viens. Tout de suite»²¹. Это походка того, кто всегда на побегушках, всегда спешит услужить, выполнить чье-то приказание, — и в ней каким-то образом отражены душа официанта, его нрав и склад ума.

Тому, кто пожелает мгновенно постичь разницу в духовном мире и в мире чувств между племенем официантов и племенем полицейских, достаточно присмотреться к их походке. Сравните, как по властному знаку нетерпеливого посетителя спешит к столику официант — и как к месту, где нарушен порядок или случилось несчастье, приближается полицейский, будь то в Нью-Йорке, в Лондоне, Париже или Берлине. Допустим, на тротуаре лежит человек: то ли у него сердечный приступ, то ли его сбила машина, то ли избили хулиганы. Вокруг толпится народ. Посмотрите, как подходит полицейский. Спешит он? Мчится к месту происшествия? Может быть, он движется, словно скользит, с торопливой, внимательной озабоченностью официанта? Ничуть не бывало. Он приближается внушительно, не спеша, уверенной тяжелой поступью и на ходу изучает обстановку жестким оценивающим взглядом. Он идет не выслушивать чьи-то приказания, но приказывать другим. Он идет распоряжаться, расследовать, рассеять толпу, его должны слушать, и никто не посмеет ему возразить. Во всей его повадке видна некая первобытная грубость, присущая тем, кто облечен властью, и прочие качества ума и духа, какие приобретаются, когда можешь постоянно и с полным правом пускать в ход силу. И все эти особенности, определяемые взглядом на мир и на людей, свойственным именно полицейскому, делают его, полицейского, едва ли не прямой противоположностью официанту.

А если это верно, можно ли сомневаться, что официант и полицейский принадлежат к различным племенам? И разве не следует из этого, что французский официант больше сродни немецкому официанту, чем французскому жандарму?

С первой же минуты Джорджа очень заинтересовал мингер Бендиен. И не только потому, что он был голландец. Это-то сразу бросалось в глаза. Он словно сошел с полотен Франса Гальса, это кисть Гальса обессмертила таких вот цветущих, пышущих здоровьем веселых жизнелюбцев, толстых — но вовсе не тяжеловесных на немецкий лад: толстяк голландец как-

²¹ Да, сударь, иду. Сию минуту (*фр.*)

то поделикатней, а вернее сказать, помельче. Это всего заметней в рисунке и выражении рта. Вот и у мингера Бендиена губы, пухлые и надутые, были, однако, сжаты с некоторой самодовольной чопорностью. Это была истинно голландская складка губ, в ней так явственно сказывался нрав маленького, осмотрительного народа, отлично понимающего свою выгоду. По всей Голландии, в любом городке и селении вы увидите таких бендиенов — в своих хорошеньких домиках, за прикрытыми ставнями, они втихомолку, уединенно вкушают наилучшие житейские блага, причмокивая вот такими пухлыми, надутыми чувственными губами.

Маленькая Голландия — удивительная страна, и голландцы — удивительный маленький народ. И все же это именно маленькая страна и маленький народ, а Джордж недолго любил все маленькое, мелкое — и страны и народы. Потому что в этих маленьких, пухлых, влажных, надутых ртах сквозит еще и самодовольство, и осторожная расчетливость; расчетливость, которая преспокойно оставалась в стороне от войны 1914 года, пока соседи истекали кровью, жирела и набивала мощну за счет умирающих, оставалась премило чистенькой и чопорной и, очень довольная собой, втихомолку наслаждалась жизнью в миленьких, чистеньких домиках, не суется и не выставя напоказ изобилие житейских благ.

Мингер Бендиен, по всем этим признакам, был доподлинный голландец. Но было в нем и еще нечто, к чему, как замороженный, с жадным любопытством присматривался Джордж. Воплощение всего доподлинно голландского, он в то же время обладал чертами, по которым Джордж научился распознавать племя мелких дельцов. Он уже убедился, что облик этот отличает любого такого дельца, будь то в Голландии, Англии, Германии, во Франции, Соединенных Штатах, Швеции или Японии. Какую-то жестокость и жадную хватку выдавала выпяченная нижняя челюсть. Было что-то чуточку хитрое, увертливое во взгляде, что-то безнравственное в этой гладкой, холеной плоти, какая-то сухость и пустота в лице, которое принимало в минуты покоя отсутствующее, почти бессмысленное выражение, — все это были признаки алчного себялюбия и духовной ограниченности. Нередко думают, что таков облик американца. Но это не лицо американца. Эти черты выдают не национальную и не государственную принадлежность. Это просто-напросто отличительные черты мелкого дельца и коммерсанта, в какой бы стране он ни жил.

Без сомнения, Бендиен мигом освоился бы среди таких же дельцов в Чикаго, Детройте, Кливленде, Сент-Луисе или Каламазу. И чувствовал бы себя как дома на еженедельном завтраке в Ротари-клубе. Жевал бы сигару в кругу самых видных членов клуба; одобрительно кивал бы, слушая слова президента о ком-либо из собратьев, что тот «человек практический, в небесах не витает»; с восторгом участвовал бы во всяких грубых шутках и «розыгрышах», вместе с другими хохотал бы до упаду над такими образчиками остроумия, когда, к примеру, собирают с вешалки соломенные шляпы, вносят в гостиную, швыряют на пол и с хохотом топчут ногами. И усиленно кивал бы, с выражением льстивого согласия на краснощечкой физиономии, когда очередной оратор в сотый раз болтает о «служении», о «высоких целях Ротари-клуба» и путях достижения всеобщего мира.

Джордж легко мог представить себе, как мингер Бендиен носится в скорых поездах по всему Американскому континенту, вступает в беседы с другими солидными пассажирами спальных вагонов, вытаскивает из кармана толстые сигары и угощает ими вновь обретенных приятелей, сам с удовольствием жует сигару и важно кивает, одобряя чью-нибудь речь о том, как «я только на днях толковал с одним человеком в Кливленде, у него крупнейшее производство клея и клеевых красок, он свое дело изучил вдоль и поперек, уж он-то знает, что к чему...». Да, мингер Бендиен всюду и везде признает собрата, родственную душу, ведь рыбак рыбака видит издалека, и они сразу найдут общий язык, сразу установится близость, невозможная для Мак-Харга или Уэббера, окажись случайный знакомец таким же американцем, как они сами.

Джордж знал, что Мак-Харг таких людей терпеть не может. Эта неудержимая неприязнь изливалась на его великолепных свирепо-сатирических страницах, и Джордж чувствовал: автор выписывает ненавистных персонажей с почти любовной тщательностью, однако движет

его рукою именно ненависть. Так чего ради Мак-Харг пригласил этого человека? Чего ради искал его общества?

И едва об этом подумав, понял, в чем причина. Ни он сам, ни Мак-Харг не могли бы войти в мир Бендиена, и, однако, есть в них обоих нечто от Бендиена, — быть может, в Мак-Харге побольше, чем в нем, Уэббере. Хоть они и принадлежат к разным мирам, существует еще третий мир, в который все они входят. Это мир, так сказать, естественного человека, мир людей весьма прозаических, жизнерадостных и общительных, которые любят поесть, выпить, поболтать и повеселиться. Каждый художник отчаянно нуждается в обществе таких людей. Подчас все его существо разрывается между двумя полюсами — одиночеством и стадностью. Чтобы работать, ему нужно уединение. Но и дружеское общение необходимо, иначе он пропал, без людей жизнь утратит для него всю подлинность, в которой он нуждается, как никто другой, чтобы идти вперед и достичь высот в своем искусстве. Но именно оттого, что так настоятельна его потребность в общении, она подчас его предает. Ненасытная жадность, неутолимая жажда жизни нередко делают его беззащитным перед тупоумием глупцов, перед коварством и подлостью филистеров и негодяев.

Джордж понимал, что произошло с Мак-Харгом. Ему и самому не раз случалось через это пройти. Да, правда, Мак-Харг великий писатель, его знает весь мир, и он достиг вершины успеха, о большем не может мечтать писатель. Но как раз поэтому его разочарование, гибель всех иллюзий, конечно же, оказались несравнимо сокрушительней и горше.

А что за разочарование, в чем? Разочарование, которое знакомо каждому человеку — и особенно художнику, творцу. Разочарование от того, что тянешься к цветку — а он увядает, едва его коснешься. Разочарование постигает художника потому, что он вечный юноша и уроки опыта ему не впрок, потому, что в нем вечно жив дух неукротимой надежды и неослабной жажды приключений — и пусть он тысячи раз терпит поражение и тысячи раз повержен, он все равно не сдастся, не гибнет окончательно, этот непобедимый дух, отчаяние не научит его мудрости, крах надежд не научит смирению, разочарование — цинизму, от каждого нового удара он только крепнет, с годами прибавляется страсти и жара его верованиям, и чем чаще, чем тяжелей поражения, тем тверже он убежден, что в конце концов восторжествует.

Свой успех, свое торжество Мак-Харг принял восторженно, он ликовал, как мальчишка. В награде, в почетном звании он видел лучезарный образ высшей славы, сбылась самая дерзкая его мечта. И вот, не успел он опомниться, как все кончилось. Он достиг желанного, получил все, к чему стремился, предстал перед великими мира сего, выслушал хвалы и славословия, все это выпало ему на долю, однако ничего не произошло!

И тогда, разумеется, он сделал следующий неизбежный шаг. Ум его пылал, сердце иссушала неутолимая жажда какого-то невозможного свершения, и вот он взял свою награду, наброски всех своих речей и все хвалебные отзывы, что появлялись в печати, — и отбыл в Европу, и пустился странствовать... в поисках чего? Он не мог бы назвать то, чего ищет. Быть может, оно где-то и существует, но где? Он и этого не знал. Он приехал в Копенгаген: вино, женщины, журналисты; и снова женщины, вино, журналисты. Поехал в Берлин: журналисты, вино, женщины, виски, женщины, вино и журналисты. Потом в Вену: женщины, вино, виски, журналисты. Наконец, в Баден-Баден для курса «лечения» — если угодно, лечиться от вина, женщин, журналистов... а на самом деле лечиться от голода по жизни, от жажды жизни, от побед и поражений, от разочарования в жизни, и одиночества, и скуки жизни... лечить преданность людям и отвращение к ним, любовь к жизни и усталость от жизни... в конце концов, лечиться от неизлечимого, от того, что точит, как червь, и жжет огнем, от ненасытной пасти, от того, что пожирает нас непрерывно, до самой нашей смерти. Неужто на свете нет лекарства от неисцелимого недуга? Ради всего святого, исцелите нас от того, что нас терзает! Отнимите его у нас! Оставьте у себя! Нет, верните! Отдайте! Заберите прочь, будьте вы прокляты, но, ради бога, отдайте обратно! Итак, спокойной ночи.

И потому этот раненый лев, этот неистовый жизнелюбец; который, точно кот-бродяга, вечно рыскал по несчетным подворотням в поисках страстей и приключений, ринулся к стенам

Европы — искал, выслеживал, гонимый голодом и жаждой, подхлестывая себя до растерянности, до иступления, — и, наконец, повстречал... краснорожего голландца из города Амстердама, и куролесил в обществе этого голландца три дня подряд, и уже задыхается от ненависти к нему, и готов вышвырнуть этого краснорожего из окна со всеми его пожитками, и недоумеваает, как это случилось, черт подери, и как же теперь от всего этого избавиться и остаться наконец одному... — и вот он шагает из угла в угол по ковру в номере лондонского отеля.

Присутствие в этом номере Дональда Стоута объяснить было куда трудней. Мингер Бендиен мог привлечь Мак-Харга хотя бы своей приземленностью. В Стоуте и этого не было. Его словно нарочно придумали, чтоб каждой мелочью, каждой черточкой бесить Мак-Харга. Надутый, важный, как индюк, он мог привести в ярость фанатическим ханжеством своих суждений и в довершение всего был непроходимо глуп.

Отец его был крупный издатель, и он по наследству стал во главе солидной фирмы с добрым и прочным именем. В его руках дело выродилось, и теперь фирма выпускала главным образом религиозные брошюры да учебники для начальной школы. Художественной литературы издавалось ничтожно мало, а то, что издавалось, поражало убожеством. Литературно-критические взгляды и мерки мистера Стоута определялись благочестивой заботой о благополучии молодой девицы. («Такова ли эта книга, — понизив голос и высоко задирая брови, хрипел он в лицо честолюбивым начинающим авторам, — такова ли эта книга, чтобы вы могли ее дать вашей юной дочери?») У самого Стоута никакой юной дочери не было, но в своей издательской деятельности он всегда исходил из предложения, что таковая у него имеется — и не должна увидеть свет книга, которую он не решился бы вложить в ее чистые девичьи руки. А потому, как нетрудно догадаться, издательство пичкало читателей слащавым, слюнявым сюсюканьем, замешанным на сахарине и патоке.

Несколько лет назад Джордж совершенно случайно познакомился со Стоутом, а затем получил приглашение и побывал у него в доме. Стоут был женат на рослой грудастой особе с тяжелой нижней челюстью, с неизменной, словно прилепленной к углам губ, ледяной улыбочкой и в пенсне на черном шелковом шнурке. Эта устрашающая дама посвятила себя искусству и не пожелала ради брака с мистером Стоутом отказаться от своего призвания. Ради брака она не отказалась и от девичьей фамилии, а по-прежнему именовалась весьма скромно и звучно: Корнелия Фоздик Спрейг. У них со Стоутом был салон, они регулярно принимали у себя множество столь же преданных служителей искусства, как сама Корнелия Фоздик Спрейг, и на одну такую встречу избранных пригласили как-то Джорджа. Он до сих пор живо помнил этот вечер. Стоут позвонил ему через несколько дней после их первой случайной встречи и пристал со своим приглашением.

— Непременно приходите, мой мальчик! — пыхтел он в телефонную трубку. — Вам никак нельзя упустить такой случай. Будет Генриетта Солтонстол Сприггинс. Вы должны с ней познакомиться. А Пенелопа Бьюкенен Пинграсс будет читать свои стихи. А Гортензия Деланси Мак-Крэкен прочтет свою последнюю пьесу. Как хотите, а вы просто обязаны прийти.

Джордж поддался напору и пошел; прием оказался и правда из ряду вон. Мистер Стоут встретил его в дверях и, с важностью первосвященника взмахивая бровями, отвел его пред лицо Корнелии Фоздик Спрейг. Джордж выразил сей особе свое почтение, а затем Стоут повел его по комнате, поочередно представляя гостям и каждый раз сопровождая этот обряд величественными взмахами бровей. Тут оказалось необычайное количество устрашающих монументов женского пола и, подобно внушительной Корнелии, почти у каждой было три имени. И, выпаливая столь звучные имена, мистер Стоут буквально причмокивал от удовольствия после каждого тройного залпа.

С изумлением Джордж заметил, что все эти дамы похожи на Корнелию Фоздик Спрейг. Не то чтобы так уж сильно было внешнее сходство: одни дамы были высокого роста, другие

низенькие, одни костлявые, другие весьма в теле, но все отличались необычайно внушительной осанкой. И каждая выглядела еще внушительней и вконец подавляла непоколебимой властной самоуверенностью, стоило ей заговорить об искусстве. А все они без конца рассуждали об искусстве. Для того они, в сущности, и собирались. Почти все эти дамы не только интересовались искусством, они и сами были «служительницы искусства». Иначе говоря, они были писательницы. Одни писали одноактные пьесы для театра, другие писали романы, или эссе и критические статьи, или стихи и книжки для детей.

Генриетта Солтонстол Сприггинс прочитала один из своих малюсеньких рассказиков для милых крошек про маленькую девочку, которая ждала Прекрасного Принца. Пенелопа Бьюкенен Пинграсс прочитала стихи — одно про чудака-шарманщика, другое про странного старика старьевщика. Гортензия Деланси Мак-Крэкен прочитала свою пьесу — в некотором роде фантастическую пастораль на фоне лондонского Централ-парка: двое влюбленных сидят весной на скамье, а поодаль расхаживает Пан, оглашает парк пьянящими звуками свирели и, лукаво посмеиваясь, косится из-за деревьев на влюбленную парочку. Во всех этих сочинениях не нашлось бы ни единой строчки, которая оскорбила бы скромность и заставила покраснеть самую что ни на есть невинную молодую девицу. Уж до того все прелестно и мило, черт побери, никакими словами не передашь.

После чтения дамы уселись в кружок, пили жидкий чай и нежными голосками обсуждали прочитанное. Джорджу смутно помнилось, что там присутствовали еще двое или трое мужчин — бледные тени, они маячили на заднем плане, точно призраки, неразличимо безликие и смиренные, спутники или даже мужья, совсем незаметные при обладательницах столь звучных трехствольных имен.

Джордж никогда больше не бывал в салоне Корнелии Фоздик Спрейг и не встречался с Дональдом Стоутом. И, однако, вот он, Стоут, — кого-кого, а уж его Джордж никак не ожидал встретить у Ллойда Мак-Харга! Доведись мистеру Стоуту прочитать хоть одну книгу Мак-Харга (что совершенно неправдоподобно), сей высоконравственный муж был бы оскорблен в лучших чувствах, ибо едва ли не в каждой книге Мак-Харг жестоко издевался над самыми заветными Стоутовыми идеалами и самыми священными его убеждениями. И, однако, вот он, Стоут, самоуверенно потягивает херес в номере у Мак-Харга, будто их связывает давняя закадычная дружба.

Что он тут делает? Что все это значит, черт возьми?

Джорджу не пришлось долго ждать объяснения. Зазвонил телефон. Мак-Харг щелкнул пальцами и с возгласом безмерного облегчения кинулся к аппарату.

— Алло, я слушаю! — Он подождал минуту, пылающее лицо его сердито перекопилось. — Слушаю, я слушаю! — Он застучал по рычагу. — Да, да. Кто? Откуда? — Короткое молчание. — А, это Нью-Йорк. — И он крикнул нетерпеливо: — Ну да же! Соединяйте!

Джорджу никогда еще не приходилось видеть телефонного разговора между Европой и Америкой, и он смотрел с изумлением и недоверием. На миг ему представился неоглядный простор океана. Припомнились бури, в которые он попадал, когда огромные суда швыряло в волнах, как щепки; а исполинский крутой изгиб земного шара, а разница во времени? И, однако, голос Мак-Харга звучит уже спокойно, негромко, словно собеседник находится всего лишь в другой комнате:

— А, здравствуйте, Уилсон. Да, я прекрасно слышу... Конечно... Да, да, все верно. Ну конечно! — воскликнул он, и в голосе его опять прорвались досада и лихорадочное возбуждение. — Нет, я с ним окончательно порвал... Нет, не знаю, куда перейду. Я еще ни с кем не подписывал соглашения... Ладно, ладно. — В голосе нетерпенье. — Подождите-ка. Слушайте, что я вам говорю. Я не предприму никаких шагов, пока мы с вами не увидимся... Нет, я вовсе не обещаю, что буду работать с вами, — сказал он сердито. — Я только обещаю, что не свяжусь с другим издательством, пока не повидая вас. (Короткое молчание, Мак-Харг внимательно слушает.) Когда вы отплываете?.. А, сегодня вечером! На «Беренгарии». Хорошо. Увидимся здесь на той неделе... Ладно. До свиданья, Уилсон, — отрывисто бросил

он и повесил трубку.

Повернулся, помолчал минуту-другую, словно бы приуныв, по обыкновению весь скривился, сморщился. Потом пожал плечами, коротко вздохнул.

— Что ж, видно, шила в мешке не утаишь. Уже пошли разговоры. Прослышали, что я расстался с издательством Брэдфорда-Хоуэла. Теперь они все, наверно, станут за мной гоняться. Это звонил Уилсон Фозергил (Мак-Харг назвал одного из крупнейших американских издателей). Он сегодня отплывает в Европу.

Лицо Мак-Харга вдруг преобразила бесовская ликующая усмешка. Он коротко, пронзительно хохотнул.

— Черт возьми, Джорджи! — взвизгнул он и ткнул Уэббера в бок. — Вот здорово, а? Просто чудо, а? Видали вы что-нибудь подобное?

Тут Дональд Стоут откашлялся, дабы привлечь к себе внимание, и многозначительно поднял брови.

— Надеюсь, — изрек он, — прежде чем улавливаться о чем бы то ни было с Фозергиллом, вы поговорите со мной и выслушаете меня. — Он внушительно помолчал и закончил с важностью: — Стоут, Издательство Стоута с удовольствием включит вас в число своих авторов.

— Что? Что такое? — отрывисто переспросил Мак-Харг. И вдруг выкрикнул: — Стоут! Стоут? — Он судорожно сморщился, словно ему свело болью каждый нерв, и помедлил в нерешительности, весь дрожа, словно сам не знал, то ли наброситься на Стоута, то ли выброситься из окна. Громко щелкнул костлявыми пальцами, обернулся к Уэбберу и сквозь визгливый смех выкрикнул: — Нет, вы слышали, Джорджи? Здорово, а? К-кхи! Стоут! — Он снова ткнул Джорджа пальцами под ребра. — Издательство Стоута! Видали вы что-нибудь подобное? Просто чудо, а? Просто... Ладно, ладно, — круто оборвал он себя и повернулся к ошарашенному Стоуту. — Ладно, мистер Стоут, мы об этом поговорим. Но как-нибудь в другой раз. Приходите на той неделе, — торопливо закончил он.

С этими словами он ухватил Стоута за руку, потряс ее на прощанье, а другой рукой буквально выдернул сего пораженного изумлением джентльмена из кресла и повел его к двери.

— До свиданья! До свиданья! Приходите на той неделе!.. До свиданья, Бендиен! — Теперь он обращался к голландцу, ухватил и его за руку, выдернул из кресла и вновь разыграл ту же сценку. Он погнал их перед собою, растопырив тощие руки, словно гнал по двору цыплят, и в конце концов довел до самой двери, все время торопливо повторяя: — До свиданья, до свиданья! Спасибо, что навестили. Приходите еще. А сейчас нам с Джорджем надо пообедать.

Наконец он затворил за ними дверь и вернулся в комнату. Ясно было, что он взвинчен до предела.

35. Гость поневоле

Когда Бендиена и Стоута так внезапно и бесцеремонно выпроводили из комнаты, Джордж в некотором смятии поднялся со стула, не зная, куда себя девать. Тут Мак-Харг бросил на него усталый взгляд.

— Садитесь, садитесь! — тяжело дыша, произнес он и повалился на стул. Он скрестил свои костлявые ноги, вид у него был на удивление жалкий и разбитый. — О, господи! — протяжно вздохнул он. — Устал я. Меня словно через мясорубку пропустили. Проклятый голландец! Я столкнулся с ним в Амстердаме, и пошло-поехало. Черт побери, по-моему, я не ел с самого Кельна. Уже четыре дня.

«Оно и видно», — подумал Джордж. Мак-Харг явно сказал чистую правду, за все эти дни он наверняка ни разу не ел по-человечески. Сейчас он был олицетворением предельной усталости и раздерганных нервов. Вот он сидит, ноги вяло закинута одна на другую, и тощая фигура словно переломлена в поясе надвое. Похоже, без посторонней помощи ему уже

нипочем не подняться со стула. Но тут резко зазвонил телефон, и Мак-Харг вскочил, точно его ударило током.

— Господи помилуй! — пронзительно вскрикнул он. — Это еще что? — Он метнулся к телефону, в ярости сорвал с рычага трубку и рявкнул: — Слушаю! Кто говорит? — И потом лихорадочно, однако очень приветливо: — А, здравствуйте, здравствуйте, Рик... ах вы, шельмец! Где же вы пропадаете? Я все утро пытался к вам дозвониться... Нет! Нет! Я только вчера вечером приехал... Конечно, повидаемся. Я приехал в частности и для этого... Нет, нет, вам незачем ко мне приезжать. У меня тут свой автомобиль. Мы сами приедем. Я привезу с собой одного человека... Кого? — пронзительно выкрикнул он. — Увидите, увидите. Потерпите до нашего приезда... К обеду? Конечно, успеем. Сколько до вас езды?... Два с половиной часа? Обед в семь. Приедем загодя. Погодите. Погодите. Ваш адрес? Погодите, сейчас запишу.

Он порывисто сел к письменному столу, на миг замешкался с пером и бумагой, потом нетерпеливо протянул их Джорджу со словами:

— Пишите, Джордж, я буду диктовать.

Ехать предстояло в Суррей, на ферму у сельской дороги, в нескольких милях от небольшого городка. Даны были сложные объяснения, как ее найти, назывались объезды и перекрестки, но Джордж в конце концов записал все правильно. И Мак-Харг, торопливо заверив хозяина дома, что они непременно будут к обеду и даже загодя, повесил трубку.

— Ну, поехали, Джорджи! — нетерпеливо распорядился он и вскочил, снова поразив Уэббера своей неиссякаемой энергией. — Надо двигаться! Мы едем сейчас же!

— М...мм...мы? — запинаясь, вымолвил Джордж. — В...вв...вы это обо мне, мистер Мак-Харг?

— Ну да, ну да! — нетерпеливо ответил Мак-Харг. — Рик пригласил нас к обеду. Не заставляйте же его ждать. Поехали! Поехали! Пора! Мы уезжаем из Лондона. Мы едем путешествовать!

— П...ппу...те-шест-во-вать? — опять запинаясь, ошеломленно вымолвил Джордж. — Но к...кку-да мы едем, мистер Мак-Харг?

— На запад Англии, — последовал ответ. — Едем к Риду и у него переночуем. А завтра... завтра, — со злобещей решимостью бормотал он, шагая взад-вперед по комнате, — мы будем уже в пути. Западная Англия, — опять пробормотал он, меряя комнату шагами и ухватясь костлявыми пальцами за лацканы пиджака. — Города старинных соборов, Бат, Бристоль, Уэльс, Эксетер, Солсбери, Девоншир, Корнуэллское побережье, — с жаром выкрикивал он, безнадежно перепутав, где есть соборы, а где нету, но при этом отбарабанил единым духом изрядную долю названий, обозначенных на карте королевства английского. — Подальше от больших городов, — не унимался он. — Побоку шикарные отели... притоны вроде вот этого. Терпеть их не могу. Все их терпеть не могу. Хочу провинцию... сельскую Англию, — со вкусом произнес он.

У Джорджа упало сердце. Ничего подобного он не ждал. Он приехал в Англию кончать свою новую книгу. Работа спорилась. Уже установился определенный ритм и распорядок, и выбиться из колеи, когда пишется в полную силу... даже подумать страшно! Да и вообще, одному богу известно, куда заведет такая увеселительная поездка. А, Мак-Харг меж тем мерил комнату беспокойными шагами и говорил, говорил, в его воображении рождалась идиллическая картина, и чем ясней она проступала, тем больше он увлекался.

— Да, сельская Англия — как раз то, что надо, — со вкусом произнес он. — Вечером будем останавливаться при дороге и готовить ужин или заедем в какую-нибудь старую гостиницу, в настоящую английскую сельскую гостиницу! — с жаром повторил он. — Высокие кружки с остро пахнущим элем, — бормотал он. — Отличная отбивная у камина. Бутылка старого портвейна... неплохо, а, Джорджи? — воскликнул он, и его словно опаленное лицо засияло радостью. — Однажды я это испробовал. Несколько лет назад вместе с женой объехал всю страну. У нас был автоприцеп. Переезжали с места на место. Ночевали в прицепе, сами стряпали. Дивно! Просто чудо! — выкрикнул он. — Только так и можно по-настоящему

увидеть страну. Только так.

Джордж молчал. Что тут скажешь? Долгими неделями он предвкушал встречу с Мак-Харгом. Он мигом вскочил с постели и кинулся к нему, когда тот пригласил его обедать. Но у него и в мыслях не было, что его прихватят в качестве спутника и собеседника в путешествие, которое может длиться дни, а то и недели и забросит его неведомо куда. Он вовсе не хотел и не собирался ехать с Мак-Харгом, — но как этого избежать? Мысли его отчаянно метались в поисках выхода. Обидеть Мак-Харга никак нельзя. Когда так восхищаешься человеком, так его уважаешь, просто невозможно чем-то вольно или невольно задеть его или оскорбить. Да и как отказаться от приглашения, когда оно исходит от того, кто столь великодушно, с радостным бескорытием воспользовался своим высоким положением, силой и успехом и попытался напомнить о тебе, вытащить тебя из тьмы, в которой ты прозябаешь?

Как ни мало были они знакомы, Джордж уже ясно, безошибочно понимал, что Мак-Харг — превосходный, благороднейший человек. Он видел, сколько чистоты, мужества, чести таится в этой исстрадавшейся душе, познавшей неистовство и жгучую боль. Несмотря на вопиющие противоречия его жизни, путаницу, беспорядок, несмотря на все горькое, жесткое и резкое, Мак-Харг явно оставался одним из тех истинно хороших, истинно благородных, истинно значительных людей, каких не очень-то много на белом свете. Это должен бы тотчас заметить всякий, кто наделен хоть крупицей чуткости и понимания, подумалось Джорджу. Он все смотрел на Мак-Харга, приглядывался к этой так поразившей его внешности — воспаленное лицо, бледно-голубые глаза, сам тощий, руки трясутся, — и вдруг в мыслях у него мелькнул образ, который, казалось, выражал самую суть этого человека: то был, как ни странно, образ Авраама Линкольна. Высокий и тощий, как Линкольн, в остальном Мак-Харг с виду ничуть на него не походил. Сходство заключалось, вероятно, в некой безыскусственной подлинности, в поразительной некрасивости, столь явной, что даже не понять, почему она не кажется смешной, и, однако, смешной она не была. Некрасивость эта при всей нелепости жеста, тона, повадки, которые позволял себе Мак-Харг, каким-то образом неизменно оставалась исполненной огромного скрытого достоинства. Странное, тревожащее сходство это особенно бросалось в глаза в минуты покоя.

Ибо теперь, когда с таким неистовством, так бурно было принято решение, Мак-Харг мирно сидел на стуле, вытянув и скрестив свои длинные ноги, и веснушчатой костлявой рукой шарил в боковом кармане пиджака, стараясь выудить оттуда бумажник и чековую книжку. Наконец он их достал все еще трясущимися, точно в параличе, руками, но даже эта дрожь не нарушала впечатления спокойного достоинства и силы. Он положил бумажник и чековую книжку на колени, пошарил в жилетном кармане, вытащил старый, потертый очешник открыл его и не спеша вынул очки. Очки были престранные, Джордж таких в жизни не видал. Они вполне могли бы принадлежать Вашингтону, или Франклину, или самому Линкольну. Оправа, зажим и дужки — простого старого серебра. Мак-Харг осторожно их расправил, потом двумя руками медленно водрузил на нос и заправил дужки за большие, в веснушках, уши. Покончив с этим, он наклонил голову, взял бумажник и очень тщательно стал считать деньги. И совершилось поразительное превращение. Раздражительного, крикливого, издерганного существа, каким он был всего несколько минут назад, как не бывало. Этот тощий уродливый человек в очках в серебряной оправе, который, склонив перекошенное сморщенное лицо, погрузился в расчеты и костлявыми пальцами неторопливо перебирает банкноты в своем бумажнике, поистине — воплощение американской трезвости, непритязательной силы, спокойного достоинства и властной уверенности. Даже голос его изменился. Продолжая считать деньги и не поднимая головы, он негромко распорядился:

— Позвоните вон в тот звонок, Джордж. Надо взять еще денег. Пошлю Джона в банк.

Джордж позвонил, и вскоре в дверь постучал и вошел молодой человек в форменной куртке. Мак-Харг взглянул на него, раскрыл чековую книжку и вытащил вечное перо.

— Мне нужны деньги, Джон, — негромко сказал он. — Пойдите, пожалуйста, с этим

чеком в банк и получите по нему наличными.

— Слушаю, сэ, — сказал Джон. — Там Генри подал автомобиль, сэ. Он спрашивает, то ли ему ждать, то ли нет?

— Да, скажите ему, что он понадобится, — ответил Мак-Харг, подписывая чек. — Скажите ему, мы будем готовы через двадцать минут. — Он оторвал чек и протянул слуге. — И, кстати, когда вернетесь, уложите, пожалуйста, кое-что из моих вещей в маленький чемодан: сорочки, белье, носки и прочее. Мы уезжаем из Лондона.

— Слушаю, сэ, — невозмутимо ответил Джон и вышел из номера.

Мак-Харг помолчал в задумчивости. Потом надел колпачок на вечное перо и сунул его в карман, спрятал бумажник и чековую книжку, неторопливо, сосредоточенно снял очки, сложил дужки, вложил очки в футляр, защелкнул его и положил в карман жилета; потом хлопнул ладонью по ручке кресла и уже куда спокойней и дружелюбней прежнего спросил:

— Ну так как, Джордж, чем сейчас заняты? Работаете над новой книгой?

Уэббер сказал, что да, работает.

— Хорошая будет книга? — требовательно спросил Мак-Харг.

Он надеется, что хорошая, ответил Уэббер.

— Такая же добротная, большая, толстая, как первая? И такая же емкая? И героев много?

Да, наверно, так оно и будет, ответил Уэббер.

— Вот это дело, — сказал Мак-Харг. — Продолжайте в том же духе и давайте побольше людей, — негромко говорил он. — Вы знаете в них толк. У вас они получаются живые. И населяйте ими книгу. Вам наговорят с три короба всякого вздора. Наверно, уже наговорили. Найдется вдоволь молодых умников, которые станут вас учить, как надо писать, и станут толковать — мол, вы делаете совсем не то, что надо. Станут объяснять вам, что у вас нет своего стиля, нет чувства формы. Станут говорить, что вы пишете не так, как Вирджиния Вулф, или Пруст, или Гертруда Стайн, или кто-нибудь еще, кому вам следовало бы уподобиться. Наматывайте все на ус, все, что только сумеете. Поверьте всему, чему только сумеете. Постарайтесь извлечь из всего этого как можно больше толку, но, если вы понимаете, что это неверно, отмахнитесь.

— А разве можно понять, что верно, а что неверно?

— Ну разумеется, — спокойно ответил Мак-Харг. — Когда верно, вы это сразу поймете. Вы же, черт возьми, писатель, а не какой-нибудь молодой умник. Были бы вы молодым умником, вы бы не разбирали, что верно, а что неверно. Только бы делали вид, что разбираете. А писатель всегда понимает. Молодые умники воображают, будто ему это не дано. На то они и молодые умники. Они воображают, будто писатель слишком туп или глуп и потому их не слушает, а на самом деле писатель понимает куда больше, чем им когда-нибудь доведется понять. Время от времени слова их попадают в самую точку. Но такое случается один раз на тысячу. И тогда слова их причиняют боль, но к ним стоит прислушаться. Скорее всего, вы и сами знали то, в чем вас упрекнут, знали, что рано или поздно придется посмотреть правде в глаза, но все время старались от этого увильнуть и надеялись, что, кроме вас, никто этого не заметит. Когда они бьют вот по такому чувствительному месту, прислушайтесь к ним, даже если вам отчаянно больно. Но обычно все, что они вам скажут, вы и сами давным-давно поняли, а то, что им кажется важным, на самом деле вздор и пустяки.

— Как же тогда быть? — спросил Уэббер. — Похоже, надо самому быть собственным доктором, так, что ли? Похоже, надо самому находить ответ.

— А для меня нет другого пути, — сказал Мак-Харг. — Думаю, и для вас тоже. Так что продолжайте в том же духе. Работайте. Бога ради, не останавливайтесь. Не топчитесь на одном месте. Я знаю многих молодых людей, которые остановились после первой своей книги, и вовсе не потому, что им нечего было больше сказать. Всякие умники воображают, будто причина в этом. Им всегда так кажется, но это чепуха. Да в каждом из нас заложены сотни книг! Хватит на целую жизнь. Опасность не в том, что исчерпаешь себя. Единственная опасность — что застрянешь на месте.

— А что это значит? С чего бы человеку застрять на месте?

— Чаще всего ему изменяет мужество, — сказал Мак-Харг. — Он прислушивается к словам всяких умников. Первая книга получила довольно хорошую прессу. Он отнесся к ней серьезно. Его начинает тревожить каждое самое незначительное критическое замечание, затесавшееся среди похвал. Начинают пугать сомнения, сумеет ли он написать еще одну книгу. На самом-то деле он вполне мог бы написать новую книгу ничуть не хуже первой, а то и лучше. Прежде он был бойцом, не знающим усталости, и наносил удары огромной силы. Теперь он начинает «бой с тенью». Он прислушивается ко всему, что ему говорят. Как бить по корпусу и как наносить короткий сбоку. Как наносить встречный удар правой. Как уклоняться. Как раскачиваться и как подсакивать. Как беречь ноги. Он учится избегать каната, но разучается наносить тот парализующий удар, который был дан ему от бога, и не успеет оглянуться, как появляется какой-нибудь никудышный боксер и кладет его на обе лопатки. Смотрите, чтоб с вами такого не случилось. Изю всех сил учитесь. Изю всех сил совершенствуйтесь. Впитывайте из их поучений все, что только можно. Но помните, никакие поучения не заменят доброго старого удара правой. Если это умение вы утратили, изучите хоть все верные приемы, которые помогают работать другим, но ваша сила уже не вернется. Как писатель вы кончитесь. Так что, ради всего святого, не останавливайтесь. Не давайте им путаться под ногами. Ошибайтесь, рискуйте, не бойтесь показаться глупцом, но идите вперед. Не застывайте на месте.

— А по-вашему, это возможно? Можно застрять, даже если человек талантлив?

— Да, — спокойно ответил Мак-Харг, — такое может случиться. Мне приходилось такое видеть. Со временем вы убедитесь: почти все, о чем они говорят, от чего вас остерегают, просто не существует. Они станут, к примеру, говорить, чтоб вы не проституировали свой талант. Станут остерегать, чтоб вы не писали ради денег. Не продавали душу Голливуду. Не делали еще тысячи вещей, которые не имеют никакого отношения ни к вам, ни к вашей жизни. Вы не станете торговать собой. Человек не продает свой талант просто оттого, что у него перед носом помашут крупным чеком. Если вы станете торговать своим талантом, значит, вы по натуре проститутка. Удивительно, как много есть писателей, которые проливают горькие слезы за стаканом виски и рассказывают, какие замечательные книги они написали бы, если бы не запродались Голливуду или «Сатердей ивнинг пост». Но среди тех, кто запродался, больших писателей немного. Сказать по правде, я думаю, таких вовсе нет. Если бы «Сатердей ивнинг пост» предложил Томасу Гарди договор на рассказы, как по-вашему, он написал бы как Зейн Грей или как Томас Гарди? Могу ответить. Он написал бы как Томас Гарди. По-другому он бы писать не мог. Он оставался бы Томасом Гарди, даже если писал бы для «Сатердей ивнинг пост» или для «Побасенок капитана Билли». Развратить большого писателя невозможно, потому что большой писатель всегда останется самим собой. Даже если бы он захотел запродасться, он все равно не смог бы. А, наверно, многие большие писатели и правда этого хотели, по крайней мере так им казалось. Но большой писатель может застрять на месте. Он может чересчур истово прислушиваться к молодым умникам. Он может научиться вести бой с тенью, делать ложный выпад, и наносить удар по корпусу, и уклоняться — и при этом может утратить главное свое умение. Поэтому делайте что угодно, только не застревайте на месте.

В дверь постучали, Мак-Харг крикнул: «Войдите!» — и появился Джон с пачкой хрустящих новеньких банкнот.

— Надеюсь, все правильно, сэр, — сказал он, вручая деньги Мак-Харгу. — Я пересчитал. Сто фунтов, сэр.

Мак-Харг взял банкноты, перегнул пополам и небрежно сунул в карман.

— Ладно, Джон, — сказал он. — А теперь сложите, пожалуйста, мои вещи.

Он встал, рассеянно огляделся, и вдруг на него снова накатило лихорадочное нетерпенье, и он рывкнул:

— Ну-ка, Джордж, надевайте пальто! Пора ехать!

— Нн-но... м...может быть, сперва лучше пообедать, мистер Мак-Харг, — попытался Джордж оттянуть время. — Раз вы так долго не ели, вам необходимо перекусить. Давайте

прямо сейчас пойдём куда-нибудь и поедим.

Он говорил со всей силой убедительности, на какую только был способен. Он уже и сам изрядно проголодался и с тоской думал о «распрекрасном кусочке» ветчины с горошком, который приготовила для него миссис Парвис. И потом... может быть, удастся убедить Мак-Харга перекусить перед отъездом, а тогда воспользоваться случаем и уговорить, чтоб не ехал сейчас же и не тащил его, Джорджа, с собой колесить чуть не по всей Британии? Но, словно разгадав замысел Уэббера и, может быть, чувствуя, что силы его на исходе, Мак-Харг резко, с непреклонной решимостью бросил:

— Поедим где-нибудь по дороге. Выезжаем сейчас же.

Джордж понял, что спорить бессмысленно, и замолчал. Пусть так, он поедет с Мак-Харгом куда придется и, если надо, переночует у его друзей за городом, в надежде, что хороший ужин и добрый сон восстановят силы Мак-Харга и помогут отговорить его от нелепой затеи. Итак, Джордж надел пальто и шляпу, спустился с Мак-Харгом в лифте, подождал, пока тот оставил портье какие-то распоряжения, и они вышли к стоявшему у обочины автомобилю.

То был взятый Мак-Харгом напрокат «роллс-ройс». Увидев эту великолепную машину, Джордж чуть не расхохотался: если в таком экипаже Мак-Харг собирается исследовать сельскую Англию, стряпать на костре и ночевать при дороге, поездка эта будет поистине самым роскошным и самым, нелепым кочевьем, какое когда-либо знала Англия. Джон вышел на улицу раньше и уже поставил небольшой чемодан на пол у заднего сиденья, Шофер, маленький человечек в ливрее, как и положено, почтительно поднес руку к козырьку фуражки и вместе с Джорджем помог Мак-Харгу сесть в машину. Того вдруг одолела слабость, и, садясь, он чуть не упал. Опустившись на сиденье, он попросил Джорджа дать шоферу сурреальный адрес, и силы совсем его оставили: голова свесилась на грудь, и снова он как-то странно согнулся в поясе, словно переломился пополам. Одна рука его была просунута в петлю у дверцы, а не то он просто свалился бы на пол. Все еще отчаянно ломая голову над тем, как быть, как, черт побери, выпутаться из этой истории, Джордж влез в машину и устроился подле Мак-Харга.

Когда они тронулись в путь, был уже второй час. Плавно въехали на Сент-Джеймс-стрит, в конце свернули на Пэл-Мэл, обогнули Сент-Джеймский дворец и по Моллу поехали в сторону Букингемского дворца и той части Лондона, где жил Уэббер. Когда они выехали с Молла и пересекали огромную площадь перед дворцом, Мак-Харг рывком выпрямился и сквозь изморось и туман сумрачного дня стал вглядываться в величественных часовых — они шагали взад-вперед перед дворцом, шагали торжественно, доходили до конца здания и поворачивали назад, — потом снова тяжело повалился было на сиденье, но Джордж крепко ухватил, его и удержал.

Эбери-стрит была сейчас совсем рядом, и Джордж подумал о ней с нежностью. С вожделением и тоской вспомнил о своей постели, о нетронутой ветчине с горошком, приготовленной миссис Парвис. От радостной доверчивости, с которой он утром выходил из дому, осталось лишь далекое воспоминание. С горькой улыбкой подумал он о своем разговоре с миссис Парвис, о том, как они гадали, куда поведет его Мак-Харг обедать — в Риц, или к Стоуну на Пэнтон-стрит, или к Симпсону на Стрэнде. Видения лукулловых пиршеств растаяли без следа. Сейчас он с радостью согласился бы на обыкновенную забегаловку, на кусок сыра и кружку пива.

Машина плавно катила мимо дворца, и Джордж чувствовал, ускользает последняя надежда, еще миг — и будет поздно. В отчаянии он дернул своего спутника за локоть и взмолился: он живет тут рядом, за углом, на Эбери-стрит, нельзя ли остановиться на минутку, он захватит зубную щетку и безопасную бритву. Мак-Харг мрачно задумался и наконец пробормотал, что ладно, согласен, «только живо!». Джордж сказал шоферу, куда ехать, они обогнули дворец, свернули на Эбери-стрит и, сбавив скорость, подкатили к его скромному жилищу. Мак-Харг теперь казался совсем больным. Он угрюмо цеплялся за кожаную петлю, но, когда машина остановилась, покачнулся на сиденье и, если бы Джордж его не удержал,

съехал бы на пол.

— Мистер Мак-Харг, — сказал Джордж, — прежде чем мы поедим дальше, вам надо хоть что-то съесть. Может, подниметесь ко мне и мы вас накормим? Мне там состряпали отличный обед. Все уже готово. Поедим и отправимся дальше, на все про все уйдет минут двадцать.

— Никакой еды, — пробормотал Мак-Харг и поглядел на Джорджа свирепо и подозрительно. — Вы что, задумали... удрать от меня?

— Да нет, что вы.

— Тогда берите свою зубную щетку, да поскорей. Нам пора вон из Лондона.

— Ну, хорошо. Но, по-моему, напрасно вы не хотите сперва поесть. Там все готово, надо только сесть за стол.

Джордж вложил в свои слова всю силу убеждения, на какую был способен. Он стоял у открытой дверцы, поставив ногу на подножку машины. Мак-Харг не ответил: он привалился к спинке сиденья, глаза его были закрыты. Но вдруг он подтянулся, держась за петлю, немного распрямился и, словно бы чуть уступая, спросил:

— А чашка чаю там у вас найдется?

— Конечно. Моя миссис Парвис мигом приготовит.

Мак-Харг минуту поразмыслил над этим сообщением и все еще нехотя сказал:

— Сам не знаю. Чашку чаю я, пожалуй, выпью. Может, она взбодрит меня.

— Идемте, — поспешно отозвался Джордж и подхватил его под локоть.

Вместе с шофером они помогли Мак-Харгу выйти из машины. Джордж велел шоферу ждать — они вернутся не позже, чем через полчаса, и Мак-Харг тут же поправил: через пятнадцать минут. Потом Джордж открыл парадное своим ключом и, осторожно подпирая вконец измученного, тощего и угловатого спутника, помог ему, совсем обессилевшему, медленно взобраться по узкой лестнице. Наконец поднялись. Джордж отворил дверь, провел Мак-Харга в гостиную, усадил в самое удобное кресло, и тот сейчас же снова тяжело уронил голову на грудь. Джордж зажег маленькую газовую печку (никакого другого отопления в комнате не было), позвал миссис Парвис, которая, слышав их, уже спешила из кухни, наскоро шепотом объяснил ей, почему он вернулся и кого с собой привел, и попросил ее тотчас приготовить для прославленного гостя чай.

Когда она вышла из гостиной, Мак-Харг чуть приподнялся и сказал:

— Джорджи, я совсем вымотался. Черт, я, кажется, готов проспать целый месяц.

— Миссис Парвис уже готовит чай, — сказал Джордж. — Она мигом все сделает. И вам сразу станет лучше.

Но тут Мак-Харг отвалился к спинке кресла и обмяк, будто те несколько слов, что он успел сказать, отняли у него последние силы. Когда миссис Парвис вошла с подносом и с чайником, он больше не нуждался в чае. Он погрузился в глубокое забытие, он был теперь бесконечно далек от чая, от всего земного.

Она тотчас поняла, что произошло. Тихонько поставила поднос и шепнула Джорджу:

— Никуда он сейчас не поедет. Ему надо поспать.

— Да, — согласился Джордж, — сон ему сейчас нужен позарез.

— Стыд и срам оставлять его в кресле, — зашептала она. — Вот если б нам поднять его да свести в вашу комнату, сэр, он бы поспал в вашей постели. Ему было б удобней.

Джордж кивнул, наклонился над креслом, поднял одну длинную болтающуюся руку Мак-Харга, закинул ее на шею себе, обхватил того за талию и, пытаясь поднять, заговорил ободряюще:

— Пойдемте, мистер Мак-Харг. Ляжете, вытянетесь, и вам станет получше.

Тот сделал над собой героическое усилие, встал, прошел несколько шагов, что отделяли его от спальни и от кровати, и снова рухнул, на этот раз ничком. Джордж перевернул его на спину, уложил как следует, расстегнул воротничок, снял с него туфли. А миссис Парвис укрыла его от промозглой сырости и холода, проникавших в маленькую спальню снаружи, где все затянуло липким, удушливым туманом и изморосью. Они навалили на спящего груды

одеял и пледов, принесли маленький электрический рефлектор и повернули его так, чтобы тепло шло к Мак-Харгу, потом задернули занавеси — в комнате стало темно, вышли и затворили за собой дверь.

Миссис Парвис была великолепна.

— Мистер Мак-Харг очень устал, — сказал ей Джордж. — Немного поспит, и ему станет лучше...

— Оно конечно, — сказала она и кивнула понимающе и сочувственно. — Видать, замучился. Шутка ли, все на людях да на людях. А ездил-то сколько, — важно продолжала она, — сразу видать, он еще замученный от путешествия. Вы и сами-то, верно, устали, — спохватилась она, — сколько волновались, и не евши, и вообще. Пойдемте-ка покушайте, — настойчиво продолжала она. — Ветчина распрекрасная, сэр. Я мигом разогрею.

Джордж с восторгом согласился. Миссис Парвис поспешила в кухню, почти тотчас вернулась и объявила, что кушать подано. Джордж, не мешкая, пошел в маленькую столовую и плотно поел: ветчина, горошек, отварной картофель, яблочный пирог с хрустящей корочкой, сыр да в придачу бутылка пива.

Потом он вернулся в гостиную и решил прилечь на диван. Диван был невелик, для Джорджа и вовсе короток, но когда не спал больше суток, и таким ложем соблазнишься. Он лег, вытянулся так, что ноги свесились на пол, и тотчас уснул.

Потом он почувствовал сквозь сон, что тихонько вошла миссис Парвис, подставила ему под ноги стул, укрыла одеялом. Он смутно заметил еще, как она задернула занавеси и в комнате стало темно, а миссис Парвис тихо вышла.

А еще позже он слышал, как она собралась уходить, но сперва открыла дверь гостиной и прислушалась; потом осторожно, на цыпочках, прошла через комнату, приотворила дверь спальни и заглянула туда. Очевидно, уверилась, что все в порядке, на цыпочках вышла и осторожно прикрыла за собою двери. Потом тихонько спустилась по лестнице, и Джордж слышал, как закрылась входная дверь. И он опять уснул крепким сном.

Когда Джордж проснулся снова, за окном было уже совсем темно, а Мак-Харг встал и бродил по спальне, верно, искал выключатель. Джордж поднялся, зажег свет в гостиной, и Мак-Харг вошел к нему.

Он опять поразительно преобразился. Короткий сон, видно, восстановил его кипучую энергию, и она опять была ключом и все в том же направлении, что Джорджа вовсе не радовало. Он надеялся, что, проспав несколько часов, Мак-Харг уgomонится, поймет, как необходимо ему прежде, чем отправляться снова путешествовать, основательно отдохнуть. Но ничуть не бывало: тот проснулся яростным львом и метался сейчас по гостиной, точно в клетке, негодуя на задержку и всем своим видом требуя, чтобы Джордж немедля собрался в путь.

— Едете вы или нет? — сказал он. — Или хотите увернуться? Ну, что вы сейчас намерены делать?

Джордж еще не стряхнул с себя сон, не сразу до него дошло, что в дверь звонят, звонят уже довольно давно. Должно быть, этот звонок и разбудил их обоих. Сказав Мак-Харгу, что он сейчас же вернется, Джордж сбежал по лестнице и открыл дверь. То был, разумеется, шофер Мак-Харга. Выбитый из колеи событиями этого дня, Джордж начисто забыл про шофера, и бедняга до сих пор ждал в своей сверкающей колеснице у дверей скромного Уэбберова жилища. Еще не было пяти, но в унылые зимние дни, когда нет конца туманам и морозящему дождю, смеркается рано, и на улице уже сгустилась тьма, как в полночь. Горели фонари и смутно светились, расплываясь в тумане, огни витрин. Улица была тиха и пустынна, а в вышине, над крышами, уже порывами налетал ветер и подвывал, обещая бурную ночь.

Когда Джордж открыл дверь, маленький шофер терпеливо стоял у порога, почтительно держа в руках фуражку с козырьком, но на лице его была написана сдержанная тревога, которой он не в силах был скрыть.

— Прошу прощения, сэр, — начал он, — вы не скажете, может, мистер Мак-Харг отдумал?

— От...отдумал? — с запинкой пробормотал все еще сонный Джордж и потряс головой, как собака, вылезшая из воды, пытаясь прийти в чувство и собраться с мыслями. — Это насчет чего?

— Насчет поездки в Суррей, сэр, — кротко ответил шофер, но глянул на Джорджа с испугом. В душе его уже зарождалось мучительное подозрение, которому позднее суждено было превратиться в глубокую уверенность; что он попал во власть двух опасных безумцев и преступников, но пока его опасения выдавала лишь какая-то тревожная, натянутая почтительность. — Это куда мы собирались еще днем, сэр, — продолжал он негромко, словно извиняясь за напоминание.

— Ох, верно, верно. Помню, как же, — ероша волосы, в некоторой растерянности сказал Джордж. — Кажется, мы и правда собирались.

— Да, сэр, — кротко подтвердил шофер. — Сами понимаете, — стал он пояснять, точно благожелательный взрослый малому ребенку, — сами понимаете, сэр, тут на улице не положено машине так долго стоять. Сейчас подходил фараон, — шофер виновато кашлянул, прикрыв рот рукой, — он говорит, больно долго, мол, тут стоишь, давай отъезжай. Вот я и подумал, спрошу-ка вас, сэр, может, вы знаете, что угодно мистеру Мак-Харгу.

— Я... я думаю, он намерен ехать дальше, — сказал Джордж. — Ну, дальше, в Суррей. Но... вы говорите, полицейский велел вам уезжать?

— Да, сэр, — терпеливо отвечал шофер и все смотрел на Джорджа снизу вверх, держа в руках фуражку, и ждал.

— Ну, тогда... — Джордж отчаянно собирался с мыслями и наконец выпалил: — Вы вот что сделайте. Поезжайте вокруг этого квартала... Поезжайте вокруг квартала...

— Да, сэр, — сказал шофер и замолчал в ожидании.

— И возвращайтесь через пять минут. А тогда я уже смогу сказать, что мы будем делать дальше.

— Слушаю, сэр. — Он коротко кивнул в знак согласия, надел фуражку и пошел к машине.

Джордж затворил дверь и поднялся наверх. Когда он вошел в гостиную, Мак-Харг, уже в шляпе и пальто, беспокойно шагал из угла в угол.

— Это звонил ваш шофер, — сказал Джордж. — Я совсем про него забыл, а он все время нас ждал. Он спрашивает, что мы будем делать дальше.

— Как что будем делать? — пронзительно крикнул Мак-Харг. — Сейчас же поедem! Черт возьми, Джордж, мы задержались уже на четыре часа! Живо, живо! — заторопил он. — Поехали!

Джордж понял, что решение Мак-Харга твердо и отговаривать его бесполезно. Он взял портфель, сунул туда зубную щетку, пасту, бритву, кисточку, крем для бритья и пижаму, надел пальто и шляпу, погасил свет и пошел к выходу со словами:

— Ну хорошо. Раз вы готовы, так и я готов. Двинулись.

Они вышли в туманную изморось, и тотчас подъехала машина и остановилась у обочины. Шофер выскочил, открыл дверцу. Мак-Харг и Уэббер сели. Шофер забрался на свое место. Машина, мягко шурша шинами, покатила по мокрой мостовой. Доехали до Челси, миновали Набережную, промчались по мосту Бэттерси и через обширные лондонские предместья — нескончаемые ответвления огромного города — направились на юго-запад.

Поездка эта врезалась в память Джорджа, как страшный сон. Еще до того, как они пересекли Темзу по мосту Бэттерси, Мак-Харг снова впал в полубоморочное состояние. И не удивительно! За шумным успехом пришли разочарование и опустошенность, и уже много недель подряд он неистово метался по свету, встречал все новых людей, пускался в самые неожиданные приключения — и все искал, искал, сам не зная, чего ищет. В этих немислимых поисках он не давал себе ни отдыха, ни срока. И ничего он не нашел. Или, точнее, нашел в Амстердаме мингера Бендиена. Что произошло после этого с Мак-Харгом, понять нетрудно.

Ибо если охота закончилась тем, что он поймал всего лишь краснорожего голландца, так он хотя бы узнает, черт возьми, из какого тот испечен теста! И вот в последние несколько дней, вконец разъяренный, издерганный и взвинченный, он решил испытать голландца, загнать его почище чем самого себя, — они не останавливались даже перекусить, но голландец был слишком флегматичен, да притом его поддерживал джин, и в конце концов Мак-Харг истратил на него остатки своей, казалось бы, неисчерпаемой энергии. Теперь он совершенно выдохся. После короткого сна недолгой была и вспышка жизненных сил: излив владевшее им неистовство, опустошенный, обессиленный до немоты, он откинулся на спинку сиденья, веки сомкнуты, голова легонько покачивается от движения машины, длинные ноги расслабленно вытянулись. Джордж беспомощно сидел рядом, не понимая, как быть и что делать, не понимая, куда он едет, когда и чем все это кончится, и глядел в затылок маленькому шоферу, а тот сгорбился за рулем и, внимательно следя за дорогой, умело вел машину в густом потоке транспорта, сквозь сумрак и туман.

Откатывались назад широко раскинувшиеся нескончаемые окраины Лондона — улица за улицей, мокрые, тускло освещенные слабо поблескивающими за пеленой дождя фонарями, миля за милей — кирпичные дома, словно насквозь пропитанные туманом, копотью и сажей бесчисленных ненастных дней, квартал за кварталом немислимой паутины, гигантские скопления бесчисленных деревьев, которые срослись в эту бесформенную чудовищную массу. «Роллс-ройс» стремительно проносился по главным улицам этих расплзшихся вширь муравейников. Мелькнет золотой нимб приглушенных туманом огней, весело блеснет мясная лавка с красными говяжьими тушами, с общипанной округлой, подвешенной вниз головами длинношеей дичью, и тут же стоит сам мясник в длинном белом фартуке; потом винные магазины и дышащие пивным духом и теплом, полные гула голосов пивные, а перед ними тускло отсвечивают мокрые от дождя тротуары; и снова густая тьма, и снова бесконечные ряды угрюмых, пропитанных туманом домов.

Наконец город с его окраинами остался позади. По сторонам раскинулась укрытая тьмой земля, напитанные влагой поля, в пустоте маячили редкие огни. Теперь стала ощутима сила ветра — он внезапно налетал с полей и разбивался о бока машины. Понемногу он разогнал туман, небо стало выше. И по волглому, низкому облачному своду широко разлился какой-то нездоровый, нечистый отсвет, словно все удушливые испарения, весь дым, все неистовство необъятной жизни Лондона впитались в облака и продолжают в них. С каждым поворотом колес этот отсвет отступал все дальше, оставался позади.

И теперь, среди пустынных просторов, Джордж осознал таинственный строй ночи. Он ощутил вечную, неизбывную силу земли, и вместе с этим пришло ликующее чувство освобождения. Чувство это было ему хорошо знакомо, его испытывает каждый житель большого современного города, когда после долгих месяцев, проведенных в городском улье, после месяцев изнурительного труда, шума, ожесточения, после угрюмого кирпича и камня, после постоянного напора, сутолоки и смешения бесчисленных толп, после зараженного воздуха и зараженной жизни, после предательства, страха, злобы, злословья, вымогательства, зависти, ненависти, стычек, ярости и обмана, после неистовства, напряжения, натянутых, как струна, нервов и беспрестанных перемен — уезжаешь из города и наконец свободен, вырвался за пределы самых отдаленных нитей этой отравленной и мучительной паутины. Он, кто долгое время знал лишь джунгли скрепленного известью кирпича и камня, где не услышишь птичьего пения, не увидишь ни единой былинки, снова обрел землю. И, однако, вот что непостижимо: обретя землю, он утратил весь мир. Он словно омылся и обрел даруемую землей чистоту зрения и души. С него смыло всю извечную мерзость бытия, зло и похоть, грязь и жестокость, безмерную испорченность и скверну, а чудо и загадочность, как ни странно, остались, остались и красота, и волшебство, и щедрость, и радость бытия, и, глянув назад, на мрачный отсвет дымной пелены, затянувшей небо, он остро ощутил утрату и одиночество, словно, вновь обретя землю, он отказался от жизни.

Машина уносилась все дальше и дальше, и вот уже последний аванпост Лондона остался позади и небо померкло. Во тьме, в ночи они мчались к цели своего путешествия. Мак-Харг

за все время не вымолвил ни слова. Он сидел по-прежнему — ноги вяло вытянуты, голова откинута на спинку сиденья, все тело покачивается от движения машины, и лишь бессильная рука, просунутая в петлю, удерживает его, не дает упасть. Джорджа все больше мучила тревога: как привезти Мак-Харга к его старому другу, с которым тот не виделся много лет, в таком чудовищном состоянии? Наконец он велел шоферу остановиться и подождать — быть может, удастся поговорить с мистером Мак-Харгом.

Он включил верхний свет, потряс Мак-Харга за плечо; к его удивлению, тот сразу же открыл глаза, и ответы его свидетельствовали, что голова у него совершенно ясная. Джордж сказал, что уж очень он, Мак-Харг, видно, устал и вряд ли получит удовольствие от встречи с другом. Лучше отменить ее, умолял Джордж, вернуться в Лондон и там переночевать, пусть Мак-Харг разрешит позвонить этому другу из ближайшего городка и предупредить, чтоб сегодня его не ждали, — они увидятся через день-два, все, что угодно, но встречу эту необходимо отложить, пока он не почувствует себя лучше. Помня о недавней упрямой решимости Мак-Харга, Джордж мало надеялся на успех, но, к его удивлению, тот повел себя вполне разумно. Он согласился со всеми доводами Джорджа, признался, что и сам подумывал, не отложить ли эту встречу на потом; хорошо, он готов на все, что предложит Джордж, но только с одним условием, сказал он, как отрезал: в Лондон он сегодня не вернется. Весь день он так отчаянно, так упрямо, точно одержимый, рвался прочь из Лондона, что Джордж настаивать не стал. Он согласился — да, поворачивать назад не стоит, и спросил, где Мак-Харг предпочел бы остановиться. Тот сказал, что ему все равно, но затем поразмыслил, причем голова его опять свесилась на грудь, и вдруг сказал — хорошо бы где-нибудь у моря...

В ту минуту Джордж ничуть не удивился. С удивлением он вспоминал об этих словах лишь много позже. А сейчас желание Мак-Харга поехать к морю показалось ему таким же естественным, как жителю Нью-Йорка предложение взять и съездить на автобусе посмотреть могилу Гранта. Пожелай Мак-Харг ехать в Ливерпуль, в Манчестер или в Эдинбург, Джордж бы тоже ничуть не удивился. Оказавшись вне Лондона, оба американца, сами того не сознавая, уже ни во что не ставили английские расстояния, Англия вся для них была точно соседний лужок. Когда Мак-Харг сказал, что хорошо бы у моря, Джордж подумал: «Ладно. Проедем на другую сторону острова и поглядим на море».

Итак, он решил, что Мак-Харг прекрасно придумал, просто великолепно: вдохнуть соленый воздух, послушать шум прибоя, крепко проспать всю ночь — что может быть лучше для них обоих? Они придут в себя и утром будут готовы к дальнейшим приключениям. Мак-Харг теперь тоже искренне радовался этому плану. Джордж спросил, может, он хочет поехать в какое-то определенное место. Но тот сказал — нет, ему все равно, куда угодно, лишь бы к морю. Наскоро перебрали несколько приморских городов, о которых слышали или где раньше бывали: Дувр, Фолкстон, Борнемут, Истборн, Блэкпул, Торки, Плимут.

— Плимут! Плимут! — с восторгом закричал Мак-Харг. — Это то, что надо! Я много раз попадал туда пароходом, но в городе никогда не останавливался. Правда, это порт, но все равно. Мне всегда казалось, это приятный городок. Едем туда и там переночуем.

— Что вы, сэр, — заговорил шофер, который все это время молча сидел за рулем и слушал, как двое помешанных бесцеремонно разделялись с Британскими островами. — Что вы, сэр, — с нескрываемой тревогой повторил он, — это никак невозможно, сэр. Сегодня уж никак, сэр. Сегодня добраться до Плимута никак невозможно.

— Это еще почему? — свирепо спросил Мак-Харг.

— А дотуда, сэр, добрых двести пятьдесят миль, сэр, — ответил шофер. — По такой погоде надо часов восемь, самое малое, потому как дождь, да кто его знает, когда опять туман упадет. Дай бог к рассвету доехать.

— Ну, хорошо, — нетерпеливо воскликнул Мак-Харг. — Поедем куда-нибудь еще. Как насчет Блэкпула? В Блэкпул, а, Джорджи? — сказал он и лихорадочно обернулся к Джорджу, губы его кривились, все лицо нетерпеливо сморщилось. — Можно в Блэкпул. Никогда там не был. Не прочь на него поглядеть.

— Но, сэр... — Шофер совсем смешался. — Блэкпул... Блэкпул, сэр, он на севере

Англии. Да это ж, сэр... — шептал несчастный, — это ж еще дальше Плимута. Дотуда все триста миль, сэр, — прошептал он с таким ужасом, какого не вызвало бы, наверно, даже предложение проехать за одну ночь из Филадельфии к Тихоокеанскому побережью. — Раньше утра нам до Блэкпула не доехать.

— Ну, хорошо, хорошо, — с отвращением произнес Мак-Харг. — Будь по-вашему. Говорите, куда ехать, Джордж, — распорядился он.

Долгую минуту Уэббер напряженно думал, потом, вооружившись воспоминаниями о местах, описанных Теккереем и Диккенсом, с надеждой произнес:

— Брайтон. Как насчет Брайтона?

И тут же понял, что попал в точку. Шофер обернулся к ним, и голос его задрожал от несказанного облегчения.

— Да, сэр! Да! Брайтон! Мы прекрасно до него доедем, сэр, — прошептал он с жаркой, чуть ли не раболепной готовностью.

— Сколько времени понадобится? — резко спросил Мак-Харг.

— Я так вам скажу, сэр, часа за два с половиной довезу. Для обеда будет поздновато, а все ж не больно далекий край.

— Хорошо. Ладно, — сказал Мак-Харг, решительно кивнул и поудобней устроился на сиденье. — Поехали, — и он махнул костлявой рукой: мол, так и быть. — Едем в Брайтон.

Они снова тронулись и на первом же перекрестке свернули в надежде отыскать дорогу на Брайтон.

С этой минуты поездка их превратилась в страшный сон: опять и опять остановки, повороты, бесконечная смена направлений. Маленький шофер был уверен, что держит путь на Брайтон, но почему-то никак не мог найти нужную дорогу. Они сворачивали вправо и влево, проезжали по несчетному множеству городков и деревень, вновь оказывались на пустынных просторах и никак не могли достичь цели. Наконец они оказались на каком-то сложном безлюдном переплетении дорог, и шофер остановил машину, чтобы разглядеть указатели. Однако названия Брайтон нигде не было, и он в конце концов признался, что сбился с пути. При этих словах Мак-Харг пробудился, устало наклонился вперед, взгляделся в ночную тьму, потом спросил Джорджа, что, по его мнению, следует делать. О том, где они сейчас находятся, они знали еще меньше их возницы, но ведь надо же куда-то ехать. Джордж сказал наугад, что Брайтон должен быть где-то слева, и Мак-Харг велел шоферу при первой возможности свернуть налево и посмотреть, куда это их приведет, потом снова откинулся на спинку и закрыл глаза. Теперь у каждого поворота Мак-Харг или Уэббер говорили шоферу, куда ехать, и маленький лондонец беспрекословно повиновался, но от мысли, что он заблудился в просторах Суррея и невесть чего еще от него потребуют эти два престранных американца, в душе его явно росли дурные предчувствия. Никто из них почему-то не догадался остановиться и спросить дорогу, и они все безнадежней запутывались. Сновали взад-вперед сперва в одном направлении, потом в другом, и скоро Джорджу стало казаться, что они уже изъездили чуть ли не всю сеть дорог, раскинувшуюся южнее Лондона.

Шофер на глазах превращался в безвольный комок нервов. Его явно обуревал страх. Он с лихорадочной готовностью соглашался на все, что ему говорили, но при этом голос его дрожал. По всей его повадке ясно было: он чувствует, что попал в лапы двух сумасшедших, он в полной их власти, а места вокруг безлюдные, вот-вот стрясется что-то ужасное. Джордж видел, как он пригнулся к рулю, весь съежился, скованный ужасом. Если бы который-нибудь из этих рехнувшихся американцев, сидящих сзади, вздумал издать воинственный клич, от которого кровь стынет в жилах, бедняга не удивился бы, но, конечно, сразу бы отдал богу душу.

В столь необычных обстоятельствах само пространство в эту ночь казалось ему зловещим и только подогревало его страхи. Час от часу ночь становилась все более бурной. Она неистовствовала, безумствовала — подобные ночи выдаются иногда в Англии зимой.

Одинокому искателю приключений такая ночь, пожалуй, покажется волнующей, бурно-прекрасной. Но на тихого человечка, который, наверно, горько тосковал о кружке пива и уютном уголке в своей любимой пивной, сатанинский лик этой ночи, должно быть, наводил смертный ужас. То была одна из тех ночей, когда осажденная со всех сторон луна несется, как призрачный корабль, среди мчащихся по небу туч, а ветер воеет и визжит, точно обезумевший злой дух. Вот он ревет вокруг, в мятущихся ветвях голых деревьев. Потом с торжествующим воплем налетает на машину, и стонет, и свистит, и уносится прочь, а дождь припускает сильнее, и хлещет в смотровое стекло, и слепит. А потом вой доносится уже издалека — где-то там, вдалеке, обезумевший ветер раскачивает вершины деревьев. А призрачная луна все ныряет в грозно клубящихся тучах, то озарит бледным трепетным светом исхлестанную бурей округу, то скроется и оставит путников во тьме, наедине с сатанинским завываньем ветра. В такие-то ночи и совершаются преступления, и маленький шофер явно ждал самого худшего.

Где-то в пути, после того, как они уже долгие часы попусту мотались взад и вперед, поразительные Мак-Харговы запасы энергии и жизненных сил истощились вконец. Он сидел как прежде — ноги вытянуты, голова откинута — и вдруг слепо протянул руку к Джорджу со словами:

— Я выдохся, Джордж! Остановите машину! Больше не могу!

Джордж мигом остановил машину. Они застыли у обочины дороги, во тьме, под беснующимся ветром и то и дело налетающим дождем. В тусклом неверном свете призрачной луны Мак-Харг был страшен, как привидение. Лицо стало совсем серое, неживое. Джордж не на шутку перепугался и предложил ему выйти из машины: быть может, на свежем воздухе ему полегчает.

Мак-Харг отвечал еле слышно, с полнейшей безнадежностью в голосе.

— Нет, — сказал он, — я не прочь умереть. Оставьте меня в покое.

Он снова тяжело откинулся в угол машины, закрыл глаза и, казалось, полностью отдался опеке Джорджа. До самого конца этой чудовищной поездки он больше не произнес ни слова.

В полутьме, где только и свету было что от приборного щитка машины да от зловещей луны, Джордж и шофер молча обменялись отчаянными, вопрошающими взглядами. Наконец шофер облизнул пересохшие губы и прошептал:

— Что ж нам делать, сэр? Куда поедем?

Джордж на минуту задумался.

— По-моему, надо ехать назад, к его другу, — ответил он. — Может быть, мистер Мак-Харг серьезно болен. Быстро поворачивайте и постарайтесь поскорей туда добраться.

— Слушаюсь, сэр! Слушаюсь, — прошептал шофер, развернул машину, и они снова поехали. Дальше стало совсем уж невыносимо, точно в тягостном бреду. Те объяснения, что дал друг Мак-Харга, оказались достаточно сложны, и следовать им было бы непросто, даже если строго держаться дороги, по которой они собирались ехать вначале. Но они давно с нее свернули, сбились с пути, и прежде всего надо было как-то вновь отыскать дорогу. В конце концов (просто чудом, подумалось Джорджу) им это удалось. Потом требовалось найти несколько ничем не примечательных перекрестков, всякий раз сворачивать именно туда, куда надо, и тогда они под конец выедут на пустынный узкий проселок, который ведет прямо к дому Мак-Харгова друга. Пытаясь соблюсти все указания, они все же снова заблудились, пришлось возвращаться в какую-то деревню, и там шоферу растолковали, куда его занесло и куда надо ехать. Когда они наконец оказались на проселочной дороге, что вела к заветному дому, было уже около одиннадцати.

И теперь все предстало перед Джорджем совсем уж в зловещем и мрачном свете. Ему не верилось — неужели они все еще в Суррее? Он всегда думал, что Суррей — приятный тихий уголок, такой приветливый, уютный пригород Лондона. При этом имени воображение рисовало ему безмятежные зеленые поля, среди которых разбросано множество городков и селений. Ему представлялся край покоя и тишины и мирных церквушек, своего рода

поразительный *urbs in ture*²², очаровательный сельский край, где из любого уголка можно за час доехать до Лондона, где можно наслаждаться сельскими прелестями, не теряя при этом возможности пользоваться всеми преимуществами городской жизни, край, где, куда ни глянешь, до соседа рукой подать. Но места, по которым они сейчас ехали, нимало не напоминали эту идиллическую картинку. Со всех сторон наступал густой лес, в эту ненастную ночь неописуемо буйный и тоскливый. Машина медленно ползла вверх по извилистой дороге, и Джорджу казалось, будто они взбираются по сатанинскому склону Заколдованной горы, — пожалуй, когда луна снова вынырнет из-за туч, окажется, что их занесло на прогалину, вытопанную среди леса, и вокруг беснуется дьявольский хоровод из Вальпургиевой ночи. Ветер завывал и хохотал как безумный среди раскачивающихся ветвей, рваные облака мчались по небу, точно спасающиеся бегством духи, а машина шаталась, подсакивала, охала, ковыляла по дороге, проложенной, должно быть, еще до нашествия римлян — судя по тому, какая она ухабистая, с тех пор никто ее не чинил, никто по ней не ездил. И ни дома, ни огня не видать.

Да, конечно же, они снова заблудились. Наверняка никто не станет жить в таком недоступном, диком месте. Джордж Уэббер чуть было не сдался и не велел шоферу поворачивать назад, но вдруг справа, в каких-нибудь ста ярдах от дороги и чуть повыше, показался дом — окна его призывно и ободряюще сияли теплом и светом.

36. Загородный дом

Шофер рывком остановил машину.

— Вроде приехали, сэр, — прошептал он. — Других домов тут нету. — В голосе его не слышалось облегчения. Напротив, он звучал еще настороженней.

Джордж согласился — пожалуй, они и вправду наконец добрались до места.

Пока машина поднималась на холм, Мак-Харг не подавал признаков жизни. Джордж не на шутку опасался за него, а последние несколько миль тревога его возросла: уж очень безжизненно взлетали и дергались длинные костистые руки Мак-Харга всякий раз, как автомобиль подбрасывало и швыряло вверх и вниз на ухабах. Джордж заговаривал с ним, но ответа не получал. Оставить его одного в машине он не решился и предложил шоферу пойти узнать, действительно ли в этом доме живет друг мистера Мак-Харга, и, если да, попросить его выйти к автомобилю.

Но шофер был уже так напуган, что новое испытание оказалось ему не по силам. Прежде он страшился своих седоков, а теперь, похоже, ему еще страшней было хоть на шаг от них отойти. Непонятно, чего он боялся, кажется, думал, что в этом доме его поджидают остальные члены их кровожадной шайки.

— Нет, сэр, — шептал он, — не могу я туда, сэр. В этот дом... Нет, нет. — Он вздрогнул. — Право слово, сэр, не могу. Лучше уж вы сами, сэр.

Что ж, Джордж вылез из автомобиля, для бодрости поглубже вздохнул и волей-неволей двинулся по дорожке. Ну и в переплет же он попал! Ведь он понятия не имеет, что за люди тут живут. Имени Мак-Харгова друга и то не знает. Мак-Харг называл его Рик — то ли это сокращенное имя, то ли прозвище. И никакой уверенности, что живет здесь именно этот Рик. Знал Джордж только одно: позади день, полный неправдоподобных событий, и жуткая поездка в «роллс-ройсе» с перепуганным шофером, а теперь ветер и дождь бьют в лицо, идешь к дому, которого никогда не видел, и изволь сказать совершенно незнакомому человеку, что у его дверей лежит почти без чувств знаменитый американский романист — сделайте, мол, одолжение, взгляните, не знаком ли он вам.

Итак, он подошел к дому и постучал в дверь — то было, видно, старое, несуразно построенное и потом подновленное жилище какого-нибудь земледельца. Через минуту дверь

²² город в деревне (лат.)

отворилась, на пороге стоял человек, и с первого взгляда было ясно, что это не слуга, а хозяин: спортивного вида англичанин средних лет. Заложив руки в карманы бархатной куртки, он с недоверием уставился на ночного гостя. На нем был жесткий стоячий воротничок и безупречный галстук-бабочка в горошек. Это придавало ему некоторую чопорную элегантность, и Джорджу сразу стало не по себе, он мучительно смутился, понимая, что сам выглядит препостыдно. Ведь он уже два дня не брит, лицо заросло жесткой щетиной. Притом он тридцать шесть часов не спал, только чуть вздремнул сегодня днем, и глаза у него красные, налитые кровью. Башмаки заляпаны грязью, а со старой, низко нахлобученной шляпы капает дождь. И ко всему он измочален, тревога замучила, и все нервы натянуты. Ясное дело, англичанин решил, что он подозрительный тип, потому и выпрямился высокомерно, смотрит в упор и молчит.

— Вы... я... — начал Джордж, — то есть, если это я вас ищу...

— Как? — изумленно спросил англичанин. — Что?

— Да тут мистер Мак-Харг, — снова начал объяснять Джордж. — Если вы его знаете...

— Как? — повторил англичанин и тут же встрепенулся. — О-о! — воскликнул он протяжно, с удивлением, почти с испугом и в то же время понимающе. Чуть помолчал, пытливо всмотрелся в Джорджа. Снова протянул: — О-о! — И негромко спросил: — Где он?

— Он... он здесь, в своей машине, — порывисто, с безмерным облегчением ответил Джордж.

— О-о! — снова воскликнул англичанин и потом нетерпеливо: — Так почему же он не идет? Мы давно его ждем.

— Может быть, вы подойдете, поговорите с ним... — начал Джордж и умолк.

— О-о! — воскликнул англичанин, серьезно глядя на Джорджа. — Разве он... то есть?... О-о! — воскликнул он, словно его вдруг озарило, и задумчиво хмыкнул. — Что ж, — сказал он решительней, ступил на дорожку и осторожно прикрыл за собой дверь. — Пожалуй, надо пойти взглянуть на него. Пойдемте?

Последний шквал дождя промчался так же быстро, как налетел, и, когда они пошли по дорожке, выглянула луна. На полпути англичанин остановился, на лице его выразилось опасение, и он громко спросил, стараясь перекричать ветер:

— Скажите... его... то есть ему, — он покашлял, — ему... нехорошо?

По тому, как он подчеркнул это последнее слово, да и по прежним своим разговорам с англичанами, Джордж понимал, что именно подразумевается под словом «нехорошо». И он покачал головой.

— Вид у него совсем больной, но тут что-то другое.

— Потому что если ему нехорошо... — опасно, с каким-то даже подвыванием продолжал англичанин. — О, господи! — воскликнул он. — Понимаете, я очень люблю Костяшку... знаю его сто лет... но если ему будет нехорошо!.. — Его передернуло. — Тогда, извините, мне лучше не ходить. Не хочу об этом знать! — крикнул он. — И... и слышать не хочу! И лучше... лучше мне этого не видеть! Я... я... я умываю руки! — выпалил он.

Джордж заверил, что мистеру Мак-Харгу худо не в том смысле, просто он серьезно болен, и они пошли к машине. Чуть помедлив, англичанин открыл дверцу, заглянул внутрь и позвал скорчившегося на сиденье Мак-Харга:

— Костяшка! Послушайте, Костяшка!

Мак-Харг молчал, только тяжело дышал, словно бы всхрапывал.

— Эй, Костяшка! — снова позвал англичанин. — Послушайте, старина! — окликнул он громче. — Вы здесь, дружище?

Мак-Харг, несомненно, был здесь, но не отвечал.

— Послушайте, Костяшка! Отзовитесь же! Это я, Рик!

В ответ Мак-Харг шумно всхрапнул, потом дернул остро торчащей коленкой и, не открывая глаз, проворчал:

— Здрасс... Рик! — и опять захрапел.

— Послушайте, дружище! — настойчиво возвысил голос хозяин. — Может быть, вы все-

таки встанете? Мы ждем вас в доме!

Никакого ответа, только громкое хриплое дыхание. Все дальнейшие попытки оставались тщетны; тогда Рик выпрямился и обернулся к Джорджу со словами:

— Давайте-ка перетащим его в дом. Я вижу, Костяшка опять вконец вымотался.

— Да, мне кажется, он серьезно болен, — с тревогой сказал Джордж. — Страшный упадок сил, и нервы сдали. Надо бы позвать врача, как по-вашему?

— О нет, — весело отозвался англичанин. — Я Мак-Харга не первый день знаю. Когда он на взводе, с ним так бывает. Понимаете, он себя не щадит... не дает себе передышки... не спит, не ест... совершенно не умеет о себе заботиться. Такой образ жизни кого угодно доконает. Только не Костяшку. Можете о нем не тревожиться. Все будет в порядке. Вот увидите.

Под эти утешительные заверения они вытащили Мак-Харга из машины и поставили на ноги. Тощий, ослабевший, он являл собой поистине жалкое зрелище, но холодный воздух как будто его освежил. Он несколько раз глубоко вздохнул и огляделся по сторонам.

— Вот так! — ободряюще сказал англичанин. — Вам получше, дружище?

— Черта с два получше! — возразил Мак-Харг. — Вымотался. Хочу в постель.

— Разумеется, — согласился англичанин. — Но сперва надо поесть. Вас ждет обед. Все готово.

— Никакой еды, — отрезал Мак-Харг. — Спать. Поем завтра.

— Согласен, старик, — добродушно сказал англичанин. — Будь по-вашему. Но друг ваш, наверно, умирает с голоду. Мы позаботимся о вас обоих. Идемте же. — И он взял Мак-Харга под руку.

Втроем они двинулись по дорожке к дому.

— Виноват, сэр, — послышался жалобный голос за спиной Джорджа (из них троих он был ближе всех к машине. Занятые своими заботами, они начисто забыли про маленького шофера). — Сэр, — шофер высунулся из окна и продолжал шепотом: — А как же мне с машиной, сэр? Вам, — он испуганно облизнул губы, — вам она еще понадобится нынче, сэр?

Англичанин тотчас взял дело в свои руки.

— Нет, она нам не понадобится, — решительно ответил он. — Поезжайте вокруг дома и там сзади ее поставьте.

— Да, сэр, хорошо, сэр, — судорожно глотая воздух, ответил шофер. Чего он все еще боялся, он, наверно, и сам не знал. — Вокруг дома и сзади, сэр, — машинально повторил он. — Будет исполнено, сэр. И... и... — Он опять облизнул пересохшие губы.

— И... а, да! — вдруг спохватился англичанин. — Когда покончите с машиной, пройдите на кухню. Мой дворецкий вас накормит.

Потом он весело повернулся, снова взял Мак-Харга под руку и повел к дому, а перепуганный шофер все не двигался с места и только бормотал ополоумевшему ветру и несущейся по небу луне:

— Да, сэр, хорошо, сэр.

После исхлестанной ветром и дождем беспросветной пустыни, после всех передряг, в доме их обдало светом и теплом. Очень славно было в доме — низкие потолки, стены, обшитые панелями старого дерева. Приезжих встретила хозяйка дома, обаятельная, красивая женщина гораздо моложе мужа. Мак-Харг обменялся с ней двумя-тремя словами и сейчас же снова заявил, что хочет спать. Она, казалось, мгновенно все поняла и повела их наверх, где ждала комната для гостей. Очень уютная комната с глубокими оконными нишами. В камине горит огонь. Приготовлены две кровати, одеяла аккуратно отогнуты, заманчиво белеют простыни.

Хозяйка вышла, а ее муж и Джордж помогли Мак-Харгу лечь. Он совсем не стоял на ногах. Они сняли с него башмаки, воротничок, галстук, потом, поддерживая с двух сторон, сняли пиджак и жилет. Уложили его поудобней в постель и укрыли одеялом. К тому времени,

как они со всем этим кончили и собрались уходить, Мак-Харг уже не сознавал окружающего, он спал как убитый.

Мужчины спустились по лестнице и только теперь оба спохватились, что в неразберихе при встрече они даже не подумали представиться друг другу. Джордж назвался, и ему приятно и лестно было узнать, что имя его хозяину знакомо и он даже читал книгу. Хозяина звали странно — Рикенбах Рид. Позднее в тот же вечер выяснилось, что он наполовину немец, однако всю жизнь живет в Англии; держался он как истый англичанин, и его речь и весь облик были чисто английские.

Поначалу Уэббер и Рид чувствовали себя друг с другом несколько стесненно. Обстоятельства, при которых появился Уэббер, не очень-то способствовали непринужденности или легкому взаимопониманию. После того, как они довольно чопорно представились друг другу, Рид спросил, не угодно ли Уэбберу умыться, и провел его в маленькую ванную. Когда Джордж вышел оттуда освеженный, насколько это возможно с помощью мыла, воды, щетки и расчески, хозяин встретил его и все еще не без чопорности повел в столовую, где их уже ждала хозяйка дома. Втроем они сели за стол.

Комната была очень хороша, теплая, с низким потолком, обшитая старым деревом. И хозяйка дома была хороша. А обед, хоть он и ждал много часов, был просто великолепен. Перед супом Рид предложил Джорджу стакан отличного сухого хереса, потом еще стакан и еще. Наконец подали суп, внес его носатый малый с колючей продувной физиономией истинного кокни и, как подобало случаю, в чистой, но далеко не новой ливрее. Суп оказался восхитительный — густой томатный суп цвета красного дерева. Джордж не сумел скрыть, что голоден как волк. Он ел жадно и с таким откровенным наслаждением, что ледок некоторой официальности, которая еще сковывала их всех, начал таять.

Дворецкий внес жаркое, потом вареный картофель и брюссельскую капусту. Рид отрезал Джорджу исполинских размеров кус мяса, а хозяйка дома щедрой рукой положила ему на тарелку овощи. Сами они тоже ели, но ясно было, что они уже обедали. Они брали всего понемножку, да и то половину оставляли на тарелках. Однако проделывали все, что полагается, чтобы составить Джорджу компанию. С его же тарелки жаркое исчезло в два счета.

— Вот это да! — воскликнул Рид, снова берясь за нож. — Позвольте отрезать вам еще. Вы, видно, порядком проголодались.

— Вы, наверно, просто умирали с голоду, — мелодичным голосом произнесла его жена. И Джордж снова принялся за еду.

Дворецкий внес вино — старое, густого тона бургундское в бутылке, затянутой паутиной. С бургундским расправились быстро. На десерт был пышный, с хрустящей корочкой яблочный пудинг и солидный ломоть сыра. Джордж уплетал все подряд. Покончив со всем, что ему подавали, он глубоко, умиротворенно вздохнул и поднял глаза от тарелки. И тут все трое переглянулись, разом откинулись на спинки стульев и расхохотались.

Так единодушно и непосредственно люди хохочут не часто. Они покатывались со смеху, оглушительное «ха-ха-ха» неодолимо рвалось из глоток, рокотало, гремело, ревели, отдавалось в комнате, даже бокалы в буфете стали позвякивать. Хохот нарастал все неудержимей, они уже выбивались из сил, ломило бока и скулы, все трое пыхтели и отдувались и веселились уже беззвучно, и вдруг, когда, казалось, больше и дух перевести нет мочи, вновь раздавался взрыв хохота, и вновь он грохотал, отдавался и перекатывался от стены к стене. За это время дворецкий дважды подходил к двустворчатой двери, приоткрывал ее, просовывал голову в шелку и пугливо озирался. И оба раза его появление вызывало новый взрыв смеха. Наконец, когда они затихли и только судорожно вздыхали, понемногу приходя в себя, дворецкий опять заглянул в столовую и сказал:

— Прошу прощения, сэр. Тут шофер дожидается.

Вновь появился несчастный человечек, боязливо стал на пороге, вертя в руках шапку и с опаской облизывая пересохшие губы.

— Прошу прощения, сэр, — наконец осмелился он пробормотать. — Я насчет машины. Вам угодно, чтоб она всю ночь стояла за домом, сэр, или мне отвести ее в ближнюю деревню?

— А до ближней деревни далеко? — еле переводя дух, спросил Джордж.

— Да, верно, миль шесть, сэр, — пробормотал шофер, в глазах его были отчаяние и ужас.

Выражение его лица переполнило чашу. Уэббер приглушенно взвизгнул от смеха. Миссис Рид низко наклонилась, зажимая рот скомканной салфеткой. А что до Рикенбаха Рида, он просто откинулся на спинку стула и, задрвав голову, гоготал, точно одержимый.

Шофер будто прирос к полу. Он явно решил, что ему настал конец: он во власти этих помешанных, убежать нельзя — ноги не слушаются. А они не в силах были рассеять его невыразимый ужас. Не в силах заговорить с беднягой, хоть что-то объяснить, не в силах даже просто поглядеть на него. Едва они пытались сказать ему что-то, взглядывали на бледное, нелепо искаженное лицо несчастного человечка, и снова на них накатывало, их душил смех, они хохотали до слез и ничего не могли с собой поделать.

Наконец они утомнились. Припадок миновал. Опустошенным, изнемогшим и пристыженным, им стало совестно, что они так глупо себя вели и перепугали маленького шофера. Теперь спокойно и мягко они сказали ему, чтоб он оставил машину, где она стоит, и больше о ней не беспокоился. Рид велел дворецкому позаботиться о шофере и на ночь устроить его у себя.

— Слушаюсь, сэр, слушаюсь, сэр, — как заведенный бормотал маленький шофер.

— Будет исполнено, сэр, — бодро отозвался дворецкий и повел шофера прочь.

Они же поднялись из-за стола и перешли в гостиную. Через несколько минут дворецкий принес на подносе кофе. Они расположились подле весело пылавшего огня, пили кофе, а потом коньяк. Так славно, так тепло и уютно было сидеть у огня и слушать, как за окном беснуется непогода, — все трое не могли не поддаться обаянию этого часа и почувствовали себя легко и просто, словно старые друзья. Без малейшего смущения они смеялись, болтали и рассказывали разные истории. Видя, что Джордж все еще тревожится за Мак-Харга, Рид на все лады старался рассеять его страхи.

— Дорогой мой, я знаю Костяшку не первый год, — говорил он. — Он загоняет себя до изнеможения, я видел это уже много раз, но кончается все всегда хорошо. Просто поразительно, как он это умеет. Я бы не мог. Никто бы не мог, а он может. Он невероятно жизнеспособен. Вот вам уже кажется, он вконец себя заездил, смотришь, а он вскакивает свеженький, как огурчик, и все начинается сначала.

Джордж уже видел достаточно, чтобы понимать, что так оно и есть. Рид рассказал несколько случаев, которые убедили его еще больше. Несколько лет назад Мак-Харг приехал в Англию работать над новой книгой. Даже тогда его образ жизни внушал самые серьезные опасения тем, кто его знал. Почти все считали, что так он долго не протянет, а друзья-литераторы просто не понимали, как он вообще ухитряется работать.

— Однажды вечером я был на ужине, который он давал в отдельном кабинете в «Савое», — продолжал Рид. — Он уже много дней подряд вертелся в таком круговороте, нисколько себя не щадил и к десяти вечера окончательно выдохся. Совсем сник и уснул прямо за столом. Мы уложили его на кушетку, а ужин шел своим чередом. Немного погодя мы еще с одним гостем с помощью швейцаров вынесли его из отеля, погрузили в такси и отвезли домой. У него была квартира на Кевендиш-сквер. А еще раньше мы с ним уговорились на другой день вместе позавтракать, — продолжал Рид. — Я, разумеется, и помыслить не мог, что у него хватит сил прийти. По правде сказать, я опасался, что дня два-три придется ему пролежать в постели. Все же около часу дня я заглянул к нему, хотел узнать, как он себя чувствует.

С минуту Рид молча смотрел в огонь. Потом громко перевел дух и сказал:

— Ну вот! Он сидел за письменным столом, в старом халате поверх старого мешковатого костюма из твида, и как одержимый стучал на машинке. Подле него лежала толстая пачка отпечатанных страниц. Он сказал мне, что сидит за машинкой с шести утра и напечатал уже двадцать с лишком страниц. Когда я вошел, он поднял голову и сказал: «Привет, Рик. Сейчас буду готов. Присядьте пока». ...Ну вот! — рассказчик снова громко перевел дух. — Я поневоле сел! Так и повалился на стул и глядел на него во все глаза. Ничего поразительней в

жизни не видал.

— И у него хватило сил пойти с вами обедать?

— Хватило сил! — воскликнул Рид. — Да он вскочил, как мячик, накинул пальто, нахлобучил шляпу, сорвал меня со стула и заявил: «Пошли! Я голоден как волк». И вот ведь поразительно, он помнил все, что было накануне вечером, — продолжал Рид. — Помнил каждое слово, которое там говорилось, даже то, что говорилось, когда я головой поручился бы, что он в беспамятстве. Поразительный человек! — воскликнул англичанин. — Просто поразительный!

В теплом сиянии огня и возникшей между ними близости они выпили еще не одну рюмку коньяку, выкурили несчетное множество сигарет и говорили, говорили час за часом, начисто забыв о времени. То была беседа, которая, освобождая человека от малейших следов сковывавшей его застенчивости, сметает последние барьеры прирожденной сдержанности и обнажает души. Хозяин дома был в ударе и рассказывал интереснейшие истории о себе, и о жене, и о том, как славно, как привольно им здесь, в этом сельском уединении. По его рассказам выходило, что жизнь эта не только привлекательна, полна прелести и здоровых сельских удовольствий, но поистине желанна и завидна. Он нарисовал идиллическую картину — подобные картинке нелегкого, но независимого существования с простыми радостями, безыскусственного, но надежного, рано или поздно непременно овладевают воображением почти каждого, кто живет среди сумятицы, неразберихи и неустойчивости нашего сложного мира. Джордж слушал хозяина дома, с тоской и восхищеньем следил за образами, которые разворачивались перед ним, и, однако, у него возникало беспокойное чувство, будто за всем этим кроется нечто еще — и это неуловимое нечто не укладывается в картину, заставляет, сомневаться в ее достоверности.

Ибо, как вскоре начал понимать Джордж, Рикенбах Рид был из тех, кто не готов к условиям современной жизни и, не в силах встретить суровую действительность лицом к лицу, уходит от нее. Явление для Джорджа не новое. Таких людей он встречал не раз. И теперь уже ясно понимал, что они образуют еще одну группу, или род, или племя, еще один мирок, который не знает ни государственных границ, ни местных. В Америке их на удивление много, особенно в уединенных уголках в окрестностях Бостона, Кембриджа и Гарвардского университета. Встречаются они и в Гринвич-виллидж в Нью-Йорке, а когда даже эта самодельная Маленькая Богемия становится к ним чересчур неласкова, они покидают ее и укрываются в лишенном живых соков сельском уединении.

Для всех этих людей провинция становится последним прибежищем. Они покупают маленькие фермы в Коннектикуте или Вермонте и переделывают прекрасные старые дома на свой лад с некоторым переизбытком прихотливости или сдержанности и хорошего вкуса. Изящество их немного чересчур изящно, а простота немного чересчур изысканна, и на купленных ими старых фермах уже не сеют ничего насущно необходимого, и хлеба там тоже не растут. Там больше занимаются цветами и постепенно, научаются со знанием дела рассуждать о редких сортах. Конечно же, этим людям мила простая жизнь. Им мило прекрасное ощущение земли. Немного чересчур от ума идет это их отношение к земле, и вечно все они, не только мужчины, но и женщины, твердят о том, как им любо в ней копать, а верней — ее возделывать. Они и вправду ее возделывают. По весне они работают в своем новом декоративном саду с каменными горками, и помогает им всего один человек, какой-нибудь местный житель; они ему за это платят и притом подмечают его скромные добродетели и забавные странности, а после рассказами о нем развлекают друзей. Жены их тоже возделывают землю, надевая при этом простенькие и все же довольно миленькие платьица, и даже научаются подрезать живые изгороди, а чтобы не пострадали руки, работают в брезентовых рукавицах. Грациозные, очаровательные, эти дамы покрываются здоровым загаром: прелестные руки от кисти до локтя становятся золотистыми, лица, вобравшие солнечный свет, подрумяниваются, и на щеках иногда появляется нежный, еле заметный

золотистый пушок. Смотреть на них одно удовольствие.

Зимой тоже есть чем заняться. Выпадает снег, иной раз на три недели дорога к главному шоссе становится для машин непроходимой. В эту пору даже грузовики и то не могут к ним пробиться. И все три недели нужно каждый день самим ходить пешком добрые три четверти мили, чтобы запастись провизией. Вдоволь и других дел. Горожане воображают, будто зимой сельская жизнь скучна, но это просто неведение. Хозяин дома заделался плотником. Разумеется, он работает над своей пьесой, но в перерывах мастерит мебель. Приятно, когда что-то умеешь сработать руками. Старый сарай ему приспособили под мастерскую. Там же у него и кабинет, где он без помех может заниматься трудом умственным. Детям туда ходить запрещено. И каждое утро, отвезя детей в школу, отец возвращается в свой сарай-кабинет и пишет пьесу.

Кстати, такая жизнь детям очень на пользу. Летом они играют, плавают, удят рыбу вместе с детьми наемного работника и получают тем самым полезные практические уроки истинной демократии. Зимой они учатся в отличной частной школе в двух милях отсюда. Руководят школой весьма толковые люди: знаток плановой экономики и его жена — знаток детской психологии. Эта чета проводит интереснейшие опыты в области образования.

Сельская жизнь полна увлекательных интересов, о которых горожане понятия не имеют. Прежде всего, местная политика — они ушли в нее с головой. Они посещают все собрания, они горячо ратуют за необходимость заново настлать мост через ручей, выступают заодно с противниками старика Эбнера Доунза, главы местного самоуправления, и вообще поддерживают более молодые, более прогрессивные силы. По субботам и воскресеньям они презабавно рассказывают про эти собрания своим городским друзьям. И еще у них богатый запас всяких историй про местных жителей, и когда вечером после кофе и коньяку хозяин дома и его жена в два голоса повествуют про то, как Сет Фримен и Роб Перкинс поссорились и судились из-за каменной ограды, любой самый искушенный гость хохочет до упаду. В деревне поневоле досконально изучишь своих соседей. Деревня — это целый мир. Жизнь здесь проста, но как же она хороша.

В этом старом деревенском доме они вечерами ужинают при свечах. Сосновым панелям в столовой больше двухсот лет. Они ее не меняли. Вообще всю переднюю часть дома оставили без изменений. Лишь пристроили новое крыло — для детей. Конечно, на первых порах, когда ферму только купили, хлопот было немало. Она была в самом жалком состоянии. Полы и потолки сгнили, их пришлось перестлать. И еще пол в подвале залили бетоном, установили котел, работающий на мазуте. Обошлось это недешево, но дело того стоило. Прежние хозяева были здешние уроженцы, люди, которые совсем опустились. Фермой владели из века в век пять поколений этой семьи. И просто невероятно, до чего они запустили дом. В гостиной пол вместо ковра был покрыт линолеумом. А в столовой подле старинного, времен революции, прекрасного буфета, который новые хозяева уговорили продать им вместе с домом, стоял чудовищный граммофон с этакой старомодной трубой. Невообразимо!

Разумеется, пришлось обставить дом заново, от подвала до чердака. Городская мебель никак сюда не подходила. Потребовалось немало времени и труда, но постепенно они объездили окрестные фермы и ухитрились задешево подобрать на редкость изысканные вещи, главным образом старинные, времен революции, и теперь наконец все в доме прекрасно сочетается одно с другим. Они даже пьют пиво из оловянных кружек. Грейс углядела их в доме одного старика, они стояли в погребе, сплошь покрытые паутиной. Старика, по его словам, было восемьдесят семь, а кружки принадлежали еще его отцу. Сам он никогда ими не пользовался, и, если она желает, он их продаст по двадцать центов за штуку. Пожалуй, цена будет в самый раз. Правда, прелестная история? И все соглашались: да, прелестно.

Время шло, зима сменялась весной, лето — осенью, и они наблюдали за этой чредой. Нет, им бы не хотелось жить там, где не замечаешь времен года. Когда наступает новая пора, это такое волнующее событие! В конце лета приходит день, когда отлетает на юг первая утка, и это знак, что настала осень. Потом падает и тут же тает первая снежинка — и это предвестница зимы. Но всего чудесней тот день ранней весны, когда вдруг увидишь, что

раскрылся первый подснежник или прилетел первый скворец. Они ведут дневник времен года и пишут городским друзьям замечательные письма:

«Думаю, Вам бы сейчас здесь поправилось. Вокруг безумствует весна. Сегодня я впервые услышал дрозда. Чуть не за одну ночь зацвели все наши старые яблони. Если Вы помедлите еще неделю, будет поздно. Так что приезжайте скорей. Вам понравятся наш фруктовый сад и наши старые, корявые, смешные и милые яблони. По-моему, почти всем им уже под восемьдесят. Наш сад не то что современные садики, где считанные деревца выстроились по линеечке. Яблок мы собираем мало. Они мелкие, кислые, терпкие и кривобокие, как сами деревья, и их всегда немного, но нам хватает. Почему-то от этого они нравятся нам еще больше. Все это очень в духе Новой Англии».

И так год за годом течет жизнь — безмятежная, размеренная. В первый год разбивают декоративный садик с каменными горками и высаживают кое-какие луковичные и альпийские растения. Повсюду вокруг дома и подле изгороди посажены штокрозы. На следующий год они радуют глаз своим изобилием. Просто поразительно, как быстро они принялись и пошли в рост. Тогда же, на второй год, хозяин устроил в сарае кабинет, большую часть работы проделал своими руками, ему лишь немного помогал наемный работник. На третий год — к тому времени стали подрастать дети, в деревне они растут быстро, — начали строить бассейн для плавания. На четвертый год он был готов. Меж тем глава дома работал над своей пьесой, но подвигалась она медленно — слишком много было всяких других дел.

Пятый год... что ж, иногда и по городу соскучишься. Возвращаться в город насовсем — такого у них и в мыслях нет. Место здесь прекрасное, если только не считать трех зимних месяцев. Так что в этом году они поедут в Лондон, на три непогожих месяца снимут там квартиру. Грейс, понятно, без ума от музыки и скучает по опере, а сам он любит театр, к тому же приятно будет вновь оказаться среди людей своего круга. Местные жители — отличные соседи, но порой начинаешь тосковать по всему тому, что в большом городе обогащает духовную жизнь, и это главный недостаток провинциального существования. Так что в этом году он решил повезти свою старушку в Лондон. Они походят по выставкам, послушают музыку, возобновят старые знакомства, поглядят, что происходит на свете. Быть может, в феврале недельки на три даже махнут на Бермуды. Или на Гаити. Вот места, которых, говорят, современная цивилизация почти не коснулась. У них там ветряные мельницы и процветает шаманство. Все дико и первозданно-красочно. Такая поездка нарушит однообразие их жизни. К первому апреля они, конечно, вернутся в свой сельский уголок.

Так чаще всего и складывается жизнь беглеца. Но бывает и по-другому. Американцы, которые покинули Америку и обосновались в Европе, это люди того же склада, но в их бегстве от действительности больше горечи и отчаяния. Джордж Уэббер встречался с ними в Париже, в Швейцарии и здесь, в Англии, и ему казалось — это едва ли не самое крайнее крыло все того же опустошенного племени. Эти американцы зашли так далеко, что уже и самих себя не обманывали басней, будто любят природу, привержены земле и возвращаются к простой и добродетельной жизни истого янки. У них не осталось за душой ничего, они только и умели без разбору глумиться и издеваться надо всем американским. Насмешку эту питали прочитанные книги, понаслышке подхваченные чужие мнения, а пожалуй, и попытка оправдать себя досужими рассуждениями. В этих насмешках не было ни чистосердечия, ни искренности подлинного негодования, и год от году они становились беззубей. Ведь беженцам только и оставалось пить да глумиться, оставалось безрадостно плестись по замкнутому кругу: все те же кафе, стопки блюд, по которым ведется счет выпивке; окружающий мир виделся им как в кривом зеркале, а в сентиментальных мечтах рисовались *Париж*, или *Англия*, или *Европа*, бесконечно далекие от истинного своего облика, будто взятые из сказки, будто нога этих людей никогда не ступала на берега, которые, по их же уверениям, они так хорошо знали и так преданно любили.

И при встречах с представителями этого племени Джорджу всегда казалось, что коренная внутренняя основа у иллюзии и у крушения одна и та же, все равно, следует ли человек сравнительно безобидному рецепту побега на ферму с надуманными увлечениями

декоративным садоводством, плотничаньем, выведением штокроз и прочим или выбирает более горький путь — переселяется в Европу, с утра до ночи сидит в кабаке и пьет. И все равно, кто они — американцы ли, англичане, немцы или готтентоты. Все они — слабые души. Они бегут от жизни, потому что не в силах встретиться с ней лицом к лицу. Если у них есть талант, он не столь велик, чтобы они могли состояться как художники и завоевать успех, который они на словах презирают, но за который готовы бы продать жалкие остатки своей худосочной души. Если они хотят творить, желание это недостаточно владеет ими, чтобы, наперекор всем мукам и разочарованиям, они сумели задумать что-то, облечь в должную форму и довести до конца. Если они хотят работать, желание это недостаточно искренне, чтобы они могли взяться за работу и уже не отступить, работать, пусть глаза лезут на лоб и голова идет кругом, пусть из тебя ушли все жизненные соки и ты совсем исчерпался, пусть ты до того устал и вымотался, что весь мир видится в каком-то зыбком тумане, пусть в горле пересохло и в висках стучит, пусть уже не осталось никаких сил и не знаешь ни отдыха, ни срока, пусть уже и сна нет и ничего больше не можешь, даже работать — и все-таки снова работаешь. Нет, это немощные, несостоявшиеся служители муз, одаренные лишь в самой малой мере и оттого более нищие, чем если бы им вовсе ничего не было дано. И потому, лишь вполсилы стремясь к цели, они в конце концов спасаются бегством от дела, которое им не по плечу, и попусту тратят время, балуются литературой, копаются в саду, плотничают и пьют.

Таков, на свой лад, был и этот англичанин Рикенбах Рид. В тот же вечер, позднее, он признался Джорджу, что он писатель — в некотором роде писатель, как выразился он не без горечи. У него вышло с десяток книг. Он снимал их с полок как-то странно торопливо, словно бы смущенно, и показывал Джорджу. То были литературные портреты писателей и политических деятелей, написанные в духе исторических биографий «разоблачительной школы». Джордж потом прочел одну или две книги Рида, и они оказались примерно такими, как он и думал. Они развенчивали все, кроме самих себя. То были безжизненные порождения многословного стречеизма: автор, отнюдь не обладающий остроумием графини Стречи и не утруждавший себя работой, сумел в лучшем случае изобразить на бумаге подделку под живость, которая у него давно выдохлась, свою смертельную усталость, пустоту своей фатовской души. Таким образом, книги эти, посвященные десятку разных людей и разным эпохам, были все на одно лицо, все говорили об одном и том же — о крушении надежд, об уколах призрачного разочарования, все воплощали в себе холодное, надуманное, мертвящее неверие.

Автор их, такой, как он есть, только так и мог писать. Лишенный веры и почвы под ногами, он не находил ни веры, ни почвы под ногами и у тех, о ком писал. Все на свете вздор и выдумка, все великие люди прошлого возвеличены лживыми преданиями, вздорными выдумками, и потому правда — в развенчании, ибо все на свете вздор, да и сама правда тоже. Он был из тех, кто и по натуре своей, и потому, что сам потерпел поражение, способен находить в других только плохое. Доведись ему писать о Цезаре, он бы никогда не сумел себя убедить, что внешне Цезарь был таков, каков был, — он бы непременно отыскал свидетельство тому, что Цезарь был жалкий карлик и собственные его войска над ним потешались. Доведись ему писать о Наполеоне, он бы только и увидел низенького толстого человечка, у которого прядь волос со лба окунается в суп и на отворотах маршальского мундира — жирные пятна. Доведись ему писать о Джордже Вашингтоне, он сосредоточил бы все внимание на вставной челюсти Вашингтона и так был бы ею поглощен, что ничего другого о Вашингтоне уже и не вспомнил бы. Доведись ему писать об Аврааме Линкольне, Рид увидел бы в нем обожествленного Урию Гипа, нелепое создание захолустных фантазеров, деревенского адвоката, забредшего в город, чья слава — прихоть судьбы, плод случайной победы и очень кстати пришедшегося мученичества. Он никогда бы не поверил, что Линкольн и вправду сказал все, что сказал, и вправду написал все, что, как известно, принадлежит его перу. А почему не поверил бы? Да потому, что все сказанное и написанное уж очень линкольновское. Слишком это хорошо, так не бывает. И значит, все это миф. Ничего такого вообще не было сказано. А если и сказано, то кем-то другим. Быть может, все это сказал Стентон, или Сиурд,

или какой-нибудь репортер — кто угодно мог сказать эти слова, но только не Линкольн.

Таковы были тон и настроение книг Рида, таков был вид неверия, которое их породило. А потому они и не обманули никого, кроме самого автора. Они не обладали даже силой занимательного или убедительного злословия. То были мертворожденные создания. Никто их не читал, никто не заметил.

Как же он объяснил себе свое поражение и неудачу? Самым простым, очевидным и неизбежным образом. Он поступил неосторожно, сказал он Джорджу со слабой горько-иронической улыбкой: разоблачил иных деятелей, всеобщих идолов и любимцев, и, трезво, неотступно доискиваясь правды, поколебал лживые легенды, которые их превозносили. Не удивительно, что наградой ему стали анафема и поношение, ненависть критики и упрямая враждебность публики. Затея была неблагодарная от начала и до конца, так что больше он этим заниматься не будет. Он презрел предрассудки, нетерпимость, тупость и лицемерие этого непостоянного идолопоклоннического мира и в поисках тишины и уединения уехал сюда, в глушь. Понимать надо было так, что писать он больше не будет.

Что ж, в здешней жизни Рида, несомненно, есть свои преимущества. Старый дом, который он купил и перестроил, сделав его уж чересчур образцовым сельским жилищем (даже верстак в кухне поставил, чтобы чинить все необходимое), тем не менее очень хорош. Молодая жена его мила и очаровательна и явно его любит. И сам Рид, если забыть о его литературных притязаниях, отравивших ему жизнь, не так уж плох. Стоит понять и принять объяснение — откуда его иллюзии и его неудача, — и увидишь, что он приятный и добрый малый.

Втроем они засиделись допоздна, но время пролетело незаметно, и все удивились, когда часы пробили два. Они мирно беседовали еще несколько минут, выпили напоследок по рюмочке коньяку и пожелали друг другу спокойной ночи. Джордж поднялся по лестнице и скоро услышал, что мистер и миссис Рид тоже тихонько прошли наверх, к себе.

Мак-Харг лежал недвижно, точно так, как они его оставили. Он даже пальцем не пошевелил, казалось, он спит крепчайшим, детским безмятежным сном. Джордж укрыл его еще одним одеялом. Потом разделся, погасил свет и забрался в постель.

Он безмерно устал, но так был возбужден странными событиями этого дня, что спать вовсе не хотелось. Он лежал, думал обо всем случившемся и прислушивался к ветру. Ветер налетал на дом, сотрясал стекла и с леденящим душу воплем набрасывался на углы и карнизы. Где-то хлопал, бешено стучал ставень. Порой в короткие минуты затишья издали приглушенно доносился унылый собачий лай. Вот уже часы внизу пробили три.

Немного погодя Джордж наконец уснул. Неистовый ветер все еще с безумным воем бушевал вокруг дома, но Джордж уже ничего не слышал.

37. Наутро

Джордж лежал, блаженно забывшись непробудным сном без сновидений, словно его оглушило здоровенной дубиной. Сколько он так проспал, он не знал, но, когда вдруг проснулся оттого, что кто-то тряс его за плечо, ему показалось — прошло всего минут пять. Он открыл глаза и подскочил. Перед ним стоял Мак-Харг. Он был в нижнем белье и нетерпеливо подпрыгивал на своих журавлиных ногах, точно бегун перед стартом.

— Вставайте, Джордж, вставайте! — пронзительно выкрикивал он. — Да что это вы, черт возьми, весь день собираетесь спать?

Джордж ошалело на него уставился.

— А... а который час? — наконец вымолвил он.

— Девятый! — воскликнул Мак-Харг. — Я уже час как встал. Побрился, принял ванну и теперь... — Он с удовольствием потер костлявые руки и жадно принялся: благоухало завтраком. — Теперь я готов съесть целого быка! Слышите, как пахнет? — радостно воскликнул он. — Овсяная каша, яичница с грудинкой, запеченные помидоры, тосты с

мармеладом и кофе. Ах! — с почтительным восторгом вздохнул он. — Ничего нет лучше английского завтрака. Вставайте, Джордж, вставайте! — вновь настойчиво заторопил он. — Я и так дал вам поспать лишний час, черт возьми, уж очень у вас был измученный вид. А теперь одевайтесь! Завтрак перестоится!

Джордж тяжело вздохнул, устало вытащил ноги из-под одеяла и, пошатываясь, встал. Кажется, больше всего на свете ему хотелось проспять двое суток подряд. Но под неистовым напором этого рыжего беса ему только и оставалось стряхнуть с себя сон и одеться. Медленно, непослушными руками, точно в забытьи, принялся он натягивать свои вещички, а Мак-Харг весь так и кипел, каждую минуту нетерпеливо его подгонял — не весь же день копать!

Когда они сошли вниз, хозяева уже сидели за столом. Мак-Харг вскочил в комнату точно резиновый, весело поздоровался с обоими, сел и мигом принялся за еду. Он уплел огромное количество всякой снеди, при этом не умолкал ни на минуту, и от него прямо искры летели. Энергия его поражала. Невозможно, неправдоподобно! Просто не верилось, что этот генератор жизненных сил всего несколько часов назад был беспомощной жалкой развалиной. Шумный, веселый, он так и сыпал занятными историями. Весьма красочно и ярко описал церемонии, которыми сопровождалось присуждение ему почетного звания, и всех, кто при этом присутствовал. Потом рассказал о Берлине и о людях, с которыми встречался в Германии и в Голландии. Рассказал и о знакомстве с мингером Бендиеном и уморительно описал их сумасбродные выходки. Он был полон планов и замыслов. Расспрашивал обо всех своих английских знакомых. Ум его был словно алмаз с тысячами сверкающих граней. Он все улавливал, подмечал, и, чего бы ни коснулся, все, получив от него мощный заряд, начинало искриться силой и живостью. Он был очаровательный собеседник. Да, сейчас Мак-Харг предстал перед Джорджем в самом лучшем своем виде — и такой он был поистине изумителен и великолепен!

После завтрака все пошли пройтись. Утро выдалось на редкость бурное. За ночь температура упала на несколько градусов, и вместо дождя, который то и дело налетал вчера, повалил снег — он кружил, подхваченный воющим ветром, и падал, падал, покрывая землю мягкими пушистыми пеленами. Над головой металась и стонали голые ветви. Вокруг была неправдоподобная бурная красота. Они ходили долго и далеко, взбудораженные непогодой, полные странной, бурной радости и печали, зная, что волшебство это ненадолго.

Наконец возвратились в дом, сидели у камина и разговаривали. Ликование, что владело Мак-Харгом с утра, улеглось, уступило место тихой внутренней работе, какому-то линкольновскому величию покоя и силы, которое Джордж уже заметил в нем накануне. Он достал старые очки в серебряной оправе и надел их, они странно шли к его некрасивому лицу с неправильными чертами, которые полны были, однако, редкостным обаянием. Он достал из кармана несколько нераспечатанных писем, прочел их, потом заговорил с Ридом. Джорджу не важно было, о чем беседуют старые друзья. Важно было другое, и Джордж запомнил это на всю жизнь: каков был при этом Мак-Харг, как он сидел и разговаривал, сцепив и выставив перед собой костлявые пальцы, и во всем его облике ощущалась неосознанная мощь, в речи — достоинство, мудрость, глубина мысли. Было в этом человеке подлинное величие, и сейчас угадывались глубинные источники его скрытой силы. Речь его была проникнута спокойной нежностью к старому другу. В нем чувствовалось неколебимое постоянство, незыблемая верность, которую ничто не изменит, даже если друзья снова расстанутся на двадцать лет.

Они отлично все вместе пообедали. Подано было вино, но Мак-Харг лишь пригубил его. После обеда, к великому облегчению Уэббера, Мак-Харг спокойно сказал ему, что во второй половине дня они вернутся в Лондон. Он ни словом не обмолвился о предполагавшейся поездке по Англии — поездке, которую накануне расписывал такими радужными красками. Быть может, то была просто мимолетная прихоть, а может быть, он отказался от своей затеи, почувствовав, что Джордж от нее совсем не в восторге... бог весть. Мак-Харг о ней больше не упоминал. Просто объявил, что они возвращаются в Лондон, и все тут.

Но сразу же, словно мысль о возвращении в город была выше его сил, с ним произошла новая перемена. (Джорджа всякий раз изумляло, как внезапно он преображался.) Опять им

овладело лихорадочное нетерпение. К трем часам, когда они наконец выехали, он уже отчаянно себя взвинтил. Он был зол и еле сдерживался, как бывает, когда не терпится покончить с каким-то неприятным делом.

Они осторожно двинулись по выбеленной нетронутым снегом дороге, по которой сегодня не прошла еще ни одна машина, и славный старый уютный дом под широким карнизом, тепло укутанный снежным одеялом, остался позади; и как всегда, когда приходилось прощаться с людьми, которых — Джордж знал — он больше никогда не увидит, его захлестнула нестерпимая печаль. Прелестная хозяйка дома стояла в дверях и смотрела им вслед, подле нее, глубоко засунув руки в карманы бархатной куртки, стоял Рид. Автомобиль свернул, и Мак-Харг с Джорджем обернулись. Риды им помахали, и они помахали в ответ, и у Джорджа перехватило горло. Но вот те двое скрылись из глаз. Мак-Харг и Джордж снова были одни.

Они доехали до шоссе, повернули на север и помчались к Лондону. Оба молчали, каждый погрузился в свои мысли. Мак-Харг откинулся в угол, на спинку сиденья, тихий, отрешенный, ушедший в себя. Стемнело, а они так и не перемолвились ни словом.

Шофер включил фары, и опять на горизонте Джордж увидел необъятный зловещий отсвет ночи — дым, неистовство, сумбур безостановочной жизни ночного Лондона. А немного погодя автомобиль уже пробирался в путанице этих чудовищных джунглей и наконец свернул на Эбери-стрит и остановился. Джордж вышел и поблагодарил Мак-Харга, они пожали друг другу руки, обменялись несколькими словами и попрощались. Маленький шофер захлопнул дверцу, почтительно приложил руку к фуражке и снова примостился за рулем. Огромная машина заурчала и плавно унеслась во тьму.

Джордж стоял на краю тротуара и смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. Он знал — быть может, случай еще сведет их с Мак-Харгом, и они поговорят, и снова расстанутся, но никогда уже не будет так, как в эту их первую встречу, ибо чему-то, что возникло между ними, пришел конец, и впредь каждый пойдет своим путем: он к своему завершению, Мак-Харг — к своему, а чье лучше, этого не ведает никто.

КНИГА ШЕСТАЯ «ХОЧУ ВАМ КОЕ-ЧТО СКАЗАТЬ»

К весне, когда Джордж вернулся в Нью-Йорк, ему казалось — новая книга уже почти готова. Он снял небольшую квартиру близ Стайвесант-сквер и засел за работу, работал, не давая себе ни дня передышки, стараясь поскорей все закончить. Думал, на это за глаза хватит двух месяцев, но, как всегда, не сумел правильно рассчитать время и лишь через полгода довел рукопись до такого состояния, что она его удовлетворяла. Вернее, до такого состояния, когда уже можно было нести ее в издательство, ведь он никогда не был по-настоящему удовлетворен тем, что написал. Казалось, задуманное всегда отделяет от написанного неодолимая пропасть, и он спрашивал себя, есть ли на свете такой писатель, который, спокойно глядя на свое творение, мог бы сказать по совести:

«Здесь выражены именно те мысли и чувства, какие я хотел выразить, — не больше и не меньше. Все сказано именно так, как надо, лучше не скажешь».

Если подходить с такой меркой, конечно, новая книга не удовлетворяла. Он знал ее недостатки, знал, где не сумел дотянуть. Но знал и другое. Он вложил в нее все, что мог, на большее пока не способен, и потому не стыдился ее. Он вручил увесистую рукопись Лису Эдвардсу и, передав ее с рук на руки, вздохнул с облегчением, словно с души и совести свалился тяжкий груз, который он влачил долгие годы. Теперь все кончено, и дай бог забыть об этой книге и никогда больше к ней не возвращаться.

Но так не бывает. Лис прочел рукопись, с обычной своей застенчивой прямоотой сказал, что книга хорошая, и предложил кое-что переделать: здесь несколько сократить, там немного добавить, кое-где перестроить. Джордж яростно спорил, потом взял рукопись домой, снова

засел за работу и сделал все, что советовал Лис, — не потому, что так хотелось Лису, а потому, что он сам понял: Лис прав. На это ушло еще два месяца. Потом надо было дожидаться гранок, прочесть их, выправить — и прошло еще полтора месяца. С тех пор, как он вернулся из Англии, миновал уже чуть не год, но теперь работа и в самом деле кончена и наконец-то он свободен.

Выход книги намечался на весну 1936 года, и чем ближе подходил срок, тем Джорджу становилось тревожней. Когда вышла в свет его первая книга, бешеные кони и те не могли бы умчаться от него из Нью-Йорка, он хотел быть тут же и ни в коем случае ничего не упустить. Он был начеку, читал все обзоры, дневал и ночевал в кабинете Лиса и каждый день ждал — вот-вот случится что-то необыкновенное, но надежда эта не сбылась. Вместо этого посыпались письма из Либия-хилла, начались тошнотворные встречи с охотниками за знаменитостями. И теперь, наученный горьким опытом, он как огня боялся появления книги и решил непременно уехать, да притом подальше. Нет, он не думал, что все повторится, однако же приготовился к худшему, и если худшее произойдет, не желает он при этом присутствовать.

Ему вдруг подумалось о Германии, и он остро по ней затосковал. Из всех стран, в которых он побывал, она после Америки была ему милее всех, там он чувствовал себя почти как дома, быстро, легко и естественно, как нигде, сходилась с людьми, и они прекрасно понимали друг друга. И притом, казалось ему, нет на свете другой страны, которая была бы исполнена такой непостижимой тайны и очарования. Он бывал в Германии не раз, и она неизменно пленяла его. И вот теперь, после годов изнурительного труда, одна мысль о Германии означала для него душевный мир и покой, радость и прежнее очарование.

38. Зловещий мессия

В последний раз Джордж был в Германии в 1928 — начале 1929 года, тогда он долго, медленно выздоравливал в мюнхенской больнице после драки в пивной. Перед этой дурацкой историей он жил некоторое время в маленьком городке в Шварцвальде, и, помнится, все там было до крайности взбудоражено в связи с происходившими тогда выборами. В политической жизни царил хаос, сбивало с толку множество разных партий, и коммунисты получили поразительно большое число голосов. Народ был встревожен, обеспокоен, в воздухе ощущалось приближение катастрофы.

На этот раз все оказалось иначе. Германия стала другая.

С самого 1933 года, когда совершилась эта перемена, Джордж читал в газетах вести о событиях в Германии сперва с удивлением, поражаясь и не веря, потом с отчаянием, со свинцовой тяжестью на сердце. Иные сообщения просто не укладывались у него в голове. Ну, конечно, в Германии, как и повсюду, есть люди безответственные, склонные к крайностям, и в переломную эпоху такие всегда распоясываются, но ему казалось — он знает Германию и немцев, уж наверно, газеты преувеличивают, просто невозможно, чтобы все и в самом деле шло так, как они расписывают. В поезде, по дороге из Парижа, где он провел пять недель, он разговорился со своими попутчиками-немцами, и они его успокоили. Разброд и неразбериха, царившие в политике и в правительстве, кончились, — говорили они, — и никого больше не мучают никакие страхи, потому что все рады и счастливы. Во все это Джорджу отчаянно хотелось верить, и он готов был тоже почувствовать себя счастливым. Ибо никогда еще для человека, приезжающего в чужую страну, обстоятельства не складывались так благоприятно, как для Джорджа, когда в начале мая 1936 года он приехал в Германию.

Говорят, в двадцать четыре года Байрон проснулся однажды утром и узнал, что стал знаменит. Джорджу Уэбберу пришлось ждать на одиннадцать лет дольше. Когда он приехал в Берлин, ему было тридцать пять, но все равно это было волшебным. Быть может, на самом деле он был не так уж и знаменит — что за важность? Зато в первый и последний раз в жизни он чувствовал себя знаменитым. Перед самым отъездом из Парижа он получил письмо от Лиса Эдвардса, который писал, что новая книга Джорджа имеет в Америке большой успех. А первую книгу еще год назад перевели и издали в Германии. Немецкие критики превозносили

ее до небес, она разошлась большим тиражом, имя его стало широко известно. Когда он приехал в Берлин, его уже ждали.

Май прекрасен везде. В тот год в Берлине он был особенно хорош. Вдоль улиц, в Тиргартене, во всех больших парках, вдоль Шпрее-канала пышно цвели конские каштаны. На Курфюрстендамм под деревьями — толпы гуляющих, на верандах кафе яблоку негде упасть, и в золотом сиянии дня неизменно слышится музыка. Джордж любовался цепочками прелестных бесчисленных озер вокруг Берлина, впервые увидел золотистую бронзу высоких и стройных сосен. Прежде он знал лишь юг Германии, бывал на Рейне и в Баварии — и север показался ему еще пленительней.

Джордж намеревался пробыть здесь все лето, по и целого лета казалось мало, чтобы вобрать в себя всю эту красоту, все волшебство и почти нестерпимую радость, — все, что вдруг стало его жизнью, и, кажется, если б он мог навсегда остаться в Германии, они бы вовсе не выцвели и не потускнели. Ведь в довершение ко всему и вторую его книгу тоже перевели, вскоре после его приезда она вышла в свет и встретила такой восторженный прием, о каком он даже мечтать не смел. Пожалуй, имело значение и то, что сам автор оказался тут же. Немецкие критики наперебой восхваляли его. Если один называл Джорджа «великим американским эпическим писателем», то другой считал своим долгом взять тоном выше и называл Уэббера «американским Гомером». И куда бы он ни пришел, везде находились люди, которые читали его книги. Имя его сверкало и сияло. Он стал знаменитостью.

Слава распространяла долю своего очарования на все, что его окружало. Жизнь стала лучезарной. Все, что он видел, ощущал, вкушал, все запахи и звуки, все обрело необычайную, волнующую прелесть — потому что об руку с ним шла слава. Никогда прежде не воспринимал он мир с таким острым наслаждением. Смятение, усталость, мрачные сомнения, горькая безнадежность, которые нередко мучили его прежде, исчезли, сгинули без следа. Ему казалось, он одержал полную и окончательную победу над жизнью во всех ее несчетных проявлениях. Дух его больше не терзала и не изнуряла тягостная, непрестанная борьба с Числом и Количеством. Он обрел поразительную ясность понимания, жил всем своим существом.

У Славы даже молчание заговорило, даже произнесенные речи обрели язык. Слава была с ним почти неотступно, но даже когда она оставляла его одного, там, где его не знали и его имя никому ничего не говорило, тончайший аромат Славы не выдыхался, и при любых обстоятельствах Джордж ощущал в себе силу и уверенность, источал тепло, дружелюбие и дружеское расположение. Он стал господином жизни. Одно время в юности ему казалось, будто все над ним насмеяются, и с каждым новым человеком он чувствовал себя неуютно, при первой встрече всегда держался вызывающе. А теперь он стал сильным, беззаботным господином жизни — и с кем бы ни встретился, с кем бы ни заговорил, все — официанты, таксисты, швейцары в отелях, лифтеры, случайные знакомые в трамвае, в поезде, на улице — сразу ощущали в нем половодье счастливой и ласковой силы и мгновенно отзывались, без раздумий, с радостной готовностью и симпатией, как всегда отзываются люди на чистый, сияющий свет восходящего светила.

А когда Слава сопровождала его, все становилось еще волшебней. Он читал в глазах мужчин удивление, интерес, уважение и дружескую зависть, а в глазах женщин — откровенное восхищение. Женщины словно преклоняли колена пред алтарем Славы. Они писали Джорджу и звонили по телефону, приглашая на всевозможные приемы и вечера. Девушки гонялись за ним. Но он однажды уже прошел через все это и теперь остерегался: ведь охотники за знаменитостями повсюду одинаковы. Он уже знал, каковы они на самом деле, и потому встречи с ними не приносили ему разочарования. Напротив, с истинным удовольствием, чувствуя свою силу, он и сам теперь пользовался тактикой этих хитроумных особ — приятно было слегка поухаживать, завлечь, а в ту самую минуту, когда им казалось, что он уже попался на удочку, он ускользал и оставлял их в полном недоумении.

А потом он встретил Эльзу. Эльза фон Колер не была охотницей за знаменитостями. Они познакомились на одном из приемов, которые устраивал в честь Джорджа его немецкий

издатель Карл Левальд. Левальд любил устраивать приемы; он всячески старался угодить Джорджа, то и дело изобретал новые предлоги для очередного застолья. Эльза прежде не знала Левальда и, едва увидев, безотчетно невзлюбила, однако на прием она уже пришла, незваная, ее привел человек, с которым Джордж встречался раньше. Джордж влюбился в нее с первого взгляда, а она — в него.

Эльза была молодая тридцатилетняя вдова, по всему своему облику, внешнему и внутреннему, настоящая северная Валькирия. Блестящая толстая золотая коса венцом уложена вокруг головы, щеки точно румяные яблоки. На редкость высокая для женщины, длинноногая, как настоящая бегунья, и по-мужски широкоплечая. Но при этом фигура великолепная, никакого отталкивающего мужеподобия. Была она предельно, самозабвенно женственна. Лицо ее, несколько суровое, замкнутое, смягчалось глубинной одухотворенностью и чувством, а когда его освещала улыбка, по нему разливалось вдруг слепящее сияние — никогда еще Джордж не видел такой яркой и светлой улыбки.

Их потянуло друг к другу в первую же минуту. И с этой минуты, безо всякого перехода, жизнь их потекла в одном русле. Они провели вместе много чудесных дней. Много было и ночей, наполненных таинственными восторгами здоровой разделенной страсти. Эта женщина стала для Джорджа самым полным воплощением живой жизни, особым светом озарила все, что он думал, чувствовал, все, чем ощущал себя в эту великолепную, пьянящую пору своего бытия.

И теперь все глухие, неистовые годы в Бруклине, все годы работы, все воспоминания о людях, которые роятся на помойках, все годы блужданий, годы изгнания, отошли далеко-далеко. Как-то так получилось, что его собственный успех и счастливое освобождение после долгого каторжного труда и отчаяния связались для Джорджа с образом Эльзы, с высокими соснами, с густыми толпами на Курфюрстендамм, с чудесным воздухом, звонким, как песня, и еще — с ощущением, будто дурная погода миновала для всех, для всех наступили золотые дни.

Было время больших Олимпийских игр, и Джордж с Эльзой чуть не каждый день ездили в Берлин на стадион. Джордж замечал, что организационный гений немецкого народа, который так часто бывал направлен на столь благородные цели, теперь проявился с необычайной, волнующей силой. Истинно языческая пышность превосходила все, что только можно вообразить, и Джорджа это начинало угнетать. Было во всем этом что-то зловещее. За громадной объединенной мощью всей страны ощущалось колоссальное сосредоточение усилий, невероятная слаженность и порядок. И зловещим это казалось оттого, что для самих Олимпийских игр ничего подобного не требовалось. Все это затмило игры, они перестали быть просто спортивными состязаниями, на которые другие государства прислали свои лучшие команды. Из дня в день здесь планомерно и с грозной внушительностью демонстрировалось, какой вышколенной и дисциплинированной стала вся Германия. Было похоже, что игры обращены в символ новой объединенной мощи, в средство наглядно показать миру, какова она, эта новая сила.

Не обладая в подобных делах ни малейшим опытом, немцы создали гигантский стадион, так красиво, так разумно, безупречно построенный, как не строили еще ни в одной стране. Все вокруг этого исполина — плавательные бассейны, громадные залы, малые стадионы — тоже прекрасно сочетало в себе красоту и удобство. Организовано все было превосходно. Не только сами состязания велись по плану, рассчитанному до мелочей, и шли с точностью часового механизма, но и толпами, каких не бывало еще ни в одном большом городе (в Нью-Йорке из-за них наверняка возникли бы чудовищные заторы и пробки и безнадежно запуталось бы все уличное движение) — этими толпами здесь управляли на диво спокойно, быстро и толково. От красоты и величия ежедневных зрелищ захватывало дух. Кружили голову состязающиеся друг с другом краски; бесчисленные флаги сверкали всеми цветами радуги, и по сравнению с этим великолепием кричащее убранство Америки во время парадов, торжественного введения

президента в должность и Всемирных ярмарок казалось просто-напросто балаганной дешевкой, безвкусицей. В эту олимпийскую пору сам Берлин превратился в своего рода придаток стадиона. Весь город из конца в конец, от Люстгартена до Бранденбургских ворот, всю просторную благоухающую Унтер-ден-Линден, все широкие аллеи сказочного Тиргартена, всю западную часть Берлина до самых ворот стадиона — все с волнующей, языческой пышностью украшали гигантские флаги: не просто бесконечные гирлянды флажков, а флаги в пятьдесят футов высотой, какие могли бы развеяться над походным шатром какого-нибудь великого императора.

И весь день, с самого утра, Берлин был одно огромное ухо, чуткое, настороженное, неизменно обращенное к стадиону. Повсюду слышался один и тот же голос. Заговорили зеленеющие деревья на Курфюрстендамм: через громкоговорители, скрытые среди ветвей, диктор со стадиона обращался ко всему городу — и Джорджу странно было слышать знакомые термины беговой дорожки и спортивной площадки, произносимые на языке, на котором говорил Гете. Ему сообщали, что сейчас начнутся Vorlauf²³, потом Zwischenlauf²⁴ и, наконец, Endlauf²⁵, и что победитель — Оуэнс, США!

Меж тем по роскошно разубраным флагами улицам и аллеям весь день струился нескончаемый людской поток. По широкой Унтер-ден-Линден упорно топали толпы немцев. Отцы, матери, дети, молодежь и старики — кажется, весь народ был здесь, жители самых дальних уголков Германии. С утра до вечера они устало бродили по улицам под флагами и удивленно глазели на все. Среди них тут и там вспыхивали яркие цвета олимпийских курток, мелькали лица иностранцев: смуглые французы и итальянцы, выточенная из слоновой кости гримаса японца, соломенные волосы и голубые глаза шведов, и рослые, щеголеватые американцы в соломенных шляпах, белых фланелевых брюках и синих пиджаках с олимпийским значком.

И еще по улицам маршировали четким строевым шагом, хотя иной раз без оружия, многочисленные отряды людей в коричневых рубашках. Каждый день к полудню на всех главных подходах, ведущих к Играм, вдоль всех разукрашенных флагами улиц и аллей на пути, по которому поедет к стадиону фюрер, выстраивалось это воинство. То были молодые люди — телохранители фюрера, эсэсовцы, штурмовики, каждая часть в своей особой форме, они стояли вольно, смеялись, переговаривались друг с другом, две плотные шеренги их тянулись от Вильгельмштрассе до самых Бранденбургских ворот. А потом вдруг резкая команда — и разом воинственно щелкали каблуками десять тысяч пар кожаных сапог.

Казалось, все делается по плану, рассчитано на этот миг и подчинено этой торжественной цели. Но люди — люди приходили не по плану. Изо дня в день за стеной молодого воинства стояли и ждали густые терпеливые толпы. То был сам народ, бедняки Германии, пасынки жизни, рабочие и их жены, матери и дети, — изо дня в день они приходили, стояли и ждали. Они стояли здесь, потому что у них не хватало денег на картонные квадратики, которые впустили бы их в магический круг. С полудня и до вечера они толпились здесь ради двух кратких счастливых мгновений: когда фюрер проезжает на стадион и когда он возвращается.

Наконец он появлялся — и некая волна прокатывалась по толпе, как по лугу под ветром, она катилась издалека, с приближением фюрера вздымалась все выше — то слышался голос, и надежда, и мольба всей Германии. Фюрер проезжал медленно, в сверкающем автомобиле — невысокий темноволосый человек с усиками опереточного героя, он стоял навтыжку, неподвижно, без улыбки, подняв руку, но не нацистским приветствием, а прямо вверх, словно

²³ предварительные забеги (нем.)

²⁴ полуфиналы (нем.)

²⁵ финал (нем.)

благословляя — подобно Будде или какому-нибудь Мессии.

С начала и до самого конца их связи Эльза не желала обсуждать с Джорджем ничего, что хоть отдаленно касалось нацистского режима. Это была для них запретная тема. Но были люди не столь осмотрительные. Миновали первые недели, и до Джорджа стали доходить разные скверные истории. Порой на приемах, на обедах и прочих сборищах, где он с восторгом рассуждал о Германии и немцах, кто-нибудь из новых друзей, изрядно выпив, отводил его после в сторонку и, осторожно оглядевшись по сторонам, таинственно наклонялся к нему и шептал:

— А вы слышали про...? Слыхали вы о...?

Он не видел никаких ужасов, о которых они шепотом ему рассказывали. Не видел избитых. Не видел посаженных в тюрьму или преданных смерти. Не видел людей в концентрационных лагерях. Он не видел открытого, откровенного насилия или грубого принуждения.

Правда, повсюду полно было мужчин в коричневой форме, и в черной, и в оливково-зеленой, и повсюду на улицах бухали, отбивая шаг, тяжелые сапоги, и ревели медные трубы, и заливались флейты, и тягостно было видеть этих молодых людей — чаще всего они сидели аккуратными рядами в огромных военных грузовиках, прямые, неподвижные, руки скрещены на груди, на молодых лицах — тень стальных шлемов. Но все это слишком перемещалось с радостью собственного успеха, с чувством к Эльзе, с праздничным весельем толпы, такими он знал и видел немцев не раз в прежние свои счастливые приезды, и казалось — может быть, теперь все не так уж хорошо, но и ничего зловещего и дурного тоже нет.

А потом что-то произошло. Не вдруг, постепенно. Так, бывает, собираются тучи, так падает туман, так начинается дождь.

Один из новых знакомых Джорджа решил устроить в его честь прием и спросил, кого из друзей он хотел бы пригласить. Джордж назвал одно имя. Хозяин помолчал, явно смущенный; потом сказал, что человек, которого назвал Джордж, возглавлял некий печатный орган, недавно закрытый, и закрывать его пришлось одному из тех, кто уже приглашен, так что, если Джордж не возражает?..

Джордж назвал другое имя — своего старого друга Франца Хейлига, которого очень любил, — они познакомились много лет назад в Мюнхене, а теперь Франц жил в Берлине. Снова заминка, замешательство, неловкие возражения. Этот человек... он... он... в общем, как известно хозяину дома, этот человек нигде не бывает... если его пригласить, он все равно не придет... так что, если Джордж не возражает?..

Тогда Джордж назвал Эльзу фон Колер, и в ответ услышал примерно то же. Давно ли он знаком с этой женщиной? Где и при каких обстоятельствах они познакомились? Джордж попытался заверить, что беспокоиться не о чем. Эльзы можно не опасаться, она глубоко порядочная женщина. Тот мигом рассыпался в извинениях: ну, что вы, что вы... вне всякого сомнения, это дама в высшей степени достойная... но понимаете, в наше время... когда собирается смешанное общество... он старался пригласить людей, с которыми Джордж уже знаком и которые знакомы между собой... ему казалось, так будет гораздо приятнее... незнакомые люди обычно смущаются, держатся скованно, официально... для фрау фон Колер тут все чужие... так что, если он не возражает?..

Вскоре после этого загадочного разговора к нему зашел приятель.

— На днях вам позвонит один человек, — сказал приятель. — Скажет, что хочет с вами встретиться, поговорить. С этим человеком не надо иметь ничего общего.

Джордж рассмеялся. Приятель его был здравомыслящий немец, тяжеловесный и даже скучноватый, и сказал он все это с такой нелепой серьезностью, что Джордж подумал — может быть, это просто неуклюжая шутка. Он осведомился, кто же эта таинственная личность, которая так жаждет с ним познакомиться.

К его изумлению, приятель назвал имя весьма высокого правительственного сановника.

Но чего ради этот человек хочет с ним познакомиться, спросил Джордж. И если так — чего ради его бояться?

Сперва приятель не хотел отвечать. И наконец опасливо пробормотал:

— Послушайте меня. Держитесь от него подальше. — Он замолчал, не зная, как выговорить то, что у него на уме, потом решился: — Вы слышали о капитане Реме? Знаете про него? Знаете, что с ним произошло?

Джордж кивнул.

— Так вот, — взволнованно продолжал приятель. — Он не единственный избежал расстрела во время чистки. Тот, о котором идет речь, один из самых страшных. Мы его называем «Князь тьмы».

Джордж не знал, как это понять. Попытался было разобраться, не смог и в конце концов выкинул все это из головы. Но через несколько дней сановник, о котором говорил ему приятель, действительно позвонил и предложил ему встретиться. Джордж под каким-то предлогом отказался, однако случай этот озадачил его и встревожил.

В обеих этих загадочных историях было что-то и от комедии и от мелодрамы, но то была лишь внешняя сторона. Джордж начал уже понимать: за всем этим скрывается трагедия. В обоих случаях политика ни при чем. В обоих случаях корни куда глубже, куда страшней, куда более зловещи, чем политика и даже расовые предрассудки. Впервые в жизни Джордж столкнулся с непостижимым ужасом, какого никогда еще не знал, — с ним рядом детски наивны казались скорая на расправу ярость Америки, и гангстерские шайки, и неожиданные убийства, и процветающие кое-где в деловом мире и в общественной жизни грубость и продажность. Перед Джорджем начал вырисовываться образ великого народа, чьему рассудку нанесен был тяжкий удар, — и теперь его душу разъедает какой-то чудовищный недуг. Да, все в Германии, до последнего человека, заражены вездесущим страхом. Своего рода прогрессивный паралич исказил и разрушил все человеческие отношения. Гнет постоянного гнусного принуждения сделал весь народ скрытным, и эта удушающая пагубная скрытность отравила людей ядом, который капля по капле выделяли их души, и уже нет лекарства, нет избавления.

Теперь, когда для него начало проясняться истинное положение дел, Джордж не представлял себе, что у кого-то хватает низости торжествовать при виде этой великой трагедии или ненавидеть прежде могучий народ, ставший ее жертвой. Начиная с восемнадцатого века немец по своей культуре был первым гражданином Европы. В Гете обрел высшее воплощение и выражение мировой дух, который не знает границ ни государственных, ни политических, ни расовых, ни религиозных, который ликует, наследуя всему человечеству, и вовсе не желает завладеть этим наследием или подчинить его себе, а желает лишь стать его частью, внести в него и свою долю. В изобразительном искусстве, в литературе и в музыке, в науке и философии традиция эта не прерывалась вплоть до 1933 года, и не было, наверно, на свете человека, которого этот немецкий дух так или иначе не обогатил бы.

Когда в 1925 году Джордж впервые приехал в Германию, дух этот проявлялся во всем и везде просто и несомненно. Стоило, например, взглянуть на витрину книжного магазина в любом небольшом городе, и сразу было ясно, что интеллектуальная и культурная жизнь Германии бьет ключом. Книги, тесно стоявшие на полках магазина, свидетельствовали о широте интересов и взглядов — рядом с этим все, что мог предложить книжный магазин Франции с ее языковой и географической узостью, казалось жалким и провинциальным. Крупнейшие писатели любой страны были в Германии известны не хуже, чем у себя на родине. Из американцев больше всего читали Теодора Драйзера, Синклера Льюиса, Эптона Синклера и Джека Лондона; их книги раскупались и читались повсюду. И книги американских писателей младшего поколения немецкие издатели тоже упорно выискивали и печатали.

Даже в 1936 году это благородное увлечение, хоть и придавленное и урезанное режимом Адольфа Гитлера, все-таки трогательно давало о себе знать. Перед тем Джорджу рассказывали, что в Германии уже невозможно издавать и читать хорошие книги. Оказалось, это неверно, как неверны и некоторые другие слухи о Германии. А он чувствовал, что, говоря

о гитлеровской Германии, надо быть предельно честным и правдивым. Ибо главное в этой Германии, что должно было возмущать каждого порядочного человека, это фальшь и ложь. Невозможно подставить вторую щеку кривде, но ведь так же невозможно и отвечать на кривду кривдой. Надо судить о кривде по справедливости. На ложь и вероломство невозможно отвечать ложью и вероломством, хотя кое-кто уверяет, будто это единственно правильный путь.

Итак, неправда, что в Германии уже нельзя издавать и читать хорошие книги. И оттого, что трагедия великого немецкого духа прорывается наружу не прямо и открыто, а искажена и извращена, она горше и еще очевидней, чем если бы это была правда. Хорошие книги по-прежнему издаются, если только они прямо или косвенно не осуждают гитлеровский режим и не противоречат его догмам. И было бы просто глупо утверждать, что хороша только та книга, которая осуждает Гитлера и спорит с его теориями.

Вот почему каждую хорошую книгу, которую им еще позволено было читать, немцы встречали с утроенной жадностью, с утроенным интересом и восторгом. Им отчаянно хотелось знать, что происходит в мире, и для этого у них оставался единственный путь — читать все то, что удавалось достать из написанного за границей. Этим, вероятно, прежде всего и объяснялось их жадное внимание к американской литературе, и эта безмерная жадность брала за сердце. При сложившихся обстоятельствах последние остатки немецкого духа ухитрились уцелеть лишь так, как может уцелеть тот, кто тонет: отчаянно цепляясь за любую щепку, что всплыла, когда разбитый корабль уже пошел ко дну.

Итак, шли недели, месяцы, миновало лето, и повсюду Джордж замечал знаки распада и крушения великого духа. Все вокруг, точно вредоносными тлетворными испарениями, пронизано было ядовитым дыханием гнета, преследований и страха — они портили, отравляли, разрушали жизнь всех, кого бы ни встретил Джордж. То была чума духа — незримая, но несомненная, как смерть. Мало-помалу она проникла и в него, просочилась сквозь золотую песнь этого лета, и под конец он ощутил ее сам, вдохнул, почувствовал — и на себе испытал, что это такое.

39. «Вы есть большой дурак!»

Пришла пора Джорджу уезжать. Он знал, что надо ехать, но все откладывал. Дважды заказывал билет на пароход, уходящий в Америку, и заканчивал все необходимые сборы и дважды, когда назначенный день приближался, возвращал билет.

Ему тошно было думать о разлуке с Германией, почему-то он чувствовал, что никогда больше не сможет вернуться на эту древнюю и такую любимую землю. И еще Эльза... где, под какими чужими небесами мог бы он увидеть ее снова? Она всеми корнями здесь, он — в совсем ином краю. Они прощаются навсегда.

Итак, он все тянул и тянул, снова отказался от билета и наконец решил уехать из Берлина в один из дней в середине сентября. Откладывая эту тягостную минуту, он лишь делал расставанье еще мучительней. Было бы просто глупо тянуть дольше. На этот раз он действительно уедет.

И вот настало роковое утро.

Телефон, стоявший у его постели, тихонько зазвонил. Джордж пошевелился, потом резко вынырнул из прерывистого тревожного сна, каким всегда спишь, когда поздно лег и знаешь, что надо рано встать. Звонил портье. Его негромкий спокойный голос прозвучал внушительно.

— Семь часов, — объявил он.

— Хорошо, — отозвался Джордж. — Спасибо, встаю.

Потом он поднялся, все еще угрюмо борясь с накопившейся усталостью, которая требовала сна, и одновременно с гложущей неотступной тревогой, которая требовала действий. Окинул комнату взглядом и почувствовал себя увереннее. Его большой

старомодный кожаный чемодан стоял открытый на подставке для чемоданов. Накануне вечером горничная быстро и ловко упаковала его вещи. Теперь только и оставалось побриться, одеться, уложить туалетные принадлежности, сунуть в портфель несколько книг, писем и рукописные страницы, которые всегда накапливались, где бы он ни жил, и ехать на вокзал. За двадцать минут он все спокойно сделает. Поезд не раньше половины девятого, а на такси до вокзала минуты три. Он сунул ноги в шлепанцы, подошел к окну, дернул шнур, поднял тяжелые деревянные жалюзи.

Утро было хмурое. Курфюрстендамм лежала внизу пустынная, тихая, лишь изредка пронесется машина, или прошуршит шинами одинокий велосипедист, или по-утреннему сухо, сдержанно простучат чьи-то быстрые шаги — кто-то спешит на работу. Посреди улицы, над трамвайными рельсами, пышные кроны деревьев уже утратили летнюю свежесть — листва больше не была того густого, глубокого, темно-зеленого цвета, самого зеленого из всех зеленых, какой увидишь только в Германии, — в нем и лесная тьма, и таинственная прохлада, и волшебство. Листья привяли, запылились. Кое-где в них уже просвечивала осенняя желтизна. Светло-желтый трамвай, без единого пятнышка, сверкающий, словно только что из игрушечного магазина, плавно прошипел колесами по рельсам, дугой по проводам. Никакого другого шума он не производил. Как все, что строили немцы, и трамвай, и полотно дороги сработаны были безупречно. Ни намека на лязг и дребезжанье, без которых нет трамвая в Америке. Даже маленькие булыжники, уложенные между рельсами, были такие безукоризненно чистенькие, будто каждый в отдельности обмахнули метелкой, а зеленые ленты травы вдоль путей были зеленые и бархатные, что твой оксфордский газон.

От больших ресторанов, кафе и веранд, расположенных по обеим сторонам Курфюрстендамм, веяло спокойным одиночеством, какое присуще подобным местам рано поутру. Стулья опрокинуты на столы. Всюду чисто, голо, пусто. В трех кварталах отсюда, в начале улицы, часы на Гедехтнис-кирхе запоздало пробили семь. Унылая громада церкви видна была из окна, в ветвях деревьев заливались птицы.

В дверь постучали. Джордж обернулся и пошел отворять. Официант принес на подносе завтрак. Это был мальчик лет пятнадцати, белокурый, свеженький, розовощекий и очень серьезный. На нем была крахмальная рубашка и чистенькая, без единого пятнышка форменная куртка, которая досталась ему явно с владельца покрупней: видно было, что ее подкоротили и сузили. Держа поднос перед собой, он торжественно прошагал прямо к столу, стоящему посреди комнаты, и гортанным голосом, бесстрастно и однотонно произнес при этом три известные ему английские фразы:

— Доброе утро, сэр, — когда Джордж отворил дверь.

— Пожалуйста вам, сэр, — когда ставил поднос на стол.

И еще:

— Большое спасибо, сэр, — уже выходя из комнаты и оборачиваясь, чтобы затворить за собой дверь.

Фразы всегда были одни и те же. За все лето они ни разу ни на волос не изменились, и теперь, когда мальчик в последний раз выходил из номера, в Джордже всколыхнулись нежность и сожаление. Он окликнул мальчика, велел обождать, достал из кармана брюк деньги и дал ему. Розовое лицо залилось радостным румянцем. Джордж пожал мальчику руку, и тот гортанно произнес:

— Большое спасибо, сэр. — И потом совсем тихо и проникновенно: — Gute Reise, mein Herr²⁶. — Щелкнул каблуками, поклонился по всем правилам и затворил за собой дверь.

Джордж постоял минуту-другую, ощущая все ту же невыразимую нежность и сожаление — ведь никогда больше он не увидит этого мальчика. Потом подошел к столу, налил чашку горячего густого шоколада, разломил хрустящую булочку, намазал ее маслом, клубничным джемом и поел. Вот и весь завтрак. В чайнике еще оставался шоколад, на тарелке — сколько

²⁶ счастливого пути, сударь (нем.)

удовно завитков масла и столько превкусного джема, хрустящих булочек и рогаликов, что хватило бы еще на полдюжины завтраков, но ему ничего не хотелось.

Он подошел к умывальнику и включил свет. Большая тяжелая фаянсовая раковина была вделана в стену. Стена и пол под раковиной основательно облицованы кафелем, словно маленькая, но великолепная ванная. Джордж почистил зубы, побрился, упаковал туалетные принадлежности в маленький кожаный несессер и, застегнув молнию, спрятал его в чемодан. Потом оделся. В двадцать минут восьмого он был готов.

Джордж звонил портье, и в эту минуту вошел Франц Хейлиг. Человек он был удивительный, старый друг, еще с мюнхенских времен, и Джордж был очень к нему привязан.

Когда они познакомились, Хейлиг служил библиотекарем в Мюнхене. Теперь он занимал какой-то пост в одной из крупнейших библиотек Берлина. В этом качестве он был государственным чиновником, и ему предстояло медленно, но верно продвигаться по служебной лестнице. Зарабатывал он немного, жил скромно, но все это его мало трогало. Он был ученый, и Джордж никогда не встречал человека, так разносторонне образованного и таких разносторонних интересов. Он читал и говорил на дюжине языков. Был он немец до самых глубин своей ученой природы, но его английский, на котором он объяснялся хуже, чем на всех других знакомых ему языках, нисколько не походил на обычные для немцев вариации языка Шекспира. В его английском было множество немецких вкраплений, но сверх того Хейлиг заимствовал произношение и интонации из других своих языковых приобретений, так что получалась презабавная пестрая смесь.

Он вошел, увидел Джорджа и принялся смеяться; при этом он зажмурился, сморщился, так что мелкие черты его перекошились, и все пофыркивал, поджав и скривив губы, словно только что съел незрелую хурму.

Наконец лицо у него стало серьезное, и он тревожно спросил:

— Готовы, а? Сначит, в самом деле едете?

Джордж кивнул.

— Еду, — сказал он. — Все готово. Ну, а вы как себя чувствуете, Франц?

Франц неожиданно засмеялся, снял очки и стал их протирать. Без очков маленькое морщинистое лицо его показалось измученным, осунувшимся, а близорукие глаза — красными и усталыми от бессонной ночи.

— О, Gott!²⁷ — воскликнул он с какой-то веселой отчаянностью. — Чувствую себя хуже некуда! Я даже не прилег. После того, как мы расстались, я не мог спать. Я ходил и ходил, дошел чуть не до Грюневальда... Можно, я вам что-то скажу? — проникновенно сказал он и, по своему обыкновению, при этих загадочных словах серьезно, в упор посмотрел на Джорджа. — Я шутко себя чувствую... правда.

— Значит, вы даже не ложились? Совсем не спали?

— Ну да, — устало ответил Хейлиг. — Подремал часок. Я вернулся домой. Моя подружка спала... Я не хотел к ней ложиться... не хотел будить. Ну, прилег на кушетке. Даже не разделся. Боялся, опоздаю вас проводить на поезд. А это было бы просто ушасно! — сказал он и снова серьезно уставился на Джорджа.

— Вы бы с вокзала вернулись домой и поспали, — сказал Джордж. — При таком самочувствии много не поработаешь. Почему бы не взять свободный день и не отоспаться?

— Так вот, — отрывисто, но как-то равнодушно сказал Хейлиг. — Я вам что-то скажу. — Он снова серьезно, в упор поглядел на Джорджа. — Это не важно. Правда, не важно. Я чего-нибудь выпью... кофе или еще что-нибудь, — равнодушно сказал он. — Выпить — это неплохо. Но косподи! — Он опять засмеялся с веселой отчаянностью. — Ох уж и посплю я сегодня ночью! А потом опять попробую познать свою подружку.

²⁷ Господи! (нем.)

— Надеюсь, Франц. Она у вас славная. Боюсь, последний месяц вы не очень-то баловали ее своим обществом.

— Так вот, — снова сказал Хейлиг. — Я вам что-то скажу. Это не важно. Правда, не важно. Она хорошая... она все понимает... вам она нравится, да? — И он опять серьезно, вопрошающе уставился на Джорджа. — По-вашему, она славная?

— Да, очень славная.

— Так вот, — сказал Хейлиг. — Я вам что-то скажу. Она правда очень славная. Я рад, если она вам нравится. Мне с ней очень хорошо. Мы отлично уживаемся. Надеюсь, мне позволят ее оставить, — негромко закончил он.

— Позволят? А кто тут может позволить или не позволить, Франц?

— А, — устало сказал Хейлиг, и лицо его брезгливо сморщилось — ну, эти... эти тупицы... Вы же знаете.

— Но, черт возьми, Франц, неужели и это тоже запрещено? Не может этого быть! Надеюсь, мужчина еще вправе иметь подружку? Ведь стоит выйти на Курфюрстендамм — и от девчонок отбою нет.

— А, вы имеете в виду шлюшек. Да, шлюшки пока что разрезаются, это пожалуйста. Это совсем другое дело. И, может, они кое-чем тебя наградят, шлюшки. Но это пожалуйста. Понимаете, мой дорогой, я вам что-то скажу. — Тут его лицо искривила ехидная гримаса, и он заговорил тем нарочито изысканным тоном, которым произносил обычно самые злоязычные речи. — Под властью нашего Dritte Reich²⁸ мы все так счастливы, все у нас так прекрасно и разумно, что просто с ума сойти можно, — едко усмехнулся он. — Шлюшки на Курфюрстендамм — это пожалуйста. Можешь пойти к ним, а можешь и к себе привести. Да-да (он серьезно покивал), можешь привести к себе в свою комнату. А вот подружка — это запрещается. Завел подружку — женись. И можно, я вам что-то скажу? Мне жениться нельзя, — признался он. — Мало зарабатываю. Жениться мне никак невозможно! (Это прозвучало очень решительно.) И знаете, что я вам скажу? — продолжал он, взволнованно шагая по комнате и порывисто затягиваясь сигаретой. — Если подружка, имей две комнаты. А для меня это тоже никак невозможно! На две комнаты у меня и денег-то нет.

— То есть как? Если у вас есть подружка, вы по закону обязаны иметь две комнаты?

— Да, таков закон, — негромко отвечал Хейлиг и кивнул, лицо его окаменело: с таким видом немцы говорят обо всем, что стало для них незыблемым правилом. — Так полагается. Если у тебя подружка, у нее должна быть отдельная комната. Тогда можно сказать, что каждый живет сам по себе, — серьезно продолжал он. — Пускай ее комната рядом с твоей, но все равно можно сказать, что она тебе никто. И, пожалуйста, спите вместе хоть каждую ночь. А все равно тогда комар носа не подточит. Потому что так ты не идешь против Партии... Gott! — воскликнул он, поглядел на Джорджа снизу вверх, лицо его искривила язвительная и горькая гримаса, и он снова засмеялся. — С ума сойти можно!

— Франц, а вдруг узнают, что вы с ней живете в одной комнате?

— Так вот, — негромко сказал Хейлиг, — тогда ей придется уйти. — И устало, с горьким равнодушием заключил: — Не важно. Мне все едино. Я не обращаю внимания на этих тупиц. У меня есть моя работа, есть моя подружка. Только это и важно. Закончив работу, я иду домой, в свою комнатку. Там меня ждет моя подружка, и собачка тоже, — сказал он, и лицо его посветлело. — Можно, я вам что-то скажу? Эта собачка... Пуки, вы его видели... мой маленький терьер... я его прямо полюбил. Он и правда славный, — серьезно сказал Хейлиг. — Сперва я его терпеть не мог. Моя подружка только его увидела и сразу влюбилась. Сказала, он ей нравится... и чтоб я его купил ей в подарок. Так вот, — продолжал Хейлиг, стряхнув пепел с сигареты и все меряя комнату шагами, — я сказал, не потерплю в моем доме какую-то дрянную собачонку. — Эти слова он выкрикнул чуть не во весь голос, желая передать всю силу тогдашней своей решимости. — Ну, а она взяла и заплакала. И все твердила про собачку.

²⁸ Третьего рейха (нем.)

Говорила, ей непременно нужно эту собачку, без собачки она умрет. Gott! — снова весело воскликнул он и засмеялся. — С ума можно было сойти. Никакого покоя не стало. Приду вечером с работы, а она сразу в слезы и говорит, она умрет, если я не куплю эту собачку. Ну, и наконец я сказал; «Ладно, будь по-твоему. Куплю тебе скотинку!» — со злостью сказал он. — «Только, бога ради, не реви!» Ну, и тогда я пошел за этой собачкой ж получше на нее поглядел. — Теперь он говорил совсем дурашливо, глаза стали как щелки, маленькое личико сморщила презабавная гримаса, он оскалил тусклые зубы и тихонько, весело зарычал: — Поглядел я на этого песика и коворю: «Ух ты, коворю, с-с-сверюга ты... уш-ш-шасный, н-невос-смошный свереныш... так и быть, возьму тебя... но если ты, поганец... если ты... — тут он свирепо и весело потряс кулаком перед мордой воображаемого пса, — если станешь безобразничать... Станешь пакостить у меня в доме, я так тебя угощу — взвоешь...» А потом я его полюбил, — продолжал Хейлиг. — Он славный песик, правда. Иногда приду вечером домой, и так тошно, столько за день перевидал этих шутких типов, а он подойдет и глядит на меня. И прямо разговаривает. Говорит: знаю, худо тебе. Трудная у тебя жизнь. Но я тебе друг. Да, правда, очень славный песик. Очень я его люблю.

Под конец этого рассказа вошел портье и остановился, дожидаясь распоряжений. Он спросил, все ли уложено в кожаный чемодан. Джордж встал на четвереньки и напоследок глянул под кровать. Портье открыл дверцы шкафа, выдвинул ящики. Хейлиг тоже заглянул в шкаф и, убедившись, что он пуст, повернулся к Джорджу и с нарочитым удивлением сказал:

— Так вот, похоже, вы ничего не забыли.

Успокоившись на этот счет, портье закрыл тяжелый чемодан, запер на ключ, затянул ремни, а Хейлиг тем временем помогал Джорджу засунуть в старый портфель книги, письма и рукописи. Потом Джордж застегнул портфель и отдал его портье. Тот вытащил багаж в коридор и сказал, что подождет их внизу.

Джордж посмотрел на свои часы — до поезда оставалось еще три четверти часа. Он спросил Хейлига, ехать ли прямо сейчас на вокзал или еще подождать в отеле.

— Подождем здесь, — ответил тот. — Пожалуй, так лучше. Переждете здесь еще полчаса и все равно прекрасно успеете.

Он протянул Джорджу сигареты, дал ему прикурить. Они сели, Джордж к столу, Хейлиг на кушетку у стены. И минуту-другую молча курили.

— Так вот, — негромко сказал Хейлиг, — на этот раз мы и правда прощаемся... Ведь на этот раз вы едете?

— Да, Франц. На этот раз надо ехать. Я пропустил уже два парохода. Пропустить еще один невозможно.

Еще с минуту курили молча, и вдруг Хейлиг сказал серьезно:

— Так вот, можно, я вам что-то скажу? Мне жаль.

— И мне тоже, Франц.

И опять они курили в тревожном, неловком молчании.

— Вы еще, конечно, приедете, — сказал потом Хейлиг. И решительно заявил: — Вы должны приехать. Мы к вам привязались. — Помолчал, прибавил просто, негромко: — Знаете, мы правда очень вас любим.

Джордж от волнения не мог вымолвить ни слова, и, бросив на него быстрый, печальный взгляд, Хейлиг продолжал:

— А вам у нас нравится? Вы нас любите? Да! — с чувством ответил он сам себе. — Конечно, любите.

— Конечно, Франц.

— Тогда вы должны приехать, — негромко сказал Хейлиг. — Если не приедете, это будет ужасно. — Он снова испытующе посмотрел на Джорджа, но Джордж молчал. И тогда Хейлиг сказал: — И я... я надеюсь, мы еще встретимся.

— Я тоже надеюсь, Франц, — отозвался Джордж. И, стараясь развеять печаль, которая охватила обоих, он высказал, как мог веселее, то, чего очень хотел, но во что не слишком верил: — Конечно, встретимся. В один прекрасный день я опять приеду, и мы опять посидим,

потолкуем, вот как сейчас.

Хейлиг ответил не сразу. Лицо его исказилось так хорошо знакомой Джорджу горькой и злой насмешкой. Он сорвал с себя очки, протер их, вытер близорукие усталые глаза и опять надел очки.

— Вы так думаете? — спросил он, и губы его искривила привычная горькая улыбка.

— Уверен, — решительно ответил Джордж и на минуту сам почти поверил в это. — Вы, я, все наши друзья... посидим все вместе и выпьем, и всю ночь напролет будем танцевать вокруг деревьев, под утро заявимся к Энне Маенц и будем есть суп с курицей. Все будет по-старому.

— Что ж, надеюсь, вы правы. Но я не очень в этом уверен, — негромко сказал Хейлиг. — Может, меня здесь уже не будет.

— Вас? — Джордж даже засмеялся. — Что это вы такое говорите? Вам же нигде в другом месте не будет хорошо, сами знаете. У вас здесь работа, о которой вы всегда мечтали, и живете вы наконец именно там, где всегда мечтали жить, будущее ваше ясно и определено — просто надо дождаться, пока ваше начальство помрет или уйдет в отставку. Вы всегда будете здесь!

— Я не очень в этом уверен, — сказал Хейлиг. Он затаился, выпустил струю дыма и как-то нерешительно продолжал: — Понимаете... все дело в этих... этих тупицах... ослах! — Он зло вдавил сигарету в пепельницу, лицо его исказилось кривой усмешкой, в которой были и вызов, и оскорбленная гордость, и он сердито крикнул: — Мне-то... мне все равно! За себя я не волнуюсь. Сейчас я живу себе потихоньку... у меня есть моя работа, моя подружка... моя комнатка... А эти тупицы... ослы! — крикнул он. — Я их просто не замечаю! Не вижу их! Меня это не беспокоит! — выкрикивал он. И лицо его стало похоже на какую-то нелепую маску. — Я всегда проживу. Если меня выгонят... так вот, имейте в виду, мне все равно. На этой работе свет клином не сошелся! — с горечью воскликнул он. — Возьму и уеду в Англию, в Швецию. Если у меня отберут работу, отберут мою подружку... поверьте, это все не важно. — Он с досадой, с презрением отмахнулся. — Как-нибудь проживу. Ну, а если эти тупицы... эти ослы... если они и жизнь у меня отнимут... тоже ничего страшного. Вы согласны?

— Нет, Франц, я не согласен. Не хотел бы я умереть.

— Так вот, — спокойно сказал Хейлиг, — вы другое дело. Вы американец. А у нас это иначе. Я видел, как людей расстреливали, в Мюнхене, в Вене... Не так уж это страшно. — И он опять испытующе поглядел на Джорджа. — Нет, не так уж страшно.

— Черт возьми, Франц, что за вздор вы болтаете! — вскинулся Джордж. — Никто не собирается вас расстреливать. Никто не собирается отнимать у вас ни работу, ни подружку. У вас же верная работа, Франц. Никакого отношения к политике. И другого такого ученого им нипочем не найти. Да без вас им просто не обойтись!

Франц равнодушно, безнадежно пожал плечами.

— Не знаю, — сказал он. — Я... по-моему, если придется, мы все прекрасно обойдемся друг без друга. А, наверно, придется.

— Придется? Что вы имеете в виду, Франц?

Хейлиг помолчал. Потом сказал резко:

— Пожалуй, я вам что-то скажу. В последний год с этими тупицами можно с ума сойти. Всех евреев выгнали с работы... теперь они не у дел. А эти тупицы... вырядились в форму... — с презрением произнес он, — знай твердят, что здесь место только арийцам... таким вот распрекрасным голубоглазым верзилам восьми футов ростом, у которых в роду с тысяча восемьсот двадцатого года одни арийцы. Если же среди предков затесался какой-нибудь еврей, очень жаль. — Хейлиг презрительно усмехнулся. — Такой человек не должен работать... в нем, видите ли, нет истинно немецкого духа. Просто чушь. — Минуту-другую он молча курил, потом продолжал: — Последний год эти ослы ко мне пристают. Желают знать, кто я такой, откуда взялся... родился на свет или, может, не родился. Требуют, чтоб я доказал, что я ариец. Не то мне не место в библиотеке.

— Черт возьми, Франц! — воскликнул Джордж и оторопело уставился на Хейлига. —

Вы разве... да нет, ведь вы же не еврей?

— О, Gott, нет, конечно! — вдруг с прежней веселой отчаянностью воскликнул Хейлиг. — Дорогой мой, я до такой степени немец, что можно с ума сойти.

— Тогда в чем же загвоздка? — озадаченно спросил Джордж. — Что им от вас нужно? И чего беспокоиться, раз вы немец?

Хейлиг молчал, кривая, горькая усмешка на его сморщенном личике стала еще горше; наконец он снова заговорил:

— Дорогой мой Шорш, теперь я вам что-то скажу. Я правда чистокровный немец. Но моя бедная мамочка... я, конечно, очень ее люблю... Но, Gott! — Он засмеялся, не разжимая губ, в лице его было горькое веселье. — Gott! Она такая глупенькая, бедняжка, — чуть презрительно произнес он. — Она так любила моего отца... так любила, что не потрудилась выйти за него замуж. Ну, и эти тупицы приходят и пристают ко мне со своими вопросами и спрашивают: «Где ваш отец?» И, разумеется, мне нечего им сказать. Потому что, увы, мой друг, я незаконнорожденный. Gott! — снова воскликнул он и, прищурясь, горько, криво усмехнулся. — С ума сойти можно... этакое беспросветное тупоумие... и так забавно, просто ушас!

— Но, Франц, уж наверно, вы знаете, кто ваш отец... Уж наверно, слышали, как его зовут.

— Ну, разумеется! — воскликнул Хейлиг. — Потому-то все так и забавно.

— Значит, вы все-таки его знаете? Он жив?

— Ну конечно, — сказал Хейлиг. — Он живет в Берлине.

— И вы с ним видите?

— Ну конечно. Мы видимся каждую неделю. Мы с ним прямо-таки друзья.

— Но... тогда я просто не понимаю, в чем загвоздка... разве что вас выгонят с работы как незаконнорожденного. Это, конечно, неловко... и для вас, и для вашего отца... но разве нельзя сказать им все как есть? Разве нельзя объяснить? Неужели отец вас не выручит?

— Он бы, конечно, выручил, — сказал Хейлиг. — Если б только я ему рассказал. Только я не могу рассказать. Понимаете, — негромко продолжал он, — мы с отцом друзья. Мы никогда не говорим с ним об этом... о том, что он был близок с моей матерью. И теперь я ни о чем не стану его просить... рассказывать про мои неприятности... не хочу, чтоб он мне помогал... а то получится, что я пользуюсь нашей дружбой для своей выгоды. Это испортит нашу дружбу.

— А ваш отец... его здесь хорошо знают? Если вы его назовете, этим тупицам его имя что-то скажет?

— Ну да! — воскликнул Хейлиг и с горькой веселостью продолжал: — В том-то весь ушас... и оттого это так забавно. Его еще как знают! Может случиться, они скажут, я еврейчик и вышвырнут меня вон, потому что я не ариец... а мой отец... — Хейлиг фыркнул, давился смехом, горькое веселье душило его, — мой отец — он же истый немец, известный наци... он же первое лицо в партии!

Джордж смотрел на друга, чье имя словно в насмешку означало «святой», и не мог слова вымолвить. Станный и волнующий рассказ этот многое объяснил ему в друге: все растущую горечь, презрение чуть ли не ко всем и вся, усталое отвращение и покорность судьбе, холодную, злую насмешливость и ядовитую улыбочку, которая вечно морщила его лицо. Вот он сидит, маленький, хрупкий, изящный, губы кривятся в неизменной улыбочке, и так ясна теперь вся история его жизни. Был он по природе своей беззащитен и кроток, такой впечатлительный, такой нежный, на удивление умный. И этого тонкорунного ягненочка выбросили в стужу и лютый ветер, обрекли нужде и одиночеству. Он был жестоко ранен. Его изуродовали и исковеркали. Таким он стал — и, однако, сумел сохранить своеобразную горькую чистоту души.

— Ох, извините, Франц, — сказал Джордж. — Ради бога, извините. Я ничего этого не подозревал.

— Так вот, — равнодушно сказал Хейлиг, — все это не важно. Правда, не важно. — Он

улыбнулся своей страдальческой улыбкой, посопел, не разжимая губ, стряхнул с сигареты пепел, сел поудобнее. — Что-нибудь придумаю. Я нанял одного человечка... одного из этих ужасных людишек, этих, как бишь их... Ну да, адвокаты! Ох, Gott, от них с ума сойти можно! — воскликнул он. — Я нанял одного, чтоб он сочинил для меня какие-нибудь враки. Этот человечек только и знает, что роется в бумагах, и будет рыться, пока не подберет отцов, матерей, братьев, сестер — в общем, всех, кто мне требуется. А если не сумеет, если мне не поверят... Ну, тогда потеряю работу, — сказал Хейлиг. — Но это не важно, что-нибудь придумаю. Куда-нибудь да приткнусь. Как-нибудь проживу. Со мной уже так бывало, ничего страшного... Ох и тупицы... ослы! — сказал он с омерзением. — Когда-нибудь, дорогой мой Шорш, вы должны написать горькую книгу. И должны сказать всем этим людям, до чего они гнусны. Я... у меня нет таланта. Я не могу написать книгу. Я могу только восхищаться тем, что пишут другие, могу понять, когда книга хорошая. А вот вы должны сказать этим тупым мерзавцам, что они такое... У меня есть одна фантазия, — с ехидной усмешкой продолжал он. — Когда мне худо, когда я вижу, как все эти мерзкие тупицы расхаживают по Курфюрстендамму, и сидят за столиками, и жуют... я воображаю, что у меня есть такой маленький пулеметик. Беру я свой пулеметик и хожу по улице, а только увижу кого-нибудь из этих типов, сразу — паф, паф, паф! — совсем по-детски произнес он и прицелился, торопливо согнув палец крючком. — О, Gott! — самозабвенно воскликнул он. — Вот было бы счастье — ходить с пулеметом и стрелять этих тупиц! Но мне это не дано. Мой пулемет — одно воображение. Вы — другое дело. Вы и вправду можете их бить. И вы должны бить их из своего пулемета, — серьезно сказал Хейлиг. — Когда-нибудь вы непременно должны написать эту горькую книгу, должны сказать этим тупицам, кто они такие. Только сейчас вы ее не пишете, — торопливо, тревожно прибавил он. — А если начнете сейчас, не пишете ничего такого, за что они могут на вас разозлиться.

— Чего не писать, Франц?

— О политике, — сказал Хейлиг, понизив голос, и быстро оглянулся на дверь. — О партии. Обо всем, что может восстановить их против вас. Это было бы ужасно.

— Почему, собственно?

— Потому что вы здесь необычайно популярны. Не у этих ослов и тупиц, а у тех, кто еще читает настоящие книги. Поверьте мне, — серьезно продолжал Хейлиг, — сейчас вы здесь самый популярный иностранный писатель. И если вы все испортите... если напишете что-нибудь такое, что придется им не по вкусу, будет очень печально. Reichschriftskammer²⁹ запретит ваши книги... Скажет, что нам больше нельзя их читать... и тогда нам их уже не достать. А это будет очень печально. Мы ведь так вас любим... То есть те, кто понимает. Вас так хорошо здесь знают. Так понимают. И смело могу сказать, переводы ваших книг превосходны, этот переводчик — истинный поэт, и он любит вас... проникается вашими ощущениями... вашими образами... ритмом вашей прозы. И все, кто читает, в восторге. Невозможно поверить, что это перевод. Как будто с самого начала это было написано по-немецки. И... О, Gott! — опять радостно воскликнул он, — кем только вас не называют... американским Гомером, творцом американского эпоса. Вы людям по сердцу, и вы им понятны. Ваша проза такая сочная, свободная, полнокровная. И вы ощущаете жизнь совсем как мы. Многие считают, что вы — величайший писатель современности.

— Дома ко мне относятся куда прохладней, Франц.

— Знаю. Но я заметил, в Америке каждого любят один год... а потом плюют на него. Здесь же многие считают, что вы великий писатель, — серьезно сказал Хейлиг. — И будет просто ужасно, будет очень жаль, если вы все испортите. Вы ведь этого не сделаете? — спросил он и снова серьезно, с тревогой посмотрел на Джорджа.

Джордж молчал, глядя в одну точку, и ответил не сразу:

— Писать надо то, что должен писать. И делать надо то, что должен делать.

²⁹ Имперская палата по делам печати и литературы (нем.)

— Значит, если вы почувствуете, что должны что-то сказать... о политике... об этих тупоумных ослах... обо всем...

— А о жизни? — перебил Джордж. — О людях?

— Значит, скажете?

— Да, скажу.

— Даже если это вам повредит? Даже если все вам здесь испортит? И мы уже не сможем больше читать ваши книги? — Обращенное к Джорджу сморщенное личико стало очень серьезно, Хейлиг с тревогой ждал ответа.

— Да, Франц, все равно я скажу то, что думаю.

Хейлиг помолчал, явно колеблясь, потом спросил:

— Даже если вы что-нибудь такое напишете, и... и они вас больше сюда не впустят?

Теперь молчал Джордж. Тут было о чем подумать. И наконец все-таки сказал:

— Да, я и на это пойду.

Хейлиг резко выпрямился, задохнулся от гнева, сказал сурово:

— Знаете, кто вы такой? Вы есть большой дурак. — Он встал, отшвырнул сигарету и взволнованно заходил по комнате. — Зачем себе вредить? — кричал он. — Зачем писать такое, после чего вы больше не сможете сюда приехать? Вы же любите Германию! — Он круто обернулся, с тревогой спросил: — Ведь правда любите?

— Да, конечно. Кажется, как никакую другую страну.

— И мы вас любим! — воскликнул Хейлиг, меряя комнату шагами. — Мы ведь тоже так вас любим. Вы для нас не чужой, Шорш. Я вижу, как на вас смотрят на улице: вам все улыбаются. Что-то в вас людям по душе. Помните, когда мы ходили в белошвейную мастерскую, вам понадобилась рубашка... так там все девушки спрашивали: «Кто он такой?» Все хотели про вас знать. Они в тот день работали на два часа дольше, до девяти часов, кончали вашу рубашку. Уж как вы плохо говорите по-немецки — и то всем нравится. Официанты в ресторанах кидаются обслуживать вас прежде всех, и не ради чаевых. Вы здесь как дома. Вас все здесь понимают. Вы знаменитость, для нас вы большой писатель. И ради несчастной политики, из-за этих тупоумных ослов, — сказал он с горечью, — вы теперь возьмете и все испортите.

Джордж не отозвался. И Хейлиг, по-прежнему лихорадочно меряя комнату шагами, продолжал:

— Зачем вам это? Вы не политик. Не занимаетесь партийной пропагандой. Вы не из этих жалких нью-йоркских салонных коммунистиков. — Последние слова прозвучали зло, светлые глаза сузились. — Можно, я вам что-то скажу? — Он на мгновение умолк, поглядел на Джорджа. — Ненавижу этих людишек... проклятых эстетов... литераторов-пропагандистов. — Он весь сморщился, скорчил жеманную пренебрежительную гримаску, выставил перед собой два сжатых пальца, поглядел на них, томно прикрыв глаза, притворно покашлял и, нарочито жеманясь, карикатурно процитировал вычитанное в какой-то статье: «Да будет мне позволено сказать, прозрачность *Darstellung*³⁰ в романе Уэббера...» — он снова покашлял. — Этот болван, который написал про вас в «Ди даме», этот шалкий эстетишка с его рассуждениями о прозрачности *Darstellung*... Можно, я вам что-то скажу? — яростно выкрикнул он. — Не выношу этих типов! Они повсюду одинаковы. Такие и в Лондоне есть, и в Париже, и в Вене. Они и в Европе-то хороши, а уж в Америке! — выкрикнул он, и в лице его опять вспыхнула веселая отчаянность. — О, Gott! Разрешите вам сказать, от них просто с ума сойти можно! Откуда они у вас такие берутся? Европейские эстеты и те говорят: «Бог мой, эти проклятушие, эти чертовы американские эстеты... от них с ума сойти можно!»

— Это вы все про коммунистов? Вы ведь с них начали?

— Ну, ладно, — холодно отрезал Хейлиг с надменным вызовом, который все чаще выражало его лицо, — это не важно. Не все ли равно, как они себя называют. Все они

³⁰ изображения (нем.)

одинаковы. Все эти экспрессионистики, сюрреалистики, коммунистики... пускай называют себя как угодно, на самом-то деле они — ничто. И уж поверьте, я их терпеть не могу. Надоели мне все эти людишки вчерашнего дня, — сказал он и брезгливо отвернулся. — Все это не важно. Что бы они там ни говорили, все не важно. Потому что ни черта они не понимают.

— Так вот как вы думаете о коммунизме, Франц? Что же, по-вашему, все коммунисты — просто салонные болтуны?

— Ох, die Kommunisten, — устало произнес Хейлиг. — Нет, я не думаю, что все они болтуны. А коммунизм... что ж, — он пожал плечами, — коммунизм — это прекрасно. Наверно, когда-нибудь он настанет во всем мире. Только едва ли мы с вами до этого доживем. Это слишком далекая мечта. А все это сегодняшнее не для вас. Вы не из числа литераторов-пропагандистов... вы — писатель. Ваше дело смотреть вокруг и писать о мире и о людях, какими вы их видите. Писать пропагандистские речи и называть их книгами — это не ваше дело. Это не для вас. Для вас такое невозможно.

— Но, предположим, я пишу о мире и о людях так, как я их вижу, и получается совсем не так, как считает партия, как тогда быть?

— Значит, вы есть большой дурак, — в сердцах произнес Хейлиг. — Вы можете писать о чем вздумается и при этом не восстанавливать нацистов против себя. Вам незачем их поминать. А если уж вы их помянете, но ничего хорошего о них не скажете, значит, нам больше не дадут возможности вас читать, а вас больше сюда не пустят. Зачем вам это? Будь вы из числа нью-йоркских пропагандистов, вы бы могли говорить такое сколько душе угодно, и это было бы совершенно неважно. Они-то могут говорить все, что им вздумается, но ведь они совсем нас не знают и ничего им это не стоит. А вы... вы потеряете так много...

И опять он молча, лихорадочно мерил комнату шагами, сильно затягивался сигаретой, потом вдруг повернулся и требовательно, грубо спросил:

— По-вашему, у нас здесь совсем скверно... с этой нашей партией и с этими тупицами? По-вашему, было бы лучше, будь у нас две партии, как в Америке? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Если так, я думаю, вы ошибаетесь. Здесь, конечно, скверно, но, я думаю, скоро и у вас будет не лучше. Эти проклятые ослы... их всюду хватает. У вас они ничуть не лучше, просто выглядит это иначе. — Он вдруг серьезно, испытующе взглянул на Джорджа. — Думаете, вы у себя в Америке свободны, да? — Он покачал головой. — Сильно сомневаюсь. Свободны только эти гнусные тупицы. Здесь они свободны указывать, что нам читать и во что верить, и, по-моему, в Америке то же самое. Изволь думать и чувствовать, как они, и говорить то, что они желают от тебя услышать... а иначе тебя убьют. Разница только в том, что здесь у них в руках еще и власть. А в Америке они пока не у власти, но подождите, они своего добьются. Мы, немцы, показали, как это делается. И тогда здесь вы будете свободнее, чем в Нью-Йорке, ведь здесь вас ценят больше, чем в Америке, так я думаю. Здесь вами восхищаются. Здесь вы американец, и вам даже позволено говорить и писать такое, чего не позволено ни одному немцу — пока вы ничего не сказали против партии. Думаете, в Нью-Йорке вам тоже дадут такую волю?

Долгие минуты он молча шагал по комнате, останавливался, испытующе взглядывал на Джорджа. И, наконец, сам ответил на свой вопрос:

— Нет, не дадут. Эти, наши... они сами называют себя нацистами. По-моему, они честней американцев. В Нью-Йорке они придумывают себе какое-нибудь красивое имя. Они, видите ли, Дочери революции. Или Американский легион. Или Деловые люди, Торговая палата. Названий много, а суть одна, и, по-моему, все они тоже нацисты. Эти гнусные тупицы есть повсюду. Они не про вас. Вы не пропагандист, не политик.

Опять наступило молчание. Хейлиг все ходил из угла в угол, ждал, что Джордж как-то ответится на его слова. Не дождался и снова заговорил. И дальнейшие его слова раскрыли Джорджу, как глубоко циничен и равнодушен его друг, — такого он не подозревал, даже представить себе не мог, что Хейлиг, с его чуткой душой, на это способен.

— Если вы напишете что-нибудь против наци, вы доставите удовольствие евреям, — говорил Хейлиг, — но приехать в Германию больше не сможете, а для всех нас это будет

ужасно. И можно, я вам что-то скажу? — жестко, отрывисто произнес он и свирепо глянул на Джорджа. — Не люблю я этих чертовых евреев, все равно как тех остолопов. Хрен редьки не слаще. Когда у них все хорошо, они говорят: «Мы такие замечательные, плевать нам на вас и на вашу паршивую страну». А когда дела их плохи, они сразу превращаются в несчастных еврейчиков, и рыдают, и ломают руки, и говорят: «Мы всего-навсего несчастные, повергнутые в прах евреи, вы только посмотрите, что с папп делают». Так вот, меня это не трогает, — жестко сказал он. — Это не столь важно. То, что эти чертовы остолопы делают с евреями, преглупо, но меня это не волнует. Это не важно. Я видел евреев, когда они обладали силой и властью, и они были просто ужасны. Они думали только о себе. А на нас всех плевали. Так что это не важно, — жестко повторил он. — Эти толстопузые евреи ничуть не лучше наших остолопов. Будь у меня пулемет, я и их бы расстрелял. Меня еще волнует только одно — что эти остолопы сделают с Германией, с немцами. — Он с тревогой посмотрел на Джорджа и сказал: — Вы ведь любите немцев, правда, Шорш?

— Очень, — чуть не шепотом ответил Джордж, и так ему стало невыносимо горько за Германию, за немцев, за друга, что больше он не в силах был вымолвить ни слова. Хейлиг прекрасно понял, что означает этот до шепота упавший голос. Пронзительно посмотрел на Джорджа. Потом глубоко вздохнул, и ожесточение его как рукой сняло.

— Да, конечно, любите, — сказал он негромко. И мягко прибавил: — В сущности, они хороший народ. Большие дураки, конечно, но не такие уж плохие.

Он помолчал. Вдавил сигарету в пепельницу, снова вздохнул и сказал не без грусти:

— Что ж, вы будете делать то, что должны. Но вы есть большой дурак. — Он посмотрел на часы, положил руку Джорджу на плечо. — Пошли, дружище. Теперь пора.

Джордж поднялся. Долгую минуту они стояли молча, глядя друг на друга, потом обменялись крепким рукопожатием.

— До свидания, Франц, — сказал Джордж.

— До свидания, Шорш, дорогой, — негромко сказал Хейлиг. — Нам будет очень вас не хватать.

— А мне вас, — сказал Джордж.

И они вышли.

40. Последнее прости

Когда они сошли вниз, счет был уже готов, и Джордж расплатился. Проверять было незачем: здесь никогда не обсчитывали и никогда не ошибались. Джордж щедро отблагодарил старшего портье — седого, коренастого, строго деловитого пруссака, и старшего официанта. Дал целую марку улыбающемуся мальчику-лифтеру, тот в ответ шелкнул каблуками и поклонился. Джордж бросил последний взгляд на выцветшую, уродливую, но странно приятную обстановку маленького вестибюля, еще раз попрощался и быстро спустился по ступенькам на улицу.

Портье был уже там. Багаж лежал подле него на краю тротуара. В эту минуту подъехало такси, и он все погрузил. Джордж дал ему на чай, пожал руку. Дал на чай и швейцару — этот огромный детина, улыбчивый, простодушный и дружелюбный, всякий раз, как Джордж входил в гостиницу или выходил, похлопывал его по спине. Наконец влез в такси, сел подле Хейлига и велел шоферу ехать на вокзал Цоо.

Машина развернулась, покатила по противоположной стороне Курфюрстендамм, потом по Йоахимталенштрассе и через три минуты остановилась у вокзала. До прихода поезда — он шел от Фридрихштрассе — еще оставалось несколько минут. Багаж отдали носильщику, и он сказал, что будет ждать их на перроне. Хейлиг бросил монету в автомат, взял перронный билет. Они прошли контроль, поднялись по ступеням.

На перроне уже толпились пассажиры. Как раз подошел поезд с запада, со стороны Ганновера и Бремена. Сошло довольно много народу. По другим путям прибывали и отбывали сверкающие местные поезда; их яркие вагоны — красновато-коричневые, красные, золотисто-

желтые — идущие с востока на запад, с запада на восток, по всем направлениям, во все районы города, были переполнены рабочими утренней смены. Джордж смотрел на пути, убегающие на восток, откуда вот-вот покажется его поезд, и видел семафоры, тонко прочерченные рельсы, верхние этажи домов, густую зелень Зоологического сада. Стремительно, почти бесшумно прибывали и отбывали местные поезда. Выплескивали потоки спешащих людей, вбирали новых. Все так знакомо, так славно, так по-утреннему. Казалось, он знал это всегда, и чувство было то же, что всегда, когда расстаешься с каким-нибудь городом: нахлынули грусть, сожаленье, мучительное ощущение незавершенности — ведь здесь остаются люди, которых он не успел узнать, есть и такие, что могли бы стать его друзьями, но неумолимый миг отъезда приближается и все теряется, исчезает, ускользает из рук.

В другом конце перрона с лязгом отворились двери грузового лифта и носильщики выкатили на перрон доверху нагруженные тележки. Джордж увидел и своего носильщика, и среди чемоданов и саквояжей на его тележке — свой чемодан. Носильщик кивнул ему, показал, где стать.

В эту минуту Джордж обернулся и увидел, что по перрону к нему идет Эльза. Она шла медленно, как всегда, широким, ритмичным шагом. Она шла, и ее провожали глазами. На ней был светлый жакет грубой плотной ткани и такая же юбка. И весь ее облик был отмечен особым, только ей присущим стилем. Она и в отрепьях выглядела бы так же. Великолепная высокая фигура поражала таинственным, волнующим сочетанием изящества и силы. Эльза несла книгу и, подойдя, отдала ее Джорджу. Он сжал ее руки — для такой крупной женщины они были на удивление красивые, кисть чуткая, длинная, белая и нежная, как у ребенка, — и почувствовал, что они холодны и пальцы дрожат.

— Эльза, ты ведь знакома с герром Хейлигом? Франц, вы помните фрау фон Колер?

Эльза повернулась, посмотрела на Хейлига холодно и сурово. Хейлиг ответил ей столь же враждебным безжалостным взглядом. Они смотрели друг на друга с устрашающей подозрительностью. Джордж не раз замечал такое при встрече немцев, которые либо совсем не были знакомы, либо мало знали друг друга. Они сразу настораживались, словно вид другого не вызывал доверия, и прежде, чем проявить дружелюбие и отнестись доброжелательно, им требовалось удостоверение личности, какие-то гарантии. Джордж к этому уже привык. Другого ждать не приходилось. И все-таки всякий раз в нем поднималась тревога. Он не мог примириться с этим, принять неизбежность, как, видимо, примирились и приняли многие немцы, ведь он никогда не видел ничего подобного ни у себя в Америке, ни где-либо еще.

А между этими двумя обычная подозрительность была вдобавок подогрета глубокой, безотчетной неприязнью. Пока они вот так рассматривали друг друга, что-то сверкнуло между ними, холодное и жесткое, как сталь, мгновенное и обнаженное, как рапира. Недоверие и вражда возникли у обоих, хотя они не произнесли ни слова; потом Эльза чуть склонила голову и холодно произнесла на своем безукоризненном английском языке:

— По-моему, мы виделись на приеме у Граушмидта в честь Джорджа. — Выговор едва ли выдавал, что английский язык ей не родной, это ощущалось лишь изредка в случайной фразе или излишней отчетливости произношения.

— По-моему, тоже, — сказал Хейлиг. И, все еще глядя на нее с откровенной враждебностью, холодно продолжал: — А рисунок Граушмидта в «Тагеблатт»... вам он, конечно, не понравился... да?

— Портрет Джорджа? — с насмешливым недоумением переспросила Эльза. И ее суровое лицо вдруг осветилось ослепительной улыбкой. Она с презрением рассмеялась: — Тот рисунок вашего друга Граушмидта, где Джордж получился таким милым и прелестным душкой-тенором?

— Значит, не нравится? — холодно произнес Хейлиг.

— Да нет же! — воскликнула она. — Как портрет душки-тенора, как рисунок герра Граушмидта, который сам такой, так видит и чувствует, — это превосходно! Но при чем тут Джордж? Этот портрет так же мало похож на Джорджа; как и вы!

— Тогда позвольте вам что-то сказать, — холодно, ядовито произнес Хейлиг. — По-

моему, вы ровно ничего не смыслите. Рисунок отличный, все так считают. Сам Граушмидт говорит, это одна из его лучших работ. Он ее очень любит.

— Ну, natürlich!³¹ — съязвила Эльза и снова презрительно засмеялась. — Герр Граушмидт много чего любит. Прежде всего он любит себя. Любит все, что выходит из его рук. Любит музыку Пуччини, — стремительно продолжала она. — Он поет «Ave Maria». Он любит слезливые песенки Хильбаха. Любит, чтоб в комнатах был полумрак, красные абажуры и мягкие подушки. Он романтик и любит говорить о своих чувствах. Он думает: «Мы, люди искусства!»

Хейлиг пришел в ярость.

— Позвольте вам сказать... — начал он.

Но Эльзу было уже не сдержат. Она сердито отошла на шаг и снова повернулась, на щеках у нее горели два гневных пятна.

— Ваш друг, герр Граушмидт, любит разглагольствовать об искусстве. Он говорит: «Этот оркестр изумителен!»... а музыку не слушает. Он идет на шекспировский спектакль, а сам говорит: «Мэйер изумительный актер». Он...

— Позвольте вам сказать... — Хейлиг захлебнулся от злости.

— Он любит девочек на высоких каблуках, — задыхаясь, продолжала Эльза. — Он состоит в СА. Когда он бреется, он надевает на голову сетку. Он, разумеется, покрывает ногти лаком. Он собирает фотографии — свои и других великих людей. — И, задыхаясь, но торжествуя, она повернулась и сделала несколько шагов в сторону, чтобы успокоиться.

— Ну и публика! — проскрежетал Хейлиг. — О, Gott! От них с ума можно сойти! — Обернулся к Джорджу, произнес ядовито: — Позвольте вам сказать... Эта... эта особа... эта ваша Эльза фон Колер... она просто дура!

— Одну минуту, Франц. Я не согласен. Вы ведь знаете, какого я о ней мнения.

— Так вот, вы ошибаетесь, — сказал Хейлиг. — Вы не правы. Позвольте вам сказать, опять вы есть большой дурак. Ну, ладно, это не важно, — резко оборвал он себя. — Пойду куплю сигарет, а вы попробуйте поговорите с этой глупой бабой. — И, все еще задыхаясь от ярости, он круто повернулся и зашагал прочь.

Джордж подошел к Эльзе. Она все еще не успокоилась, быстро и тяжело дышала. Он взял ее за руки — они дрожали.

— Этот злобный человечек, — сказала она. — Его имя означает «святой», а сам он такой озлобленный... и он меня терпеть не может. Он тебя так ревнует. Он хочет, чтоб ты принадлежал ему одному. Он врал тебе. Попытался на меня наговаривать. А я все знаю! — горячо продолжала она. — Мне все рассказывают! Только я не слушаю! — сердито воскликнула она. — Ох, Джордж, Джордж! — Она вдруг взяла его за плечи. — Не слушай этого злобного человечка. Сегодня ночью (она понизила голос до шепота) мне приснился странный сон. Такой странный сон и такой хороший, чудесный... про тебя. Не слушай ты этого злобного человечка! — с жаром воскликнула она и тряхнула Джорджа за плечи. — Ты человек верующий. Ты художник. А художник всегда — верующий.

Тут на перроне показался Левальд и направился к ним. Розовое лицо его, как всегда, казалось здоровым и свежим. Неизменная жизнерадостность наводила на мысль, что он постоянно подбадривает себя спиртным. Даже в этот ранний час его, казалось, переполняло хмельное ликование. Он медленно, неуклюже двигался по перрону, покачивая широкими плечами и выпяченным животом, и все вокруг заражались его веселостью и невольно улыбались ему, улыбались весело, но и с оттенком уважительности. Ни круглая розовая физиономия, ни огромный живот не делали Левальда смешным. Впервые увидев его, люди поражались — до чего красив! Он не казался толстяком, скорее великаном. Он вперевалку шел по перрону, и все вокруг ощущали в нем непринужденную, но властную значительность. Его едва ли можно было принять за дельца, да притом дельца расчетливого и ловкого. Весь его

³¹ естественно, конечно (нем.)

облик скорее наводил на мысль о прирожденной, безотчетной склонности к богеме. Напрашивалась догадка, что он из военных — не из породы прусских офицеров, а из тех гуляк, кто уже отслужил свое, но еще недавно служил с удовольствием, радовался шумливому буйному товариществу, обжорству, выпивкам, похождениям с женщинами — да так оно и было.

Во всем его облике ясно читался огромный вкус к жизни. При встрече с ним каждый угадывал это в первую же минуту, оттого ему и улыбались. Казалось, в нем играет хмель, широкая натура, чуждая условностей. Вся повадка выдавала стихийную силу, что вырвалась за пределы привычного, заведенного порядка вещей. Он был из тех, кого распознаешь мгновенно, кто ярко и светло выделяется на фоне житейской серости, из тех, в ком ощущаешь неодолимое притягательное тепло, красочность и страсть. Его тотчас заметишь в любой толпе — совсем особенный, отдельный, он властно приковывает все взгляды, на него смотрят с волнением, с жадным интересом и долго будут помнить, хоть и видели-то краткий миг, как помнят единственную в пустом доме комнату, в которой была мебель и пылал камин.

И вот сейчас, еще издали, он стал шутливо грозить Джорджу пальцем и укоризненно качать большой головой. Подойдя, он хмельным гортанным голосом затянул начало непристойной песенки, которой он обучал Джорджа и которую они часто вместе певали в бесшабашные вечера, что проводили в доме Левальда.

— Lecke du, lecke du, lecke du die Katze am Arsch...³²

Эльза вспыхнула, но Левальд в последнюю минуту оборвал себя на полуслове и, снова погрозив Джорджу пальцем, воскликнул:

— Ach du!³³ — И потом, жуликовато помаргивая маленькими глазками и все время грозя пальцем, лукаво и ликующе протянул: — Плуты-ишка! Плуты-ишка! — И вдруг весело воскликнул: — Джордж, дружище! Где тебя, плута, носило? Я вчера тебя весь вечер искал, а ты как сквозь землю провалился!

Джордж не успел ответить — подошел Хейлиг с сигаретой в зубах. Джордж вспомнил, что эти двое уже встречались, но сейчас ни Хейлиг, ни Левальд ничем не обнаружили, что знают друг друга. Напротив, при виде маленького Хейлига веселое добродушие Левальда как ветром сдуло, на лице его застыло выражение ледяной сдержанности и подозрительности. Джордж так растерялся, что забыл о приличиях, и вместо того, чтобы познакомить Левальда с Эльзой, запинаясь, представил ему Хейлига. Тогда Левальд соизволил его заметить — чопорно, сухо поклонился. Хейлиг еле кивнул и ответил таким же холодным взглядом. Джордж совсем смутился и не знал, как быть, но тут Левальд вновь показал себя хозяином положения. Он повернулся к Хейлигу спиной и с прежней шумной, бьющей через край веселостью, схватив Джорджа за плечо мясистой ручищей и любовно похлопывая его другой рукой, закричал:

— Джордж! Где ж тебя носило, плутишка ты этакий? Почему в последние дни ко мне не заглядывал? Я ж тебя ждал!

— Да я... я... — начал Джордж, — право, я собирался зайти, Карл. Но я ведь знал, что ты придешь меня проводить, и как-то так получалось, что я не попадал в твои края. Понимаешь, столько дел оказалось...

— И у меня тоже! — воскликнул Левальд, дурашливо подчеркивая последнее слово. — У меня тоже, — повторил он. — Но я-то... я для друзей всегда нахожу время, — с упреком сказал он, и все похлопывал Джорджа по плечу, из чего явствовало, что не так уж он обижен.

— Карл, — сказал наконец Джордж, — ты, конечно, помнишь фрау фон Колер?

— Aber natürlich!³⁴ — воскликнул тот с преувеличенной любезностью, с которой всегда

³² Полижи, полижи, полижи-ка киску... (нем.)

³³ Ах ты! (нем.)

³⁴ Ну разумеется! (нем.)

обращался к женщинам. — Как поживаете, Gnadige Frau?³⁵ — сказал он и продолжал по-немецки: — Могу ли я забыть удовольствие, которое вы доставили мне, посетив один из моих приемов! Но с тех пор я ни разу не видел вас и все реже и реже видел старину Джорджа. — Тут он обернулся к Джорджу и, грозя ему пальцем, снова перешел на английский: — Ах ты плут! — сказал он.

Его игривая любезность не произвела на Эльзу ни малейшего впечатления. Лицо ее оставалось все таким же суровым. Она не давала себе труда скрыть пренебрежение к Левальду и лишь окинула его равнодушным взглядом. Однако Левальд словно бы ничего не заметил и опять шумно и цветисто обратился к ней по-немецки:

— Gnadige Frau, я вполне могу понять, почему вышеупомянутый Джордж меня покинул. Он нашел нечто куда более увлекательное, чем все, что мог ему предложить бедняга Левальд. — Тут он снова обернулся к Джорджу и, хитро помаргивая крохотными глазками и грозя пальцем перед самым носом Джорджа, лукаво и нелепо промурлыкал: — Плу-ут! Плути-иска! — словно говоря: «Ага, негодник, попался!»

Эту речь Левальд произнес единым духом в своей особой манере, — в манере, что вот уже тридцать лет известна всей Европе. Он грозил Джорджу пальцем с этакой детски наивной шаловливостью, и к Эльзе обращался грубовато, весело, дружелюбно и добродушно. И казалось — вот простая душа, сколько обаяния, сколько радостной доброжелательности ко всем на свете. Джордж не раз видел ату его повадку, когда тот при нем знакомился с новым автором, принимал кого-нибудь у себя в издательстве, когда разговаривал по телефону или приглашал друзей на прием.

И вот сейчас Джордж снова наблюдал глубокую разницу между манерой поведения и человеческой сутью. Грубоватая, дружелюбная откровенность была лишь маской, в которой Левальд предстал перед миром — так прикрывается изысканной грацией умелый матадор, готовясь нанести решительный удар нападающему быку. За этой маской скрывалась его истинная душа — хитрая, ловкая, изворотливая, коварная. Джордж снова заметил, какие у Левальда мелкие, острые черты. Большая светловолосая голова, широкие плечи и пухлые, отвислые, багрово-румяные щеки любителя выпить — все это было крупно, даже величественно, однако все прочее не подтверждало этого впечатления. Рот был на редкость крохотный и чувственный, и всегда на губах играла бесстыдная усмешечка, было в ней что-то хитрое, пронырливое, словно он втайне облизывался и у него постоянно слюнки текли в предвкушении всяческих непристойных пикантностей. И носик тоже маленький, востренький, ко всему приноживающийся. И маленькие, голубые глазки поблескивали коварной веселостью. Чувствовалось, что они все подмечают, им открыта вся человеческая комедия и они втихомолку наслаждаются ею, да притом еще в хитро забавляются ролью грубоватого простака, которую играет их обладатель.

— Пойдите-ка! — вдруг воскликнул Левальд и распрямил плечи, словно стараясь мгновенно стать серьезным. — Я вам кое-что принес от моя муж... Что такое? — прибавил он, когда Джордж ухмыльнулся, и с простодушным видом растерянно, вопросительно поглядел на всех троих.

То была обычная для его ломаного английского ошибка. Он всегда называл жену «моя муж» и нередко говорил Джорджу, что когда-нибудь он тоже найдет себе «хорошая муж». Но произносил он это слово с таким забавным простодушием, голубые его глазки на розовом пухлом лице поблескивали так ангельски невинно, что Джордж не сомневался: он ошибается нарочно, чтобы посмешить. Увидев, что Джордж смеется, Левальд озадаченно повернулся к Эльзе, потом к Хейлигу и, понизив голос, быстро спросил:

— Was, denn? Was meint Chorge? Wie sagt man das? Ist das nicht richtig englisch?³⁶

³⁵ сударыня (нем.)

³⁶ Что такое? Почему Джордж смеется? Что я такое сказал? Как это надо сказать по-английски? (нем.)

Эльза демонстративно отвернулась, словно не слышала его вопроса и больше не желала с ним разговаривать. Хейлиг тоже не ответил, лишь смотрел на Левальда все так же отчужденно и подозрительно. Однако холодность слушателей нисколько не смутила Левальда. Он комически пожал плечами, словно все это было выше его понимания, опять обернулся к Джорджу и сунул ему в карман небольшую фляжку немецкого коньяку, пояснив, что это «прислала» его «муж». Потом достал прелестно переплетенную тоненькую книжку, которую написал и проиллюстрировал один из его авторов. Он держал ее в руках и любовно перелистывал.

То было комическое жизнеописание — Левальд от колыбели до зрелости, — написанное в духе грубого гротеска, и, однако, эта безжалостная пародия, этот жестокий юмор обладает особой силой, и тут немцы не знают себе равных. На одном рисунке младенец Левальд, он же младенец Геркулес, душит двух грозных змей с головами его главных конкурентов-издателей. На другом юноша Левальд — подобно Гаргантюа — заставил жителей своего родного Кольберга в Померании покинуть тонущий город. Еще на одном Левальд — молодой издатель — сидит за столиком в кафе Энны Маенц и ловко отгрызает от края бокала куски стекла; он и в самом деле проделывал такое, чтобы, как сам он объяснял, «разрекламировать себя и свое дело».

Левальд заранее надписал Джорджу этот любопытный томик и подписался, а ниже поставил строки все той же непристойной песенки: «Lecke du, lecke du, lecke du die Katze am Arsch». Сейчас он захлопнул книжку и сунул ее Джорджу в карман.

И в эту минуту толпа всколыхнулась. Блеснул свет, носильщики двинулись по перрону. Джордж посмотрел вдоль путей. Подходил поезд. Он быстро приближался, огибая Зоологический сад. Огромная локомотивья морда с буферами, обведенными ярко-красной каймой, тупо надвинулась, миновала их, жарко дыша паром, и замерла. Скучный ряд вагонов посередине прерывался сверкающим красным пятном вагона-ресторана.

Все пришло в движение. Носильщик поднял тяжелый багаж Джорджа, быстро взобрался по ступенькам и нашел ему купе. В воздухе стоял слитный гул голосов, взволнованный шум расставаний.

Левальд схватил Джорджа за руку и, то ли похлопывая его по плечу другой рукой, то ли обнимая, сказал:

— Auf Wiedersehen³⁷, старина Джордж!

Хейлиг быстро и крепко пожал ему руку, горькое лицо его исказилось, словно от слез, и дрожащим, глубоким и трагическим голосом он произнес:

— Прощайте, прощайте, дорогой.

Потом Левальд и Хейлиг отвернулись, и Джорджа обняла Эльза. Плечи ее вздрагивали. Она плакала.

— Будь добрым, — говорила она сквозь слезы, — будь благородным, таким, каким я тебя знаю. Будь верующим. — Она обняла его крепче и, задышавшись, прошептала: — Обещай.

Он кивнул. И они слились: бедра ее разомкнулись и стиснули его ногу, пышное тело податливо прильнуло к нему, их губы неистово впились друг в друга — в последний раз они соединились в любовном объятии.

А потом он поднялся в вагон. Проводник захлопнул дверь. Поезд тронулся еще до того, как Джордж дошел до своего купе. И все эти люди, их лица, их жизнь стали медленно отступать.

Хейлиг все шел по перрону и махал шляпой, лицо его по-прежнему искажала скорбная гримаса. За ним, совсем рядом с поездом, шла Эльза — лицо суровое, отрешенное, рука прощально поднята. Левальд сорвал с себя шляпу и махал ею, светлые волосы в беспорядке вздымались над раскрасневшимся, хмельным лицом.

³⁷ до свиданья (нем.)

— Auf Wiedersehen, старина Джордж! — жизнерадостно крикнул на прощанье Левальд. Потом сложил руки рупором и завопил — Lecke du! — И Джордж увидел, как его плечи затряслись от смеха.

Потом поезд круто повернул. И все они исчезли.

41. Пятеро едущих в Париж

Поезд набирал скорость, мимо неслись улицы и дома западной части Берлина — солидные уродливые улицы и тяжеловесные уродливые дома в старонемецком стиле, по так красила их приветливая зелень и веселые ящики с алой геранью под окнами, так веяло порядком, обстоятельностью и покоем, что они всегда казались Джорджу знакомыми и милыми, точно тихие улочки и дома какого-нибудь маленького городка. Поезд уже мчался через Шарлоттенбург. Не останавливаясь, миновали они станцию, на перроне люди ждали городскую электричку — и, как всегда, сердце Джорджа сжалось томительным ощущением утраты. Упорно набирая скорость, длинный состав плавно мчал по эстакаде на запад.

Джордж не успел опомниться, как они уже неслись через предместья Берлина вон из города. Миновали аэродром. Промелькнули ангары, стайка сверкающих самолетов. Вот один серебристый самолет дрогнул, промчался по взлетной дорожке, задрал хвост, медленно отделился от земли и исчез из виду.

И вот город остался позади. Знакомые лица, люди, голоса, что были с ним всего лишь пять минут назад, уже казались далекими, как сон — они замкнуты в ином мире, в мире тяжеловесного кирпича и камня и мостовых, где теснятся бок о бок, точно в огромном улье, четыре миллиона жизней, в мире надежд и страхов, ненависти, боли и отчаяния, любви, жестокости и верности, — в мире, имя которому Берлин.

И вот уносится назад Бранденбургская равнина, пустынная, плоская северная земля, о которой он всегда слышал, что она уродлива, а она так ему растревожила душу, оказалась такой удивительной, незабываемо прекрасной. Теперь поезд со всех сторон обступили безлюдные, хмурые леса, выше всех деревьев возносились одинокие сосны, — прямые и стройные, как корабельные мачты, несли они на верхушках нетяжкий груз иглистой вечной зелени. Голые стволы их сияли дивной золотистой бронзой, словно обрел плоть некий волшебный свет. И меж стволами тоже все волшебно. Сумрак под кронами сосен такой золотисто-коричневый, и золотисто-коричневая земля без единой травинки, и сосны стоят одинокие, каждая сама по себе, — лес мачт, залитый тревожащим душу светом.

Порою лес исчезал, свет вырывался на простор, и поезд мчался по ровной обработанной земле, бережливо распаханной до самой железнодорожной насыпи. Мимо проносились фермы — постройки, крытые красной черепицей, аккуратны, будто по линейке, расставленные дома, хлева и амбары. А потом поезд снова погружался в тревожащее душу волшебство леса.

Джордж открыл дверь купе, вошел и сел подле двери. Напротив, в углу у окна, сидел молодой человек и читал книгу. Одет он был по последней моде и выглядел весьма элегантно. Спортивного покроя пальто в мелкую фигурную клетку, великолепный серый жилет из дорогой ткани под замшу, светло-серые брюки тоже из превосходного дорогого материала и серые замшевые перчатки. Он не походил ни на американца, ни на англичанина. В костюме его была щегольская, чуть ли не слащавая элегантность, которая отдавала чем-то средневропейским. И Джордж изумился, когда увидел, что этот франт читает американскую книгу: популярный труд по истории под названием «Сага о демократии» с маркой известной американской фирмы. Он озадаченно размышлял над столь странным сочетанием знакомого и незнакомого, но тут послышались шаги, голоса, дверь отворилась, и в купе вошли мужчина и женщина.

То были немцы. Женщина миниатюрная и уже немолодая, но пухленькая, живая, соблазнительная, с очень светлыми, совсем соломенными волосами и синими, как сапфиры, глазами. Она быстро, возбужденно говорила что-то своему спутнику, потом повернулась к Джорджу и спросила, свободны ли два других места. Он ответил, что, вероятно, свободны, и

вопросительно посмотрел на молодого щеголя в углу. Молодой человек на довольно ломаном немецком сказал, что места эти как будто свободны, и прибавил, что сам он сел в поезд на Фридрихштрассе и в купе никого не было. Женщина энергично, удовлетворенно кивнула и быстро, властно заговорила со своим спутником, — он вышел и тотчас вернулся с их багажом: двумя саквояжами, которые он уложил в сетку над их головами.

Эти двое казались не слишком подходящей парой. Женщина, хоть и гораздо привлекательней мужчины, явно была много старше — с виду лет под сорок, а то и сорок с хвостиком. Черты ее почти уже утратили свежесть и упругость юности, в уголках глаз виднелись тонкие морщинки, и по лицу ясно было, что это женщина зрелая, наделенная живым нравом, а также и мудростью, которая приходит с опытом. Фигура ее привлекала прямо-таки бесстыдной чувственностью, той откровенной соблазнительностью, которая нередко свойственна людям театра — хористкам или девицам из комического представления со стриптизом. На всем облике этой женщины словно бы лежала некая печать принадлежности к театральному миру. Во всей повадке ощущалась та преувеличенная пылкость, которая отличает и выделяет людей, причастных сцене.

Рядом с нею, такой уверенной в себе, такой искушенной и властной, так явственно отмеченной печатью театральности, спутник ее казался еще моложе, чем был на самом деле. Лет двадцати шести или около того, выглядел он совсем мальчишкой. От этого высокого, белокурого, довольно красивого молодца со свежим румянцем на щеках смутно веяло деревенским, слегка растерянным простодушием. Видно было, что ему не по себе, он не спокоен и не привычен к путешествиям. Почти все время он сидел, опустив голову или отвернувшись, и, если женщина не заговаривала с ним, молчал. Когда же она обращалась к нему, он весь вспыхивал от смущения, его свежие румяные щеки густо багровели и пылали, точно два ярких флага.

Джордж терялся в догадках: кто они? Зачем едут в Париж? Что их связывает? Почему-то чувствовалось, что это отнюдь не семейные узы. Эти двое явно не брат и сестра и, уж конечно, не муж и жена. Память услужливо подсовывала старую притчу о деревенском простаке, попавшем в сети бессердечной городской соблазнительницы, — быть может, она уговорила его свозить ее в Париж, и недалек час, когда простофиля окажется без гроша в кармане. Однако в женщине этой не было ничего отталкивающего, ничего, что подтвердило бы такую догадку. То было существо на редкость обаятельное и милое. Ничего порочного не было даже в ее поразительной чувственной привлекательности, такой дерзко откровенной, что стало даже неловко, едва эта женщина вошла в купе. Она, видно, не сознавала, какое производит впечатление, просто не прятала свою чувственность, держалась раскованно, с детски простодушной пылкостью ребенка.

Пока Джордж был занят этими размышлениями, дверь снова открылась и маленький, носатый, сердитый с виду человек заглянул в купе, свирепо и, как показалось Джорджу, подозрительно всех осмотрел и осведомился, есть ли здесь свободное место. Все сказали, что как будто есть. Получив такой ответ, он, ни слова не говоря, скрылся в коридоре и вновь появился с большим чемоданом. Джордж помог ему пристроить чемодан на багажной полке. Чемодан был такой тяжелый, что человек вряд ли справился бы с этим сам, однако услугу он принял с кислым видом, без единого слова благодарности, повесил пальто, повертелся, беспокойно огляделся, вынул из кармана газету, сел напротив Джорджа, развернул газету, со злостью захлопнул дверь купе и, недоверчиво оглядев попутчиков, погрузился в чтение.

Пока он читал, Джорджу время от времени удавалось поверх газеты разглядывать этого угрюмого пассажира. Не то чтобы в облике его было что-то зловещее — вовсе нет. Просто скучная, сердитая, раздражительная личность. Таких тысячами встречаешь на улицах, они ворчат и такси или рывкают на неосторожных шоферов — их всегда боишься получить в попутчики и горячо надеешься, что не получишь. Похоже было, он из тех, кто не просто закрывает, а захлопывает дверь купе, не спрашивая согласия прочих пассажиров, подходит к окну и с треском опускает окно, беспрестанно суетится и кипит и всеми доступными ему способами — сварливостью, капризами, причудами, брюзжаньем — будто нарочно старается

оказаться как можно неприятней и как можно больше досадить попутчикам.

Да, то был хорошо известный тип, во всем же остальном личность совершенно неприметная. Повстречав такого на улице, никогда не взглянешь на него еще раз и никогда потом его не вспомнишь. Лишь когда он навязет свое общество в тесной близости долгого путешествия и тотчас начнет ворчать и суетиться, точно докучная муха, вот тогда его запомнишь надолго.

И в самом деле, прошло совсем немного времени — и молодой франт в углу у окна чуть не разругался с ним. Молодой человек достал дорогой портсигар, вынул сигарету и с милой улыбкой спросил даму, не возражает ли она, если он закурит. Она с живостью дружелюбно ответила, что ничего не имеет против. Джордж услышал это с огромным облегчением, достал из кармана пачку сигарет и собрался было, по примеру молодого попутчика, насладиться сигаретой, но тут Брюзга со злостью потряс газетой, мрачно посмотрел на элегантного молодого человека, потом на Джорджа и, ткнув пальцем в табличку на стене, зловеще прокаркал:

— Nicht Raucher!³⁸

Что ж, это всем было известно с самого начала, но они не думали, что Брюзга станет придирааться. Молодой человек и Джордж не без испуга переглянулись, усмехнулись, поймали взгляд дамы, которую все это явно забавляло, и уже готовы были покорно спрятать еще не зажженные сигареты, но тут Брюзга опять потряс газетой, еще раз мрачно их оглядел и угрюмо сказал, что ему-то все равно... он не против, пускай курят... просто он хотел обратить их внимание, что это купе для некурящих. Намек был понятен: Брюзга желал отгородиться от совершаемого преступления; как и подобает законопослушному гражданину, он сделал все, что мог, предупредил их, а если они продолжают злонамеренно нарушать законы государства, он уже ни при чем. Они же, успокоившись, вновь достали сигареты и закурили.

Теперь, пока Брюзга читал газету, а Джордж курил, он мог еще понаблюдать за этим малоприятным попутчиком. И наблюдения его, подчеркнутые последующими событиями, навсегда запечатлелись у него в памяти. Он сидел и смотрел на хмурого попутчика, и этот человек представился ему каким-то мрачным мистером Панчем. Попробуйте вообразить Панча, лишеного веселости, остроумия, лукавой, по добродушной смекалки, попробуйте вообразить Панча капризного и раздражительного, который сердито хлопает дверьми, со стуком закрывает окна, бросает на попутчиков свирепые взгляды и во все сует свой длинный нос, — и вы получите некоторое понятие об этой личности. Нет, он не был горбун и карлик, как мистер Панч. Конечно, небольшого росточка, конечно, невзрачный, некрасивый человечек, но вовсе не карлик. А вот рдеющие румянцем щеки сразу напоминают о мистере Панче, и так же, как у мистера Панча, лицо у него круглое, точно у херувима, да только херувим стал брюзгой. Нос тоже напоминал нос Панча. Не совсем уж карикатурный нос крючком, но длинный, с мясистым обвисшим кончиком — так и чудилось, будто он подозрительно принюхивается, с жадным любопытством суется не в свое дело.

Вскоре Джордж уснул, боком привалясь к дверной раме. То было судорожное, тревожное забытье, плод волнения и усталости, не настоящий глубокий и отдохновенный сон, а полудрема: очнешься на миг, оглянешься по сторонам и вновь в нее погрузишься. Иногда он вдруг резко пробуждался и ловил на себе взгляд Брюзги, уж до того подозрительный, до того недобрый, только что не открыто враждебный. А один раз, когда Джордж проснулся, Брюзга так долго не сводил с него совсем уж злобного взгляда, что Джордж вскипел. Он уже готов был обругать этого типа, но тот, видно, что-то почуял, быстро опустил голову и опять углубился в газету.

Этот человечек был такой беспокойный и суматошный, что больше нескольких минут подряд проспать не удавалось. Он то и дело закидывал ногу на ногу, шуршал газетой, теребил дверную ручку, тянул ее, поворачивая, приоткрывал дверь и опять ее захлопывал, словно

³⁸ Для некурящих! (нем.)

боялся, что она ненадежно закрыта. То и дело он вскакивал, отворял дверь, выходил в коридор, несколько минут ходил там взад-вперед, глядел в окно на проносящиеся мимо картины и опять суетливо мерил шагами коридор — угрюмый, недовольный, заложив руки за спину, и на ходу нетерпеливо, нервно перебирал пальцами.

А поезд тем временем стремительно мчался вперед. Он жадно, целеустремленно пожирал пространство, и мимо проносились леса и поля, деревни и фермы, пашни и луга. Он чуть сбавил скорость, пересекая Эльбу, но так и не остановился. Через два часа после отправления из Берлина он ворвался под высоченные своды Ганноверского вокзала. Здесь предстояла десятиминутная остановка. Когда поезд замедлил ход, Джордж очнулся от дремоты. Но усталость все не отпускала, и он так и не встал.

Зато Брюзга поднялся и вслед за женщиной и ее спутником вышел на перрон глотнуть свежего воздуха и поразмяться.

Теперь в купе остались только Джордж и молодой франт в углу. Молодой человек отложил книжку и минуту-другую смотрел в окно, потом обернулся к Джорджу и с легким акцентом спросил по-английски:

— Где мы сейчас?

Джордж сказал, что они в Ганновере.

— Я устал ездить, — со вздохом произнес молодой человек. — Скорей бы уж оказаться дома.

— Где же это? — спросил Джордж.

— В Нью-Йорке, — ответил тот и, заметив на лице Джорджа некоторое удивление, поспешно прибавил: — По происхождению я, конечно, не американец, вы это понимаете по моему разговору. Но я принял американское гражданство, и мой дом — Нью-Йорк.

Джордж сказал, что и сам тоже там живет. Молодой человек спросил, долго ли он пробыл в Германии.

— Все лето, — ответил Джордж. — Я приехал в мае.

— И с тех пор были здесь... в Германии?

— Да, — ответил Джордж, — только десять дней провел в Тироле.

— Утром, когда вы вошли в купе, я сперва принял вас за немца. По-моему, на перроне с вами стояли немцы.

— Да, это были мои друзья.

— Но когда вы заговорили, по вашему выговору я понял, что вы уж никак не немец. Потом увидел, что вы читаете парижскую «Геральд», и решил — значит, вы либо англичанин, либо американец.

— Конечно, американец.

— Да, теперь я вижу, — сказал молодой франт. — А я по рождению поляк. Я уехал в Америку пятнадцати лет, но мои родные и сейчас живут в Польше.

— И вы, надо полагать, ездили повидаться с ними?

— Да. Я взял себе за правило навещать их примерно раз в год. У меня там два брата. — Было ясно, что он из семьи землевладельцев. — Вот от них я сейчас и еду. — Он немного помолчал, потом сказал с ударением: — Но больше не поеду. Теперь я не скоро у них буду. Я им так и сказал: хватит, хотят со мной повидаться, пускай приезжают в Нью-Йорк. А я Европой сыт по горло, — продолжал он. — Каждый раз, как приеду, меня тошнит. Хватит с меня этой дури, политики, ненависти, армий, разговоров о войне — всей этой чертовщины. Просто задыхаешься! — с досадой, с негодованием воскликнул он и, сунув руку во внутренний карман, вытащил какой-то листок. — Вот, не угодно ли взглянуть?

— Что это? — спросил Джордж.

— Бумажка... разрешение, черт подери... с печатью и подписью... позволяет мне вывезти из Германии двадцать три марки. Двадцать три марки! — с презрением повторил он. — Будто мне нужны их паршивые деньги!

— Знаю, — сказал Джордж. — Каждую минуту надо предъявлять какую-нибудь бумажку. Вы обязаны объявить свои деньги, когда приезжаете, обязаны объявить их, когда уезжаете. Если хотите, чтобы вам прислали из дому еще денег, на это тоже требуется бумажка. Я вам уже говорил, что уезжал ненадолго в Австрию. Так вот, пришлось потратить три дня, чтобы получить разрешение вывезти свои собственные деньги. Поглядите-ка! — воскликнул он и вытащил из кармана пригоршню бумажек. — Это все у меня набралось за одно лето.

Лед был сломан. Общее недовольство расположило их друг к другу. Джордж быстро убедился, что новый знакомец с присущим его народу патриотическим пылом стал страстным приверженцем Америки. Он сказал, что женился на американке. Нью-Йорк, заявил он, самый великолепный город на свете, только там и стоит жить, и он жаждет поскорей туда вернуться и уж больше никогда не уезжать.

А как насчет Америки?

— Ох, — сказал молодой человек, — как хорошо будет после всего этого вернуться в Америку. Ведь там мир и свобода... там дружба... там любовь.

Сам Джордж не мог бы столь безоговорочно одобрить свою родину, но вслух возражать не стал. Было бы просто жестоко охлаждать такую искреннюю пылкость. Притом Джордж и сам уже соскучился по дому, и великодушные, от всего сердца идущие слова молодого человека приятно согрели его.

За пылкими преувеличениями чувствовалась в них и какая-то правда. Этим летом, живя в стране, которую он прежде так хорошо знал, которая своей незабываемой прелестью и величием волновала его сильнее, чем любой другой край, где ему случалось бывать, в стране, где он так легко сходил с людьми, он впервые в жизни ощутил пагубный гнет неизлечимой ненависти и неразрешимых политических противоречий, ощутил сложнейшее переплетение козней и властолюбия, которое вновь опутало измученную переделами Европу, ощутил в воздухе неизбежность катастрофы, которая вот-вот разразится.

Джордж, как и его молодой попутчик, до тошноты устал и вымотался от всех этих ограничений, от того, что у всех были натянуты нервы, измучена душа; его изнурил рак неизлечимой ненависти, который не только отравил жизнь целых народов, но так или иначе въелся в частную жизнь каждого из его друзей, да и почти всех, кого он встречал. И потому, хоть новый его знакомец-соотечественник в своих славословиях и не знал меры, Джордж чувствовал, что слова его отчасти справедливы — сравнение не в пользу Европы. Он, как, должно быть, и его попутчик, понимал, что Америке недостает еще очень и очень многого. За Атлантическим океаном, увы, существует не только свобода, не только дружба, не только любовь. Но, как, наверно, и его новый знакомец, он чувствовал и другое: для Америки еще не все потеряно, и то, что она обещала, не погублено вконец. И он тоже рад был, что из атмосферы пагубного гнета возвращается домой, в Америку, ибо, хоть ей и многого недостает, там еще есть чем дышать и еще может налететь свежий ветер и очистить воздух.

Новый знакомец сказал, что в Нью-Йорке он сотрудник крупной маклерской фирмы на Уолл-стрит. После этого Джорджу надо было как-то представиться, и он сказал то, что только и мог сказать и что ближе всего было к правде, — что он работает на издательство. Тогда молодой человек заметил, что знает семью одного нью-йоркского издателя, вернее, это его друга. Джордж спросил, кто же это.

— Эдвардсы, — ответил тот.

Джорджа мгновенно пронизал трепет узнавания. Вспыхнул свет — и он вдруг понял, кто его попутчик.

— Я знаю Эдвардсов, — сказал он. — Они из лучших моих друзей. Мистер Эдвардс — мой издатель. А вы... вас зовут Джонни, да? А фамилию забыл, но я ее слышал.

Тот быстро, с улыбкой кивнул.

— Да, Джонни Адамовский, — сказал он. — А вы?... Как ваша фамилия?

Джордж назвал.

— Ну, конечно, — сказал молодой человек. — Я о вас знаю.

И вот они уже горячо пожимают друг другу руки, оба ошеломлены, охвачены тем

радостным изумлением, с каким люди постигают далеко не новую истину: как же тесен мир.

— Черт меня побери! — только и вымолвил Джордж.

Адамовский же, воспитанный лучше, сказал иначе:

— Просто поразительно вот так с вами встретиться. Очень странно... но чего в жизни не бывает.

И теперь, разумеется, они стали находить много точек соприкосновения. Оказалось, у них десятки общих знакомых. Они тут же с увлечением, с радостью принялись их обсуждать. Адамовский был в отъезде всего какой-нибудь месяц, а Джордж меньше полугода, но, подобно полярному исследователю, который несколько лет был отрезан от мира и вот наконец вернулся, Джордж жаждал услышать как можно больше о своих друзьях, об Америке, о доме.

К тому времени, когда остальные вернулись в купе и поезд тронулся, Джордж и Адамовский были поглощены беседой. Услыхав этот быстрый, оживленный разговор — конечно же, так разговаривать могут только знакомые, — три их попутчика даже испугались: ведь всего десять минут назад эти двое как будто совсем не знали друг друга. Маленькая блондинка улыбнулась им и села на свое место; так же поступил и ее спутник. Брюзга быстро, испытующе взглянул на Джорджа, на Адамовского и стал внимательно прислушиваться, словно надеялся, что, напрягши слух и ловя каждый незнакомый звук, сумеет все же постичь тайну этой внезапной дружбы.

Перекрестный огонь их беседы перекидывался из одного угла купе, где сидел Джордж, в другой, к Адамовскому. Джорджу было неловко от того, что прочим пассажирам, с которыми он до тех пор держался вежливо-отчужденно, они вдруг навязали свою дружескую беседу на непонятном для тех языке. Но Джонни Адамовский, видимо, всегда и со всеми чувствовал себя легко и непринужденно. Он нисколько не смущался. Порой он дружелюбно улыбался всем трем немцам, словно они тоже принимали участие в разговоре и могли понять каждое слово.

Его обаяние подействовало, — все постепенно оттаяли. Маленькая блондинка оживленно заговорила со своим спутником. А немного погодя к ним присоединился и Брюзга, так что теперь все купе жужжало, быстро перебрасываясь английскими и немецкими фразами.

Наконец Адамовский спросил Джорджа, не хочет ли он подкрепиться.

— Я-то сам, разумеется, не голоден, — равнодушно сказал он. — В Польше меня перекормили. Эти поляки едят весь день не переставая. И я решил, что до Парижа не возьму в рот ни крошки. Мне еда осточертела. А вы, может быть, отведаете польской кухни? — спросил он, показывая на большой пакет, что лежал рядом с ним. — Они наверняка позаботились, чтоб мне было чем полакомиться, — небрежно сказал он, — тут кое-что из имения моего брата, цыплята, куропатки. Мне-то не хочется. Нет аппетита. А вы, может, отведаете?

Джордж сказал — нет, он тоже не голоден. Тогда Адамовский предложил пройти в Speisewagen³⁹ и выпить.

— У меня еще остались марки, — небрежно произнес он. — Несколько я потратил на завтрак, и у меня есть еще семнадцать, не то восемнадцать. Больше они мне ни к чему. Они так и пропали бы зря. Но теперь, раз мы встретились, мне приятно будет их потратить. Пойдем посмотрим, что там найдется?

Джордж согласился. Они поднялись, извинились перед попутчиками и собрались уже выйти, но тут их удивил Брюзга: на ломаном английском он спросил Адамовского, не поменяется ли тот с ним местами. С несмелой вымученной улыбкой, которую он пытался сделать любезной, он сказал, что Адамовскому и другому господину (кивок в сторону Джорджа) будет удобнее разговаривать, сидя друг против друга, а сам он с удовольствием поглядит в окошко. Адамовский ответил равнодушно, с чуть заметным оттенком безотчетного презрения, — так польский дворянин говорит с человеком, который ему нисколько не интересен:

— Да, конечно, садитесь на мое место. Мне все равно, где сидеть.

³⁹ вагон-ресторан (нем.)

Они вышли из купе и пошли по вагонам несущегося с шумом поезда; они осторожно протискивались мимо пассажиров, которые в Европе, кажется, проводят столько же времени стоя в узких коридорах и глядя в окна, сколько сидя на своих местах, — и те прижимались к стенке или предупредительно отступали в купе. Наконец они дошли до вагона-ресторана, у входа их обдало жарким дыханием кухни, и они расположились за столиком в этом красивом, светлом и чистом вагоне.

Адамовский щедрой рукой заказал коньяк. Видно, он, как и подобало польскому аристократу, умел выпить. Единным духом осушив рюмку, он не без грусти заметил:

— Маловато. Зато хорошо и никакого вреда. Закажем еще. Надо повторить.

Приятно разгоряченные коньяком, беседа непринужденно и доверительно, словно давно и хорошо друг друга знали, — ведь они встретились при таких обстоятельствах и столько у них оказалось общих знакомых, что у обоих естественно возникло это ощущение давней близости, — они принялись теперь обсуждать трех своих попутчиков по купе.

— Эта дамочка... она довольно мила, — сказал Адамовский тоном многоопытного знатока и ценителя. — Она хоть и не первой молодости, но все равно очаровательна, правда? Женщина что надо.

— А ее спутник? — спросил Джордж. — Кто он, по-вашему? Не муж, конечно?

— Разумеется, нет, — не задумываясь, ответил Адамовский и продолжал с недоумением: — Любопытно. Он явно много моложе и не ровня ей... Он много проще.

— Да. Можно подумать, что он деревенский парень, а она...

— Вероятно, из театрального мира, — подхватил Адамовский. — Актриса. Или певичка из мюзик-холла.

— Вот именно. Она очень мила, но во многих отношениях даст ему сто очков вперед.

— Хотел бы я понять, кто они такие, — раздумчиво продолжал Адамовский, как человек, которому и в самом деле интересно все, что происходит вокруг. — Люди, с которыми сталкиваешься в поездах и на пароходах... они притягивают меня. Так много бывает странного. И вот эти двое... мне интересно. Очень бы хотелось знать, кто они такие.

— Ну а третий наш сосед? — сказал Джордж. — Этот коротышка? Беспокойный, суетливый человечек, который все пялит на нас глаза... по-вашему, он кто?

— А, этот, — холодно, с досадой произнес Адамовский. — Не знаю. Не важно. Скучный человечек... не все ли равно... Но, может, вернемся в купе? — предложил он. — Давайте поговорим с ними, вдруг удастся узнать, кто они такие. Ведь потом мы их уже никогда не увидим. Я люблю вот так разговаривать в дороге.

Джордж согласился. Его новый приятель подозвал официанта, спросил счет, расплатился, и из его убывающих двадцати трех марок все еще осталось десять или двенадцать. Они поднялись из-за столика и направились к своему купе, а поезд все мчался вперед.

42. Семья человеческая

Когда они вошли в купе, женщина улыбнулась им, и все трое посмотрели на них с явным любопытством и возросшим интересом. Было совершенно очевидно, что, пока Джордж и Адамовский отсутствовали, о них тут тоже думали и гадали.

Адамовский заговорил с остальными. Говорил он по-немецки не очень хорошо, но вполне понятно, и недостаточное знание языка нисколько его не смущало. Он был так самоуверен, так прекрасно собой владел, что храбро пускался в беседу на иностранном языке, не боясь осрамиться. Ободренные таким образом немцы дали волю своему любопытству и догадкам, на которые навела их встреча Джорджа и Адамовского, каким-то образом узнавших друг друга. Женщина спросила Адамовского, из каких он краев, — «Was für ein Landsmann sind sie?».

Он ответил, что он американец.

— А-а, вот как? — Она явно удивилась и тут же прибавила: — Но не по происхождению?

Родом вы не американец?

— Нет, — ответил Адамовский. — По происхождению я поляк. Но теперь живу в Америке. А вот мой друг... — все повернулись и с любопытством уставились на Джорджа, — и по рождению американец.

Все удовлетворенно закивали. И женщина, добродушно улыбаясь, с живым интересом спросила:

— А ваш друг... он человек искусства, да?

— Да, — ответил Адамовский.

— Художник? — чуть ли не с восторгом спросила женщина, добиваясь дальнейшего подтверждения своей догадки.

— Нет, он не художник. Он ein Dichter.

Слово это означало «поэт», и Джордж торопливо поправил: «ein Schriftsteller» — писатель.

Все трое переглянулись, удовлетворенно закивали: да, да, так они и думали, это было ясно. Теперь заговорил даже Брюзга — с глубокомысленным видом заметил, что это было видно «по его лицу». Остальные снова покивали, и женщина опять обратилась к Адамовскому:

— Но вы... вы не художник, правда? У вас какое-то другое занятие?

Он ответил, что он деловой человек... «ein Geschäftsmann», живет в Нью-Йорке и у него контора на Уолл-стрит. Название это явно было им знакомо, все трое закивали и снова уважительно протянули: «А-а!»

Потом Джордж и Адамовский рассказали им, как они познакомились, как никогда до сегодняшнего дня не виделись, но знали друг о друге через многих общих друзей. Все пришли в восторг: так они и думали. Их догадки подтвердились. Маленькая блондинка торжествующе кивнула и горячо заговорила со своим спутником и с Брюзгой.

— Ну что, говорила я вам? Я же это самое и сказала! Ну до чего же все-таки тесен мир, верно?

Теперь все чувствовали себя на редкость непринужденно, все оживленно, взволнованно, свободно разговаривали, словно старые друзья после долгой разлуки. Маленькая блондинка стала рассказывать о себе. У них с мужем небольшое предприятие по соседству с Александерплац. Нет, с улыбкой сказала она, этот молодой человек ей не муж. Он тоже человек искусства, художник, и работает у нее. Что у них за предприятие? Она засмеялась: нипочем не догадаетесь. Они с мужем изготавливают манекены для витрин. Нет, у них, в сущности, не мастерская, — тут в ее голосе зазвучала скромная гордость, — скорее небольшая фабрика. Они сами придумывают манекены. В общем, дело у них не такое уж маленькое. У них больше пятидесяти рабочих, а раньше было до сотни. Так что ей надо как можно чаще бывать в Париже — ведь Париж устанавливает моды на манекены тоже, не только на одежду.

Они, конечно, не покупают парижские модели. Mein Gott!⁴⁰ При нынешнем положении с деньгами это совершенно невозможно. Теперь деловому человеку и выехать-то из Германии трудно, а уж что-нибудь купить за границей и думать нечего. И, однако, как это ни сложно, раза два в год ей непременно нужно ездить в Париж, чтобы «быть в курсе». Она всегда берет с собой художника, и вот этот молодой человек впервые едет в таком качестве. Он вообще-то скульптор, но деньги зарабатывает, делая модели для их фабрики. В Париже он сделает наброски, срисует самые новые манекены, выставленные в витринах магазинов, а когда вернется, сделает точные копии, и фабрика изготовит их в сотнях экземпляров.

Адамовский заметил, что не представляет, как, при нынешних обстоятельствах, немцу удастся куда бы то ни было выехать. Сейчас иностранцу и то трудно получить разрешение на въезд и выезд. Такие теперь сложности с деньгами, так все запутано и нудно.

Джордж в дополнение рассказал, с какими сложностями он столкнулся во время своей недолгой поездки в австрийский Тироль. Он с огорчением показал полный карман всяких

⁴⁰ Боже мой! (нем.)

официальных бумаг, разрешений, виз и всяческих печатей, которые накопились у него за лето.

Все шумно подтвердили, что им тоже все это изрядно досажает. Блондинка заявила, что это глупо, утомительно, и для немца, у которого деловые связи за границей, просто невыносимо. И тут же верноподданнически прибавила, что это, конечно, необходимо. Но потом стала рассказывать, что ее трех-четырёхдневные поездки в Париж возможны только благодаря сложным торговым договоренностям и деловым связям во Франции, попыталась посвятить их в подробности, увязла в сбивающих с толку хитросплетениях счетов и балансов и в конце концов мило махнула ручкой в знак совершенного бессилия.

— Ach, Gott! Уж слишком это мудрено, слишком запутано! Не могу я вам рассказать... Я и сама толком по понимаю!

Тут в разговор вступил Брюзга и в подтверждение сослался на собственный опыт. Он берлинский юрист, сказал он, — ein Rechtsanwalt⁴¹, — и прежде у него были обширные деловые связи во Франции и в других частях Европы. Был он и в Америке, совсем недавно, в тридцатом году, ездил в Нью-Йорк на международный конгресс адвокатов. Даже говорит немного по-английски, — признался он с гордостью. И теперь он тоже едет на международный конгресс адвокатов, который откроется завтра в Париже и продлится неделю. Но даже такая короткая поездка сопряжена с серьезными трудностями. А что касается дел, которые прежде он мог вести в других странах, теперь это, увы, невозможно.

Он спросил Джорджа, переводились ли его книги на немецкий и выходили ли в Германии, и Джордж сказал, что выходили. Остальные исполнились нетерпеливого дружеского любопытства: всем хотелось знать названия книг и фамилию Джорджа. Тогда он написал им немецкие названия своих книг, фамилию немецкого издателя и свою. Все явно были заинтересованы и довольны. Блондинка спрятала бумажку в сумочку и с жаром заявила, что, возвратясь в Германию, непременно купит эти книги. Брюзга старательно все списал, сложил бумажку, сунул в бумажник и тоже сказал, что купит книги Джорджа, как только вернется домой.

Молодой спутник женщины, который время от времени робко, застенчиво, но чем дальше, тем уверенней вставлял свое слово в общую беседу, теперь достал из кармана конверт и вынул несколько открыток с фотографиями своих скульптур. То были мускулистые атлеты, бегуны, борцы, голые по пояс рудокопы и пышные обнаженные девы. Фотографии пошли по кругу, каждый внимательно их рассматривал, хвалил, находил что-нибудь достойное восхищения.

Потом Адамовский взял свой объемистый пакет, объяснил, что в нем всякая вкусная снедь из имения его брата в Польше, развернул пакет и предложил всем угощаться. Тут были дивные персики и груши, великолепные гроздья винограда, аппетитный жареный цыпленок, несколько жирных голубей и куропаток и прочие деликатесы. Немцы стали отказываться — нельзя же лишить его обеда! Но Адамовский горячо настаивал с неподдельным сердечным и щедрым радушием. Он тут же изменил своему прежнему намерению и заявил, что они с Джорджем все равно пойдут обедать в вагон-ресторан — и если никто сейчас не станет есть, вся эта снедь пропадет понапрасну. Тогда все принялись за фрукты, сказали, что они восхитительны, а блондинка пообещала немного погодя отведать цыпленка.

Наконец, сопровождаемые дружескими напутствиями, Джордж и его друг-поляк во второй раз покинули купе и отправились в вагон-ресторан.

Они долго и роскошно обедали. Начали с коньяка, потом последовала бутылка отличного бернкастелерского, и все это завершилось кофе и опять коньяком. Оба решили во что бы то ни стало потратить оставшиеся у них немецкие деньги: Адамовский свои десять или двенадцать марок, Джордж — пять или шесть, и обоим было приятно, что хитрую экономию

⁴¹ адвокат (нем.)

они счастливо сочетают с превосходной трапезой.

За едой они снова обсуждали своих попутчиков. Им нравились все трое, все, что они узнали от них, было так интересно! Женщина, провозгласили оба, просто очаровательна. И молодой человек, хоть и застенчив и робок, тоже очень мил. Теперь у них нашлось доброе слово даже для Брюзги. Когда его жесткая скорлупа расколослась, оказалось, что старый чудак не так уж плох. По сути своей он вполне доброжелателен.

— И это показывает, — негромко сказал Адамовский, — что на самом деле все люди хорошие, с каждым легко найти общий язык, в сущности, все люди расположены друг к другу... если бы только...

— ...если бы только... — повторил Джордж и кивнул.

— ...если бы только не эти чертовы политики, — заключил Адамовский.

Наконец они спросили счет. Адамовский высыпал на стол свои марки и сосчитал.

— Придется вам меня выручать, — сказал он. — Сколько их у вас?

Джордж высыпал на стол свои марки. Теперь хватало на все — и заплатить по счету, и дать на чай официанту. Можно было даже глотнуть еще коньяку и выкурить по хорошей сигаре.

И вот, улыбаясь от удовольствия (поняв их намерения, приветливо заулыбался и официант), они заказали коньяк и сигары, расплатились и, сытые, пьяные, с приятным сознанием хорошо сделанного дела, ублаженно попыхивали сигарами и смотрели в окно.

Теперь они проезжали по крупному промышленному району Западной Германии. Ландшафт уже не радовал глаз, все вокруг заволочено копотью и дымом мощных заводов. Повсюду высились суровые каркасы огромных сталеплавильных и очистительных комбинатов, повсюду земля была обезображена отвалами и грудями шлака. Все здесь было грубое, продымленное, все насыщено жизнью, трудом, мрачными муравейниками промышленных городов. Но и этот край обладал своим особым обаянием — эта мощь без прикрас ввергала в трепет.

Приятели беседовали о проносящихся за окном картинах, о своей поездке. Они хорошо сделали, что истратили немецкие деньги, сказал Адамовский. За границами рейха стоимость марки невелика, а до границы уже рукой подать; и при том, что их вагон следует прямо в Париж, им не понадобятся немецкие деньги на носильщиков.

Джордж опасливо признался, что при нем тридцать американских долларов, на которые у него нет немецкого разрешения. Почти вся последняя неделя в Берлине, сказал он, ушла на бюрократическую волокиту, связанную с отъездом: он без конца таскался по разным конторам пароходства, пытаясь получить документы для возвращения домой, телеграфировал Лису Эдвардсу, чтобы выслал еще денег, потом получал разрешение на эти деньги. В последнюю минуту обнаружил, что у него еще тридцать долларов, на которые нет официального разрешения. В отчаянии кинулся к знакомому, который служит в бюро путешествий, спросил, как теперь быть, и тот устало посоветовал положить деньги в карман и ничего про них не говорить; если сейчас спрашивать разрешения властей, он пропустит пароход; уж лучше рискнуть, а по его мнению, риск невелик, и ехать так.

Адамовский согласно кивнул, но доллары, на которые нет разрешения, посоветовал положить в жилетный карман, куда обычно деньги не прячут, и тогда, если их обнаружат и станут его спрашивать, он может сказать, что случайно сунул их туда и совсем про них забыл. Джордж сразу послушался и переложил злосчастные доллары.

Этот разговор снова вернул их к щекотливой теме правил, связанных с деньгами, и к трудностям, которые терпят их попутчики — немцы. Оба сошлись на том, что их новым друзьям приходится нелегко и что закон, который позволяет вывозить из Германии всего десять марок, равно иностранцам и немцам, если только у них нет особого разрешения на большую сумму, к людям деловым, вроде маленькой блондинки или Брюзги, явно несправедлив.

И тут Адамовского осенила блестящая идея, плод его великодушия и непосредственности.

— Но почему бы... — сказал он, — почему бы нам не помочь им?

— То есть? Каким образом?

— Так ведь у меня же есть разрешение вывезти двадцать три марки, — сказал он. — У вас разрешения нет, но каждый имеет право...

— ...вывезти десять марок, — сказал Джордж. — Вы хотите сказать, что мы оба потратили полагающиеся нам немецкие деньги...

— ...но все равно можем вывезти столько, сколько нам полагается. Ну да. По крайней мере, можно им это предложить.

— То есть чтобы они передали нам часть своих денег, пока мы не пересечем границу?

Адамовский кивнул.

— Да. Я могу взять двадцать три марки. Вы — десять. Это, конечно, немного, но хоть что-то.

Эта мысль мигом завладела ими. Поняв, что могут помочь людям, которые так пришлось им по душе, оба возликовали. Они сидели и радостно улыбались, но тут через вагон-ресторан прошел человек в форме, остановился у их столика — а во всем вагоне только он был еще занят, все остальные обедающие уже ушли, — и властно сообщил им, что в поезд вошел паспортно-таможенный контроль и что им надлежит вернуться на свои места и ждать проверки.

Они тотчас встали из-за стола и быстро двинулись по раскачивающемуся вагону. Впереди шел Джордж, а Адамовский шептал ему в затылок, что надо спешить, не то они не успеют предложить помощь своим попутчикам.

Едва войдя в купе, они объявили трем немцам, что контроль уже в поезде и осмотр начнется с минуты на минуту. Все взволновались, засуетились. Стали готовиться. Блондинка занялась своей сумочкой. Вытащила паспорт, потом стала обеспокоенно пересчитывать деньги.

Адамовский молча за ней понаблюдал, вынул свое разрешение на деньги, раскрыл и сказал, что у него есть официальное разрешение на двадцать три марки, сумма эта у него была, но он все потратил. Джордж последовал его примеру и объяснил, что он тоже потратил все свои немецкие деньги, и хотя особого разрешения у него нет, но на десять марок он право имеет. Женщина восторженно взглядела на одного, на другого и поняла, что они подружески предлагают помощь.

— Так вы можете... — начала она. — Но если вы хотите нас выручить, это просто чудесно!

— У вас найдется двадцать три марки сверх положенных? — спросил Адамовский.

— Да. — Она быстро кивнула, взглядела с тревогой. — У меня даже больше. Но если вы возьмете двадцать три марки и подержите их у себя, пока мы не переедем границу...

Адамовский протянул руку.

— Давайте, — сказал он.

Она поспешно сунула ему деньги, и они мигом очутились у него в кармане.

Брюзга в свой черед суетливо отсчитал десять марок и без единого слова протянул их Джорджу. Джордж сунул их в карман, и все, взволнованные, но торжествующие, слегка даже покраснев, откинулись на спинку сиденья и постарались принять невозмутимый вид.

Через несколько минут человек в форме отворил дверь купе, отдал честь и попросил предъявить паспорта. Начал он с Адамовского, нашел, что все в порядке, взял его разрешение на деньги, увидел двадцать три марки, проштемпелевал паспорт и вернул владельцу.

Потом повернулся к Джорджу, тот отдал ему паспорт и всевозможные бумаги, удостоверяющие его право на американскую валюту. Чиновник перелистал страницы паспорта, сплошь в штампах и печатях, которые ставились всякий раз, как Джордж получал доллары по чеку и менял их на марки. На одной странице чиновник задержал взгляд, нахмурился, внимательно взгляделся в печать, удостоверяющую возвращение Джорджа из

Австрии в Германию через Куфштейн, потом снова сверился с бумагами, которые ему вручил Джордж. Покачал головой. И спросил разрешение на деньги из Куфштейна.

Сердце у Джорджа подпрыгнуло, громко застучало. Он совсем забыл про куфштейнское разрешение! С тех пор у него столько накопилось всяких документов, он думал, это разрешение уже ни к чему. Он стал рыться в карманах, перебирать бесчисленные бумажки, которые у него еще оставались. Чиновник терпеливо ждал, но явно был обеспокоен. Все смотрели на Джорджа с тревогой, кроме Адамовского.

— Не торопитесь, — спокойно сказал Адамовский. — Оно где-нибудь среди прочих бумаг.

Наконец разрешение нашлось! И на его громкий облегченный вздох эхом отозвались соседи по купе. Кажется, чиновник был доволен. Он улыбнулся доброй улыбкой, взял разрешение, внимательно его прочел и вернул Джорджу паспорт.

Меж тем, пока Джордж судорожно рылся в своих документах, чиновник успел проверить паспорта женщины, ее спутника и Брюзги. У них как будто все оказалось в порядке, вот только блондинка призналась, что у нее сорок две марки, и чиновник с сожалением объявил, что должен оставить ей всего десять марок, а остальное отобрать. Деньги сохранят здесь, на границе, и, когда она поедет назад, ей их, разумеется, вернут. Она огорченно улыбнулась, пожалала плечиками и вручила ему тридцать две марки. Все остальное, видимо, было в порядке, так как чиновник поднял руку в знак нацистского приветствия и удалился.

Итак, это испытание позади! Все глубоко, облегченно вздохнули и посочувствовали очаровательной блондинке — все-таки она потерпела ущерб. И при этом они втихомолку торжествовали, ведь если бы не Адамовский, ущерб мог быть и побольше.

Джордж спросил Брюзгу, хочет он получить свои деньги назад прямо сейчас или после. Тот ответил, что лучше подождать, пока они окажутся в Бельгии. Он как бы невзначай заметил еще — никто в ту минуту не обратил внимания на его слова, — что по некоторым причинам, которых они не поняли, его билет действителен только до границы, а во время пятнадцатиминутной стоянки в пограничном городе Ахене он купит билет дальше, до Парижа.

Они уже подъезжали к Ахену. Поезд начал замедлять ход. За окнами снова проплывали приветливые возделанные земли и пологие холмы — картины скромные, мягкие, какие-то очень европейские. Иссушенный, измороженный край рудников и заводов остался позади. Они въезжали в предместья славного городка.

То был Ахен. Еще несколько минут, и поезд остановился перед вокзалом. Вот и граница. Здесь сменяют паровоз. Все вышли, Брюзга — очевидно, чтобы купить билет, все остальные — просто поразмяться и подышать.

43. Пойман

Адамовский и Джордж вместе сошли на перрон и решили поглядеть на локомотив. Немецкий паровоз, который дальше не шел и уступал место своему бельгийскому собрату, был великолепен: мощный, тяжелый, почти такой же огромный, как самые крупные американские паровозы. Он был превосходной обтекаемой формы с расчетом на большие скорости, и его тендер поражал глаз — ничего похожего Джордж в жизни не видел. Казалось, это соты из труб. Посмотришь через наклонные решетки, а там тысячами крохотных фонтанов бьют тончайшие струи кипящей воды. В этой сложной и прекрасной машине, во всем до последней мелочи, проявился опыт и редкостный инженерный гений ее создателя.

Зная, как важен, когда переезжаешь из страны в страну, тончайший миг перехода от одного народа, от одного образа жизни и поведения к другому, как яркие, внезапны первые мимолетные впечатления, Джордж с жадным любопытством ждал приближения бельгийского локомотива: хотелось увидеть, нельзя ли и по нему уловить разницу между могучим, сплоченным, неукротимо энергичным племенем, которое они покидают, и маленьким народом, на земле которого будут с минуты на минуту.

Пока Адамовский и Джордж разглядывали паровоз и размышляли обо всем этом, их

вагон и еще один, который тоже направлялся в Париж, отцепили от немецкого состава и подвели к цепочке вагонов по другую сторону перрона. Они было заторопились, но стоявший рядом железнодорожник сказал им, что времени еще сколько угодно, до отхода поезда не меньше пяти минут. Они еще немного подождали, и Адамовский вслух заметил, что это знак нынешнего жалкого состояния Европы — в великолепном составе, курсирующем между двумя крупнейшими городами, всего два вагона пересекают границу, да и те наполовину пусты.

Но бельгийский локомотив все не приходил, а станционные часы показывали, что время отправления уже настало. Опасаясь, как бы не опоздать, они торопливо зашагали по перрону. Нагнали свою соседку по купе, и все трое, дама посередине, поспешили к своему вагону.

Подойдя ближе, они сразу поняли: что-то произошло. Никаких признаков, что поезд сейчас отойдет. Проводник и железнодорожный охранник стояли рядом на перроне. Еще не давали никаких звонков. Они поравнялись со своим вагоном и увидели, что пассажиры столпились в коридоре, как-то напряженно застыв, — во всем этом было глухое предчувствие катастрофы, и у Джорджа тревожно забилося сердце.

За свою жизнь Джордж не впервые оказывался свидетелем подобных событий, и эти приметы были ему хорошо знакомы. К примеру, кто-то спрыгнул или упал из окна высокого здания на мостовую, кого-то застрелили или сшибла автомашина, и вот он лежит и тихо умирает на глазах у прохожих — и толпа при этом выглядит всегда одинаково. Еще прежде, чем увидишь лица людей, по тому, как они стоят, по их спинам, по наклону головы и плеч понимаешь, что произошло. Точные обстоятельства тебе, разумеется, неизвестны, но заключительный акт трагедии ощутишь мгновенно. Сразу поймешь: только что кто-то умер или умирает. И по ужасающе красноречивым спинам и плечам, по алчному молчанию зрителей ощутишь к тому же другую, еще более глубокую трагедию. Это трагедия людской жестокости и сладострастного любования чужой болью — трагическая слабость, которая развращает человека, которую он ненавидит в себе, но от которой не в силах излечиться. Ребенком Джордж видел ее на лицах мужчин, что стояли под окном убогого похоронного бюро и глядели на окровавленное, изрешеченное пулями тело негра, которого прикончили судом Линча. Четырнадцатилетним мальчишкой он опять видел ее однажды на лицах мужчин и женщин во время танцев, когда один из мужчин в драке убил другого.

И вот опять. Когда он и его спутники торопливо шли вдоль вагона и он увидел столпившихся в коридоре людей, по тому, как они алчно застыли, как ждали, вглядывались в страшном молчании, точно околдованные, он понял, что снова увидит смерть.

Это прежде всего пришло ему в голову: кто-то умер, — и об этом же, не сговариваясь, мгновенно подумали Адамовский и маленькая блондинка. Но когда они хотели подняться в вагон, всех их вдруг пронзила, ужаснула, пригвоздила к месту та же мысль — что трагедия, какова бы она ни была, разыгралась именно в их купе. Шторы были опущены, дверь закрыта и заперта, никакого доступа внутрь. Они застыли на перроне и молча смотрели. Потом увидели у окна в коридоре молодого спутника блондинки. Он поспешно, украдкой подал им знак не подходить ближе. И тут всех троих осенило: несомненно, жертвой рока стал маленький беспокойный человечек, который с самого утра разделял с ними компанию. Не слышалось ни звука, бог весть что происходило там, за спущенными шторами и закрытыми дверями, и эта неизвестность была ужасна. Все они не сомневались, что человечек этот, который поначалу казался таким неприятным, а потом постепенно вылез из своей раковины и подружился с ними и с которым всего пятнадцать минут назад они еще разговаривали, умер и теперь там заперлись представители власти и закона, чтобы по всем правилам удостоверить его смерть.

Потрясенные, пораженные ужасом, они не в силах были оторвать глаз от купе с пугающе опущенными шторами, как вдруг резко щелкнул замок, дверь открылась и тотчас вновь захлопнулась, вышел чиновник. Это был рослый, дородный дядя в фуражке с козырьком и в оливково-зеленой тужурке, лет сорока пяти, скуластый, краснолицый, с темно-рыжими усами торчком, в точности как у кайзера Вильгельма. Голова обрита наголо, затылок и мясистая шея — в глубоких складках. Он вышел, неуклюже спустился на перрон, махнул другому

полицейскому, возбужденно его окликнул и снова полез в вагон.

Люди этого склада и обличья хорошо известны, таких Джордж часто встречал и посмеивался над ними, но теперь, при загадочных и мрачных обстоятельствах, в нем чувствовалось что-то зловеще-отталкивающее. Самая его тяжеловесность и неповоротливость, то, как неуклюже он вылезал из вагона и взбирался обратно, его толстое брюхо, широченный жирный зад, вздрагивающие от волнения и важности воинственно торчащие усы, гортанный окрик, которым он звал другого полицейского, то, как он пыхтел и отдувался — олицетворение разгневанного блюстителя власти, — все черты, неизменно присущие людям этого типа, вдруг стали Джорджу мерзки и ненавистны. Внезапно, сам не зная почему, Джордж ощутил, что его сотрясает неистовая, непостижимая ярость. Сломать бы эту жирную, в глубоких складках шею! Разбить бы в лепешку эту распаленную тупую морду! Пнуть бы изо всей силы этот толстенный непристойный зад! Как все американцы, Джордж недолюбливал полицейских — чванных, упивающихся сознанием своей власти. Но то, что он испытывал сейчас, задыхаясь от жгучего, неистового бешенства, было несравнимо с прежней неприязнью. Ибо он знал, что беспомощен, как беспомощны все остальные, и это было мучительное чувство: ты бессилен, скован по рукам и ногам, и не одолеть тебе стену этой бессмысленной, но непоколебимой власти.

Полицейский с усами торчком, в сопровождении собрата, которого он позвал, снова отворил занавешенную дверь, и теперь Джордж увидел в купе еще двоих полицейских. И тот беспокойный человечек, их попутчик, — нет, он не был мертв! — он, сжавшись в комочек, сидел напротив них. Лицо у него было белое, совсем больное. Оно лоснилось, словно покрытое холодным жирным потом. Губы под длинным носом дрожали в мучительной попытке улыбнуться. И уже в том, как склонились над ним, допрашивая, двое полицейских, было что-то гнусное, нечистое. Но тут на порог ступил верзила с жирным затылком и все загородил. Он шагнул в купе, следом вошел второй полицейский. Дверь за ними закрылась, и снова — только спущенные занавески и зловещая таинственность.

Картина эта мелькнула перед глазами у всех собравшихся, и они недоуменно продолжали смотреть на дверь. Но вот те, кто стоял в коридоре, стали перешептываться. Маленькая блондинка подошла к открытому окну и шепотом заговорила со своим молодым спутником и еще несколькими пассажирами. Поговорила с ними минуту-другую со сдержанным, но все нарастающим волнением, вернулась к Джорджу и Адамовскому, взяла их под руки и шепнула:

— Пойдемте. Я хочу вам что-то сказать.

Она отошла с ними на противоположную сторону перрона, чтобы никто не мог ее услышать.

— Что случилось? — тотчас вполголоса спросили мужчины.

Она опасливо огляделась по сторонам и прошептала:

— Этот человек... ну, из нашего купе... он пытался уехать из Германии... и его поймали!

— Но почему? За что? Что он такого сделал? — изумились Джордж и Адамовский.

Она снова опасливо оглянулась, притянула их к себе поближе, так, что все трое почти соприкасались головами, и прошептала таинственно, испуганно, трепетно:

— Говорят, он еврей! И при нем нашли деньги! Его обыскивали... и его багаж обыскивали... он хотел вывезти деньги.

— Сколько? — спросил Адамовский.

— Не знаю, — шепотом ответила она. — Наверно, очень много. Кто-то сказал, сто тысяч марок. В общем, их нашли!

— Как же так? — начал Джордж. — Я думал, все уже позади. Я думал, когда они проверили нас в поезде, это уже все.

— Да, — подтвердила женщина. — Но помните, он что-то сказал насчет билета? Как будто у него билет не до конца. Наверно, он думал, так безопасней... надеялся, что, если возьмет билет только до Ахена, в Берлине это не вызовет подозрений. Ну вот, он сошел с поезда, хотел купить билет до Парижа, и тут его и поймали! — прошептала она. — Наверно,

они за ним следили! Наверно, они что-то подозревали! Потому ни о чем и не спрашивали, когда проверяли в поезде!

Теперь Джордж вспомнил, что «они» и в самом деле ни о чем Брюзгу не спросили.

— Но они, наверно, подкарауливали его и вот поймали! — продолжала она. — Они спросили, куда он едет, и он сказал — в Париж. Спросили, сколько у него с собой денег. Он ответил — десять марок. Потом они спросили, надолго ли он в Париж и с какой целью, и он ответил — на неделю, едет на конгресс адвокатов, вот про который он нам говорил. Тогда они спросили, как же он собирается жить в Париже неделю, если у него только десять марок. Я думаю, тут-то он и испугался! — шептала она. — Стал терять голову! Сказал — у него есть еще двадцать марок, он, мол, сунул их в другой карман и забыл про них. Ну, и на этом он, конечно, попался! Они его обыскали и его багаж обыскали! И нашли много, — с трепетом прошептала она, — много, много больше!

Все трое молча, ошеломленно глядели друг на друга. Потом женщина тихонько, пугливо засмеялась, невеселый этот смешок прозвучал неуверенно и тотчас оборвался.

— Этот человек... — снова зашептала она, — этот еврейчик...

— А я не знал, что он еврей, — сказал Джордж. — Вот бы не подумал.

— Но он правда еврей! — прошептала она и украдкой оглянулась, не слышит ли кто, не следят ли за ними. — И он поступил, как многие евреи... хотел удрать вместе со своими деньгами!

Она снова неуверенно засмеялась, чувствовалось, что она безмерно удивлена. Однако в глазах ее Джордж читал еще и тревогу.

И вдруг Джорджу стало как-то пусто, худо, скверно до тошноты. Он отвернулся, сунул руки в карманы — и мигом вытащил, словно ему обожгло пальцы. Деньги того человечка... они все еще у него! Теперь он уже нарочно сунул руку в карман и нащупал пять монет по две марки. Показалось — они жирные, будто вспотели. Джордж вынул их, зажал в кулаке и шагнул было к поезду. Женщина схватила его за руку.

— Куда вы? — ахнула она. — Что вы хотите делать?

— Хочу отдать ему его деньги. Я ведь его больше не увижу. Не оставлять же их у себя.

Она побелела.

— Вы с ума сошли? — прошептала она. — Неужели вы не понимаете, что ничего хорошего из этого не получится? Вас арестуют, вот и все! А он... он и так уже попал в беду. Вы только еще больше ему напортите. И потом... — она запнулась, — бог весть что он натворил, в чем уже признался. Если он вконец потерял голову... если признался, что мы передавали друг другу деньги... мы все пропали!

Об этом они не подумали. И, поняв, к чему теперь могут привести их добрые намерения, они стояли все трое и беспомощно переглядывались. Стояли оглушенные, бессильные, безвольные. Стояли и уповали на господа бога.

Но вот наконец дверь купе отворилась. Первым вышел полицейский с усами торчком, в руках у него был чемодан маленького пассажира. Усатый неуклюже спустился по ступенькам и поставил чемодан между ног. Поглядел по сторонам. Джорджу и остальным показалось, что он бросил на них свирепый взгляд. Они стояли едва дыша. У всех мелькнула одна и та же мысль: крышка, попались, вот сейчас вынесут и их багаж тоже.

Но почти тотчас из купе вышли остальные трое полицейских и между ними — задержанный. Они спустились на перрон и повели его — он был белый как полотно, все лицо в крупных каплях пота; он многословно, как-то нараспев протестовал, и в голосе его слышалась нестерпимая мука. Его вели мимо недавних попутчиков. Деньги его жгли руку Джорджа, и он не знал, как быть. Он шевельнул было рукой, хотел заговорить. И при этом отчаянно надеялся, что тот ничего ему не скажет. Хотел отвести глаза — и не мог. Человечек шел прямо к ним и, захлебываясь словами, твердил: он все объяснит, тут просто недоразумение... Проходя мимо прежних попутчиков, он на мгновение умолк, бегло глянул на них, смертельно бледный, улыбаясь все той же невыносимой, вымученной, полной ужаса улыбкой, на краткий миг глаза его остановились на этих троих — и, словно не узнав их, не

выдав их, ничем не показав, что знает их, он прошел мимо.

Женщина перевела дух и прислонилась к Джорджу. Они все как-то обмякли, словно лишились последних сил. Медленно прошли по перрону, поднялись в вагон.

Зловещее напряжение кончилось. Пассажиры лихорадочно заговорили, все еще вполголоса, но с явным облегчением. Маленькая блондинка высунулась из окна коридора и обратилась к усатому полицейскому, который все еще стоял у вагона.

— Вы... вы его не отпустите? — нерешительно, почти шепотом спросила она. — Вы... вы оставите его здесь?

Он равнодушно на нее посмотрел. И по грубому лицу лениво расплылась гнусная ухмылка. Он кивнул — не торопливо, самоуверенно и самодовольно, как насытившийся обжора.

— Ja⁴², — сказал он. — Er bleibt⁴³. — И, легонько покачивая головой, прибавил: — Geht nicht⁴⁴.

Да, бедняга попался. У дальнего конца перрона вдруг раздался пронзительный свисток бельгийского паровоза. Предостерегающе крикнул проводник. По всем вагонам захлопали двери. Поезд медленно тронулся. Прополз мимо того бедняги. Да, еще как попался. Полицейские обступили его со всех сторон. Он все протестовал, теперь уже размахивая руками. А четверо в полицейских мундирах молчали. Им незачем было говорить. Ведь он у них в руках. Они только стояли и смотрели на него, и на лице каждого чуть заметна была ленивая, гнусная ухмылка. Поезд катился мимо, и теперь они смотрели на пассажиров, а те, стоя у окна в коридоре, тоже смотрели на полицейских и в их взглядах, в этой гнусной, ленивой ухмылке читали их наглые, оскорбительные мысли.

А пойманный человек... посреди лихорадочных попыток что-то объяснить он вдруг запнулся. Когда мимо катился вагон, в котором он прежде ехал, он поднял побелевшее лицо и полные ужаса глаза, и на миг отчаянная мольба замерла у него на губах. Прямо, в упор он посмотрел на своих недавних попутчиков и они — на него. И во взгляде этом была вся безмерность смертной муки человеческой. Джордж и остальные почувствовали себя словно раздетыми, пристыженными, виноватыми. Все почувствовали, что прощаются не с каким-то одним человеком; а с человечеством; не с несчастным незнакомцем, не со случайным попутчиком, а со всем родом людским; и не просто безымянная песчинка исчезает позади, а скрывается из глаз лик брата.

Поезд прошел мимо, все набирая скорость, — и вот они потеряли его навсегда.

44. Путь без возврата

— Да, — сказал Адамовский Джорджу, — таков печальный конец нашего путешествия. Джордж молча кивнул. Потом все трое вернулись в купе и заняли свои прежние места.

Но здесь стало теперь как-то незнакомо и пусто. Словно зиял пугающий провал... Человек оставил здесь пальто и шляпу: за своими страданиями он про них забыл. Адамовский поднялся, взял вещи и хотел отнести проводнику, но женщина остановила его.

— Посмотрите-ка сперва в карманах, — сказала она. — Может, там что-нибудь есть. А вдруг... — быстро, нетерпеливо прибавила она, пораженная внезапной мыслью, и закончила шепотом: — Вдруг он оставил там деньги.

Адамовский проверил карманы пальто. В них не оказалось ничего достойного внимания. Он покачал головой. Женщина принялась шарить под подушками сидений, поглубже

⁴² да (нем.)

⁴³ он останется (нем.)

⁴⁴ не поедет (нем.)

засовывала руки по краям.

— Очень может быть, что он спрятал деньги здесь, — сказала она. И возбужденно, почти радостно засмеялась. — Вдруг мы все разбогатеем!

Молодой поляк покачал головой.

— Если бы и спрятал, их бы все равно нашли. — Он помолчал, посмотрел в окно и сунул руку в карман. — Похоже, мы уже в Бельгии, — сказал он. — Вот ваши деньги. — И он вернул ей ее двадцать три марки.

Она взяла их, положила в сумочку. Джордж все еще держал в руке десять марок маленького Брюзги и смотрел на них. Женщина подняла глаза, поглядела на него и быстро, ласково сказала:

— Да вы совсем расстроились! У вас такое огорченное лицо!

Джордж спрятал деньги.

— Я чувствую себя так, будто у меня в кармане плата за убийство, — сказал он.

— Нет, — возразила женщина. С улыбкой наклонилась к нему и ободряюще положила руку ему на плечо. — Это не плата за убийство, просто — еврейские деньги! — прошептала она. — Не беспокойтесь. У него их еще сколько угодно!

Джордж встретился глазами с Адамовским. Оба были мрачны.

— Таков печальный конец нашего путешествия, — негромко, почти про себя повторил Адамовский.

А женщина все говорила, говорила, — пыталась рассеять их уныние, пыталась забыться. Попробовала даже смеяться, пошутить...

— Уж эти евреи! — воскликнула она. — Если б не они, никогда бы ничего подобного не было! Это они во всем виноваты. Надо же Германии себя защитить. Евреи вывезли из страны все деньги. Тысячи евреев удрали и увезли с собой миллионы марок. А мы спохватились только теперь, когда уже поздно! Очень печально, что иностранцы все это видят... что им приходится переживать такие неприятные минуты... это производит плохое впечатление. Они ведь не понимают, чем это вызвано. Но во всем виноваты евреи! — прошептала она.

Никто не отозвался, и женщина продолжала — настойчиво, взволнованно, горячо, стараясь всех убедить. Но, кажется, больше всего она силилась убедить самое себя, словно всем, что было в ней немецкого, всей своей преданностью родине пыталась сейчас извинить и оправдать нечто такое, что переполняло ее душу горем и жгучим стыдом. Она говорила, смеялась, а в голубых ее глазах была печаль и тревога. И наконец она сдалась и умолкла. Настала тягостная тишина. Потом сумрачно, негромко женщина сказала:

— Должно быть, он отчаянно хотел вырваться за границу.

Теперь они припомнили все, что он говорил, все, что делал за время пути. Вспомнили, как он нервничал, поминутно открывал и закрывал дверь купе, то и дело вставал и принимался шагать по коридору. Говорили о том, как подозрительно и недоверчиво он оглядел всех, когда впервые вошел в купе, и как горячо попросил Адамовского поменяться с ним местами, когда тот уходил с Джорджем в вагон-ресторан. Помянули и его объяснения насчет билета, как он хотел купить билет от границы до Парижа. Все это, каждый его поступок, каждое слово и движение, которые казались такими обыденными или (думалось им тогда) просто-напросто выдавали дурной нрав, теперь наполнились новым и страшным значением.

— Но эти десять марок! — под конец воскликнула женщина, обернувшись к Джорджу. — Раз у него было столько денег, чего ради он дал вам эти десять марок? Это же нелепо! — возмущалась она. — В этом же не было никакого смысла!

Да, конечно, смысла никакого, разве что бедняга хотел их отвлечь, чтоб не заподозрили истинных его намерений. Так предположил Адамовский, и женщину это как будто убедило. Но Джорджу подумалось, что их попутчик скорее всего просто обезумел от нервного напряжения и страха и, уже не в силах рассуждать трезво, действовал вслепую, наобум, повинувшись минутному порыву. А как оно было на самом деле, они не знали. И уже никогда не узнают.

Джордж все еще маялся, раздумывая, как бы вернуть владельцу десять марок. Женщина

сказала, что назвала ему свою фамилию и дала свой парижский адрес — если ему потом все-таки разрешат уехать, он сможет ее там найти. Тогда и Джордж дал ей свой парижский адрес для передачи их бывшему попутчику, если от него будут какие-нибудь вести. Она обещала, но все они понимали, что никаких вестей от него уже не будет.

День клонился к вечеру. Теперь их окружала Бельгия. Поезд петлял меж очаровательных романтических холмов и рощ. В косых лучах предзакатного солнца казалось — вокруг теснятся таинственные непроходимые леса и мерцают прохладные темные воды.

Граница давно осталась позади, но женщина все еще задумчиво, тревожно глядела в окно и, заслышав проходящего по коридору проводника, окликнула его и спросила: правда ли они уже в Бельгии? Да, конечно, заверил он. Адамовский отдал ему пальто и шляпу прежнего попутчика, объяснил что к чему. Проводник кивнул, взял вещи и удалился.

Женщина слушала все это, прижав руку к груди, а когда проводник вышел, медленно, с облегчением вздохнула. Потом негромко, просто сказала:

— Поймите меня правильно. Я немка и люблю свою страну. Но... сейчас у меня такое чувство, словно отсюда (она снова приложила руку к груди) сняли какую-то тяжесть. Вам, наверно, не понять, что мы чувствуем, но... — Она помолчала минуту, словно бы мучительно подыскивая слова. И торопливо, негромко договорила: — Мы так счастливы оказаться не там!

Не там? Да, вот оно. Джордж вдруг понял, что чувствует эта женщина. Он тоже «не там» — он чужак на ее родине, который, однако, никогда прежде не ощущал себя там чужаком. Он тоже оказался вне этой великой страны, чей образ запечатлелся в его сердце с детства, еще до того, как он впервые там побывал. Он тоже оказался вне этой страны, которая прежде значила для него куда больше, чем просто страна, куда больше, чем просто место на земле. То был край душевных устремлений, непостижимое царство неведомого наследия. Он и сам не знал, почему так одержим красотой этой волшебной земли. Он понимал речь ее души еще прежде, чем там побывал, понимал ее язык, едва впервые его услышал. Он заговорил на этом языке, пусть ломано, с первого же часа — без труда, все понимая, совсем не так, как на чужом наречии. С самого начала он чувствовал себя свободно в стихии этого языка, и язык давался ему, как своему. Казалось, знание это дано ему от рождения.

Он познал там чудо, истину и волшебство, скорбь, одиночество и страдание. Он познал там любовь и впервые в жизни причастился яркой, обманчивой славе. И потому страна эта была ему не чужая. То был второй дом его души, дом, где обитает призрак таинственной страсти, волшебный край сбывшихся мечтаний. То была таинственная, потерянная Елена, что извечно пылала в его крови... таинственная, темная, потерянная Елена, которую он все же обрел.

А теперь он эту таинственную, обретенную Елену потерял. И, как никогда прежде, понимал сейчас всю безмерность утраты. Но и всю безмерность выигрыша. Ибо отныне путь этот навсегда закрыт для него — путь без возврата. Он уже «не там». А оказавшись не там, он стал различать иной путь, тот, что отныне лежит перед ним. Теперь он понял: домой возврата нет — никогда. Назад дороги нет. Внезапно, бесповоротно, будто навсегда захлопнулась дверь, кончилось для него время, когда таинственным его корням, точно корням комнатного растения, еще можно было питаться собственной сутью и питать в тесноте собственные мелкие, самодовлеющие замыслы. Отныне корни эти должны распространиться вовне, прочь от скрытого, тайного и непостижимого прошлого, которое держит дух человеческий в плену, — прочь из тесных пределов, к щедрой, животворной почве новой свободы, какую дает широкий мир всего человечества. И тут он мысленно увидел истинный дом человеческий, вне зловещих, затянутых тучами пределов повседневности, на зеленых, манящих надеждой, все еще девственных лугах будущего.

«И потому, — думал он, — прощай, старый наставник, чародей Фауст, отец извечного, раздираемого противоречиями человеческого разума; прощай, древняя земля, прощай, Германия, со всей мерой твоей правды, славы, красоты, волшебства и крушения; прощай,

таинственная Елена, пламенеющая в нашей крови, величавая королева, возлюбленная и чародейка, — прощай, темный, таинственный край, древняя земля, любовь моя, — прощай!»

КНИГА СЕДЬМАЯ «СТРЕМИТСЯ ВЕТЕР И СТРУЯТСЯ РЕКИ»

После всего, что Джордж Уэббер увидел и пережил в это последнее лето в Германии, он стал другим человеком. Впервые он лицом к лицу столкнулся с подлинным злом, издревле обитающим в душе человеческой, и это глубоко его потрясло. Не то чтобы в мыслях его вдруг произошел крутой поворот. Нет, его представление о мире и о своем месте в нем менялось постепенно, год от году, и это лето в Германии было лишь последним толчком. Оно резко высветило многие другие связанные между собой явления, которые Джордж наблюдал в самое разное время, и ему раз и навсегда стали ясны опасности, таящиеся в тех скрытых атавистических побуждениях, что унаследовал человек от своего мрачного прошлого.

Он понял, что гитлеризм — это еще одна вспышка древнего варварства. Расистские бредни и жестокость, и неприкрытое поклонение грубой силе, и подавление правды, и обращение к обману и мифам, и безжалостное презрение к личности, и безрассудная, безнравственная уверенность, что один человек вправе единолично судить и решать за всех, а добродетель всех — в слепом, беспрекословном повиновении, — любая из этих основ гитлеризма возвращала к свирепости древнего племенного строя, к обросшим шерстью тевтонцам, что хлынули с севера и сокрушили огромное здание римской цивилизации. Этот дух первобытного дикарства, который только и знает что алчность, похоть и силу, искони был подлинным врагом человечества.

Но дикарство это присуще не только Германии. Оно может проявиться в любом народе. Оно — чудовищная часть наследия, что досталось человеку от пращуров. Следы его ощутимы повсюду. У него множество личин, множество ярлыков. В разных формах оно проявляется и в Америке. Ибо оно процветает всюду, где поборники жестокости вступают в сговор, чтобы добиться своего, всюду, где торжествует закон «человек человеку — волк». И, поняв это, понимаешь также, что корнями Своими оно уходит в то первобытное, ужасное, что таится в далеком прошлом человечества. И чтобы не погрязнуть снова в дикости и не сгинуть с лица земли, но обрести свободу, человечество должно так или иначе выкорчевать эти корни.

Когда Джордж все это осознал, он принялся искать атавистические устремления в самом себе. Их оказалось немало. Любой найдет их в себе, если хватит честности поискать. Весь год после возвращения из Германии Джордж пытался понять, чего же он стоит. И в конце концов понял, а поняв, сумел ясно увидеть то новое направление, по которому давно уже ощупью пробиралась его мысль: теперь он знал, что мрачная пещера прародителей, утроба, из которой появилось на свет человечество, вечно влечет вспять, — но домой возврата нет.

В слова эти он вкладывал многое. Нет возврата в семью, в детство, нет возврата к романтической любви, к юношеским мечтам об известности, о славе, нет возврата в изгнание, к бегству в Европу, в чужую страну, нет возврата к наивной нежности, к желанию петь лишь бы петь, нет возврата к упоению красотой, к ребяческим представлениям об «избранности» художника, об искусстве, красоте и любви как самодовлеющих ценностях, нет возврата в «башню из слоновой кости», нет возврата в сельское уединение, в коттедж на Бермудах, подальше от борьбы и противоречий, раздирающих мир, нет возврата к отцу, которого давно потерял и тщетно искал, — к кому-то, кто поможет, спасет, снимет бремя с твоих плеч, нет возврата к старому порядку вещей, который некогда казался вечным, а на самом деле вечно меняется, — нет возврата в убежище Прошлого и Воспоминаний.

По сути, в словах этих выразилось все, чему научила его жизнь. И все, что он теперь знал, неумолимо толкало к самому трудному в его жизни решению. Весь год он сопротивлялся этому решению, говорил о нем со своим другом и редактором Лисхолом Эдвардсом, боролся с собой, не желая сделать шаг, который не миновать было сделать. Ибо пришел час расстаться

с Лисом Эдвардсом, отныне пути их расходятся. Нет, Лис не из числа этих новых варваров. Конечно, нет. Но Лис... что ж, Лис... Лис все понимает... И Джордж знал: что бы ни случилось, Лис всегда останется ему другом.

И вот в конце концов, после стольких лет, они расстались. И когда это свершилось, Джордж сел и написал Лису письмо. Пусть не останется между ними ничего неясного, недосказанного. Вот что он написал.

45. Юный Икар

«В последнее время, дорогой Лис, я много думал о Вас и о Вашем удивительном, но таком знакомом лице, — писал Джордж. — Раньше я никогда не встречал такого человека, и если бы не встретил Вас, никогда бы не подумал, что есть такие люди. И, однако, для меня Вы были неизбежны: я и представить не могу, как бы сложилась моя жизнь без Вас. Вы были моей путеводной звездой. Вы были волшебной нитью в огромной паутине, которая уже сплетена, закончена, завершена. Круг нашей совместной жизни завершается, и каждый завершает его на свой лад, дальше мы пойдем порознь. Конец, как и начало, тоже был неизбежен. И потому, дорогой мой друг и отец моей молодости, прощайте.

Прошло девять лет с тех пор, как я впервые появился в Вашей приемной. И меня не выгнали. Нет. Меня приняли, меня встретили радушно, подбодрили и поддержали как раз тогда, когда дух мой окончательно изнемог, мне дали жизнь и надежду, вернули самоуважение, восстановили доверие к себе; поверили в меня и тем помогли мне снова поверить в себя; Ваша помощь, Ваша благородная и неизменная вера в мои силы вдохновляли меня, все эти годы поддерживали меня в борьбе, вели наперекор сомнениям, смятению, наперекор отчаянию.

Но теперь дорога, по которой нам суждено было идти вместе, кончилась. Только мы двое и знаем, как бесповоротен этот конец. Мало кому довелось пройти такой законченный, такой великолепный круг, и потому прежде, чем уйти, я хочу его очертить.

Пожалуй, Вы подумаете — не рановато ли я стал, в тридцать семь лет, подводить итоги своей жизни. Нет, моя цель сейчас не в этом. Правда, тридцать семь не тот солидный возраст, когда можно сказать, что ты уже многому научился, но это уже и не так мало, кое-чему научиться успел. К этому времени человек прожил уже достаточно, чтобы можно было оглянуться назад, на пройденный путь, и увидеть иные события и периоды своей жизни в том соотношении и в той перспективе, в каких прежде увидеть не мог. Но теперь, оглядываясь назад, я вижу, что в определенные полосы моей жизни развивались, круто менялись не только самый дух, которым пронизана моя работа, но и мои взгляды на людей и на жизнь, и мое отношение к миру — и я хочу рассказать Вам о них. Поверьте, мной движет отнюдь не самомнение. Как Вы увидите, все, что происходило со мной, влекло меня словно по какой-то предначертанной орбите к Вам, к этому часу, к этому расставанию. Так что наберитесь терпения — а потом прощайте.

Начну с самого начала (теперь все ясно и понятно от первого до последнего шага!).

Двадцать лет назад, когда мне было семнадцать и я учился на втором курсе колледжа Пайн-Рок, я, как и многие мои однокурсники, обожал порассуждать о своей «философии жизни». То была излюбленная наша тема, и толковали мы об этом весьма серьезно. Уж не помню, какова в ту пору была моя «философия», знаю только, что она была и у меня, как у всех и каждого. Все мы в Пайн-Роке были завязанные философы. Мы с такой легкостью жонглировали внушительными терминами вроде «концепция», «категорический императив» и «момент отрицания», что вогнали бы в краску самого Спинозу.

Признаться, я и сам был на это мастер. В семнадцать лет я числился в колледже среди первых философов. «Концепции» меня, по моей молодости, ничуть не пугали, а на «моментах отрицания» я собаку съел. Я разбирался в них до тонкостей. И раз уж я принялся

хвастать, могу сказать, что получил самый высший балл по логике, такого балла за этот курс уже много лет не получал никто. Так что, сами видите, когда речь заходит о философии, мне и карты в руки.

Не знаю, как дела у нынешних студентов, но те, кто учился в колледже двадцать лет назад, философию принимали всерьез. Мы вечно рассуждали о божестве. Бесконечно спорили, пытаясь докопаться до сути «истины», «добра» и «красоты». На все это у каждого были свои взгляды. И сегодня у меня нет желания над ними посмеяться. Мы были молоды, пылки, мы были искренни.

Одно из самых памятных событий моих студенческих лет произошло, когда я шел как-то днем по двору нашего колледжа и столкнулся со своим однокурсником по имени Д.-Т. Джоунз, тоже завзятым философом, его чаще без церемоний величали Делириум Тременс⁴⁵. Он шел мне навстречу, и я с первого взгляда понял: с ним что-то стряслось. Он происходил из семьи баптистов, был рыжий, сухопар, угловат, и сейчас, ярко освещенный солнцем, весь он — волосы, брови, веки, глаза, веснушки, даже крупные костлявые руки — отчаянно, устрашающе пламенел.

Он шел из величавого леса, в котором мы посвящали друг друга в свои тайны и совершали воскресные прогулки. Это была также священная роща, здесь мы укрывались в одиночестве, когда бились над какой-то философской проблемой. Мы удалялись сюда, когда проходили, как это у нас называлось, «испытание отшельничеством», и отсюда появлялись торжествующие, когда нам удавалось это испытание пройти.

Оттуда и появился Д.-Т. Как он мне потом сказал, он пробыл там всю ночь. Его испытание оказалось удачным. Он скакал мне навстречу большими прыжками, точно кенгуру. На скаку выкрикнул коротко:

— У меня есть концепция!

Ошарашенный, я прислонился к старому дереву в поисках опоры, а он, то и дело высоко подпрыгивая, помчался дальше, чтобы возвестить о своем великом открытии всему нашему братству.

И все же меня сейчас это не смешит. В ту пору мы относились к философии серьезно, и у каждого была своя философия. Но у всех нас был наш собственный Философ. То был почтенный и великодушный человек, выдающаяся личность, какими некоторое время назад мог похвастать почти каждый колледж — надеюсь, они не перевелись и по сей день. На протяжении полувека он был самым влиятельным и уважаемым человеком во всем штате. В философии он исповедовал гегельянство. Ход его рассуждений во время курса, который он нам читал, был весьма сложен: он начинал с древних греков и вел нас через все «стадии развития» — к Гегелю. А что же после Гегеля? На этот вопрос мы ответа не получали. Да и не искали, ведь после Гегеля у нас был Он — наш Учитель.

Сегодня «философия» нашего философа уже не кажется мне значительной. В лучшем случае это переименованное заплатанное построение, созданное из чужих идей. Но зато значительным был он сам. Он был великолепный учитель, и заслуга его не в том, что он преподавал нам и полвека многим другим до нас свою «философию», но в том, что передал нам что-то от своего вечно деятельного, оригинального, подлинно могучего ума. Он был нашей жизненной энергией; во многих из нас он впервые вдохнул стремление задаваться вопросами. Он научил нас не бояться думать, не бояться спрашивать, научил подвергать сомнению самые священные и неприкосновенные в наших краях предубеждения и предрассудки. И, понятно, по всему нашему штату ханжи терпеть его не могли, а вот студенты души в нем не чаяли, прямо боготворили его. И зерно, которое он посеял, дало всходы, и они росли еще долго после того, как Гегель, «концепции», «моменты отрицания» и прочее погрузилось в пучину забвения.

Примерно в ту пору я начал писать. Я был редактором студенческой газеты и писал

⁴⁵ От лат. *delirium tremens* (белая горячка).

рассказы и стихи для нашего литературного журнала «Ореол», в редколлегии которого тоже состоял. Шла война. Я был слишком молод, чтобы воевать, но в первых моих пробах пера сквозят патриотические идеи той поры. Помню, одно мое стихотворение (кажется, самое первое) метило напрямик в злополучного кайзера Вильгельма. Называлось оно дерзко «Перчатка» и написано было тем же размером и в том же стиле, что и «Современный кризис» Джеймса Рассела Лоуэлла. Помню также, что с самого начала я взял весьма приподнятый тон. Поэт, писал я, это бард и пророк, он сам — грубый язык народа. Таков был и я! Именем приведенной в боевую готовность демократии я задал кайзеру перцу. Особенно мне запомнились две строчки, в которых, как мне казалось, звучал голос самой оскорбленной Свободы:

Ты бросил нам перчатку,
Так получай же по заслугам, пес!

Я запомнил эти строчки, потому что из-за них в редколлегии журнала разгорелся спор. Более осмотрительные считали, что «пес» — слишком резко: не то чтобы кайзер этого не заслужил, нет, просто слово слишком грубое, не гармонирует с высоконравственным звучанием стихотворения в целом и с литературным уровнем «Ореола». Вопреки моему бурному протесту и не считаясь со стихотворным размером, слово это вычеркнули.

В тот же год я написал еще одно стихотворение, веселое, о крестьянине, который пахал землю у себя во Фландрии и наткнулся на череп; он продолжал мирно пахать, а могучие пушки грохотали, и череп «своей ужасной тайне ухмылялся». Припоминаю и первый мой рассказ под названием «Виргинский винчестер» — про юношу из хорошей семьи, который смалодушничал было, потом набрался мужества, кинулся в атаку и погиб, но восстановил свою честь. Насколько помню, это и есть мои первые литературные опыты; сразу видно, что важную роль играла в них минувшая война.

Я говорю все это, просто чтобы показать, с чего я начинал. Это были первые шаги.

То, что со мной произошло с той поры, в последние годы не раз пытались объяснить одной историей, которая случилась со мной в колледже. По-моему, я никогда Вам о ней не рассказывал. Не оттого, что стыдился своей роли в ней, и не оттого, что боялся об этом говорить. Просто к слову не пришлось; я даже как-то про это забыл. Но сейчас, когда мы расстаемся, лучше, пожалуй, рассказать: для меня жизненно важно, чтобы одно было совершенно ясно — я отнюдь не ожесточенный мученик, не жертва чего-либо, что случилось в прошлом. Да, конечно, было время, когда меня переполняла горечь. Вы прекрасно об этом знаете. Было время, когда мне казалось — жизнь меня предала. Но теперь эта излишняя чувствительность прошла, и с ней прошла горечь. Это чистая правда.

Но вернемся к той, истории.

Как Вы знаете, Лис, когда первая моя книга вышла в свет, мой родной город на меня ополчился. И тогда так называемую «ожесточенность» книги попытались объяснить тем, что в пору колледжа меня однажды лишили гражданских прав. Теперь пайн-рокская история известна всему округу Старая Кэтоуба, а к тому времени, когда книга моя вышла, имена главных участников были уже почти забыты. Но оттого, что среди участников был я, опять пошли разговоры и ту чудовищную трагедию вновь вытащили на свет божий.

Припомнили, да помилует бог всех, кто в ту пору хранил молчание, что однажды ночью пятеро студентов повели своего однокурсника Белла на спортивную площадку, завязали ему глаза и заставили плясать на бочке. Припомнили, что он споткнулся, упал с бочки прямо на горлышко разбитой бутылки, перерезал яремную вену и за пять минут истек кровью и умер. Пятеро студентов — я, Рэнди Шеппертон, Джон Брэкет, Стоуэл Андерсон и Дик Карр — были исключены из колледжа, преданы суду, отданы под опеку родителей или близких родственников и особым постановлением лишены гражданских прав.

Все это так. Но, когда книга моя вышла в свет, историю эту истолковали превратно. Никто из нас пятерых, на мой взгляд, не стал «конченным человеком» и не «ожесточился», что и подтверждает вся наша дальнейшая жизнь. Конечно же, трагические последствия нашего поступка (а из пятерых лишенных гражданских прав по крайней мере трое — не стану говорить, кто именно, — были всего лишь зрителями) наложили темный, страшный отпечаток на нашу юность. Но прав был Рэнди, когда прошептал мне в ту ужасную ночь, пока мы стояли, бледные, беспомощные, и при свете луны смотрели, как несчастный мальчик истекает кровью:

— Мы ни в чем не виноваты... просто мы безмозглые дураки!

Да, такое чувство было у всех нас в ту ночь, когда мы в ужасе стояли на коленях вокруг умирающего товарища. И я знаю, то же чувствовал и сам Белл — он видел ужас и раскаяние на наших побледневших лицах и, умирая, пытался нам улыбнуться, что-то сказать. Он не мог выговорить ни слова, но все мы знали: если бы ему это удалось, он сказал бы, что жалеет нас, что понимает — это мы не со зла, нет, просто по глупости.

Мы убили его... его убила наша бездумная дурь... по, умирая, он только это и мог бы сказать нам в осуждение. И мы разбили сердце нашего Платона — нашего Учителя Гранта, нашего Философа... но когда в ту ночь он посмотрел на несчастного Белла и потом повернулся к нам, он тоже только и сказал вполголоса: «О господи, мальчики, как же это вы?»

И все. Даже отец Белла и тот не сказал нам ничего другого. И когда первая буря миновала, когда затих прокатившийся по всему штату вопль возмущения и негодования, у нас осталось сознание непоправимости сделанного, остался роковой, неотступный вопрос «Почему?», безжалостно стучавшийся в душу, и это было нам самой суровой карой.

Очень скоро все тоже поняли и почувствовали это. Вспышка гнева, из-за которой нас лишили гражданских прав, быстро погасла. Спустя три года нас даже восстановили без шума в правах гражданства. (А мне в ту пору было только восемнадцать, и потому нельзя даже сказать, что я лишен был права голоса.) Через год после исключения нам всем разрешили вернуться в колледж и доучиться. Сердца людей смягчились, более того, скоро все уже порешили так: «Они это не нарочно. Просто они были круглые дураки». Позднее, к тому времени, когда решено было восстановить нас в правах гражданства, общественное мнение стало совсем снисходительно, в сущности, нас уже простили. «Они достаточно наказаны, — говорили люди. — Они тогда были совсем еще дети... и ведь они не нарочно. Да притом (еще довод в нашу пользу) это стоило жизни одному, зато покончило с издевательствами над новичками по всему штату».

Что же касается дальнейшей судьбы нашей пятерки... Рэнди Шеппертона уже нет в живых, но Джон Брэкет, Стоуэл Андерсон и Дик Карр вполне преуспели в жизни. Когда я в последний раз виделся со Стоуэлом Андерсоном, — а он адвокат и политический деятель в своем округе, — он сдержанно сказал мне, что тот случай ничуть не повредил его карьере, скорее даже помог.

— Если люди видят, что ты живешь как положено, они охотно забывают, что однажды ты оступился. Они не только готовы простить, по-моему, они даже рады протянуть руку помощи.

«Если люди видят, что ты живешь как положено!» Не стану вдаваться в объяснения, но думаю, что этим все сказано. После той истории ни у кого не вызывало сомнений, что трое из нас — Брэкет, Андерсон и Карр — «живут как положено», я думаю, участие в пайн-рокской истории даже усилило в них естественное стремление «жить как положено». Уверен также: обвинения в безнравственности, в том, что я живу «не так, как положено», которые посыпались на меня, когда вышла моя первая книга, были бы еще злей и беспощадней, если бы со мной не дружили такие приличные люди, как Брэкет, Андерсон и Карр.

Понимаете, Лис, не стоило бы тратить время и вытаскивать на свет этот неизвестный Вам случай из моей жизни, но я подумал: а вдруг Вы когда-нибудь услышите о нем и как-нибудь не так истолкуете? В Либия-хилле кое-кто полагает, что та история вполне объясняет появление моей книги. Вот и Вы тоже могли бы поверить, что она искалечила и ожесточила меня и имеет какое-то отношение к тому, что произошло теперь. Девять десятых Вашего ума

и сердца отлично понимают, почему я должен с Вами расстаться, но одна десятая все еще недоумевают, и Вы, конечно, будете доискиваться ответа. Иногда Вы пытались спорить со мной по поводу моего, как Вы полушутя его называли, «радикализма». Я уверен, нет во мне никакого радикализма или, может быть, есть нечто совсем иное, чем то, что называете этим словом Вы.

Так что, поверьте мне, случай в Пайн-Роке тут ни при чем. Он ничего не объясняет. Скорее наоборот. Естественно было бы предположить, что меня, как и остальных участников, он заставил особенно упорно стремиться жить как положено, придерживаться общепринятого порядка вещей.

У Вас есть друг по имени Хант Конрой. Вы нас познакомили. Он всего на несколько лет старше меня, но он одержимо отстаивает права «потерянного поколения», как он его называет, — поколения, весьма громогласным членом которого был он сам и к которому рад был бы причислить и меня. Мы с Хантом не раз об этом спорили.

— Вы тоже принадлежите к этому поколению, — мрачно заявлял он. — Вы появились в одно время. Тут уж никуда не денешься. Хотите вы того или нет, а вы тоже из этого поколения.

На что я всякий раз грубо отвечал:

— Нечего меня тащить, куда не надо!

Если Ханту так уж хочется принадлежать к потерянному поколению, его дело, вот только подозрительно, как люди любят эту роль разочарованных и отчаявшихся. Но меня он не получит. Если меня сочли достойным этой компании, так без моего ведома и против моей воли, и я отказываюсь от такой чести. Я вовсе не ощущаю и никогда не ощущал, что принадлежу к какому-то потерянному поколению. По правде сказать, я вообще сильно сомневаюсь, что есть такое потерянное поколение, разве только считать потерянным всякое поколение, оттого что оно идет ощупью. Впрочем, недавно мне пришло в голову, что если у нас в Америке и правда есть потерянное поколение, оно, вероятно, состоит из тех уже немолодых людей, которые по сей день объясняются на языке, бывшем в ходу до 1929 года, и никакого другого языка не знают. Да, конечно, эти люди потерянные. Но я не из их числа.

Хоть я и уверен, что никогда не принадлежал ни к какому потерянному поколению, однако сам по себе я, Джордж Уэббер, чувствовал себя потерянным. Быть может, Лис, еще и поэтому я так долго и так отчаянно нуждался в Вас. Я чувствовал себя потерянным и искал кого-то, кто был бы старше меня и мудрей и мог бы вывести меня на дорогу, и я нашел Вас, и Вы заменили мне моего покойного отца. За девять лет, что мы знакомы, Вы действительно помогли мне выйти на дорогу, хотя, наверно, и сами не знали, как Вы это сделали, но теперь дорога ведет не в ту сторону, куда Вам бы хотелось меня вести. Дело в том, что теперь я уже не чувствую себя потерянным и сейчас объясню Вам почему.

Когда я вернулся в Пайн-Рок, прослушал весь курс целиком и закончил колледж, — а было мне тогда всего двадцать, — в мыслях и в душе у меня царили отчаянная путаница и смятение. Меня послали в колледж, чтобы я, как говорилось в те времена, «подготовился к жизни», но, похоже, занятия в колледже привели как раз к тому, что я оказался к ней совершенно неподготовленным. Я родился в одном из самых старозаветных уголков Америки и в одном из самых старозаветных семейств в тех краях. Все мои предки, кроме последнего поколения, были сельские жители, которые так или иначе кормились от земли.

Отец мой, Джон Уэббер, всю свою жизнь был рабочим. С двенадцати лет руки у него были в мозолях. Как я Вам не раз говорил, был он от природы человек на редкость способный и толковый. Но, подобно многим другим, кто не мог получить образования, он все свои честолюбивые помыслы перенес на сына: больше всего на свете хотел, чтобы я это образование получил. Он умер как раз перед моим поступлением в колледж, но оставил деньги, и на них я учился. Вполне естественно, что люди вроде моего отца думали, будто официальное образование готовит человека к практической жизни, а оно этого не может, да и не должно. Моему отцу колледж казался какой-то волшебной дверью, которая не только

раскрывает перед входящим сокровищницу знаний, но и позволяет выйти на любую дорогу к благополучию и преуспеянию, какую он пожелает избрать, пройдя через храм науки. И вполне естественно было такому человеку, как мой отец, думать, что преуспеть легче всего на одной из самых торных, всеми одобряемых дорог.

Перед смертью он выбрал дорогу, по которой непременно хотел меня направить, — одну из ветвей инженерии. И упрямо противился выбору Джойнеров — юриспруденции. Ему редко приходилось сталкиваться с законами, а об адвокатах он был весьма невысокого мнения, называл их обычно «бессовестными крючкотворами». Когда он умирал и я приехал с ним проститься, последний его совет был такой:

— Научись что-то делать, научись что-то сооружать... для того и колледж.

Горше всего он жалел о том, что в молодые годы бедность помешала ему выучиться еще какому-то мастерству и он остался лишь плотником и каменщиком. Он был хороший плотник, хороший каменщик; под конец он любил называть себя строителем, и, конечно же, он был строитель, но, должно быть, ощущал в себе, подобно глухому, невысказанному страданию, еще и не нашедшую выхода способность проектировать и конструировать. Знай он, как странно преломилась во мне жажда «делать» и «сооружать», он наверняка был бы глубоко разочарован. Не знаю, какая крайность — юриспруденция или писательство — была бы ему ненавистней.

Но к тому времени, когда я окончил колледж, стало совершенно ясно, что если я куда-то и похужу, то уж никак не в инженеры и не в юристы. Для инженера мне не хватало способностей к технике, а для юриста, как мне еще предстояло убедиться в последующие годы, я был, пожалуй, слишком честен. Так что ж было делать? Мое пребывание в колледже отнюдь не отмечено блестящими достижениями по части наук, если не считать высшего балла по логике, да в довершение всего — позорное соучастие в той пайн-рокской истории и временное исключение. Я не оправдал честолюбивых надежд ни отца, ни джойнеровской ветви нашей семьи. Отца давно нет в живых, а Джойнеры уже махнули на меня рукой.

Вот почему мне так трудно было признаться, даже самому себе, что меня одолевает странная, непрактичная тяга к писательству. Это бы только подтвердило худшие подозрения родных на мой счет, — боюсь, из-за этих подозрений я и сам стал думать о себе худо. И потому впервые я признался себе в этой тяге довольно уклончиво. Сказал себе, что хочу заняться журналистикой. Теперь, оглядываясь назад, я хорошо понимаю, откуда взялось это решение. Весьма сомнительно, чтобы в двадцать лет я жаждал, как мне тогда казалось, стать газетчиком, но мне удалось себя в этом убедить, потому что в ту пору я не знал другого способа хоть как-то писать и этим зарабатывать на жизнь, кроме работы в газете, — значит, в глазах всего света и в моих собственных я не трачу время зря.

Просто и прямо сказать родным, что я хочу стать писателем, нечего было и думать. Если выражаться современным языком, писательство означало «приятную работу, если только ее достанешь». В сознании Джойнеров, да и в моем тоже, писатель был человеком какого-то иного мира. Писатель — это романтическая личность вроде лорда Байрона, или Лонгфелло, или... или это Ирвин Ш.Кобб... какая-то чудесная сила одарила его умением складывать слова в стихи, рассказы и романы, которые печатаются в книгах или на страницах журналов вроде «Сатердей ивнинг пост». Стало быть, ясно: писатель — существо странное, загадочное, он живет странной, загадочной и роскошной жизнью, он — детище странного, загадочного и роскошного мира, и все это бесконечно далеко от того, что знаем мы, простые смертные. Если бы в ту пору парень, выросший в Либия-хилле, вдруг открыто заявил, что хочет стать писателем, все решили бы, что он рехнулся. И сразу вспомнили бы дядю Раиса Джойнера, который зря потратил свою молодость, обучаясь игре на скрипке, а потом еще взял в долг у дяди Марка пятьдесят долларов, чтобы прослушать курс френологии. Мне всегда говорили, что я очень похож на дядю Раиса, и признайся я в своем тайном желании, все решили бы, что сходство это еще сильнее, чем кажется.

Тогда все это было мучительно, а вспоминать сейчас забавно. Притом все складывалось очень по-человечески и очень по-американски. Думаю, Джойнеры и по сей день не пришли в

себя от изумления, что я вправду стал писателем. Этим понятиям, которые в двадцать лет я полностью с ними разделял, суждено было годами определять мою жизнь.

Итак, только что с университетской скамьи, я взял остатки скромного отцовского наследства и с радостным ощущением, что упрятал свою тайну в чемоданчик вместе с запасной парой штанов, пустился в путь на поиски известности и славы. Иными словами, поехал в Нью-Йорк искать работу в газете.

Да, я искал работу, но не слишком рьяно — и ничего не нашел. Меж тем денег у меня пока хватало, и я начал писать. Потом, когда деньги кончились, я снизошел до роли преподавателя на одной из гигантских «образовательных фабрик» Нью-Йорка. Это была еще одна уступка, но она давала мне возможность жить и писать.

В тот первый год в Нью-Йорке я снимал квартиру вместе с еще несколькими выпускниками моего колледжа, как и я, уроженцами Юга. Через одного из них я свел знакомство с молодыми людьми из артистической среды, которые жили в «Деревне», как я скоро научился запросто называть Гринвич-виллидж⁴⁶. Здесь я впервые попал в компанию утонченной и искушенной молодежи моих лет, — во всяком случае, такими они мне показались. Ибо не в пример мне, угловатому неотесанному мужлану из захолустья, в котором трепетало робкое, невысказанное желание писать, эти юнцы приехали сюда из Гарварда, держались непринужденно, как люди светские, и словно бы мимоходом, но прямо говорили мне, что они — писатели. И это была правда. Они писали и печатались в разных новомодных журнальчиках, которые в ту пору возникали повсюду. Как же я им завидовал!

У них хватало смелости не только открыто объявлять себя писателями, но так же открыто утверждать, что очень многие из тех, кого я считал писателями, вовсе никакие не писатели. Я, запинаясь, пытался вступать в искрометные словесные состязания, что сверкали вокруг, — и начал понимать, что должен подготовиться к самым жестоким ударам. Так, например, я совсем смешался, когда спросил одного из этих самоуверенных молодых людей, таких розовощеких и одетых с такой небрежной безупречностью: «Вы читали „Схватку“ Голсуорси?», — а тот в ответ не спеша поднял брови, затянулся сигаретой, выпустил неспешную струю дыма, не спеша покачал головой и наконец устало, безнадежно ответил: «Не в состоянии его читать. Просто не в состоянии. Очень сожалею, но...» — И в тоне его явственно звучало: да, конечно, это очень плохо, но что поделаешь.

Они много о чем и о ком сожалели. Чуть ли не больше всего на свете их занимал театр, но, пожалуй, не было в ту пору драматурга, которого бы они не осудили. Дескать, Шоу забавен, но он ведь не драматург — он, в сущности, так и не научился писать пьесы. Слава О'Нила сильно раздута: диалог у него неуклюжий, а персонажи — сущие чурбаны. Барри невыносимо сентиментален. Ну, а Пинеро и ему подобные... писанина их до смешного старомодна.

Это сверхкритиканство было мне в чем-то очень полезно. Оно научило меня подвергать сомнению самые почтенные имена и репутации, поклоняться которым не слишком задумываясь приучили меня мои прежние наставники. Но беда в том, что скоро я, как и все эти молодые люди, погрузился в мелочный, чересчур утонченный эстетизм, худосочный и вычурный, да притом отрешенный от живой жизни — он бессилен был дать пищу и вдохновение для подлинного творчества.

Любопытно сейчас оглянуться и вспомнить, во что мы верили пятнадцать лет назад — те, кто был тогда молод, полон надежд и мечтал создать в искусстве нечто большое, значительное. Мы много рассуждали об «искусстве» и «красоте», много рассуждали о «художнике». Даже слишком много. Ибо художник, каким мы его себе представляли, был, в сущности, чудовищем, уродом: эстет и ничего больше. Уж во всяком случае, он не был

⁴⁶ Квартал, где жили люди искусства.

человеком. А настоящий художник — это прежде всего и превыше всего живой человек; — иначе говоря, человек жизнеспособный, причастный к жизни, тот, кто связан с нею всем своим существом и потому черпает из нее силы, — иначе какой же он человек?

Но художник, о котором мы тогда рассуждали, был отнюдь не таков. И существуй он не только в нашем воображении, конечно же, это был бы один из самых поразительных, самых бесчеловечных уродов на свете. Вместо того чтобы любить жизнь и верить в нее, наш «художник» ненавидел жизнь и бежал от нее. Это была основная тема наших рассказов, пьес и романов. Мы всегда изображали уязвимую талантливую натуру, эдакого молодого гения, распятого жизнью, непонятого, облитого всеобщим презрением, выставленного к позорному столбу, затравленного узколобыми фанатиками и мелочными обывателями захолустного городка или поселка, преданного и униженного убожеством жены и под конец умолкшего, сокрушенного, раздавленного и уничтоженного единодушно ополчившейся на него толпой. Таким представляли мы в наших бесконечных рассуждениях художника, и, конечно, такой художник был не в единении с жизнью, а, напротив, в вечном разладе с ней. Он не был причастен к миру, в котором жил, а напротив — неизменно бежал от него. Мир этот изображали хищным зверем, а художника — раненым фавном, который вечно пытался от него ускользнуть.

Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что в конечном счете все это шло нам во вред. Языку и стилю молодых людей, которым еще недоставало жизненного материала и опыта, недоставало необходимой художнику кровной связи с жизнью, это придавало нездоровую вычурность. Это вооружало их философией и эстетикой, уводящей от жизни. В тех из нас, кому в будущем суждено было стать художниками, это могло воспитать не только своеобычность, но и самомнение: каждый из нас склонен был думать, что он — особенный, законы, которым подчиняются все люди, не для него, у него иные желания, иные чувства, иные страсти, короче говоря, он — прекрасная болезнь человеческой природы, как жемчуг — прекрасная болезнь устрицы.

Как все это действовало на меня, простака-провинциала, представить не мудрено. Впервые я получил надежные доспехи, сверкающий изысканный щит, которым я мог укрыть от мира неуверенность в себе, внутренние опасения, неверие в свои силы, в способность исполнить задуманное. И теперь, когда дело касалось моих желаний и устремлений, я становился заносчиво груб. Я стал изъясняться на жаргоне, как и все прочие, стал нести чепуху про «художника» и презрительно, свысока отзывался о буржуазии, о бэббитах и филистерах, — так мы именовали всех, кто не принадлежал к крохотной епархии избранных, которую мы для себя создали.

Оглядываясь назад, я стараюсь понять, какой же я тогда был, — и, боюсь, был я не слишком доброжелательным и приятным молодчиком. Держался вызывающе, готов был вступить в драку с целым светом. Вечно задирался и дерзил тем, кто, казалось мне, сомневается, что я способен многое совершить, а объяснялось это очень просто: в душе я сам отнюдь не уверен был, что способен это совершить. И таким способом я бессознательно пытался придать себе храбрости.

Вот каков был я, когда впервые встретился с Вами, Лис. Да, конечно, я говорил о книге, которую хотел написать, благоговейно и смиренно, но на самом деле не чувствовал ни благоговения, ни смирения. Как манерный сноб, я был надменно презрителен. Воображал, будто я выше других, будто я — из породы избранных. Тогда я еще не знал той истины, что подлинно выше других лишь тот, в ком есть и смирение, и терпимость, и умение слышать чужую душу. Я еще не знал, что к редкой и высшей породе принадлежит лишь тот, кто сумел развить в себе истинную силу и талант бескорыстного самопожертвования.

46. Даже и два ангела — это еще не все

С детства мечтал я о том (писал Джордж Лису), о чем в юности мечтают все: быть знаменитым и быть любимым. Оба эти желания прошли со мною все ступени, степени и

оттенки моего образования; в них отразилось все, во что нас, юнцов той поры, учили верить и чего учили желать.

Любовь и Слава. Что ж, у меня было и то и другое.

Однажды Вы сказали мне, Лис, что на самом деле я их не желал, просто мне так казалось. Вы были правы. Я отчаянно желал их, пока не получил, а получив, увидел, что этого мало. И, мне кажется, если говорить начистоту, всякий, кто не остановился в своем развитии, чувствует: это еще не все.

Признать, что Слава это еще не все, не опасно, один из величайших поэтов мира назвал это «последней слабостью благородного ума»... зато опасно, по вполне понятным причинам, признать слабость Любви. Быть может, иным и довольно Любви. Быть может, в Любви, как в сверкающей капле воды, отражаются и солнце, и звезды, и облака, и весь внутренний мир человека. Так говорили великие поэты прошлого, и так принято думать с тех пор. А я скажу одно: мне вовсе не кажется, будто в лягушачьей луже или в городском пруду содержится образ океана, хотя и там и тут есть вода.

«Мне достаточно одной любви, хотя мир и суживается», — писал Уильям Моррис. А мы вольны верить или не верить ему на слово. Возможно, для него так оно и было, и то сомневаюсь. Быть может, когда он писал это, он так и чувствовал, но не под конец, не тогда, когда все уже осталось позади.

Что до меня, я этого не находил.

Ибо даже когда я был надежно укрыт и окружен любовью, был баловнем и узником ее, я все равно начал прозревать широкий внешний мир. Он не занялся для меня внезапной зарей подобно тому, как неожиданно озарил Джона Китса чепменовский⁴⁷ Гомер:

И я возликовал, как некий звездочет,
Чьим взорам новое открылось светило.

Со мной было совсем иначе. Мир за пределами любви открывался мне очень постепенно, на первых порах я этого даже не замечал.

До того времени я был просто впечатлительный юнец в разладе со своим городом, со своими родными, со всей окружающей жизнью, потом — влюбленный впечатлительный юнец, до того поглощенный крохотной вселенной своей любви, что ему казалось, будто это и есть вся вселенная. Но мало-помалу я стал замечать в жизни такое, что потрясло меня и вывело из этого самодовлеющего мирка двоих. Урывками я видел великих мира сего, богатых, удачливых, живущих бездельно и уверенных, что им по праву принадлежат все блага мира. Я увидел, что они издавна пользуются особыми преимуществами — и самая давность эти преимущества узаконила; они, кажется, вообразили, будто сама природа определила их в баловни судьбы. В то же время я стал сознавать, что глубоко внизу скрыты от взоров всеми забытые илоты, которые трудом своим, потом, кровью и невыразимыми страданиями поддерживают и питают этих восседающих наверху самовластных царьков.

Затем разразилась катастрофа 1929 года и настали ужасные дни. Теперь картина прояснилась, она стала достаточно ясной для всех, у кого были глаза, чтобы видеть. В те годы я жил в джунглях Бруклина и видел, как никогда прежде, истинный ужасающий лик пасынков жизни. Мне открылся бесчеловечный, полный жестокости мир — и понемногу затмил прежнее представление о нем, какое создается в молодости, когда ты на все смотришь со своей колокольни и воображаешь себя центром мироздания. Кажется, тогда-то я и стал учиться смирению. Глубокая страстная поглощенность только своими интересами и планами, только своей крохотной жизнью показалась мне мелкой, ничтожной и недостойной, и меня все глубже, все сильнее и безраздельней поглощали интересы и планы окружающих людей и всего человечества.

⁴⁷ *Джордж Чепмен* (1559—1634) — английский драматург и поэт; перевел на английский язык Гомера.

Разумеется, в этом пересказе я сильно все упростил. А в ту пору я лишь очень смутно представлял, что со мной происходит. Только теперь, оглядываясь назад, я вижу в истинном свете, как менялись в те годы мои представления. Ибо душа человеческая, увы, мутная заводь, в которой слишком много всего оседает и откладывается, в нее слишком много всего наносит время, она взбаламучена неведомыми течениями в глубинах и на поверхности, и где уж ей отразить отчетливый, ясный и вполне верный образ. Сперва надо подождать, пока воды успокоятся. И выходит, как бы ни хотелось, нельзя надеяться, что сбросишь изношенные одежды с души так же легко и бесповоротно, как змея сбрасывает старую кожу.

Ибо даже в ту пору, когда передо мной уже брезжил новый облик мира и я прозревал незнакомые его формы, я, однако, больше, чем когда-либо, погружен был в свои внутренние раздоры. То были годы самых больших сомнений и отчаяния за всю мою жизнь. Я увяз в сложностях своей второй книги и все, что схватывал взглядом, воспринимал лишь мимоходом, вспышками, урывками. Позднее мне предстояло убедиться, что этот новый облик мира запечатлелся на некоей чувствительной пленке моей души; но лишь тогда, когда я разделался со своей второй книгой, сбыв ее с рук, я увидел этот облик в целом и понял, что принесли мне испытания этих лет.

И, конечно же, все это время я по-прежнему был влюблен в ту прекрасную Медузу — Славу. Жажда славы была остатком прошлого. Я чуть не с детства мечтал о славе во всех пленительных обликах — о призрачной, неуловимой, словно некий лесной дух, мелькающий среди деревьев, — пока наконец образ славы и образ любимой не слились тысячи раз в нечто единое. Я всегда мечтал быть любимым и прославиться. Теперь я уже узнал любовь, но слава все еще от меня ускользала. И потому, когда я писал вторую книгу, я искал ее расположения.

И вот я впервые ее увидел. Я познакомился с мистером Ллойдом Мак-Харгом. Эта удивительная история должна была меня кое-чему научить. Да, пожалуй, и научила. Ибо в Ллоиде Мак-Харге я узнал поистине значительного и честного человека, который стремился к славе и завоевал ее, и я увидел — то была пустая победа. О такой славе, как у него, я даже и не мечтал, и, однако, ясно было, что слава для него далеко не все. Ему требовалось что-то еще, чего он так и не нашел.

Я сказал, что это должно было бы стать для меня уроком. Но так ли это просто? Разве научишься чему-то на чужом опыте, пока сам не готов воспринять этот опыт? Можно распознать какую-то правду в чужой жизни и ясно ее понять, и, однако, вовсе не сумеешь применить ее к себе. Разве наше пресловутое ощущение своего «я» — поразительного, единственного в своем роде «я», другого такого не было от века и вовеки не будет, — разве это нежно любимое «я» не встает перед нашим критическим взором и не заявляет о своей исключительности? «Да, — думал я, — вот как обстоит дело с Ллойдом Мак-Харгом, но со мной будет иначе, потому что я это я». И так со мной было всегда. Никогда ничему не мог я научиться на чужом опыте, мне все давалось трудно. Через все я должен был пройти сам.

Так и со славой. В конце концов я должен был ею завладеть. Ведь она — женщина, и, как мне предстояло странным и неожиданным образом убедиться, из всех соперниц любви единственная, любимая и женщинами и любовью. И я завладел ею, насколько ею возможно завладеть, — и тут-то оказалось, что слава, как и любовь, это тоже еще не все.

К той поре меня уже обдуло всеми ветрами, хоть я еще толком не сознавал, какие струи просочились в меня и куда, по какому руслу устремилась моя жизнь. Я знал только, что совсем изнемог от работы, и, тяжело дыша, точно выбившийся из сил бегун, сознавал, что гонка окончена и я пришел к финишу, я все-таки победил. Только об этом я тогда и думал: во второй раз в жизни я прошел через испытание, и прошел с честью, одолел отчаяние, неверие в собственные силы, страх, что никогда больше не сумею завершить свой труд.

Я прошел полный круг, путь окончен. Я был опустошен, иссяк, измотался, на несколько месяцев жизнь моя остановилась, а измученная душа переводила дух. А потом я снова ощутил прилив сил, и на этой волне в душу мою вторгся внешний мир. Он вторгся, хлынул в меня неумным потоком, и теперь я ощутил в нем и в собственном сердце что-то, мне прежде неведомое.

Чтобы отдохнуть, развлечься, забыться, я отправился в ту страну, что была мне милее всех чужеземных краев, в которых я раньше побывал. В годы отчаянного затворничества и работы над новой книгой я много раз вспоминал о той земле с острой тоской, так задыхающийся в тесной темнице узник тоскует о дорогих его сердцу лесах и лужайках чудесной сказочной страны. Сколько раз я возвращался в те края в мечтах — к потонувшему колоколу, к готическим городкам, к плеску фонтанов в полночный тихий час, к белотелым, загадочным и щедрым женщинам. И вот наконец настало утро, когда я прошел через Бранденбургские ворота, и вступил в зеленые волшебные аллеи Тиргартена, и увидел цветущие каштаны, и, подобно Тамерлану, почувствовал, как отрадно быть владыкой и шествовать с почетом через Персеполис — как отрадно быть знаменитым.

После долгих изнурительных лет тяжелого труда, после того, как я доказал себе, что моей измученной душе необходимо отдохнуть, вот он — отдых, о котором я мечтал: чудом сбылось то невозможное, чего мне до невозможности хотелось. Как часто, никому не ведомый я всем чужой, бродил я по городам мира, а теперь казалось, Берлин принадлежит мне. Впервые в жизни я изведal желанное счастье и завладел им, неделями удовольствие следовало за удовольствием, празднество за празднеством, и не оставляло радостное волнение оттого, что в чужой стране с чужим языком у меня оказалось столько друзей. И сапфировое сверканье сумерек, и волшебные короткие северные ночи, и восхитительное вино в изящных бутылках, и утра, и зеленые поля, и прелестные женщины — все теперь мое, казалось, все только для меня и создано, только меня и дожидалось и существует теперь во всем очаровании лишь для того, чтобы принадлежать мне.

Так проходили недели — и вот свершилось. Внешний мир мало-помалу вторгся в меня. Сперва он проникал в душу почти незаметно, точно ангел-мститель, пролетая, обронил с крыла темную пушинку. Иногда он открывался мне в отчаянно молящих глазах, в неприкрытом ужасе испуганного взгляда, во внезапно вспыхнувшем и мгновенно затаенном страхе. Иногда просто появлялся и исчезал, как вспыхивает и гаснет свет, и я впитывал его, просто впитывал — мимолетные слова, разговоры, поступки.

Но потом, во время ночных бдений, за толстыми стенами, запертыми на засовы дверями и закрытыми ставнями мир этот наконец хлынул в меня потоком признаний, полных невыразимого отчаяния. Не понимаю, почему мне, иностранцу, люди так открывали душу, — разве только потому, что знали, как я привязан к ним и к их земле. Казалось, им до боли, до отчаяния необходимо говорить с кем-то, кто их поймет. Они держали все это в себе, но моя приязнь ко всему немецкому прорвала плотину сдержанности и осторожности. Их рассказы о горе и неопишемом страхе затопили мой слух. Они рассказывали о своих друзьях и родных, которые обронили неосторожное слово на людях — и потом исчезли без следа; рассказывали о гестапо, рассказывали, как мелкие раздоры и ссоры между соседями оборачиваются политическим преследованием, рассказывали о концентрационных лагерях и погромах, о богатых евреях, которых раздевали донага, избивали, лишали всего имущества и потом отказывали в праве заработать жалкие гроши, рассказывали о еврейках из хороших семей, которых грабили, выгоняли из собственного дома и заставляли, ползая на коленях, смывать с тротуаров антинацистские лозунги, а грубые молодчики в военной форме, обступив несчастных женщин, кололи их штыками и оглашали тихие улицы бесстыжим хохотом и насмешками. Как будто вновь настали времена средневекового варварства, — невозможно, невероятно, но все это была правда, ведь человек — великий мастер создавать для себя ад на земле.

Так мне открылось, как обманута, извращена вера и надежда людей, какая бездна страданий таится в их душах, и наконец я увидел во всех его ужасающих проявлениях чудовищный недуг, что порастил дух благородного и могущественного народа.

Да, я увидел все это и понял, что это такое, но тогда же, как ни странно, ко мне пришло еще иное знание. Ибо пока я сидел в затемненных комнатах, где двери заперты были на засовы и окна закрыты ставнями, и мои немецкие друзья шепотом рассказывали мне о том, что надрывало им душу, и я слушал и с ужасом видел, как глаза их наполняются слезами, а на

лицах, на тех самых лицах, которые совсем недавно, когда тут были другие люди, выражали беззаботность и беспечность, прорезаются скорбные морщины, — пока я все это слушал и видел, сердце мое разрывалось, и из разверзшихся глубин в сознание мое всплыло нечто такое, чего я в себе, пожалуй, не подозревал. Как ни удивительно, на меня вновь нахлынула беспросветная мрачность серых, ничем не примечательных бруклинских дней, которая тогда просочилась мне в душу. Я вспомнил, как ночи напролет рыскал в городских джунглях. Вновь увидел изможденные лица бездомных, бродяг, обездоленных Америки, пожилых рабочих, что работали всю жизнь, а больше уже не в силах были работать, и зеленых юнцов, которые никогда еще не работали и никакой работы найти не могли, — и те и другие не нужны были обществу, оно бросило их на произвол судьбы, предоставляя каждому изворачиваться, как умеет: добывать пропитание на помойках, обретать тепло и дружеское участие в отвратительных отхожих местах наподобие того, что находится близ нью-йоркского муниципалитета, ночевать на бетонных полах в подземельях метро, завернувшись в старые газеты.

Все это я вспоминал, все разрозненные сценки, увиденные тогда в Бруклине, и одновременно пришло зловещее воспоминание о самой вершине этого ночного мира, о высотах его во всем блеске богатства, об изысканных, утонченных удовольствиях тех, кто вознесен на вершину, и об их холодном равнодушии к страданиям и несправедливости, на которых покоится это их благополучие. Все это вспомнилось мне теперь уже как единая цельная картина.

Так случилось, что в этом далеком краю, среди остро волнующих и тревожных обстоятельств чужой мне жизни, я впервые ощутил в полной мере, как больна Америка, и увидел также, что болезнь ее сродни немецкой — грозный недуг, поразивший душу человечества. Один из моих немецких друзей, Франц Хейлиг, позже сказал мне то же самое. Германии уже не поможешь: болезнь зашла слишком далеко, ее уже ничто не оборвет — разве только смерть, разрушение, гибель. Но в Америке, мне кажется, это еще не смертельно, не неизлечимо, — пока еще нет. Недуг ужасен, и он станет еще ужасней, если в Америке, как в Германии, людьми завладеет боязнь взглянуть в глаза самому страху, боязнь исследовать, что стоит за ним, что его порождает, боязнь сказать об этом правду. Америка молода, она все еще Новый Свет, надежда человечества, Америка не то, что эта старая истасканная Европа, в которой гнездятся и гноятся тысячи глубоко въевшихся, не устраненных древних болезней. Америка еще жизнеспособна, еще поддается лечению... если только... если только люди перестанут бояться правды. Ибо ясный и резкий свет правды — затемненный здесь, в Германии, до полного исчезновения, — вот единственное лекарство, которое может очистить и исцелить страждущую душу человеческую.

За такой вот ночью полного прозрения снова наступал день, прохладное румяное утро, — бронзово-золотые сосны, прозрачные пруды в раме зелени, волшебные сады и парки, — и, однако, все стало иным. Ибо теперь я знал, что есть в жизни еще и нечто другое, молодое, как утро, и древнее, как сама преисподняя, — извечное зло, проявившееся здесь, в Германии, в самой страшной своей форме и впервые облеченное в слова, выраженное системой фраз и обдуманых гнусных деяний. День за днем все это просачивалось и впитывалось, и вот уже во всем, в жизни каждого, с кем я встречался и соприкасался, я видел пагубные следы этой чудовищной скверны.

Так с глаз моих был снят еще один слой дымки, затуманивающей взор. И теперь я знал: все, что я увидел и понял, я уже никогда не забуду и никогда не поддамся обману.

47. По Екклесиасту

Итак, я рассказал Вам (писал Джордж Лису) кое-что из того, что я пережил, и как это на мне отразилось. Вы спросите: а вы-то, Лисхол Эдвардс, тут при чем? Вот к этому я сейчас и

подхожу.

Вначале я упомянул «жизненную философию», которую я придумал двадцать лет назад, когда учился в колледже. Я не сказал Вам, в чем она заключалась, потому что на самом деле, пожалуй, никакой такой философии у меня тогда не было. Вероятно, у меня нет ее и теперь. Но, по-моему, это интересно и важно, что в семнадцать лет я думал, будто она у меня есть, и что люди и по сей день толкуют о какой-то «жизненной философии», словно это нечто осязаемое, словно ее можно взять в руки, можно как-то направлять, взвесить, измерить. Совсем недавно меня попросили принять участие в книге под названием «Философия наших дней». Я пытался было что-то написать — и бросил, потому что не хотел, да и не готов был заявить, будто у меня есть какая-то сегодняшняя философия. А не хотел и не готов был не потому, что сомневался и путался в своих нынешних мыслях и верованиях, но потому, что путался и сомневался, как же их точно и окончательно сформулировать.

Вот в чем была беда почти всех нас двадцать лет назад в Пайн-Рок-колледже. У нас сложилась своя «концепция» Правды, Красоты, Любви, Истинности, — а тем самым определились представления о том, что означают все эти слова. И потом мы уже ничуть не сомневались в своих представлениях или не смели признаться, что сомневаемся. А это худо, ибо суть убеждения — недоверие, и суть истинности — сомнение в самой себе. Суть Времени в движении, а не в неподвижности. Суть веры — сознание, что все течет и все должно меняться. Растущий человек — человек живой, и его «философия» должна расти, должна меняться вместе с ним. Если же этого нет, значит, человек неустойчив, легковесен, игрушка моды, не так ли? Тот, кто слишком врос в сегодняшний день, завтра будет чувствовать себя неустойчиво, а его верования окажутся всего лишь навязчивыми идеями.

Вот почему я не могу дать определение Вашей собственной философии, ведь дать определение значит отнести Вас к «законченным» людям академического склада, а Вы, слава богу, не той породы. Попытайся я вот так Вас определить, я только и заслужил бы лишний раз Вашу неповторимую ироническую улыбку, неожиданную, насмешливую и чуть презрительную. А разве можно передать в точности Вашу новоанглийскую суть, суть истинного американца-северянина — такого уязвимо гордого, такого застенчивого, такого сдержанного и замкнутого, но, как мне кажется, в основе своей такого бесстрашного!

И потому не стану определять, что Вы такое, дорогой Лис. Но я могу сказать свое мнение, правда? Могу же я сказать, каким Вы мне кажетесь, какое производите впечатление и что я об этом думаю?

Так вот, прежде всего Лис кажется мне Екклезиастом. По-моему, это справедливо, и если уж давать какое-то определение, думаю, Вы со мной согласитесь. Быть может. Вы знаете другое, более верное? Я такого не знаю. За тридцать семь лет размышлений, чувствований, мечтаний, трудов, борений, странствий и терзаний я не встретил ничего, что могло бы определить Вас хоть немного точнее. Возможно, где-нибудь и существует что-то — написанное, нарисованное, спетое или сказанное, — что выразит Вас верней. Если оно и существует, я его не видел, а если бы увидел, почувствовал бы себя как человек, который вдруг набрел на новую Сикстинскую капеллу, никому не ведомую и еще более прекрасную.

Насколько я понял Вас за девять лет нашего знакомства, по образу жизни и мыслей, по чувствам и поступкам своим Вы поистине Проповедник — Екклезиаст. Я не знаю ничего выше. Из всего, что я увидел и узнал на своем веку, книга эта, по-моему, самое благородное, самое мудрое и сильное выражение сущности человеческой жизни, и к тому же самый прекрасный цветок поэзии, красноречия и истины. Я не любитель определять плоды творчества жесткими формулами, но, уж если давать какое-то определение, я мог бы сказать одно: из всего написанного нет на свете ничего выше Екклезиаста и мудрость его — самая долговечная и самая глубокая.

И, я бы сказал, он превосходно выражает Вашу позицию в жизни. Я читал его не раз и не два, год за годом, и не вижу в нем ни единого слова, ни единого стиха, с которым Вы не согласились бы мгновенно.

Вы согласитесь — если привести лишь несколько изречений из этой благородной книги,

которые сразу приходят на память, — что доброе имя лучше дорогого притирания, и, я думаю, Вы согласитесь, что день смерти лучше дня рождения. И Вы согласитесь с великим проповедником, что все вещи в труде; что не может человек пересказать всего; что не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Я знаю, Вы согласитесь также: что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, — и нет ничего нового под солнцем. Вы согласитесь, что познать мудрость и познать безумие и глупость — это томление духа. Я знаю, Вы согласитесь — ведь Вы сами не раз наставляли меня в этом, — что всему свое время, и время каждой вещи под небом.

«Суета сует, — сказал Екклезиаст... — все суета». Вы согласитесь с ним в этом; и согласитесь также, что глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Всем своим существом Вы согласитесь, что «все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

По-вашему, дорогой Лис, эти изречения, это отношение к миру справедливы? Уж наверно так, ибо тут буквально каждое слово прямо относится к Вам и всей Вашей жизни. Всему этому я научился у Вас. Однажды Вы прочли надпись, которую я Вам сделал на какой-то книге, и сказали, что это будет Вашей эпитафией. Вы ошиблись. Ваша эпитафия была написана много веков назад — это Екклезиаст. Ваш портрет уже существовал: это портрет великого Проповедника, каким он сам себя изобразил. Вы — это он, его слова так точно совпадают с Вашими, что, если бы его никогда не существовало или он бы их не произнес, вся его великая, благородная проповедь могла бы исходить от Вас.

А значит, если бы я мог определить Вашу и его философию, я, пожалуй, определил бы ее как философию обнадеживающего фатализма. Оба вы по натуре пессимисты, но — пессимисты, не утратившие надежды. У вас обоих я многому научился, оба вы научили меня многим истинам и надеждам. Прежде всего, я узнал, что человек должен работать, должен делать свою работу как можно лучше и старательней, и только глупец ропщет и тоскует из-за того, что пропало, из-за того, что могло быть, но чего нет. Оба вы преподали мне суровый урок, примирили с сознанием, что сама основа жизни трагична, ибо человек рождается, чтобы пройти весь свой жизненный путь и умереть. У вас обоих я научился принимать эту важнейшую истину без жалоб и, приняв ее, постарался поступать, как поступали до меня: делать все, что я могу, не жалея сил.

И как ни странно — ибо тут сказывается таинственный и жестокий парадокс нашей близости и нашей полярной противоположности, — именно в этом я так полно, так безраздельно сходил с Вами во мнениях, что перестал с Вами соглашаться. Кажется, я даже мог бы сказать Вам: «Я верю во все, что Вы говорите, но я с Вами не согласен», — и в этом корень зла, загадка нашего расхождения, нашего бесповоротного разрыва. Жалкие людишки станут сплетничать, как я понимаю, уже сплетничают, станут предлагать тысячи поспешных, лежащих на поверхности объяснений, но, право же, Лис, корень все-таки в этом.

В одном из немногих Ваших писем ко мне, в совсем недавнем удивительном и трогательном письме, Вы говорите:

«Я знаю, Вы от меня уходите. Я всегда знал, что это неизбежно. Не пытаюсь Вас удержать, ибо так оно и должно быть. Но вот что странно, вот что тяжело: никогда я не знал человека, с которым так глубоко сходил бы во взглядах на все самое важное».

Да, это и правда странно и тяжело, поразительно и загадочно, потому что в известном смысле — чего никогда не понять жалким трещоткам — это совершенно верно. И, однако, существует этот наш странный парадокс; мне кажется, на орбите нашего с Вами мира Вы — Северный полюс, а я — Южный, и хоть мы находимся в равновесии, в согласии, между нами, дорогой Лис, лежит весь мир.

Наши взгляды на жизнь очень схожи, это верно. Когда мы смотрим вокруг, оба мы видим: человека палит то же солнце, и леденит тот же холод, и навлекает на него тяготы и лишения та же неодолимая непогода, он остается в дураках по тому же легковерию, изменяет самому себе по той же глупости, без толку мечется и сбивается с пути по тому же тупоумию. Из своего полушария, со своего полюса каждый смотрит через весь крутящийся на той же

орбите измученный, истерзанный мир в сторону другого полушария, другого полюса — и картина, которая вырисовывается перед одним, та же, какую видит другой. Мы видим не только присущие человеку тупоумие, глупость, легковерие и самообман, но и его благородство, мужество, высокие стремления. Мы видим хищников, которые разоряют и обездоливают человека, видим нелепых поборников жадности, страха, неравенства, силы, тирании, притеснения, нищеты и болезней, несправедливости, жестокости, неправды, — мы видим все это оба, дорогой Лис, и понимаем все это одинаково.

Откуда же тогда наши разногласия? Почему началась борьба, почему все кончается разрывом? Мы видим одно и то же и называем это одними и теми же словами. Мы не приемлем это с одинаковым отвращением и гневом — и все же мы разошлись, и этим письмом я с Вами прощаюсь. Дорогой мой друг, духовный отец и наставник, разрыв уже произошел, и оба мы это знаем. Но почему?

Я знаю ответ, и вот что я Вам скажу.

Да, я смертен, мне известна суровая истина, подтвержденная Вами вслед за великим Проповедником: что человек рожден жить, страдать и умереть, — но на этом и кончается мой фатализм, и на еще большую покорность судьбе я не способен. Коротко говоря, по-вашему, недуги, одолевающие человечество, неизлечимы, и, точно так же как человек рожден жить, страдать и умереть, так он рожден быть во веки веков жертвой всех чудовищ, которых сам же создал, — страха и жестокости, власти и тирании, нищеты и богатства. С суровым фатализмом смирения, который составляет незыблемую основу Вашей натуры, Вы принимаете все это как неизбежность, данную навеки, ибо все это существовало испокон веков и передается зараженной, истерзанной душе человеческой по наследству.

Дорогой Лис, дорогой мой друг, я слушал Вас и понимал, но согласиться не мог. По-Вашему выходит — а я слушал Вас и понимал, — что, если уничтожить старые чудовища, взамен созданы будут новые. По-Вашему выходит, что, если опрокинуть старые тирании, на их месте возникнут новые, такие же мрачные и зловещие. По-Вашему выходит, что все вопиющее зло в окружающем нас мире — чудовищное и порочное неравновесие между властью и зависимостью, между нуждой и изобилием, между привилегиями и тяжким гнетом — неизбежно, потому что оно спокон веку было проклятием человека и неперменным условием его существования. И тут между нами легла пропасть. Вы высказывали и утверждали свои взгляды, я выслушал Вас, но согласиться не мог.

Если определить в немногих словах Ваши устои и Ваше поведение, вряд ли найдется человек добрей и мягче, но и человек столь безнадежно смиренный. Я видел чудо: как Вы на деле — в жизни своей и в поведении — следуете проповеди Екклезиаста. Я видел, как Вы терзались и не находили себе места, оттого что талант пропадает втуне, оттого что человек дурно распорядился своей жизнью, оттого что работа, которая должна быть сделана, осталась несделанной. Я видел, как Вы поистине горы сворачивали, лишь бы спасти то, что, по-Вашему, стоило усилий и могло быть спасено. Я видел, как Вы совершали чудеса труда и терпения, вытаскивая тонущий талант из трясины неудач, а он снова в нее погружался, и тут бы Вам смиренно и горестно признать себя побежденным, — но нет, всякий раз глаза Ваши метали молнии, воля Ваша становилась тверже стали, Вы ударяли кулаком по столу и шептали горячо, чуть ли не яростно: «Он не должен опускаться. Еще не все потеряно. Я не допущу, чтоб он пропал, он не должен пропасть!»

Чтобы запечатлеть эту Вашу благородную способность во всем великолепии, как она того заслуживает, я считаю своим долгом сказать о ней здесь. Ибо без этого невозможно настоящему понять, чего Вы на самом деле стоите и что Вы за человек. Рассказать о Вашей молчаливой, суровой покорности судьбе, не рассказав прежде о вдохновенном упорстве Ваших трудов, значило бы нарисовать искаженный, неполный образ удивительнейшего и так хорошо знакомого, самого хитроумного и прямодушного, самого простого и сложного из всех американцев Вашего поколения.

Сказать, что Вы смотрели на все страдания и несправедливости нашего измученного, исстрадавшегося мира с терпимостью и покорностью судьбе, и не сказать о Ваших

самозабвенных, сверхъестественных усилиях спасти все, что только можно спасти, было бы несправедливо. Никто лучше Вас не исполнял повеление Проповедника трудиться не покладая рук и всякое дело делать в полную силу. Никто не следовал этому повелению так самоотверженно, — не только в своей работе, а еще и спасая других, кто не мог сам исполнить повеление Проповедника, но кого еще можно было спасти. Но никто и не смирялся так легко и спокойно с непоправимым. Я уверен, Вы рискнули бы жизнью, чтобы спасти друга, который бессмысленно, понапрасну подставил себя под удар, но я знаю также, что смерть его, окажись она неизбежна, Вы бы приняли без сожаления. Я видел Вас мрачного, с ввалившимися глазами, когда Вас грызла тревога за любимого ребенка, страдающего нервным шоком или каким-то недугом, в котором врачи не могли разобраться. Вы в конце концов доискались до причины, и ребенок выздоровел; но я знаю, окажись болезнь неизлечимой и смертельной, Вы приняли бы это со смирением, столь же сдержанным, сколь страстно перед тем искали спасения.

Вот почему парадокс огромной разницы между нами столь же тяжек и странен, как парадокс нашей противоположности. В этом и есть корень нашей беды, отсюда и разрыв. Следуя своей философии, Вы приемлете существующий порядок вещей, потому что не надеетесь его изменить; а если бы и могли изменить, Вам кажется, что любой другой порядок был бы ничуть не лучше. Если говорить об истинах нетленных, вечных, возможно, Вы и Проповедник правы, ибо нет мудрости мудрей Екклезиаста, нет приятия в конечном счете столь подлинного, как суровый фатализм скалы. Человек рожден жить, страдать и умереть, и что бы ни выпало на его долю, удел его — трагичен. В конечном счете это бесспорно. Но каждым часом нашей жизни мы обязаны это опровергать, дорогой мой Лис.

Человечество сотворено на веки вечные, но каждый человек в отдельности недолговечен. После него будут новые беды, но его заботят беды нынешние. И, мне кажется, для меня и таких, как я, суть всякой веры, суть всякой религии в том, что жизнь человека может стать и станет лучше; что величайших врагов человека в том обличье, в каком они существуют сейчас, в том обличье, в каком они существуют повсюду, — страх, ненависть, рабство, жестокость, нужду, нищету, — можно победить и уничтожить. Но победить и уничтожить их можно, только если совершенно перестроить современное общество. Скорбной и смиренной покорностью судьбе их не победишь. И не победишь философией всепрятия, трагическим предположением, будто все сущее, все, что есть в мире дурного ли, хорошего, в нынешнем своем виде пребудет вовеки. Любое зло, которое мы ненавидим — Вы не меньше, чем я, — нельзя ниспровергнуть, пожимая плечами, вздыхая или покачивая головой, пусть даже и очень мудрой. Мне кажется, когда мы отступаем перед лютыми бедами и укрываемся за утверждением, что судьба человека все равно трагична, они лишь измываются над нами и наглеют. И если веришь, будто взамен старых чудовищ возникнут новые, столь же зловредные, веришь, будто огромный гнусный рой людских несчастий, выпущенных однажды из ящика Пандоры, никогда уже не станет меньше, тем самым помогаешь злу оставаться неизменным навсегда.

Возможна, с точки зрения вечности Вы и Проповедник правы, но, дорогой Лис, мы, живые люди, правы Сегодня. И ради этого Сегодня, ради нас, живущих, мы должны говорить, и говорить правду, всю правду, какую видим и знаем. Вооруженные мужеством правды, мы встретим идущих на нас врагов и непременно их одолеем. И если, победив их, увидим, что приближаются новые враги, мы встретим их на рубеже, где победили прежних, и оттуда снова пойдем вперед. В этом утверждении, в продолжении этой непрестанной войны — религия человека, его живая вера.

48. Символ веры

Никогда еще я не провозглашал свою веру, — писал в заключение Джордж Лису, — хотя верил во многое и не скрывал этого. Но я никогда не формулировал свою веру — всеми фибрами души я сопротивлялся жестким рамкам, законченности формулировок.

Так же как Вы скала жизни, я — паутина; так же как Вы гранит Времени, я, вероятно, растение Времени. Моя жизнь, больше чем у всех, кого я знаю, сходна с растением. Я не встречал человека, который бы так глубоко ушел корнями в почву Времени и Памяти, в климат своей отдельной вселенной. Вы были со мной рядом во все время моей непомерно трудной борьбы. Все четыре года, пока я жил и работал в Бруклине, пока исследовал его джунгли, темные, точно джунгли моей души, Вы были подле меня, следовали за мной, были мне верны.

Вы никогда не сомневались, что я закончу, доведу свой труд до конца, завершу круг и создам нечто цельное. Сомнения одолевали только меня — все возрастающие, мучительные, рожденные моей усталостью и отчаянием да болтовней ничтожных и злобных людишек, которые, ничего не зная, упорно нашептывали, что мне никогда не добраться до конца, потому что не под силу начать. Оба мы знаем, какая это нелепая ложь — такая ложь и нелепость, что порой меня одолевает болезненный и досадливый смех. Они были очень далеки от истины, меня-то пугало обратное: я боялся, что никогда уже ничего не смогу закончить, потому что никогда не сумею передать все, что узнал, перечувствовал, передумал и о чем непременно должен был сказать.

Я запутался в гигантской паутине всего, что досталось мне в наследство, в неиссякаемых запасах воспоминаний, и эта необычайная памятьливость, идущая от предков с материнской стороны, миллионами живых волокон соединила меня с прошлым — не только моим, но с прошлым моего родного края, и потому в конечном счете ничто не ускользнуло от этой моей глубоко укоренившейся потребности прочувствовать и изведать все и вся. Как в такой-то день всходило и заходило солнце, как щекотала трава пальцы босых ног, как внезапно наступал полдень, как хлопала железная калитка и скрежетал, останавливаясь на углу, трамвай, и мягко шаркали по тротуару кожаные подошвы, когда мужчины шли домой обедать, и как пахла ботва репы, и позвякивали щипцы мороженщика, и кудахтала курица, — а там, дальше, Время постепенно меркнет, будто сон, сливается с той забытой порой, когда мне было два года. Мой мозг непрерывно пульсирует, извлекая на свет божий и это, и еще многое: все исчезнувшие звуки и голоса, все забытые воспоминания — и они оживают в моих снах, и тяжкое их бремя я несу вечно по бесконечным дорогам сна. Ничто не утрачено. Все возвращается, течет нескончаемым потоком, даже взбухшая пузырями краска на каминной доске в доме моего отца, запах старого, продавленного кожаного дивана, запах пыльных бутылок и паутины в погребе, порою неторопливый удар усталым копытом по тряскому настилу в платной конюшне, и гордо задирается и помахивает хвост, и падают «яблоки», и в них вкраплены зерна овса. Я заново ощущал все пережитые когда-то времена и настроения, — самые последние дни зимней безысходности в марте и леденящее, мучительное уныние изодранных багровых закатов, волшебство молодой зелени в апреле, слепой ужас и духоту от раскаленного бетона в разгар лета, и октябрь, пахнувший палым листом и дымом костра. Забытые мгновения и несчетные часы возвращаются ко мне со всем непомерным грузом моей памяти, вместе с давным-давно отзвучавшими в горах голосами — голосами моих кровных родичей, которых уже нет в живых и которых я никогда не видел, с домами, которые они построили и в которых умерли, с рытвинами на дорогах, которые они проторили; возвращается каждое нигде не записанное мгновение их далекой, давно минувшей, никому не ведомой жизни, о котором рассказывала мне тетушка Мэй. Так все это воскресает в постоянно пульсирующем мозгу, так снова вырастает удивительное растение, побег за побегом, корень за корнем, волоконце за волоконцем, — и вот оно встает во весь рост, это удивительное растение, плоть от плоти той почвы, что его породила и нашла в нем свое живое завершение.

Вы стояли подле меня, точно скала — да Вы и есть скала, — пока я не извлек из земли все растение, не проследил каждое волоконце в сложной его ткани, каждый мельчайший, тончайший корешок, терявшийся в слепой, глухой почве. И вот все кончено, круг завершён — и у нас с Вами тоже все кончено, и вот что еще я Вам скажу.

Я уверен, все мы здесь, в Америке, потеряны, — но уверен также, что нас найдут. И вера

эта, которая поднялась теперь до катарсиса знания и убежденности, для меня — и, думаю, для всех нас — не только надежда каждого в отдельности, но вечная живая мечта самой Америки. Я думаю, та жизнь, которую мы создали в Америке и которая создала нас, — сотворенные нами формы, разросшиеся ячейки, выстроенный нами улей, — по природе своей саморазрушительны, и они должны быть разрушены. Думаю, формы эти отмирают и должны отмереть, но Америка и ее народ бессмертны, еще не открыты, и нетленны, и должны жить.

Я думаю, подлинное открытие Америки еще впереди. Я думаю, наш дух, наш народ, наша могучая, бессмертная страна еще проявят истинную свою мощь и нетленную правду. Я думаю, истинное открытие нашей демократии впереди. И, думаю, все это надежно, как восход солнца, и неизбежно, как полдень. Когда я говорю, что наша Америка уже Здесь, уже Сегодня манит нас и что чудесная эта уверенность не только наша живая надежда, но наша мечта, которую надо осуществлять, я уверен: так думаю не только я, но почти все американцы.

Я думаю, встреча с врагом тоже еще впереди. Но мы знаем черты и обличья врага, и, думаю, в сознании, что он нам известен, что мы с ним встретимся и в конечном счете должны его победить, — в этом тоже наша живая надежда. Я думаю, враг здесь, перед нами, он тысячник, но на всех его лицах одна и та же маска. Я думаю, враг наш один: себялюбие и неизбежная его спутница — алчность. Враг этот слеп, но в слепой хищной хватке его кроется свирепая сила. Не думаю, что враг наш родился только вчера, или что он возмужал сорок лет назад, или что он изнемог и потерпел крах в 1929-м, или что, когда мы начинали, он не существовал и что наше зрение нам изменило, мы сбились с пути и очутились в его лагере. Нет, я думаю, враг наш стар, как мир, и зловреден, как преисподняя, и он был с нами спокон веку. Думаю, это он украл у нас нашу землю, уничтожил наши богатства, разорил и разграбил нашу страну. Думаю, это он поработил наш народ, осквернил чистые истоки нашей жизни, завладел редчайшими нашими сокровищами, присвоил наш хлеб и оставил нам лишь корку и, не довольствуясь этим, ибо по природе своей он ненасытен, в конце концов попытался было отобрать у нас даже корку.

Я думаю, враг приходит к нам в невинном обличье и говорит:

«Я вам друг».

Я думаю, враг обманывает нас фальшивыми; словами и лживыми фразами.

«Взгляните, — говорит он, — я один из вас, один из ваших детей, ваш сын, брат и друг. Посмотрите, какой я стал сытый и гладкий, а все потому, что я просто один из вас и ваш друг. Посмотрите, какой я богатый и могущественный, а все потому, что я один из вас: живу, как все, и думаю, как все, и к тому же стремлюсь. Я такой, как есть, потому что я один из вас, ваш смиренный брат и друг. Смотрите, какой я, каким стал, чего достиг, и поразмыслите! — восклицает Враг. — Неужто вы все это уничтожите? Уверяю вас, это самое ценное из всего, что у вас есть. Это вы сами, отражение каждого из вас, торжество вашей личности, это у вас в крови, это сродни вашему племени, это стало традицией Америки. Это надежда каждого из вас, желанное для каждого будущее, ибо, — смиренно говорит Враг, — я всего лишь один из вас, не так ли? Разве я не брат ваш, не сын? Разве я не живое воплощение того, каким каждый из нас надеется и хочет стать, каким жаждет увидеть своего сына? Неужели вы уничтожите это великолепное олицетворение вашей же героической сути? Если так, значит, вы уничтожите и себя, — говорит Враг, — вы убьете то, что есть в нас самого великолепного, самого американского, а значит, убьете и себя».

Он лжет! И теперь мы знаем, что он лжет! Он вовсе не великолепное и не какое-либо другое наше воплощение. Он не друг нам, не сын, не брат. И он не американец! Ибо хотя есть у него тысячи знакомых нам и пристойных обличий, настоящее его лицо старо, как Преисподняя.

Оглянитесь вокруг и посмотрите, что он натворил.

Дорогой мой Лис, старый мой друг, мы дошли до конца пути, по которому нам суждено было пройти вместе. Рассказ мой окончен, — итак, прощайте.

Но, прежде чем уйти, хочу сказать Вам еще одно.

Нечто говорило со мной в ночи, когда сгорали восковые свечи уходящего года, нечто говорило со мной в ночи и сказало мне, что я умру, но где, я не знаю. Вот что мне сказано:

«Утратишь землю, что ты знаешь, для знания высшего; утратишь жизнь, тебе данную, для жизни высшей; оставишь друзей любимых — для любви высшей; край обретешь добрей родного дома, бескрайней, чем земля...

Тот край — опора всем земным столпам, туда ведет нас совесть мира... и туда стремится ветер и струятся реки...»